АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ





А. Белый. Фотография. 1933 г.



СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
Б43

Подготовка текста и комментарии
А. В. ЛАВРОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{4702010201\text{-}336}{028(01)\text{-}90}$ 8-89

ISBN 5-280-00519-3 (Кн. 3)
ISBN 5-280-00517-7

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Настоящая книга «Между двух революций» есть необходимое продолжение двух мною написанных книг: «На рубеже» и «Начало века»; она — третья часть трилогии, обнимающей картину нравов и жизни моей до событий Октябрьской революции; первая часть ее, под названием «Омут», далеко не исчерпывает лиц и картины отношений с ними; пишучи второй том воспоминаний «Начало века», я не был уверен, что время позволит мне написать третий том; поэтому иные конфликты с людьми, разрешавшиеся позднее, для цельности показываемых силуэтов рисовал в кредит, переступая грани рисуемого времени; так, например, быт квартиры Вячеслава Иванова и сам Иванов, взятый в этом быту, относимы к 1909—1910 годам, т. е. к эпохе, которая явилась объектом описания этой части; то же надо сказать о Брюсове; или решительный тон осуждения Мережковского, осознанный мной позднее, дан уже в «Начале века»; и это потому, что я не знал, коснусь ли я последующих годов; разумеется, все эти картины быта и отношений, чтобы не повторяться, опущены в этой части; вместо них — сноска: «См. «Начало века»; и потом, поскольку акцент внимания в третьем томе — общественные моменты, я опускаю множество литературных встреч, чтобы не обременить книгу ненужными эпизодами и каламбурами.

Но поскольку мой взгляд на общественность слагался под влиянием событий биографических, мне приходится в первых главах ввести и моменты интимные, влиявшие на весь строй моих отношений к действительности.

В первой части третьего тома воспоминаний («Омут») — удар внимания перенесен на Россию, особенно на Москву; во второй части — центр внимания: заграничная жизнь до и во время войны; лишь конец ее посвящен России накануне революции.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОМУТ

Глава первая

ИЗ ВИХРЯ В ВИХРЬ

О СЕБЕ

Из этого тома воспоминаний я, автор, не выключаем; не выдержан тон беспристрастия; не претендую на объективность, хотя иные части воспоминаний несу в себе как отделившиеся от меня; относительно них я себе вижусь крючником, находящим в бурьяне гипсовые куски разбитого силуэта: «Вот он — нос «Белого», разбитый в 1906 году: неприятный нос!.. А вот его горб». Самосознание напряженно работает над причинами собственных крахов; в анализе я могу ошибаться; например, *степень* гнева в полемике против Блока, Чулкова и Городецкого — зависела от искривления жестов; но что я был прав в принципе, руководившем полемикой,— за это держусь.

Лет через двадцать придут и скажут: «Горб Белого 1905 года остался у Белого 1932 года: в его суждении о горбе».

Так обстоит дело с кусками воспоминаний, которые видятся объективно; что же сказать о других, которые еще в растворе сознания и не осели осадком? Так: образу Александра Блока 1905—1908 годов противостоит сознанием отработанный образ благородного друга, помощника: в начале знакомства, в конце знакомства; образ же Блока эпохи ссор я не могу во имя хотя бы самоунижения из донкихотства вычистить, чтобы он блестел, как самовар.

Воспоминания, напечатанные в берлинском журнале «Эпопея» № 1—4 в 1921—1922 годах, продиктованы горем утраты близкого человека; в них образ «серого» Блока непроизвольно мной вычищен: себе на голову;[1] чтобы возблистал Блок, я вынужден был на себя напялить колпак; не могу не винить себя за «фальшь из ложного благородства».

Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке, стараюсь исправить я промах романтики первого опыта, «вспоминать» в сторону реализма; может быть,— и тут я не попал в цель; Блок 1906 года «не готов» в моей памяти; а как его выкинуть, коли он вплетен в биографию?

Начинаю со слов о Блоке и с того, с чем Блок того времени связан; капризные ассоциации в жизни каждого не поддаются учету; у Шиллера вдохновение связалось с запахом яблок; он клал их перед собою во время работы. Так: ссора с Блоком связана мне с темою революции, с мыслями о всякого рода террористических актах,— не потому, что и Блок сочувствовал революции; не ассоциация сходства, а противоположность мне сплела обе темы.

Революция и Блок в моих фантазиях — обратно пропорциональны друг другу; по мере отхода от Блока переполнялся я социальным протестом; эпоха писем друг к другу совпала с сочувствием (и только) радикальным манифестациям; в миги, когда заронялись искры того, что привело к разрыву с поэтом, был убит Плеве и бомбою разорвали великого князя Сергея;[2] в момент первого столкновения с Блоком вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкине»;[3] я стал отдаваться беседам с социал-демократами, строя на них свой социальный ритм (ориентация Блока ж — эсеровская); в период явного разрыва с поэтом я — уже сторонник террористических актов.

Не был я,— черт возьми,— идиотом, чтобы отношение к революции измеривать «Блоками»; наоборот: кипение чувств и стихийная вовлеченность в события жизни Москвы (забастовка, митинги, задуманный бойкот офицеров, осада университета и т. д.) приподняли и тонус гнева на «косность» в Блоке, видившемся мне «тюком», переполненным всяческими традициями неизжитого барства; этот «тюк» я хотел с дороги убрать.

Революция связалась мне с Блоком не более, чем яблоко с поэзией; яблоки поэта вдохновляли к стихам; гнев же на Блока вдохновлял меня к выпадам против строя; я себе говорил: в каждом — неизжитой «мещанин», в которого надо лупить бомбами; «мещанина» в себе силился я изничтожить; Блок же его питал сластями (в моем представлении): поклонением мамаши и тетушки.

Подлинные мотивы поведения изживали себя в кривых жестах.

Чтобы понять меня в тот период, следовало бы знать условия моего детства, описанные в книге «На рубеже», и условия детства Блока, поданные книгой тетушки его* марципановыми бомбошками в опрятненькой бонбоньерочке; «Боренька» рос «гадким утенком»; «Сашенька» — «лебеденочком»; из «Бореньки» выколотили все жесты; в «Сашеньке» выращивали каждый «пик»; искусственно сделанный «Боренька» прошелся-таки по жизни «Андрея Белого»; прошелся-таки «самодур» по жизни Александра Блока; «Сашеньку» ублаготворяли до ...поощрения в нем вспышек чувственности; «Боренька» до того жил в отказе от себя, что вынужден был года подставлять фабрикаты «паиньки» — отцу, «ребенка» — матери, так боявшейся «развития»; косноязычный, немой, перепуганный, выглядывал «Боренька» из «ребенка» и «паиньки»; не то чтобы он не имел жестов: он их переводил на «чужие», утрачивая и жест и язык; философией младенца стало изречение Тютчева: мысль изреченная есть ложь;[5] от «Саши» мысли не требовали; поклонялись мудрости его всякого «вяка».

Свои слова обрел Боренька у символистов, когда ему стукнуло уж шестнадцать — семнадцать лет (вместе с пробивавшимся усиком); этими словами украдкой пописывал он; вместе с мундиром студента одел он, как броню, защищавшую *«свой»* язык, термины Канта, Шопенгауэра, Гегеля, Соловьева; на языке терминов, как на велосипеде, катил он по жизни; своей же походки — не было и тогда, когда кончик языка, просунутый в «Симфонии», сделал его «Андреем Белым», отдавшимся беспрерывной лекции в кругу друзей, считавших его теоретиком; «говорун» жарил на «велосипеде» из терминов; когда же с него он слезал, то делался безглагольным и перепуганным, каким был он в детстве; великолепно поэтому он различал все оттенки терминологии («трансцендентный» не «трансцендентальный»); говорить же просто конфузился, боясь вскриков: «Чушь, Боренька, порешь!»

«Сашенька» до такой степени был беззастенчив в выборе слов и столь презирал «термины», что называл Анну Ивановну Менделееву — «субстанцией»; и о «субстанции» в спинозовском смысле спорил с С. М. Соловьевым, который мне с ужасом об этом и сообщил.

---

* Биография Блока, написанная М. А. Бекетовой[4].

Ясно: объяснение «Бореньки» с «Сашей» (от «термина» и от субъективнейшего «злоупотребления» им) могло привести лишь к ссоре.

В каждом назрела своя трагедия; трагедия Блока — столкновение его «вяка» с жизнью, читаемой в точных терминах, мое ж желание — насильственно одеть в термин и «лепетанье» парок; «Весы», Мережковские, Астровы, «аргонавты» требовали рефератов, рецензий, полемик и прений — без передышки, без отдыха; я в поте лица трудился над комбинатами терминов; и тщетно тщился вывести из них понятие «нового быта» и «царства свободы»; меня разрезали «ножницы» меж отвлеченным словом и жизнью в поступках, осознанных точно; из тщеты слов переживал себя в «молча кивающей» тишине, не умея сказаться: словами жизни; чувствовать себя живым, молодым и сильным, и не уметь сказаться,— какая мука! Терминология, точно шкура убитого Несса, прилипнувши, жгла;[6] я — сдирал ее; с нею сдиралось и мясо.

«Боренька», сперва молчавший, потом затрещавший терминами,— не выросший «Боренька»; «Андрей Белый» — фикция; Блок первый отметил это; в ответ на посылку ему книги «Возврат» он писал: «мальчик»-де мальчику прислал к елке подарок[7].

Стремление выявить жест без единого «термина» — моя дружба с Сережей*, дружба традиций детства, сказок и игр: пятнадцатилетнего отрока, утаившего «развитие», с преждевременно развитым ребенком; оба выработали тогда свой язык, разделенный родителями Сережи, развиваемый и позднее: студенты, оставаясь вдвоем, продолжали быть «Борей» с «Сережей»; последний знал тихим меня; я ж умел читать его жесты; оба тянулись друг к другу в том, чего не могли обнаружить при слишком «умных».

Многое из того, что теоретизировал я, было пережито с Сережей, который иначе оформил общие нам факты сознания; ему были чужды: Кант, естествознание, теория символизма; я ж игнорировал теократию, философию обоих князей Трубецких и иные из теорий Владимира Соловьева; общее в нас: Сережа строил «теории» над опытом, в котором играли роль родители, бабушка, Поливанов, дядя-философ, учитель латинского языка Павликовский, его кошмар детства; но эти лица заняли видную

---

* С. М. Соловьев, в доме родителей которого я обрел речь: см. мои книги «На рубеже» и «Начало века».

роль и в опыте моей жизни; идеологии наши были весьма различны; почва их — общая.

В детстве мы были «двояшками»; такими ж явились поздней для Блока, троюродного брата Сережи, чтившего его родителей, дядю-философа и воспринявшего «Симфонию» как нечто, исшедшее «от Соловьевых». Сережа в стихах кузена увидел лишь новый этап поэзии дяди, которую боготворил; отсюда — культ «поэта», родственника, связанного с родителями;[8] мать Блока чтила его родителей; а бабушка чтила дедушку Блока, А. Н. Бекетова.

Все нас друг к другу притягивало; С. М. Соловьев даже когда-то мечтал об общей коммуне; были ж коммуны толстовцев; мечтал же Мишель Бакунин о коммуне из братьев и сестер.

Казалось: в 1904 году Шахматово еще тесней нас связало; в 1905 году каждый, переживая рубеж, хотел встречи друг с другом: в Шахматове для меня кончалась эпоха «Симфоний» (я писал «Пепел»); для Блока — стихов о «Даме»; Сережа же поворачивался от Владимира Соловьева к Ницше, от теологии — к филологии, от мистики — к народу.

Было решено: в июле Сережа и я едем в Шахматово[9] — увидеть: соединяют ли нас и наши «кризисы»?

Хотелось и просто втроем помолчать: без слов.

Волей судьбы: не Шахматово, а кусочек дедовской жизни был коротеньким отдыхом перед долгою бурей.

ДЕДОВО

В Дедове летами я читал классиков и собирал материал для романа «Серебряный голубь»; оно ж стало местом душевных мучений; Дедово — именьице детской писательницы, Александры Григорьевны Коваленской, Сережиной бабки (по матери).

В одноэтажном серяненьком флигельке проживали родители моего друга; сюда я наезживал веснами еще гимназистом:[10] в уют комнатушек, обставленных шкафами с энциклопедистами, масонскими томиками, с Ронсаром, Раканом, Малербом и прочими старыми поэтами Франции; несколько старых кресел, букетов и тряпок, разбросанных ярко, ряд мольбертов Ольги Михайловны Соловьевой, ее пейзажи, огромное ложноклассическое полотно, изображающее похищение Андромеды[11], мне обрамляли

покойного Михаила Сергеевича Соловьева, уютно клевавшего носом с дымком: из качалки.

В высоких охотничьих сапогах, в летнем белом костюме, он все-то вскапывал заступом околотеррасные гряды, пока О. М., перевязав волосы лентою, в черном капотике копошилась при листах своего перевода, брошенных на столик; мы, два юнца, рассуждали о Фете; из-за перил клонились кисти соцветий и яркоцветных кустарников; по краям дорожки, бегущей с террасы, зеленели высадки белых колокольчиков, перевезенных из Пустынки:* им Владимир Соловьев посвятил перед смертью стихи:

В грозные, знойные
Душные дни,—
Белые, стройные,
Те же они[12].

Белые колокольчики расцветали в июле; на розовой вечерней заре, сидя над ними, отдавались воспоминаниям.

К семейным воспоминаниям была приобщена серая огромных размеров крылатка философа, вытащенная из дедовского ларя; по вечерам в нее облекался я; в этой серой крылатке покойник бродил по ливийской пустыне[13] — в ночь, когда сочинил: «Заранее над смертью торжествуя и цепь времен любовью одолев, Подруга Юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев»;[14] утром два шейха арестовали его, приняв за *шайтана* (черта)[15].

«Подруга», муза философа, была «Мета» (*мета*-физика); «подругою» ж Блока казалась «Люба» (жена поэта), которую он наделил атрибутами философской «Премудрости»; и пошучивал я, облеченный в крылатку: крылатка — Пегас, на котором покойный философ, слетавши в Египет, изрек имя музы; она оказалася девою, Метой,— не дамою, Любой, с вещественной физикой, но... без метафизики.

Когда же впоследствии оказалось, что физика музы Блока не «Люба», а незнакомая дама с Елагина острова, его вдохновившая к винопитию**, то Сережа, сжав кулаки, слетал не раз со ступенек террасы над «белыми колокольчиками» — отмахивать по полям километры в смазных

* Имение друга философа Соловьева, С. П. Хитрово, а прежде — имение поэта Алексея Толстого.

** См. стихотворение «Незнакомка», в котором пьяницы кричат: «In vino veritas»[16].

сапогах; и красная рубаха его маячила в зелени; он не находил слов, чтоб выразить гнев на узурпацию Блоком патента на музу «дяди».

Многими воспоминаниями живо мне Дедово.

В 1898 году я здесь был крещен в поэзию Фета, слетев ненароком с развесистой ивы в пруд,— дважды (едва ли не с Фетом в руках); а в 1901 году, в мае месяце, меж двух экзаменов, я был крещен М. С. Соловьевым в *Андрея Белого;** Дедово стало — литературною родиной; впоследствии А. Г. Коваленская сказала: «Добро пожаловать к нам»; с тех пор я почти не живал в имении матери[17], деля в Дедове с моим другом досуги.

Дедово — в восьми верстах от станции Крюково (Октябрьской дороги);[18] два заросших лесами имения, Хованское с Петровским, прилегают к нему; в одном из трех флигельков, деревянных, одноэтажных, расположенных вокруг главного, желтого деревянного дома, принадлежавшего «бабушке», проживали с Сережею мы; он был крайний к проезжей дороге, отделенный забориком от нее и зарастающими цветами; неподалеку от него выглядывал крышей и окнами флигель В. М. Коваленского, приват-доцента механики, дяди Сережи; там шла своя жизнь, на нас непохожая: чувствовалась пикировка двух бытов при внешне «добром» сожительстве, усиленно налаживаемом Сережей; все-то он завешивался от Коваленских точно ковром, на котором изображались пастушеские пасторали; «пастух», Виктор Михайлович, летами забывал курс начертательной геометрии, тыкая пальцем в пианино и оглашая цветник все теми ж звуками: «Я страаа-жду... Душаа истаа-мии-лась...»[19] Все-то томился этот доцент с лицом старого фавна; виделась и головка «пастушки», дочки его, Марьи Викторовны, переводившей Гансена, любившей поговорить о творчестве 666 норвежских писателей (имя им — легион); вокруг порхало два пухлогубых «зефирика», Лиза и Саша, дети В. М; мать их имела вид отощавшей «Помоны», дарившей Сережу улыбками «не без яда» и яблоком «не без червя»; так выглядели обитатели флигелька в Сережином воображеньи, соткавшем ему из его мифа ковер; бывали минуты, когда казалось ему: из трещин ковра струятся в нашу сторону яд без улыбки и черви без яблока.

Быт Соловьевых — безбытный; быт Коваленских — тяжеловат, угловат (углы — с остриями).

---

* См. «Начало века», глава вторая.

Третий флигель чаще всего пустовал; принадлежал он Николаю Михайловичу Коваленскому, председателю Виленской судебной палаты, приезжавшему в Дедово на отпуск; в нем ночевал Эллис в своих наездах на Дедово; Н. М. родители Сережи как-то чуждались; отчуждение переносилось на бабушку, защищавшую Н. М. миной: «Тишь, гладь, благодать»; а были — «бездны», кажется, нарытые дядюшкой.

Флигельки выходили террасами к клумбе, перед которой тряслась сутуленькая «бабуся», маленькая и черненькая, с чопорно-сладким выражением — не лица, а — раз навсегда вытканного на ковре герба; герб изображал «идиллию над безднами».

За главным домом был склон к обсаженному березой и ивою позеленевшему пруду; склон был сырой, заросший деревьями, травами и цветами; веснами здесь цвели незабудки; и пахло ландышами; в июне дурманила «ночная красавица»; с трех сторон пруд обходил вал, в деревьях; с четвертой стороны близились домики Дедова; цветистые девки ходили купаться в пруд; в близлежащем кустарнике, в фантазии Сережи, залегал дядя-доцент, наслаждаясь формами граций.

— «Впрочем, Боря,— это лишь миф, построенный на основании кем-то в кустах вытоптанной травы».

С вала виделся луг с прилегающим лесом; и — крюковская дорога.

С противоположной стороны, вид на которую открывали окна нашего домика, за проезжей дорогой, был луг, проколосившийся злаками и окаймленный белыми стволиками грациозных, легких березовых куп; впереди он обрывался кустом, переходящим в темную рощу; она закрывала село Надовражино, куда мы шагали после вечернего чая, украшенного «семейным гербом», земляникой и сливками; здесь, в Надовражине, в крестьянском домике, обитали три сестры Любимовы; у них мы распевали народные песни и поминали «нечистого»; раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали: «Вы жертвою пали»;[20] мы и сестры Любимовы ниспровергали власть: бар и помещиков.

Вот обстановка, в которую летом я попадал каждый год, пока события личной жизни не удалили меня из Дедова, куда я вернулся лишь в 1917 году, чтоб с ним проститься[21]. Здесь был замкнутый круг, ничем не напоминающий московскую жизнь; жил, точно в сказке, в жизни друга, становясь порой ухом и глазом; Сережа передавал

мне свои семейные «тайны»; из слов его возникал мир, более интересный и более жуткий, чем роман с «привидениями»; в нем Эдгар По сочетался со «старухою» Эркмана-Шатриана;[22] здесь изучал я падение одного рода; и, когда возвращался в Москву, мне казалось, что я проснулся и Дедово привиделось мне.

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА КОВАЛЕНСКАЯ

Дедовский церемониймейстер, «бабуся», просунулась в отрочество с 1896 года сказочною старушкой, выставив тоненький, крючковатый носик из-за розового куста: «Пойдем, мальчик, за мною: в мой пряничный домик!» Я был шестиклассник; родители моего друга уехали за границу; в квартиру их, к внучку, переселилась «бабуся»; и каждый вечер сидели мы за чайным столом, журча о Жуковском, Ундиночке, дядюшке Струе;[23] из-под самоварного крана вытрясывалась черная, кружевная наколка сутуловатой «бабуси», срывавшей звук эоловой арфы;[24] в егозящих ее глазенках,— черненьких, остреньких,— прыскали искорки; охватывали переживания младенческих лет и строчки Уланда, Эйхендорфа, Гейне, переданные Раисой Ивановной, гувернанткой,— четырехлетнему, мне.

Ежевечернее трио нарушалось явлением из Трубицына розовой, седоволосой старушки, второй «бабушки», Софьи Григорьевны Карелиной, таявшей, как и мы, от Жуковского; она была веселее и проще сестрицы, вытрясываясь грубоватыми шутками о собственных курах. Карелина впоследствии пленялась стихами троюродного внука, Саши Блока; а Коваленская в пику ей все похваливала меня и таяла от стихов Эллиса; Карелина любила браки и всякую плоть; Коваленская кривилась при упоминаньи о плоти; сжав пальцы пальцами, откидывалась она в спинку кресла; всякая уютность слетала; она делалась лихою старушкою.

Бледная как смерть, с черными, как булавки, глазами, без сединки в четком проборике черных волос, Коваленская виделась мне лет пятнадцать в том же черном шелковом платье с пелеринками, плещущими, как вороньи крылья; и лет пятнадцать передо мною промоталась прядями пестрых капотов старушка Карелина: плотноватая, тявкающая, вся серебряная, она щурилась добрыми, лучистыми, голубыми глазами.

Два месяца, проведенные с черной «бабусей» еще в 1896 году[25], отразились на строчках первых, детских стихов: появились в них лебеди, луны, появился кривогубый горбун, вышедший из детских книжек; «бабуся» любила ужасики; любила драмы с жутями семейных убийств; она бывала в восторге, когда дети, мы, ставили сцены из Шиллера, чтоб заколоться перед родителями, один за другим, с таким азартом, что отец раз воскликнул:

— «Негодная пища для юношей: пять убийств! Мрак! Не весела жизнь, а тут,— здорово живешь,— эдак-так,— пять убийств! Молодым людям приятен Диккенс: забавно-с!..»

Старушка, пав в кресло, десятью пальцами рук с надутыми фиолетовыми и узластыми венами вцепясь в ручки кресла, став мраморной, угрожающе помолчав,— изрекла:

— «Поэзия Шиллера приподымает над прозою жизни!»

После этого мой отец в годах повторял:

— «Больная-с старушка! Глядит в могилу, а — пять убийств!»

Что «пять убийств»,— верно, а что «больная»,— позвольте-с: пережила отца, прожив почти до восьмидесяти лет; в молодости сражала мужчин, нарожала уйму детей[26], а прикидывалась «больной», и дрожала из-за самоварика, дрожала из-за розовых иван-чаев, росших перед ее окнами, когда мы проходили под окнами; и согнутым, как крючок, пальчиком манила к себе прочесть нам свою сказочку «Мир в тростинке»[27], которую читывала и в 1896 году, которую, перечитав в 1905 году и в 1906-м,— читала — о, о,— и в 1908-м и в 1909-м, как бесплатное приложение к землянике со сливками; уписавши ее суповыми тарелками, приходилось отслушивать; оно бы ничего, если б не липкое нравоученье, капавшее из строк: хороши — луны; и хороши — феи; земные девушки и, боже упаси, браки с ними — очень нехорошо: для таких, как мы; для кухаркиных сыновей — хорошо: те — грубы; мы ж — тонки.

Оставшись вдвоем, долго мы обсуждали во флигеле эти сентенции: «старая дева», Карелина покровительствует и романам и бракам; «бабусю» же, нарожавшую стольких, тошнит, когда рожают другие; браку предпочитает она даже «падаль» Бодлера, преподносимую Эллисом[28].

— «Неужели,— все удивлялся я,— *падаль* и то, чем некогда наслаждалась старушка?»

— «О, о, о,— подмигивал на это лукавый внук,— и тонкое ж *какое-то что-то* — бабуся. И чай здесь — *над бездной;* и иван-чай — *над бездной;* и дом этот — *бездна!*»

Приоткрывались семейные тайны; несло разбитыми жизнями; недаром же «внучек», Михаил Николаевич Коваленский, схватив шапку в охапку и мать, отсюда бежал, ставши большевиком: до 1905 года.

Не верилось в «чепчики», в «личико» («личиком» — вылитый Андерсен); из «личика» лез Вольтер[29], перекривляясь даже в гримасу зловещего горбуна, какой фигурирует во всякой романтической сказке.

Сережа мне клялся:

— «Кровь Коваленских во мне — упадок; доброе — от Соловьевых; от Коваленских — больные фантазии чувственности, которые должен замаливать».

Мать, Ольга Михайловна, кончила самоубийством; Надежда Михайловна, тетка,— сошла с ума;[30] Александра Андреевна, мать Блока,— страдала болезнью чувствительных нервов, видя «химеры», каких не было; А. Блок — и «химерил», и пил; дядюшки Коваленские: один — страдал придурью; другой — вырыл «бездну».

Позднее «бабуся» в воображеньи Сережи не раз разыгрывалась Пиковой дамой:

— «Андерсен, розы и «Мир в тростинке»,— этому, Боря, не верь».

Так раз он сказал, стоя передо мной в костюме Адама на мостках деревянной купальни; и, выбросив руку с двуперстным сложеньем, вдруг, детонируя, проорал:

— «Однажды в Версале о *же-де-ля рэн* венюс московит* проигралась дотла; в числе приглашенных был граф Сен-Жермен... Три карты, три карты, три карты!»[31]

И — бух: в воду.

«Версаль» — балы при дворе кавказского наместника Воронцова, на которых когда-то блистала «Венера» московская, Александра Григорьевна[32], встречаясь с Хаджи-Муратом, героем повести Л. Толстого; в середине прошлого века она была яркой фигурой, с проницательным вкусом и гордым умом; в 1903 году меня поразила она, принявши «Симфонию», над которой драли животики Коваленские; смолоду прибравшая к рукам мужа[33], да и чужих мужей прибиравшая (таяли), «добрая» — к своим детям, крутая — к небогатым родственникам, либераль-

---

* Венера московская.

ная до мозга «Русских ведомостей» — на кончике языка, но с крепостными замашками, — тем не менее она терпела года мои «выходки» и слова о том, что земли надо бы отобрать у помещиков, и ссору мою на этой почве с сыном, Н. М., председателем судебной палаты; терпела — из-за Сережи; из-за Сережи терпел ее я, ибо знал: мое пребывание в Дедове облегчает ему политику родственных отношений; я помнил завет его матери: «Боря, не покидайте Сережу». Притом: я ценил «бабусину» проницательность, начитанность и неослабевающий интерес к литературным новинкам, в которых она разбиралась, как человек наших лет, — не как «бабуся»; она доказывала: «деды», воспитанные на энциклопедистах, понимали нас, бунтарей в искусстве, лучше художественно неграмотных отцов; и я помнил слова Достоевского:

— «С умным человеком поговорить любопытно»[34].

Но мне претили: эгоизм, спесь, неискренняя сладость, переходящая в фальшь, и несение «чести» рода, переходящее в сделки с совестью; то, что она не желала видеть, она — не видела; и, стоя перед коровьей лужей, сказала б, вздохнув: «Здесь пахнет розами».

Дочь известного путешественника и этнографа Карелина, она родилась в Оренбурге и получила блестящее образование: знала языки и литературы всех стран; смолоду она выступила в литературе с детскими сказками, нравившимися Тургеневу; выйдя замуж за Коваленского, потомка того «Ковалинского», с которым дружил философ Сковорода*, она, отблиставши в Тифлисе, засела в Дедове, которое купил ее муж и где воспитывала она детей; здесь же влияла на взрослых, дружа с братьями Бекетовыми, за одного из которых вышла замуж ее *менее блестящая* сестра[36], с П. А. Бакуниным**, гегельянцем и розенкрейцером, с его женою, старушкой «Наташей», с которой деятельно переписывалась: почти до смерти; от нее слышал я дифирамбы А. Н. Бекетову, деду Блока, проводившему лета в Шахматове, около имения Д. И. Менделеева, с которым и породнился его внук, Саша Блок, весьма недолюбливавший «бабусю» вместе с А. А. Кублицкой и М. А. Бекетовой, матерью и теткой, племянницами «бабуси»; последние, точно укушенные «тетей Сашей», рылись в каких-то своих семейных прях о *родах* на почве старинных обид, смешных в наше время; это ко-

* См. монографию о последнем В. Эрна[35].

** Братом анархиста.

панье в кровях, как и ненужное копанье на кладбище, способно выкинуть лишь бацилл, инфицирующих атмосферу.

Скоро «инфекция» воспоминаний выкинула меня из Шахматова; и она ж продолжалась в Дедове «бабусею», науськивавшей нас: против Блоков.

Так ссора Бори, Сережи и Саши, углубляемая тяжбой родов, отравила воздух ненужным миазмом.

А. Г. Коваленская особенно силилась быть церемониймейстером всяческих витиеватых, домашних идиллий — земляник, пирогов с грибами, чьих-нибудь именин,— когда из Вильно являлся в Дедово старший сын ее, Николай Михайлович, председатель палаты: справлять летний отпуск; зимами он наносил визиты в цилиндре, затянутый во все черное; летом же он носил серую пару при белом жилете, с которого на цепочке свисал лорнет; он покрякивал басовым густым тембром, расправляя рукою бакен; щуря на солнце глаза сквозь лорнет, он вздыхал:

— «Люблю солнышко».

Мать почтительно целовал в ручку; та его — в плешь.

И резво порхали вокруг средь настурций и «бутон д'оров»[37], надув губки и щечки, и Саша и Лиза, внучата, точно изображаемые на гравюрах XVIII столетья «зефирики», катящие колесо семейной фортуны. Бывало, семейство, возглавляемое «бабусей» и ее старшим сынком, подставляет зефиру свои томные члены; и слышится из соседнего флигеля плачущий звук: В. М., сопя над пианино, все-то пальцем выстукивает: «Я страа-аа-жду... Я жаа-аа-жду... Дуу-уу-ша...» — и — долгая пауза, после которой бухает:

— «Иии-ста-мии-лаась в разлуу-уу...»

Бац: ошибка!

И все — повторяется; мы же, схватив картузы, улепетываем в Надовражино.

«ДИТЯ-СОЛНЦЕ»

Пережитое недавно порядком-таки меня взбудоражило: Петербург, 9 января, ссора с Брюсовым, история с Н***[38], ряд разочарований; самоопределенья я жаждал; когда и как самоопределяться? День мой — в клочках; в глазах моих — мельк; в ушах — треск перебивчивых лозунгов: Фортунатов, Морозова, Эллис, Лопатин, Хвостов, братья Астровы, присяжный поверенный Сталь,

Мережковский, Рачинский, Свенцицкий и Брюсов, и — сколькие оспаривали друг друга в разорванном ухе:* с 1905 года пятна восприятий вскричали, воспламеняя сознание.

С. М. Соловьев извлек из Москвы; в Дедове он меня усадил, точно в ванну, в настой из ландышей, в утренние туманы сырого, прохладного лета;[39] и вновь поднялись сказки маленькой, черной, как вороново крыло, «бабуси»; я и не знал еще, до какой степени она,— гм... Словом: Дедово началось пасторалями: пастушков и пастушек.

Уж вечер: облаков померкнули края**.

И потом — тарарах: июль, с темой «карги»; не июль — «Пиковая дама», разыгранная по Чайковскому; но и в июне В. М. Коваленский, Сережа и я в ненастные дни резались в мельники; то один, то другой из нас, открывая три козыря, взревывал: «Три карты!» Сережа же напевал:

Так в ненастные дни
Занимались они
Делом***.

Прохладным утром я выносил прямо в травы, под дерево, рабочий столик; вглядываясь в рощицу, в золотые пятна качавшихся курослепов, под лепет берез я строчил: поэму «Дитя-Солнце», которой две песни (около трех тысяч стихов) успел окончить;[42] ее сюжет — космогония, по Жан Поль Рихтеру, опрокинутая в фарс швейцарского городка, которого жители разыгрывают пародию на борьбу сил солнца с подземными недрами; вмешан профессор Ницше,— в усилиях: заставить некоего лейтенанта Тромпетера наставить рога лаборанту Флинте, чтобы от этого сочетания жены лаборанта с Тромпетером родился младенец, из которого Ницше хотел сделать сверхчеловека; но рыжебородый праотец рода Флинте вылезает из недр; он борется с Ницше; когда вырастает младенец, то он, снявши шкуру, подстригшись, надевши очки, нанимается, неузнанный, в гувернеры и похищает в горы младенца, чтобы в горных пещерах по-своему его перевоспитать; шарж сложнится; в него ввязывается и Менделеев, приехавший на летний отдых: в Швейцарию.

Первая песнь — «мистерия»; вторая — фарс: в окрестностях Базеля; продолжение — следует[43].

---

* См. «Начало века», глава четвертая.

** Романс Полины из «Пиковой дамы». Слова Жуковского[40].

*** Эпиграф Пушкина к «Пиковой даме»[41].

Витиеватый сюжет — стиль писаний моих того времени; и «Симфония» писалась как шутка; ее приняли как пророчество; Блок — и тот думал, что она — в паре с его стихами о Даме; окончи поэму — возникло б новое qui pro quo;[44] кричали б: «Невнятица!» Поэму готовил я для прочтенья у Блоков, ее нашпиговывая намеками, понятными лишь нам троим; в 1904 году — пошучивали: аллегория ль зонтик Л. Д. Блок, иль Л. Д.— аллегория «зонта» неба? Зонт ли «гори-зонт»; или горизонт — Любин «зонт»? Шутки ради в третьей и четвертой песне мамаша «младенца», мадам Флинте, оказывается: незаконной дочерью Менделеева; ее мать — крестьянка деревни Боблово; отец ее, подслушавший ритм материи,— хаос; она — «темного хаоса светлая дочь»;[45] великий химик показывает фигу профессору Ницше, открывая ему: его внук — не плод любви дочери к лейтенанту, а — к захожему садовнику; садовничьи дети — не сверхчеловеки.

Третью песню собирался писать у Блоков, полагая: общение с ними, доселе источник шуток, меня вдохновит; в Шахматове я понял: не до поэмы; оборвавшись, она пролежала два года в столе; поданный романтически каламбур требовал романтической атмосферы; покров ее оказался той папиросной бумагой, которая была прорвана колпаком летящего вверх тормашками дурака из драмочки «Балаганчик»;[46] не было звуков «эоловой арфы»; поднял голос фагот, сопровождаемый барабаном.

Пишу это, чтоб оттенить июньскую идиллию в Дедове, когда осаждался лепет березок в ритмы поэмы, которая кроме шаржа приподымала всерьез близкую в те дни тему: «Как сердцу высказать себя? Другому,— как понять тебя?»[47] Исконная немота Бореньки, «идиотика», плачущего о том, что нет раскрывающих душу слов, должна была утолиться вылитым в слово образом солнечного мужа-младенца, эти слова и обретшего, и произнесшего.

Поэма пропадала дважды: в первый раз она выпала из телеги, на которой я ехал в Крюково; крестьянин, нашедший сверток, его мне принес;[48] через два года опять поэма пропала: в дни, когда я хотел возвратиться к ней[49], как знак того, что слово, искавшее выраженья,— не будет произнесено, что «Боренька» в Андрее Белом будет сидеть и впредь не обретшим слов идиотиком.

С. М. Соловьев любил философствовать о психологии творчества; он мне повторял: «Твой Тромпетер, носящий белый мундир и враждующий с рыжебородым,— просто Том, зарычавший на сетера дяди Вити». Мы наблюдали

однажды грызню белого понтера с рыжим сетером Коваленских; на следующий день я строчил про «рыжебородого» праотца, ведущего бой с «солнечным» лейтенантом. Сережа доказывал: внешний повод к писанию не адекватен сюжету; всякий пустяк — предлог к поджигу; пламя, вылетевшее из спички, продолжает питаться не ею, а бревнами горящего дома.

В июне казалось: тишина скопила энергию электричества, чтобы вспыхнула молния слов; оказалось: мы не высекли молнии; откуда-то она в нас ударила, расщепив ствол отношений, чтобы три жизни, как три раздельных сука со спаленными листьями, угрожающе протянули друг к другу свои коряги.

«ИЗМЕНИШЬ ОБЛИК ТЫ»[50]

Душила жара; в первых числах июля мы тронулись в Крюково:[51] под громыхавшие тучи; когда же садились в вагон, то ударил град: в окна; и — вспых:

— «Старый бог разгремелся»,— смеялся Сережа.

В Подсолнечной наняли таратайку и стали разбрызгивать слякоти; когда спустились в ручьистый овраг, то разлив стал грозить передку; холодело; очистилось небо. И вдруг из-за зелени выбежал двор; дом, крыльцо; распахнута дверь; Блок с женой, с матерью:

— «Приехали»,— сказал он в нос; с не очень веселой улыбкой раздвинулся рот, и мутнели глаза; в сером, отяжелевшем лице подчеркнулись морщиночки; пегое пальтецо с короткими рукавами делало его и длинней и рукастей,— не молодцем в вышитой лебедями рубашке, как в прошлом году, а скорей лицедеем заезжего деревенского балагана; бледная, чуть натянутая Л. Д.* встретила нас, кутаясь в темный, теплый платок; покраснел носик Александры Андреевны;** выморгнула и Марья Андреевна***.

Не помню, что делали, что говорили мы в комнате, где усадили; но суета сменилась всеобщим конфузом: мы что-то спугнули; и поднималась тяжесть налаживаемого общенья; Сережа уже деспотически нам диктовал неумелую разговорную тему.

---

* Любовь Дмитриевна, жена Блока.

** Мать Блока.

*** Бекетова, тетка Блока.

Вот все, что помню.

Что изменилось в семействе Блоков? К «Боре» подчеркнуто обращались с одним; к «Сереже» — с другим; тон этого обращения мне не понравился; не понравилось отделение меня от Сережи: безо всякого объяснения.

Молчать — прилично; высказать — честно; молчишь, когда еще вызревают слова, произносимые вслух; иначе и самое молчание загнивает; мы ехали выговориться.

А Блоки — молчали.

Эти посиды с покуром без слов были, пусть косолапо, но честно, Сережей отвергнуты с первого дня явления в Шахматово: грань меж нами и Блоком от этого подчеркнулась; обиженный за товарища, я всеми жестами был с ним в его требовании: общаться втроем; для разговора вдвоем я бы приехал один; я считал: сепаратные *тэт-а-тэты*, уместные в Петербурге,— не стиль нашего приезда с Сережей, с которым «кузен» не желал быть открытым; не он ли некогда ломился на откровенность с ним; и я понимал хорошо моего косолапого, упрямого друга, лезшего объясняться, как медведь на рогатину; Блок его раздражил; на молчки да похмыкиванья — «Сережа, Сережа» — ответил он побитием карт, могущих оправдать подобное поведение того, кто некогда напросился на дружбу: приездом в Дедово в 1901 году[52], посвящением «наимистических» своих стихов гимназистику[53], которого он уверял, будто разделяет и крайности «мистики» Владимира Соловьева, чем и вовлек в нее мальчика, поверившего «поэтической интуиции»; в связи с этою верой и вызрела потребность к толковому объяснению, отказ от которого — из бестолковицы ли, из каприза ли — не мог не казаться жалким, особенно когда раздавалось невнятное «хнн».

И — накрывалась муха: стаканом.

Александра Андреевна, обиженная несколько за сына, которого всякий «вяк» принимала как изречение пифии, позволила себе замечания о сходстве Сережи с ей неприятными Коваленскими; т. е. она нарочно давила на больную мозоль (не Сережа ли меня *посвящал* в семейные тайны, вынося подчас приговор даже бабушке); и мы приняли это как месть за неприятие Сашиных «вяков»; в устах утонченной умницы попрекание Коваленскими выглядело как ругань мужика: «Сукин сын!» Вынырнули «оновы» счеты родов, уязвленности, смолоду затаенные; гвоздилось — «отродье»*.

---

* А. А. Кублицкая-Пиоттух, племянница А. Г. Коваленской.

Оставаясь с Сережей вдвоем в прошлогодней нам отведенной комнате наверху, мы обсуждали нелепость нашего приезда сюда: по приглашению Блока же; Сережа вспыхивал:

— «Если у него его Дама порождение похоти, желаю ему от нее ребенка; тогда не пиши ее с большой буквы; не подмигивай на «Софию-Премудрость»; такой подмиг — хихик идиота; психопатологию я ненавижу!»

И обрывал себя, склоняясь над греческим словарем, привезенным в Шахматово (работа профессору Соболевскому); он все более погрязал в филологии, в трудах Роде и Ницше; забывая на года философию дяди, о которой он тем упорнее хотел знать взгляд «кузена», он до времени затаил скепсис свой к теориям дяди о «мировой душе»; Блок был для него теперь скорее экспериментальным кроликом, чем озаренным «наитием» трубадуром; здесь, в Шахматове, впервые вырвалось из него бурное возмущение невнятицей Блока:

— «Это просто идиотизм!»

За тяготящим чайным столом происходило мучительное перерождение двух друзей: в двух врагов.

Ни жена, ни мать, ни тем менее тетка Блока не видели в прямом свете трагедии этой; а Блок был рассеян, переживая собственную трагедию, поплевывая на Сережину: ему не давались стихи; и он мучился ими: сидел обалдевшим, таращa глаза в пустоту; удалялся на кочки болот, чтоб на них сочинять:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод:
Зеленеют колпачки —
Задом наперед[54].

Одурь эту свою противопоставил он требованиям: объясниться (зачем и приехали); этим он вызывал Сережу на резкости; им в ответ — град шпилек Александры Андреевны; Л. Д. вела какую-то двойную или тройную игру, видясь единственно понимающей каждого и оставаясь к каждому безучастной.

Так мы томились. Зачем здесь сидели?

Затем, что Сережа уже предъявил ультиматум, от которого корчился Блок, понимая: не удастся его растворить в молчаливом покуре, с «Сережа — какой-то такой»; этой фальши последний не принял бы; он ждал, до чего ж кузен домолчится; затем и сидел.

И было «пыхтение вместе» за чаем, обедами, после которых каждый «пыхтел» у себя, «пыхтел» на прогулке; мне, более мягкому, было вдвойне тяжело: за себя и Сережу; и я отдувался бесцельными тэт-а-тэтами, выслушивая укоризны Сереже; Блока же менее всего понимал.

Изживался пустой разговор; Сережа расхваливал драму «Тантал» В. Иванова[55],— а мать Блока темнела: привыкла к расхвалам лишь «Саши»; невеселое сидение за столом! Сережа, прожженный, взъерошенный, дикий, подняв бровь и стиснувши губы за темным усом, старается бахнуть, бывало, крепчайшую дикость; и похохатывает жутковатым громком; Александра Андреевна сереет от этого; припав головкой к столу, перепархивает карими глазками: по салфеткам, по краю стола и по ртам (не глазам), шелестя придыханием:

— «Я полагаю, Сережа, что это — не *то* и не *так:* это — брюсовщина».

— «Отчего же? Валерий Яковлевич — наш первый поэт, и он ясен как день»[56].

Ясность раздражала ее в стихах Сережи; их выслушав, Блок накрывает, бывало, стаканом: муху:

— «Нет, как-то не так!»

И — мне:

— «Поэзия не для Сережи».

Сережа же, в свою очередь, мне:

— «Саша просто лентяй... Не работает... Не могу участвовать в общем чревовещании; греческий словарь — живей».

«Лентяй» переживал полосу бесплодий, входя в мрак ритмов «Нечаянной радости», которая, по его же позднейшим словам, совпала для него с эпохой «преданья заветов»; впоследствии признавался он мне, что не любит поклонников «Нечаянной радости»; почему же в 1908 году занелюбил он нас? За нежелание принимать поэзию этой «радости», казавшейся нечаянным *отчаянным* горем[57].

Виделся *серым* не один Блок; виделась серенькой в эти дни Александра Андреевна; блекла и прекрасная пара, иль «Саша и Люба»; кроме того: тетка и мать Блока вели какие-то счеты с третьей, присутствовавшей за обедом сестрой;* Сережа невнятице противопоставил: Брюсова, Ницше, профессора Соболевского, отмахиваясь и от «колпачков», и от «дурачков»; какова ж была его злость, когда

* Софья Андреевна Кублицкая.

в шедевре идиотизма (слова его), иль в «Балаганчике», себя узнал «мистиком»: с провалившейся головой[58].

— «Нет, каков лгун, каков клеветник!— облегчал душу он.— Не мы ли его хватали за шиворот: «Говори — да яснее, яснее!» Он же в свою чепуху облек — нас!»

Факт: по мнению многих,— Соловьев и Белый тащили невинного Блока в невнятицу; корень же «при» между нами: Блок нас усадил в неразбериху свою, отказавшись дать объяснение; потом: заявил в письме, что разорвал с «лучшими своими друзьями»;[59] свидетельствую: в эти дни не он рвал отношения с тем, кого называл лучшим другом,— с ним рвали; он — все еще мямлил:

— «Сережу люблю я... хнн... хнн... Он — какой-то особенный».

Литературные, застольные разговоры выродились в замаскированные поединки; спрятавши острия рапир за цветы (Шахматово пылало пурпурным шиповником), наносили друг другу удары. Раз Л. Д. не выдержала, воскликнув:

— «Ишь — стали «испанцами»: Бальмонты какие-то!»[60]

И кто-то предложил:

— «Давайте играть в разбойники!»

Вздрогнула Александра Андреевна. Сережа запел: «Не бродил с кистенем я в дремучем лесу»;[61] Л. Д.— усмехнулась; Блок издал носовой звук и жалобно раширил мутные, голубые глаза; сидел растаращей на стуле; мне его стало жалко; думалось: Сережа — жесток; он мне виделся Брандом[62], которому не во всем я сочувствовал, предпочитая ему не фанатика; но перед ним сидел «дурачок», или — поза *умницы* Блока; этой позою мстил избалованный близкими.

В таких условиях я предпочел «Бранда»; не благороден ответ на прямой удар в грудь экивоком от рода (Бекетовы — не Коваленские-де); «отродье» карлика Миме, не Зигфрида[63], наносило такие удары*.

Правду сказать: припахивали дворянские роды; припахивали и слова: кто чье отродье; уродлива философия рода, преподаваемая поэмой «Возмездие», в которой описан упадочник, профессор Александр Львович Блок; всякая родовая мораль — поворот на «Содомы»; не «выродок» ли отравил кровь поэта? Что там «Коваленские»! У каждого собственного «добра» довольно.

---

* См. «Кольцо Нибелуигов».

В 1905 году, сидя в «гнезде», А. Блок с видимым наслажденьем выслушивал колкости по адресу чужого «гнезда»; и — думал я: уничтожить бы «дворянские гнезда»; они — «клопиные гнезда»; скоро я требовал решительных действ, а не только митингов протеста — от всех тех, *кто себя причислил к интеллигенции*, независимо от того, Бекетовы ль, Коваленские ль, Блоки ли они; я должен сказать: то, что я выслушал в Шахматове за чайным столом, что потом дослушивал в Дедове о Бекетовых, Коваленских, видящих лишь чужие сучки, а не «бревна» свои[64], лишь усиливало желанье ударить по всем «родам» одинаково.

ТАРАРАХ

Никчемная жизнь вела к взрыву, который случился не так, как его ожидали.

Вот как он случился.

Блок просил читать «Дитя-Солнце», мою поэму: в грозою насыщенный день; был Сережа угрюм; он остался сидеть над своим словарем, морща брови, готовясь к каким-то решеньям, продумываемым на прогулках; бывало, сидит: как укушенный встанет, рассеянно спустится со ступенек террасы; и — ну: замахал километрами — по полям, лесам, топям; вернется веселый; его ни о чем не расспрашиваю: расскажет и сам.

Итак,— я читал, имея перед глазами террасу: со сходом в сад; я случайно увидел, читая, сутулую спину, нырнувшую в зелень: Сережа — в тужурке, без шапки, прошел там... Читал два часа; Блоку нравились ритмы поэмы; он их обсуждал; уже подали чай: уже — ночь.

— «Где Сережа?»

— «Наверное, шагает в окрестностях; и сочиняет стихи».

Я же знал,— не стихи сочиняет, а ищет решенья; чай — выпит.

— «Сережа?»

— «Как в воду канул!»

Пробило одиннадцать: и мы сошли в сад; мы кричали:

— «Сережа!»

Обегали все дорожки; шагали по полю; над лесом повесился месяц, вытягивая наши тени на желтых своих косяках, полосатящих луг; где-то плакал сычонок.

— «Се-ре-жа!»

И кто-то сказал:

— «А в лесах много топей; коли попадет, то... Был случай...»

— «Се-ре-жа!»

Блок в стареньком, пегом своем пальтеце с перетрепанными рукавами казался длинней и рукастей, когда подобрал длинный кол; он, его прижимая к груди, на него опираясь, топтался растерянно, полуоткрыв рот; стоял без шапки; кольца вставших, рыжеватых волос завивались; и месяц облещивал их.

Било издали: час!

Мы вернулись и почему-то втроем оказались в верхней комнате: моей и Сережиной; растерянная Александра Андреевна осталась внизу; ее сердце шалило; Л. Д. уронила голову в руки; и куталась молча в свой темный платок; у всех была одна мысль: «Болотные окна!» Блок теперь поминал Сережу — с сочувственной мягкостью; стало светать; тут увидели шейный крестик, забытый на столике: зачем его снял он с себя? Л. Д. на меня покосилась с тревожным вопросом в глазах; ей ответил на мысль: «Никогда!»

— «Ты уверен ли?» — переспрашивал Блок.

Мы глаз не смыкали в ту ночь; и сидели на лавочке в розовом косяке восходящего солнца, передавая глазами друг другу: «Пожалуй что... окна»; в шесть часов верховые опять ускакали в лес: обследовать топи; Блок, севши на рыжую лошадь, за ними умчался галопом; говорили: надо бы заявить о случившемся в волости; надо бы обследовать ярмарку в Тараканове.

Я без шапки пустился бежать по дороге в синейшее утро: ни облачка; вспоминалась кончина родителей друга; и бедствия, случившиеся в его роде; неужели *стряслось* и над ним?

Ярмарка: останавливал — баб, мужиков, писарей и торговцев:

— «Не видели ли студента,— без шапки, в тужурке, в больших сапогах, сутулого, темноусого?»

Обежал все ряды: ничего не узнал; вдруг — сзади: за локоть:

— «Эй,— спросите-ка женщину из Боблова: она — видела».

Женщина вытолкалась:

— «А вы про студента из Шахматова?»

— «Да».

— «Они ночевали у нас: я сама-то от Менделеевых; студент пришел ночью; собаки наши было его покусали; барышня с барыней чаем поили; у нас ночевал».

Я — понесся обратно; кричал еще издали:

— «В Боблове, в Боблове он».

Александра Андреевна, которая задыхалась всю ночь,— тут не выдержала: прошипела со злостью:

— «Эгоист с черствым сердцем... Никому ничего не сказал... Ушел в гости... А мы-то!»

Л. Д. улыбнулась; Александра Андреевна, это видя,— пошла и пошла: и тут — о, господи — «род»; Анну Ивановну Менделееву не любила она, отделяя «Любу» от матери («Люба» же ненавидела — «тещу»); «Менделеевы» не чтились «Бекетовыми»; визит в Боблово был истолкован по-своему: «отродье» сделало этот визит, имея мысль заключить союз с Менделеевыми в «пику» Блокам: вот, вот-де они,— «Коваленские»!

Ход этих мыслей я тотчас же понял; он был оскорбителен мне; я подумал, что «мамы» и «тети» в своих родовых подозреньях не лучше «Сен» и «Душ»,— бледных дев, омрачивших последние месяцы О. М. Соловьевой*, ослабленной ими до... нервной болезни. О, гнезда дворянские: «Души» и «Сены», и «мамы», и «тети», и «бабиньки».

О,— fin de siècle!**

Я — сдержался.

Сережу мы ждали к обеду; но он не явился; под вечер из лесу всплакнуло: захлебываясь бубенцами, нарядная, пестрая тройка вдруг выскочила из деревьев; Сережа, без шапки, махал из нее, хохоча; но его Александра Андреевна как обухом:

— «Что ж, по-твоему, ты *так* поступил?»

Скажи просто,— он сконфузился бы; перед «тетушкой» извинился бы; услышав шипение, он вместо всякого объяснения «казуса» с ним заартачился:

— «Я поступил, как был должен».

Под «долгом» он разумел лишь продолжительную прогулку: он мыслил, гуляя; его слова были приняты в другом смысле, для него обидном: он нанес-де визит в Боблово в чью-то «пику»; визит был обдуман-де[65].

— «Думал ли ты, что я могу умереть?»

— «Мой долг...»

---

* См. «Начало века», глава вторая.

** конец века *(фр.).— Ред.*

— «Так из долга ты можешь переступить через жизнь?» — развивала свою «психологию» тетушка; это значило: «Иван Карамазов перед убийством отца»; она же мне говорила: Сережа-де — вылитый Иван Карамазов; под «карамазовщиной» — разумелась злосчастная «коваленщина», Иван Карамазов — черств; его братец — чувственен; черствость и чувственность сочетаются: в *черствую чувственность;* и это-де случай Сережи; а почему не сынка? «Саша» Блок, молчавший в ответ на просьбу быть внятным,— не черств ли? И «Саша» Блок, посещающий проституток,— не чувственник ли? Это все не в стиле Сережи, открытом и чистом.

Багрово засвирепев, он молчал; вопрос повторился:

— «Так можешь из долга переступить через жизнь?»

Брови сдвинулись:

— «Могу!»

И он был прекрасен, когда высказывал то, чему аплодировали и Бекетовы: Каляев и Савинков приводили в восторг их; в эти ж года слово и дело расходилось не в Сереже, а в Саше.

Мы стояли втроем перед домом; Сережа ушел; я ж излился в словах, очень резких, по адресу Александры Андреевны; и — обратился к Блоку:

— «Я более не могу: я уеду».

— «Тебя понимаю»,— ответил мне Блок.

То же сказал и Сережа:

— «Тебя понимаю».

— «А ты?»

— «Ну уж нет,— усмехнулся со смыслом он,— я остаюсь»[66].

Он мне стал объяснять казус с Бобловым: все эти дни много думал о Блоке он над словарями, затая от меня процесс своей мысли; для него провалился «кузен», точно в топь, в галиматейные образы «Нечаянной радости», которые силился увить розами он; гниловата ли «мистика» В. Соловьева, коли из нее вырастает подобное,— вот вопрос, поставленный Сережей.

— «Я шагал по лесам, разобраться во всем этом; вдруг, как звезда, осенило меня: есть, есть путь; веру в жизнь я почувствовал; тут вижу: заря впереди; я сказал себе: «Ты иди: все вперед, все вперед, не оглядываясь и не возвращаясь; путь — выведет»; я очнулся от мыслей; я понял, что я заплутался, и оказался под Бобловым».

В эту минуту он был угловат, но прекрасен[67].

Последней визитной карточкой обитателей Шахматова к нам влетела из окон летучая мышь; мы ее выгоняли, подняв свои свечи; я утром уехал; и более не был здесь.

Пережитое стояло, как боль; предстояло еще мое личное столкновение с Блоком (я был «секундантом» Сережи пока); мне казалось: противник коварен; не скрестит меча своего он с моим: «Боря, Боря» — с задумываньем удара мне в спину; горела обида за оскорбление друга; задумался и — пролетел мимо Крюкова; вот и Москва; но на что она мне?

На перроне, купивши газету, узнал: взбунтовавшийся броненосец «Потемкин» ушел из Одессы в Румынию;[68] ненависть к «гнездам», к традициям переплеталась с ненавистью к режиму.

«Ага,— думал я,— началось: навести бы орудия на все Одессы, столицы, усадьбы; и жарить гранатами!»

И — попадаю я в Павшино*, не зная зачем; здесь товарищ, Владимиров, этим летом расписывал церковь в имении Поляковых; я вылез из мрака пред ним; он же ахнул:

— «Лица на вас нет!»

Утром еду я в Дедово; умница «бабуся», увидев, каким стал у Блоков, меня ни о чем не расспрашивает; на ее устах змеится *та* сладенькая улыбочка; по адресу же Бекетовых — тонкие жальца; известно-де ей: тяжеловаты Бекетовы; Саша Блок — недоросль; словом,— «гнездо»; я знал: эти «гнезда» — «змеиные»; Дедово — тоже.

На следующий день — Сережа:[69] худой, опаленный, оскаленный смехом.

— «Ну как?»

— «Ничего,— подмигнул он мне дьявольски,— жарились в мельники!»

Вместо внятного объяснения он предложил: биться в карты; над картами три дня орал он:

— «О, карты, о, карты!»

Раскланялся: больше туда — ни ногой; «объяснился» позднее — полемикой нашей в «Весах».

Блок не понял «иронии» карт, означавшей ведь: с «умницей» — с тем говорить любопытно; с тобой любопытно

* По Виндавской дороге.

сыграть в «дурачки». Партия карт отразилась в поэзии Блока стихотвореньем, написанным: вслед за карточной битвой.

Палатка. Разбросаны карты.
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
«Слова слаще звуков Моцарта»*[70].

Это карты судьбы: человеческих отношений!

В начале лета в Дедове была мода на Оссиана, Жуковского; к концу лета на наших столиках лежали: Достоевский и Гоголь: мы сократили «бабусины» сказки за чайным столом; исчезла и «крылатка» В. Соловьева; Сережа ходил теперь в красной рубахе; крушенье утопии о человеческих отношениях отразилось в статье моей «Луг зеленый»;[71] вечерами, когда из окон «бабуси» мерцали осиного цвета огни, шли в село Надовражино из обвисшего цветами «гнезда»; и там покупали себе папиросы «Лев» (шесть копеек за пачку); все это выкуривалось у Любимовых, где задорней орались «бунтарские» песни; и им иногда откликалось издали революционное Брехово**, мерцая огнями; и там парни пели: «Вставай, подымайся»[72].

О Блоке не было произнесено ни единого слова.

По приезде в Москву я получил пук его темноватых, последних стихов: невпрочет[73]. Я послал свое мнение о них;[74] в ответ на него — Л. Д. уведомила, что она оскорбилась;[75] после чего ей писал: предпочитаю пока наши письменные отношения ликвидировать[76].

ИЗ ТАРАРАХА В ТАРАРАХ

Переезд из Дедова в Москву[77] подобен спрыгу с утеса — в волны; смыт островок вытягиваемых сказок: таким оказалось Дедово; забыт инцидент с Блоками; недаром Брехово издали посылало нам революционные песни; недаром в Дедове мы подымали протест, превышавший повод к нему; повод — ссора кузенов, эффект — взрыв, пережитый органами чувств, реагировавших не на ход событий моей личной жизни.

---

* Последняя строка взята из баллады Томского в «Пиковой даме».
** Село недалеко от Дедова.

Москва клокотала — банкетом, митингом, взвизгом передовиц: о «весне» в октябре и об октябре в весне; клокотали салоны; из заведений, ворот заводов, подвалов выскакивали взволнованные, говорливые кучки с дергами рук, ног и шей; пыхали протестом и трубы домов; казалось: фабричный гудок вырвался: в центр города; мохнатая, манчжурская шапка на самом Кузнецком торчала вопросом; человек с фронта подымал голос: «Так жить нельзя»; рабочий явился из пригорода смущать пернатую даму с Кузнецкого Моста.

Растерянный министр «Мирский» мирил всех со всеми расплывчатым обещанием, вызывая взрывы разноголосицы[78].

В воспоминаниях не осталось следа о том, что твердили мне о Цусиме, Артуре[79], о мире с японцами, о парламенте и о законодательно-совещательном соборе; не тематика споров о способах штопанья дырявистого гниловища меня волновала; хотя ею были заняты две трети знакомых: Астровы, Рачинские, Кистяковские, даже... Щукин.

Я даже не понимал, до какой степени я уже не ответствую большинству тех, с которыми связывали и знакомство и дружба; мой пафос был — ненависть ко всему режиму, не к дырам его: традиции, быту, системе правления; знакомые еще не видели моего полевения, подсовывая протесты, которые еще охотно подписывал я; оппозиционный душок шел от каждого: «Как возмутительно!»

Таково — шелестение интеллигенции: правого и левого бескрылых крыльев: до дней забастовки. Каждый строчил бумажку; и с нею летал по кружкам, организуясь и согласуясь; не до меня, «путаника», которому простителен и левый заскок, котируемый как «стихотворная строчка» (не более): «Кричите — вы; кричим — и мы; вы — по пустякам; мы — о деле».

Собирались — у того, этого, десятого-пятого; голосовали — за то, это, десятое-пятое; недоразуменья одних из «нас» с другими из «нас» еще казались случайны; и Астров весьма опечалился, когда я, Володя Поливанов, Петровский и Эллис бросили обвинения «старикам» нашего сборника «Свободная совесть», что готовимый для второго сборника материал — слащеватая заваль;[80] удивился М. Н. Семенов, скорпионовский «дядька», сперва — репетитор детей Плеханова, потом носитель цилиндра, когда я сцепился с ним; а Леонид Семенов, завтра эсер, избиваемый черносотенцами и заключенный в тюрьму, еще восклицал, побывавши у Астрова: «Как там славно: не по-пе-

тербургски!» Присяжный поверенный Кистяковский, принимавший Эллиса, не видел анархии в его выпускаемых с быстротой пулемета словах; Эллис же алогически вынырнул: в марксистских квартирах, когда-то им посещавшихся, таща из них и меньшевиков и большевиков — к нам; около него вижу товарища Пигита входящим в наши квартиры; он, нас взяв за рукав, длинноносый и большеглазый, дудел о браунингах, транспортируемых из Финляндии; и предлагал красными пропученными губами: «У меня есть для вас».

Юноша нашего кружка, студент Оленин, с браунингом, от Пигита поздней удалился за город: упражняться в стрельбе.

Кистяковский еще терпел Эллиса, пока этот предавал огню и мечу не Москву, а весь мир; я еще не узнал будущего «героя» Кронштадта, Бунакова Непобедимого, в Илье Фундаминском[81], скромно сидевшем у Фохта; пьянистка Сударская, жена Фохта, была в тесной связи с эсерами; а сестры Мамековы, посетительницы религиозных собраний,— с группою Савинкова; знали друг друга в литературных кружках; не знали еще — кто какой политической ориентации; и Морозова, меж Лопатиным и Хвостовым склонясь ко мне, очень мило конфузилась под трелями моего голоса, певшего об Эрфуртской программе[82].

— «Да, да, конечно... Прекрасно... только вот: заря и Ницше».

Я ж: зорями — зори: а революция — революцией; все это свяжется: в царстве свободы; умная барышня, Клара Борисовна Розенберг, в салоне которой бывал Каблуков, мне это доказывала меж двумя цитатами: из Ницше и... Энгельса; тайные организации уже брали «салон» на прицел.

Университет сам по себе интересовал мало; его новый «ректор от автономии», князь С. Трубецкой, пока еще «умиритель» студентов, открыл для сходок аудитории; сходки шли перманентно; ежедневно торчала моя голова из моря тужурок, чтобы потом штурмом атаковать двери квартир: и внедрять в сознания обитателей речи ораторов; я встречал сочувствие у Владимировых; я кричал с воспаленным Рачинским, а прятавшийся под мамашиной юбкой Эртель кивал из-под юбки мне: бомбы — не для него, а для нас.

— «Я же чеаэк науки, Боинька».

Я себя не узнал; папа бы сказал: «Что с тобой, Бо-

ренька?»; я поднял руку *за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции;* аудитория ж голосовала за эту трибуну, но — с сохранением занятий; ректор, князь Трубецкой, не раз появлялся на кафедре; он вытягивал оттуда длинную шею и прижимал к груди руки в усилиях нас усовестить; он поставлен был перед неизбежностью: запереть двери аудиторий, чего не хотел, иль сложить ректорство, которого он добился для прав университета.

Помню последнее его появление с усилием «спасти» автономию; тщетно: в стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы; шел же турнир: эсеров с эсдеками; Трубецкому не дали договорить; уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами, полными слез, оглядывал море тужурок:

— «Эх, господа!»

И, махнувши рукой, вышел он.

Скоро он попал в Петербург; и взлетел там в министры; но с разорванным сердцем упал на «министерском» собрании;[83] Сережа был у него, в силу традиций детства, в Москве незадолго до его смерти; он нашел его возбужденным; Трубецкой то бил себя в грудь и доказывал «безумие» нашего поведения; то, невесело веселясь, исходил в шаржах.

В эти дни я — пара Эллису, сгоравшему без остатка; то влетал он с марксистом, а то — с драматургом Полевым,— плодовитым, бездарным; обтрепанный, длинноволосый, хромой (кажется, с деревянной ногой), Полевой опирался на палку, и все ею взмахивал, свергая традиции, быты, редакции; он зачитывал Павла Астрова своими драмами, от которых мы падали в обморок; мы прозвали этого читуна — Капитан Копейкин![84] Леонид Семенов, супясь, упорствовал:

— «Такие, как он, интереснее Дягилевых!»

Забежав без калош, наследив на полу, Эллис плюхался в плюши кресла в сыром пальтеце, в набок съехавшем котелке; и тяжело дышал, мне подставив зеленое ухо (изговорился, избегался); отдышавшись, куда-то все влек:

— «Будет и Череванин!»

Мы с ним мчались по взъерошенной улице; и — бежали кругом; вероятно — добрая половина бежавших — бежала на митинг, где на стул уже вставал присяжный поверенный Соколов, чтобы басом бить в сердце дам, где со стула уже квакал Бальмонт, обдавая презрением «трусов»; от Эллиса узнаю, что рабочие готовятся выступить;

он мчал меня по каким-то квартирам — без передышки, без отдыха: от похорон Трубецкого до похорон Баумана;[85] и — ничего не помню; какой-то туман; вот с знакомого дивана мадам Христофоровой поднимается Озеров, экономист, уясняющий нам ситуацию дня; Христофорова ему кивает умильно: она поняла теперь; она едва отдувается от налога, потребованного Эллисом: в пользу организаций; у нее бывает и умница К. Б. Розенберг; эта, по-моему, открывала сеть пунктов для записи давления и политической температуры салонов; записи ориентировали, вероятно, эсдеков.

Все — туман: в эти дни: Христофорова, Озеров, Розенберг и Пигит, неумело куда-то тащащий словами о браунинге и десятках; раз он прочитал нам стихи; все мы писали стихи о «вершинах»; но мы ж — декаденты; мы — ахнули: и... и... Пигит стал за нами шагать на вершины.

— «Ги-ги-ги,— залился Эллис смехом,— вершинами таки я допек его: даже и он — «зашагал»!»

Может, шагал для того, чтобы мы, «аргонавты», шагнули: с вершины — к браунингу из Финляндии!

Памятен день похорон Трубецкого: Никитская, солнце, толпа из знакомых (казалось: незнакомые — примесь лишь): М. К. Морозова, Г. А. Рачинский, все Астровы, Л. М. Лопатин, Хвостов, Кизеветтер, и «аргонавты», и все писатели, все художники, все композиторы, профессора; и — вчерашняя сходка филологической и большой юридической; за гробом два чернобородых брата,— высокий Евгений, завтра же заместитель Сергея по кафедре, и малорослый Григорий, ответственный дипломат: хоронили — министра, ректора, философа, «либерала», профессора; гроб стянул партии: от будущих октябристов до анархистов; процессия тронулась; вспыхнули в солнце: и красные ленты венков, и золотые трубы, зарявкавшие марсельезу; московский «протест» впервые вышел на улицу; стало это бесспорно; руки, тащившие груду цветов или — гроб, перевалили за Каменный мост; из боковых улиц, расстраивая ряды Трубецких, Морозовых и Рачинских, ввалились рабочие; отовсюду проткнулись в лазурь острия ярко-красных знамен; заворчало — оттуда, отсюда: «Вы жертвою пали»; пьянил теплый день; веселились: не похороны — светлый праздник, которого ждали[86].

Не помня себя, я летел вдоль процессии: от головы до хвоста, от хвоста к голове: от Морозовой — к Леониду Семенову; и от него: к неизвестному мне рабочему, с кото-

рым затеялся разговор; точно клуб,— перенесенный под небо; точно струящийся митинг по Замоскворечью; спорящие отдельные пары, тройки, четверки; голоса заглушали оркестр и хор; Леонид Семенов, вцепившийся в цепь, и меня в цепь вцепил; мы качались с ним в цепи, схватяся за руки, растягиваясь и стягиваясь:

— «Хорошо здесь толкаться»,— он бросил под солнце; и ярким румянцем дышало лицо его.

Такова прелюдия к дням, стоившим столько жизней; процессия пухла, растягиваясь на версту: за гробом впервые шло — пятьдесят тысяч; и — не знали: через недели две пройдет двести тысяч: за гробом Баумана.

Из боковых улиц нас провожали злые, узкие, монгольские глазки маленьких, плотноватых бородачей в синих кафтанах, в мохнатых шапках, вцепившихся сапогами в бока взъерошенных лошаденок, с кулаками, сжимающими нагайки: отряды уральцев и оренбуржцев; уже зажглись фонари; пухнувшая толпа, в которой уже затеривались знакомые, только тронулась: от Калужской площади; вдруг закупоренно все встали: издали виделись стены Донского монастыря, проглотившего лишь испуганно жавшихся к гробу университетцев; проголодавшийся, потерявший знакомых, я, выцепясь и выхвостясь, сел на извозчика; а еще позднее, когда рабочие со знаменем шли обратно, то отовсюду на рыженьких лошаденках выскакивали мохноголовые дикари калмыцкого вида: и — захлестала нагайка.

Скоро потом на столбах закричало объявление Трепова: «Патронов не жалеть!»;[87] я влетел к Эллису:

— «Бойкот офицерам!»

Они, вернувшись с войны, казались мне левыми; я ждал заявления: «Стрелять не будем»; его — не было; вот я и придумал бойкот; мы с Эллисом мчались к Астрову, рассуждая: имея брата, Николая, в Думе, чего ему стоит широко организовать бойкот? С Астровым сидел тяжеловатый, прихрамывающий блондин; выпучив глаза, он быстро захромал в переднюю после нашего заявления; это был М. Челноков, будущий городской голова; Астров, пальцами защемивши коленку, ломая суставы, сверлил глазами, став строгим, напомнивши какого-то прокурора; и суховато нам разъяснил: такой бойкот — озорство политической недозрелости, дробящее силы: вооружать против нас ни в чем не повинных.

Мы — вон, на все четыре стороны агитировать и получать щелчки в нос; куда там бойкот: изо всех учреждений

высыпали кучи чиновников, присоединявшихся к забастовке; учреждения — одно за другим — закрывались; мой «дядя Коля» (брат матери), тишайший столоначальник казенной палаты, выпятил бакен и грудь, требуя прав; и он — бастовал; «тетя Катя» — и та пищала на «Службе сборов».

«Широко организованный» бойкот был изжит индивидуально: увидавши незнакомого генерала в пустом переулке, я вдруг, точно гусь, вытянул шею; и мелкими шажочками за ним побежал, пересек пустевшую мостовую; в генеральское ухо, заросшее седым волосом, раздался шип:

— «Убийца, убийца!»

«Убийца» остановился, посмотрел на меня, вполне растерянного, серыми испуганными глазами; и мы — наутек: друг другу выставив спины.

Долго потом я конфузился: «убийца» ли незнакомый старик? Помнились все — морщинки у глаз; и — виноватая улыбка.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА

Забастовывал завод за заводом; железнодорожники останавливали движение поездов; московский узел отрезался;[88] забастовали газеты; лихорадочно раскупались листовочки Забастовочного комитета, ведшего переговоры с бессменно заседавшей Думой; электричество вдруг погасло; улицы погрузились во мрак; в квартирах теплились свечи; я успокаивал мать, наполнявшую все сосуды водой: *комитет* позаботится о воде и о прочем; но водопровод — действовал.

Улица: темь, слепые окна, щиты на витринах да бараний тулуп, ставший уже при воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего: с поднятым воротником:

— «Студента — избить!»

Таков Арбат; одинокий прохожий — я.

Пустыня неосвещенного переулка; и — гвалт улиц центра, где терлись люди, ощупями, напоминающими пожатие поздравляющих рук: дожили до красных деньков; заливал мрак и энтузиазм расширенного сознания: рекорд забастовок — побит; Европа видит впервые на деле разрешенье спорного доселе вопроса о том, осуществима ли всеобщая забастовка.

Осуществилась!

Сознание осветило тьму в светлый праздник, а гул улицы — в перезвоны колоколов; неизвестные люди, в помятых шапках, схватывались руками на переполненных мостовых без единого полицейского, без единой пролетки; передавали друг другу надежды; переживали друг друга братьями; уши строились в кабель, по которому бежал ток от завода к Думе, отражаясь мгновенно же во всех квартирах:

— «Слышали?»

— «Что?»

— «Где?»

— «Как?»

Встав на тумбу, оглашали известие улице.

Петровский, Эллис, Сизов,— тройка, яркая мне в эти дни,— переносились из конца в конец города: делали набег на Владимировых;* «мамаша-вулкан» с середины комнаты, сидя на стуле, нога на ногу,— дымящейся папироскою дирижировала в революцию: «Здорово!.. Молодцы!»

С раннего утра я пропадал, обегая квартиры, митинги, улицы; толкался на переполненной народом Тверской, где мостовую громил сапог забастовщика; поздней ночью я нахлобучивал на лоб старую отцовскую шапку, чтобы спрятать «студента», сжимая рукою в кармане отцовский «бульдог»; я шагал в кромешные тьмы, думая, что вооружен: до зубов; впоследствии выявилось: дуло «бульдога» залеплено дрянью; выстрели я,— он бы тявкнул в лицо; в кривых, заборчатых дорогомиловских закоулках шмыгала тень избивателя; видел я приподымаемый кулак с движеньем навстречу мне, но бросался рукою в карман: схватить свой — «бульдог»; тулуп отступал, обливая руганью в спину: «Жидовская сволочь!»

Памятен вечер: я, Петровский, Сизов снова были у Астрова: опираясь на Думу, чего ему стоит наладить бойкот (и наивен же был!)? Астровы сидели, толкуя о левых думцах и правых комитетчиках; вторичный отказ, и мы — во тьме Каретной-Садовой: с решением пробовать свои силы; сутулый извозчик везет к Моховой; университет, ставший многотысячным митингом, нас разделяет: в одну аудиторию — Сизов; мы с Петровским — в другую: с идеей бойкота офицеров, могущего повлиять на дух войск; попадаем к эсерам; тусклые свечки у кафедры отбрасывают точно бледные свои веки на море голов, утопаю-

* См. «Начало века».

щих в мраке; гавк о том, что режим — свергнут; какая-нибудь ничтожная схватка; и — кончено; от, скажу прямо, бреда пьянеем: крик, граничащий с провокацией, иль провокация с риском стать действием бомб? Заявлялось: завтра сорок тысяч с ног до головы вооруженных рабочих явятся в такой-то час перед Думой; и подлец тот — кто не явится с ног до головы вооруженным туда.

Впоследствии оказалось: сорок тысяч вооруженных с ног до головы рабочих не помышляли явиться: помышляли об этом сумские гусары, чтобы с черносотенцами Охотного ряда произвести обычное избиение попавшихся в ловушку; ловушка и породила карикатурную по последствиям, но трагически начавшуюся «осаду» университета[89]. Бред действовал: нам представилось: не явиться у Думы — быть трусами; думалось не о бойкоте совсем: ожидая очереди, я переговорил с председателем сходки, сказавшим: «Вы видите сами: какой тут бойкот?»

Задумчиво возвращались с Петровским в пустыне улиц с решеньем: слить судьбу с завтрашним утром, которое казалось не шуткой; прощаясь, Петровский сказал: «Хоть раз в жизни надо хоть в чем-нибудь стать в точку правды, чтоб хоть одно из слов стало делом».

Решили встретиться: перед Думой.

На другое утро, до чая, я выюркнул на пустынный Арбат: ни дворников, ни полиции; такова ж и Арбатская площадь; пусто — перед Манежем; оглядываясь, искал: где сорок тысяч? Не было и вчера оравших студентов; я думал, что драться-то не с кем; на площади — никого; есть-таки: «союзники» в борьбе с произволом, или — спина впалогрудого студента, с ушами, обмотанными башлыком; он, качаясь, стучал своей палкой по направлению к Думе, перед которой топталось человек пятнадцать, не настроенных дорого продать свою жизнь; сиро — на Думской площади; и — на горбатой Красной; поражающее отсутствие даже случайных студентов, снующих всегда здесь: распрятались по постелям.

В ожидании хотя б «сорока» человек, а не тысяч прошло с полчаса; подошло еще полтора десятка; попробовали думскую дверь; она — заперта; а вот и пляшущий конями эскадрон сумцов с картавящим команду офицером-мальчишкой, их выстроившим перед нами; посмехи добродушные: сумцов на нас; было видно: «битвы» не будет; боевой пыл во мне стал мыслью о чае: в кофейной Филиппова, куда я направился, чтоб, подкрепив силы, заглянуть и сюда: не наклюнется ли что-нибудь.

В таких мыслях вошел я в кофейню; и сел за столик около окна; видел уже за чаем: фигуры с палками замелькали мимо; и, очевидно, к Думе; удостоверившись по часам, что я был на месте ранее срока, я, расплатившись, слился с шагавшими вниз по Тверской; и сразу ж заметил необыкновенное возбуждение: в конце улицы; люди валили навстречу; говор усилился; мостовая пропустила ехавших на рысях все тех же гусар, предводимых все тем же розовогубым мальчишкой; солдаты теперь озлобленно торопились проскочить мимо с багрово дрожащими лицами; глазки их бегали по толпе; у офицерика дергался каждый мускул сжатого губами и бровями лица, избегавшего взглядов.

Я, ахнув,— вперед, сшибаясь с бегущими навстречу; водоворот, голосящий, что били и бьют; пролокотившись к концу Тверской и вставши на цыночки, видел кусок Думской площади и бег со всех ног — на нас; посыпались выстрелы; набежавшие смяли нас, увиделась и доска над согнутой спиной, и вздерг толстых палок в ручищах, привыкших разрубать бычиные туши; далее — бегство всех нас (я бежал, как и все); и крики: «Охотнорядцы!»[90]

В те годы я всех обгонял; и по мере того, как я обгонял, настроенье менялось; паника переходила в спортивное упражнение; свернувши с Тверской, с поредевшими кучками убегающих, я попал в Долгоруковский переулок; пробегая мимо лаборатории*, часть «бегунов» ринулась в ворота университета, за которыми суетились студенты, рабочие, штатские; вот с какими-то досками побежали к воротам из глубины двора.

На Никитской остановился: и стал расспрашивать про подробности избиения.

Не помню, куда попал; помню Эллиса, сообщавшего мне: вечером — мы на фабрике «Дукат», где эсдекский доклад; тут узнал: университет забаррикадирован; я бросился обратно к университету.

На Моховой и Никитской — полиция, пристава; конница распрятана в переулках, против Зоологического музея, на тротуаре — черносотенные картузы; у щели полуприкрытых университетских ворот — кучка вооруженных студентов: организованная охрана; я — к ней; и напал на знакомого, руководившего охраной ворот, за которыми уж лежали какие-то груды, чтобы можно было в любую минуту завалить проход; на университетском дворе — бегот-

* Здание химической лаборатории выходило на переулок.

ня и таск ящиков; юноши, выдернув жерди университетской решетки, вооружались ими; окрик паролей и куда-то откуда-то спешный проход десяток; в лаборатории делали динамит и бомбы; мне сообщили, что серную кислоту будут лить с музея на головы черносотенцам: в случае приступа; предвиделась осада с измором; нужен-де провиант; потому — денег, денег!

Я получаю миссию: собирать эти деньги; и или приносить самому, или передавать в руки тех, которые будут держать связь с городом; меня вывели через щель; я — куда-то ушмыгиваю и уже себя застаю в богатых квартирах: за сбором дани; оттуда — на подступах к обложенному университету: сдать свою сумму; с второй же порцией денег я застреваю в гнилых, ныне сломанных переулках: меж Моховой и Александровским садом: отрезана — Никитская; на Моховой — ловят; передаю деньги в «руки», меня уверившие, что они тут — от «связи»; не было же мандатов: ни у меня, ни у «рук»; «руки» — ушмыгивают: от крадущихся в переулках теней; я ж — оказываюсь около Александровского сада: во мраке, чтобы найти себя на Тверской в толоке тел, мне сующих деньги на оборону без справок; даже не сообразил, что могу сойти за обманщика; то же проделываю и в кофейне Филиппова, обходя тускло освещенные столики с шапкой в руке; кто-то в перемятой шляпе меня усаживает рядом с собою за столик и мне басит в ухо, что бомбы делать — легко: отвинти ламповый шар, высыпь дробь, и — оболочка готова; поблагодарив за науку, я прощаюсь; и на этот раз с новым «уловом» проныриваю: в ту же все воротную щель.

Ночной университетский двор освещен пламенами костров, за которыми греются дружинники; иные калят на огне острия своих «пик» (жердей решетки).

— «Алексей Сергеич, как,— вы?»

Петровский, тоже дружинник, тоже присел: калить «пику»; он объяснил, как явился к Думе позднее меня и вместе с другими был загнан в университет, где засел в решимости выдержать осаду; и — драться; побродив по двору среди вооруженных кучек, я получаю задание: выйти, чтоб завтра, с утра,— продолжать свои сборы; я узнаю: Оленин, знакомец, сидит на крыше: с серною кислотою.

Я — выюркнул: встретиться с Эллисом, чтобы вместе — на фабрику «Дукат»[91].

Тащимся: на извозчике; с ворчаньем стегал он лошадь мимо каких-то вокзалов; пакгауз торчит из мрака; а на

коленях у нас — карамороп скрючен под верхом пролетки Сизов: в широкополой шляпе; пересекаем какие-то рельсы и натыкаемся на рогатку.

— «Стой!» — голос из тьмы; и — твердые физиономии; схватывается за узду лошадь; проломленный котелочек Эллиса и угол локтя руки с тросточкой описывают дугу — во мрак; голоса, уже где-то поодаль:

— «Свой!»

Рабочим это вполне неизвестно; и,— слышу,— склоняется:

— «Дукат, Дуката, Дукату!»

Пропущены: в район, охраняемый вооруженными забастовщиками; звонимся в массивные двери подъезда: «дукатова», вероятно, особняка (я-то думал,— к рабочим на фабрику); дискуссия — в салоне у фабриканта (сам на себя он, что ли, восстал?); Дукат, плотный брюнет в кофейной пиджачной паре[92], выходит в переднюю с извинением: публики — нет, дискуссии — нет; он вводит в комнату: в бархате мягких ковров из наляпанной великолепицы тяжелого безвкусия — стол ломится хрусталями, дюшесами, прочим «бон-боном»; серебряно-серое платье мадам Дукат; приветствует нас бородкой и длинным носом... Пигит, а К. Б. Розенберг беседует с моложавым, седоволосым Адашевым, артистом театра. Дукат потчует папироской («Дукат»); я же думаю: что же он,— ниспровергает себя? Пигита не интересуют бомбоны: «бомбы»; ох уж эта К. Б. Розенберг, собирательница с буржуазных салонов дани «на партию»; с Христофоровой, с мадам Кистяковской — дань собрана; завтра за данью визит к Щукину; «осада» отлагательств не терпит.

И — что слышу я? Потирая руки и силясь быть светским, Пигит предлагает Дукату с Дукатшей из этой уютной гостиной совершить невиннейший «парти де плезир»;[93] то есть — в ночь на извозчиках двинуться в университет: присоединиться к восставшим!?!

Приняли ль перетерянные хозяева это игривое предложение,— не помню; но помню: Адашев, Пигит, Розенберг, Сизов, Эллис и я — в мраке; из мрака вынырнули извозчики, на которых мы сели: я вез К. Б. к университету, с ней разговаривая о теории соответствия Шарля Бодлера[94], которая есть — антиномия меж поэзией символистов и баррикадами; присоединивши К. Б. к Адашеву у все той же «щели», перебежал мостовую, помня задание: завтра, с утра,— денежные сборы; но заинтересовался кучечкой картузов под фонарем: на углу Шереметевского переулка;

и я услышал мордастого «араратора»: «Бей сволочь»; тут я ретировался во тьму, радуясь, что шапка отца и нарочно развалистая походка меня выручили: «студент» был неузнан.

Рано утром Петровский, явившийся целым, рассказывал: уже под утро, после переговоров начальника «осаждавших» с начальником «осажденных», последние, не сдавая оружия, были выпущены из университетских ворот и прошли мимо войск, разбредясь по домам.

Жертв не было.

Провозглашенье «свобод» я встречаю на улицах;[95] со мною — Сизов; мы бродим в толпах; вот — Красная площадь; вот — красное знамя; а вот — национальное; на каменный помост Лобного Места вползает черная голова пересекающего площадь червя: процессии монархистов; фигурка протягивает с помоста трехцветный флаг; в это время красное знамя головки красной процессии поднято на тот же помост: над теми же толпами: «свобода» слова; только — чем это кончится?

Два знамени — рядом; красное держит как вылитый из стали высокий, рыжебородый мужчина в меховой шапке; этот голос я слышал уже: в эпопее последних дней; мы — под ним, вздернув головы; солнечный косяк горит на кремлевском соборе; в небо темное, как фиалка, врезаны: и золото куполов, и воздетая ладонь краснобородого знаменосца, бросающего над тысячами голов:

— «Мы ведем вас к вечному счастью, к вечной свободе!»

Рядом черненькая фигурочка, вцепясь в трехцветное знамя, до ужаса напрягает мне розовый воздух; как кровь, красны пятна Кремля, на фоне которого два знаменосца двух станов друг к другу прижаты как символы двух Россий, меж которыми — пропасть; утопия — в воздухе; пахнет оружием!

Через тринадцать лет я тут был: проходило море знамен в день первой годовщины Октябрьской революции; темненькая фигурка уже не сжимала знамени; и вспомнилось: тринадцать лет назад, когда мы стояли с Сизовым на площади в те же именно часы, а может быть, в те же минуты,— был убит Бауман;[96] этого мы не знали еще, дивуясь «свободе» манифестаций; Сизов — ликовал; а я точно был покрыт тенью, упавшей из будущего: канонада Пресни, немецкий погром[97], штурм Кремля, похороны Ленина.

Я слушал тогда:

— «Мы ведем вас к вечному счастью!»

Сизов воспринял: уже «привели»; я ж воспринял: «впервые поведем» — через что?

К ночи узнали: убит Бауман; помнился образ рыжебородого знаменосца; я его никогда не видал потом,— в дни, когда черные фигурки полезли отвсюду; они готовились к предстоящим убийствам.

Помню день похорон[98].

Я ждал процессию в начале Охотного ряда, имея перспективу из двух площадей с подъемом на Лубянскую площадь; голова процессии не показывалась; тротуар чернел публикой; вырывались яркие замечания; вот — в черном во всем «дамы света», вот — длинный, ерзающий при них офицер; лицом — Пуришкевич; они хоронили Россию; в воздухе взвесилась серая, холодная дымка; и пахло гарью; от времени до времени площадь пересекали верхом — студенты технического училища; офицер воскликнул, вскочивши на тумбу:

— «Смотрите?»

Смотрели: и «дамы» и я,— куда он указал; от Лубянской площади; точно от горизонта, что-то пробагрянело; заширясь, медленно текло к «Метрополю»; ручей становился алой рекою: без черных пятен; когда голова процессии вступила на Театральную площадь, река стала торчем багряных — знамен, лент, плакатов: средь черных, уже обозначенных пятен пальто, шуб, шапок, манджурок, вцепившихся в древки рук, котелков; рявкнуло хорами и оркестрами; голова процессии сравнялась с нами: испуганный офицер переерзывал с места на место.

А там-то, там-то: —

— с Лубянки, как с горизонта, выпенивалась река знамен: сплошною кровью; невероятное зрелище (я встал на тумбу): сдержанно, шаг за шагом, под рощей знамен, шли ряды взявшихся под руки мужчин и женщин с бледными, оцепеневшими в решимости, вперед вперенными лицами; перегородившись плакатами, в ударах оркестров шли нога в ногу: за рядом ряд: за десятком десяток людей,— как один человек; ряд, отчетливо отделенный от ряда,— одна неломаемая полоса, кровавящаяся лентами, перевязями, жетонами; и — даже: котелком, обтянутым кумачом; десять ног — как одна; ряд — в рядах отряда; отряд — в отрядах колонны: одной, другой — без конца; и стало казаться: не было начала процессии, начавшейся до создания мира, отрезанной от

тротуаров двумя цепями; по бокам — красные колоновожатые с теми ж бледными, вперед вперенными лицами:

— «Вставай, подымайся!»

Банты, перевязи, плакаты, ленты венков; и — знамена, знамена, знамена; какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище? Вышел впервые на улицы Москвы рабочий класс.

Смотрели во все глаза:

— «Вот он какой!»

Протекание полосато-пятнистой и красно-черной реки, не имеющей ни конца, ни начала,— как лежание чудовищно огромного кабеля с надписью: «Не подходите: смертельно!» Кабель, заряжая, сотрясал воздух — до ощущения электричества на кончиках волос; било молотами по сознанию: «Это то, от удара чего разлетится вдребезги старый мир».

И уже проплыл покрытый алым бархатом гроб под склонением алого бархата знамени, окаймленного золотом; за гробом, отдельно от прочих, шла статная группа — солдат, офицеров с красными бантами; и — гроба нет; опять слитые телами десятки: одна нога — десять ног; из-под знамен и плакатов построенные в колонны — отряды рабочих: еще и еще; от Лубянской площади — та же река знамен!

Втянутый неестественной силой, внырнул я под цепь, перестав быть и став «всеми», влекшими мимо улиц; как сквозь сон: около консерватории ухнуло мощно: «Вы жертвою пали»! Консерваторский оркестр стал вливаться в процессию.

У Кудрина вырвался, чтобы попасть к меня ожидавшему Соловьеву; очнулся у самоварика, из-под которого глянула сладенькая «бабуся»:

— «На вас лица нет».

Было вперенье во что-то, впервые открытое: «Мировой переворот — *уже есть!*» И он — лента процессии, пережитая как электрический кабель огромной мощи.

Товарищи Сережи — студент Нилендер, студент Оленин — о чем-то спорили; багровый Рачинский отплясывал между нами словесные трепаки; напяливши меховую шубу, он вовлек меня в переулок, где, встретясь с кем-то, узнали: около Манежа расстреляна одна из возвращавшихся с похорон колонн[99].

И вспомнились красные косяки зари на Кремле; это — пятна крови расстрелянных.

НЕДОУМЕНИЕ

Темная фигура, взвившая национальный флаг, таки убила красного знаменосца; она выросла перед каждым, каждого убивая по-своему: одного — ломом по голове; другого — медленным перерождением его самого; погромы гуляли по площадям; явились из тюрем преступники, вооруженные городовиками; они с «правом» грабили; погром шел вперебой с манифестациями свобод на газетных столбцах; не чувствовалось роста волн, а ярость разбития их о выросшие граниты; червем испуг въелся в сердце; укоротился список героев активной борьбы; из него вычеркнули себя — октябристы, кадеты и обновленцы; зарыскали всюду зубры «Союза русских», «Союза Михаила Архангела», «Союза активной борьбы с революцией»[100], председатель которого, Торопов, заявил: он предложит себя к услугам для исполнения казней; вылупились Пуришкевичи, докторы Дубровины и протопопы Восторговы; Владимир Грингмут, питаясь идеями их, распухал точно клещ; и уж откуда-то в нос шибануло Азефом.

Дерябили мозг слухи; карикатуры на Витте и на зеленые уши Победоносцева воспринимались мною как писк комаров, отвечающий на хруст раздробленных бронтозавром костей; инцидент, случившийся в реальном училище Фидлера, выявил только надлом революции;[101] в сознание запал Бунаков-Фундаминский, которого некогда встретил у Фохтов.

Но росло впечатление похорон Баумана; и рос образ рыжебородого знаменосца, сказавшего с Лобного Места над толпами: «К вечному счастью!» И слышался звук топора, ударяющего по плахе; таким виделся удел революции; еще не виделся семнадцатый год; и опускались руки, и — подымалась злость.

Я засел у себя, не видясь ни с кем, кроме близких,— как я — перетерянных; революционные партии, временно затаясь, принимали решения; горсть же людей, развивавших пафос в дни забастовки, переживала отрыв: и от недавних «друзей», которые появились справа, и от всех тех, с кем мы встретились только что в дни забастовки.

Леонид Семенов, ставший эсером, нашел себе дело;[102] а мы пребывали в бездеятельности.

Почему?

Проблема партии («pars») виделась: ограничением

мировоззрения («totum'а»), сложного в каждом; на него идти не хотели, за что не хвалю,— отмечаю: самоопределение, пережитое в картинах (своей в каждом), было слишком в нас односторонне упорно; слишком мы были интеллектуалисты и слишком гордецы, видящие себя на гребне культуры, чтобы отдать и деталь взглядов: в партийную переделку; слушая наши дебаты, агитаторы пожимали плечами; им была непонятна гипертрофия абстракций, оспаривающих Гегеля, Канта, Милля, подчас и Маркса; каждый из нас,— Сизов, Киселев, Эллис, Петровский, я,— напрочитав уйму книг, не соглашались с каждой; каждого из нас в ту пору я вижу перестраивающим сверху донизу любой сектор политики у себя в голове; ведь мы видели себя теоретиками и вождями; а нам предлагалось идти в рядах; мы не были готовы на это; грех индивидуального задора сидел крепко в нас; позднней повторили по-новому мы историю Станкевичевского кружка, разбредшегося по всем фронтам[103] (Катков возглавил «самодержавие»; Бакунин хотел возглавить «интернационал»; Тургенев возглавил кисло-сладкую литературщину);[104] нас припирало не к баррикаде «от партии», а к баррикаде томов, которые должны мы были прочесть — из воли к дебатам.

С. М. Соловьев вбирал в себя народничество и варил из него и из трудно преодолеваемых томов Владимира Соловьева собственное эсерство; Н. П. Киселев и М. И. Сизов,— первый из истории трубадуров, второй — из естествознания и только что им усвоенной логики Дармакирти,— выварили свою анархию; я силился спаять марксизм с... символизмом (?)![105]

Пафоса хоть отбавляй, но у каждого в голове — «своя» революция!

Степень нашей беспомощности выявил мне Н. П. Киселев, просидевший начало революции над старыми фолиантами; вдруг он явился ко мне; и пробасил сухо, раздельно, строго:

— «Не устроить ли нам,— т. е. мне, Сизову, Петровскому, Эллису,— минный парк?»

Мы — сидели без гроша, без дисциплины, без опыта; а он предлагал нам тотчас приняться за рытье окопов, за взрыванье правительственных учреждений; знаю я: порыв искренен был; тем не менее: предложение это — бред[106].

Революционный жест повис в воздухе; теоретики — да; практики — нет.

После похорон Баумана чинуши, мещане и лавочники прятались по квартирам, ропща о попрании анархистами «всемилостивейше» дарованных свобод: «Не будет снова света: все — забастовщики!» Вчера «протестующие» капиталисты,— прописались в «либеральных» участках (у кадетов иль октябристов): «Чего еще надо?»

Штрих, характеризующий перемену в умах: я шел в переулке, выбегающем к Знаменке; против дома известного миллионера С. И. Щукина, вчера ходившего в «либералах», наткнулся на интересное зрелище; но прежде надо сказать: Сережа, учившийся с сыном Щукина, одно время дружил и с Катей Щукиной, барышней бойкой, способной на все; она пригласила Сережу в шаферы (на свою свадьбу); Сережа ей заявил: он согласен — с условием, что будет в красной рубахе, в смазных сапогах; «Кате» это понравилось; папаша же — не позволил; Сережа отказался от шаферства; Сергея Ивановича Щукина видывал у Христофоровой я, за сына которой Катя выходила замуж; Щукин держал себя просто: ездил на простеньком «Ваньке», в набок съехавшем котелке; интересно описывал он свои путешествия; и смаковал Гогена, Ван-Гога, Сезанна.

Против дома его я видел кучу тулупов, встречаясь с которыми в эти дни я соскакивал с тротуара, хватался за спрятанный в кармане «бульдог»; на этот раз краснорожие парни с полупудовыми кулаками весело ржали, выслушивая интеллигента; он «агитировал» среди них, подставляя мне спину; лица я не видел; но в спину забил знакомый «басок с заиканьем»:

— «Ч-ч-что в-в-выдумали? А? Это все ин-ин-ин-инородцы».

Повертываюсь: щукинские, пропученные из-под черной с проседью бородки губы; «агитировал» он около задних ворот Александровского училища: х-х-х-хорошо охранять п-п-п-переулок на случай, если бы...; сконфузясь за него, я — наутек, чтоб меня не узнал; и — попал на Арбатскую площадь; там стояли «тулупы» во всей грозной силе приподнятых бородищ и сжимаемых полупудовых кулаков; в эти дни избивали жестоко.

Выявилось поведение буржуазии: заискиванье перед вождями эсдеков, могущих влиять на рабочих,— до «эсдекских» докладов в салоне; натянутая фальшь любезных улыбок в ответ на левизну наших слов; и — обращение в переулках к нас бьющим тулупам.

Невеселые сомнения обуревали, когда я шагал одиноко меж кресел зеленого моего кабинета, не зная, что делать с собой; поднимались ропоты и на... Блока: в эти дни я себе самому заповедовал глядеть в корень разногласия с ним.

Вдруг осенило: «Надо бы сейчас ему написать: *все сказать*»; а — почтово-телеграфная забастовка, которой конца не предвиделось; в Москве — делать нечего; в Петербурге уже заседал рабочий «совет депутатов»[107], с которым считался и премьер Витте; «революция в действии» — билась на месте; совет виделся крепким.

Просвет последних дней — концерты Олениной-д'Альгейм и дружеские беседы за чаем в гостиной д'Альгеймов, где интересно смешалися: эсерствующая Варя Рукавишникова, сестра поэта, гологоловый, потерявший волосы брат Николая Бердяева, Л. А. Тарасевич, бактериолог, лишенный кафедры за левизну, его «левая» жена, ее сестра, кн. Кудашева, ее брат Стенбок-Фермор, привлекали и родственницы певицы, Тургеневы; передо мною вырастает фигура сухой, худощавой, не то моложавой, не то летами почтенной, не то некрасивой, не то интересной дамы с короткими, полуседыми подстриженными волосами, затянутой во все черное, пристальными глазами она, расширясь на вас, как будто вас пьет и на слова отвечает понимающей, грациозной улыбкой, со встрясом волос и стреляет дымком папироски; головной черный берет от этого встряха свисает на ухо.

Словом: Софья Николаевна Тургенева (впоследствии Кампиони), урожденная Бакунина (дочь Николая Бакунина), очень мне нравилась; мне нравились ее дочки, Наташа и Ася, девочки шестнадцати и пятнадцати лет — по прозванию «ангелята»;[108] ими увлекались; мамашу их называли с Сережей мы «старым ангелом»; в ней была смесь аристократизма с нигилизмом; ее кровь прорабатывала анархиста «Мишеля» Бакунина, его брата, розенкрейцера, Павла, Муравьева-Апостола, Муравьева-Вешателя, Муравьева-Амурского и Чернышевых, потомков Петра Великого: юная Наташа, кокетливо выводя углем усики, делалась вылитым отроком Петром.

Софья Николаевна интриговала способностью «на какое угодно» безумие, самопожертвование, на просто «гаф»;[109] нравилось сочетание острого ума со встряхом полуседых волос; «сединой в волосах при бесе в ребре» — гордилась она; она только что разошлась с разорившимся помещиком, Алексеем Николаевичем Тургеневым (пле-

мянником писателя[110], отцом девочек); и в нем взыграли предки-декабристы: он произнес на сельскохозяйственном съезде эсерскую речь; полиция точила на него зубы; скоро в его квартире стали приготовлять бомбы, которые раз в фартуке протащили мимо шпиков нянюшка Ариша и третья дочурка, Таня; Тургенев умер от разрыва сердца, спасшего его от каторги; полиция, явившаяся его арестовать, наткнулась на прах.

Семейство Тургеневых отметилось остротою тонкого вкуса и наследственным бунтарством; девочки эпатировали «буржуа»; хотя глазки Наташи серафически расширялись, однако она уж задумывалась над проблемой Раскольникова («убить или не убить»); одновременно: читала святую Терезу и Ангела Силезского; нравились миндалевидные, безбровые глаза Аси; в ее улыбке слилась Джиоконда с младенцем.

Д'Альгеймы, Тургеневы, Тарасевичи виделись в эти дни мне коммуной; и к ним тянуло; не раз казалось: зачем в Петербург? Ходить к д'Альгеймам, прислушиваться к пению Олениной и упокаивать взор на копиях с Ботичелли, с Филиппо Липпи: на Наташе и Асе.

Раз стоял над Москвой-рекой; закат — злой, золотой леопард — укусил сердце; оно заныло: «Нет,— ехать, ехать!»

Билет взят: в Петербург![111]

Глава вторая
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМА

ПЕТЕРБУРГ

Остановился я на углу Караванной[1], откуда писал Блоку: жду его видеть у Палкина;[2] после ссоры с Александрой Андреевной и письма к Л. Д. не хотел ехать к Блокам; долго сидел я в переосвещенном зале, средь столиков, над которыми, бренча мандолинами, передергивала корпусами, затянутыми в атлас, капелла красных, усатых неаполитанцев; и вижу: студент с высоко закинутой головой нащупывает кого-то за столиком: Блок! Перед ним — похудевшая, в черном платье Л. Д. пробирается нервной походкой; оба издали обласкали улыбкой; в протянутой руке Саши прочел: «Объяснение — факт приезда!» Мы сели за столик, конфузясь друг друга, как дети, которым досталось; и стало смешно: Саша с юмором воспроизвел «сцены» в Шахматове со взрывом «испанских страстей»; Л. Д. улыбнулась: «Довольно играть в разбойников»[3].

Не было объяснений: стесняла Л. Д.; и кроме того: Блок сумел, точно тряпкой, снимающей мел, в этот вечер стереть все сомненья; рисую его, каким виделся он, без еще понимания, почему же в Шахматове был он другим; а он — вот он какой (увы, скоро опять обернулся «коварным»); пережитое в Шахматове показалось химерою; Л. Д. встретила с необыкновенным радушием; Александра Андреевна теперь называла меня просто «Борей», доказывая: мне-де жить в Петербурге; Москва-де нервит; здесь-де будет теплей; все поглаживая по плечу, наклоняясь и глядя глазами в глаза; приговаривала с таким ласковым шепотом:

— «Как вам без нас обойтись? Вы же — наш».

Бекетова, Кублицкие, Блоки расспрашивали о Сереже с участием; думалось: летний приезд — невпопад; мы некстати вломились с программой собственных «разгово-

ров»; произошло недоразумение: на почве нервности всех; и его я, вернувшись в Москву, непременно Сереже рассею.

А «объяснение» с Блоком?[4]

Но здесь — отступление: этот этап отношений с поэтом подам под вуалью; в него вмешаны лица, которых роль видится мне до сих пор отрицательной; я не бросаю прямых обвинений, не зная тогдашних мотивов, создавших из Блока «врага»; требования себя объяснения эти лица отвергнули; да здравствует именуемое: «неизреченность»!

Судьба пошутила: в «Начале века» я рассказал, как встал на дороге Брюсова; не прошло и двух лет, как... Блок встал на моей дороге.

Была в Петербурге дама; назову ее Щ.;[5] мне казалось: мы любили друг друга; часто встречались; она уговаривала меня переехать;[6] я ж был уверен: ее любит и Блок; перед Щ. стояла дилемма: «Который из двух?» Я хотел сказать Блоку, что может он меня уничтожить; он может просить, чтоб убрался с пути; коли нет, то настанет момент (и он близок), когда уже я буду требовать от него, чтобы он не мешал.

Вот с чем ехал.

Объятья поэта, открывшие мне роковой Петербург, означали одно: «Боря,— я устранился»; я этот жест принял как жертву; взрывом взвинченной благодарности на него отвечал; а ревнивая подозрительность, что неправильно мною понят жест Блока,— отсюда.

Зинаида Гиппиус — моя конфидентка в те дни — мне внушает доверие, прибирая этим к рукам; она укрепляет во мне убеждение, что я — для Щ. и что Щ.— для меня;[7] разговор с Зинаидою Гиппиус, посещения Щ. и простертые братски мне руки немого поэта — причины, почему иные поступки мои в эти дни — диковаты; не ясны: Блок, Щ.; ведь последняя, не объяснивши себя, меня вынудила скоро думать, что изнанка ее обходительности — эксперимент похоти, сострадание — любопытство к мушиному туловищу с оторванной головой, «чистота» — спесь и поза комедиантки, взывание ж к долгу — безнравственность; когда Блок разрешился поздней прямым словом о Щ., то упал повод к вражде с ним; в годах восстанавливались человеческие отношения.

Раз только Блок в эти дни объяснился со мной, посвятивши в туманы «Нечаянной радости»; он взял меня за руку:

— «Мне, Боря, надо тебе показать кое-что без мамы и, пожалуй, без Любы».

Из оранжевой столовой Кублицких увел в уединение сизого своего кабинета; меня усадил на диван и сел рядом, поставив рой сбивчивых образов; они-де касаются его жизненной сущности: и они-де связалися с пахнущею лиловой фиалкою; цвет ему заменил категорию; красное, желтое или лиловое — значили: идеализм, материализм, пессимизм; прикасаясь к руке, он приблизил свои голубые глаза, расширяясь доверием:

— «Цветок пахнет душно: лиловый такой и ночной».

И он спрашивал: что значит вот этот лиловый оттенок среди прочих,— с отливами в аметисты и в пурпур; но синеватый, тяжелый оттенок связался мне с Врубелем: цветок, вырастая, вел Блока в лилово-зеленые сумерки ночи; поэт в поясненье своих ощущений прочел мне наброски поэмы «Ночная фиалка»:[8] о том, как она разливает свой сладкий дурман; удручил образ сонного и обросшего мохом рыцаря, перед которым ставила кружку пива девица со старообразным и некрасивым лицом; в генеалогии Блока она есть «Прекрасная Дама», перелицованная в служанку пивной, подобной «бане с пауками» (бред Достоевского);[9] позднее «служанка» в поэзии Блока выходит на Невский проспект, предлагая «услуги» ночным проходимцам; в печати указывал я, что из «розы» здесь вылезла «гусеница» (скорлупчатое насекомое «Идиота»);[10] Блока же силился я прочесть без «идей»: только в логике ощущений; повеяло таким душным угаром, в чем я и признался ему; он сказал мне в ответ:

— «Так что ж... хорошо».

Он вполне отдался уже субъективным эмоциям, превращая обстание в материалы к «Comedia dell'arte»;[11] Л. Д.— явно мечтала о сцене; Блоки слушали Вагнера; еженедельно у них собиралася молодежь: все поэтики и музыканты.

У них я встречал юного говоруна с взъерошенными мохрами; студентик, махая руками, кричал за столом; со мной спорил о физике; скоро ж Блок показал мне стихи, изумившие яркостью; автором их оказался «студентик»; так я встретился с Городецким[12].

Здесь помню и Пяста и Е. П. Иванова:[13] оба — студенты; Иванов меня поразил ярким цветом бородки, мохрами, веснушками; Иванова Блок очень чтил:

— «Он — совсем удивительный, сильный; спроси-ка его: он все тебе скажет; придет и рассудит; спроси-ка!..»

Иванов и Пяст — друзья Блока; на похоронах его Е. Иванов ко мне подошел и, взмахнувши рукой, стер слезу со щеки рукавом:

— «Ушел... Мы остались тут: догнивать!»

Соединение веселой легкости с лаской было лишь авансценою, на которую влек меня Блок, а не фон отношений; последний — жуть крадущейся катастрофы, грозящей нам с ним; но на попытки коснуться ее Блок как бы говорил:

— «Переезжай в Петербург; тогда выясним».

А улыбкой своей договаривал:

— «Будем — играть; и когда игра выразится,— то ее примем мы».

Мережковские мне не раз повторяли:[14]

— «Блок развел декадентщину; а вы, Боря,— с идеями: вам с ним — не путь; вам путь — с нами».

Но *«путь»* с Мережковскими, в этом теперь убедился,— не путь!

У БОГОМУДРОВ

У Мережковских я был тотчас же по приезде;[15] и, по примеру прошлого года, был ими перетащен в уже не интересующий быт;* мне выцвел он; я удивлялся холодному любопытству к происходящему и выхолащиванию из него бескровных идеек, с которыми носились как с динамитом; оговариваюсь: Мережковский, пожалуй, еще с большим усердием нарыкивал «революционные» лозунги, публицистически овладев своей темой и выявив всю ее уродливость для меня в спорах с здесь собирающимися людьми о том, от какого радикального попа сколько процентов церковности нужно вспрыснуть «папствующему» радикалу, чтобы он умел взмахивать, как знаменем, «революционным» крестом; революция, все ж кое-как зацепившая этих людей год назад, теперь ими виделась даже не из окон, которым подставлялась спина; протопопик нового сознания, Мережковский, делатель литературных бомб, издаваемых Пирожковым[16], взрывал нестрашных и дряхлолетних епископов; места последних уже занимали: Зинаида Гиппиус, благословляющая лорнеткой, и миропомазующий перчаткою Дмитрий Владимирович Философов; он наталкивался на Булгакова, стоящего за не столь

---

* См. «Начало века», гл. четвертая.

благовонное мирро; кандидатами последнего стали — Свенцицкий и Эрн, руководители братства борьбы: православия с православием.

В этой компании я, обиженный за рабочий вопрос, все еще существующий вне «Нового Иерусалима», сошедшего с небеси, пока что только в красной гостиной и именно перед козеткой, с которой «епископесса» себе притирала к руке туберозу «Лубен»*, выпуская из крашеных губ «благодать» папироски,— обиженный, я становился заядлым «марксистом»; но мне доставалось от встряха бердяевского кудря и от тиком высунутого языка, которые аргументировали: ненужность, праздность и не модность подобных вопросов после того, как Николай Бердяев все это преодолел в последней статье; и потому: кричащий факт всеобщей забастовки — явление запоздалое, «ставшее»; он проповедовал лишь «становление» здесь разрешаемой антиномии меж пока не молящимся и поэтому грешным «святейшим» политиком Струве и еще не кадетствующим, но молитвой уже святым протопопом; он разрешал антиномию тем, что Николай Бердяев, придя к молитве и к Струве,— центральная ось, через которую бегут токи мирового переворота; антиномию коллегия почтенных людей разрешала весь месяц; а Мережковский кричал:

— «Боря,— вы, такой, каким мы вас знаем,— как можете вы увлекаться марксистской схоластикой, сдобренной неживым кантианством?»[17]

Я не мог доказать, как ни силился, что и рабочий вопрос, и теория знания не «увлечение на стороне», а проблема, в сложностях которой запутался и не я, а — культура.

Темпераментней, но уже других, мне казался Булгаков, хватавшийся за черную бороду, поджимавший губы цвета владимирской вишни и устремлявший в кончик стола глаза цвета... тоже владимирской вишни; скоро я замолчал, сославшись на зубные боли, весьма донимавшие целый месяц; был же горько разочарован не только в круге интересов всех, меня окружавших; в Москве пережили мы сердцем октябрьские дни; как ни барахтались в трудностях найти себе дело; как ни был комичен Петровский, схватившийся за железную жердь (против пушек); как ни был комичен сухарь, Киселев, пригласивший нас к «минной» деятельности,— а все ж в наших жестах изживался порыв, прохвативший насквозь; ведь неспроста Пигит в свое

* Духи.

время мечтал бросить нас, «аргонавтов», на первую баррикаду; за этот порыв, пусть наивно пережитой, и хватался я, как за сердцу близкую память,— при созерцании этого организованного безделья «передовых» общественников.

Почему ж, меня спросят, торчал здесь? Я ждал окончания ежедневного галдежа, чтобы после него при камине всю ночь напролет посвящать сестер Гиппиус (З. Н. и Т. Н.)* во всю сложность создавшегося положения между Щ., Блоком, мною; сочувствие, пусть показное, меня бодрило; всему прочему лишь механически я подчинялся — «постольку поскольку»; и хаживал с Мережковским к Розанову, к Бердяеву, к Вячеславу Иванову, салон которого уже распухал**.

ЧУЛКОВ, МЕЙЕРХОЛЬД, БАКСТ, РЕМИЗОВ

Передо мною вырастают: Г. И. Чулков, В. Э. Мейерхольд, Л. С. Бакст, А. М. Ремизов.

Георгий Иванович Чулков очень нравился;[18] он бросался на все точки зрения; и — через них перемахивал; но от этих спортивных занятий прихрамывал он то на правую, то на левую ногу.

Еще в прошлый приезд его образ связался с влетанием в комнату: дверь распахнулась — влетел Чулков с дыбом взбитыми волосами,— худой, впалогрудый и бледный, поднявши сквозняк; резолюции, протоколы, бумажки, взвитые, уносятся в вентилятор; Георгий Иваныч, присевши, стучит двумя пальцами: на мимеографе;[19] и от него из редакции «Вопросов жизни»[20] «несется» он с пачкой листков, иль размноженного протеста, торчащего из его фалды с платком носовым; сюртучок его, узенький, с короткими рукавами; Георгий Иваныч басит трубно: в нос; а клок волос пляшет; махает рукой; набасив, намахавшись, настукивает он сызнова.

Он всегда оголтелый: и это — от всех преодоленных позиций; недоуменье в его широко открытых глазах; рот — полуоткрыт: через что перемахивать, когда все уже вымахано? Махать в бездну? В такие минуты истинно Зевесова, многохохлатая голова со взбитыми в щеки кольцами густой бороды, коль сбрить бороду, напоминает го-

* См. «Начало века», глава четвертая.
** См. «Начало века», глава третья.

лову мистера Дика («Давид Копперфильд»), особенно когда он влетит в *идэ-фикс;* мистер Дик не умеет изъять короля Карла Первого из своих мемуаров, которые в образе бумажных змеев затем летают под небом;[21] Георгий Иваныч страдает настойчивым зудом: поспеть первым куда бы то ни было; быв в ссылке с Дзержинским[22], партийцев своих обогнав, он бросается перегонять декадентов; и в этих усилиях он припирается к религиозным философам; его застаю уже на другом перегоне, когда, перегнав Мережковских и сбив с ног Булгакова, на которого он налетел, локтем трахнув под бок Анну Шмидт на бегу[23], догонял он Иванова, Вячеслава, чтоб вместе с ним броситься к Блоку: его обгонять — в манифесте от имени мистических анархистов;[24] он им известил — Мейерхольда, Иванова, Блока, что, собственно, есть Мейерхольд, Блок, Иванов.

Меня же влек пафос его; влекла истинно героическая попытка, заранее обреченная на неудачу: вздуть пламя из еле тлеющего пепелища «Вопросов жизни».

Бывало, он выставит перед собой свою руку, встопыривши пальцы; и это подобие лапы орлиной качает он в воздухе, целясь глазами в ладонь и ее наполняя, как чашу, своими словами; но вдруг, от нее оторвавшись глазами, хватается за покрытый холодной испариной лоб, удивляясь тому, что из слов его вытекло вовсе не то, что втекло: втек — схематизм Мережковского; вытекло же — козлиное игрище: с Вячеславом Ивановым; носом пыхтит, оговаривается; и, не зная, как справиться со всеми точками зрения, их изживает «стоустым» он воплем, в изнеможении бросаясь на стул; отирает испарину и опрокидывает стакан вина себе в рот: содержание ж слов остается-таки под углом в 90° к себе самому; «следовательно» не вытекает из «так как»; «так как» он следовал в ссылку, то — прав Иванов и Блок!

Встает мне с Зевесовой головою, закинутою в анархию, с рукой, брошенной в мистику, с корпусом, обращенным к левейшим заскокам левейших течений в искусстве; и — все ж: меня тянет к нему; он весь — подлинный, искренний, истинно Прометеев пыл (а не «пыль»).

Ставлю я образ молодого Чулкова: «Чулкова» в бороде,— еще не «врага»; когда ж он сбрил бороду, из парикмахерской вышел страдающий молодой человек с синевой под глазами и с заостренным очень бледным ликом больного Пьерро; в эти годы ему я приписывал множество злодеяний;[25] от этого приписания поздней хватался за го-

лову, восклицая по адресу себя самого: «С больной головы да на здоровую»; я имел основания быть недовольным Ивановым, Блоком; откуда ж следует, что Чулков — «виноват»?

Еще позднее: Георгий Иваныч — уже седогривый, уравновесившийся, почтенный, умный, талантливый литературовед, труды которого чту; и этот Георгий Иваныч прекрасно простил мне мои окаянства[26].

Но не «врага», не «почтенного деятеля» вспоминаю на этих страницах, а — молодого Чулкова; к нему стал захаживать в этот период, чтобы делиться с ним мыслями и беседовать с Н. Г., супругой его, тихой, строгой, встречавшей с сердечною задумью.

У него-то я и столкнулся с В. Э. Мейерхольдом, только что разорвавшим с художественниками и оказавшимся в Питере[27].

Последнего, конечно, я знал, будучи гимназистом: по сцене; брала его талантливая игра — в «Чайке», в «Трех сестрах», в «Одиноких»;[28] я только что в Москве посетил его студию молодежи, ютившуюся на Поварской; Мейерхольд предложил мне беседу о новом театре; художественники драли нос перед нами, «весовцами», смыкаясь с группой «Знания»; Мейерхольд — рвал бесповоротно и круто с театром, недавно передовым; он сознательно шел к «бунтарям»; к смятению «театралов», впервые серьезный театр подошел к символистам — не моды ради: из убеждения.

В. Э. заживает конкретно во мне в небогатой предметами комнате: стол и несколько стульев на гладкой, серосиневатой стене; из этого фона изогнутый локтями рук Мейерхольд выступает мне тою ж серою пиджачною парой (а может, въигралась она в этот фон из более позднего времени); он — слишком сух, слишком худ, необычайно высок, угловат; в темно-серую кожу лица со всосанными щеками всунут нос, точно палец в туго стягивающую перчатку; лоб — покат, губы, тонкие, сухо припрятаны носом, которого назначение — подобно носу борзой: унюхать нужнейшее; и разразиться чихом, сметающим все паутинки с театра.

Сперва мне *казалось*: из всех *органов* чувств — доминировал «нюх» носа, бросившегося вперед пред ушами, глазами, губами и давшего великолепный рельеф профилю головы с точно прижатыми к черепу ушами; недаром же Эллис прозвал Мейерхольда, его оценив: нос на цыпочках!

Позднее я понял: не «нюх»; зрение — столь же тонкое; осязание — столь же тонкое; вкус — столь же тонкий; подлинно доминировал внутренний слух — (не к черепу прижатое ухо), — исшедший из органов равновесия, управляющих движением конечностей, мускулами глаз и уха: он связывал в Мейерхольде умение владеть ритмами телодвижений с умением выслушать голосовой нюанс этой вот перед ним развиваемой мысли; во всем ритмичный, он обрывал на полуслове экспрессию телодвижений своих и взвешивал в воздухе собственный жест, как пальто на гвоздь вешалки, делая стойку и — слушая; напряженные мускулы сдерживали бури движений; не дрожало лицо: с легким посапом придрагивал только нос; выслушав, — он чихал шуткой; посмеивался каким-то чихающим смехом, поморщиваясь, потряхивая головой и бросая в лицо скульптуру преувеличенных экспрессией жестов; Мейерхольд говорил словом, вынутым из телодвижения; из мотания на ус всего виденного — выпрыг его постановок, идей и проектов; сила их — в потенциальной энергии обмозгования: без единого слова.

Не нюх, а — животекущая интуиция мысли, опередившей слова; у Чулкова слова — пароходище, пыхтящий колесами, выволакивающий на буксире от него отставшую лодочку; жест Мейерхольда — моторная лодка, срывающая с места: баржи идей.

Он хватался за лоб (нога — вперед, спиной — к полу, а нос — в потолок); то жердью руки (носом — в пол), как рапирой, метал в собеседника, вскочив и выгибая спину; то являл собой от пят до кончика носа вопросительный знак, поставленный над всеми догмами, во всем усомнясь, чтобы пуститься по комнате — шаг, пауза, шаг, пауза — с разрешением по-своему всех вопросов:

— «Вот так и устроим!»

Руки — в карманы: носом — в столовую пепельницу, — шаг, пауза: хвать рукой пепельницу:

— «Что это такое?»

И пепельницу — к носу: повертывает у носа:

— «Ее бы на сцену».

Он, взгорбясь, морщиною лба рассекал пополам — все рутины:

— «Так?» — взгляд на нас: стойка, вынюхиванье наших мыслей об этом.

Я помню, что начал он нам объяснять, как надо прогонять по сцене толпу, вскакивая и полуприседая на стуле с подгибом ноги под себя.

— «Вы же все забываете, что, когда пьете чай, в окне — тот, этот: идет, идут; следуют тексту автора, а автор забыл посмотреть, что происходит за окнами; за окнами улица,— вскочил и выбросил руки вперед и назад,— там — идут»,— вздернул плечи: шаг, два; и — пауза: и поворот носа из-за спины:

— «Один, другой, третий; за окнами — идут: понимаете?»

И — шаг: в угол; и — поворот к нам; и — шаг из угла.

— «*Они* — пошли!»

И — ходит: и мы — за ним.

— «Вот! Это и надо показывать... Ведь — покажем? А?»

Трепок по спине: чихает шуткой, сухой и длинный.

Мне памятна встреча с В. Э. у Чулкова, с которым уже имели беседы о новом театре;[29] В. И. Иванов указывал: этот новый театр еще пока — театр импровизаций; скоро я возил Иванова к Блоку: иметь разговор о таком театре; Иванов впоследствии привел к Блоку Чулкова, который свел последнего с Мейерхольдом;[30] скоро — всерьез говорили о новом театре; он возник через год (театр Коммиссаржевской: с Мейерхольдом во главе)[31].

Рыжеусый, румяный, умеренный, умница Бакст был противоположность Чулкова и Мейерхольда; он отказался меня писать просто;[32] ему нужно было, чтобы я был оживлен: до экстаза; этот экстаз хотел он приколоть, как бабочку булавкою, к своему полотну; для этого он с собой приводил из «Мира искусства» пронырливого Нувеля, съевшего десять собак по части умения оживлять: прикладыванием «вопросов искусства», как скальпеля, к обнаженному нерву; для «оживления» сажалась и Гиппиус; от этого я начинал страдать до раскрытия зубного нерва, хватаясь за щеку; лицо оживлялось гримасами орангутанга: гримасами боли; а хищный тигр Бакст, вспыхивая глазами, подкрадывался к ним, схватываясь за кисть; после каждого сеанса я выносил ощущение: Бакст сломал челюсть; так я и вышел: со сломанной челюстью; мое позорище (по Баксту — «шедевр») позднеи вывесили на выставке «Мир искусства»; и Сергей Яблоновский из «Русского слова» вскричал: «Стоит взглянуть на портрет, чтобы понять, что за птица Андрей Белый». Портрет кричал о том, что я декадент; хорошо, что он скоро куда-то канул;[33] вторая, более известная репродукция меня Бакстом агитировала за то, что я не нервнобольной, а усатый мужчина[34].

Однажды, войдя в гостиную Мережковских,— увидел я: полуприсев в воздухе, улыбалась мне довольно высокая и очень широкая, светловолосая, голубоглазая и гладколицая дама с головой, показавшейся очень огромной, с глазами тоже очень огромными; и тут же понял: она не стояла,— сидела на диване; а когда встала, то оказалась очень высокой, а не довольно высокой и только довольно широкой, а не очень широкой; это была Серафима Павловна Ремизова, супруга писателя.

Рядом с ней сидел ее муж с короткими ножками, едва достающими до пола, с туловищем ребенка в коричневом пиджачке, переломленном огромной сутулиной, с которой спадал темный плед; огромная в спину вдавленная голова, прижатая подбородком к крахмалу, являла собой сплошной лоб, глядящий морщинами, да до ужаса вставшие космы; смятое под ним придаток-личико являло б застывшее выражение ужаса, если бы не глазок: выскочив над очком, он лукавил; носчонок был пуговка; кривились губки под понуро висящими вниз усами туранца; бородка — клинушком; щеки — выбриты; обнищавший туранец, некогда торговец ковров, явившийся из песков Гоби шаманствовать по квартирам,— вот первое впечатление.

Гиппиус рукою с лорнеткою соединила нас в воздухе:

— «Боря,— Алексей Михайлович! Алексей Михайлович,— Боря!»

Ремизов встал с дивана и, приговаривая, засеменил на меня; он выставил руку, совсем неожиданно сделав козу из пальцев:

— «А вот она — коза, коза!»

Но, подойдя, он серьезно и строго мне подал холодную лапку:

— «Алексей Ремизов».

И, встав на цыпочки, под подбородок, блеснул очком:

— «А я-то уже вот как вас знаю».

С тех пор автор романа «Пруд»[35] высунут мне из-за каждой спины каждого посетителя журфиксов Розанова, Бердяева, Вячеслава Иванова; вот Бердяев, сотрясаясь тиком, обрывает речь и жадно хватает воздух дрожащими пальцами; Ремизов, выставясь из-за него,— мне блистает очком;[36] и делает «козу»; а вот он,— сутуленький, маленький,— в том же свисающем с плеча пледике (ему холодно), выбравши жертвой великолепноглавого Вячеслава Иванова,— таскается за ивановской фалдой; куда тот,— туда этот; пальцем показывает на фалду:

— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке... У Вячеслава Иваныча — нос в табаке...»

Это тонкий намек на какое-то «толстое» обстоятельство:[37] экивоки, смешочки писателя, взявшего на себя в этом обществе роль Эзопа,— всегда не случайны: не то — безобидны, не то — очень злы; и он сам не то — добренький, не то — злой; не то — прост, не то — хитрая «бестия»; он ко мне пристает; и я жалуюсь на него Гиппиус.

Та — меня успокаивать:

— «Что вы, Боря? Алексей-то Михайлыч? Да это — умнейший, честнейший, серьезнейший человек, видящий насквозь каждого; коли он «юродит» — так из ума. Что вынес он в заточеньи?[38] К нему привязался садист жандарм, за что-то взбесившийся; он насильно гнал Ремизова из камеры, заставляя будто бы свободно прогуливаться по городу; а товарищи по заключению удивлялись: «Ремизов на свободе!» Жандарм даже таскал его насильно с собою в театр; и перед всем городом оказывал ему знаки внимания; все для того, чтоб прошел слух: Ремизов — провокатор... А — тяжелое детство,— вечная нищета эта! Тень пережитого — в больном юродничанье; это — маска боли его».

Когда ближе узнал я большого писателя, первые ж строчки которого встретил со вздрогом, то я его оценил и человечески полюбил; не раз придется мне говорить о нем; если я подаю на этих страницах шарж,— в этом повинны мои тогдашние восприятия и та атмосфера, в которой мы встретились.

В ДНИ ВОССТАНИЯ

Серафима Павловна Ремизова дружила с Гиппиус; от нее и услышал: Савинков, глава боевых эсеров, руководил бомбой Каляева; голова его оценена, а он живет в Питере, тайно посещая Ремизовых[39] и жалуясь им на галлюцинацию: тень Каляева-де являлась к нему; его мучает скепсис, и он не верит в свой путь, увлекаясь творениями Мережковского; он ищет религии, могущей ему оправдать терроризм; из слов Ремизовой Савинков конца 1905 года рисуется так, как мною изображен террорист;* Ремизова передала ему разговор о нем, и он хотел бы тайно явиться

* См. роман «Петербург»[40].

к Д. С. Мережковскому; воображение Гиппиус разыгралось; но Мережковский, пугаясь полиции и держа курс на Струве, этого не допускал, углубляя дебат: убить — нужно, а — нельзя; нельзя, а — нужно.

Щ., отделив от Москвы, мне внедрила: жить в Петербурге, где уже разлаживались мои отношения с Мережковскими; с неинтересом они отнеслись к аресту рабочих депутатов;[41] мои негодующие слова били в ватой набитые уши головных резонеров.

Была объявлена всеобщая забастовка; она сорвалась. Ответ — гром восстания: из Москвы[42], куда — путь был отрезан; пришлось выжидать, питаясь смутными слухами. «Это безумие»,— брюзжал Мережковский. Первый свидетель московских событий, Владимиров, кое-как выбравшийся из Москвы, нашел меня в красной гостиной; поняв тон обсужденья событий, он сразу же переменился в лице; и вывел меня — в переменный блеск вывесок, под которыми текла река — перьев, пудрою пахнущих лиц, козырьков и бобровых воротников.

Угол блещущий: Палкин; сюда!

Тот же лепной, тяжеловатый, сияющий зал, переполненный столиками, за которыми сидели гвардейские с кантом мундиры, серебряные аксельбанты, лысины, красные лампасы; губоцветные дамы развивали со шляп брызжущие кометы,— не перья; вон — серебряное ведерцо; а вон — фрак лакея; пестрь звуков и слов.

Но ни звука о том, что в пожаром объятую Пресню летают снаряды!

Над этим бедламом с эстрады простерлась рука все того же красного неаполитанца; бархатистому тремоло внимал, распуская слюну, генерал; неаполитанец вращал грациозно и задом, и талией; десять таких же, как он, молодцов десятью мандолинами стрекотали в спину ему; Владимиров схватился рукою за лоб:

— «Нет: слишком! В эту минуту сжигаются баррикады, через которые только что лазали мы; у меня в глазах красные пятна: чего эти черти кривляются?»

Он рассказывал: между нашими домами в Москве (оба жили мы на Арбате: я — около Денежного; он — около Никольского) — выросло до семи баррикад; Арбат в один день ощетинился ими; все строили их:

— «Сестры, я, Малафеев — тащили то, что мог каждый; дружинники валили столбы телеграфа; проезжий извозчик соскакивал с лошади; и помогал сцеплять вывеску; опрокидывались трамваи; останавливались прохожие,

высыпали жильцы квартир; из переулков бежали: кто с ящиком, кто с доской: перегораживать улицу; завязывались знакомства и дружбы; на баррикады ходили в гости; Арбат был восставшим районом дня два... А потом — началось!»

Вдоль Арбата забухало; появились драгуны: над баррикадами взвился огонь; квартиранты прятались в задних комнатах; драгуны с ружьями, упертыми в бока, дулом — в окна, проезжая, вглядывались: нет ли в окне головы; им мерещились всюду дружинники, которые стреляли из-за заборов сквозных дворов.

— «Теперь кончено; вчера зарево еще стояло над Пресней: патрули гнали кучки к реке; там — расстреливали; лед покрыт трупами».

Не знали мы о карательном поезде Мина[43].

— «А мама?»

— «Я был у вас: на углу убили газетчика; из вашего подъезда ранена дама; ваших в квартире нет».

Тремоло неаполитанца с закрученными усами нам било в уши: рукоплесменты; ему подбежавший лакей поднес рюмку; неаполитанец, принявши рюмку, отвесил игривый поклон генералу, ее пославшему; лицо генерала слюняво осклабилось: видимо,— гомосексуалист!

Мы — вышли; те же крашеные проститутки с угла Литейного; простясь с другом, спешу поделиться известьями с красной гостиной; там — те же речи: о Струве и о митинге, освященном попом.

На другой день, уезжая в Москву[44], отдаю отчиму Блока отцовский «бульдог», за нахожденье которого платили жизнью.

Москва,— или: на лицах — ужас; телеграфные столбы свалены, сожжены; снег окрашен развеянным пеплом; с девяти вечера прохожих хватают патрули; бьют с отнятием кошелька и часов; иных же выводят в расход. Ограбили философа Фохта.

Когда началась арбатская перепалка, у нас в квартире раздался резкий звонок; в передней стоял старик Танеев, качая веско рукою со шляпой:

— «Вставайте и одевайтесь: идемте за мной!»

Мать с теткою оказались на улице; карабкаясь и кряхтя, Танеев, протягивая попеременно им руку, помогал карабкаться через препятствия баррикад; он вывел их в тишь Мертвого переулка, остановясь у подъезда собственного особнячка:[45] «Здесь вам будет спокойней!» Отсюда не выпустил, пока бухали пушки.

Не веселое Рождество! Еще господствовал террор; жители ж повылезли из квартир; реже разбойничали патрули; и наконец — исчезли; долгое время торчали городовые с ружьем; примелькалась фигура в башлыке, опиравшаяся на штык у ночного костра, разведенного на перекрестке.

До отъезда в Питер бывал я только у рядом живших Владимировых, где с друзьями переоценивали еще недавние вкусы; и против Достоевского пишу я статью, за которую обрушилось на меня негодование Мережковского*.

Перед отъездом в Питер[47] кляксою в сознание влеплен вечер в «Метрополе», устроенный Рябушинским по случаю выхода первого номера «Золотого руна»[48], перевязанного золотою тесемочкой и выходившего на двух языках: французском и русском; Рябушинский, редактор-издатель ненужного нам предприятия (нужного, впрочем, художникам «Голубой розы»)[49], держал Соколова в заведующих литературным отделом;[50] последний едва уломал сотрудничать Брюсова и меня.

Высокий, белокурый, с бородкой янки, с лицом, передернутым тиком и похожим на розового, но уже издерганного поросенка, длинноногий, Н. П. Рябушинский просунулся всюду, гордясь очень, что он приобрел плохую поэму Д. С. Мережковского[51] и что Бальмонт ему покровительствовал; Бальмонту он во всем подражал; и розовый бутон розы всегда висел из петлицы его полосатого, светло-желтого пиджака; про него плели слухи, что будто бы он состоял в тайном обществе самоубийц, учрежденном сынками капиталистов; и устраивал оргии на могилах тех, кто по жребию убивался; был он в Австралии; и отстреливался от дикарей, его едва не убивших; сперва все пытался он печатать стихи; потом вдруг выставил с десяток своих кричавших полотен на выставке той же «Розы»; полотна были не слишком плохи: они являли собою фейерверки малиново-апельсинных и винно-желтых огней; этот неврастеник, пьяница умел и стушеваться, шепеляво польстить, уступая место «таланту»; у него было и достаточно хитрости, чтобы симулировать интуицию поэта-художника и ею оправдать купецкое самодурство;[52] этим пленял он Бальмонта; в вопросах идеологии он выказывал непроходимую глупость, которую опять-таки умел он, где нужно, спрятать в карман, принюхиваясь к течениям и приседая на корточки то за Брюсова, то за Чулкова и Блока, шепе-

* См. «Весы», 1905 г., № 12 — «Ибсен и Достоевский»[46].

лявя им в тон: «Я тоже думаю так»; через год, раскусив все «величие» его беспринципности, я с Брюсовым ставлю ему ультиматумы, после которых демонстративно мы отказались сотрудничать в его журнале; тогда и раскрыл он объятия мистическим анархистам — нам в пику;[53] позднее скандальные дебоши редактора, с пустым ухлопываньем деньжищ в никому не нужный журнал, привели к опеке более практичных братцев над братцем-мотом.

Вечер, которым он объявился, меня ужаснул; ведь еще не дохлопали выстрелы; а зала «Метрополя» огласилась хлопаньем пробок; художники в обнимку с сынками миллионеров сразу перепились среди груд хрусталей и золотоголовых бутылок; я вынужденно лишил себя этого неаппетитного зрелища, поспешив удалиться,— еще и потому, что известная художница, имевшая в Париже салон, под влиянием винного возбуждения неожиданно уселась ко мне на колени; и — не желала сходить[54].

Ссадив ее, я — бежал; а через день бежал: в Питер[55].

НЕОБЪЯСНИХА

Февраль — май: перепутаны внешние события жизни за эти четыре месяца; я мог бы их вести и в обратном порядке; сбиваюсь: что, как, когда? В Москве ль, в Петербурге ль? В марте ли, в мае ли?

То мчусь в Москву, как ядро из жерла; то бомбой несусь из Москвы — разорваться у запертых дверей Щ.; их насильно раскрыть для себя; и — дебатировать: кого же Щ. любит? Который из двух? Прочее — пестрь из разговоров, дебатов, писанья статей и рецензий или — таскание в «обществе» своего сюртука!

Будучи с детства натаскан на двойственность (показывал отцу — «паиньку», матери — «ребенка»), кажусь оживленным, веселым и «светским»,— таким, каким меня, мне в угоду, вторично нарисовал Бакст: мужем с усами, с поднятой головой, как с эстрады. Изнанка же — первый портрет Бакста: перекривленное от боли лицо; показать боль, убрать себя из гостиных,— навлечь любопытство (знали, что — в Петербурге) — значило: разослать визитную карточку с надписью: «Переживаю личную драму».

Этого не хотел ради Щ.

В скором времени Щ. и ряд лиц подчеркнули мне мое «легкомыслие»: де все — нипочем; что «почем» — сказалось самоотравлением организма; и — операцией.

— «Эта болезнь бывает у стариков, видевших много горя»,— мне объяснил один доктор.

«Старику», видевшему так много горя, едва стукнуло двадцать шесть лет.

Ближе стоявшие Блоки не видели моей главной особенности: рассеянный, а — видит; говорит гладко, а — мимо; во что вперен — о том молчит; слово — велосипед, на котором, не падая, лупит по жизни; а ноги — изранены.

Портрет Бакста, напечатанный во втором номере «Золотого руна»[56],— это чем я не был: в те дни; это — защитный цвет; не посвященные в «историю» не видели истории моих терзаний, когда я подчеркнуто появлялся с Блоком, а тот ленился выдержать тон; я — «тон» выдерживал — до момента; не окончив последнего «словесно-велосипедного» рейса,— я рухнул; поднялось — «красное домино» в черной маске, с кинжалом в руке, чтобы мстить за святыню: в других и в себе.

Образ этого домино следует за мной в больных годах моей жизни, просовываясь и в стихах, и в романе:[57] сенаторский сын так безумствует в бреде переодевания и в бреде убийства, как безумствовал я перед тем, как улечься под нож хирурга — в Париже, куда я попал рикошетом, ударившись о людей, мне ставивших в вину легкомыслие, когда «страдали» они-де; эти люди, умевшие не страдать, но капризничать, отдались забавам «козлиных игрищ» в те именно дни, когда из меня пролилось ведро крови — не метафорической, настоящей: о-т-р-а-в-л-е-н-н-о-й!

Через головы всех читателей считаю нужным сказать это сплетницам, исказившим суть моих отношений с Блоком; поздней мой друг (видный критик) признался мне: выслушав в свое время ходившие обо мне легенды, почувствовал он неприязнь ко мне, которую перенес и в печать;[58] никто не понял, что под коврами гостиных, которые мы попирали, уж виделась бездна; в нее должен был пасть: Блок — или я; я ведро не пролитой еще крови прятал под сюртуком, и болтая, и дебатируя.

Февраль — март — Питер этого времени во мне жив, как с трудом разбираемые наброски в блокнот; вот безвкусица неуютного номера на углу Караванной;[59] на столике чай; из теневого угла торчит нос; это — Блок; слишком быстро он выпускает дымок папироски; я словоохотливее, чем нужно; Л. Д., скучая, зевает; Блок встает, прохаживается, садится, отряхивает пепел, отрезывает:

— «Нет, у нас в Петербурге — *не так!*»

Я — москвич: москвичи не умеют повязывать галстук; я ощущаю: приезд мой — вторжение в его личную жизнь (сам же звал); его рот отведал лимона.

Не так и не то!

Л. Д. встала:

— «Спать хочется!»

Вот — я у Блоков: белые, холодные стены с зелеными креслами, с чистыми шкапчиками не рады, что я в них сижу; Александра Андреевна, кутаясь в шаль, говорит о своих сердечных припадках:

— «Займется дыханье, и сделается все — *не так и не то!*»

Здесь — тоже: не то!

А вот — первое чтение «Балаганчика»:[60] в той же гостиной стоят Городецкий, Евгений Иванов, Пяст, я,— кто еще? Блок подходит к тому, к другому, с рукой, подставляющей портсигар; его защелкнув, усаживается: о нет,— не читать, а истекать... «клюквенным соком»;* истекает он вяло; и — в нос:

— «Э, да это — издевка?»

Традиции «приличного тона»: застегиваюсь и натягиваю, как перчатку, улыбку:

— «Да, да,— знаете».

С Блоком — ни слова.

А вот везу Блока к Д. С. Мережковскому; день — золотая капель; снег — халва, разрезаемый саночками; Блок — как мертвое тело; бобровая шапка — на лоб; нос нырнул в воротник; рыже-розовые волосы белой Гиппиус перевязаны алою ленточкой; она вполуоборот лорнирует Блока; талия — как у осы; я — сижу, мешая щипцами сияющий жар; Блок — в позе непонимающего каприза:

> Ночь глуха.
> Ночь не может понимать
> Петуха[62].
>
> *(Блок)*

Это его ответ на разговорную тему, поднятую Мережковским: «Петуха ночное пенье. Холод утра; это — мы»;[63] З. Н.— на ту же тему:

> Ты пойми: мы — ни здесь, ни тут:
> Наше дело — такое бездомное...
> Петухи — поют, поют.
> Но лицо небес еще темное[64].

---

* «Истекаю клюквенным соком» — строчка из «Балаганчика»[61].

Вот — все, что осталося от Петербурга; я — снова в Москве: для разговора с матерью и хлопот, как мне достать денег на отъезд с Щ.;[71] от нее — ливень писем; такого-то: Щ. — меня любит;[72] такого-то — любит Блока; такого-то: не Блока, а — меня; она зовет; и — просит не забывать клятвы; и снова: не любит[73].

Сколько дней, — столько взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько ж кризисов перетерзанного сознания.

МАЙСКОЕ МАЯНЬЕ

Письмо от Щ.: не сметь приезжать;[74] во имя данного Щ. обещанья, — спешу с отъездом; письмо от Блока: вежливо изложенная неохота со мной увидеться: он держит экзамены;[75] всю зиму звал! Еду к Щ., — не к нему; а ему прибавится один только лишний экзамен: короткий ответ на короткое извещение: Щ. и я поедем в Италию; от Александры Андреевны вскрик: не приезжать, не являться: «Сашеньку» разговоры рассеют. Я — бомбою: в Питер;[76] но — двери Щ. замкнуты; я — в переднюю Блоков; Александра Андреевна, суясь в щель двери, делает вид, что не видит меня: глазки — прыгают! «Саша» же:

— «Здравствуй, Боря!»

Л. Д. еле-еле пускает меня в кабинет, где сидит, развалясь, молодой переводчик Ганс Гюнтер, рассказывавший, что старик-литератор, вообразивший, что он — педераст, приударил за ним; тут же: рыжий, раздутый, багровый латышский поэт[77] восхищен перспективами Санкт-Петербурга; Блок задерживает посетителей: не остаться со мной; звонок: влетает Сергей Городецкий; а я — удаляюсь.

Но я — вернусь, хотя бы закрыв лицо маской, закутавши плечи и грудь домино.

Щ. — таки приняла;[78] поняла, что не «Боря» сорвет замок с двери, а кто-то неведомый, с кинжалом под домино; надо снять «домино»; надо вынуть из пальцев «кинжал»;[79] и поэтому — дипломатия усовещаний, советов; пущены в ход и «глазки»: сначала — «сестринские»; вдруг — «влюбленные»; вспыхивает «тигрица» в них; в который раз позиции мною взяты, ибо она признается, удостоверившись, что готов я на все для нее: — она любит меня; истинная любовь — торжествует.

Мы — едем в Италию![80]

Я, размягченный, счастливый, великодушный,— в который раз верю; нехотя уступаю ей: оба устали-де; небо Италии не для истерики; мне на два месяца — уединиться-де; уединиться — и ей; в августе — встреча; что значат два месяца? Впереди — вместе жизнь!

Блок знает об этом; иду к нему; на этот раз внятно он *скажется* — дуэлью, слезами или хоть... оскорблением. Он:

— «Здравствуй, Боря! Пойдем: мама хочет увидеть тебя».

И — мимо белых стен, мимо шкапчиков, мимо зеленых кресел: в оранжевую столовую с открытыми окнами на сине-зеленоватую глубину вод, всю изблещенную; «Саша» подсаживает к Александре Андреевне, которая наливает мне чай; завтра экзамен; и он — уходит: к книге; иду вторично: его нет дома: после экзамена он поехал рассеяться на острова; мы сидим без него; вот и он — нетвердой походкою мимо проходит; лицо его — серое.

— «Ты — пьян?»

— «Да, Люба,— пьян»[81].

На другой день читается написанная на островах «Незнакомка», или — о том, как повис «крендель булочный»;[82] пьяница, клюнув носом с последней строки, восклицает:

— «In vino veritas!»[83]

Я спросил Щ., как относится Блок к нашему будущему:

— «Сел на ковер и сделал из себя раскоряку, сказавши: «Вот так со мной будет».

— «И все?»

Не убедительно!

Убедительны: вызов, отчаянье или мольба; даже — пролитие крови; но — ни вызова, ни «человеческих» слез (разве я-то не выплакал прав своих?); и — решаю: с придорожным кустом — не теряют слов: проходят мимо; коли зацепит — отломят ветвь[84].

Две темы, определявшие тогдашнюю жизнь, перепутались: «логика» чувств нашептала ложную аксиому: одинаковый эффект, высекаемый из разных причин, свидетельствует о том, что «причины» — одна причина: Николая Второго вижу я Александром Блоком, сидящим на троне; правительственные репрессии подливают масла в огонь моего гнева на Блока; бегаю под дворцами по набережным гранитам; и вот — шпиц Петропавловской крепости; сижу у Медного Всадника; лунными ночами смотрю на

янтарные огонечки заневских зданий от перегиба Зимней Канавки, припоминая, как в феврале мы с Щ. стояли здесь, «глядя на луч пурпурного заката»[85], мечтая о будущем: о лагунах Венеции; отблески этого — в «Петербурге», романе моем[86].

Если бомбою лишь доконаешь сидящего в нас «угнетателя»,— брошенной бомбою доконаю его; разотру ее собственною пятой под собою; и, взрываясь, разброшусь своими составами:

— «К вечному счастью!»

Этими бредами объяснимо мое поведение перед зданием открываемой Государственной думы[87], где закачался с толпою, качавшей меня перед мордою лошади, на которой качался усатый жандарм; но вот я разрываю свой рот до ушей и бегу за пролеткою... Родичева, которому прокричали «ура».

Внешние впечатления Питера — пестрь «сред» Вячеслава Иванова; в башне огромного нового дома над Государственной думой я что-то сказал об искусстве[88], за что Бакст жал руку, а Габрилович из «Речи» знакомился; слово сказал тогда длинный, с бородкой, блондин,— не седой — во всем прочем такой, как сейчас, Константин Александрович Эрберг; он высказался за анархию: точно, прилично; анархия получалась кургузенькая, скучноватенькая, как цвет пары: не то — серо-пегонькой, а не то — пего-серенькой.

Тоже жал руку Зиновий Исаевич Гржебин, впоследствии издатель «Шиповника», а пока — чернобрадый художник, с лиловым бантом, но — в твердых, огромных очках роговых; скелетиком вышмыгнул из-за плеча поэт Дикс; подмигнул; и опять ушмыгнул: за плечо; на другой день проснулся я: бухают два кулака; неодетый, выскакиваю из постели; и отпираю дверь; в щель ее высунулась головка, как — чертика:

— «Это я — Дикс: с кузиною Лелею;[89] вы — надпишите».

И — книга вышмыгнула; а головка слизнулась; одевшись кой-как, заглянул в коридор; там стояло и радостно улыбалось мне желтое нечто (наверное, волосы).

— «Кузина Леля!»

С Ольгою Николаевной Анненковой познакомился коротко я за границею, лет через шесть, не узнав в ней «кузины»[90].

Запомнился у Иванова начинающий пролетарский писатель Чапыгин, теперь уже крупный писатель; и врезался в память короткий и толстый, такой краснощекий, такой пухлогубый, с усищами, с густой бородкой, Евгений Васильич Аничков; казалось, что сам петергофский Самсон* бил — не он говорил; потрясая рукой, приподнявшись на цыпочки, храбро бросая в атаку живот, едва стянутый белым жилетом, казался скорее гусарским полковником он, чем профессором-меньшевиком; он поздней агитировал за «Петербург» — мой роман; и — спасибо ему.

В час расхода гостей, когда толстое солнце палило над крышами, мы очутились на крыше огромного дома, где толстый профессор-гусар ужаснул своей живостью; стоя на желобе одною ногой, он пятой другой резко дрыгал над крышею Государственной думы, воскинувши руку в зенит и приветствуя толстое солнце; схватясь за него, убеждали его: не низринуться; он же сопротивлялся, пыхтя.

Вот и все, что осталося от литературного Питера; все — как во сне; отрезвляюсь лишь в Дедове[91], когда — два удара: бац, бац! И один оглушил меня: разгон Думы;[92] другой — раздавил: это — Щ.; извещала она, что любовь наша — вздор, что меня никогда не любила; о нет, не допустит она моего появления осенью в Питере; Гильда**, ее героиня, имеет «здоровую» совесть, которой она и последует[93].

Знать, не Аничкову толстою дрыгать ногою от желоба крыши над бездною, а мне — в бездну броситься!

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ***

Дедово!

Душное, мутное, полное грозами лето, охваченное пожаром крестьянских волнений; от Волги шли полчища вооруженных крестьян, босяков, батраков; уже красный петух залетал над усадьбами; мощно поднялся аграрный вопрос; распространялись листки «Донской речи»;[95] и действовал осторожный «крестьянский союз»;[96] раз наткнулись в лесу на жандарма, который... «грибы» собирал, потому что в окрестных лесах собиралися тайно крестьян-

* Самый большой фонтан в Петергофе.
** Из пьесы Ибсена «Строитель Сольнес».
*** Заглавие рассказа Эдгара По[94].

ские митинги: доктор, Иван Николаевич, в дело это — внес лепту.

Сережа все знал, сидя в бреховских, дедовских и надовражинских избах; меня ж ориентировал «друг», рыжий Федор, извозчик, ужасный свергатель властей, почитатель Иван Николаича, доктора; Федор меня возил в Крюково; и возвращал меня в Дедово, стаскивая в буераки и вновь выволакивая между рощицами; он повертывал на меня красный нос и выбрасывал руку, показывая кнутовищем:

— «За энтим леском — в сосняке, в том: намедни митинга была; хорррошо ж арараторы подымали; а все это — доктор: Иван Николаич! Года ведет линию; и — осторожен же: к энтому не подъедешь!»

И вдруг, повернувшись, кидался хлыстом на клячонку:

— «Но... но!.. Будет наша! А Коваленскую, энту,— мы выгоним...»

Бросивши вожжи,— ко мне:

— «Не Сергея Михайловича! Знают: он — за народ, как Михал Сергеич покойник».

Семейные трения меж Коваленскими и Соловьевыми претворялись народом в легенду: о народолюбце, Михал Сергеиче; был-де эсером и он; все — Сережа; уж истинно вышло: папаша — в сынка, чтоб народ мог сказать: а сынок-то — в папашу пошел.

Так, проехавшись с Федором, в Дедове я, бывало, сражаю Сережу:

— «Откуда ты знаешь?»

Сережа, бывало, рассказывает в свою очередь: Коваленских честят; но «бабусю» — щадил: ведь не столь уж с народом плоха она? Но — не любили старушку за «барыню»; да и за то, что читала, поджав свои губы, она лицемернейшие назиданья с террасы — таскающим ягоды бабам: у бабы надутый живот; а самой-то сынок — лапил баб; и за пазуху лазал: в кустах; что живот-то надутый — все видят; а кто надувал, еще надо расследовать.

Друг мой захаживал к парням: орать с ними песни и щелкать подсолнухи; с ними он рос, а не то что «в народ ходил» он; с ним — в открытую; я же не лазил по избам, не щелкал подсолнухов, не агитировал; мне были ближе рабочие и городские мастеровые; оставшись с Сережей вдвоем, жарко спорили мы; и Сережа поморщивался на статеечки Каутского, мной привезенные; я же кричал на эсерство сермяжное в нем. Почему же мне дедовцы верили? Растолковали по-своему отъединенность мою: я-де

есть закавыка такая, что... конспиративная, что ли; мне явно по избам ходить невозможно никак.

Уважали — «дистанцию».

Странная жизнь завелась тут: Сережа всклокоченный, перегорелый, взъерошась усами, свисающими над губой, искривленной усмешкой, бывало, трепнет:

— «Помнишь ли прошлогодний июнь? Ты писал «Дитя-Солнце»; в крылатке покойного дяди ходил; и все ждал, когда будут цвести колокольчики белые... Нынче, смотри: и природа не та».

Лето — душное: страсти душили.

Жил в раскаленьи двух яростей, слитых в одну, изживаемую стиском рта до зубного скрежета: и — да чего тут!

И слушали шелест дерев: нарастающий; листовороты раскрытые, ветви, наветви, сучья, суки трудно гнулись, качались; все ревмя ревело; и лиственный винт, отрываемый, в воздухе мчался пустом; из души вставал крик: бомбой бить — по кому попало, чему попало: убить!

А — кого?

Тут порыв отлетал; листья взвешивались, укрывая — коряги, стволы, суки, сучья; мы шелест листов утихающих слушали; те же: сушь, сонь.

Оставалось выполнить клятву, почти договор, кровью собственной писанный: с *нею* бороться до... смерти кого-то из нас: за *нее* ж; я клятвой припер себя к стенке, и сам ужасаясь насилию; не за горами и август: положенный *ею* же срок: для *нее;* и — угрюмо продумывал форму насилия; виделось явственно: бомба какая-то брошена будет; а коли не так, разотрется она под пятою моею, коли не сумею убить я предавшую «я» — свое собственное; и,— в который раз,— упав в стол, умолял ее в письмах: себя же, себя ж пощадить, сознавая, что в мыслях и я — не по воле своей, а по воле судьбы — уж вступил на дорогу... Ивана Каляева.

МОЙ МОЛОДОЙ ДРУГ

Наш флигелек приседал за кустами; над крышею шумы вершин, точно возгласы красных апостолов, тихо поскрипывал шаг; и — взрывалися ветви; и — красного цвета рубаха Сережи являлася; он сжимал кол; подобрал на дороге его, сделав посохом.

Он в эти дни себе на голову вздувши страсть к миловидной девчонке, Еленке, служившей в кухарках у полуслепого художника близ Надовражина, каждый день молча меня уводил: мне Еленку показывать; а как Еленка вбежит с самоваром,— ни жив он, ни мертв; не посмеет взглянуть; опускает глаза; и скорее удавится, чем слово скажет; Еленка закусит лукавую губку и ноздри от пыха расширит; и бросит на стол самовар; и обратно топочет босыми ногами на кухне расфыркаться: носом в передник.

Тогда попрощаемся; и верещим сухоломом; изогнутая еловая ветвь, как венок, протопорщена ярко-зеленою лапой над лбом его; этой веткой себя увенчал он в знак страсти; и весь испыхтелся под нею.

— «Сказал ли хоть слово, хоть раз ей?»

— «Ни разу, ни слова!»

Не смел!

Но поехал верхом верст за двадцать — в деревню, где братья Еленки, из лавочников, самых мелких, имели свой дом; о Сереже не слыхивали; он — является в красной рубахе, слезает с седла: предлагаю-де руку и сердце!

Разинули рты; а потом, помолчавши с достоинством, галантерейно решили: так сразу — нельзя:

— «Вы с сестрою сперва познакомьтесь; а там — мы посмотрим».

Он скрыл от меня путешествие это; вернулся — сконфуженно, струсивши: можно ль теперь на попятную? Вдруг и Еленка лишь образ, рождаемый пеной; Елена Прекрасная — греческий миф; а он Грецией бредил; и бредил народом; соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине;[97] видел в цветных сарафанах, в присядке под звуки гармоники — пляс на полях Елисейских; бывало: орехом кто щелкнул — вкушенье оливок; и в стаде узрел «цветоядных» коров; и о бабьем лице, том, которое «писаной миской», он выразился: «мирро уст»; даже в дудочке слышалась флейта ему; сочетав миф с эсерством («земля для народа», «долой власть помещиков»), он пожелал омужичиться; «барина» сбросить, женясь на крестьянке.

Отсюда — Еленка: Елена Прекрасная!

Днями бродил, взявши кол, увенчав себя ветвью еловою, в красной рубахе, в стволах, перерезанных тенью и светом и стайками ясненьких зайчиков; он был — раскал, как и я; заключались, как два заговорщика, в флигеле; там, захватясь за бока,— он:

— «Осталось одно».

Мне — взорваться; ему — омужичиться.

Он еще в декабре очень резко отверг предложение мое — примириться с кузеном:

— «Я в Шахматове для того и остался, когда ты уехал, чтобы доиграть свою партию с Блоком;[98] и верь: этот спрут полонил Щ., представясь, что ранено щупальце; тянет ее перевязывать щупальце; ты излечи ее, или»,— он супился:

— «Знаешь ли, Боря, ужасно, но если тебе не удастся уехать с ней...» — не договаривал он.

— «Если б я отговаривал, я бы фальшивил».

Тут слухи пошли: соловьевский барчук предложение сделал Еленке;[99] Любимовы нам сообщили об этом; около Сережи стоит в эти годы Любимова, Александра Степановна, выходившая Коваленского Мишу, историка; стройная, крепкая, с горьким, поблекнувшим ртом, черноглазая, черноволосая, с белыми зубами,— умница с «вкусами», она проницала все вздроги душевных изгибов Сережи; ей нес он себя; не боролся с вмешательствами: напоминала она Розу Дартль;* ведь и источник забот о Сереже — таимая страсть ее к его отцу: Александра Степановна понимала и острую строку Валерия Брюсова, и ядовитость двусмыслицы Блока; простая, сердечная женщина эта увиделась нам символистской в противовес своей толстой сестрице Авдотье Степановне — ярой «общественнице» и двум «левым» племянникам; третья сестрица, Екатерина Степановна, трогала ясной, пылающей добротой; Надовражино, где обитали сестрицы,— гнездо недоверий ко всем Коваленским;[100] как в прошлом году, здесь певали народные и революционные песни; рыдала гитара; бывало: вдвоем возвращаемся звездною ночью; загамкает пес; лес, канава и папоротники — сырые, злые; полянка.

— «Александра Степановна уверяет, что Вере Владимировне о Еленке все сказано; стало быть: «бабуся» узнала».

«Бабуся» молчит.

Мы выходим на луг; и вон, вон оно,— Дедово!

В Дедове перед лицом Коваленских перерождались; и с мукой тащилися завтракать на большую террасу; не более полсотни шагов отделяло наш флигель от дома «бабу-

* Действующее лицо романа «Давид Копперфильд» Диккенса.

си», а... а — две культуры, два быта; там — жив восемнадцатый век; здесь — двадцатый; там — «рай» просвещенного абсолютизма; здесь — «ужасы» анархизма: и бомба, и красный петух; там невестою прочится «Ася» Тургенева; а по округе — молва, что невеста — Еленка.

Терраса; у Веры Владимировны Коваленской — улыбка кривая: «Еленка»; бабуся, трясяся наколкой, трясясь пелеринами, лапку нам тянет.

Но — сжатые губы; но — косо на внука метаемый взгляд, от которого вздрагивал он, потому что он видел уже: будет, будет падение в великолепнейший обморок.

— «Здравствуй, «бабуся», — храбрится Сережа, — а знаешь ли, что говорит Феокрит?»

И поскрипывает сапогом; повисает настурцией; над ним яркий шмель; вот — кузиночка Лиза, которую ловко Сережа, подбросивши, ловит из воздуха; вот, захватясь за салфетки, сопят уж над рисом с рубленой говядиной; чай; дядя Витя, свой палец поставя на клавиши, фальшивит: «Я стражду, я жажду»;[101] а дядя Коля над «Русскими ведомостями», традицией дома, — традицией «тона», — трунит, зло скосясь на меня.

Став мгновенно «марксистом», бросаю рабочим вопросом в него; он марксизм ненавидит: марксист — Миша, сын, не желающий знать его; очень угрюмый, сосредоточенный спор, с утаенным желанием перейти от слов к делу: я или — его «превосходительство»: кто-то здесь — лишний; наверное, я, потому что визгливые тявки мои нарушают традицию; уже Сережа хватает меня за рукав; уж головка «бабуси», с такою решимостью павшая в спину, — закинута; смотрит не глаз, а губа на меня.

И Сережа уводит — дрожащего:

— «Боря, ну ради «бабуси», — сдержись; ты ведь эдак здесь все оборвешь, каково без тебя будет мне!»

Не сдержавшись:

— «А впрочем, так длить невозможно, — шагаем обратно, — я в каждой настурции, в каждом шипке самовара, в наколке, в поджатии губ ощущаю падение рода; и коли так длить, я — погибну».

И думаю: след на Еленке жениться ему; а он думал, что след мне убить иль — убиться.

— «Я стражду, я жажду», — стучал дядя Витя нам издали клавишем.

Переменить впечатления еду в имение матери;[102] время проходит в писании жесточайших стихов; я пишу «Панихиду»[103],— историю трупа, в которой есть строки:

Приятно!
На желтом лице моем выпали
Пятна[104].

Пишу на мотивы из «Чижика»:

«Со святыми упокой»
Придавили нас доской[105].

Собираю украдкою группу крестьян; объясняю: «Земля будет ваша; не надо усадьбы палить: пригодятся еще». Управляющий мне показывает на овсы: я — взрываюся: «Эти овсы есть грабеж у крестьян». На меня — донос земскому; земский уж хочет приехать с советом: мне вовремя выехать за пределы губернии; я — исчезаю до этого: нет ни покоя, ни отдыха![106] И... и...— куда ж мне деваться?

Я — сызнова в Дедове[107], где нахожу письмо Щ.; переписка — как тренье клинков друг о друга; теперь она — просто резня за мое возвращение в Питер, которое — значит: отъезд с ней в Италию;[108] вдруг — письмо Блока (из Шахматова), объясняющее, что он будет в Москве: иметь встречу со мной; я — в пустую квартиру, в московскую; кресла — в чехлах; нафталины...

Звонок: это — красная шапка посыльного с краткой запискою: Блок зовет в «Прагу»;*[109] свидание — не обещает; спешу: и — взлетаю по лестнице; рано: пустеющий зал; белоснежные столики; и за одним сидит бритый «арап», а не Блок; он, увидев меня, мешковато встает; он протягивает нерешительно руку, сконфузясь улыбкой, застывшей морщинками; я подаю ему руку, бросая лакею:

— «Токайского».

И — мы садимся, чтобы предъявить ультиматумы; он предъявляет, конфузясь, и — в нос: мне-де лучше не ехать; в ответ угрожаю войною с такого-то; это число на носу; говорить больше не о чем; вскакиваю, размахнувшись салфеткой, которая падает к ногам лакея, спешащего с толстой бутылкой в руке; он откупоривает, наполняет бокалы в то время, как Блок поднимается, странно моргая в глаза мало что выражающими глазами; и, не оборачи-

* Ресторан на углу Арбатской площади.

ваясь, идет к выходу; бросивши десятирублевик лакею, присевшему от изумленья,— за ним; два бокала с подносика пеной играют, а мы опускаемся с лестницы; он — впереди; я — за ним; мы выходим из «Праги»; повертываясь к Поварской, Блок бросает косой, растревоженный взгляд, на который ему отвечаю я мысленно: «Еще оружия нет: успокойся!»[110]

Сворачиваю на Арбат и, пройдя пять домов, подзываю извозчика:

— «На Николаевский!»

Солнце не село, когда, ни на что не похожий, я сваливаюсь с таратайки у флигеля в руки Сережи, который со мной начинает возиться; мне отступа — нет; я — к убийству приперт обстоятельством, а — не умею убить; и хочу уходить себя голодом, тайно от друга, «бабуси»; я делаю вид, что я ем; через несколько дней я так слаб, что усилием воли держусь на ногах; тут Сережа, меня заперев, объясняется очень серьезно.

Я пойман с поличным: откладываю голодовку.

Сережа ужасен; «бабусю» едва он выносит; к Еленке боится ходить: шах и мат! Раз, открывши чуланчик, который был заперт,— ко мне он; и — тащит в чуланчик:

— «Смотри-ка!»

Из кресла в тенях на нас смотрит коричнево-желтая мумия, в рост человеческий; то деревянная кукла, служившая манекеном художнице:

— «Как очутился он здесь? Надо вынести!»

Ольга Михайловна перед кончиною в спальне своей посадила на кресло его, одев в платье: писала с него; очень скоро потом под ногами его в луже крови лежала с простреленным черепом; кукла Сереже связалась с тогдашними днями, с психическим заболеванием матери, с самоубийством, со смертью отца; он сказал:

— «Худу быть!»

Каюсь я: деревянный коричневый профиль во мне вызвал образ из только что мною написанной «Панихиды»:

На желтом лице моем выпали
Пятна.

И в подсознании откликнулось:

— «Я!»

Куклу вынесли.

А через день допекаю-таки Николая Михайловича, и получаю: ведут себя так дураки; тотчас требую я лоша-

дей; и «бабуся», неискренно ахнувши, падает в кресло: сидеть в позе обморока.

Вот и Федор: с тележкой; Сережа — исчез, не простившись; я — трогаюсь; кончилось Дедово; впрочем,— кончается жизнь; выезжаем на взгорбок, возвышенный над крюковскою дорогою; луг — переехали; к спуску дороги сбежались две рощицы; и между ними — прощеп горизонта: огромное солнце, как злой леопард, приседая к земле, все охватывает красноватыми лапами; что вижу я? Перед солнцем, весь вспыхнувший точно вихрами осолнечными, поджидает Сережа меня,— без вещей, зажимая в руке перемятый картуз; вот он прыгнул в тележку.

— «Куда ты?»

— «С тобою... Я после бывшего только что здесь не могу оставаться!»[111]

С тех пор мы отсиживаем меж чехлов в нафталинной квартире, в пылающем зное; пролетки в открытые окна трещат; угрюмо решаем, что мне остается «убить», что ему — рвать все с бабушкой после брака с Еленкою; тут — взрыв столыпинской дачи, воспринятый с мрачным восторгом[112].

Раз с черной тросточкой, в черном пальто, как летучая мышь, вшмыгнул черной бородкою Эллис; он, бросивши свой котелок и вампирные вытянув губы мне в ухо, довел до того, что, наткнувшись на черную маску, обшитую кружевом, к ужасу Дарьи, кухарки, ее надеваю и в ней остаюсь; я предстану пред Щ. в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке; я возможность найду появиться и в светском салоне, чтобы кинжал вонзить в спину ответственного старикашки; их много; в кого — все равно; этот бред отразился позднее в стихах:

Только там по гулким залам,
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино[113].

Я же бредил в те дни, то шушукаясь с Эллисом, то обегая пивные, подсаживаясь с бутылкою пива к хмелеющим мастеровым, почтарям; мы решали: так жить невозможно; вернувшись домой, сидел в маске, ей бредя и видя в ней символ.

Однажды раздался звонок; отпираю дверь: в маске; то — мать с чемоданами: из Франценсбада;[114] она — так и ахнула.

Спрятана маска; я делаю вид, что здоров; зато Эллис, визжащий «дуэль»,— под дождем, летит с вызовом

в Шахматово;[115] и, возвратившись, докладывает, передергивая своим левым плечом и хватая за локоть; протрясшись под дождиком верст восемнадцать по гатям, наткнувшись в воротах усадьбы на уезжающую Александру Андреевну, застав Блока в садике, он передал ему вызов; в ответ же:

— «Лев Львович, к чему тут дуэль, когда поводов нет? Просто Боря ужасно устал!»

И трехмесячная переписка с «не сметь приезжать»,— значит, только приснилась? А письма, которые — вот, в этом ящике,—«Боря ужасно устал»? Человека замучили до «домино», до рубахи горячечной!

Эллис доказывает:

— «Александр Александрович — милый, хороший, ужасно усталый: нет, Боря,— нет поводов драться с ним. Он приходил ко мне ночью, он сел на постель, разбудил: говорил о себе, о тебе и о жизни... Нет, верь!»

Ну,— поверю; итак, в сентябре еду в Питер; дуэли не быть; вопрос о том,— как со Щ.; все меняется: Блоки переезжают; кончается жизнь их в казармах;[116] и мы доживаем в квартире, где двадцать шесть лет протекло, где родился я, где каждый угол зарос паутиною воспоминаний; квартира снята уж в Никольском[117]. И с Дедовым порвано; я ведь не знал: флигелечек, в котором Михаил Сергеевич меня посвящал в литераторский сан и в котором я так прострадал,— он сгорит; вместо ситцевых кресел и книжных шкапов, переполненных старыми книгами,— вырастут сорные травы.

СКВОЗНЯКИ ПРИНЕВСКОГО ВЕТРА

Пять раз осознавши, что любит меня, Щ. потом убеждалась в обратном; три раза мы с ней уезжали в Италию, каждое перерешение отдавалось, как драма: «драматургия», или «Собрание сочинений Генрика Ибсена»,— разрешилась ничем, кроме жестов болезни во мне; август 1906 года дал весь материал для романа «Серебряный голубь», написанного в 1909 году;[118] а месяц сентябрь — собрал весь материал к «Петербургу», написанному в 1912 году.

Я не углублялся в иронию, будто никто не препятствует жить в Петербурге мне после того, как июнь, июль, август шла речь об обратном совсем; зарезаемый кролик пищал о пощаде; с тупым бессердечием Щ. меня резала; и усме-

халась при этом, что совести нет у нее: так я понял «здоровую» совесть, которой гордилась она; зарезаемый кролик не вытерпел: и вдруг сбесился[119].

Блок все это знал; знал и то, на что звал, отказавшися от поединка со мной: надо быть лицемером, чтобы объяснить мою боль через «просто устал»; лишь не зная деталей «истории», мог Эллис верить; Сережа, с тревогой меня провожавший,— не верил.

А я?

Щ., не веря, хватается за фикцию я «человеческого» отношения к себе; я готов был облечься в дурацкий колпак, чтобы этой ценой не глядеть в отвратительную пустоту вместо «я» человека, мне ставшего — всем; как калека, тащился я в город, мне ставший — могилою.

Приезжаю побитой собакой, не смея без зова явиться;[120] сажусь на углу Караванной, поджав псиный хвост: им бить в пол и вымаливать милостей; так просидел в тусклом номере день: нет ответа; другой — нет ответа; на третий — отписка: от Щ.: принять — некогда; ждать извещения[121].

День, другой, третий громлю тротуары проспектов и набережных; над Невою, со взглядом, вперенным в заневский закат,— я стоял; на всю жизнь он запомнился, соединяясь с пробегом по жизни в обратном порядке, чтоб голову бросить в колени воображенной Раисы Ивановны*, гладившей по голове и шептавшей о мальчике, о горбуне, его мучившем; мать за стеною певала старинный романс:

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы[122].

Под пурпурным закатом стоял на Гагаринской набережной, под орнаментной лепкой угрюмого желтого дома; чрез много лет я, увидавши его с островов,— сознаю: это — дом, из которого Николай Аполлонович, *красное домино*, видел — *этот закат;* видел — шпиц Петропавловской крепости;** но это я тут под желтой стеною стоял, вспоминая о детстве: с тоскою глядел на закат.

Когда падала ночь, я сидел в ресторанчике, на углу Миллионной[124], с каким-то потеющим бородачом, оказавшимся кучером; мы с ним кого-то свергали; он со страниц «Петербурга» внушает Неуловимому*** подозренье; газе-

* Гувернантка, читавшая четырехлетнему мне стихи Гейне.
** См. «Петербург»[123].
*** См. роман «Петербург».

тою кроет Неуловимый свой узелочек, в котором — «сардинница»-бомба;[125] такой узелочек, невидимый, точно явился в руке моей; я его всюду таскал за собою; и точно кто вшептывал в ухо — «пора тебе»; пальцы сжимали лишь воздух пустой.

Шестой день, как громлю тротуары; куда себя деть? К Доминику[126] иду опрокидывать рюмки и после, с опущенною головою, плестись через строй проституток, хватающих за руки (пьян человек), к Караванной, домой — головою в подушку: не спать и ворочаться.

Как-то, — у скверика, где Караванная пересекается, кажется что, с Итальянскою, вылетев, наперевес держа трость, в панама́, точно палка прямой, без кровинки в лице с неприятным изгибом своих оскорбительных губ, побежал мне навстречу —

— Блок!

Он — не увидел меня.

Этот жест пробегания я пережил как удары хлыста по лицу: «Как он смеет?»

Что?

Лгать! Потому что — увиделось: здесь, на углу Караванной, его обращение с «Боря» — слащавая маска, слетевшая под ноги в миг, когда он полагал, что его не разглядывают; это «голое», злое лицо крепко вляпалось в память; и — стало лицом Аблеухова-сына, когда он идет, запахнувшись в свою николаевку, видясь безруким с отплясывающим по ветру шинельным крылом;* сцена — реминисценция встречи.

Седьмой уже день: шагать в номере — бред; и шататься по мрачному, черно-серому городу — бред; я склоняюсь на столик заневской харчевни, чтоб греть себя водкой: ознобит; но натыкаюсь на литератора; с ним я оказываюсь уже в другом ресторане; откуда-то взялся Чулков, незадолго до этого выпустивший «О мистическом анархизме», за что из «Весов» я его пощипал; он пенял мне за это[128].

Хорош: ногой — в гроб, а рукой — за перо; у меня лежит странная книга; заглавие — «Сутта-Нипата»;[129] я силюсь буддийской нирваной прервать свою боль; снова: это случайное пересеченье фантазии о «домино» с мыслью Будды всплывает в романе моем, когда старый туранец является перед сенаторским сыном, заснувшим над бомбой[130].

С отчаянья я оказываюсь у Федора Сологуба;[131] и ви-

---

* См. «Петербург»[127].

жу, что нарумяненный, чернобородый, плешивый мужчина в поддевке, на щеки наклеив огромную мушку и рожками вставших висков увенчав свою плешь,— здесь засел; он держал себя томной красавицей, перед которой маститый Иванов, встряхивая белольняною копною волос, лебезил:

— «Михаил Алексеевич, почитайте стихи».

М. Кузмин, уже ахнувший «Крыльями»*[132], стал шепелявить стихи, кокетливо опуская глаза; мне тогда не понравился он; еще более не понравилось чтение собственной «Панихиды», к которому приневолили; я зачитал,— с прихрипеньем, взывая:

Приятно!
На желтом лице моем выпали —
Пятна!

Так я накануне едва не случившейся смерти — себя хоронил.

Дни — как вляпнутые пятна бреда; и уже каким-то скаканьем на помеле промелькнул восьмой день; помелом оказался Иванов**, тащивший к Аничкову завтракать; здесь гримасничал Городецкий; двадцатипудовая туша Щеголева, известного пушкиноведа, в обнимку с хозяином хлопала водку; я жался к блондину с взъерошенными волосами, в застегнутой куртке, с кривым, бледным, смахивающим на В. А. Серова лицом; павши локтем в колено, отставивши ногу, ероша бородку, завел он со мной разговор о покойном отце, пока прочие пили; вина не касался он.

— «Кто это?» — спросил я у Аничкова.

— «Да Александр Иваныч Куприн».

После завтрака двинулись все к Куприну, у жены которого сидел журналист и редактор Ф. Батюшков вместе с Дымовым Осипом («литературный лихач»,— так Чуковский о нем написал);[133] у Куприна мы обедали; он заставил меня написать на большом деревянном, сплошь покрытом эпиграфами столе на память стихи; уже вечером всею компанией мы на извозчиках, сидючи по трое, шумно поехали к Ходотову, к артисту; там — роище, гул: я сидел за столом с драматургами — Косоротовым и Найденовым; кто-то отчетливо произнес: «Трепов умер от разрыва сердца»[134].

А утром записка: Щ. вечером ждет[135].

---

* Повесть.
** Вячеслав Иванов, поэт.

День был зеленоватый, гнилой, с мрачной прожелтью; в воздухе взвесились мрази; в такие дни сразу же отнимается память о лете; как сажа, слетает загар.

Я с утра — на посту; над Невой, у гранита; рой за роем неслися клокастые дымы над еле протускленным шпицем; как жутко глядеть туда: брр! Я вернулся шагать: меж углами угрюмого номера; и, отшагав расстояние, равное расстоянию от Петербурга до Колпина[136],— слышу: этого недоставало — стучат! В двери выставилась борода под вихрами, в очках, с выражением наглой слащавости:

— «Я, Борис,— и не сержусь! Вот — нашел тебя...»

И полосатою парой ввалился, всучив в карман руку, кузен, Константин Арабажин*, все звавший к себе, в Чернышев переулок;[137] шагал предо мной, пародируя жесты Бугаевых; и доказывал, что и он — социалист.

— «Да они ж не желают понять...— ставил он предо мною ладони и точно отталкивался.— Они думают, обобществленье — по метрику на обывателя... Так: у меня, в Чернышевом, Борис,— ну, четыре там комнаты;— падал вихрами на ногу,— а в будущем строе,— бросил свой дородный живот, ухватясь за подтяжки,— их будет — что? Шесть!»

Он слащаво помигивал.

Пропародировав родственность, бросив мне руку и шляпу схватив, отшагал в коридор, влепясь в мозг черной кляксой; а мозг искал отдыха перед свиданием с Щ.

Да, такие деньки — Достоевский описывал!

Шел как на казнь я по Марсову полю; вопила Нева пароходиком; копоти, выгнувшись, падали в черную воду; отчетливо вылепился над водой одинокий прохожий; туманы густели; янтарные слезы заневских огней стали тусклыми пятнами сыпи; я скоро увидел за рыжим пятном фонаря теневой угол дома: того! Вот и неосвещенная лестница.

Мягкие части,— не ноги,— гранились ступенями.

Вот — началось это: зачем приехал? Я вызван затем, чтобы выслушать свой приговор: удалиться в Москву; торчать — нечего; я, представляясь страдальцем, отплясываю по салонам; у Сологуба — был? У Аничкова — был? И подносится возмутительная сервировка деталей вчерашнего дня, специально для Щ. собиравшаяся неиз-

* Театральный критик «Биржевых ведомостей», потом профессор литературы.

вестным мне Холмсом;[138] детали подобраны за исключеньем одной: что — дотерзан.

Всего — пять минут! Из них каждая как сброс с утеса — с утратой сознания, после которого — новый сброс; пять минут — пять падений — с отнятием веры в себя, в человека; на пятой минуте себя застаю в той же позе, как в Праге: пред Блоком.

А далее —

— мягкие части — не ноги — в обратном порядке, стремительно падая, перебирают ступени, а руки, простертые в мрак, разрывают подъездную дверь, из которой бросается — серая желть, проясняясь пятном фонаря; там за дверью отхлопнулась жизнь; здесь — не «я», а *ничто*, отграниченное шаровою поверхностью; к ней прилипает туман; что-то пакостно хлюпает; миг, и пятно фонаря убегает за спину; второе навстречу летит с подворотнею; мимо же катится, бухая, шар; под ним мягкие части стараются; и претыкаются вдруг о перила моста.

Шар, это —

— сердце.

А — где голова?

За перилами, силясь увидеть,— куда: где вода? Беловатая мгла прилипает к глазам: уж нога за перилами; вдруг в голове,— как иглой:

— «Живорыбный садок, живорыбный садок!»

Иль — баржи: те, которые сдвинуты к берегу; рухнешь не в воду,— на доски; и будешь валяться с раздробленной костью: всю ночь.

И опять,— как укус,— в голове:

— «Отложить до утра: утром — в лодку; и — с середины Невы».

И бесчувственно-мягкие части захлюпали прочь под пятно фонаря, от которого шел силуэт: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы; от пятна до пятна перещупывались подворотни и стены; вот вылезли рыжие пятна отовсюду: туман грязно-рыжий стал; в нем посыпали лишь теневые пальто, котелки, усы, перья, позднее влепившись в роман «Петербург»; все страницы его переполнены роем теней, не людей; я таким видел город, когда небывалый туман с него стер все живое; та ночь не забудется;[139] переживанья мои воплотились в томленьи всех главных героев романа; вторая часть посвящена описанью одних только суток; я их пережил, не усиливши, разве ослабивши бред, обстававший сознанье; а котелок, надо мною

стоявший над мостом, бежал сквозь туман на страницы романа, чтоб бегать — по ним: «Над кишащей водой пролетали лишь в сквозняках приневского ветра — котелок, трость, пальто, уши, нос и усы»*.

Дотащился до номера: в распоряженьи осталось семь-восемь часов беспросветного мрака, но вздулося время; как сердце; и действие волей судьбы отнеслося за солнце; как перешагать расстояние, равное семи часам? Пишу я матери и стараюсь ее успокоить: внушить, что *так надо;* письмо — запечатано; далее я запечатываю и рецензию, писанную в этот день для «Весов»; номер — набран; редакция — ждет; вот —

— и кончены счеты с земным!

А прошло — полчаса: еще шесть с половиной часищ; я хватаюсь за «Сутту-Нипату»; прочитываю: «Одинокий подобен носорогу»;[141] но не рок — носорог: а тут — рок; нет,— не то! И сижу, бросив голову в руки; и вечность развертывает свои счеты; и медленно выговариваются невыговариваемые слова; брезжут образы (им же нет образа); это уже и не жизнь: *как бы* совершено уже то, чему след совершиться; и вот из *как бы* вылезает *кабы:* кабы так, а не эдак! Но *то* совершилось в душе: начать поздно; и — отрешеннейшее созерцанье, разглядыванье, передумыванье: странно-радостный свет, что есть жизнь для уже из-за жизни глядящего; *тот* рассуждает над *этим,* который низвергся со смысла,— не в воду, а — в эти четыре стены: запечатывать письма; так «я» из вне жизни сидело над трупом себя самого, вытворяя — кого? Да себя самого; все предстало в ином вовсе свете, меня освещающем.

И — озираюсь: действительно — освещены все предметы; а свет электрический даже не светит: в дневном.

И я понял, что ночь пересилена; жив: не убил себя; вечность свернула свои тяготящие счеты; гляжу на часы: половина десятого.

Стук: как? Посыльный с запиской? Щ. просит быть: и — сию же минуту[142].

Не стану описывать, как порешили расстаться, чтоб год не видаться; в себе разглядеть *это все;* отложить все решенья; по-новому встретиться; Щ. убедила меня ехать в Италию, к солнцу, к здоровью, к искусству; она обещала

---

* См. «Петербург», глава первая[140].

писать и поддерживать во мне стремленье к добру,— то, которое будто бы на лице отразилось моем; после ночи[143].

Я ехал в Москву с облегченьем:[144] как будто я в Питере выделил труп, о котором кричали последние стихотворные строчки; и скоро я с тихостью, свойственной выздоровленью, уселся в вагон: мама, Эллис, Сережа в окошке, махая руками,— пропали.

Поля: еду в Мюнхен[145], к Владимирову; поступив в Академию, учится он у профессора Габермана.

стоявший над мостом, бежал сквозь туман на страницы романа, чтоб бегать — по ним: «Над кишащей водой пролетали лишь в сквозняках приневского ветра — котелок, трость, пальто, уши, нос и усы»*.

Дотащился до номера: в распоряженьи осталось семь-восемь часов беспросветного мрака, но вздулося время; как сердце; и действие волей судьбы отнеслося за солнце; как перешагать расстояние, равное семи часам? Пишу я матери и стараюсь ее успокоить: внушить, что *так надо;* письмо — запечатано; далее я запечатываю и рецензию, писанную в этот день для «Весов»; номер — набран; редакция — ждет; вот —

— и кончены счеты с земным!

А прошло — полчаса: еще шесть с половиной часищ; я хватаюсь за «Сутту-Нипату»; прочитываю: «Одинокий подобен носорогу»;[141] но не рок — носорог: а тут — рок; нет,— не то! И сижу, бросив голову в руки; и вечность развертывает свои счеты; и медленно выговариваются невыговариваемые слова; брезжут образы (им же нет образа); это уже и не жизнь: *как бы* совершено уже то, чему след совершиться; и вот из *как бы* вылезает *кабы:* кабы так, а не эдак! Но *то* совершилось в душе: начать поздно; и — отрешеннейшее созерцанье, разглядыванье, передумыванье: странно-радостный свет, что есть жизнь для уже из-за жизни глядящего; *тот* рассуждает над *этим,* который низвергся со смысла,— не в воду, а — в эти четыре стены: запечатывать письма; так «я» из вне жизни сидело над трупом себя самого, вытворяя — кого? Да себя самого; все предстало в ином вовсе свете, меня освещающем.

И — озираюсь: действительно — освещены все предметы; а свет электрический даже не светит: в дневном.

И я понял, что ночь пересилена; жив: не убил себя; вечность свернула свои тяготящие счеты; гляжу на часы: половина десятого.

Стук: как? Посыльный с запиской? Щ. просит быть: и — сию же минуту[142].

Не стану описывать, как порешили расстаться, чтоб год не видаться; в себе разглядеть *это все;* отложить все решенья; по-новому встретиться; Щ. убедила меня ехать в Италию, к солнцу, к здоровью, к искусству; она обещала

* См. «Петербург», глава первая[140].

писать и поддерживать во мне стремленье к добру,— то, которое будто бы на лице отразилось моем; после ночи[143].

Я ехал в Москву с облегченьем:[144] как будто я в Питере выделил труп, о котором кричали последние стихотворные строчки; и скоро я с тихостью, свойственной выздоровленью, уселся в вагон: мама, Эллис, Сережа в окошке, махая руками,— пропали.

Поля: еду в Мюнхен[145], к Владимирову; поступив в Академию, учится он у профессора Габермана.

Глава третья

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

МЮНХЕН

«O, Susanna, wie ist das Leben doch so schön»,— со словами, пропетыми хором вчера в «Симплициссимусе», продираю глаза, вылезая из легкой, взлетевшей огромной перины на свист под окном «Расскажите вы ей»; босыми ногами — на пестрые коврики; луч из окна бросил сети сияющих пятен меж розовых стен и меж красненьких креселец чистенькой комнатки (в месяц плачу за нее двадцать марок); к окошку: его распахнуть; я — высовываюсь: «Не меня!»— Это — наискось, кто-то в изогнутой шляпе, в коротких, зеленых штанах и в цветистых, зеленых гамашах, сметая с плеча пышный, веющий складками плащ, под окошком высвистывает и махает крюкастою палкою: «Русский». Мотивом Гуно «Расскажите вы ей» вызывают друг друга под окнами — русские; каждая нация здесь, корпорация, даже кружочек, имеют свой свист; вам подъезд не откроют; недавно, забывши свой ключ, я ломился сюда целый час; было два часа ночи; хозяйский колпак (белый, с кисточкой), высунувшись из окошка, сперва отчитал; а потом уже с грозным прикряхтом явился в распахнутой двери; с тех пор три ключа (от подъезда, квартиры и комнаты) вечно на мне; и под окнами мы пересвистываемся условными свистами; не распахнутся,— хозяина нет: уходи!

Я, Владимиров, Вулих[1] и Дидерихс вызываем друг друга мотивом «Разлуки».

Вот моющий воздухом ветер взвил в небо сухой, красный, лиственный винт; и уж тянет на улицу: под, точно призрак, пылящим фонтаном клониться на мрамор из темной свисающей зелени, видеть свое отраженье в бассейне и слушать вздыхание струй.

Кофе — выпито; быстро одев свой зеленый, баварский, коротокштанный костюмчик с узорчатыми гамашами,

бросив на плечи накидку, лечу я над — до белизны, до зеркальности — бледными плитами вымытого тротуара; навстречу несутся цветистыми пятнами белые, оранжевые и малиновые каскетки студентов; сегодня — парад: где-то — хор трубачей; голубой офицер, обвисающий белыми перьями каски; бело-голубые знамена несутся; летят голубые трамваи; мое впечатление: Мюнхен — какое-то бело-голубое плесканье; фантастика — серые до белизны силуэты и башен, и шпицев, и арок, и статуй, врезаемых в небо; фантастика — парк, пропирающий в центр, убегающий в лес, из которого лупит козел, чтоб в аллею свой выставить рог: из куста; все — какая-то детская книжка с картинками; и — ждешь увидеть: как мюнхенец Штук*, расплодивший в Европе кентавров и фавнов, пройдет по панелям, под руку ведя... сатирессу.

Романтика, готика в перебое со стилями разных Луи и с показом безвкусицы «Сецессионом»** придуманной Греции — плоды творения кажущегося добродушным и шутоватым баварца, готового даже отпеть с опереточной сцены свой собственный быт, горлом строя колена,— такие ж, какие, потехи ради, для барина строит ногами мужик, неохотно пустившийся в пляс: звук тирольского «Иодля»*** стоит неумолчно, как песенка мюнхенцев:

O, Susanna, ist das Leben doch so schön!
O, Susanna, wie schmeckt das Bier so schön!****

С Барерштрассе[3] шагаю к зеленым газонам огромного здания Академии; многоступенчатый всход его в пятнах собравшихся пестрых натурщиц, мимо которых в широких шляпах, в надувшихся ветром плащах, дымя трубками, мчатся художники всех национальностей, за исключеньем баварской, которая им покровительствует, извлекая из этого пользу (моральную и материальную даже); ведь Мюнхен, сбирая с них всякие дани, сто лет упрочняет свою репутацию «новых Афин».

Академия — влево от мраморной, белой, лепной, изукрашенной темным орнаментом арки, увенчанной девой с копьем, в колеснице, которую тащат косматые львы; то «Ворота победы», иль «Зигес-Тор»;[4] арка же делит квар-

---

* Художник.

** Сецессионисты — некогда новаторы, к 1906 году наложили свою руку на весь Мюнхен[2].

*** Иодль — тирольское горловое колено, которым горцы перекликаются в горах.

**** «О, Сюзанна,— так хороша жизнь! О, Сюзанна, как вкусно пиво!»

талы: аристократический от квартала рабочих, художников; этот квартал перерезает от Зигес-Тор улица: Леопольдштрассе; огромные пирамидальные тополи озеленяют ее; здесь ютятся художники; студия здесь громоздится на студии; громко рояли в открытые окна бросают на улицу — Шумана, Шуберта, Баха; проходишь по ней; замечаешь: дома и прохожие — проще, бедней; здесь дешевле квартиры; дешевле табак; здесь воняет сухой, сухопарой сигарой, «Виргинией», пивом и жареным.

Ленин — жил в Швабинге[5].

Вправо от Зигес-Тор — чистая и широчайшая улица; то Людвигштрассе; и сколько б на ней ни слонялось народа — пуста она; и она открывает миражи дворцов, башен, шпицев, скульптур, перед которыми прядают пылью фонтаны; безвкусие зданий модерн расступается здесь перед более строгою линией зодчего Кленце; коли пойдешь от ворот, то направо — университет, где сердца прошибал своей лекцией Шеллинг и где читал в мое время эстетику Липпс; его слушали: прикатившие из Москвы молодые философы Топорков и Кубицкий.

Перед университетом подброшенной пылью играет немой, белоснежный фонтан; а напротив стоит благородное здание; то — библиотека, меж нею и чопорным иезуитским колледжем, меж каменными, плосковатыми монументальными вазами — узкий проход в обвисающий золотом Английский парк; там — безлюдно, свободно, тенисто и густо: аллеи, поляны, газоны, беседки, висящие мостики, купы каштанов, дубов, вязов; и чащи, и заросли, переходящие в лес, там за лесом увидишь: играют снегами Тирольские Альпы.

Бывало: пройдя Людвигштрассе, стою пред готическим каменным сооруженьем для караула; солдаты бросают утрами здесь выше носов свои пятки пред патриархальными семьями: прадеды, деды, отцы, сыны, бабки, украшенные добродетелями, миловидные дочери, внуки кричат: «Hoch, hoch, hoch!» — богу, кайзеру, регенту, старой Баварии.

Улица здесь подмывает к развязности; шутки подносятся здесь как качели, как спичечный вспых, вызывающий взрыв; видел я, как какая-то группа студентов, построившись в ряд, шла подбрасывать ноги под носом усатого шуцмана;* выпятив груди, они заходили вокруг, пародируя точно солдат караула; а на тротуарах уж драли

* Городовой.

животики; шуцман лишь морщился; идиотизмы здесь ходят на длинных ходулях; и им аплодируют; тресни ходуля кого-нибудь в лоб, появляется «шуцман»; а тот, кто животики драл над ходулею, тащит в участок ее; и сам «регент»[6], из окон дворца тоже дравший животик, теперь издает против этой ходули закон; и за это-то принцев баварского дома мещане встречают громовыми «хохами»;* раз в Нимфенбурге (близ Мюнхена) мне показали на старенького буржуа в котелке, апатично гулявшего в желтой аллее под замком:**

— «Наш принц,— практикующий доктор!»

Я видел проездом здесь бывшего «кайзера»: «кайзер» сидел, разваляся, в коляске, с холодным, несвежим и серым лицом, с носом, гнувшимся из перьев каски; торчали усы его так, как торчали они в этот день у дворцовых, изваянных львов, что потом подчеркнул «Симплициссимус»; «кайзер» так нехотя к каске прикладывал руку; баварцы глазели без «хохов»; но тотчас за кайзером «хохами» встретили принцев своих.

Гогенцоллернов здесь не любили и в пику хвалили «своих»; но «свои» показали себя через несколько лет, туго Мюнхен стянув иезуитским корсетом и рот заклепавши цензурой ему; все наполнилось вдруг зашнырявшими черными, широкополыми шляпами и длиннополыми, туго застегнутыми сюртуками святейших отцов, точно нетопырями; но это случилось, когда умер регент.

А вот и дворец: жил в нем Людвиг Баварский, друг Вагнера, мучась душевной болезнью; здесь все полно слухами: регент убил его;[7] ныне разбрюзгший восьмидесятилетний старик, он стал «наш» для баварцев; он очень боится и чтит тоже «нашего» социалистического депутата, герр Вюльнера; было в Мюнхене три короля: регент, Вюльнер и Ленбах; и кажется жалким мне переданный анекдотик, как регент, на предложение министров открыть здесь публичный дом,— выразился:

— «Зачем, когда Мюнхен — сплошной этот дом!»

Церемониалы принца-регента: отведывание первой кружки в такие-то числа варимого пива: в такой-то пивной; он и сам пивовар, содержащий пивную,— свою, «королевскую», ставшую клубом пивных толстяков; государственность, можно сказать, что пивная: в парламенте здешнем — многочасовые дебаты о ценах на кружки,

---

* «Хох» — равносильно нашему «ура».

** Нимфенбург — загородный королевский замок с парком.

о том, доливать ли сполна пивом их иль оставить для пены пространство с полпальца; волненье возникнет в том случае, коли недолив увеличить на палец.

Я здесь себя чувствую точно в комедии; глаз мой, засыпанный, точно песком, красным криком, теперь отдыхает на цвете зеленых штанов, заменивших мне «красное домино»; а «кинжал» заменяет мне трубка.

Почти у дворца королевский театр, всем известный в Европе по праздничным, августовским постановкам творений Р. Вагнера, не уступающим даже Байрейту[8].

Бавария — точно арена для празднеств; раз в несколько лет сотрясается трубами Мюнхен: то — праздник стрелков: вереница процессий в средневековых одеяниях; здесь карнавалы разгулами арлекинады побили рекорды других городов; здесь три дня всякий чмокает кого угодно; и ноги дерет; и отламывает дурака; в октябре вокруг статуи национальной Баварии бьют наповал многочисленные горлодралы; и каждый, держа в руках книжку и справяся с номером, выставленным на эстраде, уткнув в книжку нос, рот раздрав, распевает бездарную песню под номером; это — Октоберфест;[9] под головой национальной я был: не ревел, рот раздрав, как Владимиров; неподалеку от Мюнхена, в Обер-Аммергау, раз в несколько лет исполняют мистерии «Страсти Христовы».

Пройдяся по Людвигштрассе, оказываюсь в центре города: старые, новые башни и шпицы, среди которых облепленное и скульптурой и башенками (под главной башнею) белое здание новоотстроенной ратуши силится перекричать своей «готикой»: готику[10].

Если спущусь теперь влево, то — попадаю в кварталик семнадцатого столетия с роем крутых, черепитчатых крыш над домками с оконцами, с выставленной из оконец большой головой в колпаке: лицо — красное, бритое, в мощных морщинах; а войлок растрепанный прямо из шеи растет: точно уличка с домом и с бюргером выскочила из полотен Гольбейна; стена выгибает дугу фонаря; он — больщущий, зеленый, престарый; тусклит огонечком над улицею в пять шагов; как в театре! То — «Ау»: старый Мюнхен.

Коли заверну я от ратуши вправо, с отклоном в «назад», я запутаюсь в уличной сети, обставленной бурыми и буро-рыжими тяжеловесными зданиями; за зеркальными окнами выставка ваз, инкрустаций, эстампов, скульптур и полупудовых, золотых переплетов, подобных Евангелию, выносимому дьяконами; то — евангелия от искусства, плоды крохоборов; здесь улица брызжется просвер-

ком говоров; в матовом золоте речи немецкой — баварское «шо» вместо «зо» вперемежку с рубиновым «жи» или «джи» итальянца; и вдруг полыхнет — изумрудами: русские! Меж картинных табачных и книжных палаццо — отели, кафе, изукрашенные золотою и мраморной кариатидою, розовыми, голубыми, седыми колоннами (шаг утопает в коврах); тут маститая очень традициями «Аугустинербрей», всегда пустая пивная, таящая в сумерках залы резьбу темно-коричневых, сплошь деревянных скамеек, столов, стен, украшенных изображеньем святого младенца, держащего в ручках по пенистой кружке; сюда приходил, когда начинал утомлять меня солнечный свет, ядовитый, пронзительный, как золотая мелодия Вельзунгов[11], сладкая до... самоотравления организма; змея подколодная тихо ползла на меня из России бессмыслием только что пережитого там; здесь мне казалось, что я не в пивной — в каменистой пещере старинной Германии третьего века; глотал я коричневое, с легким просверком, пиво; вставала затея: уйти, как в леса, в мне чужую, далекую жизнь, не вернуться на родину, чтобы неузнанным странником пересекать этот сумрак коричневый; и, вдруг увидев стоящего перед потоком лесным, как и я там стоял над Невой, подойти и сказать ему:

— «Брат!»

Может быть,— так и следовало?

Я расплачивался; выходил: бирюзовые воздухи дули; и солнцем облещивало; но я свертывал в тихие улицы, мимо кафе «Луитпольд», где есть зал-конференц; в нем я высидел столькое... через шесть лет;[12] в зале слышал ответ на вопросы сознания, вставшие некогда у «Аугустинер». Свернув в кривули, разбиваешь свой лоб о нелепые, серые камни стены, ускакавшей под небо гигантами башен, венчанных зелеными чалмами: то — Фрауэнкирхе, творение оригинальнейшей готики:[13] уникум не красоты, а нелепейшего парадокса.

Сворачиваю; и — пронырами улиц бегу к плац-газону с подрезанной и перечесанной травкой; кольцом окружают веранды обвитых цветами отелей; а посредине газона стоит — обелиск; «Глиптотека» стекольной стеною светлеет;[14] и смотрит на толстых, не очень высоких колоннах простой архитрав «Пропилей» [15], под которыми,—

— может быть,—

— сам

Генрик Ибсен, касаяся черной перчаткою края цилиндра, стоял; разумею не Ибсена-пыжика, карлика в бе-

лых ершах, заколоченного, точно в гроб, в свой сюртук, от которого стаи шарахались шапки ломавших поклонников, точно бабахало в них десятью пистолетами; «пыжик» родился в Тироле; носил к ледникам подбородок квадратный; нет,— Ибсена, черноволосого говоруна, поднимавшего ветер взволнованных слов, вижу я проходящим от толстых колонн к обелиску: от солнечных взлетов фантазии о Юлиане Отступнике к... «мумии» — Боркману[16].

Может быть?..

Вот и тяжелый бассейн с беломраморными водяными быками и прыщущими во все стороны косыми струями,— гордость всех мюнхенцев: выбил его Гильдебрандт[17], автор очень тугого труда, тоже выбитого из целин кантианской эстетики;* сколько, пыхтя, над ним выкурил трубок Владимиров: труд был указан профессором, герр Аберманом; забыты восторги пред краской Рублева: Владимирова занимает Маре; он глотает слюну над штрихом (все колбасочками) Гульбрансона, веселого карикатуриста из недр «Симплициссимуса»[19], очень левого органа группы художников и публицистов; работают в нем: Гульбрансон, Тони, Гейне и Шульце (художники); в нем пишет Голичер. «Сатирикон»[20] — только тень «Симплициссимуса».

Возвращаюсь прямехонько на Барерштрассе, свой круг описав: мимо новой Пинакотеки; вот — старая Пинакотека (живу от нее на расстоянии трех лишь домов);[21] каждый день я сюда: достоять перед тем иль иным старым немцем; неделями я изучаю полотна их, краски впивая, читая труды, посвященные им.

ПИНАКОТЕКА КАК ДРОЖЖИ МЫСЛИ

Старая Пинакотека становится лабораторией мыслей — о глазе, о краске, культуре искусств, о четырнадцатом и пятнадцатом веке и им предшествующих; грань, лежащая меж возрождением и средним веком, есть мнимая грань: Вольгемут, Дюрер, Пахер, Бургмайер, Альтдорфер, Цейтблом, Балдуин Грин** коренится одновременно в Эразме и в готике Робер де Люзарма (Амьенский собор), Монтрейля («St. capelle» в Париже)[22], Эрвина фон Штейнбаха и в старом Кельне, во Фрейбурге, в Страсбурге; изучаю различие меж старокельнскою школой, злоупотребляющей золотым фоном, фламандской и южно-

* «Проблема формы в изобразительном искусстве»[18].

** Старонемецкие художники.

германской; последняя зачаровывает независимым огнем своих красок, реалистическою деталью и интимизмом: мои любимцы — Цейтблом, великолепный Шёнгауэр (Кольмар), тиролец Пахер и Вольгемут, ученики которого оспаривают фламандцев: от Дюрера до Луки Кранаха (Старшего).

Часто часами сижу я в пустом кабинете гравюр над альбомами Сегантини и Клингера,— для понимания отличий гравюры модерн от следов на дереве резца Дюрера;[23] и — прибегаю к Владимирову, товарищу по гимназии, университету, «соаргонавту», переживавшему революцию так же, как я, и сплетенному со мною по-новому в мыслях о живописи; кто же выше: германец Грюневальд иль — фламандец Массис? Я тащу к полотну неизвестного мастера «Жизни Марии»; он хочет меня соблазнить перспективными головоломками Рубенса; даже, бросая свой класс, для меня он является в Пинакотеку,— наглядно доказывать мне, что «Похищенье сабинянок» есть чудо, что Рубенс — не понят, что можно его проваливать и возвышать; все — от глаза; и умение видеть, науку разглядывать, он проповедует еще до Водкина.

Для Владимирова исключительна роль Нидерландов, дающих в пятнадцатом веке толчок к возрождению музыки, вызревшей на их дрожжах; что для Дюрера — готика, то для Люлли, Скарлатти, Рамо, даже Баха — усилия контрапунктистов-голландцев предшествующих столетий; после Франкона Кельнского (тринадцатый век), изучившего жизнь интервала и роль диссонанса, и после работ философствующего математика-композитора Иоганна де Муриса (четырнадцатый век) нерв развития музыки дан в нидерландцах Дюфе, Оккенгейме, в Жоскене де Пре, в Пьере де ля Рю, в Виллаэрте, учителе Царлино и основателе музыкальной школы Венеции, в Гудимеле, творце римской школы, работавшем в Риме, в Париже, в Орландо Лассо; они открывают пути Александру Скарлатти (в Италии), Люлли (во Франции), Баху (в Германии), Генделю; деятельность этих тружеников звучит в унисон с Ван дер Вейденами, Ван Эйками, Мемлингами, Массисами, Дирками Боутсами, завершаяся в Рубенсе, в непревзойденном Рембрандте.

Владимиров думает так; меня ж тянет в Кольмар: к Грюневальду; но вот в чем сошлись: композиции ярких художников и величайших ученых вполне имманентны друг другу; что явлено в красках сперва, то позднее — орнамент из формул; и — далее: космосы точного образа

по Микель-Анджело строятся в образы точного космоса у Галилея, Коперника, Тихо де Браге и Кеплера — тоже художников, изображающих ритм упадающих или крутящихся масс; и воистину: образ художника передает свой размах достижений механике, физике — так, как в Элладе владение изобразительностью, породившее Фидиев, выточилось в достиженьях геометров, тоже художников форм; и Кеджори, историк наук, мыслит — так.

Еще в Мюнхене эта догадка встает; пониманье культуры, по-моему, есть пониманье периодов, сложенных из компонентов, всегда превращаемых, эквивалентных друг другу; и мысли статьи «Принцип формы в эстетике», только что мной напечатанной*, переношу на культуру, ища в многоличии всех кинетических метаморфоз, как механики, физики, живописи, астрономии, как математики, музыки,— той же энергии, потенциально загаданной; вижу: плоды ренессанса искусств изживают позднее себя в достижениях чистой науки; умение красочно выявить трюк перспективы становится опытом оптики; линия — формулой; сближены невероятно в шестнадцатом веке: научность фантазии у Микель-Анджело с творчески воображенною формулой у Галилея, когда он в Пизанском соборе увидел качанье светильника;[25] сам Галилей, как нарочно, родился в год смерти художника, чтоб воплотить в точных формулах то, что культура искусств до него преднаметила. Мне открывалась реальная связь меж теориями перспективы и меж геометрией,— между космизмом всех образов Анджело и композицией неба (небесной механикой): связанность с нею дальнейших открытий падения тел, тяготенья, принципов Ньютона; явно открылась связь ритма с теорией групп, с высшей алгеброй.

В Мюнхене силился видеть я эквиваленты, иль величины обратимые,— в фазах культуры; в баварском музее разглядывал памятники немецкой нации с времени римской империи, пристально вглядываясь в изображение готических памятников, интересуяся и Ленуаром**.

Владимиров все интересы свои ориентировал на шестнадцатом веке, переводящем образы воображенья в энергию мысли; и здесь упирался, к досаде своей, в *кватроченто, треченто* Италии: и — решено: мы там будем — весной!

---

* «Золотое руно», 1906 г. Статья была не понята; на нее обратил внимание только один из ученых-физиков (будущий профессор)[24].

** Французский художник и собиратель статуй в эпоху Конвента, впервые указавший на значение готики для нашего времени и открытым им музеем, и описанием памятников в своей книге о них.

Я готичней настроен: понять ренессанс как явление *ставшее* значит — увидеть его *становление* под оболочкою готики, даже схоластики; через Брунетто Латини, Петрарку, Джиотто, родившегося из мозаики, я протянулся к Сицилии, к мозаичистам, к языковым достижениям предренессанса, сварившего здесь из латыни народно звучащую итальянскую речь.

Даже в поисках эмбрионов возрождения я не увидел позднейших шагов ренессанса, ища гуманиста в душе трубадура, ища трубадура в обезземеленном рыцарьке, вынужденном к приключеньям, оправдывающим все погони за средствами: высшими целями.

Очень чуждаяся схоластики, готики — как таковых, я их брал как беременных будущим всем — в Абеляре, в Рожере Бэконе, в Амьенском и Реймском соборах[26], в строфе провансальской поэзии, а не в Фоме, не в Бернарде Клервоском; и за каркасами рыцаря (броней, забралом) увидел перерожденье второго сословия в третье: перерождение рыцаря в авантюриста; пред нами все фазы его: феодал, крестоносец, странствующий бедняк-трубадур, порождающий авантюриста, художника, освобождаемого гуманиста, который родит либерала; он сам — порожденье капиталистических еще не осознанных сил; все то — стадии облиняния рыцарства.

Готику, даже схоластику, вижу то — в свете прошедшего, то — в свете будущего; не могу разделять я учения о двойной истине, силясь его понимать как симптом, совершенно реально и без метафизики; «верю, чтоб знать», или «знаю, чтоб верить»,— о лозунгах споры велись: спор Ансельма, Вильгельма из Шампо с номиналистами и с Абеляром[27] — симптомы борьбы в организме, дающем зародышу соки в ущерб своим силам и вместе отстаивающем свое бытие; средневековое «верю» мне — догмат из знания мощи рождаемого человека, пока еще только зародыша: он, нерожденный, увиделся в небе младенцем «божественным»; средневековое же «знаю» есть догмат лишь веры в неведомого Аристотеля (будет изведан в тринадцатом веке).

Мысль грека — цветущая девушка; она живет для себя: автономна; а гетерономность, убожество мысли схоластика,— напоминает мне эту же девушку, но подурневшую, связанную: забеременела; и — живет не собой, а процессом питанья зародыша; вера в него — ее «мистика».

Словом: схоластика как размышленья о мыслях Порфирия, перекалечившего Аристотеля[28],— мне неприемлема: она волнует, как предвозрожденье; в таком освещеньи

она не прочитана; в Мюнхене я углубляюсь впервые в проблему прочета, еще предстоящую мне;* полагаю, что кинетическая энергия средних веков есть неправильное применение греческой логики; потенциальная же их энергия — акты питания старыми соками «новой» души, отражающей формирование нового класса; отсюда и «мистика», пересыхающая в теологию, но и могущая переродить свое «верю» в «хочу»; ибо «мистика» этого времени бьет одинаково в спину и феноменалистов, и так называемых реалистов; кинетическая энергия возрожденья — раскрытие «веры» как только свободы сознания: «я сознаю — стало быть: я живу» — это будущий лозунг Декарта; потенциальная же энергия, данная нам возрожденьем, есть выпирание нового класса; его пионеры — суть гении авантюризма, ударившиеся в скопленья богатств, в применение к технике принципов знания.

В Пинакотеке Владимиров передо мною растет; в Москве дамы считают его русским Гланом** за добродушие, утаивающее что-то свое, что весьма нелегко обнаружить; перед полотнами Рубенса став, от него отступя, но впиваясь глазами в него, проводил он идеи, рожденные в клубах табачного дыма; передо мною вставал очень большой человек, но который, увы,— не оставил следов для искусства; в нем жили себя не нашедшие: Врубель, Сарьян или Водкин. В. Брюсов открыл мне структуру стиха; Э. К. Метнер вскрыл ухо; Владимиров учил видеть: Серова, Коровина, Врубеля, Нестерова еще в дни, когда были юнцами; он в Мюнхене вырос в философа; жалко лишь то, что — к ущербу художника, доселе сильного в нем, «герр» Габерман его точно сломал; он хотел одолеть перспективу, поставивши невыполнимые цели, убив колорит свой и отяжелив свой рисунок; он стал сознавать, что года еще нужно учиться,— не год, на который едва нацарапались деньги; он рассчитывал каждый свой пфенниг; уж он понимал, что, отбившись от старой манеры письма, не даст новой; и это — сбылось: он промучился несколько лет, не идя на сенсацию и отстраняяся от крикунов легкой кисти; он с горечью бросил и кисть; а в последнем свиданьи со мной признавался, что главная его работа — трактат по теории живописи.

---

* В 1915 году я возвращался к этой проблеме, изучая Джордано Бруно и Раймонда Луллия;[29] в 1916 году я опять к ней вернулся в черновых эскизах неоконченной книги «История становления самосознания»;[30] и, наконец, над этою же проблемою работал в 1931 году.

** Герой романа Кнута Гамсуна «Пан».

Не забуду слов, брошенных им перед старыми немцами:

— «Вы посмотрите,— показывал он,—«Воскресенье», писанное итальянцем; что делает он? Он бросает нам образ: *оттуда* — в *сюда:* композиция — успокоительна; но между нами и образами все ж остается ограда... Как выписана! Мы за ней, созерцаем, как сон, воскресенье и ангелов; эта гармония форм высекает маячащий свет; он — не греет; теперь мы пойдем,— вел к старинному немцу.— Все — то же: Христос и два ангела; как все убого, наивно! Детали — уродливы; где тут гармония? Но тепловую струю ощущаете вы из теней; и она согревает уродство, которое даже милей красоты; итальянец слепит, но не греет; он ставит ограду меж чудом и нами; а где здесь ограда? Вы — взяты в нее, а она за спиною у вас; вы, включась в композицию, перебегаете к гробу; тень — теплая; греет деталь: эту маленькую нежно вырисованную собачку вы любите; вляпана в чудо, чтоб в чудо вобрать обиход вашей жизни; и этим вас с чудом связать; итальянец — прекрасно покажет; а немец — введет вас!»

Теория двух композиций меня зажигает; и я сознаю: привлечен я к Грюневальду — трагизмом, которого нет в итальянцах; а ведь современность дана нам трагизмом; я строю теорию:* старые немцы нам ближе; и сводит с ума «Бичевание»[31] — красною краскою и выражением бичуемого (Грюневальд); узнаю я бичуемого:

— «Это — я в Петербурге и в Дедове, перекривленный бичами, до́ — «домино»; как же я не узнал в «домино» — багряницы? И как не узнал, что терновый венец был надет?»

Я же сам еще прежде писал:

Неужели меня
Никогда не узнают?[32]

Я сам не узнал себя! Знаю:

— «Грюневальд — еще будущее!»

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner ging zurück**.

Песня «Зимнего странствия»***— лейтмотив «странствия» и моего!..

---

* Эту теорию я критикую поздней, открывая себе итальянцев, к которым обратно от немцев зову (в 1915—1916 годах).

** Слова поэта Мюллера[33].

*** Цикл песен Шуберта.

Бирюзовые воздухи холодно дуют; и солнце бледнее облещивает; тень — теплей; и бегу «Пропилеями»; на зиму заколотили досками, как — в гроб положили,— бассейн Гильдебрандта; и — мимо: свой лоб разбиваю о серые камни стены Фрауэнкирхе; все — мимо: змея подколодная листьями гонится сзади; спасаюсь в пустой я пивной, в «Аугустинербрей», взор погружая в коричнево-темную тень; и глотаю коричневое с легким просверком пиво: уйти бы, уйти,— не вернуться; неузнанным странником пересекать этот сумрак; увидев страдающего, своим сердцем, приподнятым точно фонарь, осветить ему путь; сказать:

— «Брат!»

Сколько раз шли по Швабингу из Пинакотеки,— обедать; я упорно молчал, подымая перед собою вопросы свои:

— «Кем же волил ты быть там? Бичующим или — бичуемым?»

Ветер, взвивая плащи, проносился винтами по плитам холодным, кидаясь сухими и красными листьями.

БЫТ

Отмахавши пол-Швабинга,— свертываем в столовую для бедняков и рабочих; все просто: столы, лавки, стены и груды тарелок, ножей, жестяных, мятых ложек; вооружаемся ими; и — двадцать пфеннигов суп; тридцать — братен* (кальбсбратен, швейнбратен**); за «бир» — десять пфеннигов; из черпака перевязанной фартуком «фрау»*** получаем свой суп; очень долго выискиваем себе место: за длинным столом; горбоносые люди, угласто расставивши локти,— уписывают; обед, стоящий марку, Владимирову не по средствам; за марку питается с ужином он: двадцать пфеннигов в вечер обходится суп из гороха; и пфеннигов двадцать — чай, земмели;**** я с ним обедаю.

Он познакомил меня с эмигрантом Е. Вулихом, меньшевиком, и с очень тихим художником Дидерихсом, моло-

* Жаркое.
** Телятина, свинина.
*** Женщина.
**** Маленькие хлебцы.

дым и голубоглазым блондином, с сестрою его;[34] впятером мы гуляем, простаиваем под рогатою рожею фавна, протянутой из темной зелени; прыщет струей на мальчонка; стоим под виллой художника Штука, которая силится выглядеть Грецией; раз мне шепнули:

— «Вон, вон,— поглядите: Франц Штук!»

Белоштанник в визитке коричневой, коротконогий крепыш с толстой, апоплексической шеей, лицо свое выставил, щуря под солнцем угрюмые, черные глазки; с апломбом приставил ладонь к котелку, зажимая перчаткою трость; головою вперед,— точно бык; круто перевернулся; пропал среди зелени.

— «Видели?»

В. В. Владимиров, Вулих меня посвящают в народную жизнь — не в кафе «Стефани», очень чопорное и пустое, где в два часа дня из окна торчит в улицу желтой спиной, желтым теменем сам Станислав Пшибышевский; кругом него — пусто; вдали из пустыни столов кто-то, такой же известный, завесился «Цайтунгом»; здесь знаменитости первого сорта являются в два часа дня и пьют кофе да перекатывают биллиардные шарики; скука здесь — честь заведения; незнаменитые люди, как я, пробегая под окнами, фыркают дымом в зеркальные стекла; одни имена европейских масштабов друг другу в кафе назначают свидания; делать тут нечего; вот и сейчас — два часа; стало быть: Томас Манн, обитающий в Мюнхене[35], сел в «Стефани», потому что для мюнхенца два часа дня означает:

— «Сижу в «Стефани»!»

Нет, уж лучше в пивной, переполненной красными, жилистыми, горбоносыми горцами: в ярко-зеленых и в ярко-коричневых куртках, в дешевых, цветами кричащих жилетах, в дешевых, цветами кричащих чулках; много «масс»* осушают с утра они; с крыши висящий маляр, поработав, глотает из «массы», им взятой под крышу; и «массой» кончает он вечер, вскурив не сигару, а палку: она — чем длинней, тем дешевле; однажды я видел: вскочив из-за столиков, бросились с кружками на неудачника; над его кружкою кружку на кружку поставили; вырос — столб кружек; и с криком вздирали носы, горла драли; и прибежавшая кельнерша в чепчике тоже визжала, схватясь за живот:

— «Что такое?»

---

* Кружек.

— «Забыл закрыть кружку; ему и наставили кружек на кружку; наполнил он их на свой счет: таков местный обычай».

Здесь временем правит гротеск.

В голове «Баварии», статуи,— комнатка; я в ней сидел; это есть голова всему Мюнхену; то же и здешняя кельнерша; ее обязанности: на наскок грубоватой двусмыслицы лишь отвечать остроумием, перевоспитывая и скота; часто кельнерша — передовая Бавария, ставшая выше мещанистой «гнэдиге фрау»*, даже выше студента с разрубленною так и эдак щекою, мечтающего, чтоб ему еще раз процарапали щеку; с царапиной каждой взлетает его репутация.

Кельнерше Мюнхена свойственны легкие флирты, романы; не свойственна ей проституция; часто романы ее переходят в глубокое чувство: она — молода; не глупа, миловидна, лукава; во всех увлеченьях своих волит брака законного, вооружаясь увертливым шармом; она поднимается в гору; и часто студенты, художники, маленькие музыканты из Мюнхена ее увозят женой; она знает: во всякое время ей надо стать выше кутящей компании, чтоб, протрезвясь, про нее сказал каждый: «Марихен хорошая девушка!» Вместе с тем: ее обязанность — не отшибить от «локаля». Она есть явленье скорее отрадное в мюнхенском быте, пивном и табачном.

Так мне напевает Владимиров.

В королевской пивной свил гнездо не рабочий, а королевский толстяк,— сердце бюргеров, перенесенное в место пупка, под которым взрывается урч от двенадцати выпитых «масс»; его жизнь протекает в наливе; и после — в отливе; таков мой хозяин: впервые увидев меня, он, с посапом взяв под руку, затопотал убежденно со мною к известному месту:

— «Запомните... Шо!.. А то вечером, когда вернетесь из Хофбрейхауз, будет казаться вам, что голова — на полу у вас, а потолок — под ногами! Так надо уметь пробежать!..»

И, посапывая, топотал он со мною обратно.

О да,— потолок под ногой: это — быт государственного толстяка; и — удой коронованного пивовара; багровый толстяк, заседающий здесь, искони отравлял ядовитыми газами даже свободных художников, здесь оказавшихся; пиво — политика и экономика Мюнхена; Гейне отметил:

* Милостивая государыня.

«У нас только один великий оратор, ...но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод в Аттике»; Гейне рисует его: «Я бы принял эту голову почти обезьяньей... На переднюю часть головы, выдавившую из себя лицо, богиня пошлости наложила... печать... с такой силой, что... нос оказался... расплющенным; ...скверная улыбка играла вокруг рта... И это... демагог?»*

Демагог очень любит приплясывать с юношами-иностранцами; плясом работает он на баварскую каску, вздыхая о «добром правительстве нашем»; в войне он — лютеет; жестокость «баварца»,— о ней прокричали; толстяк королевской пивной в ней покрыл себя срамом; его добродушие — спесь хитроумной и злой обезьяны, сумевшей уверить других, что она — из «Афин».

Мюнхен слыл за «Афины».

Шарм Мюнхена в том, что он пятнами легких цветов имитирует небо и воздух; и некогда «Сецессион» таки передавал добродушие цветописи; скоро, тяжеловатою линией дуясь в вола иль в классическую перспективу, художник из «Сецессиона» лишь выдул огромный, но мыльный пузырь для искусства, который стал чтим; но, увы,— чтим какою ценой? Сам художник Цирцеею некою был превращен в толстяка из Ратскеллера:[37] и получил из руки принца-регента громкий диплом на «гехаймрата»**.

Беклин и Штук — «толстяки»; дочка Грингмута стала женой сына Беклина, после чего и «Московские ведомости» превратили его в перл создания; Беклин — багровый толстяк, уверявший, что он есть Пракситель, а Мюнхен — Афины; романтика и белозадых наяд его, и темнопузых кентавров — почти порнография, нас уверяющая, что она — краска Рубенса; Штук — буржуа, пожиратель кровавых бифштексов культуры; галоп же кентавров его превратился в галоп кавалерии: скоро!

«Афины» — искусственная аллегория, скрывшая только до времени: каску и меч; Генрих Гейне уже говорит об «Афинах»: «В Мюнхене, как в макбетовской сцене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов... от багрово-красного духа средневековья, закованного в броню»... и далее можно наблюдать «замки позднейшего периода, неуклюжие, в немецком духе, обезьянничанье с противоестественно-гладких, французских образцов — ...великолепие архи-

* Г. Гейне, Путевые картины, т. VI, с. 28—29 («Всемир. лит.»)[36].
** Тайного советника.

тектурной безвкусицы с нелепыми завитками... с кричаще пестрыми аллегориями... и картинами» властителей «с красными пьяно-трезвыми лицами»[38].

Гейне не видел действительной подоплеки безвкусицы; мог он сказать, что «безвкусица не оскорбляет»; уже в 1906 году эта безвкусица таки пугала; с начала ж войны дико воскликнули «пестрые аллегории» Мюнхена; лик «мясника» приподнялся над кружкою употребителя пива.

КАФЕ «СИМПЛИЦИССИМУС»

«Симплициссимус» был местом сбора художников из «Симплициссимуса» (журнала), а стал — местом сбора богемы: Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши; когда умерла Катти Кобус, еще в 1923 году я нередко в Берлине слыхал: «Как! И вы там сидели? Так мы — земляки!» «Симплициссимус» — воспоминанье о молодости, о порывах,— для скольких? Сидели здесь: Гейне (художник), Детлеф Лилиенкрон, Христиан Моргенштерн, Каспрович, Франк Ведекинд, Голичер, Штук, еще — сколькие! Сиживал и Игорь Грабарь, когда-то друг Ашби, которого имя связалось с хозяйкою, с Катти[39].

Ей было за сорок пять лет уж; морщины чертили лицо с острым носом, со жгучими блесками глаз, с волосами — как кокс, оттенявшими сочные, темно-пунцовые губы; вся в черном шелку, со сверкавшей серебряной цепью на шее, дородная, пышная, сдержанная, помахивая своим кружевным черным веером, кутаясь в черное кружево, все посылала улыбки проказникам,— впрочем, давала понять, что тон пошлости не соответствует этому месту; студенты, актеры, художники чтили ее и считали за честь ей представиться.

Мне рисовалась натурщица, с юности перешагнувшая через себя самое в неустанной поддержке не признанного в свое время художника Ашби, ей ставшего другом, умершего — рано; и ныне — гремевшего; первая в нем увидала талант; собирала непризнанные черновые наброски; оказывала материальную помощь; *художественный* кабачок (с ударением на «художественный») — плод союза их; я не видал ничего здесь кабацкого; Катти, привстав, брови сморщив, пристукнувши палочкой веера, ей убивала в зародыше пошлость и снова садилась и, кутаясь в черное кружево, нюхала розу, качалась на звуках в волне остроумия и принимала участие в нем; всякий, выпивший лиш-

нее, ей устранялся; когда он являлся с повинной, она, грозя пальцем, прощала: «Чтоб этого не было!»

Не ради выгоды месяцами безвозмездно кормила она бедняков, ей потом приносивших в подарок этюды, которыми ей украшалися комнатушки, способные Мюнхен вместить: они были кокетливы; в окнах снаружи был мрак: от тяжелых опущенных штор; только вспыхивал красный фонарик в лозе, над подъездом, глася: *«Симплициссимус»* — бодрствует!» От десяти — наполнялся; гремел на весь Мюнхен — к двенадцати; часто гремел до утра, когда Катти учитывала: нарушение ею положенного полицейского часа* покроет весь штраф; тогда, встав, с грациозной улыбкой кидала:

— «Ну, дети мои, — веселимся сегодня».

Бывало, — за входною дверью подымешь тяжелые ткани и глохнешь под звуками в тесненькой розово-желтой передней, где кучи накидок и шляп, где одеждою ломятся вешалки; приоткрываешь вторую дверь — на переборы веселого гомона, точно рубимого мощным рояльным ударом: рапсодия Листа! И — вензель из взвизгов смычка; и пристойный, дородный скрипач, уже лысый, привстанет со стула; рукой прижимая к груди инструмент, покачает ладонями: «Sonne in Brust»**. На помостик, покрытый ковром, в углубленьи стены — стал рояль; он гремит; и — скрипач, как седок, уж седлает смычком, точно шпорами, мощные рокоты, звучно качается корпусом; борзый рояль, точно конь, ударяющий звонким копытом, несется ландшафтом мелодий.

Две комнатки точно срослись в коридор; плещет шелк вырезных абажуриков крыльями легких пунцовеньких бабочек в пестрь застекленных этюдов; все — в кремовых рамочках; круглые столики — в бархате, в нежных гри-блё;*** здесь хрустальные блюдца с петифурами, здесь пиджаки бледно-палевых и бледно-серых тонов с бледнотонными, серокисельными, нежно-лиловыми галстуками; здесь проборы и лысины; здесь золотые пенсне, кружева, шелка кофточек, перья боа черных и пенистых; много юных безусых, смеющихся, розовых лиц, средь которых — солидные, бритые, ярко-седые: актеры, писатели, профессора Академии, с именем, критики; а между столиками по дорожке гри-блё шелестит фрейляйн Анни атлас-

---

* Час обязательного закрытия ресторанов.

** «Солнце в груди».

*** Серо-синий.

ною черною юбкой; несется с витым изумрудно-прозрачным бокалом рейнвейна; кой-где перекинутые, от столика к столику, скатертями покрытые деревянные доски; с двенадцати все помещение — шашечной формы состолие; и приезжающие из театра изящная дама в спадающих перьях, с цветами в руке и в боа, кавалер ее в тонной визитке слегка пожимают плечами; и... и... ретируются.

Штаб Ка́тти Ко́бус имеет здесь место всегда; я имею честь числиться в нем; Катти Кобус ведет, чуть держа за рукав, к тому столику, где, по ее представлению, следует сесть; и показывает на него еще издали веером: «Дорт!»* Она знает, кому где полезней, кому где приятней, и вот — результат; оказались знакомыми — Франк Ведекинд (драматург) с миловидной женой, Шолом Аш, еще юноша**, очень известный в то время поэт, Людвиг Шарф, анархист-публицист, тонколицый, брюзгливо-рассеянный Мюзам, позднее фигура советской Баварии, севший в тюрьму[40], эскадрон польских критиков, юноша бледный, племянник философа Паульсена, Станислав Пшибышевский, почти не бывающий здесь.

Мое первое впечатленье от «Симплициссимуса»: пестри цвета; но тут же заметили русские и обо мне рассказали с три короба Катти; она ж величаво ввела в круг гостей своих; я для нее покупал у цветочницы розу; все стало своим: Катти, публика и фрейляйн Анни — высокая, стройная, юная девушка, почти красавица, стянутая черным шелком: с живыми глазами и с грустно-мечтательным ртом, проносилась с подносиками по ковровой дорожке с рейнвейном и потчевала «ка́льтэ энтэ» (настой ананасов в вине).

«Симплициссимус» влек атмосферой безбытности, сливками интеллигенции, искрами шуток, взметаемых здесь, завозимых же из Будапешта, из Вены, Берлина, Варшавы и Кракова; и как конфетти цветных афоризмов, взрывались и падали тотчас же в звуки рояли; здесь юноши в светлых визитках вставали белясо, чтоб выбить в ушном лабиринте строку; поднимали стаканы свои и просили, устраивая страшный гвалт:

— «Der Prolete»!***»

Расставивши локти, согнувши курчавую черную голову (густой бородкою — в скатерть, а носом распухшим —

---

* «Там».

** Известный еврейский писатель.

*** «Пролетарий»!

в стакан), там скорбил равнодушным лицом пролетарский поэт Людвиг Шарф; поднимался, руками упершися в стол; и мычал угрожающе нам свой шедевр: «Der Proleteۥ».

Однажды, когда вихрь веселья взлетел к потолку, абажурики стали порхать мотылечками, сдвинулись к двум горбоносым венгерцам в коротких штанах, в серо-зеленоватых гамашах; тут грянул чардаш, и венгерцы, вскочивши, схватяся за талии, их пооткинув, схватясь за затылки, разбрызнулись вместе с задетым ногою столом: дроботанье двух пар каблуков, вероятно подкованных,— в пол, звон стаканов разбитых и дождь винных капель в лицо! А два тела, слитые в одно, засквозив, стали — вихрь, проходивший пощечинами разлетающихся пиджаков по губам, по носам, по щекам.

«Симплициссимус» — сливки Берлина и Мюнхена, но — не Москвы; для нее эти сливки — еще молоко; сам отстой афоризмов в Москве нам казался игрой в дурачки; мы, вкусивши от «сливок» Уайльда, узнали тщету афоризмов, коль пища иная изъята; снобизм казался остынувшим блюдом; и — кроме того: в «Симплициссимусе» заседало пять-шесть остроумцев; все прочее — непропеченное тесто еще молодых модернистов; уста этих юношей произносили лишь — «интерес-сант», «файн» и «тиф»*, так что, вынужденный говорить, через несколько дней я взял тон превосходства над группой юнцов, хоть «немецкий» язык мой хромал; они слушали; и все поддакивали: «О, ви файн!»[41] Помню Цутта, швейцарца из Базеля, помню студента из Швабии Гейгера; был темпераментен шваб остроносым лицом, на котором пылали багровые шрамы; он стал забегать ко мне, неся «аусшниты»;** в Мюнхене было обычаем ужинать группою; Гейгер таки надоел; от него — улепетывал; он, погонявшись, обиделся; раз, скрестив руки, ко мне подступил, стал «фиксировать», после чего я бы должен был вызов послать ему (корпоративный обычай); а я — отвернулся.

Отстал.

«Симплициссимус» я посещал каждый вечер еще потому, что я жил от него в двух шагах; пробежавши по уличке, соединявшей мою Барерштрассе с Тюркен, свернув,—

---

* «Интересно», «тонко», «глубоко».

** Наборы колбасных ломтиков вместе с хлебцами, составлявшими студенческий ужин.

я был там; раз меж столиками предо мною возник Игорь Грабарь;[42] мы с ним провели два-три вечера в долгих беседах о здешнем искусстве; я плавал в его ядовитых сарказмах: по адресу Мюнхена; веяло воздухом «Мира искусства», который в России казался давно передышанным; здесь он казался озоном; в дыхании мюнхенцев сквозь полосканья одолями — дурной запах шел: это — последствие мюнхенской кухни; а Грабарь стоял за французскую; знал как пять пальцев он Мюнхен, когда-то прожив в нем и пользуясь обществом Ашби;[43] пропятив губу, он выцеживал мненья, небрежно, ленивейше; и еле-еле кивочки бросал «уважаемым» старым знакомцам; запомнилась его тугая, остриженная догола. красно-розовая голова, совершенно безбровая, с очень большими ушами и с малыми карими глазками; походил он на фавна в дрожащем пенсне — и губою, и острой бородкой; визиткой табачного цвета, лиловою ленточкой галстука не отличался от мюнхенцев.

Вырос внезапно, совсем не вошел; точно он содержался в подвале «локаля» со времени Ашби, подобно вину: отстояться и вновь приподняться из люка; лениво оглядывал прежних друзей, вид имея почтенного циника: «Живы,— курилки?» Пропал, провалившись как в люк.

ШОЛОМ АШ, СТАНИСЛАВ ПШИБЫШЕВСКИЙ

Я раз, наблюдая шумевших поляков, им бросил бокал:
— «Пью за вашу свободу!»

Вскочили с бокалами,— чокаться; перетащили к себе: изливаться в симпатиях; плотный блондин в эспаньолке, в пенсне, в светлой паре мне выбросил руку: Грабовский,— поляк, драматург, публицист; бритый юноша, вспучивши чувственно-красные губы и вылупив пуговицы безресничтатых глаз, изгибался, качаясь локтями, кистями, бросая и вправо и влево огромный, изломанный нос; и качались волос, точно шерсть жестких,— кольца; когда ж мы остались вдвоем, то он, тыкнувши в грудь себя пальцем, внедрял в моей памяти:

— «Аш... Аш... Еврейский писатель... Шолом: это — я!»

И показывал белые зубы, заранее радуясь, точно дитя, моему восхищенью; к стыду моему, о нем даже не слыхивал; только что вышел его «Городок» (на жаргоне);[44] заставил меня много выпить; то он шлепал ладонью меня по

плечу и давил подбородком; то, отъехав со стулом — валился назад, свои ноги вытягивая: эта ночь, проведенная с ним, мне изгладилась.

Скоро нашел на столе у себя я царапки: «бул Аш» — при приписке: «Аш будет!» И тотчас он с треском влетел: в синей паре, в молочного цвета жилете, при розе в петличке, с перчаткой в руке, зажимающей собственный томик, с надутою верхней губой, с бараньими кольцами в черных мохрах:

— «Аш пришел!»

Не то — пупс, пожирающий сласти, не то — арлекин, замахавший из цирка по улицам; выпуклый лоб в поперечных морщинах — как плакал; а белые зубы — оскалены; не темперамент, а — Этна, взорвавшая скатерть, чтоб пепельница покатилась по скатерти, книга расщлепнулась мятой страницей на спинке дивана, а кресла мои, подбоченясь, составили б круг вокруг нас.

Мы хватались руками; он — под потолок запускал горловые какие-то песни, а я при попытке стихи прочитать оказался раздавленным в кресле коленкой; рука заковалася пальцами Аша, который рубил перекуренный воздух другою рукою, крича наизусть во все горло свое свои: собственные упражненья; зычно внушая на трех языках (на немецком, французском и русском), которыми он не владел:

— «Ну что, что? Вы, вы — слышите?» — выбросил перед собой свои кисти в лицо мне ладонями, вздернувши нос.

— «Не слова,— а серебряные колокольчики!»

Был бы смешон в этом диком восторге пред собственным гением, если бы не доброта, откровенность и молодость; словом:

— «Бул Аш!»

Порешив, что я — *тоже* талант, быстро вывлек на улицу: кубарями покатились — куда, для чего? Только — помню, что у «Стефани» Аш, держа меня за руку, вставши на цыпочки, носом — в стекло, озирал пустовавшие столики, тщетно ища Пшибышевского: не было:

— «О! Вы должны его знать! Как?.. Такой человек! Я — его приведу... Я — к нему поведу... Я и он... Вы и мы!»

И мы —

— кубарями —

— покатились к Английскому парку, под золото вязов и ясеней; Аш взбивал тростью баг-

ровые ворохи; остановив и своей ледяной пятипалой рукой заковав мою руку, опять издавал горловые какие-то звуки: свои колокольчики![45]

Я познакомился с С. Пшибышевским[46].

Не помню подробностей встречи; ворвался стремительный Аш, торопя меня: ждет Пшибышевский в кафе «Стефани» — в два часа; посмотрев на часы, я увидел, что мы опоздали: Аш где-то застрял, по обычаю; все же он вырвал из дома; уже подходя к «Стефани», он мне бросил:

— «Вот, вот он!»

Где? Улица — пустая!

Знал снимок с портрета писателя: выпитый лик с сумасшедшими, выпученными глазами козла, с бородой Фердинанда Испанского, вставший из мрака; этот дикий эротик, сошедший с ума Дон Кихот отвечал представлениям о «Homo sapiens» или «De Profundis»;* и он соответствовал рою легенд: выступление на семинарии Вундта, дуэли, испанские страсти, горячка-де белая — так говорили о нем.

Совершенно пустой тротуар; от дверей «Стефани» шел, лениво сутуляся, плотный и широкоплечий, слегка рыжеватый мужчина в простой желтой паре, в соломенной шляпе с домашним, вполне простодушным лицом; он казался мне маленьким польским помещиком, жизнь коротающим где-нибудь около Ковеля; полные, чуть красноватые щеки, вполне незаметные глазки; устало прищурясь на солнце, рукой защищал их; на руку другую — повесил пальто; узнав Аша, ему улыбнулся слегка и ускорил свой шаг, бросив пристальный взгляд на меня; подошел, протянул свою руку, с простою и милой улыбкой держа мою в широкой и теплой ладони; он стал извиняться: уж — три (тут он вынул часы); запоздали-таки; у него есть свиданье; он спрятал часы, вынул книжечку, мне записавши свой адрес; потом очень бережно вырвал листок, передал и сердечно тряс руку; просил посещать его запросто: вторник, с пяти-четырех, Бисмаркштрассе; в движениях и в интонации что-то открытое, чуть мешковатое; пафос дистанции не ощущался ни в чем; как товарищ, сконфуженный тем, что летами нас старше, стоял перед нами.

Вдруг — не как помещик, а как изощренный испанец в плаще, снявши шляпу, с расклоном (всем корпусом),

* Произведения Пшибышевского[47].

быстро понесся вперед; на ходу повернулся на нас, помавая ладонью; легкий ветер трепнул его волос над крепкой спиною, подставленной нам; он исчез в пустой улице.

Скоро я был у него; жил он где-то вдали: на отлете; мой путь перерезала площадь, не то недостроенный пустырь; его пересекши, искал Бисмаркштрассе; все «штрассе» тут — точно одна; и те ж здания, двери подъездов, квартиры; едва отыскал его неосвещенный подъезд: высоконько!

Квартира — простая: клетушки — не комнаты; в первой — стол, несколько стульев, рояль да диванчик; служила — приемной, гостиной, столовой; бутылки вина, пиво, чай; перед ними компания просто одетых людей: все поляки — Грабовский и с ним секретарь очень чтимого нами — «Весами» — журнала «Химеры»; сошелся я с ним;[48] поздней пришел Паульсен.

Видно, хозяин, как гости,— бедняк; меня встретил сердечным протягом ладоней; он, руку свою положив на плечо, вел к столу; и усаживал: «Распоряжайтесь!» Налив мне вина, деликатно дотронулся теплой ладонью своей:

— «Угощайтесь!»

А сам протянулся к стаканчику с пивом: глоточка на три:

— «Вот моя порция: иначе — смерть!»

И, поймавши мой взгляд, улыбнулся мне тихо он:

— «Я ведь приехал сюда умирать!»

Жил еще лет пятнадцать; его нездоровое очень лицо и дрожащие руки с опухшими пальцами, грусть, разлитая им,— все убеждало, что он — не жилец; очень бедствовал: бедствовал, впрочем, всегда; с интересом расспрашивал о гонорарах; и жаловался, что писатели польские бедствуют; их гонорары — ничтожны; в России ему мало платят, задерживают; а собранье его сочинений расхватано;[49] там он гремел, как нигде.

Он помалчивал, нам подливая вина; и весь вечер щемило на сердце; не помнилось, что «знаменитый» писатель — враждебен мне художественной тенденцией; грустный, больной, перетерзанный жизнью бедняк заслонил все иное; и черноволосая женщина, с блеклым, но острым лицом, с сострадательной нежностью, как на ребенка, смотрела на мужа; я знал, что история этой любви драматична; ее он увез от приятеля, первого мужа, талант-

ливого Каспровича; ждали на днях его в Мюнхен; подумалось, глядя в глаза тихой женщине: «Ей не легко!» И припомнились мне: Дагни Христенсен*, рано умершая, и «Аугустинербрей», сумрак коричневый, думы о том, что след посох мне взять и сквозь годы пойти в одинокое «Зимнее странствие»[50]. Вот тоже он — бросил Польшу; он гроб нашел в Мюнхене;[51] ну, а я — где? Захотелось на руку его положить свою руку; и — руку рукою погладить; и тихо сказать ему:

— «Брат!»

Скучноватые вторники я посещал аккуратно, взволнованный горькой судьбою; точно чувствуя это, ко мне относился он с легким оттенком признательности.

Я принес ему номер «Руна»; он дивился нелепым роскошествам номера; и расспросил о Н. П. Рябушинском.

— «С восторгом они напечатают вас».

За это схватился; я тотчас послал Соколову письмо;[52] не дождавшись ответа, уехал; но драма его появилась в «Руне»[53].

Раз, зайдя, никого не застал; просидели весь вечер втроем; он рассказывал образно о пребываньи своем в Петербурге, о том, как его охватила тоска там; с улыбкою вспомнил о Фекле:

— «Прислуга в гостинице: друг мой единственный там».

С интересом расспрашивал о революции; я, разойдясь и мешая французский с немецким, часа эдак три рисовал перед ним нить событий, которых свидетелем был; оживился глазами, усевшись на малый диваник, с локтями в коленях следил исподлобья за жестом моим, рисовавшим Москву; а когда появилась процессия красных знамен с красным гробом, стал ерзать, откидываясь и рукою терзая диван; вдруг — вскочил:

— «Молодцы!»

И — ко мне:

— «Сразу видно — художник вы! Ярко рассказывали: я увидел московские улицы... Благодарю!»[54]

И жал руку; волнуясь моими словами, забегал, потряхивая волосами; и — вдруг:

— «Не хотите ли,— я вам сыграю Шопена: его полонез?»

От поляков я знал: Пшибышевский — пьянист, исполняющий неповторимо Шопена;[55] открыл он рояль, севши

* Первая жена Пшибышевского.

на табуретик и руки бросая в колени; лицо опустил и застыл, точно что-то выискивал; бросил не руки — орлиные лапы на клавиши; мощный аккорд сотряс стены; летучий и легкий, понесся не в звуки, — в огни, охватившие нас; кончил; оба взволнованно встали: молчали: хотелось обнять иль — уйти, ибо — нечего к звукам прибавить; я молча пожал ему руку, прощаясь; а он, суетясь, точно в клетке, искал, чем закутаться; выскочил; снова вышел со свечкой в руке, на сутулые плечи набросив свой черненький пледик с зелеными клетками; темные складки упали до пола, закрыв ему ноги: совсем капуцин; мы с такими встречаемся лишь в повестях Вальтер Скотта; взяв за руку, вывел на темную лестницу, путь освещая рукой со свечой:

— «Тут вот... Не оступитесь: ступени!»

Теперь выступало из мрака худое лицо; на нем прыгали отсветы.

Дверь распахнул мне на холод и блеск; точно ртуть, трепетали последние листья над тополем; маленький месяц, сияющий досиня, встал над подъездной дырой; в тусклый круг свечевой выходило худое лицо с бородой Дон Кихота; два глаза, своим фосфорическим блеском пропучась, погасли:

— «До скорого!..»

Хлопнула дверь.

Мы не встретились; через неделю уехал в Париж; я позднее написал очень резко о нем, как «писателе»;[56] в нашем коротком знакомстве тогда из-под маски величия, черного кружева поз, он просунулся мне бедняком, босоногим монахом, закутанным в плащ, со свечой негасимого света: —

— сердечного света!

Хотелось сказать:

— «Ave, frater»*.

Вдруг екнуло, точно предчувствие, мне:

— «Morituri te salutant»**.

У Пшибышевского раз видел Аша; с ним виделся я в «Симплициссимусе»; и оттуда, как глупый карась на крючке, выволакивался в визг цветистых «Вайнштубе»;*** он ел шоколадные торты и их запивал алкоголями; швар-

* Привет, брат.

** Умирающие тебя приветствуют.

*** Винный погребок.

кал на стол пятимарковики, бросив локоть, нос бросив в ладонь; между пальцами пучились красные губы:

— «Ах, Ашу здесь нечего делать!»

— «Ах, скучно!»

Качались волос завитые и шерсткие кольца.

Потом с деспотизмом ребенка тащил через темные улицы: из «Бунте блюмэ»* — в «Цум фогель», «Цур траубэ», «Цум тиш»;** раз я вырвался и убежал от него; так окончились наши свидания в Мюнхене; встретились мы в кабинете у Гржебина уж через год: в Петербурге;[57] чернобородый Зиновий Исаевич Гржебин в очках роговых, припадая к столу, выжимал из него свои выгоды; Аш, развалясь перед ним,— нога на ногу, нос — в потолок — барабанил рукой по столу; и несолоно им похлебавши, Зиновий Исаевич выбросился в коридор: с Коппельманом*** шушукаться; Аш, усадив меня в сани, осанисто в «Вену»**** повез и пенял — за тогдашнее бегство; он стал знаменитостью; Гржебин и Коппельман бегали всюду за ним на коротеньких ножках, как сороконожки[58].

Ребенок, со страстью косматого мамонта, был он невинен в своей безответственности.

Раз позвал еще в Мюнхене; жил он на площади против Карльстор[59], в неуютном, атласами убранном номере; пышно ночная перина ломалась на кресле ампир; на другом, зацепясь, повисали подтяжки; а смятая туфля невкусно ползла к середине ковра; Аш стоял перед зеркалом в плохо сидящем на нем сюртуке, в том же белом жилете, с пуховкой в руке; мне подставил опудренный нос; хризантема махрово торчала в петлице:

— «Аш будет сейчас танцевать; земляки пригласили!»

И в дверь пропорхнули две юные барышни: Аша на вечер в карете везти; тут он, бросив пуховку, прыжками (и волосы — тоже прыжками над выпуклым лбом его) — к барышне; стан обхватив, закативши глаза, носом — кверху, качался вподпрыжку с ней в вальсе; и, бросив ее,— с антраша, с перехлопами, с присвистом:

— «Ну, а теперь — танцевать, танцевать!»

А о том, что мне делать,— ни звука; но я не пытался обидеться, зная: с ребенка — не спросится; только б с собою меня не тащил; но его уж влекли; ему шею закутали шарфом; пальто подавали; все четверо — вышли; в карету

---

* «Пестрый цветок».

** «У птицы», «У виноградной лозы», «У стола».

*** Гржебин, Коппельман — деятели «*Шиповника*».

**** Литературный ресторан.

затиснутый, выкинул руку из дверцы; и пальцы царапнули воздух; и все — унеслось.

Я пошел в «Симплициссимус»: к немцам.

ФРАНК ВЕДЕКИНД

Фамилии многих из немцев, которые в гамме бурчались, не слышались; многие скоро забылись; входя в «Симплициссимус», шел к незнакомым знакомцам, с которыми уже беседовал; иль — меня звали, махая ладонями:

— «Да ист айн плятц!»*

Средь компании «избранных» помнился розовощекий блондин, архитектор, с практическим смыслом, живой; сидел там он, где несколько столиков, соединенных доской, образовывали точно ложу; сидевшие вместе раскланивались друг с другом на улице; в «ложу» садился порой и высокий, худой господин с ироническим видом, с зеленым лицом и с копною пушистых волос, упадавших ему на сутулую спину; костлявые плечи ходили, когда точно ежился он, протирая пенсне золотое, царапаясь фразочками, выпускаемыми из-за облака дыма; небрежность его туалета казалась особым эстетством; он, снявши пиджак, бросал локти, разглядывал пасмурно тонкие пальцы; фамилия помнилась: Мюзам; впоследствии он был в головке *советской* Баварии.

Было приятно болтать с миловидной, молоденькой дамой; она трепыхалась от нервности,— вся кружевная; и вся осыпалась невинными шутками, шалостями, щебетливыми взвизгами; с легким изяществом, в безукоризненном платье своем, шелестела ко мне; в обхождении — что-то простое, товарищеское; не «дама» мне нравилась в ней,— человек; появлялась в компании мужа и друга его, эластичного, смелого; и — с тонким «тоном»; проделывал кинематограф движений он; даже порой имитировал клоуна; вдруг, пронырнувши под досками и очутившись пред вами, откалывал ловкие штуки; устроивши усики из лоскуточков бумаги, он с ними бросался на вас, но так строго, что вовсе отрезывался от того, с кем шутил; и, нырнув под доской, как ни в чем не бывало садился высказывать очень серьезное мненье: приятелю; даже: когда он паясничал, то хохотали лишь издали; те, что сидели

* Здесь место есть.

пред ним, ожидали с оттенком испуга и недоумения: что же дальше он выкинет? Мрачный сарказм под личиной заливистой шутки! И Катти, и Анни, и важный скрипач его звали почтительно «герр лейтенантом»; ходил же он в штатском; отшутит и так поглядит, будто вас отчитает:

— «Из этого вовсе не следует, герр, что я с вами короток».

— «Хорошего общества»,— строго сказала мне Катти.

А с мужем молоденькой дамы был тонно почтителен.

Этот последний был строен и сдержан; всегда оперировал с принципами золотого деления он — в каждом жесте; затянутый в темную синюю пару, с прекрасно повязанным галстуком цвета, дающего тонкий оттенок коротким, остриженным черным его волосам и пробритым щекам; очень бледный, прямой, он сидел за щебечущею, молодою женой, и казалось, что пестрые гаммы отскакивали от его лицевой бледной маски; рот — стиснутый, скорбный и строгий; глаза вперены мимо лиц, мимо стен, мимо мира, в себя самого,— и тогда, когда он появлялся весь в черном на мраморе белых быков Гильдебрандта, касаясь перчаткой полей черной шляпы и кланяясь (раз его встретил таким), и тогда, когда он пробирался меж столиками; я не видел душевной игры, ни оттенка прекрасного галстука: видел я маску лица, устремленную мимо меня, мимо стен, мимо мира; его кружевная жена, забавляясь моею немецкою речью, слегка прикасалась к плечу мотыльковым, распущенным веером и называла меня «дер гемютлихе руссе»;* я с нею резвился, как с Гиппиус; но и тогда, обращенный к нам, не отвечал он на всплеск громкой шутки; явившися, руку протягивал, жал; и — садился молчать, прерывая молчание бурком отрывистым; приподымал свой бокал и разглядывал через стекло изумрудное влагу вина; или, свесивши кисть, принимался разглядывать пальцы; все слышал; на вас не сворачивал глаз, а вас видел отчетливо.

Он реагировал даже не миной, а тенью от мины: смеющимся кончиком темных, сухих, сжатых губ; а на мускулах скул передергивали: то — сарказм, то — ирония; точно оттенки душевных движений лицом заключались как в скобки; казался живым, переполненным силой, играющей в нем.

Мне запало, что он — человек знаменитый; конечно,— актер драматический; я же театр подвергал остракизму;

---

* Уютный русский.

и непроизвольно садился спиною к актерам: большим, средним, маленьким; и я не спрашивал, кто он и что он; казалось: играет и в жизни какую-то сильную роль; вероятно, жена — «энженю»;[60] лысый «герр лейтенант» — комик: с даром; но не понимал, почему это *трио* встречается шелестами удивленья, почтенья и страха; и даже на нас, приседающих к столику трио, порой поднимали глаза не без зависти.

— «Слава артиста»,— мелькало мне.

Все же: к артисту, так сильно игравшему роль, любопытства не чувствовал я, лишь любуясь игре между столиками,— не на сцене; и даже не спрашивал, как его имя, фамилия: Поссарт, Барнай или «Шмидт»; кстати,— мог бы сказать о нем так: артист МХАТа, Сушкевич (лет восемь назад), плюс Иван Николаич Берсенев, но в собственной роли, деленные на два,— явили бы схему, которую овеществила б сильнейшими красками кисть Валлотона*, прекрасного мастера лиц, данных белою плоскостью с вляпинами черных пятен: из черного, очень глубокого фона; один Валлотон мог бы дать настоящий портрет Ведекинда; «артист» «Симплициссимуса» сказался поздней для меня хоть артистом, но — не знаменитым; он был — драматургом в те дни — знаменитейшим; с нами сидел, пил вино, разговаривал минами —

— Франк Ведекинд!

Он тогда еще выглядел пугалом для всех почтеннейших немцев;[61] его кружевная пичужка-жена для них выросла в ведьму, седлавшую дьяволово помело: циркулировала фотография, изображавшая мужа с женой на плечах — в вызывающей позе, в таком же наряде; фотографию эту буржуи восприняли как оплеуху; плевались на карточку; мне показали в Париже ее:

— «Полюбуйтесь-ка на Ведекинда с женой!»

— «Как, как, как?»

Ярко вспомнилась милая спутница милых часов в «Симплициссимусе», проведенных недавно.

— «Каскадная дива!»

Встал ярко суровый мужчина.

— «Паяц!»

Защищал мою яркую парочку с пеной у рта; это было в Париже; оттуда я справился точно у мюнхенцев: с нами

---

* Знаменитый французский художник, давший серию лицевых силуэтов; между прочим, Верлена и Достоевского.

ль сидел Ведекинд. И ответ получил: да,— сидел в «Симплициссимусе».

А кто был лейтенант,— я не знаю.

Однажды, придя в «Симплициссимус», я получил приглашение от архитектора: вечер окончить домашней пирушкой; устроил ее, уезжая из Мюнхена,— для «симплициссимусовцев»; также он приглашал и других; и, когда собрались, он поднялся, воскликнувши:

— «Дер Симплициссимус» циет хинаус»*.

Человек двадцать встали и вышли на улицу; я шел с миловидной женой драматурга; он — мрачно шагал впереди: в пустой улице; а перед ним шел приплясом художник в плаще, изломив поля шляпы, держа на руке мандолину,— меж отблесками фонарей, от которых, как рыбки, скользили на плитах дробимые отблески; скоро мы все оказалися в комнате: стол, ковер, стулья, диван; на полу — пирамида квадратных подносов, наполненных кружками; кто-то, поднявшись на стул, прокричал:

— «Все, что будет увидено здесь,— пусть останется в этих стенах!»

Молодежь поскидала с себя пиджаки, принимаясь за кружки; и грохнули: «хохи» хозяину.

Вдруг Ведекинд вышел на середину ковра, сняв пиджак; чуть присевши в классической позе борца, головой наклоненной — к жене; та, вскочив, вылетая из белого блеска одежд, как из крыльев,— стремительно бросилась к мужу, стараясь его опрокинуть; и кубарями покатились они на диван, где в летающем сальто-мортале жена оказалась на шее у мужа; коленями, точно клещами, затиснула шею ему; миг,— она уж под ним; ноги — вверх; и показывала из-под веера юбок свои панталончики.

Мы, расступясь, наблюдали борьбу: Ведекинд дал ей время развить весь орнамент телесных движений, напомнивших танец Дункан, взятый в темпах стремительных; позою поза стреляла; она завивалась, как трель дисканта над звучащею басом, могучей скульптурою торсов, напомнивших пращников, дискометателей; Франк Ведекинд был не менее великолепен в борьбе; наконец он ее положил на лопатки все с тою же бледною маской лица, устремленного мимо — жены, мимо мира,—

— в себя!

Вероятней всего: фотография, столь ужаснувшая немцев, снята была после турнира супругов; мы пели и пили;

* «Симплициссимус» выходит.

я помню, как мандолинист, заломив поля шляпы, запевши струной, проводил меня до дому; долго бренчала струна в пустоте ночной улицы; я уж стоял у окна, раздеваясь, а где-то она еще плакала.

БЕГСТВО ИЗ МЮНХЕНА

Все мне наладилось в Мюнхене;[62] были теплы наши споры, мечты об Италии: перевалить Сен-Готард[63] и, надевши «рукзаки»*, пешком опуститься в Лугано, в Милан; переживши Флоренцию и постояв под Джиотто в Ассизи**, безумствовать в Риме.

Меня ожидала и близкая радость: Э. Метнер***, оставивши Нижний[64], с женою и братом своим, композитором, переезжали сюда: в декабре;[65] я мечтал о беседах-пирах впятером; из Москвы от Эмилия Метнера сыпался град указаний: «А вы посетили ли? Не посетили! Бегите скорей: немцы — то, а — не это». И вдруг узнаю: Метнер — в нервной горячке: Братенши, Андрей, брат жены, застрелился, убивши любимую женщину (по первому браку Сенцову); Братенши я знал; мы с ним встретились перед отъездом; как я, выхлопатывал паспорт он, чтобы, как я, убежать: от семейной трагедии.

О,— эти «куклы» пустые!

Свое обещанье писать Щ. сдержала;[66] и я успокаивался, разбираясь в угарном двухлетии.

Вытащил текст уж когда-то готовой симфонии[67], мысля ее переделать, мечтая о разных технических трюках; както: с материалами фраз я хотел поступить так, как Вагнер с мелодией; мыслил тематику строгою линией ритма; подсобные темы — две женщины, «ангел» и «демон», слиянные в духе героя — в одну, не по правилам логики, а — контрапункта.

Но фабула не поддавалася формуле; фабула виделась мне монолитной; а формула ее дробила в два мира: мир галлюцинаций сознания и материальный; слиянье искусственных этих миров воплощало иллюзии, диссоциируя быт; сама фабула перерождалась теперь в парадокс контрапункта; я был обречен разбить образ в вариации вихрей звучаний и блесков: так строился «Кубок метелей»; он

---

* Дорожные мешки.
** В Ассизи — фрески Джиотто.
*** См. «Начало века», глава первая.

выявил раз навсегда невозможность «симфонии» в слове[68].

Я в Мюнхене думал, что я разрешу то, пред чем отступил Малларме; Мюнхен — вовсе не творческий город — такой, как и старая, наша Москва, из которой я бегал: работать; из Мюнхена Ибсен уехал работать в Тироль; в Мюнхене ж В. Владимиров ставил себе невыполнимые цели; стиль мюнхенской живописи — безвкусица.

Я писал с упоением, все мечтая увидеться с Метнером: с ним поделиться заданием: —

— вдруг!.. —

— письмо Щ., я — «бесчестен», свой «Куст» * напечатав в «Руне»;[70] а — «Куст» — бред, мной написанный летом, — в эпоху, когда Щ. нарушила слово свое; в этом жалком рассказе заря — не заря, огородница — не огородница; некий «Иванушка», ее любя, бьется насмерть с «кустом»-ведуном, полонившим ее (образ сказок); бой подан в усилиях слова вернуться к былинному ладу; и — все!

Ни намеков, ни иоты «памфлета»; сплошная депрессия, как и стихи «Панихида», как бред с «домино»; жалко; бред, о котором забыл, — напечатали.

И не в «бесчестности» каялся я, потому что «бесчестность» — предлог для «бесчестной» нарушить, в который раз, данное слово: писать; я ж, дав слово не видеться год, отрезал от свиданья себя; можно всаживать нож; его всаживать в спину — бесчестно.

Увиденная багряница вспыхнула старыми бредами, перерождаясь опять в домино; но убийство и самоубийство — изжиты, отрезаны, раскритикованы; а «домино» уже бегало в жилах отравленной кровью, которая вспыхнула даже физически, как зараженная ядами «трупа», во мне.

Здесь, в Мюнхене, под впечатленьем предательства Щ. — Аш и плясы художников в черных плащах с мандолинами мне обернулись строками:

Возясь, перетащили в дом
Кровавый гроб два арлекина.
И он, смеясь, уселся в нем...
И пенились, шипели вина...

. . . .

Над восковым его челом
Склонились арлекина оба —
И полумаску молотком
Приколотили к крышке гроба[71].

---

* См. «Золотое руно», 1906 г., № 10-11[69].

Но дело не в Мюнхене; арлекинада другая вставала в сознании: слухи разыгрывались о разгульном веселье, которым охвачен был вдруг Петербург, столь недавно ушибший; и, может быть, два арлекина, меня вколотившие в гроб, в подсознании жили — Чулковым и Блоком; я в Мюнхене видел себя заключенным, как заживо,— в гробе.

Куда мне бежать? В Петербург? Нет,— отрезано: данным ей словом; в Москву? Нет... Куда ж? Побежал я на Вагнера; в уши забила какая-то дрянь, а не Вагнер; взвизг ярости — моя статья: «Против музыки»:* музыка — лжива, когда ею подлость прикрыта; отослано...— мало; пишу манифест *«Оскорбителям»:*** в нем меценаты — мои палачи: «Посылаем вам наше... проклятие»***. Мало: и люди пера — хороши; встали: крашеный, в мушках, Кузмин, Арабажин с своим «социализмом», Иванов с «и нашим и вашим»; пишу я в «Руно» свой памфлет;**** «домино» продолжает шептать:

— «Ты убей».

— «Не убью».

— «Так убью тебя — *я*».

Отравление крови, которое вызвало вскоре флегмону.

Тут Гиппиус с мужем своим Мережковским — мне пишут; в Париже они: мне дают порученье к их издателю здешнему, Пиперу;[76] и убеждают приехать в Париж;[77] точно сон этот день: и — свидание с Пипером[78], и — неожиданно взятый билет; еду выложить Гиппиус все, чтоб откупорить дверь «домино»; но — слова — не откупорили; надо было откупорить кровь.

Ехал в спальном вагоне, в пустом: совершенно один; едва видел: Владимиров, Вулих в окошке махали руками; сидел я, подавленный горем, с единственным спутником: с проводником, схоронившим любимую дочь; он приплелся ко мне; он сел рядом, схватяся за голову; я — успокаивал; вспомнилось:

— «Брат!»

Поезд остановился: граница![79]

---

* Неперепечатанная статья в «Весах»[72].

** См. «Весы», 1906 г., № 12[73].

*** См. «Художник — оскорбителям»[74].

**** Неперепечатанная статья в «Золотом руне» (заглавие забыл)[75].

Мюнхен — меньше, оглядней; Париж — неогляден: не дан в композиции; он есть борьба композиций; сказать: «Я в Париже» — сказать: «Я — нигде». Это — фраза; здесь каждый живет лишь в одном из «Парижей»; средь них есть «Париж» одиночек, мансардников, анахоретов; в нем интерференция грохотов, светочей — как тишина межпланетного мрака.

Берлин — очень грохотен; в нем плац-парады пошлятины — стиль, а не морок; в Париже — спектр грохотов перетирается в мороки улиц; разврат здесь пестрей; добродетель — возвышенней; меж Тюльери и меж Лувром[80], которые точно планеты остывшие,— хаосы новых возможностей; едва ты попал сюда, как завербован одним из «Парижей»; коль Мюнхен — Луна, а Юпитер — Берлин, то Париж есть система планет, предстающих пылинками; ты можешь жить на Луне, на Юпитере, можешь вращаться в пространстве меж ними, летя под землею в метро из квартала в квартал, под кварталами, тебе ненужными; можешь всю жизнь пролетать под пятами тебе неизвестных людей, улиц, башен, церквей и театров, проваливаясь на Луне и выкидываясь на Юпитере; связь между ними — провалы и взлеты: не улицы города.

Целого — нет сперва: только «Парижи»; Париж же — лишь скобки, иль он — пустота; в ней всплывают: квартал за кварталом; ты к ним переносишься, точно в болиде; а можно в болиде прожить, не увидев «Парижей»; болид твой — мансарда.

Я в Мюнхен привез восприимчивость к цвету предметов и к уличным звукам; Париж в меня вляпался новыми цветностями; вдруг: возник мне Литейный проспект с Мережковскими; и показалось: причинность нарушена; где она, если в ней «так как» — плакат на стене с «Дюбонне»*, если в ней консеквенция есть... Александр Бенуа, заседающий в «Мире искусства»? Так как «Дюбонне» — моя первая встреча с Парижем, конечно, А. Н. Бенуа — моя первая встреча с живым человеком; от этого вдруг перепуталась вся география; или Париж — в Петербурге? Или Петербург — часть Парижа? В Париже воскресли мне все впечатленья Литейного после того, как я голову драл перед башнею Эйфеля, поотдыхавши в отельчике (в доме свиданий, вернее), куда завлекают с вокзала портье, высы-

* Реклама напитка.

лаемые ловить рыбу; пока не устроишься ты у «себя» (на второй-третий день), ты затерян меж пестреньких ковриков лишь показных коридориков с «шиком», куда открывается комнатка с душным двухспальным «престолом»; здесь стены глядят на тебя срамным шиком; за ними ж в постели катаются: скрипы и выкрики (стены сквозные).

Все — марево!

Утро: туман, сине-серая зелень и подленький крап декабря на вагонные стекла — ландшафт под Парижем; в виске — винт мигрени; приехали в грязное, мрачное и черно-серое роище стен, меж которыми бегало много сутуленьких, маленьких и суетливых брюнетиков с усиками, в котелках, без плащей и без трубочек (в Мюнхене средний прохожий есть широкополая шляпа, плащ, трубка); как много красивых и быстрых брюнеток с осиными талиями, с очень живыми глазами. Отельный портье, отхватив мои вещи, квитанцию от багажа, меня вывлек, засунув в каретку.

Так вот он — Париж!

Бледно-серые здания Мюнхена моются добела; здания, хмуро покрытые копотями, здесь казались мне черными; черный такой, невысокий Париж,— Париж центра; он вышел навстречу мне, точно в халате и в туфлях: во всем неприбранстве своем; Мюнхен — плац-парад зданий; но тут я отметил: орнамент не очень высоких угрюмо-копченых домов благороднее вычурных вырезов линии Мюнхена; темные здания из черно-серого неба, рои черных пятен: пальто, дамских тальм, вуалеток и зонтиков; отблеск витрин; вечерами же радуги прыскающих электрических букв, освещая орнаменты зданий, как — звезды, бросающие световые хвосты, осаждают из черного бархата неба Париж, этот грохот космических бурь.

К этой жизни нет подступа!

В Мюнхене с первого дня я, купивши баварский костюм и засунув в рот трубку, освоился: с немцами — немец; Париж же, в висок мне ввинтивши мигрень, обстав «шиком» срамного отельчика, по коридорам которого пары спешили кататься и хрюкать в атласах двухспальных постелей,— растер в порошок; я, едва разыскав Мережковских, увидел не их, а двух призраков, явленных издали[81], среди миражей, которыми шел, как сквозь бледные пятна,— к меня ожидавшему доктору, с бородой ассирийца, точившему нож;[82] через месяц он вышел из мрака:

весь в белом, напрягши свои волосатые голые руки; меня ему подали — голого: он, потрепав по щеке, вразумительно бросил:

— «О, о,— повр месье!» — Характерно, что первое доброе слово за этот период страдания — он произнес, а не те, кто себя лицемерно друзьями назвали; не Блок и не Щ. пожалели меня; даже, даже не Эллис, а этот, меня увидавший не Борей, не «Белым», а только ему неизвестным «месье»; он увидел, что этот «месье» — просто «бедный»; он тут же прибавил: «Вы много страдали». От этого брызнули слезы из глаз; он, схватив колпачок с хлороформом, накрыл им лицо; и тут все завертелось; и я — как низринулся в небытие; волосатый силач с бородой ассирийца, схватив острый нож, им вспорол мою опухоль: хлынула красным атласом горевшая кровь.

Вот — реальность.

Все прочее — призраки!..

Я позвонился: передняя — белая; горничная в черном платьице, в беленьком чепчике; вижу из двери: на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе, с осиною талией, в белой горжетке, лорнетик к глазам приложив, протянула не лапку, а палочку черной широкой спине, перед нею склоненной с прощальным расклоном; кто? Сара Бернар?*

«Зина» Гиппиус.

Все — точно издали.

Тут же склоненный к руке Александр Бенуа, на крутом повороте — в переднюю; он налетел на меня всей широкой скользящей фигурой с вперед наклоненною лысиной; остановился: пенсне, бородой — в потолок.

— «Вы?»

За ним поворот головы рыжей женщины, в черном атласе, с осиною талией:

— «Боря?»

Лишь черные пятна на белом: Бюро похоронных процессий; Бальмонт, Мережковский и Минский; все — те же, все то же, как издали, как на Литейном; в глазах еще — утро: равнина, туман, серо-синяя зелень, крап дождика; острые, острые боли; сестра Философова, бывшая здесь, Зинаида Владимировна, обещала устроить мне комнату в тихом простом пансиончике.

---

* Знаменитая парижская драматическая артистка.

Как на экране мелькнуло мне множество лиц; как во мраке огромного неосвещенного зала сидел я; китайские тени метались мне издали: Минский, Барцал, Мережковский, Бальмонт, Бенуа, Философов, мадам Иван-Странник*, присяжный поверенный Сталь, Шарль Морис**, Зулоага***, Мародон, иллюстратор, Поль Фор, брат известнейшего Себастьяна****, седой Поль Буайе*****, столь знакомый по детству, когда он был черным, историк, старик Валишевский, И. Щукин, Аладьин; однажды с экрана отплясывал вальс Манасевич-Мануйлов****** с рогатыми дьяволами кабаре «De l'enfer»; и все гасли, вспылав; верещала мне в ухо, хрипя, телефонная трубка; я ей отвечал, пред глухою стеной раздвигая свой рот и раскланиваясь перед крашеным ящичком.

Жил же я бытом безбытицы комнатки, спрятанной в пыльные рвани коричневых тертых ковров, из которых один занавесил стеклянную дверь на балконец в два шага: над «рю́ Ранела́г»;[83] выйдешь — видишь: зеленую заросль Булонского леса; декабрь, а в ней — песенка зябликов; пусты аллеи; часами броди: никого; угол леса — глухой: как и рю́ Ранела́г; ночью здесь нападают апаши; одни офицеры на серых, пятнистых конях галопируют в зелени золотом кепки и красной рейтузою; запах листов я вдыхаю с балконика, кутаясь в мюнхенский плащ, пока друг мой, Гастон, в своем темно-зеленом переднике, сев при камине, бросает брикеты; жар теплится ночью и днем — стоит бросить два-три черных шара: в оскал огневой; часов на шесть пропав, прихожу поздней ночью; хоть не зажигай электричества: красная пасть дышит жаром; зареют железные жерди; подбросишь четыре брикета; разденешься (хоть без рубашки ходи), завернешься, уснешь; утром пасть обросла серым мохом; дунь — он разлетится, а красная пасть еще теплится.

Неугасимый огонь!

Я бросаю в него горсти глиняных трубочек; каждая

---

* Псевдоним жены Е. В. Аничкова.

** Поэт-критик.

*** Известный испанский художник.

**** Поль Фор — поэт, брат анархиста.

***** Известный профессор русского языка в Париже.

****** Журналист, подозрительный делец и охранник.

стоит два су;* ее выкуришь, бросишь в камин; и она раскаляется добела.

Темный, коленчатый мой коридорик; в него загляни: как дыра лабиринта; она отделяет меня от всего, что я в жизни любил, ненавидел; как будто коричневый, грифоголовый мужчина, с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, не дверью захлопнул, плитой гробовой завалил; дверь завешена той же коричневой рванью; такой же ковер вместо пола; в коврах, заглушающих звуки, живу; проживаю столетья в разлапых коричневых креслах над рваною скатертью столика, перед которым разъямился мой хромоногий диван; полковра отняла деревянная, с теплой, малиновой полупериной постель; она выглядит как саркофаг, из которого мумия, я, поднимаюсь три шага отмеривать: между камином и дверью; лишь сумерки вытянут под ноги крест теневой переплета балконного, я занавешусь балконным ковром; и — как в междупланетной кабине закупорен; выход один: дымовую трубу заткнуть нечем; потухни камин,— сквозь трубу, из камина, закаркавши, выпорхнет ворон.

Я сам вылетаю в трубу: к Николаю Копернику,— в черную бездну, чтобы под созвездьями видеть соблестья Парижа; так думаю я, сидя в кресле, вперяясь в камин; и помигивают, точно красными крыльями, тихие, неосвещенные стены.

Пусть в Мюнхене комнаты чистые,— делать в них — нечего; и — пропадаешь в кафе. В этом старом, изношенном логове, похороненный в дыре коридора, я выбил отверстие в космос; с восьми — сижу дома я; здесь иногда, потушив электричество, мягко шагаю иль думаю в красную пасть; и мне кажется: вот из углей разовьется не пламя, а плащ Мефистофеля, чтоб над Парижем лететь мне — туда: в мировое пространство; здесь я продолжаю с собой разговор, мною начатый ночью, когда над Невой я стоял; миг — и я бы низвергнулся.

Стопочка красных тетрадок лежит на столе: «Ревю сэндикали́ст» Лягарделя**, подсунутая эмигрантами; с синдикалистом, вагоновожатым, и я заседаю порой в винной комнате, где я закусываю мясом кролика и запиваю стаканом «ша́мпаня»; он — не «Редере́р»: но он —

* Су — пять сантимов, т. е. по тогдашнему курсу не более двух копеек.

** Теоретик синдикализма[84].

пенистый; мой собеседник с усищами (в ухе — серьга) мрачно тянет зеленый абсент и ругается: к дьяволу Комба, парламент, буржуев, политику!

Синдикализм — это бегство по кругу: ты думаешь, что убегаешь в анархию; а ты — с Леоном Доде;* Лягардель пишет хлестко,— не с ним я; претят мне кофейные скрежеты Фора**, которым дивуется Гиппиус; Фор: это — номер эстрады, иль — танец апашей, которым щекочет себя буржуа; выявляется: «Юманите»***— орган мой; по утрам я выскакиваю, чтоб его получить на углу «рю Моза́р», очень бойкой, галданистой улички.

Вечером слушал застенные шумы; сосед, как шакал, визжал утром: взвизжит; и — утихнет: за кофеем; этот солидного вида рантье, гладя рыжий свой ус и пропятив брюшко, клевал носом, качавшим пенсне золотое, спускаяся к завтраку; и молодая жена его, юбкой вертя, опускалася с ним; сосед тоном, как шляпой, старался закрыть: дыру в лысине; в первую ж ночь он меня ошарашил отчаянным за́визгом:

— «Ву з'антандэ?.. Юн вуатюр» ****.

Тарарыкнуло где-то.

— «Э бьен!»[85]

За стеной топотошили голые женские ноги; вот женщина взвизгнула: бил ее,— что ли? Просунувши ухо в дыру коридора, я ждал: не прийти ли на помощь? Вот скрипнула издали дверь; сизоносый хозяин шел свечкой ко мне, захватяся рукой за штаны незастегнутые: он склонился под ухо:

— «Месье нервно болен! Но вы не пугайтесь... Он мухи не тронет... Порядочный,— очень: со средствами... Но — что прикажете? Нервы».

Потом я привык к этим завизгам — так, как в Аджарии к плачам шакальим:[86] под утро при первом же грохе далекой пролетки сосед, как будильник, бил голосом в стену мою:

— «Экутэ́! Юн вуатю́р! Же ву ди́, кё — с'эт'эль!»*****

Мне однажды открылся ключ к выкрикам: родственник, Жюль, посылал перед утром к соседу пролетку, которая,— нет, вы не смейтесь, читатель,— пылала страстями к бедняге, пытаясь его... изнасиловать; грохотом опове-

* Сын писателя — помесь монархиста с анархистом.
** Себастьян Фор — анархист.
*** В то время орган Жореса.
**** Слышите?.. Пролетка!
***** Слушайте! Пролетка! Это — она!

щала об этом она; подъезжала: он — вскакивал; я ж, пробудясь, — засыпал.

Мой сосед был ужаснейшим эротоманом; с женой говорил на такие позорные темы, что мне оставалось закладывать уши; однажды жена, выбрав время, когда его не было, стала стучаться ко мне за каким-то предметом; его получив, все стояла она на пороге, глазами давая понять, что ей, собственно, нужно; я стал на пороге, открыв свою дверь, извиняясь, что занят; она — удалилась.

Да, нравы!

Сосед исчезал после кофе, чтоб зашагать ночной бред; он являлся с достоинством: к завтраку; строго и здраво ответствовал он на вопросы; и даже рассказывал ярко о бразильянских боа (он в Бразилии был), чтоб опять зашагать по Парижу до ужина, вечером мучить жену, затихать к девяти, голосить в семь утра.

И мне думалось:

«И хороши ж оба мы: сумасшедший с покойником!»

Изредка вечером шел из «гробницы» я в «пестри» ночного Парижа, чтоб, краски собрав, их додумывать перед огнем; проходил гробовым коридором и черным винтом крутой лестницы; несся в «метро» под землею: к Монмартру, чтоб видеть рубиновый огненный крест «Мулен-Руж»;* я слонялся; билет покупал: видел бреды из перьев, измазанных краскою губ и ресниц черно-синих; кидалися голые ноги, и бедра, и руки, и груди — из ярко-кровавого газа: под пеною перьев своих; горбоносые, козлобородые фрачники в белых жилетах, в цилиндрах, рукой опираясь на трости, стояли в фойе; попадал в кабачок, где на гроб, не на стол, подавал мне хохочущий дьявол ликеры.

— «О, пей их, несчастный!»**

Испив, возвращался под черное небо, в котором катались колеса огней, рассекавшихся иглами блеска в ресницах; у носа же бился поток котелочков и сине-зеленых и желто-оранжевых перьев красавиц ночных в вуалеточках черных: и все — как одна; и от блеска я щурился; вспыхивал морок электромагнитных явлений под нервной ресницей.

* «Красная мельница», на крыльях, приподнятых над ней, горели рубиновые огни.

** В бутафорском «кабачке Ада» лакеи, одетые дьяволами, на «ты» с посетителями.

Париж — пестроцветен, сливая в одно стиль ампир, стиль Луи, дуги готики, и горисветы Монмартра, и блузников синих; «Парижи» ссыпаются; и, разрушая друг друга,— рвут мозг парижанину; здесь впечатлений — убийственный ливень; бежишь, как под зонтик; импрессия — необходимый ракурс восприятий; и росчерк в Париже реален: в период истории, когда утопии и социализма наивного, и бурбонизма сломались; задания импрессионистов сказались тогда реализмом, разбившим условность: романтики, как и искусства мещан; так импрессия строилась новою оптикой; ей защищались, как зонтиком или очками, чтоб хаос глаза не разъел; основания к субъективизму реальны в Париже; Мане и Моне своей краской связались — с Ватто, а рисунком своим — с Фрагонаром и даже с Шарденом; в Париже лишь импрессионизм — революция, освобождающая культуру хороших традиций французских художников; «новые» в лице Мане*, Ренуара**, Моне***, краскопевца Сезанна****, Дегаза***** классичны; а «Сецессион» — обезьяна, которая лишь нанизала очки Эдуарда Мане на свой хвост.

Лишь в Париже импрессия — самозащита художника: от буржуазии; то, от чего кричал Герцен, Мане отразил своей новой системой очков; и Золя и Бодлер восхищались Мане; защищали глаза, чтоб не видеть, сжимая ресницы до искры из глаз; и слагалась из игол реснитчатых — новая улица; пересеченьем ресниц защитился и я от ее разъедающей пестрости; пересекая цилиндры, вуалетки, цветистые перья и трости, себе говорил: «Ренуар»; а когда на меня с разблиставшейся сцены кидались рои голых тел из порхающих газовых дымов,— я видел Дегаза.

Искусство из подлости здесь подымало меня, но не Лувром,— французскими импрессионистами; понял: в Париже великая школа они.

ЖАН ЖОРЕС

Погуляв, поработав, к двенадцати я опускался в укромную зальцу коричневых колеров, как и ковры,— коридориков, лестницы; посередине стоял общий стол; вдоль

* 1832—1883 г.
** Род. в 1840 г.
*** Род. в 1840 г.
**** Род. в 1839 г.,
***** Род. в 1834 г.

окошек — отдельные столики; их занимали: хозяин-вдовец с взрослой дочкой; он был с добротцой, без «политик»; весьма уважал социалистов и руку жал парочке бледных кюре, столовавшихся здесь; как летучие мыши, влетали они в своих черных сутанах и в шляпах с полями; шушукали о конфискации Комбом церковных имуществ; держались отдельно, но кланялись вежливо; столик в углу занимал сумасшедший рантье с миловидной женою; пыталась со мною кокетничать: бедная.

Общий же стол пустовал: три прибора; на нем размещались: месье Мародон, иллюстратор романов, ходивший обедать и завтракать; мы — познакомились; я посетил его; рядом садилась приятная барышня, русская немка из Риги; мы с ней по-французски общались; меж блюдами я перелистывал «Юманите»*.

И соседка спросила меня:

— «Почему вы читаете эту газету?»

— «Она симпатичней других мне».

— «Вы чтите Жореса?»

— «О да!»

Тут хозяин, смеясь, просиял; а соседка кивнула:

— «А знаете? Он же ведь завтракал с нами последние месяцы после того, как жена его в Тарн из Парижа уехала; месье Жорес живет рядом; оставшись один, стал ходить сюда завтракать — перед Палатой; недавно уехал он в Тарн».

— «Он вернулся,— кивнул нам хозяин,— он будет здесь завтракать: завтра».

— «Везет вам,— смеялась соседка,— о, это такой человек!.. Впрочем, сами увидите».

— «Месье Жорес,— о!» — хозяин, махая руками, давился почтеньем.

Не видя Толстого, младенцем я знал, что бессмертен он; сфера бессмертия определялась, как функции: есть — вестовой, понятой, даже городовой; есть — «толстой» в каждом городе; вдруг появился в квартире у нас бородатый старик; и тогда мне открылось: он есть Лев Толстой, знаменитый писатель.

Из детства мне вырос Жорес; он — оратор; а позже открылось мне: он — социалист; но он — стопятидесятилетний старик, современник Руссо, Робеспьера, Сен-Жюста, которых Танеев чтил; умерли эти; Жорес же — живехонек; перемешались в мозгу: социализм, революция,

* Орган социалистов, редактировавшийся Жоресом.

книга о ней, сочиненная Жаном Жоресом; позднее, разбираясь в газетах, я видел: Жорес, Клемансо,— телеграммы Парижа; и ныне кричали столбцы: Клемансо, Жан Жорес. Клемансо стал главою правительства; схватки с Жоресом его потрясали Париж; все бежали в Палату:[88] их слушать; Жорес брал атаками, а Клемансо фехтовался софизмами.

Как,— Жан Жорес,— детский миф,— сядет завтракать рядом? И я испугался: увидеть его на трибуне — одно; сидеть рядом — другое; трибуна ему, что — рука: он хватает ей тысячи; просто услышать «бонжур» от него, это ж — ухо подставить под пушку, которую слышишь с дистанции; страшно сесть рядом с салфеткой подвязанной пушкой.

Уж я привыкал к знаменитостям: в литературе; ведь, точно орешками, щелкаешь с ними; а этот предложит — кокос разгрызать; с литераторами интересно болтать; но я их забывал уважать; уваженье к Жоресу меня подавляло.

Оратор в Жоресе внезапно возник; он до этого преподавал философию в Тарне;[89] но в первой же речи сказался гигантский ораторский дар; из профессора вылез политик; и вот депутатом от Тарна явился в Париж он; и стал здесь вождем социалистов.

С волненьем спустился я к завтраку; стол: рядом с барышней, моей соседкою,— новый, четвертый прибор:

«Ей-то, ей каково сидеть рядом; я — спрятан за нею».

Стараясь соседкой укрыться, я сел; уже подали первое блюдо; уже два кюре, прошмыгнувши под окнами, тихо влетевши, уселись под окнами.

— «Месье Жорес!» — показала соседка в окно.

Там черным пятном промелькнули: на лоб переехавший с очень большой головы котелочек, кусок желто-карей, густой бороды; шея толстая, вжатая в спину; на ней за сюртук зацепившийся ворот пальто; пук газет оттопырил карман; зачесавшая зонтиком воздух рука промахала. Широкий, дородный, короткий, презезво пронесся он махами рук, уподобясь гамену, а не знаменитости; эдаким мячиком прыгает разве один математик, бормочущий вслух вычисленья: под мордою лошади; и — что-то милое, давнее, в памяти всплыло:

— «Отец».

Я не видел ни в ком повторения жестов, какими отец,— тоже крепкий, широкий, короткий,— прохожих смешил на Арбате; Жорес вызвал образ отца; как отец, он скосил ко-

телок; как отец, вырываясь из рук, подававших пальто, зацепил воротник за сюртучную складочку; и, как отец, чесал зонтиком воздух.

Но дверь распахнулась, вподпрыжку влетел; суетился под вешалкой; с кряхтами руки раскинул: направо, налево и наискось; с кряхтами лез из пальто; приподнявшись на цыпочки, с кряхтом повесил его, вырвав пук из кармана и сунув под мышку; не глядя на нас, растирая ладони, бежал с перевальцем к пустому прибору; отвесивши общий поклон,— сел; и стуло — закракало; тяжко расставивши ноги, расплывшись улыбкой и перетирая ладонями, корпусом перевернулся к соседке с вторичным поклоном; взбугривши улыбкою толстые щеки, пропел ей:

— «Бонжур, мадемуазель... Са ва бьен?»[90]

Пушка — выстрелила: перепонка ушная не лопнула; вместо кокоса же — подали кролика; он, изогнувшись широкой спиной, схватив вилку, себе покидав в рот куски, отвалился, схватясь за газету; и, ею завесясь от нас, опочил в телеграммах; но подали третье: газета — отложена.

Сидя, казался высоким, вставая, был меньше себя, так как широкоплечее туловище укорачивали небольшие слоновьи какие-то ноги; он был бы красив; но дородность мешала; глаза, голубые и добрые, щурились светом ума, никогда не смеясь и вперяяся в окна; рот темно-пунцовый и тонкий, не скрытый густыми усами, когда не жевал, то скорее скорбел; хохотали морщинки у глаз и веселые, точно надутые, щеки с темневшею родинкой; правильный нос; лоб — высокий; весь профиль дышал благородной серьезностью; пышные вставшие волосы, светло-коричневые, с желтизной, и такого же цвета большая, густая его борода серебрилась курчаво сединками; и выдавала южанина кожа: коричнево-красная.

Сел, и возникла вокруг атмосфера смешного уюта, не страшного вовсе: совсем не «Жорес», а — профессор; Д. С. Мережковский, малюсенький в жизни,— тот силился выглядеть *именем;* чувствовал: рядом со мною уселась и кракала стулом огромная личность; с огромною вилкой, зажатой смешно в кулаке, с неподдельным беззлобием из-за салфетки, которой себя повязала, полезла на барышню. громко расспрашивая о подробностях ее работы и заработка; Маролон, да и я, и не знали, что барышня наша искала работы себе; Жорес — тот узнал.

Так большой человек во мне вспыхнул из маленьких жестов, с какими он яблоко резал, газеты читал и кидался: к тарелке, к соседке, к салфетке; я вовсе забыл, что

хватает за сердце с трибуны; трибуна я видел далеким героем былин; думал я: этот славный, простой, нас бодрящий месье привязал к себе крепко, двух слов не сказавши со мною, и тем, как глотал, над тарелкой разинув усы, от усилий краснея, и тем, как прислушивался, отвалясь, склонив голову набок, с улыбкой прищурой, ко мне, к Мародону, к соседке, которая что-то сказала о сером коте и о крыше:

— «Коты, мадемуазель, вылезают на крышу,— сказал этот добрый месье, показав свои крепкие зубы,— затем, чтобы там дебатировать».

Кланяясь скатерти: с ясным прищуром:

— «У них крыша — клуб: да-с».

А узел салфетки вставал над спиною, как заячье ухо; и в этом смешке повторял мне отца он, за столом сочинявшего басни из мира животных; и так, как отец, тотчас перебивал каламбур он, не без педантизма; с надсадой крича, придирался к словам окружавших; так: с первого ж завтрака он из-за сыра ревнул на меня,— рубнув ножиком в воздухе:

— «Э,— да неправильно же выражаетесь вы; говорят: «Лё парти́ полити́к», а не «ля»; «ля» — относится к мясу; «лё» — к партии...»

«Лё» или «ля» — знаки рода; «парти́» в смысле «часть» — рода женского; в смысле же «партии» — рода мужского.

— «Лё — лё: лё парти́!»

Топотошил ногами под скатертью: делалось очень уютно, сердечно, тепло; и представьте себе мой восторг, когда толстый хозяин однажды, ко мне подойдя, разведя свои руки, мне вытянул нос; и — сказал:

— «А месье-то Жорес о вас выразился превосходно: «Месье Бугажёв,— это, это: оратор природный...» Вот видите!»

В паспорте «иот» вместо «и» написали: «Bugajeff»; немецкое «иот» в начертаньи своем одинаково с «жи́»; так я стал «Бугажевым» во Франции.

Не понимаю, как мог Жорес видеть «оратора» в том, кто в французских словах заплетался, как рыба в сетях: говорил я ужасно; позднее Матисс, вероятно иронии ради, хвалил мою речь;[91] верно брал интонацией, паузами и бесстрашным подмахом руки на оратора, словом своим поднимавшего бури; со второго же завтрака славный «месье» меня схватывал, точно рыбешку крючком:

«Э, комман пансэ́ ву?»* Вылезал головой из-за носа соседки; я лез на Жореса, соседку давя; с «савэ ву»** откровенным — руками намахивал характеристики литературных течений в России; подчас философствовал, анализируя Генриха Риккерта***, мненье имея о Тарде и Мен де Биране; Жореса-оратора я не слыхал; а узнавши «месье», я забыл об «ораторе»: сам заораторствовал; а Жорес между блюдами, сидя с газетою, ухо ко мне поворачивал, слушая голос мой; даже бросая газету, он, кракнувши стулом, врывался в слова:

— «Что заставило вас полагать?»

Я — отчитывался[92].

Но вернусь к первой встрече: окончив последнее блюдо, очистивши яблочко, тыкнувши ножиком в ломтик, ко рту не поднес; отвалился и замер, сорвавши салфетку,— не глядя на нас, убегая глазами в окошко и щурясь: глаза занялись жидким светом, бросавшим лучи мимо нас; мне поздней объяснили, что он собирается с мыслями перед Палатой; мы все в пансиончике знали, когда выступает он там; к окончанию завтрака делался тихим тогда; и сидел, привалясь к спинке стула,— не видя, не слыша, не глядя; вставали, бросали поклон, уходили; а он все сидел, отвалясь, склонив голову, взгляд исподлобья бросая в оконные стекла.

Я помню, как, вспугнутым гиппопотамом вскочивши со стула с поклонцем всем корпусом, бросился к вешалке он перевальцем и сунул в пальто мятый пукиш газет, чтобы, вставши на цыпочки, тужиться в трудном усилии свое пальто отцепить и, сломавшись, разбросив короткие руки, на черном пальто распинаться с пыхтеньем: он долго возился, стараясь пролезть в рукава; но до шеи не мог он пальто дотянуть; воротник, зацепясь за сюртук, подвернулся, а он уж мелькнул котелочком под окнами, цапаясь зонтиком.

С этой поры появленья Жореса, получасовые сиденья за завтраком с ним — мой просвет и уют в бесприютности; точно, нашедши меня, кто-то вымолвил:

— «Брат мой».

Повеяло: жаром.

Сердечно любили Жореса: хозяин, месье Мародон, сумасшедший с женою, соседка и я.

---

* Ну, а как полагаете вы?

** Знаете ли.

*** Немецкий философ-неокантианец.

Дать отчет о беседах с Жоресом мне трудно; он мне неровня; он жил в мире огромном; я — в маленьком; он завивал из Палаты смерчи; я же был для него — «Бугажев», молодой человек; он ко мне относился с симпатией; но и симпатия эта меня обдавала как жаром; н счастлив, что в хоре хвалений великому деятелю социализма вплетен слабый голос мой, не потому что я видел «великого»; видел я «доброго»; как он умел приласкать без единого слова: ужимочкой, жестиком, тем, что нам, малым, он был — совершенно открыт; перед столькими был осторожен: до хитрости; слухи ходили, что сдержан; свидания с ним добивались неделями; пойманный, он становился «политиком»; взвешивал каждое слово, чему был свидетель не раз; и тогда лишь вполне оценил его ласку к «месье Бугажев, се жён ом»*,— в его шутках с «жён ом», в каламбурах о кошках и в покриках громких о том, что ломаю же, черт побери, я грамматику речи:

— «Сказать надо вот как,— он громко кричал на меня,— а не эдак вот: не по-французски выходит».

И тут же примеры грамматики: преподаватель, педант!

Что ко мне относился тепло он, я понял из ряда штрихов в обращеньи ко мне, всегда мягко-участливом; он ежедневно, вмешавшись в беседу мою с Мародоном, меня подвергал настоящим экзаменам, строго допытываясь, что читал я по логике и почему я, читая Когена, чтоб Канта усвоить, молчу о французах, меж тем как во Франции есть представители и кантианских течений; откинувшись, делаясь строгим, наморщивши лоб, барабанил по скатерти пальцами (так, вероятно, он в бытность профессором делал экзамен студентам); бывало, он, бросивши взгляд исподлобья, оглаживает свою карюю бороду, тащит к ответу меня:

— «А что можете вы мне сказать о французских последователях философа Канта?»

Я упомянул Ренувье, написавшего книгу о Канте, отметивши: мысль в ней путана; потом передал впечатленье свое от другого труда Ренувье;** тут «месье» Жорес, мне улыбаясь, с довольным покряхтом бросает:

— «Ну да: это — так!»

И, схватяся за вилку, уходит в тарелку, с большим интересом обнюхивая вермишель; ел он неописуемо быстро;

---

* К господину Бугаеву, этому молодому человеку.

** «Эскиз систематической классификации», два тома;[93] книга не переведена на русский язык.

покончивши с порцией, корпус откинет; руками — на скатерть, и слушает, что говорят, в ожидании; раз он дал отеческий, строгий урок мне:

— «Ну, знаете,— строго он губы поджал,— вы левее меня».

Я — язык закусил; но, увидевши ласковый взгляд голубых его глаз, успокоился; взглядом — как гладил:

— «Сболтнули вы зря: ничего,— еще молоды».

Я извлекал из него интервью на все темы; был дипломатичен в ответах, когда вопрос ставился прямо; когда ж оставляли в покое его, он, как кот на бумажку, высовывал нос и себя обнаруживал; прямо спросить,— он подъежится; глазки, став малыми,— мимо: ответит уклончиво; мненье его искажали; поэтому, не обращаясь к нему, заводил разговоры с соседкой, конечно, на нужные темы, но с видом таким, будто дела мне нет до Жореса; он выставит ухо, но делает вид, что читает, хотя и пыхтит от желанья просунуть свой нос; не удержится, бросит газету, всем корпусом перевернется; и ноги расставит, пропятив живот:

— «Почему вы так думаете?»

Я того только жду; и, бросая соседку,— докладываю; а он — учит.

Так маленькой хитростью я из него извлекал что угодно.

И мне выяснялось его отношение к событиям русской действительности: революцию в данном этапе ее он считал неудавшейся, видя реакцию в том, что эсеры считали успехом; досадовал на непрактичность, отсутствие твердого плана борьбы; максимализм для него был развалом; сурово громил партизанов от экспроприации; в моем сочувствии к экспроприаторам видел незрелость и шаткость; но мне он прощал, потому что я не был политиком; иронизировал лишь: «Вы — левее меня»; в психологии мученичества он видел истерику слабости:

— «Выверните наизнанку его,— говорил он о бомбометателях,— и вы увидите: это — ягненок, одевшийся волком; такой маскарад ни к чему».

Он учуял азефовщину за бессильной истерикой прекраснодушия:

— «Нет, почему,— рубил скатерть ножом,— почему они просто ягнята какие-то?»

Так относился Жорес к большинству эмигрантов, с которыми виделся; виделся он ежедневно с писавшим в газете его Рубановичем.

— «Ваши кричат: революция-де торжествует в России; я — вижу разгром!»

Даже раз, обрывая меня, защищавшего крайности, в пику мне бросил с досадой:

— «Послушайте-ка: при подобном разгроме движения было бы шагом вперед, если б ваше правительство стало кадетским»[94].

Беседы с Жоресом сказалися через три месяца: в ряде заметок в «Весах»; в фельетонах газетных я стал нападать на заскоки в политике, в литературе, в эстетике: «Нет, довольно с нас левых устремлений... Лучше социализм, лучше даже кадетство, чем мистический анархизм. Лучше индивидуализм, чем соборный эротизм»* (1907 г.); левое устремление мчит «Ивана Ивановича за пределы всяческого радикализма, проваливает за горизонт осязаемости»; «О, если бы вы разучили основательно хотя бы только Эрфуртскую программу» (1907 г.)[96]. В те дни еще люди, подобные Н. А. Бердяеву, громко гласили: они-де левей социалистов; отказываясь от марксизма, они будут строить из пылов своих «свое» царство свободы; о них я писал: «За горизонтом инфракрасные эстеты в союзе с инфракрасными общественниками... синтезируют Бакунина с Соловьевым. И пребывали бы за чертой досягаемости... Но они бросают камни... в сей бренный мир... Беда в том, что судьба их исчезать за горизонтом — только средство, чтобы появиться справа... Мы давно уже поняли, что «левое устремление», так, вообще... в лучшем случае — шарлатанство, а в худшем случае — провокация» (1907 г.)[97].

Так я воспринял беседы с Жоресом: они приводили к сознанию: пафос без тактики — дым; я конфузился надоедать великому в той эпохе политику жалкими мнениями о политике; кстати сказать: от политики переводил мои мысли к культуре он; пришлось признаваться, что сам я пишу; он высоко ценил драмы Ибсена; Гауптманом восхищался; Морис Метерлинк был ему очень чужд; но от критики он воздержался:

— «Он, может быть, нравится некоторым; но я должен сказать: этот странный писатель весьма непонятен».

Любил драматические сочинения классиков; и постоянно подчеркивал мне, что Корнель еще ждет надлежащей

---

* Привожу цитаты из статьи «Люди с левым устремлением», напечатанной в 1907 г., если память не изменяет, в газете «Час» (закрытой Гершельманом) и перепечатанной в «Арабесках»[95].

оценки и что социалисты должны ее дать, отделивши Корнеля от темной эпохи, свой штамп наложившей на драмы его; он подчеркивал, что непредвзятость в оценке искусства, конечно же, будет господствовать в социалистическом царстве.

— «О, мы, социалисты, сумеем создать Пантеон, уничтоживши толки о том, будто мы унижаем искусство,— махал за столом он салфеткою,— мы и гуманней и шире, чем думают».

Кстати,— он не выносил, когда я говорил «социал-демократ», «социал-демократия»; морщась, хватался за нос, поправляя меня:

— «Вы хотите сказать: «социализм», «социалисты».

За трапезой был удивительно прост и в иные минуты открыт совершенно; кому он не верил, с тем вел дипломатию; раз он привел длинноносого, бритого, самодовольного вида мужчину, который совал свои руки в пиджак с таким видом, как будто и море ему по колено, развязно Жореса третируя, даже его назидая отогнутым пальцем; Жорес же с лукавой любезностью, бросивши руки, показал место ему за столом; и потом, повернувшись ко мне, он движеньем ладони ко мне и к мужчине нас соединил:

— «Познакомьтесь,— месье Бугажéв, соотечественник ваш, месье Аладьин».

Так спесивый нахал оказался Аладьиным, трудовиком первой Думы; в России считался оратором он; оказался же агентом империализма;[98] в те дни он был встречен с почетом французами; он читал лекции; шумно давал интервью, в них рисуясь; Жорес с ним держался как с гостем: любезнейше ставя вопрос за вопросом; от собственных мнений воздерживался; он казался теперь не беззлобным, почтенным профессором,— зорким и настороженным, присевшим в засаду; Аладьин от самовлюбленности точно ослеп и бросал снисходительно, точно монету с ладони, «по-моему», «я полагаю», не видя Жореса, любуясь собою; с лукавым наклоном Жорес принимал эту дань; а надутый Аладьин, засунувши руку в карман, указательным пальцем другой продолжал «полагать» пред Жоресом — «по-моему», «как я сказал», не заметив, что за нос водили его; к концу завтрака выяснилось, что Аладьин не только болтун, но дурак; и Жорес, даже как-то плясавший на стуле с потирами рук, с хитроватыми бегами глазок, как лакомством редким, таким дураком наслаждался, под соусом нам подавая его; на другое же утро, улыбку в усах затаив, он с прищуром спросил:

— «Как вам нравится компатриот?»

Мы с достаточной пылкостью высказались: он не нравится вовсе; припавши к столу, захватяся руками за скатерть, подставил он ухо и глазками бегал по скатерти, не выдавая себя,— пока мы говорили: пыхтел в той же позе; и вдруг бородой рубанул по тарелке:

— «Я вас понимаю!»

И бросился к блюду.

А в русской колонии бегали слухи: Андрею-де Белому — как повезло. Декадентишка этот таки ухитрился с Жоресом знакомство свести,— с тем Жоресом, которого ловят политики, корреспонденты всех стран, интервьюеры; он от них бегает; с этой поры рой вопросов:

— «С Жоресом встречаетесь?»

— «Да».

— «И с ним завтракаете?»

— «И завтракаю».

— «Каждый день?»

— «Каждый день».

— «Ну, так я приду позавтракать к вам: я хотел бы Жоресу поставить вопрос».

И посыпалось:

— «Вы попросите Жореса... Спросите Жореса... Мне надо Жореса... Есть дело к Жоресу...»

Желающих завтракать — рой; приглашал я обедать; тогда обижались: со мной не хотелось обедать, а — завтракать; мне приходилось отказывать; наш пансиончик, укрытый в далекой ульчонке, был местом, где мог откровенно Жорес отдыхать, где его окружали без алчности люди простые, нехитрые; ставить его пред разинутым ртом? Но тогда он бесследно исчезнет.

Два раза пришлось уступить: Мережковскому, Минскому; Минский, считавший отцом символизма себя, мне годился в отцы; он себя объявил социал-демократом; газету «Начало», где Ленин писал, редактировал несколько дней;* его стих открывался строкой:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь![100]

С упорством ко мне он пристал:

— «Я хочу с вами завтракать!»

Завтракал; с третьей же фразы, бросая меня, прицепился к Жоресу и стал развивать свои нудности, нам с ним

---

* Социал-демократическая газета, выходившая в Петербурге в конце 1905 года (до московского восстания)[99].

ненужные, но и Жоресу ненужные; тот поплевывал фразой пустой, нос упрятав в тарелку; откушав скорей, чем всегда, убежал, прошмыгнув котелком мимо окон; я видел, что Минский обиделся, скис и иссяк; он не очень остался доволен Жоресом.

Трудней было с *трио:* с четой Мережковских и спутником их, Философовым; трио поставило мне ультиматум:

— «Знакомьте с Жоресом нас!»

Трио печатало книгу в Париже: «Le tzar et la révolution»;* Мережковский в Париже, отъехав от Струве, подъехал к эсерам; и скоро стал савинковцем; Философов, сжимая в руке шапоклак и от имени «Речи»[102] таская свой фрак на банкеты с министрами, часто ходил к анархистам-кропоткинцам и заявлял: хотя «Дима», кузен его, сделан министром**, он все же питает симпатии к синдикализму; а Гиппиус даже из чашки фарфоровой раз угощала свирепого вида матроса-потемкинца, бившего в скатерть рукой:

— «Уничтожим мы вас!»

— «Чай... бисквитик?»

Удрав из России, кричали они о своей левизне;[104] Мережковский, по комнатам шмякая туфлей, воздев кулачки под защитой французской полиции (очень боялся апашей он), бомбой словесной в министров кидал и клялся, что он книгою скажет всю правду, отрезав себе возвращенье в Россию: сношение с царским правительством есть преступленье для Франции; тут он, сходяся с Жоресом, мечтал о совместном с ним митинге; под председательством лидера социалистической партии проголосит Мережковский; Жорес — это имя:

— «Вы, Боря, устройте; сведите с Жоресом».

Недели он три донимал; знал: не выйдет из этого толк; хоть бы строчку Жореса прочел Мережковский; я по Петербургу достаточно знал отношенье к рабочим писателя этого; сделку с Жоресом придумав, стал блузником он.

Делать нечего; начал я издали, от разговора с соседкой,— о бывших собраньях с попами писателей, ратовавших против церкви, но за христианство; Жорес за газетой пыхтел, ставя на ухо наш разговор и бросая мне с рявками: «лё» или — «ля»; как всегда, зацепившись, он выставил нос из газеты; потом, кракнув стулом, всем корпусом, напоминающим гиппопотама, влетел в разговор; я пред-

---

* «Царь и революция»[101].

** Двоюродный брат Философова был в это время министром[103].

ставил ему физиономии Минского, Розанова, Мережковского, Гиппиус как атакующих вместе с сектантами церковь; он внимал как симптому рассказам об этой атаке; я вставил броском замечанье: трилогию Д. Мережковского можно прочесть по-французски;[105] о ней что-то слышал Жорес.

Через несколько дней я соседке докладывал, в ухо Жоресу крича: Мережковские переселились в Париж; я их вижу почти ежедневно; так, дав силуэт Мережковского, я обратился уж прямо к Жоресу:

— «Мой друг, Мережковский, хотел бы, месье, с вами встретиться; есть у него к вам вопросы; он просит у вас разрешенья позавтракать с вами».

Учуяв засаду, Жорес нырнул в блюдо, надувшись и шею вдавив меж плечей, в этом жесте напомнивши гиппопотама, залезшего в тину и ноздри свои из нее поднимавшего; и, как Аладьину, светски, с приклоном, пропел, что, встречаясь с общественным деятелем, должен прежде всего он узнать физиономию этого деятеля; с Мережковским охотно бы встретился он; но его не читал; он теперь им займется; и тут, записавши названье трилогии, фирму издателя, он оборвал разговор; с той поры о свиданьи — ни звука; прошло две недели; на все приставания Гиппиус — «Вы на Жореса давите» — ответил отказом, рискуя в опалу попасть.

Но однажды Жорес, собираясь уйти, — подошел: и, пропятив живот, бросив руку, пропел церемонно:

— «Так вот: я знакомился с произведениями Мережковского; вы передайте же вашим друзьям, что я очень охотно бы встретился с ними: так — завтра: в двенадцать часов»[106].

Зная скверный обычай четы Мережковских опаздывать (Гиппиус ведь просыпалась не ранее часа), чету умолял я быть точной: Жорес, дорожа каждым мигом, наверно, придет до двенадцати; мне обещали они; но, конечно, проспали; и — вообразите: хозяин ко мне прибегает за двадцать минут до полудня:

— «Месье Бугажéв: вам месье Жорес просит напомнить, что ждет вас внизу; вас и ваших друзей».

«Друзей» — нет! С неприятнейшим чувством спускался в пустое я зальце; Жорес, руки бросив за спину и перетопатываясь под окном, проявлял уже признаки нетерпеливой досады; не глядя, ткнул руку; и тотчас, схватясь за часы, на ладони расщелкнувши их, обратился к двум тощим французам сотрудникам «Юманите», приведенным,

наверное, чтоб разговор деловой протекал при свидетелях (был осторожен); стенные часы громко тикали; пять минут, десять; Жорес, согнув палец, стал перетирать им себе под губой волоса с таким видом, как будто чихал на меня:

— «Э, да что уж... Эхма!..»

С перевальцем ходил все под окнами; двое французов сидели у стенки, косясь на меня; вот пришел Мародон, появилась соседка, спустился рантье; уже первое блюдо; Жорес занимался с французами, потчуя их, с аппетитом бросаясь на блюда; второе нам подали; тут он, вторично схватясь за часы, их расщелкнул:

— «Ну,— ваши друзья?»

Появились.

Высокий, красивый, подтянутый, с номером «Речи» в руке, Философов почтительно подал газету Жоресу:

— «Позвольте, месье Жорес, вам поднести этот номер газеты; я вам посвящаю статью в нем»[107].

Жорес, прижав руки к груди, поклонился; увидевши рыжеволосую Гиппиус, в черном блестящем атласе, с лорнеточкой белой в руке, косолапо отвесил поклон;[108] и теперь лишь предстал ему «кит» в виде маленькой хмурой фигурочки с иссиня-белым лицом и пустыми глазами навыкате; эта фигурочка силилась что-то извлечь из себя; Мережковский, *великий писатель,* нет,— что с ним случилося? Перепугался? Ни прежде, ни после не видел его в такой глупой позиции; хлопая глазом, он силился что-то такое промямлить, как школьник, на стуле присев, и — выщипывал крошки: балдел; как всегда, Философов его отстранил, очень дельно, раздельно представя мотивы для митинга и доказавши Жоресу, что руководителю «Юманите» надо митинг возглавить.

Жорес только слушал да ел, занавесясь салфеткою, севши в нее, как в кусты, из которых с большим любопытством разглядывал *трио,* облизываясь и оглаживаясь; очевидно,— весьма забавляла: лорнеточка Гиппиус; на Мережковского он не глядел, чтоб не мучиться мукой писателя: этот писатель умел голосить и молчать; говорить не умел он; так, лет через пять, посетив тихий Фрейбург, он грозно рыкал на философа, Генриха Риккерта: тихого мужа:

— «Вы, немцы,— мещане, а русские, мы,— мы не люди; мы — боги иль — звери!»

Философ, страдавший боязнью пространства, признался Ф. А. Степпуну, что от этого рыка не мог он опомниться долго:

— «Вы, русские,— странные люди».

А перед Жоресом обычно «рыкающий левик»... икающим стал. Так и ахнул, когда лет через десять в немецком журнале попались мне воспоминанья писателя об этой встрече с Жоресом; из них я узнал: Мережковский Жоресу высказывал горькие истины; и знаменитый оратор ему-де на них не ответил; хотелось воскликнуть:

— «Ах, Дмитрий Сергеевич,— можно ль так лгать! Вы молчали, набрав в рот воды, потому что за вас говорил Философов; вы хлопали только глазами».

Свидание длилось пятнадцать минут или двадцать; Жорес согласился условно способствовать митингу; был осторожен до крайности он, отложив разговор о подробностях митинга, митинга — не было; книга «Le tzar et la révolution» провалилась; «великий писатель» вернулся к себе: в Петербург; о Жоресе он даже не вспомнил при встрече со мной[109].

По тому, как Жорес себя вел с Мережковским, Минским, Аладьиным, видел, какой он политик; предвидя войну, зная все подоплеки ее, он боролся с идеей реванша, с разделом Германии, Австрии, с планом создания югославянской державы, границы которой политикам были известны до... карты, уже отпечатанной в штабах; боролся, как мог, с франко-русским союзом, указывая, что союз — наступательный.

К маленьким людям склонялся сердечно; когда я болел, то Гастон, внося завтрак, передавал каждый день мне привет от Жореса; поздней, посещая в больнице меня, немка-барышня передавала, с какой теплотой Жорес ее спрашивал о всех подробностях хода болезни моей;[110] в отношении к ней проявил он участье на деле; когда я вернулся в отель, то ее уже не было; ставились рядом приборы: Жореса и мой.

— «Мадемуазель,— где она?»

Тут, расставивши толстые ноги, Жорес повернулся; руками салфетку схватил, прижимая к груди:

— «Мадемуазель переехала; ей далеко теперь завтракать с нами, но ей удалось наконец подыскать род занятий, который вполне соответствует ее способностям».

Стало мне ясно, кто принял участие в ней.

Этот трезвый мужчина с рассеянным видом профессора виделся экзаменатором, академическим лектором, автором толстых томов,— не оратором вовсе; он взвешивал каждую фразу, которую произносил угловато: с надсадой, с трудом; я не видел оратора в нем; но в Париже жить

и не услышать Жореса — в Москве побывать, не увидеть Кремля.

Однажды я прочел объявленье о слове вступительном в Трокадеро́* перед чтеньем Корнеля артистами из «Комэди Франсе́з»; начало назначено было в час с четвертью — сбор поступал в пользу «Юманите»[111].

Почему-то я думал, что он не придет перед лекцией завтракать; он появился, таща пук газет; он просунул в них нос; только был он рассеянней: не убежал после третьего блюда; чуть щурясь, сидел посредине пустого стола, захватяся руками за скатерть, с отчетливо помолодевшим и ставшим как выбитым профилем; между ресницами вспыхивал влажно мерцающий свет; седовато-курчавые, на расстоянии серые, золото-карие волосы мягко вставали над карим лицом; твердо сжались пунцовые губы; Пракситель мог бы изваять эту голову: в ней — что-то Зевесово.

Зал вмещал несколько тысяч в нем бившихся туловищ; черное роище: зыбь рук, голов, сюртуков, шей, локтей — в коридорах, в партере, в проходах, на хорах; сидели, стояли, ходили, сжимая друг друга, друг в друге протискиваясь,— разодетые дамы и барышни скромного вида в простых шемизеточках, лавочники, буржуа, адвокаты, студенты, рабочие.

Вот: все воскликнуло: залпами аплодисментов; как отблеском ясным, весь зал просиял; и Жорес появился из двери, увидясь и шире и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз; переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которою встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном: направо, налево; но вот он короткую руку свою бросил в воздух: ладонью качавшейся угомонял рявк и плеск; водворилось молчанье; тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилия в уши врубать тяжковесные свои фразы,— забил своим голосом, как топором; и багровыми, мощными жилами вздулась короткая шея; грамматика не удавалась ему; говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкаяся паузами; слово в сто килограммов почти ушибало; раздавливал вес — вес моральный; тембр голоса — крякающий, упадающий звук топора, отшибавшего толстые ветки.

Кричал с приседанием, с притопом увесистой, точно

---

* Огромный, причудливой архитектуры дворец на берегу Сены против Эйфелевой башни.

слоновьей ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона; и мелькало: что будет, коли оторвется от кафедры и побежит: оборвется с эстрады; вот он — оторвался: прыжками скорей, чем шажочками толстого туловища, продвигался он к краю эстрады; повис над партером, вытягиваясь и грозясь толстой массою рухнуть в толпу; голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дискантами визгливой игры на гребенке; вдруг, чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподымал эту массу людей к потолку: ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем.

Мы кубарями понеслись на космической изобразительности; он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы, переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан; промежуточные заключенья глотал; и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уж ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас интуицией одолевать расстояния меж силлогизмами; мыслил соритами, эпихеремами;* и оттого нам казалось: хромала грамматика; и упразднялася логика лишь потому, что удесятерял он ее.

Не припомнить, чего он коснулся. Смысл: снять катаракты мещанских критериев с глаз, чтобы видеть политику трезво: в событьи парижского дня, в протоколе рейхстага, в интрижечке колониальной политики Англии надо уметь восстанавливать ось всей планетной действительности; точно Фидий скульптуру, изваивал целое из непосредственно данного хаоса, бившего в нас, как тайфун; за потоком с трудом выбиваемых образов предощущалась программа огромной системы, им произнесенной на митингах, ставшей решением, действием, лозунгом масс.

Говорил он периодами:[112] «так как» — пауза; «так как» — вновь пауза долгая; и наконец уже: «то...»: иль:

— «Когда» —

— начинал он с порефом, с подлетом руки на притопе,— «то, то-то», рисующим инцидент в Агадире, едва не приведший к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирательной саблей[113],

---

* Ракурсы силлогической мысли.

— «Когда» —

—брал регистром он выше, и выше метал руку, бороду, топнувши,—

— «то-то и то-то», рисующим роли Вальдек-Руссо, Галифе, Комба в недавнем конфликте с соседней военной державой,

— Когда —

—дискантами летел к потолку, став на цыпочки и перевертываясь толстым корпусом, чтоб бородой и рукою закинуться к хорам и с хоров поддержки искать у протянутой из-за перил головы,—

— «то-то и то-то», рисующие революцию русскую, Витте (и капали капли тяжелого пота на бороду); вдруг с дискантов в бездну баса» —

— «Тогда!» —

—и рукой, вырастающей втрое над оцепеневшим партером, как кистью огромною, он дорисовывал выводы.

Выстрелы аплодисментов: всплывала от всех ускользнувшая связь меж «когда»; в той же позе — он ждал: животом — на партер; и потом, отступая, тряся победительно пальцем, от слова до слова свой вызвавший возгласы текст повторял он: повертываясь, переваливаясь, брел под кафедру, пот отирая платком, точно слон к водопою; и с новым периодом снова бросался на нас.

Кончил: кубарем вылетел я, чтобы после него не услышать Корнеля, которого так он любил, что поднес точно лакомство; Корнель — художник.

Жорес — еще бóльший: художник политики.

Он, говорят, говорил больше часа; но время мне сжалось в минуту, чтобы протянуться годами: в сознании; в «Юманите» я читал стенограмму;[114] но речь была в паузах, в голосовой интонации, в жесте; в ней фраза, обстанная кариатидой-метафорой, как бронтозаврами, мощно плескалась прибоем ритмических волн; да,— размах мировой; современность парижская не подходила к размаху; эпоха войны открывала Жоресу возможность взрывать динамитные склады,— Германии, Франции, Англии; в этой эпохе он делался главнокомандующим миллионов стонавших; он мог бы зажечь революцией Францию, Жоффра сменить, повернуть дула пушек и вызвать ответные отклики в Англии, даже в Германии; шаг его был шаг эпохи; биение сердца — бой колокола.

Это — поняли: даже в тюремном застенке бой сердца Жореса звучал бы набатом; так что оставалось убить.

И «они» это сделали[115].

Я пережил эту смерть вблизи Базеля; но не великий, величием равный эпохе, погиб для меня; для меня эта смерть — смерть сердечного, доброго, ставшего в воспоминаниях близким; семь лет я не видел Жореса; но знал я: он — есть; а теперь его — не было; и — я забыл о войне; и забылось, что мы, проживающие рядом с границей,— в клещах меж двух армий, что пушки из Бадена наведены и на нас, что близ Базеля корпус французов, прижатый к Швейцарии, вынужден в нашу долину вступить; и тогда пушки Бадена (как на ладони,— там) грянут; уже собирали дорожные сумочки: в горы бежать; уж под Базелем бухали пушки.

Все это забылось; я как сумасшедший забегал по берегу Бирса:

— «Месье Жорес... Тот, кто опорой мне был в тяжелейшие месяцы жизни, кого я любил...»

И над струями темно-зелеными пеной курчавой плескалось и плакало:

— «Умер он, умер: «они» — погубили его!»

НА ЭКРАНЕ (МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ, ГУМИЛЕВ, МИНСКИЙ, АЛЕКСАНДР БЕНУА)

Жорес мне — действителен в мороке города; прочие — точно китайские тени; Париж как Мельбурн, потому что я ехал — маньяк, в свою точку вперенный,— выкладывать Гиппиус «раны» и после шагать пред камином; ходил к Мережковским с прогулки: в четвертом часу; посидев до шести, возвращался к обеду; обедали в семь; Мережковский сидел в кабинете; Д. В. Философов в переднюю шел с шапоклаком, одетый в убийственный фрак:

— «На банкет?»

— «С Клемансо».

А когда проходил в пиджаке,— то я знал: к анархистам, И. Книжнику* и Александрову, жившим в предместье Парижа; раз я с ним ходил; Александров, высокий, с глазами лучистыми, с русой бородкой, отзывчивый, нервный, мне нравился; кончил печально в России; его окружили жандармы; он пулю пустил себе в лоб.

---

* Псевдоним Ветрова.

Мережковские впутывали в суеты, из которых слагалась их жизнь; так: забрав Философова, Гиппиус даже его заставляла писать с нею «Маков цвет» (драму); и мне предложила сотрудничать с нею; стихи написать ей: о маках;* она подставляла ненужных людей и тащила к знакомым: трещавшая дама из светского общества, сладко точа комплимент, являлась; от дочки ее приходил Мережковский в восторг: даже был он не прочь ей увлечься; фамилии дамы не помню; казалась пустой; глазки — хитренькие; слыша, как называли меня Мережковские «Борей», она принялась называть меня «Борей».

— «Какой «Боря» милый! Тащите с собою обедать ко мне; никого: вы да мы».

Повели; Философов отправился с нами; в гостиной сидел франтоватый брюнет, эластичный, красивый; лицо — с интересною бледностью; взор — опаляющий; с искрой усы — как атлас.

А фамилия и не расслышалась мне.

Склонив Гиппиус профиль, но выпятив грудь, крепко сжавши нам руки с закинутым профилем, локоть склонил он на кресло и гладил свой холеный ус, наблюдательным взглядом вбирая лорнетку, горжетку, ботиночку с пряжками; но про себя я отметил: Д. В. Философов, ответствуя франту, был сдержан; шажочками в угол пройдя, стал за спину брюнета, свой взгляд выразительный остановил на З. Н.; та, пустивши дымок, улыбнулась загадочно.

Этот брюнет завладел разговором, пуская ужами по комнате светские фразы и тихо срывая с рояля аккорды, но острые взгляды бросая на нас; произнес, между прочим, он стихотворенье Бодлера и с мягко изогнутым корпусом — к барышне: стан захватив, с нею сделал тур вальса; я понял: он пишет в газетах; он силится интервьюировать.

Сел за обедом напротив меня, взяв невинную позу; какую-то мягкую жесткость в руке, передавшей закуску, отметил я; с пальца — луч перстенный; ловко въиграв в разговор и меня, вдохновил к политическим шаржам; но тут я почувствовал быстрый удар под столом по ноге; Философов? Этот последний, когда на него я взглянул, не ответил на взгляд, неожиданным упоминанием о брате-министре меня оборвавши:

— «Мне Дима писал, что...»

Брюнет его выслушал; с ним согласился; спросил:

— «А послушайте, вы ведь видаетесь с Книжником и Александровым?»

* См. драму «Маков цвет»[116]

А Философов с развязностью, глядя на ногти, снаивничал:

— «Знаете, я — декадент,— ледяными глазами в брюнета уставился,— и анархист: презираю политики,— всякие!»

Мне же мелькнуло: «Как, он презирает политику? В первый раз слышу».

Брюнет согласился и с этим; они запорхали словами; зачем Философов, ругавшийся словом «эстет»,— стал эстетом? Брюнет с замирающей нежностью перебирал имена левых деятелей; тут меня осенило: да это — дуэль?! В ледяные глаза Философова очень жестоко и остро, как сабельный блеск, брызнул блеск черных глаз.

Когда встали, спешили уверить хозяйку, что поздно: пора; Философов на улице зло на меня напустился:

— «И вы хороши: угораздило вас говорить о политике; он только этого ждал: он же к нам подбирается; вижу, что этот обед — сфабрикован».

Брюнет — Манасевич-Мануйлов*, известный сподвижник Рачковского**.

Видел барона Бугсгевдена я, сына организатора ряда убийств: Герценштейна, едва ль не Иоллоса;[117] проклявши отца, бросив службу, свой круг, этот аристократ бледноусый бесцельно слонялся в Париже, сочувствуя террору, чувствуя преодиноко себя и в том мире, который он бросил, и в мире, к которому шел; так его объяснила мне Гиппиус; скоро исчез из Парижа, пятном промаячив; поздней, в Петербурге, в папашу стрелял он, как помнится, или собирался стрелять[118].

Встречался и Иван Иванович Щукин, брат капиталиста московского; тот был брюнет; этот — бледный блондин; тот — живой; этот — вялый; тот — каламбурист наблюдательный; этот — рассеянный; тот — наживатель, а этот — ученый; в «Весах» появился ряд корреспонденций о Лувре за подписью «Щукин», написанных остро, со знанием дела;[119] И. И. служил в Лувре; он был награжден красной ленточкой (знак «легиона» почетного); он, давно переехав в Париж, у себя собирал образованных снобов, ученых, артистов, писателей.

Я ходил к Щукину, где между мебелей, книг и картин, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк, злой, белобородый поляк, с изможденным, изжеван-

---

* *Темная личность, провокатор.*

** Директор департамента полиции.

ным ликом, сверкавшим очками; я помню с ним рядом огромного, рыхлого и черноусого баса, Барцала*, бросавшего космы над лбом и таращившего беспокойно глаза на сарказмы почтенного старца; запомнился слабо-рассеянный, бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза; вид — как будто сосал он лимон; лоб — большой, в поперечных морщинах.

Потом оказалось, что он, положив застрелиться, дотрачивал средства свои: раз, собравши гостей, он их выслушал, с ними простился; и, их отпустив, застрелился; ни франка при нем не нашли; мог служить как ученейший специалист по искусству; А. Ф. Онегин, собравший архивы по Пушкину[120], часто бывал его гостем.

Однажды сидели за чаем: я, Гиппиус; резкий звонок; я — в переднюю — двери открыть: бледный юноша, с глазами гуся; рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре — шарк — в дверь.

— «Вам кого?»

— «Вы...— дрожал с перепугу он,— Белый?»

— «Да!»

— «Вас,— он глазами тусклил,— я узнал».

— «Вам — к кому?»

— «К Мережковскому»,— с гордостью бросил он: с вызовом даже.

Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:

— «Гумилев».

— «А — вам что?»

— «Я...— он мямлил.— Меня... Мне письмо... Дал вам,— он спотыкался; и с силою вытолкнул: — Брюсов».

Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения.

— «Что вы?»

— «Поэт из «Весов»[121].

Это вышло совсем не умно.

— «Боря,— слышали?»

Тут я замялся; признаться,— не слышал; поздней оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул;[122] «шлеп», «шлеп» — шарки туфель: влетел Мережковский в переднюю, выпучась:

* Старый певец московской оперы, очень радикально настроенный в годы революции.

— «Вы не по адресу... Мы тут стихами не интересуемся... Дело пустое — стихи».

— «Почему? — с твердой тупостью непонимания выпалил юноша: в грязь не ударить. — Ведь великолепно у вас самих сказано!» — И, ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени — фига под нос; этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать:

— «Вы напрасно: возможности есть и у вас», — он старался: попал-таки!

Гиппиус бросила:

— «Сами-то вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?»

Мог бы ответить ей:

— «О попугаях!»

Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в «Весы», шел от чистого сердца — к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога? Тут Гиппиус, взглядом меня приглашая потешиться «козлищем», посланным ей, показала лорнеткой на дверь:

— «Уж идите».

Супруг ее, охнув, — «к чему это, Зина» — пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет.

Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот;[123] все же — он поводы подал к насмешке: ну, как это можно, усевшися сонным таким судаком, — равнодушно и мерно патетикой жарить; казался неискренним — от простодушия; каюсь, и я в издевательства Гиппиус внес свою лепту: ну, как не смеяться, когда он цитировал — мерно и важно:

— «Уж бездна оскалилась пастью».

Сидел на диванчике, сжавши руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая: смеются над ним или нет; вдруг он, сообразив, подтянулся: цилиндр церемонно прижав, суховато простился; и — вышел, запомнив в годах эту встречу[124].

Запомнился Минский.

Тут должен сказать: этот старый писатель возился с холодною витиеватою мыслью: додумался он до отказа — от мысли; ужасно съедаться абстракциями, копошащимися, точно черви в сыру, в мозговом веществе; с перемудра, а может быть и с геморроя, почтенный сей муж за-

болел мозговой лихорадкой, сказавшейся в страсти к гнилятине; уже позднее я встретил почтенного Минского, седоволосого старца, живущего жизнью идей; и *парижского Минского* вовсе не связываю с Николаем Максимовичем, или — подлинным Минским.

«Парижский» — не нравился мне: не пристало отцу декадентов, входившему в возрасты «деда», вникать в непотребства; разврат смаковал, точно книгу о нем он писал; с потираньем ладошек, с хихиком, докладывал он: де в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежною тайной; гнездился в весьма подозрительном месте, чтоб не расставаться с предметом своих наблюдений.

— «Не можете вообразить, как прекрасна любовь лесбианок,— дрожал и с улыбкою дергался сморщенным личиком.— Там, где живу,— есть две девочки: глазки Мадонн; волоса — бледно-кремовые; той, которая — «он», лет семнадцать; «ей» — лет восемнадцать; как любятся!»

И он, слащаво зажмурившись, толстенький стан выворачивал, ерзая задом; с пугавшей меня грациозностью оборонялся от доводов Гиппиус, ручкой отмахиваясь, точно веером; Гиппиус — в хохот:

— «Откуда вы видели, как они любятся?»

Он лишь глаза закрывал, полагая крестом свои руки на грудь, как поношенный черт, имитирующий позу ангела.

— «Вы покажите нам место, где вы наблюдаете».

Он,— тупя глазки:

— «Всегда и везде — я ваш гид».

— «Вы хотите пойти со мной, Боря?»

— «Конечно,— с Борис Николаевичем: может, «Белый», над бездною ада носясь, соблазнится и вспыхнет, став «Красным».

— «Ах вы,— Мефистофель!»

Как сальцем он лоснился,— маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикающий, черномазый, с сединочками; а когда он ушел, не без жути мне Гиппиус:

— «Видели, как он брюшком передергивал, слюни глотая: несчастный, не правда ли,— сморщенным личиком напоминает он кончик копченой колбаски».

И Гиппиус и Философов читали Крафт-Эбинга, интересуясь психопатологией; в Гиппиус смешивались: познавательные интересы с больным любопытством:

— «Вы, Боря, конечно, со мной; не пойду с этим Минским одна».

Мы в назначенный вечер заехали к Минскому; жил не-

далеко он от «Плас-Пигалль»;* он нас ждал; он к нам вышел с зонтом, в котелке: тугопучным таким коротышкой.

— «Идемте ж скорей».

В котелке, как грибок, семенил с лихорадцей за нами; сперва повел к «дьяволам»** он; после к «ангелам»;*** дьяволы нас угощали ликерами.

— «Скучно!»

Накрыв свои губы перчаткой, наш гид с лихорадцей в глазах подбоченился зонтиком:

— «Я вас веду в Бар-Морис».

— «Как? Куда?»

Котелочек поправил:

— «К гомосексуалистам».

— «Ведите».

Он зонтик — под мышку; на лоб — котелок: побежал, мне напомнивши скачущий кончик копченой колбаски.

Привел в небольшую, набитую людьми, невзрачную комнату; столики; больше мужчины; но были и дамы; одна из них очень двусмысленным взглядом окинула Гиппиус, будто узнав в ней себя; эта — к Минскому:

— «Кто?»

— «Лесбианка».

Средь столиков ерзала тощим крестцом «Отеро́» (так «ее» называли): с поношенным, стертым лицом, с подведенными густо ресницами, в черном берете, с кровавым цветком в декольте (волосатом и плоском), в атласном, затянутом платье; безбедрая и сухоногая тварь, показалась мне бегающей сколопендрой; костлявую руку забросив за спину, привздернула юбку почти до колен, обнаруживая кружевные дессу, изможденные икры в чулочках; обмахивалась черным веером; кончиком веера передавала кому-то бэзе, приглашая плясать мускулистого, желтоволосого, бледного юношу.

— «Кто это?»

— «Это — приказчик из «Лувра».

— «Как?»

— «Днями стоит за прилавком, а вечером — здесь; он действительно воображает, что он «Отеро́»,— Минский, тряся брюшком, добродушно нырял, как рыба в воде.— Ну, а тот, кто танцует с «ней»,— имеет романы с одними солдатами; видите — там: этот бледный и нервный мужчина — поляк,— очень тонкий и умный».

* Центр кабачков.
** Кабачок ада.
*** Кабачок рая.

Сидел, прижимаясь к шестнадцатилетнему мальчику, взяв его руки и пальцы терзая ему.

Здесь воняло ужасно (по Минскому,— великолепно).

— «Ведите нас дальше»,— капризила Гиппиус.

Снова нырнувши в кривые ульчонки, вдруг вынырнули в небольшое пустое «локаль» (вроде ба́ра); сидела ученого вида, весьма некрасивая, просто одетая дама: в очках; и тянула вино из соломинки; Минского же лихорадило:

— «Здесь — претаинственно; это — приют лесбианок; но это не все: что еще? Не пойму: здесь боятся случайных, как мы; здесь прилично: для вида; смотрите-ка: дама пришла на охоту за девочкой».

Может,— он выдумал? Дама — солидного вида, одетая скромно; должно быть, «ученая»; волосы — стриженые; блески строгих очков; этот Минский готов был сидеть, и высматривая и вынюхивая; очень скучно; и мы его — выволокли; с блеском в глазах, с лихорадочными гоготочками он провожал нас до фиакра; действительно,— страшен Париж; мне д'Альгеймы рассказывали, что здесь есть учрежденья, один вид которых — кошмар; вы входите: парты; за партами — дряхлые капиталисты, седые сенаторы, даже министры в отставке: сидят с букварями и воображают, что учатся; а отвратительная старушонка в чепце, в бородавках, блистая очками, стоит с пучком розог над ними; и спрашивает задаваемый ею урок; кто собьется, того она розгой по пальцам; сенатор визжит поросенком; и это есть вид наслажденья,— для паралитиков, что ли? Я, вспомнивши это, взглянул на «отца» декадентов, пытаясь представить его в этой школе; начнешь с изученья разврата, а кончишь-то — партой; взвизжишь поросенком, когда защемит тебе ухо ногтями: «старуха» очкастая!

Брр!

Минский, нас усадивши на фьякр, канул в грязной ульчонке: во мрак; повстречался со мной председателем «Дома искусства» в Берлине — лет через шестнадцать;[125] серебряный, розовый, помолодевший, с округлыми плавными жестами, он — говорил, говорил, говорил: без конца — так мудрено, так долго, так многосторонне, так добропорядочно!

Только — весьма отвлеченно, весьма отвлеченно!

Обратно совсем: Александр Николаевич Бенуа — в кратких, памятных встречах в Париже провеял мне легким, весенним теплом; от ученого, с виду холодного, вы-

лощенного историка живописи я не ждал ничего; получил — очень много; сперва я художника в нем не почувствовал,— а дипломата ответственной партии «Мира искусства», ведущей большое культурное дело и жертвующей ради целого — многим; А. Н. Бенуа был в ней главным политиком; Дягилев был импресарио, антрепренер, режиссер; Бенуа ж давал, так сказать, постановочный текст; от его элегантных статей таки прямо зависел стиль выставок Дягилева, стиль декораций балетов, стиль хореографии; в целом держась нужной линии, часто был вынужден переоценивать, недооценивать: тактики ради; я помню, что в «Мире искусства» хвалили труд Мутера:[126] после — ругали, Греффе* выдвигая[127], но знали, что Мутер — алфавит; а Мейер-Греффе — лишь склады; чтоб прочесть живописную грамоту, надо обоих знать; и их отвергнуть; хвала, как и ругань, здесь — тактика лишь.

Александр Бенуа незаслуженно некогда снизил значение Врубеля; после же — каялся[128].

Вылощенный, как натертый паркет, элегантно скользящий, немного сутулый, в пенсне, в сюртуке,— Александр Николаевич черной опрятно остриженною бородою и лысиной блещущей несся, глядя исподлобья глазами лучистыми, производя впечатленье красивого и темпераментного человека; не знал: мозг иль сердце диктуют ему плодотворную деятельность.

— «Субъективный капризник,— ворчали маститые.— Вся эрудиция — бьющий крылами в пыли воробей! «Пррх-пррх — Врубель»; «пррх-пррх — Луи-Каторз»;[129] «пррх — ампир».

— «Головной резонер, проповедующий мертвечину,— ворчали непризнанные,— его сдать бы в никчемные «Старые годы»:** старик молодящийся!»

Выглядел он моложаво, изящно мелькая своим силуэтом, похожим на черную сепию,— всюду: на выставках, лекциях и на премьерах балета; мелькнет и зацепится: мягко сутулясь широкой спиной; с кем-нибудь разговаривает с близоруким, чуть-чуть церемонным расклоном на вытянутой перед собою ноге; и естественным, легким движеньем скругленной руки, давши острую характеристику виденного, проскользнувши, исчезнет; с французским изяществом сжато бросал он итоги раздумий своих — парадоксами.

---

* Мутер и Мейер-Греффе — историки и теоретики живописи.

** Специальный журнал, посвященный истории культуры, искусств и коллекций[130].

— «Это гурманство»,— ворчали одни.

— «Мозгология»,— негодовали другие.

И он не казался способным к сердечности: вежливым, мягким, салонным, придворным.

— «Не сердце, а такт».

Встречи с ним — встречи замкнутых сфер в одной точке; моя сфера: литература, «Весы», но и Гегель, и Кант, и методика естествознанья, и гнозис религий; а сфера его — становленье новейших течений искусства в конце позапрошлого века; глядел от «сегодня» — в «назад». Точка пересечения нашего — точка культуры; но в этой единственной точке ценил Бенуа я единственно; это — не Грабарь, чиновник культуры, в себе разложивший полет: ироническим скепсисом.

От Бенуа всегда веяло сочностью; даже его субъективность казалась мне легкой разведкой: пред выводом; он был со мною внимателен, мягок, даря свою ласковость легким броском из богатства — в редакциях или в передних, где с ним мы встречались не раз; я, бывало,— вхожу; он — навстречу сутуло выносится чисто промытою лысиной, ленту пенсне развивая; и плещутся кончики фалд длиннополого, скроенного хорошо сюртука; руку — под руку: снимет пенсне и его на шнурочек наматывает, ко мне вытянув сочные губы; прищуро рисует любезную фразу; и, руку пожавши, с расклоном скругленным, широкой спиной умелькнет.

Наши встречи — прохожие; только у Щукина, кажется, носом под нос мне подъехав и пуговицу сюртука ущипнув двумя пальцами, тихо повел он от общей беседы меня в уголок теневой, где, меня усадивши на мягкое кресло, сел, сгорбясь, на маленьком пуфике; щурясь и мягко касаясь рукою коленей моих, выговаривать стал неожиданно очень интимные вещи о том, как он видит предметы; и, снявши пенсне, протирал его; веяло теплым уютом от этого боевого, салонного, чернобородого мужа; исчез «дипломат»: никаких «мирискусничеств»! В милой улыбке — доверчивость; в ясных глазах, устремленных в пространство,— мечтательность нежная: он говорил — как с собой; может быть, он мне верил, любя мою первую книгу; он мне приоткрылся в тот вечер; он точно повел меня под абажурик пунцовенький, свет свой бросающий в темно-лиловые тени; с тех пор силуэт Бенуа неизменно мне виделся с примесью темно-лиловых и темно-малиновых колеров; эти цвета представлялись мне в виде малюсеньких куколок, спрятанных под сюртуком дипломата; я по-

нял: любезная мягкость — от сердца; а вылощенные парадоксы — броня.

Бенуа-публицист осветился впервые.

С ним вместе бродили по улицам в день карнавала,— в толпе котелков, дымовеющих перьев и в лёте бумажек — лиловых, зеленых, малиновых зернышек; их продавали повсюду; прохожие, их накупив, осыпали горстями нас; сели за столик открытой веранды кафе: на одном из бульваров, и пиво спросили себе; но дождями бумажек запырскали нас; Бенуа отряхал с котелочка малиновые и лиловые пятнышки; он с озорством совал руку в мешочки свои; как мальчишка, вскочив, высыпал на прохожих веселые пестри; рукой опираясь в перила, сутулой спиною повесился; прыгали отблеском стекла пенсне, и мотался шнурок; расплатясь, мы слились с карнавальной толпой; в нас метали дождем перекрестным мушинок; он, взяв меня под руку, локтем толкая, широкой спиной навалясь,— вел к себе; и скругленной рукой разрисовывал в воздухе мненье; позвал отобедать; привел в небольшую квартирку, представил жене, еще маленькой дочке;[131] и после обеда уютно сидел со стаканом бордо; говорил об игрушках и книжках с картинками.

Я погашаю экран, потому что нерв жизни моей в это время — не встреча с людьми, а анализ себя и стремление высвободить свое «я» из-под штампа, наложенного на меня обстоянием; жалоба «Бореньки»: деятель «Белый» есть шут обстоятельств; я знал: покажи себя «Боренька» подлинным,— Минские,— даже друзья, даже — Метнер и Эллис,— отвергнут его; круговая порука обстанья, вработав в себя, точно замуровала.

Такое сознание — тоже болезнь, как и жизнь в кривых жестах; одною болезнью я силился уравновесить другую; а третья — подкрадывалась.

Я мог бы рассказать, как читал свою лекцию* в русской колонии, как разнесли социал-демократы, как критиковал Мережковский; Жорес был единственный просвет; все прочее — сумрак.

— «Ну там — завели б отношенья с французами...— Гиппиус мне.— Есть же здесь ряд поэтов».

Однажды в кафе пригласила она, где сидел символист

* «Социал-демократия и религия»; лекция была повторена в Москве и раскритикована Булгаковым, Бердяевым; напечатана в журнале «Перевал» за 1907 год; писалась для сборника Мережковского «Le tzar et la révolution»[132].

Папандопуло, иль «Мореас»* (псевдоним);[133] отказался; она же ходила; рассказывала: Папандопуло в плясы пустился; с Рашильд, утонченнейшим критиком «Меркюр де Франс»**, познакомилась Гиппиус;[134] а Мережковский был принят в салоне у Франса; я раз пошел слушать Буайе:*** лет семнадцать назад Поль Буайе жил два года в Москве, изучая язык и бывая — у нас, Стороженок, у многих ученых; я знал его очень любезным, поджарым, веселым брюнетом; увидел седым, но таким же, как был, легкомысленным; он произнес удивительно общую, нехарактерную речь, наделив Мережковского роем эпитетов от «гениальный» до «всем нам известный»; пятнадцать студентов записывало; Мережковский для них минут двадцать читал, демонстрируя русское литературное слово; и мы окружили профессора; чуть не сказал ему: «Месье Буайе, вы, конечно, не помните мальчика Борю, к которому вашего Жоржа водили играть». И, одернув себя, ускользнул, убоясь, что представят и в качестве «Белого» продемонстрируют, даже заставят стихи прочитать.

Раз пришло приглашение мне от писателей группы «Фалянж»**** на обед, ежемесячный; был; никого из знакомых! Никто не представился мне; в свою очередь: я никому не представился; кто-то, сев рядом, показывал:

— «Вот — Шарль Морис».

И я видел: брюнет с мефистофельским профилем крутит бородку, докладывая о судьбе неизвестного мне альманаха:

— «Поэт де Суза,— гениальный!»

Я видел шатена курносого: ел, как и я.

— «Зулоага — знаменитый испанский художник».

И видел: кофейного цвета кусок пиджака, загорелую шею; и — черное что-то: наверное,— волосы.

Были Поль Фор (поэт, брат Себастьяна), и, кажется, был сам Танкред де Визан, обещающий мастером сделаться; густо висела зеленая скука; и то, о чем спорили, мне, москвичу, показалось азами «Весов»; Жан Гурмон, Рене Гиль обо всем написали: реторика бледная! Избранные в «Симплициссимусе»,— те хотя бы резвились; а здесь — неестественно пыжились; Брюсов, конечно же, преувеличил: мы расходились в оценке французов-модерн;[136] символизм невозможен, как узкая школочка.

---

* Мореас — французский поэт, родом грек.

** Журнал.

*** Профессор русского языка.

**** Орган неосимволистов[135].

Это я стал проповедовать скоро*.

Опять улизнул; и, случайно попавши в «кино», слушал вальсы плаксивые; видел с экрана, как пес человека спасал.

Человека, пожалуй, спасут на экране и люди:

— «Меня бы спасли?»

Но для этого надо попасть на экран? Точно смертные когти вонзились: ущипом; весьма неприятные боли!

БОЛЕЗНЬ

До болезни своей я работал над «Кубком метелей»; без пыла доламывал фабулу парадоксальною формою; Блок мне предстал; я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая: он сердцем на сердце — откликнется[137].

Он же — молчал.

Уже с Мюнхена я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию; огненное «домино», потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня; ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма; однажды, проснувшись, я понял, что болен: едва сошел к завтраку[138].

Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус: ехать с ней вместе в театр «Антуа́н»; но, не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фьякр, потому что сидеть было больно мне; утром же стало значительно хуже; но доктор сказал, что пустяк, что придется дней пять пострадать: до прокола; он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился; решил быть стоическим, перемогая страданья, которые пухли от пухнущей опухоли: ни сидеть, ни лежать; и,— пополза́в, повис между кресел, ногой опираясь на ногу; я спал на карачках, в подушку вонзаясь зубами. Как бред: Мережковские, два анархиста, Д. В. Философов ввалились ко мне; дебатировать вместе: Христос или... бомба? Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных; а ночью подушкой душил вырывавшийся крик.

В канун нового года висел между кресел, вперясь в синий сумерок; черный вошел силуэт.

— «Смерть!»

Он сунул тетрадку: из синего сумрака:

---

* См. ряд моих заметок в отделе «На перевале» («Весы», 1907—1909 гг.).

— «Это — стихи мои».

Я же, не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движеньем руки.

Не везло с Гумилевым!

Но, перемогая себя, я стащился и полз два часа к Мережковским: в бреду и в жару; оказалось: нарыв мог прорваться — внутри; и тогда — заражение крови; ввалясь, пал в диван; меня пледом накрыли, поили шампанским; нахмурился доктор, явившийся утром: флегмона — глубоко сидела; вчера еще надо бы вспарывать:

— «Дома держать невозможно: в больницу!»

Сквозь жар слышал — дорого: пища, уход, операция; ряд перевязок, сиделка; трещал телефон; выяснялось: больница при монастырьке — принимает; ухаживать будут монашенки, а оперировать — очень известный хирург; перекутанного — потащили в каретку: Д. В. Философов и доктор; не помню, как перевезли; лебединые, белые крылья чепца; и меж ними лицо итальянки склонилось; и кто-то мне впрыскивал морфий.

Ночь — кубари бреда: в трубу вылетал с Николаем Коперником, чтобы винтить в мировой пустоте; ясно: грифоголовый мужчина с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, который водил коридорами,— смерть; потушив электричество, снова вперялся в каминные пасти; оттуда — встал красный: я сам.

Будят:

— «Ах!»

Два служителя — тащат в носилках по лестнице вниз; я слетаю на саночках с радостным чувством — к веселому ножику.

В эти же дни Петербург пировал; жезлоносец Иванов, Чулков, Городецкий, артистки, пианистки, эстеты, поэты, попойки и тройки из «Балаганчика», музыка — бум-бум-бум-бум — Кузмина:[139] все неслося галопами — издали; Блок воспевал в «Снежной маске» свое увлечение Волоховой;[140] а у Щ. был роман[141].

«Люблю вас, а — не Блока! Его,— а не вас»,— оказалось: «Ни Блока, ни вас!»

Роман — с У***, потом — с Ф***, потом — с Ш***!

Очень просто и весело.

Я-то!

Блок оповестил мир стихом: умирает-де он на костре своем... снежном[142], несяся к Елагину острову — в трой-

ке;[143] смерть эта — виньеточка Сомова; что же еще? Говорят в просторечии: «Смерть как приятно!»

Наверное, умер бы я,— запоздай операция: на одни сутки.

Вот, голый, лежу на столе жестяном; он как льдом обжигает мне кожу; я искоса вижу: на рядом поставленном столике — пилочки, вилочки, цапкие лапки, пинцеты, ланцеты серебряным смехом пищат: «Я кусаюсь»,— хихикают щипчики: «Цапаюсь»,— йскрится злой металлический коготь.

Дверь — настежь: обстанный халатами белыми, вышел тот самый, к которому рвался давно,—

— с бородой ассирийца, весь в белом, напрягший свои волосатые голые руки —...

Накрыл бородой:

— «Повр месье!»*

Потрепал по плечу; обдал жаром:

— «Вы — много страдали: сейчас мы поможем!»

От этого доброго слова — из глаз — слезы брызнули; он — к колпачку с хлороформом; его на лицо опрокинул; и я от себя самого, как свободно скользящая гайка с винта́, отвинтился; летал, бестелесно твердя:

— «Сознаю»: —

— ознаю —

— знаю

— аю

— ю —

Точно: в ворота железные кто-то железными молотами —«бум-бум-бум» — заломился: то — сердце, с которым мы связаны,—

— бухало!

Я возвращался откуда-то, как из гостей, где случилось прекрасное что-то; с блаженством глаза разожмурил: наткнулся на белые крылья чепца:

— «Тише!»

— «Как?» — прикоснулась ладонь: Мережковский.

Ни боли, ни тяжести!

Д. Мережковский с утра дожидался конца операции; видел: меня принесли на носилках — с глазами открытыми; я на вопрос его: «Как?» — отвечал:

— «Ничего».

---

* Бедный господин.

Он был ласков, уютен и добр; я за это прощал ему многое; а Философов, как нянька, возился; он в нижний этаж перенес мои вещи, расставил внимательно; Гиппиус матери письма писала[144].

— «Здоровый у вас организм»,— говорил мне молоденький врач; но разрез был ужасный: как красная яма; явился хирург: бинтовать.

Зубы стиснул:

Трах!

— «И терпеливый же вы!»

Мощь огромной руки, рвавшей к ране прилипшие и пересохшие марли,— прекрасна!

Лежал, забинтованный; веяли белые крылья широкого чепчика; нравилось нежиться перед букетом цветов; пища — легкая, вкусная; в окна весна уже грела лучом легкоперстным; в открытые двери вещал мне орган: коридор был подобие хоров капеллы; в час службы стояли монашенки; чепчики их — точно плеск лебединых, слетающих стай; оказался я в мире, который воспел Роденбах;* монастырь, превращенный в больницу, ютился вблизи Люксембургского парка; с него начинался Латинский квартал.

Мережковские, Минский, супруга Бальмонта, Е. А., и Бальмонт — посещали меня;[145] а соседка по столику передавала приветы Жореса; ходила и русская дама, писавшая книгу,— ученая: доктор Сорбонны; я ей диктовал текст главы: «Символизм»[146].

Хорошо очень думалось в звуках органа; стихи, как ручьи, истекли из меня, когда мать, тишина, обнимала рукой теневой изголовье:

Извечная, она, как мать,
В темнотах бархатных восстанет;
Слезами звездными рыдать
Над бедным сыном не устанет.

Мне бездна явлена тоской;
И в изначальном мир раздвинут;
Над этой бездной я рукой
Нечеловеческой закинут.

(«Урна»)[147]

Порой было грустно:

Непоправимое мое
Припоминается былое;
Припоминается ее
Лицо, холодное и злое...

* Писатель, описывающий капеллы, монашек, старинные католические города Бельгии.

Покоя не найдут они;
Пред ними протекут отныне
Мои засыпанные дни
В холодной, нежилой пустыне.

(«Урна»)[148]

В Париж доносившийся гам Петербурга звучал как насмешка: над болью; возврат был отрезан; враги и друзья — за порогом болезни увиделись; был им — мертвец, не умерший, но и... не живой; им мой выход в иное сознанье — казался могилой; а мне агонией казались их песни и пляски.

«Могила» написана тотчас же:

Вышел из бедной могилы.
Никто меня не встречал.
Никто: только кустик хилый
Облетевшей веткой кивал.

Я сел на могильный камень...
Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень нести?..

Нет,— спрячусь под душные плиты.
Могила, родная мать,
Ты одна венком разбитым
Не устанешь над сыном вздыхать[149].

В приведенных строках, сочиненных в больнице,— рубеж, отделяющий «Пепел» от «Урны»;* недаром вперялся я в жар, истлевающий в серые пеплы; недаром мне комнатка виделась гробом с дырой (дымовою трубой), открывающей небо Коперника; в нем я очистился: под колпаком хлороформа; так «Урна» возникла в больнице; так опепелевшая страсть года два собиралась мной в урну: над гробом истлевшей души —

— не моей.

ПРЕДОТЪЕЗДНЫЕ ДНИ

Наконец я вернулся в отельчик[150], но в нижний этаж; перевязка мешала осиливать лестницу; доктор еще перевязывал рану; она заживала; так длилось до марта; поездка в Италию рухнула: деньги — пролечены; а в перспек-

* Названия сборников стихов.

тиве — расплата долгов; даже к Метнеру в Мюнхен заехать не мог уже.

Доктор грозил:

— «Операция вас наградила на год или два малокровием: воздух, питанье, природа, покой! Организм ваш — подорван».

Стояла весна; небо — синее; мило Париж улыбался протертым стеклом; среди веющих веток и птичьего щебета ветер развеивал складки плаща моего; как глазочки, открылись цветочки — в Булонском лесу; я бежал из заросших дорожек к центральным аллеям, куда с «авеню» перехлестывал ток элегантных ландо; и светлели приветливей дамские платья: вуалетками синими и голубыми букетцами; всюду — светлейшие серые платья; я гнался блаженными толпами по Елисейским полям, проходя к Тюильери; я склонялся к перилам задумчивой Сены: рассматривать башни Нотр-Дам; иль, закинувши голову перед чудовищем Эйфеля, скроенным из переплетов сквозных, удивлялся: качается в воздухе; став под ребром распростертой ноги,— видел: падает — на́ голову!

Черт возьми!

В месте скрепа коротеньких лапочек с телом — четыре кафе; к ним бросают по лапкам четыре подъемника; к высшим площадкам — ведет пеший ход; и туда же летает подъемник; однажды осилил пространство от первой площадки к второй (выше двигаться сил не хватило); Париж уходил под пяты, умаляясь; над воздухом — в воздухе шел; небеса, опускаясь,— смыкали объятья.

Весною Париж — бледно-серый; щебечущим розовым отблеском, купами зелени, контурами колоннад он нежнел; упоительны: светопись отблесков и колорит отработанных временем (копотью, пылью, дождями) орнаментов; в мреющем воздухе синие вырезы зелени; бабочка порхами вспыхнет и снова погаснет.

Я понял — *плэн-эр!** И я думаю: пуэнтелизм есть усилие глаза отметить смешение дыма и пыли со влагой туманистой; свет разлагается в два дополнительных; из пестри точек глаз ищет не данной ему колоритной реальности; коли Париж в декабре меня встретил Мане, то меня проводил он веселеньким, мартовским щебетом искорок — пуэнтелизмом[151].

Бывало: спешу пробежаться по гладким аллеям Версаля (туда и назад — поезда); здесь ты, где ни окажешь-

* Плэнеризм — ответвление импрессионизма.

ся,— издали, из-за пропученных куп — видишь абрис дворца.

Я влюбился в весенний Париж: было жалко расстаться с ним.

Раз слушал лекцию я Мережковского в русской колонии;[152] твердого вида мужчина, сложив свои руки крестом на груди, прислоняясь плечами к стене, вздернув профиль, замраморел, стоя как статуя древняя:

— «Кто это?» — Гиппиус.

Он не пошел возражать, грянув с места отчетливым голосом, тщательнейше вылепляя, как профиль, слова; и, умолкнув, сложил свои руки крестом, прислоняясь к стене и не двигаясь с места.

— «Грузин, Робакидзе,— философ»[153],— сказала позднее мне Гиппиус.

С этим, виднейшим, писателем, классиком от символизма и руководителем группы грузинских поэтов, которого книга поздней прогремела в Германии, встретился я — через двадцать три года: в Тифлисе[154].

Прощаясь за день до отъезда с Д. С. Мережковским, Д. В. Философовым, Гиппиус, благодарил их за братскую помощь больному;[155] три месяца, прожитых здесь, как три года; Париж — перевал, разделяющий четырехлетье; двухлетье, к нему подводившее,— бури: страстей, рост отчаянья; взмахом ножа, отворяющим кровь, это все пролилось из меня; обескровленный, серым, как пепел, лицом, я два года вперялся в себя и в обстанье, которое виделось мне балаганом; союз, заключенный с Валерием Брюсовым против Иванова, Блока, Чулкова и прочих недавних друзей,— вот что вез из Парижа в Москву; и последний, кто мне пожелал «бон-вуаяж»*, был Жорес; с ним позавтракав, вещи забрав, я уехал, чтоб видеть в обратном порядке течение времени; выехал яркой весною, а въехал в Россию глухою зимою[156].

Вороны с заборов московских, встречая, закаркали из сине-серого мрачно-клокастого неба.

Арбат: колоколенка розовая:

— «Боря, сын мой»,— объятия матери.

Извечная, она, как мать,
В темнотах бархатных восстанет;
Слезами звездными рыдать
Над бедным сыном не устанет[157].

---

* Доброго пути.

Глава четвертая

ГОДЫ ПОЛЕМИКИ

НОВОЕ ВЕЯНЬЕ

В этой главе почти нет биографии; она — внутренняя; события жизни — литературная летопись.

1907 год — ознаменован победою модернизма в мелкобуржуазных кругах; до 1907 года мы — отщепенцы; читатели наши — оторванцы разных классов, несколько десятков эстетов, да несколько меценатов типа Мамонтова, ранее сплотившего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина; с начала века читатели наши сплотились в группу, предъявившую новый спрос; провинция мало интересовалась нами; столичный же мещанин знал нас по боям в «Кружке», куда он ходил надрывать свой животик или в позе трибуна требовать казни нам.

Вернувшись в Москву, я впервые столкнулся с новым читателем; не снобы, не одиночки, не дамы из буржуазии, валившие в Общество свободной эстетики, интересовали меня, а — учащаяся молодежь из провинции, съехавшаяся в Москву: студенты, курсистки; юная провинция впервые выступила в поле моего зрения.

Это весьма взволновало меня,— не «Кружок», где вчера нас ругали, сегодня ж встречали с сочувствием; линия фронта — менялась; газетчики, критики, исчезая из стана врагов, появились с невинными лицами в лагере «символистов», заводили знакомства и жали нам руки; иные сочли модным теперь гарцевать статьями в защиту Брюсова и Бальмонта; я не заискивал среди московской прессы и не искал в ней друзей; и даже не заметил, как видные деятели тогдашней прессы оказались знакомыми: Н. Е. Эфрос*, Дживилегов, М. Духовской, Сергей Мамонтов, Сергей Яблоновский, Любошиц, Ашешев, Виленский, Ар-

* Дядя А. М. Эфроса.

дов, Белорусов, Чуковский, Сергей Глаголь; и — сколькие прочие; царство врагов было явно расколото; борьба с нами, ставши борьбой из-за нас, скоро превратилась в борьбу одних из нас с другими из нас: орудием прессы; в одних органах чтили «мистических анархистов» и боролись с «весовцами»; «бюро прессы», возглавляемое Глаголем, размножало фельетон поэтиков «Грифа» в массе провинциальных газет[1], объявляя провинции тех, кого «Весы» отвергали; сотрудники «Весов» одно время стали поставщиками литературного фельетона для марксистской газеты, скоро прихлопнутой генерал-губернатором Гершельманом[2].

Руководители верхов либеральной интеллигенции сперва отставали от моды; старцы из «Русских ведомостей» редко снисходили даже до ругани; но и этот лед — таял; популярнейший публицист и профессор философии Евгений Трубецкой, заняв кафедру брата, открыто признал, что проблема непонимания нас — серьезна; он добился сносного отношения к нам от своих коллег; с той поры группа профессоров (В. М. Хвостов, Л. М. Лопатин, С. А. Котляревский, Б. А. Кистяковский и т. д.) стали вступать в серьезные споры с нами, держась достойного тона; и московский университет тронулся вслед за «Кружком», в нашу сторону; мы являемся в университетской аудитории (в студенческом Обществе деятелей литературы, руководимом Н. Н. Русовым).

Поворот мнений дошел до того, что в «Кружок» явился маститый Семен Афанасьевич Венгеров;* и объяснил присяжным поверенным Москвы и их женам: декаденты суть гуманисты; они, как Некрасов, Никитин, засеяли «доброе, вечное»;[4] правда,— недавно писали они про «козлов»; но теперь они от этого отказались; в сущности, они — добрые люди, как и прочие либеральные граждане: сальных свечей не едят; это мнение стали подхватывать; Головин, председатель Второй Государственной думы, появился в кругу Соколова-«Грифа».

Создалась и формула перехода для тех, кто вчера изживал себя в неприличной травле: «Они — раскаялись!»

Фальшивка действовала; и декаденты оказались в позе раскаянья пред избирательной урной, голосуя за Милюкова (?!). Передавали: Андреев — друг Зайцева; Зайцев же признает Белого; но дружит с тем, кто всех обскакал:

---

* Скоро академик[3].

с Виктором Стражевым; фрак весьма «радикального» Стражева, символиста «третьей волны», начинает эру побед... в «Кружке».

То же в Петербурге: Чулков, политкаторжанин[5], друг Блока, Иванова, Городецкого, преодолевший старую красоту в символизм, а символизм в новую мистическую и анархическую общественность, втянул в нее Блока и завязал связи с газетами; и там, как в Москве, недавние вагоны декадентского экспресса перецепили к товарному поезду «Шиповника»*, оповестившего: «Писатели всех партий, объединяйтесь вокруг Андреева!»[6]

В итоге фальшивки началось якобы «возрождение», мной увиденное как опухоль на символизме; перебегающие в лагерь «врагов» оповестили о побеге этих «врагов» в их стан; был создан плакат, изображавший раскаявшегося символиста в венке, ему поднесенном «русской общественной мыслью». Вчерашний символист и вчерашний общественник вдруг засели в ресторане «Вена», рождая таланты; второго вели «козлить» к Вячеславу Иванову, внушая ему, что у Иванова совершается «обобществление» жен и снятие фиговых листиков; первого вели в редакцию еженедельной газетки: делиться сведениями о событиях жизни квартир В. Иванова и А. Блока; вдруг газеты облетело печатное сведение: «Г. И. Чулков — обрился»;** стали цитировать и мудрое изречение Кузмина:

Ах, зачем же нам даны —
Лицемерные штаны.

Вернувшись из Парижа, после раздумий над чепухой, едва не стоившей жизни мне,— все это: в лоб!

Недавние перебежчики в лагерь символистов, распинавшиеся за Блока, Иванова и Чулкова, не распинались за меня, а уверяли, что я — пережил себя и не могу числиться в среде живых символистов.

Расцвет модернизма в российском мещанстве собирал новые уголья на мою разгромленную голову; последующее четырехлетье есть рост славы — Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Блока, Ауслендера, Кузмина, Иванова; Андрей же Белый к концу 1909 года стоял едва ли не за порогом литературы.

Понятен мне такой сговор мнений: я сам его вызвал.

---

* Издательство.

** Такая заметка имела место.

Травле меня как «Белого», а не как символиста я был обязан «друзьям» — символистам; ее истоки — редакция «Ор» (издательство В. Иванова)[7], группировавшая вокруг «мэтра» С. Городецкого, Блока, Чулкова, Ауслендера, Кузмина, М. Сабашникову, Потемкина и т. д.; иные «матерые» символисты на нас натравливали молодежь, репортериков и модных фельетонистов ресторана «Вена», как Пильского; стоило последнему что-нибудь на уши нахихикать о Белом, как перо опытного инсинуатора начинало работать, давая тон шавкам; инициаторы травли при личных свиданиях сердобольно вздыхали:

— «Ты — сам виноват; не надо было того-то писать».

Не любил я привздохов таких, после них пуще прежнего изобличая политику группочки; гневы мои заострились напрасно на Г. И. Чулкове; в прямоте последнего не сомневался; кричал благим матом он; очень бесили «молчальники», тайно мечтавшие на чулковских плечах выплыть к славе, хотя бы под флагом мистического анархизма; открыто признать себя «мистико-анархистами» они не решались; по ним я и бил, обрушиваясь на Чулкова, дававшего повод к насмешкам по поводу лозунгов, которые компрометировали для меня символизм; примазь уличной мистики и дешевого келейного анархизма казались мне профанацией;[8] каждый кадетский присяжный поверенный в эти месяцы, руки засунув в штаны, утверждал: «Я ведь, собственно... гм... анархист!» Я писал: Чехов более для меня символист, чем Морис Метерлинк;[9] а тут — нате: «неизреченность» вводилась в салон; а анархия становилась свержением штанов под девизами «нового» культа; этого Чулков не желал; но писал неумно; вот «плоды» — лесбианская повесть Зиновьевой-Аннибал[10] и педерастические стихи Кузмина; они вместе с программной лирикой Вячеслава Иванова о «333» объятиях[11] брались слишком просто в эротическом, плясовом, огарочном* бреде; «оргиазм» В. Иванова на языке желтой прессы понимался упрощенно: «свальным грехом»; почтенный же оргиаст лишь хитренько помалкивал: «Понимайте как знаете!»

Я ставил точку над «и»:

---

* «Огарочной психологией» в то время называли проповедь «трынтравизма», подхватываемую послереволюционным надрывом; «огарочное» настроение захватывало и молодежь.

— «Отмежуйтесь: раскройте «объятия», чтобы стало ясно, во что жаждете преодолеть символизм: в народ или — в хлыстовскую баню?»

Не раз я получал ответ,— шепотком, на ушко:

— «Как можешь ты думать так?»

После чего писалось стихотворение, смысл которого вызывал во мне вскрик: изнасилование девушки называлось громко «причастием»;[12] не нравились и филологические комментарии на смысл евангельской любви с неизменным припевом: любовь — дерзновенна; хотелось воскликнуть: в каком же смысле? Розанов хрюкал весьма недвусмысленно: эта любовь — платоническая; а Платон любил юношей.

Зная факты вредительства психик и помня предостережение Гете, что от бескрайной романтики до публичного дома один только шаг,— я писал: «Лицевая сторона Фальков — эклектизм... в котором видел смерть Ницше... Песком софизмов бросают они в доверчиво раскрытые глаза женщины, чтобы она, потеряв зрение, не отбивалась от их объятий...» («Арабески», стр. 10)[13].

В петербургских газетах разоблачали писателей-хулиганов: где-то стали пропадать кошки; что же оказалось? Компания литераторов (назывались небезызвестные имена модернистов, как-то Потемкина), собираясь пьянствовать у какого-то фрукта, истязала-де кошек, которых для этого раздобывал фрукт; в каком-то салоне кололи булавкой кого-то и кровь выжимали в вино, называя идиотизм «сопричастием» (слово Иванова);[14] публика называла имена писателей-кошкодавов; говорили потом: инцидент — газетная утка; но повод к «уткам» подавала вся атмосфера: между огарочничеством Потемкина и проповедью «любовных мистерий», которою занялся вдруг Иванов, не было вовсе четких границ; и «башня» Иванова, в передаче сплетников, сходила в уличное хулиганство.

Я требовал, чтобы границы эти поставили новоявленные «дерзатели»; они — молчали. И я писал: «Мы должны... струны лиры натянуть на лук тетивой, чтобы... разить саранчиную стаю, издевающуюся над жизнью» («Арабески», стр. 16)[15]. Безответственность ведь только что искалечила мою жизнь.

Я — требовал внятности.

Нельзя было писать о фактах и слухах, сопровождавших двусмыслицы преодолевателей символизма; я знал: нескольким юным девушкам лозунги В. Иванова отлились; я знал: в «модном» публичном доме выставлен порт-

рет его почетного посетителя, известного всем писателя (для заманки «гостей»); я знал: в одном доме супруг и супруга преследовали барышню: супруга — лесбийской любовью, супруг — ...?[16] Но он был не прочь поухаживать и за юношами; скажут: личная жизнь; нет: в данном случае практика стихов об «объятиях»; несколько шалых дамочек, взяв клятву молчанья с понравившегося им мужчины, появляясь пред ним голыми, на него нападали.

Таков был грубый, огарочный вывод из утонченных двусмыслиц.

Ставка моего выздоравливающего сознания была на четкость: в искусстве, в политике, в философии, в этике; если преодолеваешь искусство, говори — куда. В политику? В какую? В религию? В какую? Наивную путаницу щедро сеял Чулков в газетах и альманахах, давая повод крыть себя за чужие грехи; я — его крыл; я делал ошибку; я овиноватил себя тем, что Чулкова превратил в символ; «друзья» отдавали его на съеденье «Весам»; когда они испугались «Весов», то они его бросили; никто никогда-де ему не сочувствовал; первый отрекся печатно от мистического анархизма под моим давлением — Блок;[17] Чулков ушел работать в иные сферы, символизму далекие; он оказался хорошим литературоведом[18].

Но мистический анархизм на символизме таки оставил не стертые моими статьями следы; «Весы» не читались; газетки, где дребеденили «анархисты», и альманашки, где испражнялись писатели-кошкодавы,— читались; случилось то, чего я боялся в 1907 году: символизм восприняли под флагом «мистического анархизма».

«Маститые» исказители редко полемизировали со мною; они действовали обходным путем: через критиков, подобных Ляцким и Абрамовичам; первый, говорят, мне приписал какие-то стихи о козе; что-то вроде:

Чтобы в листьях туберозы
Лишь меня лобзали козы...

Второй систематически твердил про меня: «Труп, труп, труп». От той поры Корней Чуковский почтенно пронес на протяжении двадцати пяти лет умело таимую ко мне неприязнь.

Горжусь не ошибкой полемики*, а тем, что травля меня шла из кругов, не свободных от «огарочничества» в мрачнейшие годы реакции, раскрывшей мне всю гниль

* Перед Чулковым особенно я виноват.

буржуазной прессы; многие тогда взяли курс на «козла»; я взял курс на... Некрасова:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя![19]

Я горжусь: Тэффи так не понравились эти строки, что она высказалась печатно: «Не люблю этого старого слюнтяя»*.

Опасным симптомом предстала молодая группа московских литераторов, объявивших себя символистами третьей волны: первая — «Весы»; вторая — «Оры» («мистический анархизм»); третья волна посягала на журнал «Перевал», лидером группы был Виктор Стражев. Входивший в маститость уже Борис Константинович Зайцев отечески опекал эту группу; он был объявлен... неореалистом; неореализм и проповедовали символисты этой волны; суть течения: спекулятивная политика глубоко «старых» поэтиков, готовых пройти под каким угодно соусом в свет; группочка потрафила кружковским присяжным поверенным, жаждавшим присуседиться к моде; неореалисты сочетали отбросы либерализма с отбросами символизма — и получили опору в гучковской газете «Голос Москвы»; Зайцев стал классиком их; Ницше мог назвать зарю «матово-бирюзовой»; но он не писал приемами Писемского; Борис Зайцев писал; но называл поручика — «матово-бирюзовым», а нос полковника Розова[20] называл «рубиновым» носом.

«Реализм... переходит в символизм» («Весы», 1904 г.)[21],— писал я до «неореалистов»; и — писал после них: «Момент реализма всегда присутствует в символизме» («Арабески», стр. 244);[22] «Истинный символизм совпадает с истинным реализмом» («Весы», 1908 г.)[23]. По адресу ж представителей «ползучего натурализма», прирумяненного отбросами символизма,— писал я иначе: «Новейшие полудекаденты («реальные символисты») — эти эпигоны символизма и реализма — как бы нам говорят: «Окно не окно, но и не не-окно». «И творчество Чехова беспощадно уличает их... лживость» (1907 г.)[24].

Мог ли мне это простить Виктор Стражев, обстанный присяжными поверенными «Кружка». Зайцев тащил его в лагерь Андреева; Бунин Иван, ненавидевший Брюсова. аплодировал всем нашим подкалывателям; так: участь моя и в Москве была решена; ничего не стоило спровоци-

---

* См. ее фельетон в «Речи» (за 1908—1909 гг.).

ровать скандалом Белого, взлезавшего на все кафедры по мандату «Весов».

И — Тэффи, Ардовы, Абрамовичи, Ляцкие, Измайловы, Яблоновские, «нововременцы» (и Буренины, и Буренины), и октябристы «Голоса Москвы», и Бескин из «Раннего утра», к явному удовольствию тогдашних Иванова, Блока, Городецкого, Бунина, Стражева, Зайцева, Айхенвальда и прочих, превратив меня в скандалиста, убрали со сцены; пересмотрите журналы и альманахи 1908—1910 гг., и вы встретите все имена от Блока до... Андрусона и Рославлева: за исключением Белого.

Рощицами вырастали «калифы на час» (Анатолий Каменский, Потемкин, Арцыбашев, Юшкевич, Осип Дымов),— мечтавшие обскакать и Андреева; один из них, Дымов, которого объявили потом «лихачом» беллетристики, однажды меня трепанул по плечу за котлеткой из рябчика:

— «Бедные вы, символисты: старались, учились; читают-то — нас; мы,— лучезарные дети, вашими руками гребем себе жар».

Я ответил ему в статье характеристикой «лучезарных щенят».

Подчеркнутая нелюбовь к либералам, омоложаемым при помощи модернизма, усилила симпатии к лагерю марксистов, с которым я тоже полемизировал: «Следует отметить... похвальную сторону в «Литературном распаде». Авторы его... честно объявили себя нашими литературными врагами... Ни предателя, ни симулянта не встретишь в их рядах; а этого не скажешь про тот лагерь, который объединяют наши враги в понятии модернизма... Пусть... поборники пролетарского искусства... выбросят из своих рядов представителей лозунга «и вашим и нашим», как выбрасываем мы из наших рядов все серединное; тогда... дух рекламы и шарлатанства, одушевляющий «обозную сволочь», обозначившись ярко между эсдекским молотом и наковальней символизма, скомпрометирует любителей мутной воды»* (1908 г.)[25].

Мне казался нечетким и Леонид Андреев, занявший позицию между Горьким и Блоком — и этим «между» сгруппировавший вокруг себя четыре пятых литературы; с «Царя-Голода», с «Черных масок»[26] я понял: сдвиг его в сторону символизма от «Знания» — только мистико-

---

* «Литературный распад», книгоиздательство «Зерна», 1908. (Авторы: В. Базаров, Л. Войтоловский, М. Горький, Ст. Иванов, А. Луначарский, М. Морозов, Ю. Стеклов, П. Юшкевич.)

анархическая бурда, в которой он встретился с Блоком эпохи «Балаганчика».

Я ему прощал более, чем Блоку и Борису Зайцеву; он был — сама талантливая бескультурица; он выдвигался тогда левизной; левизна казалась декоративной; и мы не были равнодушны к политике; и Брюсов и Блок стихотворениями показывали, на чьей стороне их симпатии; их сочувствие революции через тринадцать лет стало неоспоримым: без громких фраз; Андреев же был сплошной громкой фразой; тогдашние его «левые» друзья,— Бунин, Чириков, Зайцев, Юшкевич,— где они оказались? Его политика выявилась во всей неприглядности к 1916 году: в позорной агитации за протопоповскую газету, во главе которой он не постыдился встать*, когда и Мережковские даже отказались от «почетного» сотрудничества, отвергнув крупные куши; отказались и мы с Блоком.

Политически Андреев был мне подозрителен с «Царя-Голода»; в те годы более волновала меня линия его литературной нечеткости; в 1907 году я пережил кратковременное увлечение писателем;[28] но, подойдя ближе, я разглядел нечто в нем, навсегда оттолкнувшее; его «Шиповник» стал резервуаром дешевого модернизма, с которым боролись «Весы»; все, что делало модными андреевцев, было ими украдено у символистов.

«Хаос всегда за спиной у героев... Л. Андреева»**,— писал я в 1904 году, приглядываясь к нему;[29] «мистический анархизм... как теория не выдерживает критики... Леонид Андреев, может быть, единственный мистический анархист»***,— пишу я в начале 1906 года;[30] в 1907 году по поводу «Жизни Человека»: «Читаешь — точно черновик»; Андреев «менее, чем кто-либо, установился». «Жизнь Человека» нельзя ни хвалить, ни порицать». «Ее можно отвергнуть или — принять»;**** в эти дни я клюнул и на Л. Андреева, и на драмочки Блока; уже в начале 1908 года о Блоке-драматурге пишу: «Искренностью провала, краха, банкротства покупается сила впечатления и смысл этой бессмысленности: но... какою ценою»;***** то же я думал в то время и о драмах Андреева; об «Анатэме» я писал: «Помилуй бог, как легко быть символистом: стоит поставить мировой разум на две ноги...»,

---

* Кажется, «Воля России»[27].

** «Арабески», стр. 486.

*** Там же, стр. 489.

**** Там же, стр. 497[31].

***** Там же, стр. 467[32].

«...ламентации черта... напоминают... захмелевшего приказчика, а поведение... поведение сыщика... бедный, бедный Леонид Андреев»*.

В противоположность Андрееву, Блоку и их критическим друзьям я стал подчеркивать Горького: «Общество... начинает забывать, что Горький — автор «Челкаша»... «Исповедь»... знаменательна... своей внутренней правдой»; слова Горького ближе принимаем мы к сердцу, чем квазинароднические выкрики... Серьезность звучит нам в «Исповеди»; а этой серьезности нет у самоновейших мистиков-модернистов»;** Горький был противопоставлен позиции «Весов» как зенит надиру; он нас бранил, смешивая с модернизмом в широком смысле; свою позицию «надира» не переменил я на «зенит», ибо я укрепился в «Весах» и резко критиковал стиль писателей «Знания», сборники которого редактировал Горький; я уважал писателей «Знания»; все ж меж «зенитом» и «надиром» считал я линией подозрительной: «модернизмом из моды».

В лозунге «бить по модернизму» с двух противоположных концов совпали: я, Брюсов — с Горьким; и это сходство из противоположности длилось до 1910 года.

Можно подумать, что «Весы» проповедовали доризм и боролись с аморальностью; увы,— не было так; в одном секторе их, в полемическом, водворилась моя обличительная тенденция, поддержанная Эллисом и Соловьевым, моими друзьями; Брюсов был с нами на три четверти; его склоняла к нам тактика, не этика; он направлял перо Садовского и некоторых других рецензентов «Весов»; громил мистический анархизм и Антон Крайний (псевдоним Гиппиус), в котором кипела злость ради злости; в эпоху нашей борьбы с модернизмом отношения мои с Мережковскими не были четки.

О Мережковских пишу: «Мережковский, поспешив с утверждением необходимости религии с точки зрения разума, объявляет... культуру... деревом с сухими корнями... апеллируя к разуму, он... обошел гносеологическую проблему... Мережковский заражает... но не убеждает»*** (1908); о Гиппиус: «Недостатки ее рассказов: сухость, тенденциозность и... безжизненность... Верим, что З. Н. Гиппиус наконец снизойдет до литературы, мимо которой она все проходит»**** (1908).

---

* «Арабески», стр. 498—501[33].

** Там же, стр. 298[34].

*** Там же, стр. 435—436[35].

**** Там же, стр. 447[36].

Мережковские — случайные попутчики в борьбе с модернизмом; Брюсов на три четверти — союзник; и в секторе «Весов», из которого мы обстреливали модернизм, не все обстояло гладко; печально было то, что эротизм, который преследовала наша тройка (я, Эллис и Соловьев), свил себе гнездо и в книгоиздательстве «Скорпион», печатавшем Кузмина;[37] в «Весах» появлялись эротические рисунки; то, что бичевалось в одной половине журнала, насаждалось в другой, обессиливая и без того ничтожную нашу кучку; я был порою в отчаяньи и от «Весов». Но: писать было негде.

ТАКТИКА

Моя жизнь два года исчерпывалась тактикой: все для «Весов»;[38] это значило: все — для Брюсова; тень тяжелых недоразумений, описанных в «Начале века», еще отделяла меня от него в 1906 году; мы редко виделись и избегали оставаться вдвоем, но я стал необходим «Весам» в условиях литературной полемики; Брюсов шел мне навстречу; ведь отдались я, он остался бы без Эллиса и Соловьева, ему нужных в то время; они с жаром мирили меня с Брюсовым; и доказывали последнему правильность моей тактики; так сложилась четверка, к которой примкнули: Ю. К. Балтрушайтис, Б. А. Садовской, М. Ф. Ликиардопуло.

Стабилизировалась семерка литературного сектора «Весов»; она и давала весь тон полемике.

Брюсов, прекрасный литературовед, образованнейший историк, тонкий критик и старший из нас, соединял в себе знания, талант и практичность; только его мы могли провозгласить вождем; он этого хотел, имея и честолюбивые замыслы; мы их видели; но время не допускало колебаний; он был всем нужен; кроме того: честолюбие в личных делах сочеталось с большой скромностью; он не вмешивался в детали мной наспех сформулированной платформы; без позиции нельзя было обстреливать фронт, занимавший огромное пространство: и Леонид Андреев (с группою), и Бунин (с группою), и Чулков (с группою), и Зайцев (с группою), и группа «Русского богатства», и сахарный либерализм-модерн Ю. И. Айхенвальда — были частями фронта; есть от чего растеряться в пестри врагов; твердая позиция была нам необходима; только я делал выводы в злобы дня из ненаписанного кирпича: «Теория симво-

лизма»; выводы из теории были мною выстраданы; я ручался за платформу; смелость Брюсову импонировала; и он не перечил мне; я же готов был навлечь на голову себе все семь казней египетских; и Брюсов, грустно улыбаясь, не раз воркотал: «Поступайте как знаете, Борис Николаевич»; он мне вверялся, не вмешиваясь в мое «мы», произносимое от лица группы; теоретизировать он не любил; и мне предоставил теорию; не было тут уговора; просто: я — начал формулировать, а он...— нет; разделение функций началось еще в 1906 году; оно завершилось конституцией «Весов» 1909 года, по которой и формально я стал заведующим теоретической секции, а он — литературно-критической;[39] с 1907 года другой теоретик, Вячеслав Иванов, казался врагом; «Весам» надо было противопоставить Иванову крепкое «credo».

Я, переживший огромное разуверение в «мистерии» человеческих отношений, в «коммуне» творцов и в «религии жизни», вне социального переворота, теперь видел лозунги моего вчера, побиваемые петербуржцами, в искалеченном виде.

В 1903 году я писал: новаторы должны верить в то, что у них «вырастут... крылья и понесут над историей» («Арабески», стр. 238);[40] в 1904 году и я ждал мистерий: «драма переходит в мистерию» («Арабески, стр. 141);[41] но мечты поколебались во мне; ставка была на «мистерию человеческих отношений» (моих к Щ.): «Когда я один, родственные души посещают меня...» («Луг зеленый», стр. 3—16);[42] статья «Луг зеленый» — письмо к Щ. через голову читателей; мистерия — только любовь; но обманутый и в мистерии моих человеческих отношений, я в 1906 году бью по всему фронту: «вот уж воистину гора родила мышь» («Арабески», стр. 321);[43] в 1907 году пишу того крепче: «мы... пять лет... назад говорили... о мистерии... На слова эти, вами произнесенные, мы... ответим веселым смехом... Оставьте нас, Иван Александрович...» («Арабески», стр. 345—346);[44] какая «мистерия»: «вопль какого-то петрушки о том, что... кровь трагической жертвы есть кровь клюквенная» (по адресу Блока) («Арабески», стр. 311—313);[45] «мистерия» — не вмещаема в формах искусства; был бы дик возврат вспять; а «мистерия» как коллективное творчество в будущем — в социализме раскрытое царство свободы; и потому: ныне она фальшива, двусмысленна, ненужна.

Я волил ясности, четкости, трезвости, самоограничения, самопознания; а видел преодолевателей символизма:

«Когда дразнят нас многосмысленным лозунгом... нам все кажется, что одинаково нас хотят сделать утопистами и в области политики, и в области эстетической теории»;* я указывал: символисты «хотят трезвой теории; ...только упорный ряд исследований подведет под эстетику твердый фундамент»**.

С этого времени почти в каждом номере «Весов» — моя передовица: «На перевале»;[48] она — звук камертона к статьям и рецензиям «Весов». Два года выпыживал передовицы я: часть их вперемежку с фельетонами, игравшими ту же роль, составили половину «Арабесок»: двадцать восемь номеров «На перевале», двадцать три номера «О писателях»; каждый — продиктован тактикой; присоедините: тринадцать статей «Арабесок», одиннадцать — книги «Луг зеленый», четырнадцать «Символизма», ряд неперепечатанных фельетонов, рецензий,— и вы получите материал усилий бороться за лозунги, которые были выводами из теории, отработанной в голове, но не в трактате; каждая статья — била в цель, заостряя тенденцию; нынешним читателям не видна тогдашняя злоба дня; в выборе тем не было ничего от полета; теоретические рассуждения подводились под «данный случай»; отсюда — скривленность и утрировка многих статей; я их обтесывал, как дреколья; они — люты и субъективны; для понимания их необходим комментарий; нынешний читатель недоумевает: по адресу Городецкого разражается Белый: «Разве подозревают... эпигоны символизма... что вопрос о ценностях в школе Риккерта и Ласка становится центральным вопросом и символизма»*** (1907 г.);[49] по адресу Блока: «Этого достаточно, чтобы пригласить их в Марбург к Когену... мы хотим... не парок бабьего лепетанья»**** (1907 г.)[50]. Тастевен же из «Золотого руна» кричал: «Белый стал неокантианец!»[51] «Неокантианец» одновременно писал: «Кант... был восьмым книжным шкафом среди семи шкафов своей библиотеки... Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством?.. Кант отравил синильной кислотой интеллигибельную вселенную...»***** (1908 г.)[52].

И приглашение учиться у Канта, и фига в нос Канту — тактика; в первом случае — фига Городецкому; во втором

* «Луг зеленый», стр. 48[46].
** Там же, стр. 49[47].
*** «Арабески», стр. 266.
**** Там же, стр. 272.
***** Там же, стр. 215.

случае она отослана московским неокантианским кружкам. Действительное отношение к Канту — холодное уваженье к противнику, которого надо знать, чтоб с ним справиться; почему я на Канта напирал? Потому что тогдашняя философская молодежь «кантианила»; возражения Канту мои формулированы в книге: «Гете в мировоззрении современности» (1916)[53].

Тактика заставляет меня умалять Достоевского в борьбе с «достоевщиной»: и я пишу: «К Гоголю и Пушкину — этим первоистокам — ...должны мы вернуться, чтобы спасти словесность от семян тления и смерти, заложенных в нее инквизиторской рукой Достоевского»* (1906);[54] Мережковский, Гиппиус, Волынский, Розанов — в ужасе[55].

Примеры — к тому, чтобы стало ясно, до чего я был тенденциозен: «Все — для момента». А момент — нанести больнее удар «врагу», подрывавшему символизм; в преувеличениях я оставался искренним; и мне доставалось: и справа, и слева, и сверху, и снизу. Я ставил на карту себя; забывал о себе, дебатируя, уча курсисток, строча, изнемогая в Обществе свободной эстетики, чтобы поддержать Брюсова.

Таким я стал, вернувшись из-за границы: сухим, озлобленным, фанатичным, утратившим все, кроме мира идей и утопий о нашей фаланге бойцов за «дело»; мания самоубийства не была изжита; я не бросился в реку; но разве не самоистязательством выглядели два года, убитых на споры в сплошном дымогаре, без радостей жизни! Я боролся с «огарками», но не боролся с окурками; и не было у меня критика-друга; Блок, Брюсов, Мережковский, Бальмонт — выносились критикой в свет; о Белом же только знали, что он — сгоревший талант. Но я не жалею о полемикой раздавленных творческих книгах; я прошел спартанскую школу и раз навсегда излечился от жажды известности, которой когда-то избаловали меня; нашелся-таки человек, понявший честность моих мотивов; он пришел ко мне: пожать руку; это был... Гершензон.

Не могу не охарактеризовать в двух словах костяка платформы, которую я проводил в «Весах»; она виделась мне «Прекрасной Дамой»; «реальная дама» ведь оказалась... «картонною»[56].

---

* «Арабески», стр. 93.

Каждому тезису моей литературной платформы посвящены статьи, выступления, беседы; но она не была мною сжата в параграфы; ее база — теоретические представления о символизме как мировоззрении, не сливаемом с идеализмом, метафизикой, механическим материализмом, синтетизмом систем Спенсера и Конта, скептицизмом, феноменализмом и мистикой.

У ученых второй половины XIX века науки — несвязуемые «логии»; догматическая философия обладала принципом; но «догматическая философия погибла до Канта»;* «мы видели крах метафизики»;** «смена философских теорий ныне — смена терминологий»***; философия возможна лишь как теория знания, насквозь критичная; вне критицизма и понятия наук пусты; «смешны... решения проблемы причинности путем подстановки понятий вроде энергии, силы»;**** не удовлетворяют и системы синтетизма: «система распадалась за системой»;***** частные науки порой заменяли теорию знания: «философию... превращали в историю... психологию и даже в термодинамику... Ответы были ответами методологическими»;****** отклонив догматизм, метафизику, позитивизм и механизм, я отклонял и психологизм: «психология... оказалась... химерой»:******* границы ее, с одной стороны,— «предельные механические понятия и... познавательные формы» — с другой******** («О границах психологии»); «механические... понятия оказываются в зависимости от данных гносеологического анализа»*********, вне которого сама наука — «систематика... незнания»;********** таков мой ответ пробабилизму (Дюбуа-Реймон, Пуанкаре и т. д.), который чуждается «общечеловеческого обоснования»;*********** «теория знания... введение... к миросозерцаниям»************ (и к символизму); «позна-

* «Символизм», стр. 21[57].
** Там же, стр. 94.
*** Там же, стр. 107[58].
**** Там же, стр. 55.
***** Там же, стр. 51.
****** Там же, стр. 50—53[59].
******* Там же, стр. 48.
******** Там же, стр. 44.
********* Там же, стр. 43[60].
********** Там же, стр. 56.
*********** Там же, стр. 54.
************ Там же, стр. 54.

ние — знание о знании»;* теория знания некогда развивалась идеалистами; в мое время представителями тенденций Канта являлись Коген, Наторп, Кассирер, Кинкель, Виндельбанд, Риккерт, Ласк, Кон и др.; в усилиях рационализировать Канта они создали неосхоластику: «не к рационализму, не... к идеализму призывала новая литературная школа»;** рационализм интересовал в линии теоретико-познавательных позиций; я исходил из ложного взгляда, что неокантианцы более других разработали термин; я хотел, отняв у них термин, им преодолеть идеализм; это и послужило поводом к обвинению меня в неокантианстве; но «теоретическая философия вопрос о мировоззрении подменяет вопросом о формах и нормах...; она ответит, пожалуй, на вопрос о том, как нам строить мировоззрение, но в этом вопросе самый смысл мировоззрения пропадает»:*** с вершин гносеологического идеализма открывается царство скелетов: «мир — связь умозаключений; это... предельное разложение мира... краткое резюме воззрений... столпов... гносеологии — Когена и Гуссерля»****.

И идеалист-гносеолог является объектом моих стихотворных сатир:

«Жизнь,— шепчет он, остановись
Средь зеленеющих могилок,—
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок»*****.

Трагедия сенаторского сына в романе «Петербург» — в том, что он — революционер-неокантианец.

Можно ли с большей резкостью говорить о кантианских тенденциях? Но я говорил так о них в 1907—1909 г., изучая Риккерта и Когена, чтоб их разить их же оружием; как раз: с 1907 года взорали дружно — сперва «друзья»-символисты, потом и все: «Белый стал учеником Риккерта!» Клевету подняли философские дураки, философские невежды, философские головотяпы; а враги доказали: «Белый — мертвец!» Раз он рисовал предельное разложение мира в неокантианстве, то надо было в красках Белого подать «Белого»; «Белый — идеалист, Белый — кантианец»,— ехало по годам до 1932 года: «Он безраздельно

* «Символизм», стр. 57[61].
** «Арабески»[62].
*** «Символизм», стр. 68[63].
**** «Арабески», «Песнь жизни», стр. 46[64].
***** «Урна», стр. 66[65].

приемлет идеалистическую философию Канта в ее... неокантианской транскрипции»,— утверждает о Белом 1908 года тов. Тарасенков в лестной для меня статье о романе «Маски»;* как Белый принимал неокантианство в 1908 году,— мной показано.

Товарищи,— надо бы побольше знать того, о ком пишешь. Книги Белого напечатаны черным по белому.

Моя теория символизма складывалась в процессе критики модных гносеологических теорий *как несостоятельных, но взывающих к изучению со стороны тех, кто брал на себя смелость быть теоретиком;* а Городецкие и Чулковы преодолевали ухарски то, что взывало к скрупулезному одолению; четыре года убил я на овладение неокантианством, наивно полагая, что далее буду одолевать имманентистов, эмпириокритицистов и прочих философов: виделись годы упорной работы, от которой я был оторван.

Кажется,— понятно; понятно и ироническое приглашение ехать учиться в Марбург;[67] мог бы я вместо Марбурга подставить и Фрейбург, Мюнхен, Берлин; мог бы и написать: возьмите учебник логики, ибо «бабье лепетанье в вопросах... «credo»... есть архиахинея»[68],— писал я в статье «Теория или старая баба» в 1907 году, разумея заявление Городецкого о том, что всякий поэт есть мистический анархист[69]. Вот какому лепетанью «не мешало бы... совершать паломничество в Марбург»**. «О, если бы вы разучили основательно... только Эрфуртскую программу»***,— сетовал я; «занятие теорией познания становится... необходимо для теоретика»****, потому что «теория символизма смутно предугадана» и еще не «определена в... терминах»;***** так что «стремглав убегающие от... выяснения основ того, частности чего они защищают»******, явление уродливое.

Понятно,— с кем и за что полемизировал я, взывая к ряду исследований на протяжении десятилетия, а не к городецким фукам, не к чулковским воплям и блоковским истеканиям клюквенным соком[72] (я-то ведь истекал — «кровью»).

---

* «ЛОКАФ 10», «Федерация», 1932[66].
** «Арабески», стр. 273.
*** Там же, стр. 341[70].
**** Там же, стр. 272.
***** Там же, стр. 269.
****** Там же, стр. 270[71].

Я думал над гносеологией символизма двадцать пять лет; думы эти не оформились ученым трактатом, скелет которого был мне ясен; следы его в статьях «Смысл искусства», «Принцип формы», «Эмблематика смысла», «Лирика и эксперимент», в комментариях к книге «Символизм» и в позднее написанных «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности», «О смысле познания»;[73] от образа теории, которую волил не «мистической», а «критической», я строил временные, всегда текучие лозунги для платформы «Весов», помня, что символизм — критическое мироощущение, революционизирующее мировоззрения, а не школа; думать, что я революцию всей культуры прицепляю к Канту, могли лишь невежды, коли не клеветники.

Первые четыре параграфа моей платформы гласили о том, что символическую школу я понимаю условно.

1. *Символизм базирован историей критицизма; он — прорыв критицизма в свое будущее.*

2. *Он — строимое миросозерцание новой культуры.*

3. *Теперешние попытки зарисовать его контуры — временные рабочие гипотезы* (стало быть: и моя попытка; и будь она даже кантианизирована, чего не было,— «кантианизация» в ней была бы — условным жаргоном).

4. *Не будучи школой, догмой, но тенденцией культуры, символизм пока живее всего себя отразил в искусстве.*

Стало быть: анализ того, чем и как отразил, был бы предметом разглядения в течении, которое ставило себя под знак будущего; конкретная симптоматика символизма: новый человек в нас; таково содержание отрывка «Символизм» («На перевале»); лозунг борьбы за новую жизнь, а не «формы» лишь, мне дорог; клеветники из «Золотого руна» кричали, будто я формалист; «Творчество мое — бомба, которую я бросаю»; «жить значит уметь, знать, мочь»; «мочь, т. е. дерзать вступить в бой с прошлым»;* когда то же провозглашали Городецкий с Чулковым, то я их отвергал; это значило: отвергал не дерзание, а *их* дерзание.

Из всего вытекало: «литературная школа» в символизме условна; в содержании символизм — внешколен; он «школа»— борьбы с школьными догматами; символическая школа — в критике; задание школы — вскрытие приемов реализма, романтизма, классицизма, натурализма и т. д.; эти школы — проекции действительности;

* «Арабески», стр. 218[74].

«школа» должна была критически вскрыть приемы оформления в их положительной силе и в их догматизме (бессилии). «Символизм дает методологическое обоснование не только школам искусства, но и формам искусства»,— утверждаю я в статье «Смысл искусства» (1907 г.);[75] вместо «дает» следовало бы сказать «должен дать»; символисты «ни за, ни против реализма, натурализма, классицизма» и т. д.; они против школьных приемов, когда последние претендуют на монополию; «за» — когда приемы эти осознают себя проекциями действительности, которая многогранней, чем о ней думают натуралисты, романтики, пассеисты и догматики-символисты.

«Символ, выражая идею, не исчерпывается ею; выражая чувство... не сводим к эмоции; возбуждая волю... не разложим на нормы императива... Отсюда... трехчленная формула... 1) символ как образ видимости... 2) символ как аллегория... 3) символ как призыв к творчеству жизни»;[76] символ — неразложимый комплекс «abc», где «b» — форма, «c» — содержание; «a» — формосодержание, первичная данность (исход процесса), или — действие творения (результат процесса); символ — «1) образ... 2) идея... 3) живая связь» их; если «a» триады — формосодержание, то, когда оно не дано, имеем дуализм между «b» и «c» (формой и содержанием); когда базируются на форме, то упираются в мертвые, классические каноны; когда старая форма бракуется содержанием, то упираются в романтический бунт, которого опасность — хаос; противоречие меж романтикой и формализмом — снимается в символизме, где «b» и «c» взяты в «a»; когда «a» есть сырье, мы — реалисты; когда оно — смутно предугадываемое соответствие, мы — идеалисты; нет идеализма и узкого реализма в действительном символизме; вот восемь типов возможного строенья триады как восемь стилей, лежащих в основе восьми школ: 1) a — bc, 2) a — cb, 3) bc — a, 4) cb — a, 5) (a)bc, 6) a(cb), 7) bc(a), 8) cb(a); первые «четыре... способа... объединимы как реалистический символизм...»; последние четыре ведут к аллегоризму; «этот... класс... я назвал бы идеалистическим»; привожу и примеры: тип «a — bc» вскрываю как фетишизм первобытных народов; «a» взято природой, но котируемо богом (дерево как идол); тип «a — cb» — греческий мифологизм; «bc — a» — образ Рафаэля; «cb — a» — романтический реализм; «a(bc)» — Байрон; «(a)cb» — Верлен, Метерлинк; «bc(a)» — Чехов; «cb(a)» — Бодлер, Гофман; классические, романтические и «реалистические» (в узком смыс-

ле) проекции — одно; реализм как правда в символизме — другое; в такой установке узкий натурализм — иллюзорен и субъективно идеалистичен; *реализм* символизма не в том, берет ли он образы из обстания, а в том, что все «b» в нем (предметные вещи), все «с» (переживания) даны в «а»: не в форме, не в голом содержании, а в предестинирующем их единстве; так «а — bc» вне «а» (символизма) становится просто «bc» («а» здесь — нуль); символизм становится идолатрией; в поздней фазе это — фетишизм быта (подчас — грех Золя); «а — cb» вне символизма — «cb»; и тогда в первичных фазах культуры это — спиритизм; в поздних — иллюзионизм Рейсбрука и ранних драмочек Метерлинка.

Таков смысл моей статьи «Смысл искусства», написанной в 1907 году (см. «Символизм»). Символизм для меня — реализм, что я подчеркивал: «символизм не противоречит реализму»* (1909 г.); часто «не способны... осознать иллюзионизма... представлений о реальности»;** символизм — «протест против кажущегося реальным»;*** «символизм совпадает с истинным реализмом»**** (1908 г.)[78].

Я боролся с мещанским натурализмом, с метафизическим реализмом, формулу которого провозгласил Вячеслав Иванов в 1908 году: «От реальностей к более реальному»;[79] он котировал идеалистом меня, потому что я издевался над подменой понятия «символа» понятиями мистической геральдики. «Символизм реален... Мысль, достаточно известная... Художник... не может быть назван ни реалистом, ни символистом в прежнем смысле (...в иллюзионистическом)... Что же тут нового?» — т. е. в лозунге Иванова.— «Спор... не о реальности символизма, а о понимании характера этой реальности... Мы требуем от искусства, чтобы оно было осязаемой формой («res»), а не... хаосом мистики» («Арабески», «Realiora»)[80].

Суть ивановского реализма стала «вещью» схоластики Ансельма Кентерберийского; от нее веяло средневековым склепом; я хоронил схоластику и метафизическую эстетику: «Метафизическая эстетика... всегда... мелко плавала»; не против реализма боролся я, а против «осельного жернова», подвязываемого Ивановым в виде «символики»:

---

* «Арабески», стр. 243.

** Там же, стр. 243.

*** Там же, стр. 245[77].

**** Там же, стр. 314.

к символизму; возможна ли эстетика как точная наука? «Вполне возможна»,— отвечал я; и за это попадал в лагерь «идеалистов».

Метафизический реализм — подмена одного реализма другим; и ползучий эмпиризм — такая же подмена; через двадцать пять лет Ф. В. Гладков писал: мир есть «диалектическое единство сущности и явления, а не просто предметы и вещи... в понимании наивного реализма»;* такое единство и было «а» триады «abc», или то, что я называл символом; символизацией называл я систему образов, раскрывающих единство; многообразие способов раскрывания (школ) должна была вскрыть наша школа в плане кампании 1907 года, легшем в основу платформы «Весов»; символ — «образ, взятый из природы и преображенный творчеством»;** он — «образ... действительности»; форма его — «материальная схема...»; содержание — в «музыкальном корне искусства»; по Иванову, музыкальность — идеалистична; я Иванову возражал: «Г. Иванов... в музыкальной мелодии видит идеализм, тогда как мелодия связана с ритмом... реальнейшею основой музыки»***.

В 1930 году Гладков пишет: «Диалектика содержания... одновременно и диалектика формы» («Литературная газета», № 24). В 1906 году я писал: «когда говорим мы о формах искусства, мы не разумеем чего-то, отличного от содержания»; я «пользуюсь термином «форма» условно» («Принцип формы»);[84] «волнение содержания определяет... форму» — с другой стороны;**** «идеализация... динамизация, материализация... статизация»*****— в диалектике процесса творчества; символизму чужды и идеализм, и механический материализм; он эксплуатирует в идеализме — динамику; в механицизме — технику конструкции форм; формы и неопознанные содержания — пустые вагоны и неперевозимый в них свалень грузов, застрявший в пакгаузах; идеалистический подход к искусству был изжит в фетишизме производства понятий; наивно-реалистический — в бытовом сенсуализме фактикособирательства; но подлинные образцы искусства в классицизме, в романтизме, в реализме — в сфере реалистического символизма; Гете-классик — символист в «Фа-

---

* «Литературная газета», 1930 г., № 24 — «О диалектическом методе в художественной литературе»[81].

** «Символизм», стр. 8[82].

*** «Арабески», стр. 315[83].

**** «Символизм», стр. 135[85].

***** «Принцип формы».

усте»; Байрон-романтик — в «Манфреде»; Ибсен-реалист — в «Строителе Сольнесе»; Золя — в трилогии «Лурд — Рим — Париж»; Чехов — в драмах, и т. д.[86]

Отсюда смысл шестого параграфа тогдашней моей платформы: *символизм, приемля лозунги исторических школ, их вскрывает как приемы в их «плюсах» и в «минусах»; он — самосознание творчества, как критицизм; до него оно слепо:* он противопоставляет себя «школам» там, *где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания;* романтики его нарушают в сторону содержания, переживаемого *субъективно;* сентенционизм — в сторону содержания, понимаемого абстрактно; современный классицизм (пассеизм) его нарушает в сторону формы.

Единство формы и содержания нельзя брать,— настаивал я,— ни зависимостью содержания от формы (грех формалистов), ни исключительной зависимостью приема конструкции от абстрактно понятого содержания (конструктивизм). «Реализм, романтизм... проявление единого принципа творчества»* — в символизме.

В противовес левым заскокам символистов я требовал суженья задач до специальных исследований — в области морфологии, стиховеденья и лингвистики; повинуясь лозунгу, обрек себя на стиховедческие интересы, исследуя ритмы поэтов во имя теории мной поволенной, а не... от нечего делать; в 1907 году я писал: «одно течение стремится выйти из сферы искусства» (Чулков, Городецкий, Иванов и все «соборники»); «другое... с... осторожностью относится к широким лозунгам, углубляясь в изучение... приемов творчества» (Брюсов, я), «более трезвая группа... с осторожностью относится к попыткам... коллективного творчества до коренного изменения социальных условий...»; за это иные символисты «укоряют московскую группу в ревизионизме» («Арабески», стр. 262);[88] но я знал: раскрытие жизни как творчества наступит тогда, «когда человек преодолеет классовую борьбу»**.

С этим не считались «соборники»; и мне бросали: «Белый — отсталый мертвец».

Я привожу остов этой платформы; она определила трехлетие мне, врываясь в отношенья с людьми; никогда не жил я такой сухою, абстрактною жизнью, как эти годы, отдавая любовь и злобу лозунгам, «Прекрасной Даме»

---

* «Арабески», стр. 246[87].

** «Арабески», «Театр и современная драма», стр. 21[89].

моей: тенденции, тактике; Игнатов из «Русских ведомостей» писал, что я — безыдеен;[90] а я заострял идеи свои до крайней тенденциозности; жизнь определялась тенденцией, проводя которую я наделал ряд промахов в определении качества талантов количеством километров, их отделявших от «Весов»; так просмотрел я яркий талант беллетриста Бунина (он же был враг); вчетверо против истины возвеличил я Брюсова;[91] не говорю уже о Чулкове, которого я старался представить нулем; не то же ли самое позднее случилось и с «напостовцами»[92].

Но я был искренен.

«Платформа» провела глубокую борозду между мною и рядом других символистов; Иванов и Блок оказались временно «во врагах»; иные из тех, кого я не знал, неожиданно стали приветствовать мою агитационную публицистику; кое в чем меня поняли эмпириокритицист Валентинов, П. А. Виленский и старый народник Белорусов; главное: М. О. Гершензон, вчера чужой, пришел ко мне и сказал: «Я глубоко сочувствую вам и оправдываю в самых резких ваших статьях». Почти симпатию выказал Е. Н. Трубецкой; публицистика отшибала меня от друзей, пригоняя к вчера далеким.

Мне были заповеданы те альманахи, в которых стяжали себе известность Иванов, Блок, Городецкий; но я попал в почтенно-профессорское «Критическое обозрение», редактируемое Гершензоном[93], в компанию профессоров и доцентов.

Здесь было поучительней, чем среди кошкодавов; здесь меня понимали лучше, чем, например, в кругу Чулкова и В. Иванова; оспаривали, но выслушивали.

Агитация за символизм, кроме всего, столкнула меня с учащейся молодежью; и она же — корень моих тогда частых лекций, бесед в кружках молодежи; я не имел отдыха, с сухой страстностью бросаясь туда и сюда: развивать детали моей программы; вот почему я и должен был в двух словах отчитаться в ней; вне этой характеристики я должен бы был зачеркнуть всю четвертую и пятую главу моих воспоминаний.

ОБЩЕСТВО СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ

Эллис и Брюсов до 1907 года считались врагами; для Брюсова Эллис был бездарью; Эллис грозил всеми карами Брюсову; я, возвратившись в Москву, узнаю, что они по-

мирились; номер «Весов» теперь — место атаки Эллиса на врагов Брюсова[94].

Все толкали в «Эстетику», где усильями Брюсова и Трояновского соединялись живые силы искусства; общество-де — наш салон; можем здесь агитировать; «Эстетику» задумали интересно;[95] концентрация ее сил импозантна; в «Кружке» не было интимности; прения носили вульгарный характер, приванивая адвокатством и желтою прессой.

Я удивился умению Брюсова, Трояновского и Рачинского изолировать «Эстетику» от нежелательного «Весам» элемента; в подборе членов был вкус; И. И. Трояновский, искатель талантов, коллекционер и выращиватель орхидей, Остроухов, театраловед А. Бахрушин, музеевед-федоровец*, Черногубов и им подобные — аудитория; «Эстетика» стала местом новых знакомств; буржуазия, сидя у стенок, первое время покорно внимала нам вместе с демократическими курсистками, слушательницами Сакулина, Айхенвальда, Когана, Хвостова и Фохта; было модно стать членом «Эстетики»; ее погубило переполнение ее миллионершами, позднее поднявшими голос; вместо меня в комитет вошел... Арсений Абрамович Морозов; последнее слово мое, произнесенное здесь:

— «Судьи кто?»

«Эстетика» длилась до революции; кончилась — бесславно, а началась — славно: в разгар травли «Весов»; как ответ на последнюю, около Брюсова сплотились живые силы; и желтая пресса получала отпор.

Вот список посетителей в первом двухлетии.

Композиторы, пианисты, профессора консерватории, проф. Бубек, проф. Игумнов, проф. Кочетов, проф. Арсений Корещенко, Гречанинов, Богословский, И. А. Сац, Николай Метнер, Гедике, Конюс, Василенко, Оленин, Марк Мейчик, Н. Я. Брюсова, Б. Б. Красин, Померанцев, Багриновский, Желяев, Архангельский; изредка появлялся Аренский; из теоретиков помню Яворского, Эйгеса, Сабанеева, Вольфинга (Э. К. Метнера), П. И. д'Альгейма; бывал и Скрябин; бывали музыкальные критики: Кругликов, Энгель, Сахновский.

Горячее участие в организации первых вечеров приняли В. А. Серов и В. В. Переплетчиков; при мне бывали «голуборозники»: Сапунов, Арапов, Судейкин, Павел

---

* Федоров — философ.

Кузнецов, Дриттенпрейс, Ларионов, Феофилактов, бра́тья Милиоти (Василий и Николай); бывали: братья Досекины (Николай и Сергей), Сарьян, Уткин, Крымов, Ржевская, И. Э. Грабарь, Середин, А. С. Голубкина при ее заездах в Москву, архитектор Дурнов и наезжающие художники «Мира искусства», начиная с Дягилева, их оформителя, который выслушал мое высказывание: музыка расслабляет «героя» в нас; после нее мы, как мухи, висим в паутине из дряхлого быта; она — «опиум» и религия «несказанного»; парадокс я бросал в носы дам, оперившихся вкусом для завлеченья «самцов».

Дягилев с гурманством глотал скорпии по адресу нравов; сияло салом его сдобно-розовое с серебряной прядью вверх взбитого кока лицо:

— «Вы опять — против меня?» — подошел он ко мне.

— «Почему?»

— «Да я ж — меценат, паразит, кровопийца».

Это — из статьи: «Вы, эстеты... имеете наглость нас защищать... Вы, паразиты... напившиеся нашей кровью...»* и т. д.

Я рассклабился:

— «Вы угадали!»

И с едко-любезным расклоном: я — влево; он — вправо.

В «Эстетике» бывали: эффектная Германова, с открытыми руками и грудью — в черном, в сером иль в черно-сером; бледная, белокурая, юная Коренева во всем бледно-розовом; здесь, вероятно, знакомился с Коонен; здесь видел Вишневского, Баратова, Адашева и Качалова; О. Л. Книппер, сияя глазами осмысленно, поднимала с улыбкой лорнетку из кружев своих; бывала Рабенек; из артистов Малого театра — Смирнова, с супругом, Эфросом, театралом; надутый и орлоносый профиль Сумбатова-Южина пересекал комнаты так, как в «Кружке», из которого приплывал он с Иванцовым и психиатром Баженовым.

Писатели, поэты и критики, за исключением «весовцев», были меньше представлены; не бывал кружок «Среда» (Телешев, Тимковский, Чириков, Иван Белоусов); не видывал Вересаева; был раз Бунин; «середовцы» не попадали случайно; и не бывали сознательно: Ю. А. Айхенвальд, Б. К. Зайцев, Стражев, Кожевников, Соколов-Кречетов («Гриф»), Нина Петровская, Сергей Глаголь

---

* «Арабески», «Художник оскорбителям»[96].

и тогдашние «перевальцы»;* эти явились бы нас давить.

Активно действовали: Брюсов, Балтрушайтис, Эллис, я, Соловьев, Садовской, Ликиардопуло; бывали: Рубанович, Бобров, Эттингер, Артур Лютер, В. Ф. Ахрамович (Ашмарин), талантливый, мало писавший поэт; и — наездом в Москву: Волошин, Рукавишников, Толстой, Вячеслав Иванов; поздней явились: Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, Клычков, Марина Цветаева; в первые годы сидели здесь: вернувшийся иэ ссылки И. И. Попов, Дживилегов, Мамонтов (из «Русского слова»), С. В. Лурье, Шпетт, Вышеславцев (философ), доцент Шамбинаго, Сакулин; из ученого мира сидел постоянно профессор кристаллографии Вульф; и виднелись: проф. Плетнев, проф. Ященко, проф. Тарасевич с женой и другие.

Боборыкин, попавши в Москву, неизменно являлся на все рефераты; он мирно поклевывал старческим носом в углу и помалкивал; посещения «Эстетики» в эпоху травли «Весов» этой кариатидой ценили мы; нас посещал Гершензон: с убежденным подчерком.

Из буржуазии (любителей, меценатов, модников с модницами или просто людей общества) запомнились: Остроухов, Бахрушин, Морозов, чета Гиршман, Лосева, Якунчикова, Христофорова, Тамбурер, Рукавишникова, Рахманинова, Трояновские, Метнеры, Поляковы, Рачинские, Щукины, позднее Тургеневы, Кистяковская, Муромцева, гр. Бобринский, гр. Капнист, Обнинский, француз Мюрат и многие, которых запамятовал.

Если представить себе перечисленных лиц с женами и дочерьми в очень пестрых нарядах, наш кружок «аргонавтов» (Петровский, Сизовы, Владимировы, Киселев, Нилендер и пр.), несколько десятков культурных тогдашних курсисток, состав заседаний вполне оконкретится; состав этот ярок.

Я, здесь заработав, попал в комитет, состоявший из Брюсова, Трояновского, Кочетова, Переплетчикова, Серова и... Гиршмана; почему последний попал, я не знал; и он не мешал (он потом проехал в «оценщики»); председателем сделали Брюсова[97].

Живые беседы, импровизации, серии докладов, исполнительные вечера — занимали меня; за роялем оказывались Корещенко, Померанцев, Игумнов, Метнер и Мейчик; помнятся вечера Ванды Ландовской, клавесинист-

* Журнал «Перевал» издавался в 1906—1907 годах.

ки[98], и молодого француза школы Равеля. В «Эстетику» заглядывали и заезжие знаменитости; здесь встретился с композитором Венсеном д'Энди:[99] этот крепкий старик имел вид африканского боевого сержанта, когда он прикусывал трубочку и фыркал дымом. Не то впечатление оставил слащавый брюнет Морис Дени, знаменитый художник, пытавшийся воскресить примитив.

Приводили сюда и Матиса; его считали «московским» художником; жил он в доме Щукина, развешивая здесь полотна свои[100]. Золотобородый, поджарый, румяный, высокий, в пенсне, с перелизанным, четким пробором,— прикидывался «камарадом», а выглядел «мэтром»; вваливалась толпа расфранченных купчих и балдела, таращa глаза на Матиса; Матис удивлялся пестрятине тряпок, величине бледных «токов», встававших с причесок, размерам жемчужин и голизне: Венеция, Греция, остров Гонолулу! Не хватало колец, продернутых в носики; не оказалось русских «французов»; художники не владели французским; я был ими вытолкнут: говорить; я начал с «cher maître»;* Матис, вскочив, бросил руку вперед; другую — ладонью в грудные крахмалы; и перебил с ложным пафосом:

— «Seulement camarade!»**

— «Cher camarade!»***

Щурясь, как кот, он внимал, выгнув шею и выставив длинную золотоватую бороду.

Он — не понравился[101].

Поздней, без меня, приводили Верхарна[102].

Здесь Москва знакомилась с Алексеем Толстым, которого подчеркивал Брюсов как начинающего... поэта;[103] Толстой читал больше стихи; он предстал романтически: продолговатое, худое еще, бледное, гипсовой маской лицо; и — длинные, спадающие, старомодные кудри; застегнутый сюртук; и — шарф вместо галстука: Ленский! Держался со скромным надменством[104].

Здесь встретился я с длинным, худым, истеричным И. С. Рукавишниковым: не то — Дон Кихот, не то — Фердинанд Испанский; мятое, серое лицо; борода — в полуметр, состоящая из нескольких сот волосинок; густые усищи, а ноги — карамора; почти шатаясь, уселся; я ждал из уст трубного гласа; а он — запищал комаром; стихи начер-

---

* Дорогой учитель.

** Только товарищ.

*** Дорогой товарищ.

танием напоминали — кресты, треугольники и перекошенные трапеции; с Варей, сестрой его, я был знаком; она стала женою Тургенева, помещика-эсера, отца Аси, с которой позднее я сблизился; я знал его шурина, Мюрата, потомка... «неаполитанского короля»[105], по уверению армян, родившегося в Шемахе, где родился и мамелюк Рустан.

Так все перепутано в мире: мамелюк Рустан и... Иван Рукавишников; волжские миллионы; и — мрачно-убогие номера, в которых прозябал без гроша, отцом проклятый сын миллионщика, будущий хозяин «Дворца искусств»[106].

ГИРШМАН, ТРОЯНОВСКИЙ, СЕРОВ, ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

С членами комитета «Эстетики» был в живых отношениях, за исключением Гиршмана; с этим далее рукопожатий не ладилось; чопорно-скромный, «покорный слуга», чванно дравший свой нос, с перебренчиваньем часовою цепочкою,— перед Серединым, подлетавшим с поклонами, этот бритый и рыжавоусый банкир, посторонний искусству, с развязною скромностью пятивший грудь, лез, упорно протискиваясь между нами куда-то, срывать что-то с нас, волоча за собою жену так, как Игорь Александрович Кистяковский лез к... Гиршманам: куши срывать; Кистяковский, явившись в Москву, с тем же самым бараньим упорством отсиживал год на моих воскресеньях;* когда стал помощником Муромцева[107],— ни ногой! Он завел шесть помощников, дом на Мясницкой и автомобиль; я понял: умелый «посид» есть карьера — в начале карьеры.

А Гиршман явился не только присиживать, но поднимать горбоносый и матовый профиль свой рядом с Серовым и Брюсовым над проектируемым уставом «Эстетики»; «Игорь» сидел перед нами немою тупицею; а — посмотрите: с какой изощренной усталостью стал подниматься из кресла пред гостем, с капризом протягивая свою руку, другою держа телефонную трубку и громко крича на помощника; даже не князь, а — «светлейший князь»! Гиршман же в фазе личиночной виделся вертким, понятливым и расторопным; и думалось: в кресло какое он бухнется в позе нового «Саввы Мамонтова»?

«Саввы Мамонтовы» вдруг рядами полезли на нас вплоть до жалостного... Петухова! Многие сочли за честь

---

* В 1903 году.

быть у Гиршмана; кто-то, живущий в трех комнатках, его позвавши обедать, по этому поводу нанял двух официантов во фраках: «покорному слуге» услужать. Раз, поймавши меня, Гиршман долго задерживал мою руку в своей и, с достоинством выпятив грудь, но отставясь лицом и качаясь всем корпусом, стал добиваться:

— «Вы, знаете, нас как-нибудь — пригласите с женою к себе; по-домашнему, попросту, знаете; важно поддерживать связи!»

Я — не пригласил: мог заехать без зова; звать официантов из Праги,— нет; я же о них всех писал: «Знаем вас и любовь вашу к искусству... Бросаем в лицо вам бисер... презрения»*.

Гиршмана вспомнил я в Брюсселе, видя плясавшего с Жюлем Дестре, социалистом, позднее министром, банкира и «шурина» Дестре, Санта; тот — тоже: нажившися на слоновьих клыках, может быть,— видом демократическим Гиршмана перекрывал; а — какой знаток живописи!

Вероятно, жена, мадам Гиршман, тащила супруга добытое золото лавром венчать; бледно-грустная, нервная, почти красавица, юная эта брюнетка питала симпатию к Брюсову, томно рождаясь из дыма фиолетово-жемчужных кисей; энергичным и резким движеньем приподымала свой веер к точеному носику, бросив в пространство тоскующий взгляд, выражающий муку ее раздвоений.

Гиршман сдержанно дулся за то, что от чести его у себя принимать отказался; обиду затаивая, он усилие выявил быть «джентльменом»; он мелко не плавал, задумав Москву покорить своим тактом, терпением, выдержкой.

Гиршманы были симптомом; такие четы появились повсюду; мужья — приносили субсидии обществам, с твердым упорством козлов добиваясь чего-то от нас; жены — томные, очень красиво рождались из пены кисей и алмазных созвездий Венерами и обретали смысл жизни... в романах с новаторами; Москва, ставшая фабрикой Ев и Венер, загремела по миру: костюмами, вкусами, «Декамероном»[109].

Раз я, засидевшись в гостях, провожал одну Еву, имевшую обыкновенье гутировать всякий талант с точки зрения выбора товара у Елисеева:[110] этот — семга, а тот — лососина; она на извозчике таяла паром сочувствий ко мне; я ей был благодарен; она же, превратно поняв

* «Арабески», «Художник оскорбителям»[108].

благодарность, открыла мне душу свою: муж — уехал: одна:

— «Не хотите ко мне? Выпьем чаю».

Поехали: тут раздалось — недвусмысленное:

— «Так не будем терять драгоценного времечка».

Сообразивши, покрылся холодной испариной, став Подколесиным;[111] ссадив на подъезд,— косолапо простился: и — прочь от нее; лихачу бросив трешницу, с пустым карманом тащился домой через город, ворча, что «терять драгоценное время для сна» на пустые разъезды — действительно дорого стоит здоровью.

Быт утонченной буржуазии этого времени — «Декамерон»! Евы воображали: они возрождают эпоху Лукреции Борджиа; выработалось равнодушие к «Декамерону»; я, с кряхтом надев свой сюртук, ради Брюсова службу в «Эстетике» нес; Кистяковские, Гиршманы мне примелькались, как выстрелы глаз, отовсюду метаемые; в данном случае: должен был вскоре я сопровождать к «Еве» мать; она встретила мило; меня усадивши у края стола, не без юмора бросила:

— «Сели с края,— останетесь без взаимности».

Так расхождение в понимании «драгоценного времечка» не отразилось ничем, кроме шутки.

Но — возвращусь к комитету.

Иван Иванович Трояновский, душа комитета, незабываем; ему было лет пятьдесят, а он, как ребенок, носился с каждым достижением Ларионова, Кузнецова, Судейкина; друг Грабаря, ценитель «Мира искусства», перенесший симпатии на группу тогдашних буянов искусства,— он был моде чужд, увлекаясь всю жизнь далеко не модным занятием: разведением орхидей; он был уже серый, не бурый; небольшого росточку, с носом, загнутым в торчки усиков, крепкий и верткий, он едко иронизировал вместе с Грабарем, но не был — «натюрмортом», как Грабарь, взрываясь сердечным энтузиазмом, делавшим его присутствие незаменимым в «Эстетике».

Брюсов в ней представительствовал; ее субсидировал Гиршман; Трояновский, ее душа, вбирал в себя интересы художников, поэтов и музыкантов; этот доктор, ботаник, картинолюб, был убежденным «весовцем», что сказалось в политике мелочей и в самом отборе членов; он боролся с уклонами символизма, делаясь злым и бросаясь отовсюду на помощь Брюсову; глядя на эту фигурку, летающую гогольком, с трясущимся хохолком, со сверкающими глазками, в цветном жилете, бросающую ручку направо,

налево, подмигивающую тому, этому и потом мимо всех несущуюся к столу, чтоб пружинным движеньем схватить председательский колокольчик и, выгнувшись, с перетирами ручек открыть заседание,— глядя на эту фигурку, невольно вставало:

«Политик... не интриган ли? Как маневрирует?»

А он тенорочком низал чуть-чуть в нос пробегающие быстрой ящеркой фразочки, часто полные едкостей; думалось:

«Этот доктор — фанатик!»

Стоило же с ним вдвоем посидеть, и — открывалась вся его доброта; он с младенческой нежностью предавался мечтам о своих орхидеях, «Эстетике», Ларионове, Брюсове, нас; он бывал политичен — из пылкой горячности; просто зоркая умница, сидевшая в нем, видела издалека все готовимые интриги; от этого и казался пристрастным этот мечтатель и любвеобильный отец, ставший отцом всех, любивших «Эстетику», за которую — с кем не бодался он? С политиками он был политик; а в умении сглаживать углы — искуснейший дипломат.

В жизни художественной Москвы вместе с Третьяковым, Саввою Мамонтовым, Бахрушиным, Остроуховым и Рачинским играли роль два врача: Голоушев-Глаголь, омолодивший вкусы отсталых передвижников, и Трояновский,— пионер «Голубой розы»*. В моих недоразумениях с Брюсовым на почве «Эстетики» он бывал примирителем, как Поляков в «Весах», объясняя, что Брюсову он уступит во всем.

— «Человек типа *жеребца!* Жеребец не терпит себе подобных: бьет копытом... Жеребец улучшает породу. Брюсов — как заводчик; вот он и ходит себе, забивая подчас копытом; всякий другой — забьет тоже; кого взять в жеребцы? Да — некого! Ну и терпите, голубчик. Мы с вами потерпим за вас; ведь — житейское дело!»

В житейское дело «Эстетики» он вносил, где мог, и сердечность, и мудрую мягкость, склоняясь к талантам, которых выращивал он, как свои орхидеи, потряхивая хохолком, суетясь гогольком; петушишка по виду, по сути же — сокол, стрелой налетал на ехидн, заползавших в «Эстетику»: жалить украдкой.

Этих кипений не выдержало его сердце; в 1920 году, его встретив на улице,— ахнул: развалина! Он, мне под

* Группа художников: Сарьян, Кузнецов, Судейкин, Петров-Водкин, Сапунов, Арапов и др., поздней слившаяся с «Миром искусства».

локоть просунувши руку, склонился к плечу, ударяя другой в грудь:

— «Дышать нечем — вот тут: перебои. Пора умирать!» — Незадолго до этого встретил Сергея Глаголя; тот, белый как лунь, тоже жаловался на грудь; оба доктора умерли одновременно почти[112].

Незабываем в «Эстетике» Валентин Александрович Серов. Не практик, не «жеребец»: застенчивый, скрытный, угрюмый; ходил мешковато; голубые глазки щурились напряженно от яркого света,— от каждого восприятия; и сидел, глаза заслоняя ладонью, из-за которой высовывал бледное очень лицо, точно страдающее бессонницей, чтобы пристально впиться; и — снова спрятаться; часто ставил он локоть в колено, роняя голову в руку, глаза опуская меж ног; он придремывал точно, рисуяся в сине-серых стенах, из бирюзовой мебели светлою, желтою, как встрепанною бородкой и светло-желтою иль серою широкою парой, которою он обвисал; он высиживал заседания,— широкоплечий, квадратный, совсем небольшого росточка, с перекривившимся, точно от боли, лицом, с поперечной морщиной на лбу от усилия что-нибудь осознать, что-нибудь проницать: глазки — с дальним прицелом; входил же — бесшумно, на цыпочках, крадучись; покачивалось его грузное тело.

И растрепанная бородка, и свисшие, бледно-желтые волосы, и рот, стиснутый от решенья все взвесить,— давили весом; войдет,— и точно выставит невидимый груз, который сместит председателя; сам же, перепугавшись себя, отойдет в уголочек, таиться за спинами и, кривясь, как в подзорную трубку, глядеть, подавлять усилием вздох; казалось: сидит и вздыхает Серов, скрипя стулом и порываясь вскочить, но удерживаясь, качая сомнительно головою, кривяся улыбкою; казалось,— бросал из угла:

— «Горьким смехом моим посмеюсь!»

Страдал улыбкою.

А невидимый вес, от которого он силился откреститься,— был слышим; Серова — не видишь: Серов — за спиной, вперясь в пол, бросив локти в колени, ладонями их захватив, наклоняясь широкою грудью,— молчит; ты же ждешь, не раздастся ли хрипловатая, темновато скроенная, короткая его фразочка, которою определит, пригвоздит, никого не судя; всем станет ясно: «Негоже!»

Помню один его жест, после которого наступило молчание, оборвавшее прения; Брюсов, председатель «Эсте-

тики», жаловался на «Кружок», следовавший резолюциям председателя,— Брюсова:[113].

— «Они гонят нас: говорят,— помещение им надо очистить».

«Эстетика» собиралась в «Кружке».

Трояновский:

— «Вы ж, Валерий Яковлевич, председатель «Кружка»?»

Из угла скрипнуло кресло; все — обернулись: Серов, молча слушавший, оторвавшись от созерцания ковра меж ногами, махнул добродушно короткой рукой; и хриповато отрезал:

— «Коли гонят,— уходить надо!»

Гнал Брюсов — Брюсова: председатель «Кружка» — «нашего» председателя.

Юмор Серова раздавил, потому что тяжесть его — от правдивости строгого и непоказного таланта и от морального пафоса, давимого в себе усилием казаться сонливым; он был стыдлив, ужасаясь судить других; непроизвольно иные жесты его падали приговорами.

Мало слов сказали друг другу мы, встречаясь пятнадцатилетие: в «Эстетике» и у Рачинского, где с 1902 года он мне тенел в уголочке, куда, молча придя, он садился, нас слушал; и после украдывался на цыпочках, скрипя половицами; делалось светлей и уютней, когда он входил; а когда выходил, становилось тенисто; в деликатных вопросах всегда я считался с Серовым; он так часто мучился, горько кривясь вниз склоненным лицом со свисающей прядкою, когда решали вопросы, где этика, тактика и неумелое выявление по существу неизбежных решений разламывались в антиномии; молчанием своим он их нам выдвигал[114].

Много было тяжелого, когда гнали Меркурьеву, Пашуканиса, Переплетчикова; не в том суть, что гнали,— в том, *как* это делалось![115] Ушибли Меркурьеву; Переплетчиков — плакал; а Пашуканис вылетел сдуру: из донкихотства; надо было изъять профанаторов, иль всему составу «Эстетики» развалиться от действий маленькой группочки; Брюсов вышвыривал с мстительной радостью, тешась, как скальпом, победой своей; а Рачинский с ехидным подкуром, как мальчик, пинающий пяткою в мягкие части такого ж, как он, старика, изгонял Переплетчикова; Трояновский — любовался техникой своих операционных приемов; один Серов мучился, стулом скрипя; на лице проступала брезгливая боль; точно ревмя ревел; и молчал

и кривился: ревел в нем невидимый вес; содрогался я от крутых мер, ожидая решенья Серова, которого профиль почти вовсе спрятался, полузакрытый ладонью; но он поднял руку — за Брюсова.

И я — за ним.

Под мрачною внешностью этой с таким саркастическим видом — кипели вулканы; и лев в нем рыкал; он, давяся от рыка, его сотрясавшего,— ежился горько.

Раз вышел из тени; я дал тому повод, делая доклад от «Весов»; дня за три перед тем я поссорился с Брюсовым (нас помирил Поляков); после ссоры повестки «Эстетики» не были посланы вовремя, никто на доклад не явился; я поднимаюсь по лестнице, вижу: все пусто; ни Трояновского, ни даже Эллиса: случайные одиночки! Средь них — Иван Бунин, явившийся точно назло, чтоб учесть пустоту; ненавидя Брюсова, он — с любезным авансом ко мне; но дело — не в нем, не в «Весах», не во мне, а в Серове, метавшемся в пустых комнатах, их заполнявшем, косившемся на пустевшую лестницу: не придет ли кто — все ж? Увидавши меня, с перепыхом он бросился к двери и, мягко схватив за рукав, с неприсущей ему демонстрацией под локоть ввел, как протопоп архиерея; горячим пожатием руки успокоил меня, не сказавши ни слова, меня усадил, пододвинул мне пепельницу и на цыпочках стал передо мной расставлять ряды стульев, рукой приглашая садиться; таки набралась еще горсть; взяв рукой колокольчик, открыл заседание, слово давал.

Зная всю его мешковатость, любовь к уголкам, к спинам,— понял: бестактностью членов правления взорван был он, пережив ее срамом себе; этот взрыв в нем меня взволновал; и я мог увлечь слушателей; единственный вечер под председательством В. А. Серова прошел с максимальным подъемом (поздней собралась-таки публика);[116] понял, за что так любили его; когда заболевал, то летел Философов из Питера — нянькой сидеть в изголовьях; Рачинская плакала.

Непоказной человек; с вида — дикий; по сути — нежнее мимозы; ум — вдесятеро больший, чем с вида; талант — тоже вдесятеро больший, чем с вида.

Видя издали серую пару коротенького Серова, пробирающегося перевальцем, на цыпочках, не спугнув референта, присесть в уголочке,— казалось: «вес», ставши светом, живит; электричество — светит светлее.

Таков был Серов[117].

Полную противоположность Серову являл Переплетчиков; тот — как улитка: под домиком; этот — слизняк вылезающий; весь — нараспашку; румянец на дряблых щеках; ясноглазо заглядывал в душу, «нутра́» раскрывая: свои «целины» непочатые; точно с брюшиной распоротой ходит, бывало; открытая шея; сюртук — распашной; он покуривал — с весом; пошучивал — с весом, с уютами; был он — плакат — с яркой прописью: «Эй, обратите внимание!» —

— «Мастер!»

Широкий, матерый, вошедший в года, он стяжал популярность отличнейшим сочетанием почтенности с явным заискиванием у еще сосунцов; он писал передвижнические пейзажи; и выставка вологодских этюдов всем нравилась; вдруг, черт его знает, пустился кропить бледно-розовой и бледно-синею точкой холстину саженную; у Кузнецова, Сарьяна и Водкина мы ощущали усилия к новому зрению; пред дрызготней Переплетчикова ощущение жгло: штаны падают! Стыдно: бебешкой предстал лысый, кряжистый, хриплый старик и показывал всем моховатые икры; что хуже всего: у него столь глубоко нутро, что еще оно ниже пупка; а его все он рвался показывать!

Он импонировал: лысиной, ростом, опущенным усом, бородкою карею, усом багряным, бровями густыми, которые морщил, очами, которыми он поводил; все же лысинка — с волосом; и колер — того...; и глазенки под «взорами» — ерзали. В целом — лубок перекрашенный!

В. А. Серов много весил; В. Брюсов — сражал, завоевывая ряд участков культуры; Сарьян — импонировал думой; И. И. Трояновский воодушевлял нас работать. Матерый такой, коренной передвижник, В. В. нес свою моховатую, голую ногу; прошу понять аллегорически!

Все-то ему не сиделось: лез к барышням,— тем, что кусали под локоть своих козловидных приятелей; их собирал Переплетчиков и с перехряком, с похлопом доказывал, что композитор, давно обскакавший и самую музыку, жаривший пальцем «бу-бу» по последнему клавишу,— выше Бетховена.

Так ясноoко об этом вещал.

Выходило: он вздул в символизм... двадцать пятые волны, которые вздули ужасные нравы; так староколеннейший член стал дырой, из себя в наш корабль захлеставшей дрянцою; уж крен ощущался: топил Переплетчиков нас! Так почтенье пред этою столь коренною фигурой, с «нутром» созерцателя зорь, стало — недо-

уменьем, переходящим в решение: надо со вздором покончить!

Сперва он пленил; в комитете единственно он говорил о «заре», о «душе», восседая на кресле; сидел на моих воскресеньях с маститым уютом, покуривая; в комитете, мешая нам сосредоточиться на злобе дня, говорил о заре на заре; говорил о заре на моих воскресеньях:

— «Чего вы тут, батюшка: вы бы по чувству!»

Слушок пробежал: «комитетчики», мы — не имеем «зари»; мы — сухие; мы — академисты; Василий Васильевич — «мастер», «нутро», и «кишка» — точно Атлас поддерживает на своих раменах купол неба: с зарею; и даже «кишку» свою очень охотно показывает; это хором твердили вводимые им козловидные юноши и босоножки, вздымающие из-под юбок свои двадцать пятые волны; одно — веселиться без всяких «платформ», как мы раз веселились, катаясь с Василием Васильевичем, с Адой Ко́рвин, с Меркурьевой — в лодке: в Царицыне,— в сопровожденьи поэта и баса, бежавшего веснами пыльным бульварным кольцом ежедневно, с ррр... ррр... ррромантическим бросанием (в смысле «Тика»[118] и «рома») через плечо альмавивы:[119] рома-н-тика!

Это — одно: но другое, когда Переплетчиков после различных пускаемых «гм» пригласил посетить им организованный очень любимый кружок «Дмагага́». «Дмагага́» — что такое? Да плясы с поднятием ног босоножек с невымытой шеей — перед композитором, пересигнувшим Бетховена, перед рома-н-тиком, перед дергавшим кэкиуоки[120] очкастым В. В. Пашуканисом, очень серьезным лицом удивлявшимся, как он до эдакой жизни дошел, перед кем-то, кого я не знал, вдруг для пляса надевшим короткие штаники, шерстью козлиной — наружу, перед, наконец, появившимся в нашу компанию... Виктором Стражевым, мной созерцаемым только в «Кружке»,— где он фрак упоительный с лестницы дамам показывал; и — оскорбленный, приподнятый профиль.

И мне стало ясно: кружок «Дмагага́» — просто: «Га-га-га-га!» Я, конечно, туда — ни ногой; пусть себе «дмагагакают»: частное дело; одно озабочивало: «дмагага́ица» — распространялась в «Эстетике», как лопухи и крапива в заброшенном домике.

Скажем: зеленый лужок, свирель фавна,— оно, конечно...; погони же фавнов с высунутыми языками за нимфами,— оно, того! Когда открылось, что задание Переплетчикова — снять штаны с нас и их заменить меховиною

«а-ля козел», то стало ясно: Переплетчиков — это, это: того! К тому времени мы разглядели его: что сердечность,— прекрасно; а что хитреца и злой умысел,— тоже: того! «Очи» — пластыри; а из-под них — глазки: злые, веприные; перемигиваются за порогом «Эстетики», кто его знает,— с кем!

Узел интриг, чтобы выкинуть Брюсова, нас, расскакаться, метая свою моховатую ногу над лысинкой! И — при такой-то наружности! И при эдаком имени, возрасте, «весе»! Василий Васильевич,— мы-то: а — вы-то!

Вопрос был поставлен ребром!

Я не стану описывать перипетий неприятной борьбы: в ней прибегли к приемам, подобным заманиванью в крысоловку увертливой крысы: Серов этим мучился; тут публичное выступление членов кружка «Дмагага́» от «Свободной эстетики», но безо всякого права на это, дало повод нам привлечь к трибуналу; исключили Меркурьеву; но это — повод; она — лишь покров снеговой над медвежьей берлогой; хотели медведя поднять из берлоги; медведь сосал лапу под нами; и зубы точил; он — полез, бурый, злой, угрожающий череп снести; мы стояли с рогатинами; из «Эстетики» таки ушел он.

Случайно скончалась Меркурьева около года спустя от, как помнится, аппендицита; после смерти встречаю Василия Васильевича на Арбате: такой ясноокий! Он нежно берет мою руку, ее прижимает и взглядом, сулящим зарю, залезает в глаза; и... и — шепотом:

— «Вы, Борис Николаевич,— вы убили Меркурьеву!»

Так мещанин в «Преступлении и наказании» шепчет Раскольникову:

— «Убивец, убивец!»[121]

Я, вырвавши руку, пошел, потому что я знал, что и это — прием: вковырнуться в мою сердобольность; желанье помучить; знал все подробности смерти Меркурьевой; до смерти была весела эта дама; смерть — случай.

Порой «целина» — лишь цветочный покров: над болотом гнилым.

Николай Разумникович Кочетов, профессор теории музыки и «сынок до седин» Александровой-Кочетовой, совокупно с Лавровской, вспоившей ряд славных певцов и певиц (между прочим, Хохлова),— взошел на старинных дрожжах музыкальной Москвы; седоволосый, рыжебородый, высокий, румяный блондин в синей паре, подстриженною бородкою, галстуком, воротничком производил впечатление только что вышедшего из бани; хотелось

поздравить его с легким паром; он молча присоединялся к решениям Брюсова и Трояновского; он был приятно беззлобен, талантами не блистая, а только пенсне золотым, придававшим младенческим взглядам его что-то важное; роли он не играл ни в консерватории, ни в «Эстетике», но честно нес службу, ничего нового не внося, ничего не портя, никому не мешая; мы с ним часто посиживали в безответственных тэт-а-тэтах; легко и невинно болтая; обычно лениво присоединялся добряк и брюзга, сонно-мрачный, заспавший действительный свой музыкальный талант, композитор, Арсений Николаевич Корещенко, автор оперы «Ледяной дом»[122], серьезно и интересно задуманной, к сожалению,— тоже заспанной; он был типичный орловец: присиживал и поворачивал, потягивая винцо.

Шестой член комитета — Брюсов;* седьмой — я.

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭПОХИ РЕАКЦИИ

«Эстетика» стала «наша», противополагаясь «Литературно-художественному кружку», где деятели искусства обрамлялись публикой, падкою до скандалов: газетчиками, адвокатами и зубными врачихами; «Эстетику» окантовали цветы буржуазии; на беседах кружка председательствовал Баженов, установивши на все свой скептический, психиатрический взгляд; а когда надоели беседы ему, председательский колокольчик подкинул С. А. Соколову: тогда пошел громкий скандал; скандалила часть модернистов с другой, расколовши врачих, адвокатов, газетчиков; я здесь барахтался с желтою прессою; и вынужден был убежать из «Кружка»; Брюсов, главный директор, налаживал кухню, финансы, с ехидством следя, как беседы разваливаются; он в «Эстетике» уровень их поднимал; о беседах «Кружка» мне с гадливостью раз говорил Иванцов, тоже важный директор:

— «Охота вам там околачиваться: это ж — ... подлое место».

«Эстетика» в лучшую пору ее создала атмосферу: развязывались языки; но позднее пуризм задушил ее чванством купчих, нарядившихся в слово, как в платье; они говорили по Оскару Уайльду; «Кружок», этот клуб пошляков, и «Эстетика», клуб эстетических пыжиков, вдруг заключились в одни буржуазные скобки, в которых они рас-

* Характеристика последнего — см. «Начало века».

ширялись: «Эстетика» — в «Русскую мысль», в Религиозно-философское общество, в «Путь», в «Скорпион», в «Мусагет» и в «Дом песни»; «Кружок» — в «Бюро прессы», в Художественный театр, в бар «Ла-Скáлу», в «Летучую мышь», в «Альпийскую розу»[123], в кофейню Филиппова, в тот ресторан, что открылся около Тверской на бульваре, в то кафе, которое — посередине бульвара, и в «Прагу»; в «Кружке» — состоянья проигрывались;[124] а в «Эстетике» — состоянья играли алмазами: на телесах.

В 1907 году антиномия между «Кружком» и «Эстетикой» была не в пользу «Кружка».

«Эстетику» окрасила «Голубая роза», слившаяся позднее уж с «Миром искусства»; голуборозники очень дружили с «Весами»; и я, возвратясь из Парижа, читал у них; Павел Кузнецов аффектированно мне поднес ветвь цветов.

Раз по зову Судейкина взялся и я за театр марионеток: дать фабулу; он — оформленье; еще молодой, густобровый, одетый со вкусом, причесанный, в цветном жилете, с глазами совы, как слепой, круглолицый и бледный брюнет этот с бритым лицом, привскочив, остро схватывал мысль, развивая ее очень странно; внезапно, с достоинством важным, с рукой, точно муху поймавшей, умолкнув, стоял неподвижно, внимая себе, сморщив бровь: ухо, ум! Он серьезничал; но в смешноватой игре его мыслей рождались какие-то бредики; раз он, вращая рукой, осчастливил меня:

— «Я вас понял... Занавес — взлетает; на сцене — рояль; на рояли — скрипичный футляр; он раскрылся, а из него — мадонна с рожками: голая!»

— «Знаете ли, — это несколько странно!» — сказал я; и — ретировался; потом мотивировал осторожно отказ от участия в таком театре.

Но он превосходно держался; его церемонность и пылкая сухость внушали почтенье; хрупкая, юная, очаровательная блондинка, неглупо щебечущая, точно птичка, его жена, напоминала цейлонскую бабочку плеском шелков голубых и оранжевых в облаке бледных кисей; муж, конечно, ее одевал; я смотрел на ее туалеты: полотна Судейкина!

Эти художники к нам приходили со стайкой молоденьких женщин, которые вдруг принимались порхать пестротою на иссиня-серых стенах: как колибри! Все — жены, подруги и сестры; они отличались от тех голоручек, которых водил Переплетчиков, тем, что умели держать себя;

они отличались умом от «алмазных» купчих, разбросавших свои состоянья на волосы, руки и плечи.

Был жив и умен Кузнецов, развивавший градацию экстравагантных порывов; мне помнится он в желтом, клетчатом; талия же — с перехватом; старообразное, бритое, но интересное умной игрою лицо — чуть-чуть... песье; был весел и мил Дриттенпрейс, моложавый и длинный: в очках; вид — романтика: из Геттингена. И всюду мелькал губастым таким арапчонком — немного смешной, загорелый художник Арапов; как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склоненный, как сломанный,— бледно немел Сапунов, вид имея такой, что вот-вот он опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он; и он — опустился... на дно Балтийского моря... И бледные, чернобородые греки ходили сюда — Милиоти: талантливый брат, Николай, с неталантливым, злым интриганом, Василием, нашим врагом; с другим греком года́ сухо резался здесь этот грек: с М. Ф. Ликиардопуло; бывший присяжный поверенный, черным своим сюртуком и галантными серыми брюками (черной полоской) держался «окончившим университет»; Милиоти всегда ловко дергал за ниточку Н. Рябушинского; казался красавец этот — куафером; не зубы, а — блеск; губы — пурпуры; жемчуги — щеки; глаза — черносливы; волной завитой волоса, черней ваксы, спадали на лоб; борода, вакса,— вспучена: ее не выщиплешь — годы выщипывай: очень густа! Не хватало берета с пером: валет пиковый, но — отпустивший растительность. Помню Сарьяна, который, вниз свесивши черные усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо совал свою руку, не глядя, кому он сует; был — зеленый, худой, пожираемый думой; когда морщил лоб, брови сращивались; и не знал я тогда: через двадцать лет с лишним Сарьян,— пополневший, усталый,— Армению с добротой приоткроет; и будет возить — в Аштарак, Айгер-Лич, в Баш-Гарни, в древний Вагаршатап, на Севан;[125] он мне камень живил, на снега Арарата показывал; в эти года был кофейного цвета пиджак у него. Был нелеп Ларионов, таскаемый молокососиком всею семьей Трояновских, как в люльке; откуда с большою охотой выпрыгивал он: помню длинные ноги его; высоко не летал, но — подпрыгивал, нам улыбаясь не то глуповато, не то удивленно, что так он талантлив; меня удивляла его голова: шириною — в длину, а длиной — в ширину.

С голуборозниками дружил; ненавидел меня Милиоти Василий.

Отдельно держались Досекины; Сергей скоро умер; Николай же видался года. С головы до пят мирискусник, скептически, но снисходительно молокососикам-голуборозникам палец дававший сосать, Игорь Грабарь, такой темно-розовый, гологоловый, почтенный,— ученым сатиром шутил с Остроуховым, с Брюсовым; он собирал материалы к истории памятников, тратя все средства свои на культурное дело это, метаясь по разным медвежьим углам; он являлся оттуда, хвалясь материалами; а как художник работал он мало, давая игру хрусталей, скатертей и букетов, кричавших о радости. Где-то между Поляковыми и Марьей Ивановной Балтрушайтис, роняя в костлявые пальцы лицо, локти — в ноги, ворчливо показывал свой длинный нос всей Москве из-за пальцев «московский Бердслей», Николай Петрович Феофилактов; сонливец, добряк и простяк,— постоянно искавшая и зубочисткой в зубах ковырявшая наша «весовская» цаца, рисующая одним росчерком то — козью ножку, то — башмачок; и его загогулины — «феофилулинами» кто-то раз обозвал; Поляков его выдвинул; точно поплевывал фразочками:

— «Черт...— и горький вздошек из разинутой пасти,— по-моему, весь человек есть материя!» — пасть закрывалась; клюющий нос — всхрапывал; глаза закрыты — всегда.

Ласково всех с перетиром пенсне обходил, пожимая руками обеими руки мужчин, прижимая к крахмальному сердцу их, голубоглазый блондин,— улыбающийся до ушей Середин; как к мощам, припадал к дамским пальчикам; ход по рукам — крестный ход: с перезвонами! Он длился весь вечер; кончалось уже заседание, а Середин, точно загнанный конь, отирая испарину, гнался в передней за шубами с шапкой в руке: руку жать. Он однажды вошел с разобиженным, детским лицом, сжавши губки подушечкой; и — отошел в уголочек; и тер там пенсне...— «Вы расстроены?» — Он же оком — обиженным, круглым, оленьим — метнулся: «А я — без жены!» — прокричал фистулою; и я испугался; как будто он жаловался: «Я — без носа остался!»

Зато Гречанинов — женился; так стала мадам Середина — мадам Гречанинова; и Гречаниновы стали являться; она — точно помесь гречанки со старою ящерицей; носик — клювиком; сухенькая; глазки — точно агатики или — жестокие кончики игл дикобраза; не то в черном фоне — камея желтявая; не то — «фейль морт»; 126
сердце — тоже: «фейль морт»; очевидно, ее первый муж,

Середин, прибегал от нее: отмерзать; оттого он кидался: хватать и жать руки. Второй муж ее, Гречанинов, был маленький; и — во всех смыслах; стиль музыки — помесь «рюссизма» с гнильцом модернистическим; был сладкокисл, робко-дерзок; капризно заискивал он, все присаживаясь к крупным силам; сев к Брюсову,— он модулировал, скажем, в дэс-молль; но вот — Энгель входил, мрачно-прямолинейный; глядишь — Гречанинов, став честным цедур,— перестал модулировать: «Конь... в поле пал»[127],— напевает он носиком цвета вишневого.

Лучше развалистый, вечно чудивший Желяев, садившийся — битое стекло в ухо нам сыпать; и скрябинское «Vers la flamme»[128] — оглашало «Эстетику».

Вовсе свой — Марк Наумович Мейчик, в любую минуту готовый присесть, заиграть, как и культурный и милолюбезный Игумнов.

Корещенко с Кочетовым, этим старым коням, как зениту надир,— соответствовала пара едких, сухих теоретиков музыки, дерзких насквозь: Н. Я. Брюсова и с иронической задержью молча сидевший Яворский. Как ящерка верткая, словоохотливая сестрица поэта, с малюсеньким носиком, с лбиною, напоминающей мне крепостной бастион, предлагала — научно: не переладить ли все лады — в нелады? Не построить ли нам неуряд — в звукоряде? А может,— ушами китайцев нам слушать созвучия? (А — почему не слоновьими? Большие уши!) Блестящая голо-вология! Брюсова, скалясь на «Wohltemperiertes Klavier» [129], писала статьи, волновавшие Метнеров. Молчаливый Яворский, повязанный шарфиком, не реагировал, склабясь: вот чем,— неизвестно; умом перерос даже Брюсову он, что-то медля творить из не-музыки — музыку; его учебник[130] читал еще в верстке с почтением; безвдохновительна была все ж молчаливая эта «адамова голова»; и живей была Брюсова; годы носила в кармане она «целотонную» гамму[131], чтоб, вынув ее, как завернутый клубиком метр, измерять сантиметрами — Баха, Бетховена, следуя принципам братца:—«Измерить и взвесить!»

Мой друг, Э. К. Метнер, от этого — может быть, и заболел странной формы болезнью: недомоганием ушных лабиринтов, сопровождаемым рвотой и обмороками; от целотонных гармоний он корчился; но к проповеднице их относился с сухим уваженьем:

— «Вот умница! Но — голова — не своя: костяная, привинченная».

Да — вот: что у кого; у Яги — костяная стопа, а у Брюсовой глаза — агаты блистающие; но зато — головной аппаратик работал без промахов: «ти́ки-так, ти́ки-так» — громко, отчетливо; ну, а: где мелос? Он — выкладка цифр, наименьшее кратное...

Успокаивал Борис Борисович Красин, большой, добрый, нежный: — с подревом мелодий мне в ухо; ревел, — и показывал пальцем на «рарарара́», выползающее, точно уж, из ревевшего рта: целина — непочатая эта меня освежала; он, видя меня удрученным, брал под руку:

— «Едем, Борис Николаич, — в Монголию: степь-то какая; послушаем бубен шамана!»

Какой-то из братьев его жил в Монголии; Красин, туда исчезая, являлся цветущим, басистым, коричневым:

— «Ах, как шаман в бубен бил!»

Раз воспел он Монголию, — так, что едва я туда не уехал; побег был задуман давно; но бежал — не с Б. Б., а с Тургеневой, Асей: на запад. Б. Б. добродушно подмигивал «переворотом»; он многое знал, вероятно, от брата Л. Б., роль которого нам неизвестна была.

Постоянно вертелся в «Эстетике» Л. Сабанеев, — рыжавенький, маленький-сладенький, кисленький-висленький; позже «доскрябил» он Скрябина — в книге о Скрябине[132].

Средь музыкантов «Эстетики» не было спайки: была лишь борьба точек зрения; и я говорил себе: с русскою музыкой — плохо; а Метнер во мне углублял эту мысль: и с немецкою — плохо; бывало: остановившись как вкопанный, ширит он ноздри с волчиным оскалом зубов на поклонников Листа[133], со вздутыми жилами черепа:

— «Слушайте... Нет, — каков гусь: тоже — с Листом!»

И — с бешенством:

— «Никому и в голову не может прийти подвергать сомнениям гений Листа... Но — мелодии — недостает... Но — фривольность... Но мненье о Листе такого, как Шуман... Но — пошлость... Лист звуком стучит в запертую дверь дара; он, как Мефистофель, затаскивает всю немецкую музыку — в ад: спекулянт Рихард Штраус его порожденье; ему удался Мефистофель, не Фауст, в симфонии «Фауст»; религиозное-де вдохновение? Полноте, — старчество: дряблый аббат лишь из кожи лез, чтоб обуздать в себе ухаря;[134] ведь «рапсодии» — ухарство только».

Бывало, д'Альгейм, затащив в уголок, — проповедует:

— «Saint François marchaut sur les eaux»* — вещь божественная: Лист — святой...»

Сам д'Альгейм с жадным ужасом Метнера слушал: так точно, как Метнер — Н. Брюсову; для него Метнер — тоже: работающая голова костяная!

Мне думалось: «Вот — два ума, два ценителя музыки: а — что выходит у них?» И опять возвращался к догадке своей: уже «чистая» музыка — кончилась; не «музыкальна» она у новаторов и реставраторов; Метнер же силился законсервировать в «чистой» музыке брата; и я боялся ему сказать, что с «консервами» дело не так уже просто; что — портятся; так: меня беспокоила сухость в последних творениях Н. К. Метнера; ритм стал подпрыгивать, точно надутая автомобильная шина, несущаяся в бездорожье: подпрыг за подпрыгом, исчисленным контрапунктически.

Автомобиль уже нес без дорог: шоссе — кончилось, кончилась: «чистая музыка»!

А прикладной — не нашли.

Долгобрадый, растрепанный Бобринский, муж тараторившей деятельницы[135], отбурчивал шутки космато и глухо, с собою самим кувыркаясь в углу, как большой, безобидный дельфин, в ему нужной стихии.

Приятный доцент и газетчик, в пенсне, в светлой паре, А. К. Дживилегов с хорошенькою женою являлся в «Эстетику»; в «Русском слове» писать меня звал; он был «с искрой»; он «Эстетику» декорировал; раз я попал к нему в гости, в компанию к Н. Н. Баженову, года́ считавшему нас пациентами и проводившему психиатрический стиль на беседах в «Кружке» — с ироническим скепсисом;[136] был эпикуреец и циник до мозга костей; он любил шансонетку, вино и хорошеньких дам и плевал на все прочее; в «жеманфишизм»[137] вложил пузо, как в кресло, считая: масону, спецмейстеру, мужу науки ничто не препятствует заканканировать над убеждениями пациентов; научнейшим способом проканканировал жизнь, точно мстя ей за что-то; его благодушие — злость; этот старый кадет и «француз», гроссмейстер московских масонов, отстукивавший молотком ритуальным «войну до конца», притаившийся в странах Антанты от большевиков, он едва себе вымолил право вернуться: побитой собакой. Меня — не любил; и, когда журчал в ухо, ловил на себе его злые, веприные глазки; задолго до всех Рамзиных он казался вредителем

* «Святой Франциск, ходящий по водам» — музыкальная картина Листа.

мне:[138] его взгляд точно глазил Москву, его толстые руки как бы аплодировали поплевательству.

Мне запомнился у Дживилегова этот «саван-шантан»:* сев у рояля, бренчавшего «Тонкинуаз»**, со стаканом вина, отвалясь и пропятясь всем пузом, пропятясь губами из желтых усов и покачивая головою очкастой, высвистывал он шансонетку, напоминая свинью,— ту, которая при шансонетных певицах плясала: с эстрады парижских шантанов; он появлялся в «Эстетике»; как не пустить? Даже Брюсов пускал его.

Ведь — Николай Николаич Баженов!

Обнинский, мрачневший из тени, как и не бывал; раз поднялся с запросом по поводу исключенья Меркурьевой; выслушав, успокоился: хмуро сел в тень и потух в уголке.

Был точно свой Николай Ефимович Эфрос, старинный любитель театра и вдумчивый критик; меня привлекали к нему: тишина, ум и грусть; он ходил как под бременем пошлости прессы, меня понимая и в криках, и в ярости неопрометчивой, порой взрывавшей меня на трибуне «Кружка», где снискал репутацию я «поседелого» от постоянных скандалов; вот — сядешь; а мягкая ладонь Эфроса тихо опустится мне на плечо; в ухо — ласковый, добрый, меня согревающий шепот:

— «Нельзя так наивничать... Думаете,— аплодируют с прочею публикой, так и простят? То, что вы говорили о *«них»*,— не простят, потому что есть правды, которых касаться нельзя».

Гершензон поощрял меня к резкости; Эфрос меня усмирял; он сидел на кружковской эстраде с сознаньем: есть правды, которых касаться нельзя; но и там меня тайно подбадривал он; а с артисткой Смирновой, супругой его, я поддерживал теплые связи, порой появляясь у Эфросов; когда работал я в Теоретической секции Тео[139], то просил Николая Ефимовича мне помочь; он присутствовал на заседаниях; и обсуждал все детали тогда проектируемого Театрального университета (проект писал я).

Он бывал постоянно в «Эстетике».

Шпетт тотчас завелся в «Эстетике», как только приехал из Киева вместе с Челпановым, переведенный в Москву;[140] в душе артист,— этот крепкий подкалыватель кантианцев при помощи Юма пенял: мое дело — стихи: ни к чему философия мне; с Балтрушайтисом, да и со мной,

* Шантанный ученый.

** В свое время модная пошловатая парижская шансонетка.

стал на «ты»; дружил с Метнерами; и его появленье бодрило.

Рачинский здесь плавал как рыба в воде: бил хвостом и цитатою брызгался — Байрона, Шелли, Новалиса, Данта; раз, руку протягивая над согнувшимся Метнером, севшим к роялю, он взревел:

— «Святися, святися,— брат Николае».

Семен Владимирович Лурье, член «Эстетики», смолоду нищий, мечтал стать эстетиком; он поставил задачу: для этого разбогатеть; изобрел он какой-то состав: делать непромокаемым что-то; и продал его, превратясь в богача, но погиб для искусства; средь нас он ходил, как акула, готовясь всех слопать; и вел уже переговоры с редакцией «Русской мысли», тогда отощавшей (ее засластил Айхенвальд), чтоб купить этот орган и стать во главе его; он хотел создать орган ценой ликвидации «Весов», «Золотого руна», «Еженедельника»[141], «Критического обозрения» и прочих московских журналов; он видел себя Мерилизом;[142] являясь, он скалился с ласковой хищностью черной пантеры,— такой моложавый (а было ему сорок пять уже лет), такой розовощекий: такой Мефистофель! Пенсне золотое, духи и ботиночки лаковые; сюртук — черный; и — серые полосатые брюки.

Казалось: одна из ботинок сжимает копыто козлиное; стоит об этом шепнуть,— нет Лурье: пол раздвинется, вылизнет пламя; Лурье тарарахнет в геенну: не от заклинаний, а просто стараньем «весовцев», и Метнера, и Трубецкого, и М. Гершензона,— случилось подобное нечто; был разоблачен: не Колумб, а — Пизарро.

Лурье после этого сразу смельчал до ненужного «умника», тускло писавшего; раз даже выступил он в «Доме песни»; и — сгинул. Он был лишь один среди многих, ходивших под маскою; маски — спадали; и демонические натуры, поздней обезвреженные, наносили лишь блошьи укусики; не скорпионьи; но — все ж: скорпионом зеленым поблизости ползала... Ольга Федоровна Пуцято (о ней скажу ниже); по счастью, она не бывала в «Эстетике».

Я останавливаюсь на «Эстетике»; в ней — узел встреч с представителями купеческой знати; и главное: место свиданий художников слова и кисти друг с другом; я возненавидел салоны; бывал мало в них; но в «Эстетике» был характерно представлен московский салон, процветающий всякими вкусами; это цветенье совпало с началом упадочного настроенья среди символистов; мне мода на нас прозвучала, как звон похоронный, совпав с похоронным пе-

риодом жизни моей; никогда не ругали меня с такой силой, как в этот период; взлетал к славе — Блок; я же пал в представленьи вчерашних «друзей», принимавших из моды меня; я страдал от купеческой «тонности»; этот период блистанья «Эстетики» дамами был декадансом ее и отказом моим состоять в комитете; покончивши с ним, я являлся сюда очень редко.

«Эстетика» помещалась в «Кружке»; в раздевальне всегда — суета: палки, лысины, шубы, меха; муший зуд голосов и их матовый рык; тот — в буфет, этот — на заседанье; а эта — в «Эстетику»; всходишь на лестницу, устланную сине-серым ковром, заворачиваешь в три-четыре нам отданных под заседания комнаты; те ж сине-серые стены; ковры под ногами, диванчики, кресла и столики тех же цветов: сине-серых и сине-зеленых; свет — матовый; в матовом фоне пестрь платьев, вуалей, бандо[143], «сюртуков и визиток, ...дыхание шарфов, ...свободные галстуки...»*

Озираешься: Грабарь в визитке каштановой; дама, рисуясь на синем, сидит; ее профиль — китайский фарфор; с ее пальчика ценный алмаз самопросверком блещет; летит к ней навстречу — седой херувим с перехваченной талией, позы планируя, как балерина: богач Поздняков, тот, которого годы художники все рисовали: вид — пакостный: Дориан Грей!**

Середин из дверей протирает усы; он идет грациозным взмаханьем пенсне на протянутый нос к ручке дамы, в прическе которой — пронизины бусинок; пепелоцветные волосы; платье — «гри-перль»;[146] и она что-то спросит; но он не ответит ей просто, а, точно споткнувшись о камень, наморщится и с величайшим усилием выпотевает изыск, вчера вычитанный, улыбаясь своим моргощурым, дергливым лицом. И не знаешь, кто этот двубакий старик,— академик иль... салопромышленник.

Старый Рачинский с присосом дымит, деловито и быстро жундя, точно жук под стаканом, схватив меня под руку; бросит на стуло; елозит ногами под стулом; и — лающим голосом, перегоняя слова, свои собственные:

— «Понимаешь!»

«Паф» — клубы дыма.

— «Когда,— клубы дыма,— Новалис,— паф, паф!..— Когда Гете,— паф-паф,— когда Шелли,— паф-паф! — Переплетчиков? Что он? Вот — что»,— и ногой сиганет,

---

* См. «Москва», том I[144].

** Герой романа Уайльда[145].

точно в чей-то невидимый зад; пухнут губы на дико багровом лице; тянет шею налево; рукою — направо, ногою — себе под пупок.

Трояновский, удаленький, взвивши хохол, пятя грудь, петушком, собирая лоб в складки и их распуская, летит к колокольчику, строго втыкаяся глазками в стайку девиц голоруких с открытыми шеями; шарфы, цветные дымки с них слетают.

Уже колокольчик колотится: пауза; и — удар в клавиши; видишь взлетевшую лапу с разъятыми пальцами: Мейчик повел уже уши по Скрябину, как по разбитым, дрезжащим и жалящим стеклам.

«ЗОЛОТОЕ РУНО», «ПЕРЕВАЛ»*

Я стоял перед выбором: где концентрировать силы? В «Руне», в «Перевале» ли? В первом был Брюсов; и, стало быть,— я; в «Перевале» почти не писал; Соколов, разругавшись с «Руном», достал деньги для «Перевала»;[148] но мы, символисты «Весов», не могли заполнять трех журналов; судьба обрекла «Перевал» на дешевку, когда в нем скопились поэтики, не оцененные Брюсовым; здесь же печатались Зайцев, Муратов, Грифцов, Бунин, братья Койранские, Кречетов, Е. Янтарев, Диесперов, Л. Столица, Мизгирь (Попов), относившиеся враждебно к «Весам»; и казалось: позицию здесь обретут петербуржцы; издательство «Оры» нуждалось в собственном органе.

Вспыхнула ссора меж Брюсовым и Рябушинским, который просунул свой нос в компетенцию Брюсова не без влияния В. Милиоти;[149] решили: мне остаться в «Руне», чтоб туда не внедрились враги; Рябушинский, надеясь на «ссору» меж мною и Брюсовым, звал редактировать литературный отдел; но Брюсов и я порешили, что я предъявлю Рябушинскому требование невмешательства в литературную тактику:

— «Вы понимаете,— Брюсов доказывал,— перед мешком золотым Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий, я — дело одно: мы — художники слова; а он — самодур! Одно дело — «Весы»; а другое — «Руно». Поляков, посмотрите, с каким же он тактом участвует в голо-

* «Руно» — орган художников «Голубой розы»;[147] «Перевал» — литературно-общественный журнал, редактированный Соколовым, существовал недолго; «Весы» мной описаны в «Начале века».

сованьях, боясь давленья на нас; а он — право имеет: с студенческих лет пионер символизма! Но этот «мешок» стал развязничать лишь оттого, что ему нашептал Милиоти: он «гений»-де. Тут не политика вовсе, а требованье: руки прочь от искусства!»

Решили: коли Рябушинский отвергнет мои ультиматумы, я ухожу из «Руна»; вслед за мною уходит и Брюсов; тогда мне придется писать в «Перевале», чтобы не отдавать петербуржцам журнала.

Шли переговоры; ко мне прилетел Тастевен;[150] я взбесился, узнавши, что глупый кутила на вечере, данном «Руном», сделал выговор одному из сотрудников только за то, что последний явился на вечер без всяких крахмалов;[151] тогда, не уведомив Брюсова, я написал Рябушинскому с вызовом: с него достаточно чести журнал субсидировать; он, самодур и бездарность, не должен в журнале участвовать; следствие — выход мой; Брюсов ушел вслед за мною...[152]

«Руно», мстя ему, повернулось к мистическому анархизму; нам в пику «мешок» пригласил редактировать Блока;[153] и Блок, не учтя, что наш выход есть общее заданье писателей в деле борьбы с обнаглевшим купчиной, идет на условия, мною отвергнутые (я считал их позорными); так петербуржцы ввалились в позиции, нами очищенные; в один день изменилась программа журнала, который теперь стал «народно-соборно-мистическим».

Блок?

С той поры каждый номер «Руна» посвящен его смутным «народно-соборным» статьям, переполненным злостью по нашему адресу и косолапым подшарком по адресу... Чириковых; все — «народушко», мистика, Телешев, Чириков[154], только — не Брюсов, не Белый,— в журнале, убухавшем тысячи; уже поздней Рябушинские, взяв под опеку дурацкого «братца», журнал прекратили, который и их не обслуживал (не говорю о читателе).

Блок оказался штрейкбрехером.

С Брюсовым мы все же тщились отчасти журнал упорядочить путем обуздыванья Рябушинского; Блок же использовал нашу борьбу с Рябушинским, чтоб нам насолить, объясняя аферу «идейными соображеньями», делая вид, что ему неизвестен наш взгляд на конфликт; вспоминались слова В. Я. Брюсова мне:

— «Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий — одно: в борьбе с хамом, с мешком золотым...»

Но Иванов и Блок посмотрели на дело иначе: пошли в «услужение» к хаму[155], глядевшему на редактировавших как на «служащих».

Я разразился посланием к Блоку, который ответил мне... вызовом;[156] год же назад он отвергнул мой вызов; теперь вызывал меня — он; стало быть, я попал-таки в цель с обвиненьем в штрейкбрехерстве и с упором на то, что они в социальной борьбе против капиталиста нарушили этику.

Об этом ниже.

Недоразумения с «Руном» были тем тяжелей для меня, что в него замешали и Метнера, жившего в Мюнхене; ему послали статейку мою: «Против музыки»; и меломан разразился статьею, «Руном» напечатанною с наслаждением, против меня,— вслед за выходом;[157] Метнера так на меня натравил Тастевен, что тот стал опрокидывать письма с полпуда — одно за другим; над статейкой моей воздвигал Гималаи; едва помирились мы; это сражение с другом на мне отразилось больнее, чем спор с Рябушинским; хотелось воскликнуть: «И ты, Брут!»

Борьба с петербуржцами переместилась в Москву, став борьбою «Весов» и «Руна». Надо было удерживать и «Перевал» от враждебных к нам действий; я ставил условие С. Соколову: журнал должен быть очень строго нейтральным к «Весам»; для этого я записал в «Перевале», следя за подбором рецензий; тут мне удалось создать группу союзников; сам Соколов недолюбливал Брюсова; он дружил с Зайцевым, П. П. Муратовым, Стражевым, «антивесовцами»; но он считался со мною; и даже когда в «Перевал» петербуржцы прислали А. Мейера, чтобы склонять «Перевал» к их воинственной литературной политике, то Соколов выдал мне их намеренья; с Мейером я объяснился; ему стало ясно: друзьям его не было места в отделе статей и рецензий; последние часто писалися мной, Ходасевичем, Муни*, Петровской.

Я вынужден был очень часто являться в редакцию; душное лето окрашено этими явками; часть «перевальцев» «Весы» ненавидела; и среди них — Стражев, Зайцев, Муратов, редакторы «Литературно-художественной недели»;[158] за спинами их притаилися Бунин, Глаголь с «Бюро прессы», которое поставляло московские фельетоны в провинцию;[159] так: по приказу «Бюро» В. Я. Брюсов мог

* Псевдоним С. В. Киссина.

быть атакован в не менее чем в двадцати пяти органах: сразу!

Глаголь пригласил Соколова к работе в «Бюро»; я через Соколова давил на «Бюро»; на три месяца я был прикован к сиденью в редакции; сколько потрачено сил на удерживание петербуржцев и на умаление влияния Бунина, Зайцева; но помогали справляться со сложностью моего положенья Петровская, Ходасевич и Муни-Киссин; первая была еще недавно женой Соколова; она имела влияние на него; с ней мы носились, как няньки с больной; меланхолия обуревала ее; очень часто четверкой бродили по пыльным московским бульварам; присоединялся поэт Янтарев, унывавший, что служит корректором он; нас тянуло друг к другу; я был как развалина — после двухлетних терзаний; В. Ф. Ходасевича бросила его жена[160], богачка, плененная тем, что из Питера к ней прилетел херувимом Сергей Константиныч Маковский; не знаю, за кем прилетел: не за сотнями ль тысяч ее? Вскоре он основал «Аполлон»*,— может быть, на «Маринины» деньги?[161] В. Ф. Ходасевич остался без денег и бедствовал; Муни старался его приподнять; сам страдал беспричинною мрачностью он.

Хороши были четверо!

Муни, клокастый, с густыми бровями, отчаянно впяливал широкополую шляпу, ломая поля, и запахивался в черный плащ, обвисающий, точно с коня гробовая попона, с громадною трубкой в зубах, с крючковатою палкой, способной и камень разбить, пятя вверх бородищу, нас вел на бульвар, как пастух свое стадо; порою он сметывал шляпу, став, как пораженный громами небесными; и, угрожая рукой небесам, он под небо бросал свои мрачные истины; все проходящие — вздрагивали, когда он извещал, например, что висящее небо над нами есть бездна, подобная гробу; в ней жизнь невозможна; просил он стихии скорей занавесить ее облаками и нас облить ливнем (прохожие радовались: ясен день); Муни ж, плащ перекинувши, вел нас вперед по Тверскому бульвару невозмутимо, как будто он рта не растискивал; вел он нас мимо кофейни, в которой сидела компания: Зайцев, Муратов, Кожевников, меланхоличный горбун и писатель; а с ними зачем-то присиживал бактериолог, доцент Худяков.

Муни мрачною мудростью, соединенной с нежнейшим отзывчивым сердцем, сплотил в эти месяцы нас; он проси-

---

* Петербургский художественный журнал; стал выходить с 1909 г.

живал днями у Н. И. Петровской, порой к ней врываясь — отнять дозу морфия; палкою в пол ударяя, кричал на нее:

— «Как, опять?»

Отнимал — и сидел, принимая больные проклятия, рушимые на косматую голову; так же отчитывал он Ходасевича; его одного Ходасевич боялся; когда ж Муни, этот беспрокий правдивец, покончил с собой, Ходасевич, как снежная куча,— затаял[162].

Я к Ходасевичу чувствовал вздрог; он, возникнув меж Брюсовым и меж журналом «Искусство»[163], покусывал Брюсова, не оценившего сразу его; скоро он оказался при Брюсове; вновь отскочил от него; он капризно подергивался между Зайцевым, Брюсовым и Соколовым лет пять, перебрасывая свои сплетни из лагеря в лагерь; он, со всеми дружа, делал всем неприятности; жил в доме Брюсовых[164], распространяя семейные тайны о ссоре родителей с сыном; но всем импонировал Ходасевич: умом, вкусом, критическою остротой, источающей уксус и желчь, пониманием Пушкина; трудолюбивостью даже внушал уважение он; и, увы,— во всех смыслах пошел далеко Ходасевич; капризный, издерганный, самоядущий и загрызающий ум развивался за счет разложения этики.

Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; вздев пенсне, расчесавши проборикoм черные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял нас уменьем кусать и себя и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпионика[165].

Делалось жутко.

Попав в «Перевал», Ходасевичу в лапы попал; он умел поразить прямотою, с которой он вас уличал, проплетая журенья свои утонченнейшей лестью, шармируя мужеством самоанализа; кто мог подумать, что это — прием: войти в душу ко всякому; он и входил во все души, в них располагаясь с комфортом; в них гадил; и вновь выходил с большой легкостью, неуличаемый; он говорил только «правду»; неправда была — в придыхании, в тоне; умел передергивать — в «как», а не в «что», клевеща на вас паузой,— вскидом бровей и скривленьем сухого, безусого ротика. Только гораздо поздней мне открылся до дна он[166].

Бывало, умел с тихой нежностью, с «детскою» грустью больного уродика тихо плакать о гибнущем в нем чувстве чести; любил он прикинуться ползающим в своей грязи из чувства подавленности перед ризами святости: делался

даже изящным, когда, замерцавши глазами, с затягом сухой папироски, с подергом змеиной головки, он нервным, грудным, перекуренным голосом пел, точно страстный цыганский романс, как он Пушкина любит за то, что и Пушкин купался в грязи; и купается Брюсов; и он, даже... я, как все лучшие и обреченные люди.

Многие крупные люди прощали ему очень многое за его роль, на себя ежедневно натягиваемую; и физически он внушал жалость: то он покрывался фурункулами; то — от болей он корчился (туберкулез позвоночника)[167].

Но в 1907 году в «Перевале» таки мне помог он.

А что касается до врага в «Перевале», которому мешали «Весы», то, пожалуй: им был только Стражев; не мог он простить, что «Весы» отвергали его как поэта; и вооружал против нас — Зайцева, Муратова и Грифцова.

Борис Константинович Зайцев был и мягок и добр; в его первых рассказах мне виделся дар; студент «Боря», себе отпустивший «чеховскую» бородку, по окончании курса надел широкополую шляпу, наморщил брови и с крючковатою палкой в руке зашагал по Арбату; и все — стали спрашивать:

— «Кто?»

— «Борис Зайцев, писатель...»

— «Куда?»

— «Да туда же, куда идут все страстотерпцы писатели!»

Зайцев же видом своим демонстрировал, что в его участи есть что-то горькое.

По существу, он был еще «Борькою» (по слову жены), которому хотелось сигать, похохатывать, дрыгая ногой: совершенный козельчик! Зачем этот иконописный лик с профилем точно вырезанным из пахучего кипариса? Словом,— лик юбиляра!

— «Гм,— да: оно — конечно, знаете,— перекладыванье ноги с обнаружением профиля: — Оно — конечно».

И на челе — морщина: как пришивная! Щеки — розовые, молодые; каштановая бородка выдавала козельчика! Казалось: возьмет да сигнет: с бодом и с брыком.

А вместо этого голову скорбно склонит; всем кипарисовым профилем провопиет:

— «Гм;— того: Чернышевский, Белинский, Толстой, Достоевский!»

И таки... сигнет: с передрыгом.

Так...— почему ж такой вид? Не потому ж, что Андреев хватил по плечу:



А. Белый и С. М. Соловьев.
На столе портреты В. С. Соловьева и Л. Д. Блок. 1904 г.

Дом в усадьбе Дедово. На садовой дорожке — О. М. Соловьева. Из собрания Н. С. Соловьевой



Сергей Соловьев. С этюда О. М. Соловьевой

А. А. Блок. С портрета работы К. А. Сомова. 1907 г.



Шахматово. С фотографии 1890-х годов



А. А. Блок (по второму мужу Кублицкая-Пиоттух), мать поэта. Варшава, 1880 г.

Л. Д. Менделеева, жена А. А. Блока

Арбат, 55. Дом, в котором жили Соловьевы и А. Белый. Фотография В. Молчанова. 1972 г.







А. М. Ремизов. 1900-е годы



В. Э. Мейерхольд. 1900—1901 г. (?)

«Красное домино». Рисунок А. Белого. 1911 г. (?)



1905 г. Москва в баррикадах



М. А. Кузмин. 1912 г.



З. Н. Гиппиус



Е. П. Иванов. 1900-е годы



Н. И. Петровская



Н. С. Гумилев



В. Ф. Ходасевич

К. А. Эрберг (Сюннерберг), Ф. К. Сологуб. А. А. Блок и Г. И. Чулков. Фотография Д. С. Здобнова. 1908 г.



Эллис (Н. Н. Кобылинский)



А. Белый. 1906—1907 г.

Редакция издательства «Гриф»:
К. А. Бальмонт, А. А. Курсинский, М. А. Дурнов

«В окрестностях Петербурга». Акварель
К. А. Сомова



В. Я. Брюсов

Сестры Тургеневы: Наталия, Татьяна и Ася.
Из собрания Н. С. Соловьевой



В. Ф. Коммиссаржевская
в «Чайке» А. П. Чехова. 1896 г.



Обложка романа А. Белого «Серебряный голубь» работы П. Уткина



Н. Н. Волохова. Фотография с автографом. 1909—1910 г.



Николай Аполлонович Аблеухов
(роман «Петербург»). Рисунок
А. Белого 1911 г. (?)

Отец и сын Аблеуховы после
взрыва бомбы (роман «Петербург»).
Рисунок А. Белого. 1911 г. (?)



— «Переталантище!»

Стражев — справа, Сергей Глаголь — слева, схватив, повели из кафе, где любил он посиживать, по Тверскому бульвару; и — ну подкидывать: выше облака. На облаке сев, должен был иметь лик состоящего «во пророцех».

Пошло захваление Зайцева «пика», вогнавшее этого юного добряка и в «страдальца», и в огромного «светоча»; поволокли по колдобинам литературной политики; а когда «Весы» на резкий захвал ответили резким отхвалом[168],— Борис Константиныч, с прегорьким упреком поставив нам свой кипарисовый профиль, воссел перед нами в обиженной, нас осуждающей позе; меня иной раз поза злила; и злило, что предпочел он дешевую похвалу себе строгой, придирчивой критике таких ценителей, как В. Я. Брюсов.

Он — не был враг; но за ним — приседали «враги»; Грифцов, в эти годы еще совсем юный, конечно,— не в счет; ходил тоже он в позе «врага» вместе с П. П. Муратовым, тихим, почтеннейшим и талантливым тружеником по истории итальянского ренессанса;[169] последний не видел действительности.

Эту тройку вполне безобидных людей, преумело использовав, выставили вождями «третьей волны символизма».

С Зайцевым ладил я; но нас стукнуло лбами; Стражев, ставший редактором еженедельной «Литературно-художественной недели», в которую Зайцев просил меня дать фельетон: об Андрееве, в номере с фельетоном моим напечатал выходку против В. Брюсова;[170] его заметку прочел в «Перевале»; и как назло вслед за тем появился Муратов, ближайший сотрудник газеты, которому я очень резко сказал: из газеты я вынужден выйти; он, выслушав резкости, мирно ответил:

— «К чему такой гнев?»

Но, взяв шляпу, ушел; я же сел писать Стражеву официальное уведомленье о выходе, квалифицируя резко поступок газеты, намереваяся завтра письмо передать в руки членов редакции; утром же я узнаю: В. И. Стражеву передано об уходе моем; чтобы предупредить мой удар, меня экстренно уведомляют: в газете я не состою, так как я при свидетелях-де оскорбил всю редакцию (слова Муратова)[171].

Этот поступок был явной уже передержкой; разрываясь от гнева, понесся в редакцию; влетаю: четверка сидит за столом; рядом — чай и печенье; за чаем — Пуцято глазами ест; а под глазами — круги темно-синие (несим-

патична была); не подавая руки никому, вынимаю письмо; собираюсь читать его вслух; Стражев, вскакивая, заявляет: редакция не допускает до чтенья письма; вижу: Зайцев сидит, опустивши глаза; он — терзается.

Наперекор им — читаю свое обращение к Стражеву, квалифицируя резко его передержку; и вижу его почерневшее вовсе лицо[172].

Дочитываю, оставляю письмо, ухожу; тут вдогонку бросается Зайцев; меня настигает, схватив за рукав; я ему объясняю, что я уважаю его; он, одною рукою держа меня за руку, другой — к лицу, начинает трястись от рыданий[173].

Месяца через четыре растаяли было стены, возникнувшие между нами; и — вновь инцидент: из-за... Стражева.

Я напечатал статейку против авантюристов-писателей, их обозвавши «обозною сволочью»* (я разумел «кошкодавов»);** но кто-то из сплетников, ерзающих между нами и группою Зайцева, распространил клевету, будто я разумел Зайцева, Стражева; с Зайцевым мы объяснились мгновенно.

Через неделю в «Кружке», увидав Ходасевича, севшего рядом со Стражевым, я, подойдя к Ходасевичу, Стражеву руку протягиваю; он в ответ — очень громко:

— «Вы оскорбили, Борис Николаич, меня; я руки вам подать не могу».

Громко, чтоб *тоже слышали*,— произношу, что меня возмущает внесенье в статью мою смысла, которого не было в ней; и с вызовом руку вторично бросаю В. Стражеву:

— «Вы убедились, надеюсь, теперь, что ошибочно истолковали статью мою?»

Он сажает меня с собой рядом и просит еще раз таким образом высказаться; но — публично; и я обещаю; но после встает затруднение, в какой форме сказать, что и Зайцев, и Стражев по смыслу статьи не... «обозная сволочь»?

А случай представился, скоро, когда выступал я в «Кружке»; за зеленым столом со мной рядом сидел Виктор Стражев; тут я заявил, что меня удивляет, как грубо осмыслили мою заметку, прочтя обвиненье по адресу литературных подонков как инсинуацию на группу лиц, уважаемых мною; но как же сконфузился я, увидав: эстрада, вся, повернулась на Стражева; он стал багровым от этого.

---

* Конечно, я раскаивался потом в том, что допустил в статейке такие грубые слова[174].

** См. в предыдущих главах.

Не повезло и на этот раз, как не везло с «перевальцами».

Но явленье мое в «Перевал» и проход сквозь него был моим появленьем в газеты; вошел в «Перевал» я, а — вышел в газеты.

АВАНТЮРА С ГАЗЕТАМИ

Из «Перевала» я попадаю в газеты: совсем неожиданно; под впечатленьем рассказов моих о Жоресе меня начинают упрашивать дать фельетон о нем; я пытаюсь в простой очень форме дать два фельетона; они имеют успех;[175] мне предрекают: моя настоящая-де профессия — писать фельетоны; немного позднее один из фельетонистов, обычно бранивший меня, говорит:

— «Ведь как странно: когда вы в «Весах», то вас мало читают; книги ваши — малопонятны; когда же вы пишете в газетах, то становитесь до того интересны, что увеличиваете нам тираж газеты; нет,— вы не осознали себя: в вас темперамент крупного фельетониста».

Мне было понятно, в чем сила газетной моей «популярности»: пишучи для газет, я не работал над стилем, отдавая черновики; если бы их отработать, то фельетоны мои бы отпугивали читателя.

Газетная карьера моя одно время взлетела вверх; за первый фельетон получал я десять копеек за строчку; через полтора месяца я уже получал пятьдесят копеек за строчку; через два месяца по состоявшемуся соглашению с тогдашней марксистской газетой «Столичное утро» (Валентинов, Виленский и т. д.) за четыре фельетона в месяц мне обещали платить по 50 коп. за строчку при двухстах рублях постоянного жалованья (независимо от гонорара).

Но окончилась быстро карьера газетчика: газета социал-демократов в 1907 году — явление ненормальное; она допускалась градоначальством, как... дойная корова; через каждые два дня она штрафовалась; когда же успех «Столичного утра» перерос все ожидания,— газету захлопнули; редакционную группу выслали из Москвы;[176] Участие мое в «Столичном утре» длилось не более месяца;[177] это была единственная газета, в которой мне было незазорно писать; по закрытии ее писать стало негде; хотя фельетон мой был напечатан и в «Русском слове»[178], хотя «Утро России» и соглашалось печатать меня, однако я не мог выносить атмосферы этих газет; я почувствовал

глубокую растленность буржуазной прессы; и не мог поставлять газетам им нужного от меня материала; я шел в газеты со своим материалом: шел популяризовать литературную платформу «Весов» в борьбе их с литературной дешевкой; и мне удалось провести несколько фельетонов, которые я считал принципиальными.

В те месяца круто падали нравы прессы; принципиальным сотрудником желтой прессы, в моем понимании, мог стать лишь вполне беспринципный человек, как Влас Дорошевич. Я, настроенный угрюмо и мрачно, относился с глубоким презреньем и к возможной своей газетной славе, и к материальным благам, которые могли бы отсюда ко мне притекать; с начала 1908 года я угрюмо засел у себя, не откликаясь ни на зовы писать в газетах, ни на предложения читать лекции; последних было все еще слишком много у меня; но я иногда еще прибегал к кафедре, чтобы быть в контакте с живой молодежью; газетной же атмосферы вынести я не мог; с 1908 года мое участие в газетах — всегда редкий эпизод; такими эпизодами бывали появления фельетонов в «Утре России»[179].

Позднее пробовал я писать в «Киевской мысли», потому что, попав в Киев, я встретился с Виленским и Валентиновым, там осевшими после разгрома газеты в Москве;[180] они затащили меня к Кугелю, вырвавшему у меня фельетон; несколько фельетонов появились в «Киевской мысли»;[181] но и здесь сотрудничество быстро пресеклось. Еще позднее ряд дорожных фельетонов появился в газете «Речь»;[182] пытался писать я и в эпоху войны антимилитаристические фельетоны; но меня уведомили, чтобы я писал осторожней; опять сотрудничество мое иссякло[183]. Уже перед самой революцией эпизодически я стал давать материал и в «Русские ведомости»[184], и в самую левую тогда в Петербурге газету: «День»[185].

В 1907 году несколько месяцев я жил газетною жизнью; первые газетные выступления мои случились в оригинальной газете, в момент распада в ней левокадетских устремлений; газета покатилась налево под град ее изничтожавших ударов со стороны генерал-губернатора Гершельмана; я не помню даже первоначального названья газеты; в эпоху моего сотрудничества она меняла названия каждые три дня; и выходила, чтоб вновь закрыться; из вереницы заглавий лишь помню: «День», «Час», «Минута»;[186] издатель ее был чудак, Мамиконян[187], ухлопавший в нее все свое состоянье, которое он выплатил штрафами; он был в газету влюблен; ухлопав последние деньги,

он не имел даже квартиры; в редакции жил, ел и спал: на драном диванчике; угрюмый, бородастый, большеглазый, не походил на издателя он; газета его была, по тогдашней оценке, лева; секретарем редакции был крошечный, белокурый хромец, по фамилии Голобородько; он мрачно выдаивал из меня фельетоны, печатая все, что бы я ни писал; он утверждал себя турецким подданным; я его не оспаривал; а редактировал несколько позднее остатки этой странной газеты с переменным заглавием старик Белорусов; я ладил с ним, мало понимавшим в литературе, но мне почему-то верившим; он чувствовал в моей злости нечто; мы сходились с ним на отвращении к провокации: он — к политической; я — и к литературной.

При мрачном Мамиконяне, турецком подданном Голобородько и старике Белорусове работалось в газете легко и свободно, пока меня не похитили из жалких развалин ее тогдашние социал-демократы, затевавшие «Столичное утро».

Не помню, как я в газету попал; но кажется,— не без Валентинова (Вольского); это был живой, бледный блондин, обладавший и даром слова, и умением будоражить во мне вопросы, связанные с марксизмом;[188] он не был типом газетчика; скорей — доморощенного философа; мне казались странны его безгранные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма; но я ценил в нем отзывчивость и то вниманье, с которым он выслушивал тезисы мной вынашиваемой теории символизма; он писал в те дни книгу, за которую ему так влетело от Ленина, назвавшего позицию этого рода эмпириосимволизмом;[189] мы с ним договаривались почти до согласия в конечных темах наших построений; но Валентинову я подчеркивал, что позиция его развивается за пределы марксизма; и — в сторону символизма; он, в свою очередь, силился мне доказать, что напрасно я держусь за слово «символ», так как я на три четверти марксист; символизм-де во мне — ни при чем. Прочтя поздней знаменитое сочинение Ленина, я подумал: прав-то был я, а не Валентинов в оценке его тогдашней позиции.

Во всяком случае, Валентинов был острый, увлекательный собеседник, живо относившийся ко мне и Брюсову;[190] его-то усилиями и наладилась связь меж «Весами» и «Столичным утром»; литературный материал газете поставляли сотрудники «Весов».

В редакции газеты я завязал отношения с другим человеком, с которым не раз позднее встречался: с Петром

Абрамовичем Виленским; бледный, грустный брюнет, с черными остановившимися глазами, этот дельный и честный газетчик, прекрасный техник (тогда — меньшевик, поздней — большевик), представлял интерес: с каким болезненным анализом вперялся он в конфликты сознания; «то время» ведь для газетчика представляло собою сплошной конфликт; Виленский остро переживал вопросы совести, заостряя их до проблем романов Достоевского; с Валентиновым связывали меня теоретические интересы; Виленский интересовал переживаниями ужаса и гадливости перед разгулом желтой печати и всяческой провокации.

Когда газету захлопнули и я, вернувшись из Петербурга, узнал, что редакция выслана из Москвы, для меня стало ясно: на пути моем как газетчика вырастают сплошные конфликты с совестью; я надолго отказался от возможности реально работать в газетах; а между тем редактор «Утра России», Алексеевский, постоянно тянул меня в свою газету[191], не стеснявшуюся в средствах; ничто не препятствовало мне утвердиться в этой «богатой» газете; препятствовал ее дух; помню, как Алексеевский пытался мне внушить правила газетной этики, искренно не поняв, почему после этих внушений я тихо ретировался (сотрудничество мое ограничилось раз в год издали посылаемым фельетоном на мою, а не их тему); он посылал меня вместе с Андреевым в Ясную Поляну к Толстому, прося дать силуэт Толстого;[192] но я — отказался поехать; мои силуэты в те дни были модны; но сделать Толстого объектом моды казалось мне неприличным.

К этому времени я многое уже рассмотрел в мире газет; и этот мир в сознании моем сплелся с азефовщиной, уже повисшей в воздухе;[193] когда через год оказался я в Киеве и наткнулся на П. А. Виленского[194], то обрадовался ему, как родному; для меня встал период, когда все еще можно было работать в газете. Помню, как мы с ним бродили по пригороду, среди приднепровских оврагов, а он признавался, что и ему хочется спрятаться от тогдашнего поганого мира, в котором он должен работать; казалось, глядя на бледное его лицо и глаза его, вперенные перед собой: этот — не типичный газетчик, а скорее исследователь глубин падающего сознания; он мог бы быть и судебным следователем от подпольщиков, и писателем школы Достоевского; он никуда внешним образом не бежал: лишь глубоко забронировался; под маской бесстрастия работало с еще большей остротой его сознание

аналитика; позднее еще он был первым человеком, которого встретил я в Петрограде по возвращении из-за границы: перед революцией;[195] он оставался газетчиком в «маске»; я его попросил растолковать, почему в газетах печатают бред; с прежней грустной улыбкой он меня повел в ресторан, где и объяснил: в моих выступлениях из-за границы выявил я себя Дон Кихотом, пытаясь провести в фельетонах своих хоть тень правды:

— «У нас правдою называют ложь!»

Скоро из Москвы я опять приехал на несколько дней в Петроград; Виленский сердечно предоставил мне свое помещение; несколько дней, у него проведенных (его целыми днями не было, меня тоже), выявили мне и его пораженцем; тут только понял я, до какой степени он, собственно говоря, есть подпольщик; и мне показалось: его миссия в газетах — взрывать тогдашнюю патриотику, но — изнутри; он мне прочел свою повесть, сюжетная ось которой — конфликт между тем, что считается правдой, и тем, что правдой считает он.

Я потому задерживаюсь на Виленском, что он, как и Н. Е. Эфрос,— типы глубоко страдавших в старом режиме газетчиков, не закрывавших глаза на то, чем была газета вообще, не какая-нибудь газета, а всякая газета как таковая, в то время как ряд других газетчиков делали вид,— что все газеты — дрянь, за исключением «нашей»; эти же двое прекрасно знали: апология «нашей» газеты есть апология собственной возможности каждую минуту потерять совесть; оба мучительно разрешали вопрос, как быть газетному деятелю в такое поганое время; и, по-моему, разрешали достойно; Эфрос находил выход в невмешательстве и в отстранении от себя всего, что лично могло его замарать; а Виленский с каким-то искаженным отчаянием силился разлагать газетную подлость тактикой Маккиавелли под маской наружного бесстрастия. Позднее передавали меньшевистски настроенные: Виленский-де перебежал к большевикам, изменив убеждениям; должен заявить: он первый человек, которого я встретил в Петрограде после долгой жизни на Западе, был тогда уже внутренним большевиком и убежденным пораженцем.

Открылась тогда ужасная роль буржуазных газет; каждый газетчик, с которым встречался я, мне объявлял, что он — представитель шестой части света; но эта часть открылась воочию мне черным интернационалом, которого принцип есть беспринципность; последнюю видел я всюду; газеты покупали фельетонистов, писателей, собирали дани

с фирм; в тот период русская пресса окончательно перешла на содержание к капиталистам; и, наконец, я ж видел тип среднего газетчика того времени, откуда он брался; во-первых,— все те из поэтов, писателей, которые лезли к нам в первую очередь, объявляя себя сторонниками символистов, но не печатаемые нами за отсутствием таланта, делались рецензентами, мелкими критиками и главным образом газетчиками; я видел, как талант шустрости, инсинуаторства и злого издева составлял быструю карьеру в газетах; таков Ал. Койранский, некогда объявивший себя символистом и написавший никудышные стишки; он выявился как модный газетчик-прохвост; Янтарев, отвергнутый «Весами», стал газетчиком;[196] Бурнакин, потерпев фиаско с литературой, стал откровенной собакою, выпускаемой «Новым временем»; полное ничтожество в поэзии, Соколов-Кречетов обрел силу в кумовстве с желтой прессой;[197] Стражев, ничтожный поэт, умело и зло кусался в газетах; к 1907 году самым ядовитым типом «врагов», сводивших личные счеты с нами в газетах, были те именно, кто объявлял себя четыре года назад нашими союзниками, но кого мы не могли печатать в «Весах».

Хорош был контингент и старых газетчиков; с невероятною легкостью перепрыгивая через десять препятствий, они из вчерашних улюлюкателей делались нашими пламенными защитниками, чтобы через три дня опять закусаться; сколько раз П. Пильский объявлял себя сторонником символистов; и, наобещав десять фельетонов в защиту нас, принимался за прежнее; мотивы к перемене — мелкая месть; раз явившись в «Весы» проездом через Москву, Пильский выклянчивал у «Весов» солидный куш денег без всякой мотивировки; получив отказ, отомстил фельетоном. Так же до десяти и более раз переметывался и публицист Ардов, то враг нового искусства, то его «покровитель»; Янтарев, несколько месяцев сидевший у меня в кабинете с томными вздохами всепонимания, предательски всадил нож в спину Эллиса, оплевав его в дни, когда Эллис был оклеветан[198]. А Любошиц из «Новостей дня», в 1903 году цинично и громко оплевывавший декадентов с эстрады «Кружка», что думал, когда через два или три года с видом матерого знатока символизма при мне посмеивался над «рутинерами», не понимавшими нас? Недалеко ушли от них в смысле беспринципных перескоков оттуда-отсюда скольките.

Но самым беспринципным гаденьким пакостником казался мне маленький, черняевенький Сергей Яблоновский из «Русского слова»; этот человечек обладал истинным талантом вони; он подкрадывался со сладеньким видом; но так подло ущипывал, выбравши поболючее место, что несколько раз мне хотелось ему закатить затрещину; этот обгаживал со знанием дела; я не вменяю ему, что в начальной газетной травле меня он стяжал пальму первенства систематическими доносиками; я не могу ему простить — вот чего: в 1907 году я читал лекцию об искусстве будущего; после нее я отвечал по запискам; Яблоновский, видя контакт меж молодежью и мною, забеспокоившись о судьбе своих недавних доносиков на меня, вылез на кафедру: прокричать мне свой слюнявенький панегирик; в дальнейшем он не отказывался ни от этого панегирика, ни от гнусностей; в зависимости от падения или повышения моего курса он применял то ту, то другую систему ко мне; наконец его Иудушкина тактика вызвала небывалый скандал в «Кружке»;[199] после моего горячего слова Яблоновский вылез на кафедру, повернув ко мне свое морщавенькое лицо, и, пощипывая бороденочку, он слащаво зашепелявил мне:

— «Борис Николаевич, это я — не о вас...»

И тотчас же в сторону публики понеслись такие гадости по адресу якобы не меня (а на самом деле меня), что я почувствовал, как упаду в обморок не от обиды,— от вони; когда же он, прерывая поток своих мерзостей, подаваемых рукой семистам слушателям, повертывался ко мне и со слюнявой ласкою шепелявил: «Борис Николаевич, это я — не о вас»,— и снова в публику, то я,—

должно быть,

действительно лишился сознания, потому что я очнулся тогда, когда уже другой, неуравновешенный и даже душевно больной (пациент Баженова) писатель Тищенко, опрокидывался на меня с какими-то дикими воплями; и вот что произошло: не помню, как вскочил, и не по адресу Тищенко, а вони Яблоновского, от которой только что пришел в себя, ударив кулаком по столу, проорал:

— «Молчать! Вы лжете! Возьмите слова обратно».

Не слыша, как зал, вскочив, гудит, как председатель, Кречетов, звонит колокольчиком, я с ревом ринулся, опрокидывая стулья, через вскочивших газетчиков, на несчастного Тищенко, потрясая руками:

— «Молчите! Подлец... Я оскорблю вас действием!»

Но сзади меня схватили чьи-то могучие руки; я ока-

зался схваченным Бердяевым; в зале был рев; видел несколько поднятых стульев; публика, разделясь, бушевала; подбегали друг к другу, крича друг другу; часть аудитории бросилась на эстраду; кто-то вскричал: «Занавес!» Эстрада задернулась; за ней стоял рев; кто-то протягивал мне стакан с водой; какие-то плотным кольцом обступили Тищенко, думая, что я все еще ринусь к нему; но Тищенко — ни при чем; просто я, впав в бессознание и очнувшись, когда Яблоновский уселся, реагировал лишь на него; меня, кем-то уведенного к лестнице, нагнал сломя голову за мной бросившийся Гершензон:

— «Борис Николаевич, стойте! Вы правы. Но вы должны взять назад слово «подлец»; извинитесь пред Тищенко; это не он, а — Яблоновский».

Точно облили ушатом холодной воды; я понял, что ударил «подлецом» не по адресу; подтащили к Тищенко; я взял назад «подлеца»; меня довез домой не то Эфрос, не то Русов.

Скандал был чудовищен; испугались все; в газетах о нем — ни звука;[200] градоначальник обратился к «Кружку» с требованием: прекратить подобные инциденты; странно: сочувствие оказалось на моей стороне;[201] Сергей Иванцов, директор «Кружка», встретясь со мной, долго тряс руку, советуя не бывать в этом недостойном месте (на заседаниях); а Н. Е. Эфрос грустно вздохнул в ухо:

— «Я же предупреждал вас! *Они* вам не могли простить слов о продажности прессы».

Месяца три назад я горячо говорил с трибуны «Кружка» и, жестом показывая на сидящих на эстраде, коснулся продажности девяти десятых нашей тогдашней прессы; в ответ — рукоплескания; рукоплескали с эстрады жалкие наймиты капитализма; пилюлю мою проглотили; но стали ввертывать черносотенный смысл в мои слова (кадетов нельзя было трогать): я-де против свободы высказываний, против шестой части света; я и был против этой «свободы» (разнузданности капитализма и его прихвостней); симпатии меня влекли к газетчикам типа Виленского; он же был выслан в те дни; вместо «Столичного утра» водворилось желтое «Раннее утро»[202], смимикрировавшее заглавие марксистской газеты на ее развалинах (последняя имела успех); но в «Раннем утре» я отказался сотрудничать (оно почти что украло один из моих фельетонов);[203] из «Раннего утра» теперь планомерно в годах меня ели до революции.

Газетная деятельность сплетается для меня с выступлениями в «Кружке»; выступления эти считал я демонстрацией отношения «Весов» к тем или иным литературным явлениям; не все ведь являлись в «Кружок» с жаждой скандала; молодежь приходила порою, чтобы конкретней понять нашу линию; были в кружковских беседах и поучительные моменты; например: многие думали, что Айхенвальд в своих «Силуэтах»* ведет нашу линию; между тем: для нас Айхенвальд был явлением жалким; его субъективные афоризмишки выявляли лишь дурной вкус; Сакулин, тоже не близкий, был ближе, хотя бы тем, что был свободен от дотошного мимикри нас; поэтому: я счел своим долгом подать руку Сакулину в его выступлении против слащавостей Айхенвальда; или: надо было отчеркиваться от Трубецкого, Алферова, тогда модных, что я и делал, демонстрируя перед Москвой нашу линию; тяжелая служба, за которую мне доставалось как никому, потому что всюду я говорил от «Весов», т. е. от самого себя, но под флагом «Весов»: мне Брюсов верил; меня посылали всюду приветствовать юбиляров от имени редакции; эти приветствия были мною использованы как манифесты; так я выступал на чествовании Коммиссаржевской, Художественного театра и т. д.; я брал на себя эти миссии, чтоб демонстрировать свою платформу перед учащейся молодежью; своею ж функцией я считал прения с Бердяевым, Булгаковым, Ивановым и Шестовым в религиозно-философских обществах главным образом потому, что они посещались молодежью, которую угрожающе увлекали в недра далекого мне православия; с подобного же рода целью являлся я и в университетское Общество искусства и литературы; и здесь познакомился с активными деятелями из студентов — в том числе с Н. Н. Русовым и с А. М. Эфросом[205], считавшим себя лидером молодежи; юный Эфрос стал являться ко мне; в квартиру мою ломились студенты, курсистки и всякие искатели правды; они внезапно вынырнули из провинции; и теперь окружили нас согласием и несогласием; все это задавало порядочную работу; я получал много писем с очень конкретными рассуждениями о символизме; средь этих писем запомнились остротой и умом ряд посланий какой-то юной курсисточки, не пожелавшей мне открыть свое имя; поразили: острота

* Выпуски литературных силуэтов[204].

ее интересов, высокая культурность, философская формулировка вопросов; этой корреспондентке отвечал с большою охотою я; наконец, она пригласила меня прийти к ней и к сестре, открыв свое имя и фамилию; я, избегавший идти к неизвестным, на этот раз нарушил привычку.

Так я познакомился с Мариэттой Сергеевной Шагинян[206].

Так же я познакомился с несколькими курсистками; и это знакомство в годах стало постоянным общением.

Вообще: с 1907 года стал слагаться мир вне меня, состав которого мне не был вполне известен; это — слушатели моих лекций; их было много; до сей поры ко мне подходят и представляются мне: «Ваш слушатель». В этом новом для меня мире я стал чувствовать неожиданную поддержку себе; друзья-слушатели не имели еще влияния; они не писали в газетах; но они доказывали, что новая линия вкусов, идей, наперерез критике, идет к нам на помощь; я на нее откликался, пока были возможности; в моем кабинете сидели студенты, курсистки и даже рабочие, явившиеся, так сказать, с улицы; я познакомился в эти дни и с рабочим писателем, М. Сивачевым; запомнился бойкий и юный студентик, с узенькою бородкой; он юркал всюду, представительствуя и кипятясь; он развивал мне, махая руками:

— «Вы — с нами; вы — «наш»; но почему вы придерживаетесь тактики Брюсова? Брюсов — стареет; вы ж всем темпераментом с нами. Смотрите,— грозился он,— как бы вы не консервировались в ваших тонных «Весах».

В этом темпераментном юноше не увидели бы позднее характерной выдержки; юный студент был Абрам Маркович Эфрос[207].

Таких было много; иные из них вдруг затаскивали меня в свои кружки для докладов по литературе, теории и истории символизма; кружки эти я посещал; и охотно работал в них; для одного только не было времени: для художественной работы; я носился как в вихре: из кружка в кружок, с выступления на выступление; бывали юмористики, когда разговор о смысле жизни переходил в попытки завязать флирт; курсистки слали мне и объясненья в любви, и приклеенные к письмам свои портреты; однажды явилась курсистка в аршинной шляпе, с каким-то жезлом, перевязанным розовой ленточкой, который она гиератически втыкала в пол; затворив за собою дверь и подняв вещие руку, она объявила, что зовет меня к просторам исканий из «душных» стен; и в подтверждение своих слов сняла

шляпу и распустила волосы, почти склонясь ко мне на плечо и ожидая — чего? Я, сразу увидев, что она играет роль ибсеновской таинственной женщины, постарался ей доказать, что я не Сольнес и не Левборг;* и она ушла, обидевшись на мою трезвость; позднее из писем Блока узнал я, что и к нему являлась какая-то «Гильда»;** может быть,— эта же, а может,— иная;[209] «Гильды» десятками появлялись в те дни; большинство из них — провинциальные девочки, явившиеся на курсы, увлекшиеся всем новым; и захотевшие «дерзать»; все это было смешно и наивно.

С моею «Гильдой» я встретился еще раз; она оказалась подругой знакомой курсистки; она сопровождала нас после лекции, разинув рот на меня и полагая, что в простенькой шапочке и в вуальке я не узнаю меня посетившей декоративной «Гильды»; в старенькой черной юбчонке, она всю дорогу бежала по грязи, прислушиваясь ко мне с простым, милым выражением; и я думал: «Ну и к чему был тогда маскарад?» Но делал вид, что в ней не узнал «Гильды».

Иногда меня ужасали «курсичьи» письма: начало — «во здравие», вроде: «Я занимаюсь логикой у Б. А. Фохта; но теория знания Канта мне не говорит; символизм ближе» и т. д. И вдруг — «за упокой», вроде неуместной характеристики своей личности (казалось бы,— при чем личность, коли ты — о «логике»): «Люблю солнце, Шопена, Пшибышевского: ем шоколад!» Подобные характеристики себя самое при посылке открыток, изображающих голых красавиц,— внушали и смех, и отчаяние:

— «Логика — логикой; а голая женщина-то — при чем?»

Приходилось всякое претерпевать с психопатками; иные воображали, что меж нами что-то особенное, после невинного разговора о Канте; иные без приглашения появлялись в деревне, где я гостил, ставя в неловкое положение.

Уже гораздо поздней бывали ужасные случаи,— вроде появления писем с извещением: «Для тебя я на все готова». И — подпись. Засим — появление на все готовой... особы:

— «Вы кто?»

— «А я вам писала».

И незнакомка называла фамилию; тогда следовал быстрый ответ с моей стороны:

* Герои Ибсена[208].
** Героиня драмы «Строитель Сольнес».

— «Ступайте откуда пришли».

— «Какой вы филистер».

Это еще с полбеды; а вот с Леонидом Андреевым был случай почище: явилась какая-то «дерзновенная»; и, оказавшись с писателем вдвоем в кабинете,— так и бабацнула: ее цель — создать сверхчеловека, т. е. младенца; для этого ей надо участие Леонида Андреева; и тотчас же предложила заняться этим созданием — сию же минуту, чтобы не терять даром драгоценного времени. Испуганный писатель позвал на помощь жену, при появлении которой «дерзновенная» пришла в ярость; и обратилась к жене Андреева с «солнечной речью:

— «Ступай, гадина,— ты не понимаешь, что к орлу своему прилетела орлица...»

Эдакого, по счастью, не случалось со мной; я вменял себе в правило: со слушательницами быть педагогом; и — только.

Но и тут бывали недоразуменья; когда я женился, ко мне явилась одна из бывших моих слушательниц, воображавшая, что меж нами было что-то особенное; особенное было лишь то, что данная особа как женщина *особенно* мне не нравилась; и я, при появленьи ее, выбирал для разговора особенно *постные* темы, чтобы ей дать понять: ни, ни, ни — ничего *эдакого-такого!* Как бы то ни было, она явилась ко мне и мне подчеркнула, что я изменил своим убежденьям.

В чем дело?

Оказывается: я женился, а-де проповедовал ей аскетизм.

Ничего подобного!

Я только боялся, что она вообразит себе, что между нами есть что-то особенное.

Но, в общем, подобные чреватости отношений были все ж редкими исключеньями; перевешивали честные, простые отношения с роем тогдашних курсисток, ко мне приходивших; учителя их ругали нас; они же приставали к ним:

— «Вы говорили одно, а Белый основательно утверждает...» и т. д.

Раз на собраньи курсисток педагогических курсов постановили привлечь меня к преподавательскому персоналу; для официальных лекторов это был удар по носу; меня приглашали им в пику; я, в принципе, согласился; перепу-

гался лектор Айхенвальд; и таки постарался проект этот провалить.

В студенческих кружках я объяснял детали нашей литературной платформы как связанной с философией символизма.

Особую роль играли публичные лекции; в них я брал широкие, культурные темы; они имели успех; имели б и больший, если бы я не читал, а свободно импровизировал, как потом; импровизаций в ту пору боялся я, стремясь к точной формулировке; я чувствовал, что выступаю от «партии» символистов; увы, я — ошибался; «сопартийцам» не было никакого дела до деталей формулировок.

Лекции начались тотчас же по возвращении из Парижа; сперва я повторил свою парижскую лекцию: в открытом заседании Московского религиозно-философского общества, оставшись в одиночестве, как в Париже; там на меня напали социал-демократы; здесь — религиозные философы;[210] после нее я читал публичную лекцию в Политехническом музее, заглавие которой забыл; тема ее — русские символисты;[211] на этой лекции и произошел инцидент, оставшийся незамеченным:[212] N хотела в меня стрелять; и вдруг, переменив намеренье, сделала попытку выстрелить в Брюсова; но он вовремя выхватил из рук ее револьвер; их окружила кучка друзей, которая и скрыла это покушенье от публики.

В апреле 1907 года в том же помещении я прочел лекцию «Искусство будущего»; она имела столь крупный успех, что ее повторили (с прениями); тогда и выступил Яблоновский с панегириком мне.

Осенью ездил я в Киев, выступить в Киевском оперном театре с декларацией от имени символизма (перед вечером нового искусства); и после повторил для курсисток лекцию «Искусство будущего», имевшую и здесь крупный успех[213]. Осенью я выступал в «Литературно-художественном кружке» с лекцией о театре;[214] ко мне подошел режиссер Малого театра Ленский и высказал свою полную солидарность с позицией, занятой мной; удовлетворение его понятно: я выступал с критикой модернистических попыток разрешить проблему театра (против Вячеслава Иванова); этим я косвенно защищал Малый театр и его классические традиции, к недоумению модернистов; мой тезис: либо — к Шекспиру, либо же — откровенно займемся театром марионеток; но превращать в марионеток артистов, злоупотребляя стилизацией, нельзя (те годы полемизировал я и с тенденцией тогдашнего Мейерхольда).

Я читал публичную лекцию и о Фридрихе Ницше;[215] на эту лекцию пришел Тимирязев; встретив его потом, я осведомился: не обидел ли его мой подход к Дарвину; он с изящной светскостью подал реплику: «О, что вы,— нисколько!»

Тут же выступал я на открытии «Дома песни» тоже с лекцией о песне[216], которую пением иллюстрировала Оленина-д'Альгейм;* вскоре потом уехав в Петербург, прочел в Тенишевском зале две лекции: «Искусство будущего» и «Фридрих Ницше»;[217] в Москве слушала меня главным образом молодежь (не писатели); в Петербурге публика была иная: мир литераторов и «общества»; были все, кого я знал, начиная с Дягилева; и даже явился бывший главнокомандующий Линевич[218].

Скоро с этими выступлениями я начал бороться, от времени до времени уступая своим устроителям; в Москве я читал лекцию о настоящем и будущем русской литературы (в Политехническом музее); и об искусстве (заглавие не помню); первую лекцию пришлось два раза повторить; на одной из них выступил с возражением приехавший в Москву Мережковский; вскоре я повторил свою лекцию в Петербурге;[219] и что-то прочел в Петербургском религиозно-философском обществе (с прениями); выступал и в театре Коммиссаржевской с лекцией о Пшибышевском;[220] позднее читал две лекции в Соляном Городке;[221] на этих лекциях я впервые попробовал импровизировать; и с тех пор уже никогда не прибегал к заранее написанному тексту, ибо ясно увидел: «читать» лекцию не имеет смысла: функция лекций — живое слово и жест.

Позднее техника лекционного искусства стала для меня предметом познания; я не хочу сказать, что я холодно манипулировал осознанными приемами. Просто: произнесение лекции (а не «чтение») есть источник такого опыта, что о нем можно писать трактаты.

Когда свободно отдаешься импровизации, отвлекаясь от аудитории, тогда-то именно ее и видишь насквозь; я всегда изумлялся удесятеренью внимания к мелочам в процессе обдумывания деталей изложения: с кафедры. Видишь не массу, а несколько сот отдельно сидящих личностей; каждая как бы переосвещена лучами, бьющими из твоих же глаз; видишь нюанс выражения каждого слушателя; видишь его характеристику; и мгновенно ее учитываешь, мотая на ус и сообразно с этим видоизменяя сле-

---

* См. «Начало века».

дующую же свою фразу; и знаешь, кто — в усилии тебя понять, а кто — в отказе; видишь схватку недоумений, согласий и возмущений; видишь группы людей по степени понимания тебя; и молниеносно в душе подытоживаешь разнообразие всех этих к тебе отношений, чтобы, где нужно, изменить стратегию доводов и стиль речи.

И тупость не понимающих ни слова всплывает перед тобою, как пробка в воде.

Кроме того, видишь, кто следует за тобою сознаньем, кто — чувством; без намерения ты устраиваешь экзамен слушающим тебя; иного знакомого долго бы не раскусил; а вот он явился с лучшими намерениями тебя послушать; и — ты узнаешь: он — набитый дурак; и его общенье с тобой на почве идеологии — мимикри хитрого глупца: себя не выдать; если бы слушатели мои знали, как иной раз я знакомлюсь с их подноготной на лекциях в минуту, когда они и не подозревают, что я знаю об их присутствии в зале, многие встали бы и ушли, чтобы не опозорить себя; другие поняли б, что и без сочувственных писем сочувствие их вошло в душу.

Обычно то, что скрывается в разговоре, опирающемся на правила наживной цивилизации, всплывает в иные минуты передо мною, когда я говорю; и ряд «масок», обычно надетых на многих из слушателей, слетает с лица; человек ведь в молчании выдает себя; в разговоре он заговаривает зубы; а вынужденное часовое молчание перед тобою вскрывает не одну тайну чужой души; как калькомани, слушатель сводится тобой с ему положенного места и прилипает к стеклу микроскопа, в котором разглядываешь ты его, глядя мимо, махая руками и произнося с жаром слова, не имеющие видимого касания к такому анализу.

Лектора, читающие по рукописи, отрезаны от этого интересного опыта: снятия личин со сколь многих.

Тут ведь лектора ждет ряд сюрпризов в опознании распада среднего уровня аудитории на ряд уровней; а такое познание приводит и к самопознанию: лектор если не педагог, то — никто.

Например: ты всходишь на кафедру с определенным планом: то-то и так-то сказать; начинаешь говорить вслепую; через пять минут перед тобой точно взвит занавес; занавес — абстрактное представление о среднем составе аудитории; все среднее в твоем представлении разлетается, как загораживающие горизонт облака; из-под него выступают отдельные лица: друзей и врагов, тупиц и ум-

ниц,— тех, для которых слова твои мудрены, и тех, для которых слова твои слишком просты; эти последние перегнали тебя; первые — отстали; отдельные лица тобой безотчетно соединяются в психологические коллективы, в которых утоплено представление о средней, единой аудитории; такая — отсутствует; ты имеешь определенный ландшафт,— тот, а не этот, с горами, с провалами сознаний, с различными степенями ума, культурности, сметки; что сталось с первоначальным планом твоим? Он — недействителен ни для одной из перед тобой сложившихся групп; он действителен для средней статистической цифры; но такой перед тобой нет: перед тобою живые люди; для одних этот план — перелет; для других — недолет; ты должен в момент действия перефасонить всю лекцию; изменить и распределение материала, и способ подачи его (читающие по рукописи отрезаны от такой самокритики).

Первые пять минут ты ищешь среднего отношения к твоей мысли, как «за» или «против»; энергия лекции уходит на ощупь; ты, пожалуй, болтаешь зря; но это болтанье — предлог; под ним — действие ощупи; ощупавши в целом аудиторию, ты ищешь опорных пунктов в отдельных, тебя понимающих личностях: ты чалишь к ним; читаешь им; они тебе — остров в неизвестном море, полном сюрпризов; став на остров твердой ногой, ты уже уверенно вглядываешься в тебя обступающую стихию; собственно говоря: этот момент и есть начало лекции; все, что до него,— предварительная разведка; мой дефект в том, что у меня такая ориентировка берет минут двадцать; поэтому начало лекций моих — всегда абстрактно; не то курсовая лекция, где состав аудитории постоянен, изучен; там не приходится говорить «в кредит».

Ознакомившись с ничего друг с другом не имеющими общего коллективами тебе поданной аудитории, ты начинаешь работать над каждым отдельным коллективом посвоему, меняя методы; то разжевываешь простые истины от тебя отстающим, порой нагоняя скуку на успевающих, с риском восстановить их против себя; но зато испытываешь ни с чем не сравнимую радость, когда отсталые вдруг гурьбою повалят к тебе; на сонно-враждебных лицах замелькают улыбки, закачаются головы в такт с твоей мыслью; для лектора этот трудом добытый союз с «непонимающими» его — пир.

Вот почему часто приходится мне повторяться на лекциях, до двадцати раз твердя то же, но разной манерой; это — примериваешь способ подачи какой-нибудь одной

мысли; или подаешь ее разным коллективам, приноравливаясь к языку каждого; иногда, потерпевши фиаско, перемобилизуешься на ходу, ибо лекция для меня есть всегда бой с непонимающими, в котором понимающие — резерв; но бывает и так, что резерв начинает скучать повторами очевидностей; видишь людей с позеленевшими лицами, зевающих от скуки; на лицах написано: «Довольно, поняли давно!» Они не видят, что именно в эту минуту непонимавшие с улыбками, так сказать, повалили к тебе; иногда «тонкая» публика приходит слушать «тонкие» мысли; эти думают, что кафедра лектора есть арена для красноречия и фейерверка афоризмов; а кафедра — тяжелая работа с плугом, которым распахивается сознание не понимающих лектора. И только покончив с непониманием, бросаешься афоризмами догонять опередивших тебя; тут, бросив понявших, жаришь на афоризмах; и мыслишь намеками; «понимающие» любят сами доканчивать твою мысль; предоставив им это удовольствие, видя, что и они удовлетворены, возвращаешься к отставшим.

Кроме того: надо знать, когда аудитория в целом утомлена логикой; тогда, бросив логику, надо покачать слушателей, как на качелях,— на мягких, мало уму говорящих образах: и тогда говоришь от сердца; или же улыбаешься шутками; лектору-педагогу надо уметь говорить не только к сознанию, но и к подсознанию; сознание лектора — удесятерено; ему в миги чтения порой виден самый процесс становления его мысли в отдельных слушателях; это накладывает на него неожиданные задания; он должен статическое равновесие лекционного плана превратить в динамическое равновесие; для этого ему нужно в процессе чтения быть и артистом, проводящим в лекции ряд ролей; он должен выступить по отношению к врагам и гневным Отелло, и хитрым Яго; он может погоревать над упадком вкуса, как Лир над Корделией; но эти роли должны где-то встретиться в композиции целого, чтобы в ролях-вариациях не утонула бы тема; лекция не есть прочтение отвлеченного хода мыслей, а главным образом его постановка, подобная постановке пьесы с заданием, чтобы в последних сценах, абзацах лекции совершилось бы массовое действие: вступление на кафедру тебя слушавшего коллектива, гласящего уже твоими устами; конец лекции, вырастающий как итог опознания твоих мыслей, проведенных сквозь слушателей и к тебе возвращенных, порою для тебя неожиданен; в нем ты, резюмируя отклик ауди-

тории, порою превышаешь себя самого; аудитория тебя инспирировала[222].

И порою ощущаешь крах, подобный провалу постановки.

Лектор в течение каких-нибудь трех часов переживает все стадии произрастанья семян: распашку, посев, выращивание колоса, цветенье и созреванье плода, чтобы в конце лекции вкусить нечто от плода, который приносит ему сдвинутая с точки косности аудитория; и плод этот сладок; и связь с аудиторией — таинственна; и не раз я испытывал радость, читая где-нибудь несколько лекций подряд; радость в том, что в ряде последующих лекций часть аудитории первой лекции вернулась к тебе; иные из слушателей сопутствуют всем твоим лекциям; ты обретаешь новый дружеский круг, личности которого тебе неизвестны.

Вот что нудило меня много сил отдавать лекциям, всегда нарушавшим писательскую работу и даже вытравившим из души несколько книг; и между прочим трактат о символизме; последний не написан; но в ряде лекций была дана постановка его[223].

Я — не скорблю.

Говоря о лекциях, следует упомянуть о причинах, их вызвавших; они, во-первых, давали мне свободу в форме высказыванья; и в «Весах», и в газете я был стиснут размером; «Весы» — журнал карликовый; были и другие причины, которые временами тащили на кафедру; на вечера, лекции, чтения, устраиваемые публично и в частных квартирах, смотрел я как на повинность; эти вечера проводились якобы с «легальной» благотворительной целью; на самом деле сборы шли в пользу тогда нелегальных организаций; так иные мои публичные лекции и вечера устраивались военной организацией большевиков (на нужды революции, ушедшей в подполье); вот главная причина необходимости вылезать из-за письменного стола и являться на кафедру; в этой единственной форме помощи революционному делу выявлялось мое сочувствие революции; но чтения в пользу военной организации при великолепно поставленном шпионаже имели и риск; но был стимул к тому, что я порой шел на лекции: через силу; многие левонастроенные писатели охотно в те дни отбывали эту повинность; я же подчеркнуто держался с левыми после того, как буржуазия мне показала свою изнанку: и сидением в мамиконяновской газете, и участием в «Сто-

личном утре», и отстранением себя от постоянного сотрудничества в кадетских газетах.

Не помню, со сколькими устроителями, связанными с «нелегальными», я имел дело; их было много; они являлись и исчезали бесследно; помню черненького студента технического училища, который одно время устраивал мои вечера; помню культурного экономиста, Семена Осиповича Загорского, который что-то устраивал в пользу заключенных; он работал в меньшевистских организациях; не помню постоянно менявшихся барышень-устроительниц; то одна, то другая из них садилась или пропадала бесследно; кроме этого текучего состава помню двух устроительниц лекций и вечеров в 1907 и 1908 годах: А. С. Тинкер и О. Ф. Пуцято; первая более держалась вдали; вторая подчеркнуто всюду шныряла с видом томной модернистки, занятой собой; я ее видел: и в «Кружке», и у Зайцевых (в квартире последних она, кажется, временно жила);[224] поздней обнаружилась ее истинная физиономия: и жене Зайцева пришлось ехать в Париж для дачи объяснений Бурцеву; О. Ф. Пуцято была уличена, оказавшись провокаторшей;[225] Зайцевы были потрясены; дружить с провокаторшей — значит: и на себя бросить тень; Бурцев долго допрашивал В. А. Зайцеву; провокаторша выбрала себе недурной обсервационный пункт: в квартире Зайцева толпились писатели, считавшие себя левыми: и символисты, и полусимволисты, и бытовики; с многими из них я в те дни отчаянно воевал; счастье мое, что я держался вдали от квартиры Зайцева; стенные уши не могли слышать высказываний, которые слышали стены моего кабинета (например, сочувствие крайнему активизму).

Обе устроительницы были от большевистских организаций; Анна Семеновна Тинкер — от боевой; а Пуцято — не знаю точно от какой; след А. С. Тинкер пропал для меня к концу 1908 года; в 1932 году я с ней встретился неожиданно для себя как с супругой В. Д. Бонч-Бруевича;[226] мы вспомнили «минувшие дни»; только тогда объяснилось мне бесследное исчезновение А. С. из квартиры, в которую я ходил по делам лекций; А. С. должна была скрыться в итоге деятельности Пуцято.

На мне Пуцято отразилась неприятнейшим инцидентом с полицией, из которого я едва выкрутился; открылось теперь, почему Эллиса мучили обысками; и даже брали в Бутырки; не понимаю, почему не хватали меня, как и ряда писателей, имевших с Пуцято общение; последняя бывала и в «Перевале»; думаю, что в ее агентурных пла-

нах мы, участники вечеров, играли роль червячков для приманки рыбки; рыбкою же могла быть молодежь (курсистки, студенты); до времени, вероятно, она берегла свои «жертвы»; вдруг уличенная, оказалась уже вне сферы охранки; во всяком случае: полиция знала, что я сочувствую революции; но, вероятно, не знала, в чью пользу работал я; имя мое было модным; меня, очевидно, не торопились трогать; я, скоро это сообразив, стал с особенной осторожностью относиться к являющимся устроителям, если не знал досконально их: разоблаченье Пуцято и потрясающее разоблаченье Азефа достаточно убедили в том, что явление к нам из «подполья» в те годы — на 40% явление охранного отделения; обнаружилось, почему сборы с нескольких лекций моих были полицией конфискованы; между прочим: и сбор с лекции «Искусство будущего», устроенной Пуцято; помнится, как эта последняя влетела ко мне, поразив бледностью и синими кругами под глазами, не имевшими никакого дна (эти глаза не внушали доверия мне и прежде); взволнованным голосом она предупреждала, что и ко мне могут нагрянуть с обыском,— вероятно, для того, чтобы в нашей среде не возникло сомнений на ее счет; помню волнение матери, упрекавшей Пуцято в неосторожности; и помню выражение оскорбленности на лице Пуцято, державшейся с аффектированным благородством.

Уже поздней в памяти моей вырастает квартира А. С. Тинкер, в которой не раз я бывал (Триумфальная-Садовая, дом Пигит), зная, что квартира — ход в нелегальную катакомбу; но я не знал, что немного позднее лечивший зубы мои доктор Дауге — другой ход: в ту же катакомбу; за стеною комнаты, где он сверлил мои зубы, происходили ответственнейшие совещания большевистской партии[227].

Провал подпольной организации, произведенный Пуцято, был очень чувствительный; средь писателей толка Зайцева не на шутку переполошились; дело доходило и до третейских судов;[228] но в Париже выяснилась непричастность зайцевской группы к преступленьям Пуцято. А были моменты, когда один глядел на другого, переживая ужас: не предатель ли перед ним; я косвенно оказался прав в резкой полемике против мутной воды, в которой плавали иные из модернистов; за полемику мне от всех доставалось, кроме Гершензона и Белорусова: ведь в «мутные воды» заплыла-таки провокаторша.

Провокаторами кишела Москва.

Неизвестно откуда явившийся лектор, имевший успех, бегал с визитною карточкою по всем лекторам; забежал и ко мне, прося быть оппонентом; он наткнулся у меня на П. д'Альгейма; после его ухода д'Альгейм предупреждал:

— «Про него ходят слухи, что его уличили в провинции в том, что его миссия устраивать в прениях инциденты и этим выявлять пред охранкою молодежь, которую убирают потом».

Я тем не менее пошел на лекцию подозрительного господина,— не оппонировать, а предупредить нескольких знакомых курсисток об этом «типе», чтобы они в случае чего не шумели и предупредили публику; увидев в зале шумную обычно курсистку, я просил ей шепнуть, чтобы она сообщила своим подругам: не шуметь в случае инцидента; исполнив «миссию», я демонстративно вышел из зала под носом лектора; аудитория была предупреждена; «скандал» не удался; но после лекции к мной предупрежденной курсистке на улице подошел неизвестный субъект и спросил ее иронически:

— «Что вас просил передать Белый?»

Вскоре ее «посадили»; в Москве разнеслась молва, что новоявленный лектор — лектор из охранного отделения; и след его простыл из Москвы; вскоре, будучи в Киеве, его встретил я фланирующим на Крещатике.

Лекции и вечера в пользу «организации» устраивались фиктивно от моего имени; я подписывал несколько листов белой бумаги, на которой фактические устроители писали, что надо; за меня они сдавали отчеты полиции о сборах и прочем; техники устройства этих вечеров я не знал.

Вот что произошло: А. С. Тинкер организовала литературный вечер в пользу военной организации большевиков; я подписал белые листы в свое время, забывши о них; вечер прошел удачно; но Тинкер исчезла с моего горизонта; прошло семь месяцев; в это время вонью над всею Россией лопнул Азеф;[229] я прекратил свои лекции.

Вдруг является квартальный надзиратель; и, к моему удивлению, просит немедленно сдать полиции отчет в вечере, имевшем место полгода назад; какой отчет? Я и не подозревал, что есть такие отчеты; квартальный дал мне отсрочку в два дня; тотчас же по его уходе я бросился в квартиру Тинкер, сетуя, что она меня подвела; мне отворила неизвестная брюнетка; и объяснила: организация провалилась; одни — схвачены; другие — бежали; о делах моего вечера ничего точного она не может сказать, но может дать адрес одной из барышень, причастных к уст-

роению вечеров: надо к ней идти с черного хода: ее родители не знают о причастности дочери к организации; я так и сделал; барышня, выскочившая на кухню ко мне, лепетала испуганно, что и знать не знает, и ведать не ведает ни о каких отчетах, прося меня скорее уйти, чтобы родители ее не накрыли со мной (родители ее, видно, были буржуи).

Я понял: провал — серьезен; А. С. либо бежала, либо сидит; отчета о лекции или нет вовсе, или попал он в охранку. Я тоже подлежу ответственности; и я пошел к знакомому мне юристу: изложил ему казус, прося дать совет, как вывернуться; он был кадет; он мне доложил: меня могут привлечь по двум пунктам: как мошенника, присвоившего себе деньги, или как политического; в последнем случае — арест, ссылка; и кисло меня проводил со словами:

— «С этим шутить не любят!»

Что делать?

Не без волненья я ждал квартального; когда он явился, то я прямо ему заявил: отчетов я никогда не сдавал; это проделывали мои помощницы, барышни, которых я даже и фамилий не знаю и адреса их; они — мои слушательницы. Квартальный, понявший, в чем дело, насупился, мымыкая что-то, напоминающее о сочувствии моему положению:

— «Вы — молодой человек... Эх...— махнул он рукой, подымаясь.— Если дело зацепится в градоначальстве, то — плохо; а если у нас в участке»,— и он посмотрел на меня. Я ему сунул в руку: и он ушел, не обещая, не угрожая.

Этот инцидент от матери я, конечно, скрыл; и недели две ждал «дорогих гостей»; они — не явились ко мне; но у Эллиса, тогда моего друга, был обыск.

С тех пор при редких своих явлениях к матери с налоговыми квитанциями любопытный квартальный лез в мой кабинет, садился в кресло и начинал горько жаловаться на свое несчастное положение (служба в полиции) и на режим вообще; я, конечно, держал язык за зубами.

Лишь в 1932 году из разговора с А. С. Бонч-Бруевич (бывшей Тинкер) я узнал, что провал — дело рук Пуцято.

Характерно: спрос на лекции мои шел слева; с разгромом остатков организаций пресеклись лекции; являлись устроители, с которыми я боялся иметь дело; вскоре никто не просил меня читать лекции; «нелегальные» устроители, вероятно, сидели в подполье; и кроме того, в чаду огарничества и в жирах буржуазного веселья мне было душно;

салоны покинул я, затворясь у себя; у меня создалось впечатление, что и читать-то некому; реакция додавливала все лучшее; ряд личных горестных переживаний, ползших из прошлого (в частности, новые неприятности с Блоками), усугубляли душевный мрак; господствовал скепсис; в уединении я сочинял стихи, потом вошедшие в «Урну»:

Заснул — проснулся: в сон от сна.
И жил во сне; и тот же сон,
И мировая тишина,
И бледный, бледный неба склон;
И тот же день, и та же ночь;
И прошлого докучный рой...
Не превозмочь, не превозмочь...
Кольцом теней, о ночь, покрой![230]

«Не превозмочь» — лозунг дней; не превозмочь прошлого; чувство уныния — последствия операции (обескровленность); я разочаровался даже и в литературной тактике, которой недавно еще отдавался; я с горестью видел: на течении, мной любимом, наштамповывается ерунда случайными людьми; и ерунда пройдет в будущее под флагом символизма.

Никогда не был я так стар, как на рубеже 1908—1909 года; меня занимали, как игра в шахматы, игры в сплетения отвлеченных понятий; я отдавался анализу кантианской схоластики, в нее не веря и тем не менее ей отравляясь; как на шахматные турниры, ходил я на философские семинарии; а после писал иронически:

Ряды прославленные лбов...
С ученым спорит вновь ученый[231].

Так — период жизни, начатый с горячего желания пропагандировать «credo», окончился игрою в понятия; и из-под этой игры я искал того, на кого бы мог опереться; и вдруг — неожиданно ко мне позвонил Михаил Осипович Гершензон, с которым до этого времени я не был знаком.

МИХАИЛ ОСИПОВИЧ ГЕРШЕНЗОН

Встречи с М. О. Гершензоном начались с ноября 1907 года;[232] его как литературоведа я очень чтил; но его я боялся; он мне представлялся высоким и тучным, в очках, провалившимся в кресло, обитое прочною кожей,— посередине огромного кабинета; он потрясает се-

дой бородой; у него лицо Натансона, эсера; брезгливо обнюхивает издания «Скорпиона» с единственной целью — сказать: эти книжки, книжонки, книжоночки, взятые вместе, не стоят и четверти строки Пушкина; одно стихотворение Огарева их укладывает на лопатки; если этот сердито-презрительный Гершензон, написавший прекрасные книги, читает «Весы», то читает с единственной целью — воскликнуть:

— «Какой это ужас!»

Таким я увидел почтенного критика.

Раз раздается негромкий звонок: и горничная просит в переднюю; было утро еще; я оканчивал туалет; кое-как застегнутый, все же выскочил я — и едва не сбил с ног маленького, чернобороденького господинчика, лет, может быть, около пятидесяти, может быть, сорока, может быть,— тридцати пяти, с очень черной, густою курчавой бородкою; заросшие щеки; густые брови дико нахмурены, образуя на лбу строптивую складку; он стоял, глубоко на лоб нахлобучив барашковый колпачок; но и в колпачке оказался он ростом всего до бровей мне; на его коричневом, смуглом личике перепучились не губы — сливы, не закрытые вниз загнутыми усами; его небольшой, изогнувшийся нос и два пристальных глазика, защищенных очками, стреляли смесью досады с растерянным перепугом; очки же его с черным ободом мне напомнили колеса от комиссаровой брички, с которыми их сравнил Гоголь;[233] пришлось нагнуться, чтобы его разглядеть; от этого сделалось мне конфузно: так грозно и так недоверчиво метнул он на меня взгляд снизу вверх; будто он, перепутав свой адрес, забежал не туда; но, забежав, решил стойко испытывать все угрожающие неприятности, проистекавшие из этого досадного факта; он, точно защищая себя от меня, бросил грозным рывком (так пускают парки паровозы):

— «Пф... Пф... Гершензон... Заведующий «Критическим обозрением»...»

И тотчас же заторопился словами и мотом головки, блистая очками на пуговицы моего пиджака, одною рукою всучившись в карман пальтецо, а другой, сжимающей книжку, рубя по груди моей; казалось мне, будто всплескался, всплевался вдруг закипевший кофейник, с усилием намеревавшийся выкинуть вместе с душистой кофейной струей и черную гущу; я ж — растерялся; явление Гершензона ко мне взволновало меня; растерялся же я оттого, что он растерялся; но, растерявшись, он покрас-

нел; покраснев, рассердился; рассердясь, вздернул черную головку в барашковом колпачке; в лопотании горловых, низких звуков, бьющих из рта от сердца, а может быть из «подложечки», я долго не мог разобрать, чем же я, собственно, перед ним провинился; и отчего так взволнован он; вероятно, он кипятился желанием скорее пролиться струею горячего кофе, чтобы быть снятым с огня: удалиться стремительно; горячий кофейник, закупорившись у носика гущею, не струит, только дрожит и капает в чашку, хотя переполнен до края; после же сразу хлынет душистым даром; так и маленькая фигурка, рубившая своей книжечкой меня по груди, сперва заявила сознанию моему о себе только гущей взволнованных звуков:

— «Я тут рядом... Пф... Пф... Живу... Гершензон... Так вот я и... пф... пф... зашел... Редактирую «Критическое обозрение»...»

Вдруг:

— «Не написали бы вы, Борис Николаевич, мне о книге Чулкова?»[234]

Этою фразой он так и хлестнул в меня, как кофейник струей; лицо его задрожало, как лучиками, морщинками; вот тебе и угрожающий! Угрожающий вид — просто робость: он был то застенчив, то дерзок; продолжая цепляться за пуговицы моего пиджака, привставши на цыпочки, чтоб до меня дотянуться, он приткнулся ко мне блеском двух огромных очков, и заработали у лица моего большие, темные, точно взбухшие губы:

— «Вы можете высказаться так, как хотите; так, как в «Весах»... Пишите все!»

И — откинулся, смерив меня снизу вверх, сжавши толстые губы; и жаром обдал одобряющий пых из широких ноздрей.

Тут я принялся пред ним извиняться, не понимая и сам, в чем же именно; он же, вскипев, рассердясь неизвестно на что, прокричал, отскочив от меня и грозя мне рукой своей:

— «Делаете большое, культурное дело: разоблачаете распущенность».

Я от этого даже присел: за «большое культурное дело» от всех получал я лишь град обвинений:

— «Да разве так пишут?»

— «Не говорите мне: Белый совсем исписался».

— «Его рецензии о Чулкове ведь верх неприличия!»

Тут же строжайший, взыскательнейший Гершензон, которого я так заочно боялся,— стоит и кричит на меня:

— «Очень хорошо пишете!»

Я, от растера, пустился было в объяснения; и запорол просто чушь,— что мог бы писать и иначе в «Критическом обозрении»; я могу-де писать и серьезней; но был оборван:

— «Этого не надо: главное, пишите крепче... Чем резче, тем лучше... Имеете право на это...»[235]

И опять рассердясь, освирепев, покраснев, стал поплевывать, кипя, как кофейник; горлышко вновь закупорилось; я, перетерянный и взволнованный этой лаской (я понял: свирепость его — форма ласки), пустился стаскивать с него пальтецо, чтоб ввести в кабинет; он, оттолкнув меня и окончательно обозлясь, залопотошил большими губами, что времени нет; и сунул адрес; и — был таков: точно унес он чужие калоши, их скрыв под пальто, и боялся погони, пустился из двери стремительно пересчитывать ступени лестницы; я вышел за ним; и увидел подпрыгивающий барашковый колпачок все ниже и ниже; и думал: у этого почтенного деятеля темперамент воистину негрский, а прыткость мальчишеская.

Такова была первая встреча моя с незабвенным исследователем и знатоком русской культуры.

— «Вот тебе и Гершензон!»

То есть — не тучный, не белобородый; и не — Натансон, а... кофейник: вскипел, выплеснул кофейный свой кипяток; и — кофейник убрали; точно вкусив ароматного «мокко», стоял и растерянно улыбался с оставленной книжечкой «Критического обозрения» для руководства о размере рецензии. Так естественный жест Гершензона — дарить, быть кофейником, в чашку плюющим душистым теплом, мне сказался от первой же встречи; все — навязывали, полоняли, насильно куда-то влекли; и после брали проценты; он — только дарил бескорыстно.

Впоследствии в образе ожила эта встреча: я бьюся на сожженных холмах палестинской земли, окруженный неверными; все перебиты друзья; а иные коварнейше предали; мне остается одно: бросив меч, пасть на копья; вдруг быстро, на маленькой вовсе лошадке примчался губастый такой, смуглокожий на вид сарацинчик, в тюрбане, в браслетах и в кольцах, с серебряным острым копьем; и он рядом со мною стал биться: за дело мое; все враги, побросавши оружие, кинулись прочь; он же раненому перевязывал раны; и даже в пещеру свою перевлек, где варил он целебные снадобья; пользовал ими; так мне отобразилась первая наша встреча.

Все боролись со мной в эти месяцы и проклинали меня: Блоки, Иванов, Чулков, Айхенвальд, Абрамович, Сергей Городецкий, М. Гофман, Б. Зайцев, Е. Ляцкий, Сергей Соколов, Виктор Стражев, Глаголь, Иван Бунин; в газетах орали: «Собака весовская, бешеный, полусумасшедший, бездарный, испытаннейший скандалист». Яблоновский Сергей, Гиляровский, Лоло, Петр Пильский, Измайлов, Игнатов и сколькие прочие — в «Русском слове», в «Речи», в «Русских ведомостях», в «Раннем утре», в «Голосе Москвы» только и ждали удобного случая, чтоб доконать окончательно молодого писателя, переживавшего последствия тяжелого горя и едва стоявшего на ногах: от затерзанности; не заступался — никто: Мережковские дипломатично помалкивали; Брюсов тоже в иные минуты двоился; «личарда» — Эллис скорее мне портил поддержкой, чем помощь оказывал: за ним следи,— укатает в скандал!

Вдруг — серьезнейший, опытный, трезвый, все взвешивающий и всеми ценимый Михаил Осипович — идет пожать руку, к себе зовет; и с радушием открывает страницы журнала, набитого профессорскими именами: кто там не писал?

Вот некоторые из сотрудников: профессора — Бузескул, С. А. Венгеров, Гревс, Ф. Ф. Зелинский, Н. А. Каблуков, Н. И. Кареев, А. А. Кизеветтер, Мануйлов, Новгородцев, Озеров, Радлов, Ростовцев, Сакулин, Сперанский, Сушкин, Тарле, Туган-Барановский, Фортунатов, В. М. Хвостов, Челпанов, А. А. Чупров, Шершеневич; и кариатида седая, меня напугавшая, в детстве, или — Иван Иванович Янжул. Я, гонимый, травимый, осмеянный, оказываюсь вместе с Валерием Брюсовым в компании знаменитых «китов».

Это дело рук Гершензона; он мне предлагал: «Переносите-ка ваши «весовские» пулеметы ко мне; продолжайте отсюда обстрел всех позиций».

События личной жизни не дали возможности углубить мне участие в этом «почтенном» журнале; разборов пять-шесть я все-таки Гершензону дал (о Блоке, Ремизове, Сологубе, Брюсове и т. д.)[236].

Скоро отправился на квартиру к нему, оказавшуюся рядом с нами: в том же Никольском; я жил в доме Новикова в номере двадцать первом; он — в тринадцатом номере, в доме Орловой; надо было пройти сквозь глубокий двор, обогнуть флигелек; на внутреннем дворе, окаймленном садиком, в котором разгуливал М. О. осенями и вес-

нами,— стоял его домик; надо было подняться по лестнице вверх; из передней — подняться вторично, чтобы очутиться в двух маленьких, чистых светелочках, где Гершензон совершал свои волшебства, опрыскивая мертвые музейные данные, им собираемые, живой водою; в этих действиях он мне казался каким-то Мерлином;* все данные слагались им в художественные картины; он владел даром очерка, соединяющего науку с искусством; в научном разрезе книги его являли сложение типичных фактов; с невероятным усилием, как крот, вырывал он из архивной пыли ворохи деталей, таская их к себе в Никольский из книгохранилищ; и даже позднее, в эпоху моей работы в архиве[237], просил меня тащить ему все, что мне попадется; в разрезе художественном выбор фактов в им строимых очерках изыском стиля напоминал полотна художников Сомова, Бенуа; стоило перевести данные очерков в зрительное восприятие,— вставали полотна, которые были бы лучшими украшеньями выставок «Мира искусства»; таковы — исследования о Печерине, братьях Кривцовых; такова «Грибоедовская Москва»[238], идущая в паре с лучшими постановками Мейерхольда.

Как позднее я полюбил его двухэтажную квартирочку; в ней столовая, спальня и комнаты детей помещались внизу; в верхней же хозяйской светелке все было чисто, строго и книжно; столы, полки, книги; и — ничего более; попадая сюда, вы думали: «А здесь — скучновато».

Скоро уже начинали вы слышать: струенье, кипенье, поплевыванье, попрыскиванье; точно меж корешками расставленных книг, как меж голых утесов, стекала чистая, ключевая, живая вода; беседа с М. О. меняла ландшафт, перестраивая в воображении вашем всю обстановку: комнатка становилась горной пещерой; М. О. Гершензон, заседающий в старом, сереньком пиджачке, такой маленький, такой черный, очкастый, набивал себе и вам папироску и приборматывал свои мнения, напоминавшие заклинания, в результате которых все мертвое и скучное вдруг становилось живым и процветшим; он казался мне в эти минуты каким-то гением стихий, оплодотворявшим Москву умственною жизнью; не выходя из светелки своей, принимая всех у себя, он бурлил — на Москву, на Россию, на мир из маленького кабинетика; или — напоминал он поставленный на плиту кофейник, готовый в любую минуту хлынуть душистой струей; но прибегала уютная, милая,

* Мерлин — мифический волшебник.

умная Марья Борисовна, его жена; и — снимала «кофейник» с печки: зовом, приглашающим к завтраку.

И Михаил Осипович,— такой маленький, прыткий, живой,— точно юноша, выскакивал из своего почтенного кресла, отбросив жестянку, к которой он то и дело кидался: набивать и себе, и мне папиросу; вел руки мыть; после, толкая в спину и властною, и дружескою рукой, проваливал меня вниз по ступенькам:

— «Завтракать, Борис Николаевич, завтракать».

Чаще всего я попадал к нему к половине двенадцатого утра; бывало: встанешь, напьешься чаю; понадобится вдруг до зареза что-нибудь спросить, о чем-нибудь посоветоваться с «соседушкой»; он открыл дверь для посещенья его в любой день и час; поздней я уже не стыдился без приглашения вламываться, хотя знал, что, когда б ни пришел, он — работает; работа в светелочке, по-моему, длилась двадцать четыре часа в сутки, за исключением редких выходов его в музей за материалами (был домоседом он и неохотно являлся в гости, где часто сидел, разобидевшись чем-то, с надутыми губами, стараясь сесть за кончик стола, кипя про себя волненьем видимого и слышимого)[239].

Видывал его и в музее; здесь он мне напоминал крючника, роющегося в старом мусоре: с обиженным видом, мотая лентой пенсне, приборматывая, он ощупывал книжные карточки каталожной так точно, как щупает повар добротность тетерьки; и А. С. Петровский с довольством летел к нему средь холодных пространств, подняв нос, развевая пенснейную ленту от носа по воздуху: с книгами; а сухарь Киселев вылезал из своих невыдирных чащ, где хранил инкунабулы, перемолвиться словом с такою приятной «кухаркой»; и предлагать свой товар; «кухарка» щупала дичь; и принюхивалась:

— «Нет,— это не идет: нехорошо пахнет».

— «А это вот — хорошо».

Я бывал у него раза два в неделю; иногда и не было дела; была потребность: взглянуть на маленького хлопотуна в очках; с невероятной живостью он слетал ко мне с лестницы; и вновь взлетал по ней с жестами, не соответствовавшими ни очкам, ни лысинке, ни начинавшейся седине, в сереньком, кургузеньком пиджачке, не соответствовавшем почтенному реноме.

Под очками хмурого, очень строгого лика, с напученными губами, обрамленными черной, курчавой растительностью,— лика, внушавшего страх, когда он откидывался

в спинку кресла,— под очками этого лика из глаз вырывались огни; под крахмальною грудью — кипели вулканы; в иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах: где устои культуры? Где выдержка мудрости? Только — огонь, ураган, землетрясение.

Ученейший культуртрегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий; как кричал на меня он раз: топал ногами и бил кулаком по столу; и потом недель пять продержал в отдаленьи; после же гнев свой на милость сменил; иногда он с такою стремительностью уносился по линии своего последнего внезапного увлечения, что для многих мог выглядеть он настоящей опасностью для музейной культуры, грозя все культуры смести,— он, знаток их!

Однажды, рассерженно набивая свою папироску, взбурлил он в пространство, минуя глазами меня:

— «Вы, Валерий Брюсов, Иванов с вашими дарами — не молокососы даже, а — меньше; и — что там Пушкин? Пушкин юноша перед...»

Перед кем?

Перед... Бяликом.

В чем дело?

В том, что к Гершензону явился поэт Бялик; после беседы с ним М. О. безапелляционно решил: Бялик — гений, которого свет не видал; с Бяликом встретился я через несколько лет; ну да,— умница... но, но, но... О Бялике больше я ничего не слышал от Гершензона: Бялик — потух в нем.

Или: однажды М. О., поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича (черным и красным)[240], заклокотал, заплевал; и — серьезнейше выпалил голосом лекционным, суровым:

— «История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами — нуль!»

Он стоял пред квадратами, точно молясь им; и я стоял: ну да,— два квадрата; он мне объяснял тогда: глядя на эти квадраты (черный и красный), переживает он падение старого мира:

— «Вы посмотрите-ка: рушится все»[241].

Это было в 1916 году, незадолго до революции; перед квадратами М. О. переживал свой будущий «большевизм»; с первых же дней революции — где Малевич, супрематисты? Но тогда обнаружилось: для своих кадетских друзей он — свирепейший большевик.

И когда он пылал увлеченьем, «кумиры», которыми он с таким мастерством оперировал в книгах, отодвигались на задний план (Пушкин, Печерин и Огарев); господствовали минутные увлечения, не попадавшие в книги; и ими не раз он грешил, потому что в минуту своих обуянностей был как слепой; путал даже не так, как большой, а как маленький, в драку вступивший ребенок; считаю несчастным, но, к счастью, минутным заскоком составленный некогда им сборник «Вехи»;[242] хотел он сказать «нет» кадетской общественности; а повел себя, как черносотенник; вскоре по выходе «Вех» Гершензон испугался того, что наделал;[243] позднее о «Вехах» — ни слова; ни слова и я, потому что я понял: хотел-то он выскочить из интеллигенции; и сослепа выскочил не туда; его подлинная природа сказалась поздней: не в сочувствии даже к Октябрьскому перевороту, а в воистину диком, ревущем восторге, с которым он встретил его.

В увлечениях жгучего темперамента он, изумительный аналитик начала прошедшего века, делал в своей специальности порою даже не ошибки, а просто чудовищности, смешивая стихи Боратынского с пушкинскими[244], сочиняя пушкинские несуществующие любви иль отрицая в Пушкине лучшую фазу его творчества; но для знавших близко М. О. Гершензона оборотной стороною ошибок был пламень неистовства, Щеголевым не ведомый; и за этот-то пламень мы так любили его; в груди маленького человечка с лицом академика — грохотали Этны какие-то; я позднее его называл мифическим Рюбецалем,— духом горных стихий;[245] и он жил для меня точно в горной пещере, а не в кабинетике; его любимые книги — казались не книгами, а камнями, струящими мудрость; входите, и — попадаете в лепеты живомыслия: прядает живомыслием он; прядают живомыслием стены; и прядают живомыслием книги, которые он открывает; забудешь, откуда пришел; и минутный забег — полуторачасовое сидение; и уже зов:

— «Завтракать!»

Понял поздней, что прибег ко мне Гершензона, его приглашение работать с ним — не вопреки бешенству моих тогдашних статей, а — благодаря ему; как Малевич позднее пленил его парадоксом квадратов, так точно статьи мои, перешедшие грани дозволенного, очень живо задели его; темперамент откликнулся на темперамент; сколько раз позднее он, уравновешенно-мудрый, меня подстрекал к кавардакам — вплоть до последней лекции

о Пушкине: в скучном «Гахне»;[246] он сетовал на меня за «приличие» моей лекции:

— «Я же вас затащил читать, думая, что вы устроите там кавардак, что поставите все вверх дном; надо было заухать; скучная публика собирается в «Гахне»: какие-то рыбы,— не люди».

Но я, признаться, видя сонную «рыбину» в лице профессора N, заразился вялостью от него; и этим огорчил Гершензона, ждавшего от меня, может быть, фиги — в нос профессуре.

Бывало, когда ни придешь, он набьет папиросу, с улыбкой протянет:

— «Курите!»

Он стал мне родным; он на все «мое» откликался: и мыслью, и чувством, и волей к добру, в нем живой; так складывались отношения, которыми счастлив я: почти семнадцать лет ясных, сердечных отношений — не шутка.

Квартира М. О. Гершензона напоминала мне лавочку архивариуса; здесь средь ветоши глупых книжонок (их роль — заметать следы книжищ) хранилися ценности; здесь среди так себе брошенных камушков вспыхивали редчайшие перлы; то — брызнь словесных плевков Гершензона над папиросами, не уплотненных в книжную мысль; когда философствовал в книгах, то философия его бледнела пред этими случайными вспыхами меж дымочком, бросаемым темными губами его: мне в нос.

Когда маленький Гершензон здесь возился, казался мне поваром, перевязанным фартуком, за очисткой кореньев своих; и виделся белый колпак над его головой; сочетание фартука, колпака и большой супной ложки, с пенсне на горбатом и темно-коричневом носе, вскипающие африканские знои мгновенно же испарявшихся афоризмов,— все это производило глубокое впечатленье; чувствовалось: ты введен в кухню огромной работы восстания новых вещей для утонченных магазинов культуры; и чувствовалось: тебя потчуют самым процессом работы, итоги которой будут в годах обсуждаться ценителями; тебе подавалось сырье; и предлагалось сделать вывод; ты выводил; а Гершензон хитро поблескивал на тебя очками, перебивая: «Вот именно!» Или: «Как раз наоборот!» Я чувствовал благодарность за то, что введен в эту кухню; и постепенно привык тащить к М. О. собственное сырье; с ним было приятно перекинуться не итогами, а домеками; и еще приятнее было: высказать ему не мысль, а подгляд; как он был противоположен Бердяеву, опрокидывавшему

на меня только абстрактный итог и потчевавшему — третьегодняшним, уже остывшим умственным блюдом; здесь, у Гершензона, я лакомился, так сказать, у самой плиты: никем не отведанным блюдом; и посвящался в алхимию приготовления золота из всякой дряни, валявшейся под ногами других; другие — проходили мимо; а Гершензон — подбирал всякую дрянь себе в фартук; с нею он возвращался домой, из музея; и из дряни вываривал свое чистейшее золото.

Общение с М. О. началось в период наибольшего гонения на меня; он не только поддерживал добрым словом; но всюду, где мог, укреплял мое реноме: предложил в члены Общества любителей российской словесности[247], расхваливал Струве, с которым водился тогда; вместе с Рачинским способствовал тому, чтобы отношения мои с Евгением Трубецким, имевшим вес в профессорской корпорации, приняли не только сносный, но прямо-таки дружелюбный характер; у него я встречался с Бердяевым и Булгаковым, тогдашними его друзьями, с профессором философии права Б. А. Кистяковским, с профессором Котляревским, с А. Е. Грузинским, с Н. С. Ангарским и со многими другими писателями и исследователями; он очень дружил с профессором Петрушевским, для которого сохранял определенный день, кажется пятницу, никого не приглашая на Петрушевского и наслаждаясь общением с ним вдвоем; и всегда, когда бы ты ни пришел вечером, появлялась милая, умная, добрая издательница «Критического обозрения», Е. Н. Орлова, жившая в том же доме; она была не только чтительницей М. О., но и членом семьи; и, кажется, видывал у него А. Б. Гольденвейзера, брата его жены, с которым чаще встречался у Метнеров.

Я посещал М. О. главным образом утром, принося ему всего себя; первый его вопрос за набивкою мне папиросы:

— «Над чем сидите?»

Говорил он это, точно поплевывая, мимо меня, с встряхом жестяночки, взятой им на колени, чтобы удобней табак набивать; и я сразу ж вываливал ему и последние мысли о последнем чтении, и мысли над рукописью, и свои планы о будущем, и впечатленья о новых знакомствах; и знаю заранее его вопрос:

— «Что поделывает А. С. Петровский?»

А. С. Петровского, моего друга и очень ценимого М. О. музееведа, М. О. любил нежной любовью; и всегда, поминая его, расплывался улыбкой и присовокуплял: «Цените дружбу его».

Бывало, выкладываешь ему свои заветные мысли, а он сомневается; и часто с педагогической целью, чтобы мой мысленный ход принял формы научного вывода:

— «Вот если бы,— вздрагивал он, выпрямляясь в кресле и угрожая мне взброшенным на нос пенсне,— вот если бы вам удалось то, что вы так прекрасно сейчас изложили в абстракциях, показать мне на трех только подлинных фактах, вы сделали бы великое дело, а то,— дул он губы,— неубедительно».

Я, задетый за живое, бывало, защищался, как мог, от обвинений в абстрактности (его обычные обвиненья) и иногда склонял его к своим доводам; постепенно таяли морщины на лбу; и, поставив жестянку с колена на стол, он бросался лысенькою головкою в кресло, роняя руки на ручки и ногу на ногу кладя; взлетали черные, густые брови его; на лице играли теперь доверие и пленительная улыбка, а синий дымок пачками вылетал в потолок из разомкнутых пухлых губ:

— «Великолепно,— не правда ли?»

И вот он уже в овладении деталей им развиваемой мысли; завладев ею, принимается ею вертеть и туда и сюда:

— «Если бы эту мысль применить к моей работе, то вот что вышло бы».

И закипит: и вводит в только что им сделанное наблюдение.

На лето мы разъезжались; осенью первая встреча с М. О. становилась моим обстоятельнейшим докладом ему о всем том, что я наработал, надумал; такого внимания я ни в ком не встречал после смерти М. С. Соловьева; каждый занят собой: Бердяев, Булгаков, Бальмонт, Мережковские и Блок; М. О., живя собственным творчеством, был готов в любую минуту убрать свои думы, чтобы внырнуть в твои думы.

Как он радовался успеху моего романа «Серебряный голубь»; как друзей своих заставлял одолевать этот том; как позднее он силился мне объяснить мою повесть «Котик Летаев»:

— «Вы вскрыли,— фыркал он,— недра: картина совсем неприятная, точно вываливаются на тебя внутренности; но как захватывает. Что ж,— такое дело ваше: взрезать поверхность и вскрывать недра; вы оператор в литературе; ваше дело взрезать брюшину; дело других — сшивать».

О «Котике Летаеве», еще не оконченном, дал он в «Русских ведомостях» свой фельетон[248]. До последних дней жизни меня зазывал он к себе; и заставлял читать ему еще не отделанные отрывки; за неделю до его кончины читал ему отрывки из первого тома «Москвы»; и он подбодрял меня; не любил он «Записок чудака»;[249] после чтения ему их он фыркал:

— «Грубо, физиологично: описываете духовные переживания, а получается впечатление от процессов пищеваренья».

Увы, это — правда.

Был один только пункт, на котором всегда расходились мы: он терпеть не мог моих методов подхода к стиху; те приемы, которые нашли подражателей и уточнителей, с негодованием он отвергал, пылая очками:

— «Безобразие: вы хотите алгеброй проверить гармонию; никуда не годится! И никогда не удастся!»

В этом пункте вскрывалась вся разность натур: он, при строгой, солидной наружности, был с «геттингенской» душой: был романтик; при кажущемся романтизме я был его суше; и не боялся введения алгебры в ритм.

М. О. заставал я дома всегда; выходил из дому он опасливо, точно боялся: выйдет, а домики, домы, домины Никольского переулка обвалятся над барашковой его шапочкой; он терялся, ощупывая толстой палкою прочность асфальтовых тротуаров (быть может, провалятся?); он спешил брезгливо, сердито в подъезд; и брюзжал, идя в гости:

— «Ну, что мне там делать?»

Как сосед, порой заходил я за ним, чтобы взять его к общим знакомым, зная всегдашнюю слабость его: нелюбовь к улице; он брал меня под руку; и мы отправлялись к Шестову, Бердяеву, Кистяковскому, Эрну; в гостях он, бывало, ко мне подойдет: плюнуть в ухо:

— «Не пора ли нам, Борис Николаич, домой?»

Он любил возвращаться ночами с попутчиком; кто его знает, что может случиться: обрушится дом, налетит он на тумбу с размаха (ночами почти ничего он не видел); мы выходили: из света во тьму; и во тьме ощущал я крепчайшую руку М. О., зацепившуюся за меня; он во тьме выговаривал замечательные свои домыслы о языке языков; и — о многом другом.

Я любил его как писателя; но главного своего он не выразил в книгах: смутного лепетанья над данностью мира — из темного переулочка; лепетания напоминали древ-

ние руны; их, конечно же, предпочитал я схемам Бердяева, скепсису Шпетта, ракете Э. Метнера; у Гершензона отсутствовало чувство собственности: он был бескорыстно дарящим даже не мыслью, а семенами мыслительности. Он как бы говорил нашим мыслям: «Плодитесь и множитесь». Другие хотели их стричь; он — растил.

Такой маленький, милый; то — гневный, капризный, то — строгий, то — робко-доверчивый; то — неуверенный до неприличия; знал он себе настоящую цену; с издателями, с так себе празднoболтающими или с туристами, пересекающими случайно страну, где работал, он говорил повелительно, гордо и резко.

В 1923 году он приехал в Германию; мы встретились с ним в Берлине;[250] он приехал лечить свои легкие; временно перетащил я его в свой пансион; с невероятной суровостью он относился к пошлятине эмигрантов; и фыркал на обстановку; мещанская цивилизация приводила его в бешенство; он тосковал по СССР. Я случайно присутствовал при его разговоре с к нему подъезжавшим Гржебиным, известным издателем-спекулянтом; и я не узнал Гершензона; это был не милый М. О., а король, диктующий Гржебину суровейшие условия; Гржебин отъехал от него; тотчас по его исчезновении он бросил мне:

— «Вот как надо говорить с издателем: учитесь!»

Да, цену себе знал он прекрасно.

Когда легкомысленно с ним обходились, священный огонь просто ярости начинал блистать в расплавленном его оке; и становилося страшно, даже когда ты ни при чем; так дух элементов, журчащий струей ручейка, вдруг всклокочется белым потоком летящего вниз наводнения; так огонек, тихо тлеющий, ярким и красным пожаром взлетает; и ласковый воздух, бурея, проносится душным самумом; так капелька снега, слетая с вершины, распухнувши, ухнет лавиной.

И так *карал* разгневанный Гершензон.

Полюбил я квартиру его; любил дом Орловой, Никольского переулочка, принимающего ввтвления всяких других переулков Арбатско-Пречистенского района Москвы; я любил, проходя, поглядывать на уютненький дом; и я думал: вон там, в глубине оснеженного дворика, высится флигель; наверное, из светелки М. О. там блестит огонечек; наверное, М. О. там сидит поздним вечером; варит составы идей: и кипит и бурлит сам с собой — на оснеженный дворик, на флигель орловского дома, на переуло-

чек, выходящий в тишающий и поздний Арбат, на Москву, на Россию, на мир.

Раз я проходил мимо дома его: шел в метель, огласившую валторнами дымовых труб и фаготами подворотен, дрожащих под ветром; и мне казалось: идейные действия Гершензона обвеивают освеженным озоном Арбат; и дома, возвышенные средь одноэтажных домишек шестью этажами, стояли утесами; вдруг — он; чернобраденький, маленький, в острой барашковой шапочке, идет мне навстречу; прошел, не заметив; и мне показалось, что в горной стране, Рюбеланде, по тропочке горной прошел горный гном, Рюбецаль, покровитель потерянных и погибающих путников; и становилось уютно от этой игры.

Вернувшись в Россию в 1916 году, я застал его полевевшим; после февральской революции он первый в кадетском кругу бухнул, к ужасу всех:

— «Долой войну!»

Но его засмеяли.

В мае 1917-го — он с горячим сочувствием читал «Правду»; «друзья» — Шестов, Булгаков, Бердяев — распространили весть: Гершензон — «большевик»; он к Бердяеву, жившему рядом, не хаживал; и меня в эти дни приперли к «большевикам»: Мережковские, жена Бердяева и многие кадетские дамы;[251] о Гершензоне шушукалась тогдашняя «вся Москва»:

— «Слышали,— на старости оскандалился как?»[252]

По природе робкий, боящийся, что его затолкают, держался вдали он от толп; но в мае 1917-го раз вытащил я его на Тверскую; бродили, переходя от одной ораторствующей кучки к другой; Гершензон, пылая, прислушивался к бурным толкам; у памятника Пушкина бурлил митинг; и мы замешались в толпу; вдруг поднялся военный в папахе; и бросил крепчайшие, большевистские лозунги; что сделалось с Гершензоном? Он, выпятив грудь, встал на цыпочки; с его губ громко слетало:

— «Правильно!»

Когда оратора старались сорвать, он разгневанно выбрасывал руку; и гневно покрикивал:

— «Долой войну!»

Едва его выволок я, чтобы вернуть Марье Борисовне; всю дорогу взволнованно мне в плечо лопотали темные губы его.

Еще позднее: в день предъявления ультиматума военно-революционным комитетом, уже когда кадетская Москва стала прятаться по квартирам, пошел я к нему; он меня встретил торжественно, тихо; и, не подняв наверх, усадил в столовой; сел рядом; посапывал и молчал; после молчания произнес:

— «Запомните этот день: мы присутствуем при величайшем событии... Подумайте: впервые трудящиеся берут в свои руки власть; благословите, Борис Николаевич, этот день... Он — не авантюра; он — начало новой истории...»

И замолчал, и сидел предо мною с видом древнего еврея, встречающего праздник опресноков.

Уже после смерти его проходил я зимою его переулком; сквозь снег выступали неясно колонны того ж двухэтажного дома, отчетливо розового, с барельефами; розовый треугольник фронтона едва выяснялся в мельканьи снежинок; едва проступали белые виноградины тяжких гирлянд горельефа и очертания каменных, нагих белых дев: в пырснь и в свист. Вот заборик знакомый, куда я повертывал; мне захотелось свернуть, проюркнуть в ворота, пройдя к его домику; голову закинуть к светелке его; посмотреть: не сияет ли огонечек в окошке; казалось: могила его — там, где память о нем: в комнатке, где принимал он меня и одарял столько лет своей мудростью; я постоял: успокоительно помаргивал фонарек над воротами дома: тринадцатый номер.

Но меня ждали дела: и я — прошел дальше.

ФИЛОСОФЫ

Неспроста я даю силуэт Гершензона меж описанием газетных и лекционных своих увлечений и главкой, рисующей тогдашних философов; лекции и статьи я считал обязательною, меня терзавшей нагрузкой; но «партии», меня нагружавшей, и не было; это я ее выдумал; она — тень, на которой я праздно распял себя; когда стало ясно мне это,— рушилась осмысленность борьбы за «Весы».

Ни разу не приходила мне в голову мысль: у меня есть свое дело, свои писательские задания; я все волил жить для людей, глядя и на искусство как на орудие пропаганды; это слагалось всей ситуацией жизни; и оттого-то с 1903 г. до 1909-го я не мог ничего создать, лишь дотрачивая свои силы; итог: огромное количество статей, лекций, рецензий; и — ничего нового, если не считать стихов,

которые стали мне эманацией душевного одиночества («Пепел» и «Урна»); в «Кубке метелей» я лишь доломал план «Симфонии», черновик которой набросан был ранее.

Будучи художником слова, я жил вне источника, питающего слова; я отдавал себя кружку «аргонавтов», мечтая о творчестве людей, а не книг; произошла ерунда; потом силы души были отданы Щ.; случился лишь ужас, приведший к ножу оператора; обескровленный, выдумал я свою «малокровную» схему о партии символистов с Брюсовым во главе; Брюсову «партия» была не нужна,— лишь удобна в известный период (до «Русской мысли»); ограбленный жизнью, я был загнан в свой утопический сектор служения общему делу; а «дело»-то наполовину выдумал; если бы это я осознал в 1907 году, я просил бы хирурга меня дорезать.

Мне угрожала серьезнейшая опасность: замерзнуть, чтобы прижизненным мертвецом проволочиться в годах; Брюсова мы подпирали: он не был опорою; сверстники, вроде Эллиса, Соловьева, откалывали безумие за безумием; Рачинский, багровый от перевозбуждения, только дергал себя и других; Метнер*, натура деспотическая и яркая, гнул свою линию; д'Альгейм** утилизировал нас для собственного безумия.

В сущности, в миссию свою я уже не верил, дергаясь от «обязанностей»; разгром революции, растление прессы, картина крепнущего и все развращающего капитализма,— все это догнетало меня; мог бы я словом Блока сказать: наши двери открыты на «вьюжную площадь»[253].

Гершензон, менее всего учитель, скорей старший брат, был единственным человеком, который помог мне в те годы: дом его был хибаркой во льдах, где горела жаровня; и здесь я оттаивал; он мне поднял веру в себя и пониманием моего гнева, и поворотом на то, что миссия моя есть не то, что я себе выдумал; миссия — в том, чтобы я доделал себя как писателя; из меня исходили дымками сжигаемых папиросок различные планы: поэм и романов; сколько их было «выкурено» в разговорах с друзьями; в итоге же — пепел; и Гершензону рассказывал я о проекте романа «Серебряный голубь»; он, с бескорыстной хищностью вцепившись в меня, строго требовал: осуществления плана; и, может быть, он-то склонил на серьезный роман; под его перманентным, но мягким давленьем я стал

---

* См. «Начало века», глава первая.
** См. «Начало века», глава четвертая.

запираться от роя друзей; и даже я стал бегать в деревню, где и осуществил-таки замысел, написав «Голубя»;[254] это писание наполнило силами; и понял я: часть тоски моей была и тоскою по творчеству, засоренному «прями»; Гершензона считаю я крестным отцом романов моих.

Он же способствовал перемене моих занятий, не подозревая о том: сближением с кружком тогдашних философов.

Ведь по мере того, как мне выяснялось перение против рожна в моей бурной полемике и поднимался звук будущих книг, я отходил от злоб дня и «Кружка», и «Эстетики»; и без всякого чувства миссии ходил в философскую говорильню,— так, как ходят в клуб: сыграть партию в шахматы; любопытно при случае сделать мат игроку; и отчего ж на досуге мне не заняться техникой «матов»? Это сил не берет; философский кружок, собиравшийся у М. К. Морозовой, и стал таким клубом;[255] кит тогдашний, Евгений Трубецкой, возглавил его, собравши философскую молодежь и почтеннейших старцев; Гершензон, друг «китов», способствовал очень тому, чтобы в клубе «китов» и я чувствовал не одиноко себя, проводя в нем свои философские партии отдыха ради — то с неокантианцем, то с метафизиком, то с религиозным философом; и это способствовало нужному мне в эти годы рассеянью, перевлекая внимание от «прей» и мыслей о разбитой жизни моей; но позднее здесь ощутил я опасность превратиться в клубного «шлюпика»* — старичка, у которого жизнь перерождается в привычку геморроизировать себя в клубе;[256] и тогда я стряхнул с себя «клуб»; и почтенная Москва сызнова зашушукала о погибели Андрея Белого, как шушукала она о погибели «Бореньки»; толковали: Белый-де погиб как писатель; а он уехал в Германию и там дописывал «Петербург»; это было в 1912-м; но в 1908 году клуб — место рассеянья; дома я писал («Серебряный голубь», «Петербург», «Путевые заметки»); вечерами же я играл в философские шахматы, увлекаясь спортом: овладеть жаргонами; и, когда Генрих Риккерт прислал мне из Фрейбурга свою статью с надписью, я радовался тому, что одним из шахматных приемов, скажем, ходом коня,— овладел.

Евгений Трубецкой играл в Москве крупную роль; он твердо обосновался в салоне Морозовой; она издавала «Еженедельник»[257], в котором он выступал с ответствен-

---

* См. «Анна Каренина».

ной публицистикой; публицистика носила характер высказываний по вопросам культуры; Трубецкому приспичило, что высказыванья есть политика; два-три протеста против режима, тяжелых и косолапых, как он, в «оные времена» создали ему репутацию радикала и укрепили в нем несчастную мысль создать фикцию партии «мирнообновленцев», которой он был едва ли не единственным членом;[258] даже кадеты посмеивались над его правизной; косолапо слонялся он меж Гучковым и Милюковым; и от того и этого его отделяла порядочность; он был честен и прям, но политически туп; раз при мне, отвечая кадетам, бросаясь грудью вперед, убил наповал себя:

— «Знаете ли вы мою политическую программу? Я-то — ее не знаю!»

И это правда; под политикою разумел он свои представления о культуре, подпертые метафизикой; его чтили как «стража» всего «благородного»; он мог бы в начале прошлого века произносить речи, подобные «Фихтевым»; в начале XX века они звучали смешно: он, собственно говоря, ненавидел политику; его «политика» сводилась к защите своих туманнейших представлений о «благе»; такая позиция припирала его, воображавшего себя радикалом, к умеренным консерваторам, что ему выдвигали кадеты; к нему прибивало кадетского типа дам, терпеть не могших Милюкова и брезгавших нечистоплотным Гучковым; мы его в своем кругу называли псом.

Он был удивительно косолап и внутренно добр; он потрясал окружающих тугодумием, соединенным с упорством и добросовестностью в продумывании каждой новой, ему трудно дававшейся мысли; вначале он мало что понимал в искусстве, ужасаясь, как брат его, новым веяньям; дамы ему напели в уши, что он понимает Скрябина; от покойного брата Сергея он отличался терпимостью к символистам; Сергей их осмеивал с ненавистью, воздвигнув на них гонение в университете и выпуская Лопатина уничтожать их следы; последний одно время зарвался до того, что ел поедом и неокантианцев, к которым принадлежала тогдашняя философская молодежь; защищалась староколенная метафизика (Фихте, Шеллинг, Лейбниц); и рекомендовались: Владимир Соловьев и Лотце.

Явившись на кафедру брата из Киева, Трубецкой попал в обстание неокантианцев; и кроме того, тыкали носом в нас его друзья (Гершензон, Бердяев, Рачинский, Морозова); а он упирался, напоминая огромного, оскаленного

запираться от роя друзей; и даже я стал бегать в деревню, где и осуществил-таки замысел, написав «Голубя»;[254] это писание наполнило силами; и понял я: часть тоски моей была и тоскою по творчеству, засоренному «прями»; Гершензона считаю я крестным отцом романов моих.

Он же способствовал перемене моих занятий, не подозревая о том: сближением с кружком тогдашних философов.

Ведь по мере того, как мне выяснялось перение против рожна в моей бурной полемике и поднимался звук будущих книг, я отходил от злоб дня и «Кружка», и «Эстетики»; и без всякого чувства миссии ходил в философскую говорильню,— так, как ходят в клуб: сыграть партию в шахматы; любопытно при случае сделать мат игроку; и отчего ж на досуге мне не заняться техникой «матов»? Это сил не берет; философский кружок, собиравшийся у М. К. Морозовой, и стал таким клубом;[255] кит тогдашний, Евгений Трубецкой, возглавил его, собравши философскую молодежь и почтеннейших старцев; Гершензон, друг «китов», способствовал очень тому, чтобы в клубе «китов» и я чувствовал не одиноко себя, проводя в нем свои философские партии отдыха ради — то с неокантианцем, то с метафизиком, то с религиозным философом; и это способствовало нужному мне в эти годы рассеянью, перевлекая внимание от «прей» и мыслей о разбитой жизни моей; но позднее здесь ощутил я опасность превратиться в клубного «шлюпика»* — старичка, у которого жизнь перерождается в привычку геморроизировать себя в клубе;[256] и тогда я стряхнул с себя «клуб»; и почтенная Москва сызнова зашушукала о погибели Андрея Белого, как шушукала она о погибели «Бореньки»; толковали: Белый-де погиб как писатель; а он уехал в Германию и там дописывал «Петербург»; это было в 1912-м; но в 1908 году клуб — место рассеянья; дома я писал («Серебряный голубь», «Петербург», «Путевые заметки»); вечерами же я играл в философские шахматы, увлекаясь спортом: овладеть жаргонами; и, когда Генрих Риккерт прислал мне из Фрейбурга свою статью с надписью, я радовался тому, что одним из шахматных приемов, скажем, ходом коня,— овладел.

Евгений Трубецкой играл в Москве крупную роль; он твердо обосновался в салоне Морозовой; она издавала «Еженедельник»[257], в котором он выступал с ответствен-

* См. «Анна Каренина».

ной публицистикой; публицистика носила характер высказываний по вопросам культуры; Трубецкому приспичило, что высказыванья есть политика; два-три протеста против режима, тяжелых и косолапых, как он, в «оные времена» создали ему репутацию радикала и укрепили в нем несчастную мысль создать фикцию партии «мирнообновленцев», которой он был едва ли не единственным членом;[258] даже кадеты посмеивались над его правизной; косолапо слонялся он меж Гучковым и Милюковым; и от того и этого его отделяла порядочность; он был честен и прям, но политически туп; раз при мне, отвечая кадетам, бросаясь грудью вперед, убил наповал себя:

— «Знаете ли вы мою политическую программу? Я-то — ее не знаю!»

И это правда; под политикою разумел он свои представления о культуре, подпертые метафизикой; его чтили как «стража» всего «благородного»; он мог бы в начале прошлого века произносить речи, подобные «Фихтевым»; в начале XX века они звучали смешно: он, собственно говоря, ненавидел политику; его «политика» сводилась к защите своих туманнейших представлений о «благе»; такая позиция припирала его, воображавшего себя радикалом, к умеренным консерваторам, что ему выдвигали кадеты; к нему прибивало кадетского типа дам, терпеть не могших Милюкова и брезгавших нечистоплотным Гучковым; мы его в своем кругу называли псом.

Он был удивительно косолап и внутренно добр; он потрясал окружающих тугодумием, соединенным с упорством и добросовестностью в продумывании каждой новой, ему трудно дававшейся мысли; вначале он мало что понимал в искусстве, ужасаясь, как брат его, новым вcase веяньям; дамы ему напели в уши, что он понимает Скрябина; от покойного брата Сергея он отличался терпимостью к символистам; Сергей их осмеивал с ненавистью, воздвигнув на них гонение в университете и выпуская Лопатина уничтожать их следы; последний одно время зарвался до того, что ел поедом и неокантианцев, к которым принадлежала тогдашняя философская молодежь; защищалась староколенная метафизика (Фихте, Шеллинг, Лейбниц); и рекомендовались: Владимир Соловьев и Лотце.

Явившись на кафедру брата из Киева, Трубецкой попал в обстание неокантианцев; и кроме того, тыкали носом в нас его друзья (Гершензон, Бердяев, Рачинский, Морозова); а он упирался, напоминая огромного, оскаленного

сенбернара, насильно тащимого к нам оравой друзей, хором твердивших:

— «Искусства не понимаете! Слепы и глухи!»

В символизме ж он видел чудище «обло, озорно и лаяй»![259]

Так косолапый, большой, от натуги красневший муж со страдальческим видом должен был вкушать неприятное блюдо; с глазами точно налитыми слезами он защищался: он-де не лишен эстетического чутья; брат Сергей был и злей, и острей; он умел отгрызаться, умел загрызать; у него и не было такой потрясающей честности, как у Евгения.

Воображаю, с каким чувством Евгений пыхтел, насильно усаженный рядом со мною; бывало, после каждой реплики постылому ему декаденту Бердяев и Гершензон — слева, Метнер и Рачинский — справа поднимали громкие шепоты, долетавшие до его огромного уха, заросшего волосами:

— «Опять не понял!»

Евгений Николаевич ощущал всю правоту своих реплик мне; а сидел как побитый; в годах сидение это ему стало проблемой: а может, правда, что он лишен понимания?

Проблема непонимания символизма вместе с фактом отсутствия «мирнообновленцев» ему стали роком; и он с упорством занялся изучением причин своего непонимания нас; и кое-чего достиг на этом пути: сперва ему показалось лишь, что кое-что в искусстве он понял; еще поздней кое-что он и понял: в эпоху войны выпустил книжечку он,— в которой дал довольно тонкий разбор стиля старых икон;[260] в 1916 году он пришел в восторг от стихотворения моего; косолапо ко мне подошел; взявши под руку, честно признался мне:

— «Я вас не понимал!»

Десять лет понадобилось ему, чтоб освоиться со стихами моими; и это был для него просто подвиг.

В первые года, не понимая меня как поэта, он терпеливо выслушивал мои философские доводы в пользу символизма; но не понимал, для чего слово «символ», когда можно сказать «тип»; и все склонял меня к своей метафизике, скучно-рассудочной; на реферате моем возражал очень мягко, проделывая над собою усилия под контролем друзей, бросавших на него экзаменаторские взоры и шепчущих: «Опять ничего не понял!» В этих условиях я удивлялся иррациональной симпатии его к «Борису Николае-

вичу», шедшей наперекор его антипатиям к «Андрею Белому»; я, с своей стороны, ощущал в себе рост симпатии к этому большому, честному неуклюжему человеку с лучистыми, грустными, даже страдающими глазами; рост этих симпатий шел наперекор политико-философскому сумбуру, поднимаемому Трубецким над жизнью Москвы.

Двойственность отношений дошла до апогея в день выступления его с возражением Мережковскому: ничего не поняв в характеристике поэзии Лермонтова, он с видом «стража» понес свою куцую выспренность; и, как укушенный, выскочил я на эстраду, махая рукой и визжа:

— «Трубецкие, Алферовы и прочие кадеты нам не нужны!»[261]

Сочувственно под рукою моею кивали какие-то юноши, которым жаловался я на убожество Трубецкого; сердце сжалось во мне, когда бросил я вскользь на него взгляд: он сидел, более чем когда-либо косолапый и красный, закрывши руками лицо и опустив голову; тут понял я, что ушиб человека.

На другой день, зайдя к Морозовой, я был встречен хозяйкой:

— «Как же я вас ненавидела вчера вечером за Евгения Николаевича,— улыбнулась глазами она,— и только сегодня простила вам!»

А из толпы сюртуков, с расширенными, сияющими глазами, с протянутыми руками и с доброй улыбкою, шел на меня косолапый и черный, немного растрепанный Трубецкой; взял мою руку и сжал без слов, покорив этим жестом; во мне встала проблема: понять это косолапое противоречие, состоящее из добра, порыва и ужаснейшей косности.

С Трубецким встречался у Г. А. Рачинского, Морозовой, в философском кружке и в религиозно-философском обществе; войдешь к Морозовой: в креслах сидит — грузноватый, высокий Е. Н., молчаливо прислушивается к пестроте разговоров; и вдруг рывом косолапой руки и интонацией, не соответствующей содержанию слов, принимается тяжелить разговор; и все, что ни есть, уплотняется; с осторожностью, с тактом, силясь противников не задеть, он пробивает себе дорогу; представьте медведя, ходящего по канату; кто стал бы смеяться над движением его лап, видя, что «мишка» не грохнулся с первого шага с каната; так Е. Н. проделывал чудеса ловкости: большим и тяжелым лицом — вправо; рукою, сжатой в кулак,— к груди; ногою назад; другой рукою — вперед; все несу-

разно (в словах и в движениях), за исключением глаз, больших и лучистых, как бы просящих:

— «Вникните в мое положение: мне надо уразуметь; вы порхаете на афоризмах; я вбиваю сваями свои доводы; вы меня заставляете ходить по разжиженной почве: без свай не пройдешь!»

Бывало, уйдет; и Метнер атакует Морозову, налетая на Трубецкого; та — затыкать пальцами уши:

— «Пусть Евгений Николаевич тяжелодум; декаденты тонки; где тонко — там рвется!»

В десятилетии вбивания свай в тонкое, отделявшее его от декадентов место и в шествовании по сваям с медвежьею ловкостью Трубецкой кое в чем таки приблизился к пониманию нас.

Так же тяжело говорил он, трудно нудясь своим хрипловатым, тяжеловатым словом, завернув мясистое чернобородое лицо с сияющими, точно просящими о пониманьи глазами; бывало, он косо, взаверть покачивается над зеленым столом, расставляет руки локтями и локти без ритма бросает: вперед и назад; по смыслу — назад; по жесту — вперед: выставит руку вперед и ею о чем-то просит.

И противники считались с его стремлением к объективности; чем более путал он, тем более нудился: разобраться в напутанном; он стал бессменным третейским судьей в группе людей, имевших друг с другом запутанные отношения; к нему обращались за правым судом; он, трудясь, выносил резолюции; так было в конфликте, происшедшем между журналом «Логос», издававшимся «Мусагетом», и книгоиздательством «Путь», выпустившим книгу Эрна «Борьба за Логос»; в ней грубо облаивались философы: Богдан Кистяковский, Степпун, Гессен (сын издателя «Речи») и Яковенко;[262] позднее он защитил меня от визгливых наскоков сумасшедшего философа Ильина, в эмиграции ставшего черносотенником (едва ли не друга Маркова); резолюция Трубецкого была в мою пользу.

В последний раз видел его в обстановке весьма для него печальной: вскоре после Октябрьского переворота, встреченного Гершензоном и мною с надеждой; для него переворот был удар: ничего в нем не понял; встретились мы в доме, где было много людей, сочувствовавших революции; вечер окончился буйным весельем; я на старости лет пустился в пляс; и тут глаза мои нащупали Трубецкого: стоял он в дверях, с ужасом выпучившись на танцующих: по его представленью,— танцующих над трупом

России; нас овеивала надежда: конец бессмысленной бойне; перед ним стояло:

— «Вот тебе и Константинополь с проливами!»

Через несколько дней он исчез-таки, вынырнув в Константинополе; и умер от тифа;[263] его коллега Лопатин не мог до смерти простить этого бегства ему.

Трубецкой, Лопатин, Хвостов были правым крылом философского фронта; Е. Н. Трубецкой, метафизик, был очень отсталым философом; но он был человечен в сношеньях с людьми, гарантируя возможность обмена мнений.

Лопатин был лют, но в себя вобрал ярость, вынужденно реагируя на тон, задаваемый Трубецким, с которым таки приходилось считаться; теперь возражал он превкрадчиво, тряся клокастою бородой лешего и поблескивая золотыми очками, за которыми ядовито таились зеленоватые глазки; четыре года назад не понимал он нарочно ни слова «студента Бугаева», пристегнутого к его семинарию, мстя за «Андрея Белого»; он выдвигал Топоркова, оставленного при университете им; с изменением тона, теперь он любезничал, мягко мне оппонируя на моем реферате; он видел, что все другие серьезно спорят со мной.

Что мог он мне сделать? Выставить? Руки коротки: надо было терпеть; для него это значило: прикинуться дружелюбным; когда у него в руках была человеческая карьера, он выявлял старые замашки свои, но — исподтишка; многие полагали: добрее «Левушки» Лопатина не было человека; Топорков, по сути буян, четыре года назад — ради спорта принялся одолевать академическую схоластику, чтоб, защитив диссертацию, показать свои настоящие зубы; в этом он у Лопатина преуспел; но, человек темпераментный,— в философском кружке он сорвался, выступив с возражениями И. А. Ильину, читавшему реферат свой о Фихте; он вдруг разразился каскадами афоризмов, которые поняла треть присутствующих; но афоризм в философии ненавидел Лопатин, слушавший Топоркова с невинной улыбочкой; а в глазах поблескивало:

— «Ужо тебе: не *здесь*, а — *там;* не у Морозовой: в у-ни-вер-си-те-те!»

Судьба Топоркова была решена: скоро он стал беспризорным; университет закрыл ему двери: интрига Лопатина — как месть за фонтан афоризмов. Со мною Лопатин не мог поступить так; оттого он любезничал; кроме того: он вынужденно привыкал к «декадентам», заседая в «Ли-

тературном кружке» с директором «Кружка», Брюсовым, и постоянно встречаясь со мной; центр своей ярости он перенес на неокантианцев, когорта которых росла.

Этот метафизик ведь посвятил свой единственный труд разгрому проблемы причинности философа Риля;[264] а в ответ, точно на смех, проблема эта пустила корни в Москве; путаясь в оттенках неокантианских течений, он видел в них всех торжество ему ненавистного Риля; и переживал это как оплеуху себе; центр философского кружка заняли кантианцы: Фохт, Кубицкий, Савальский, Гордон, Рубинштейн, Степпун, Богдан Кистяковский, Гессен и Яковенко; Коген и Риккерт, и без приезда в Москву, господствовали в стенах университета, ибо «ученики» их из Москвы поставляли им юношей для всяческой обработки; был организован настоящий экспорт юношей в Марбург и Фрейбург, где маститые минотавры съедали их без остатка и ими распоряжались, в то время как «свой», московский философ, Лопатин, сидел без последователей.

На кого мог старик опереться? Религиозными философами брезгал он: союз с ними бывал иногда для тактических целей; пять лет назад он бы им объел головы; а теперь — жалко жался к ним; прочие шли своими путями: Ильин — от Фихте к Гегелю; Викторов проповедовал Авенариуса; Самсонов — Липпса; Челпанов держался отдельно; а единственный свой, «молодой человек», Топорков, оказался волком в овчарне.

Лопатин точил крокодиловы слезы в жилет профессора римского права, Хвостова, читавшего все новинки врагов Лопатина и пересказывавшего их ему; сам же Лопатин — уже никого не читал: он познакомился с «Theorie der Erfahrung» Когена[265] тогда, когда книга была изгрызена всей философской Москвой, молчаливо взывавшей, чтоб старик все-таки отчитался внятно в причинах ненависти к Когену; тогда-то он и провозгласил: «Вперед от Канта!» Но вперед звучало как «вперед — в могилу!».

Между тем его враги все росли: появились последователи — Наторпа, Кассирера, Кинкеля (когенианцев), Кона, Ласка и Христиансена (риккертианцев); вылезали на свет гуссерлианцы и даже поклонники Бенедетто Кроче; не сесть же, в самом деле, верхом на услужливо поднесенного Эрном Сковороду:[266] Лопатин и рвал и метал, не понимая ни слова в модернистической схоластике; когда же в Москве появился молодой Гессен, вылетевший из гнезда Ласка, низавшего ожерелья из тугих терминов, Лопатин

даже перетерялся; после реферата Гессена, в котором не было ни единого слова вне лексикона Ласка, он, прицепяся ко мне, взявши под руку, жалобно в ухо мне защептал:

— «Поняли ль вы хотя бы одно слово? Я — ничего не понял».

Пришлось сознаться: реферат произвел и на меня впечатленье, что юркий философутик, человек-змея, показывал ловкость прыжка из четвертого этажа на тротуар без разбития себе носа — в лозунге «форма формы формы есть то же, что форма формы, которая — не форма, а норма».

— «Хо, хо, хо»,— завеселился Лопатин, перетирая руки.

Но должен сказать: смех не звучал победительно.

Я года присутствовал при съедании схоластиков одной масти схоластиками другой масти; «кассирерианцы» и «ласкианцы» съедали, жестоко, как термиты,— всё, оставаясь такими же сухими и тощими; между прочим съедали они и схоластику Льва Лопатина; с ними мне приходилось считаться, чтобы не сдать своих позиций; и термины их я изучал, упражняяся в их жаргоне; в этом и состояла моя партия в шахматы: мимикрировать жаргон Риккерта, чтобы впоследствии его языком опрокинуть его же твердыню: ценность — «норма долженствования»; Шпетт, меня видя насквозь, мне шутливо грозил:

— «Я приду в «Кружок» сорвать с тебя маску!»

Приходилось бронировать себя; а от злости Лопатина даже не приходилось: партия его была сыграна; в существе неправые неокантианцы с правотой загрызали его.

Самым левым в тогдашнем «паноптикуме» мне казался Густав Густавович Шпетт, только что переехавший к нам из Киева и с огромным успехом читавший на женских курсах (на Педагогических и на курсах Герье); он только что выпустил свою книгу «О проблеме причинности у Юма»;[267] он в юмовском скептицизме, как в кресле, уселся с удобством; это было лишь формой отказа его от тогда господствовавших течений; он особенно презирал «нечистоту» позиций Бердяева и с бешенством просто издевался над ницшеанизированным православием; он показывал едко на помаду Булгакова, изготовленную из поповского духа и воспоминаний о своеобразном марксизме; более, чем кто-либо, он видел бесплодицу когенианцев и риккертианцев, приведшую к оригинальной позиции Ласка, у которого она, как скорпион, всаживала жало

хвоста в свою голову; в самом деле: «трансцендентальный эмпиризм» Ласка средствами трансцендентального идеализма зарезал позиции этого идеализма, не подозревая даже об этом. Менее всего питал симпатии Шпетт и к эмпириокритицизму; он был ходячей иронией *слева,*— так, как Лопатин был бессильною злостью справа; азарта ради Шпетт готов был поддразнить кантианцев заодно с Лопатиным, отстоя от него далеко.

В своих выступлениях он собственной позиции не развертывал вовсе; он ограничивался протыканием парадных фраков иных позиций: рапирою Юма; когда его просили высказать свое «credo», он переходил к бутылке вина; и развертывал перед нами свой вкус, свою тонкость; он и нас понимал, как никто; и, как никто, отрицал в нас философов, утверждая: философы мы, когда пишем стихи; а когда философствуем, то питаемся крошками чужих кухней; мои философские выступления он считал игрой в прятки (сел за куст, а — виден отвсюду); и утверждал философичность «Золота в лазури».

Никогда нельзя было разобрать, где он шутит, где — всерьез: перед зеленым столом; или — за бутылкой вина в три часа ночи; академический Шпетт был — одно; Шпетт застольный товарищ — другое; иногда мы думали: второй — хитрая разведка первого; иногда — обратно: Шпетт, наносящий тебе удар за зеленым столом, есть попытка друга вывлечь тебя из заседанья к интимной беседе.

Никто из философов не дружил с нами так, как он; и никто не держался с такой опаской по отношению к нам: в академических выступлениях.

Хитрой, талантливой, увертливой и пленительной «бестией» завелся этот Шпетт среди нас, средь философов, в «Доме песни» д'Альгеймов, у Метнеров[268]. Его академическая карьера взлетала, меж тем как карьера его патрона, Челпанова, протекала где-то на унылых философских задворках. С какою-то галантною миной, граничащей с откровенной иронией, Шпетт держался Челпанова; Шпетт виделся всюду.

Челпанов — нигде.

Передо мной возникает лицо Густава Густавовича: круглое, безбородое и безусое, принадлежащее — кому? Юноше иль — старику? Гладкое — как полированный шар из карельской березы; эй, берегись: шибанет тебя шар! Как по кеглям ударит! Лицо было невелико: не губы — губки; не нос, а — носенок; не быстрые, коричневатые, с розоватым отливом глаза, а — два юрких носика —

мышьих: обнюхивали твой идейный ландшафт, выбегая стремительно из мозговых полушарий, шмыгнувши в глаза твои, из них вбежать в твою черепную коробку; и там поднять суетливое шелестение со скептическим писком; таково было впечатление, когда открывалася дверь и из нее вопросительно выглядывала остриженная небольшая, тяжелая голова; после уже являлась и вся коренастая, кряжистая фигура, держа вперед голову; поглядывал исподлобья улыбочкой, метя, к чему прицепиться.

Он ступал эластично и мягко; но вкладывал в шаг свой пуды; садился молчать с чуть дрожащей улыбкой на розовом, молодом, гладком личике, выпуская взглядом «мышат»; языком щекотал, как рапирой; заигрывал, но оставался далеким от игр, им затеянных, напоминая свинцовый и косный ком, играющий поверхностным отблеском, не проникавшим в его душевную жизнь; тогда казался старообразным; и в шутках его была грубость:

— «Не люблю я деревни,— говаривал он.— Там нет ресторанов; ведут тебя в поле; нет пепельниц; некуда стряхнуть пепел».

Или:

— «Борис Николаевич,— он пускал кудрявый дымок, целясь глазком мимо меня в какую-то точку,— Борис Николаевич проводит вполне интересные мысли в интимном кругу; а примется выступать на докладах, тотчас же надевает изношенный фрак, взятый им напрокат в гардеробе у Риккерта!»

И мышиные носики сунутся в дырки из зрачков; и нюхают впечатленье от слов; личико постареет, отяготится, темнеет, став цветом пары, в которую облекался он: ходил в коричневой паре с желто-шафранным оттенком; подмигивает, бывало, Рачинскому:

— «Григорий Алексеевич меня понимает небось!»

Рачинский, когда-то словесно «поровший» меня за декадентские образы, фыркает дымом на юркости Шпетта:

— «Паф, паф!— вылетают из уст его клубы.— Кант, Риккерт, Кант, Риккерт... Паф... Сухо...» — и весь исчезает в дымах; и — жундит:

— «Вы, Борис Николаевич,— настоящий художник; помните, как писали когда-то: «И ухнул Тор громовым молотом по латам медным, обсыпав шлем пернатый золотом воздушно-бледным...»[269] Трубецкому-то невпрочет, а я его накачиваю...— Паф-паф-паф!— Ах, вернулись бы, Борис Николаевич, к «Золоту,— паф,— в лазури»...»

— «Ну вот,— заюркает глазиком Шпетт,— и я говорю!»

И ко мне:

— «Твое дело — стихи; здесь ты на месте; и здесь ты — философ; нет,— мало тебе быть поэтом; тебе подавай еще фрачную пару от Риккерта, чтобы в грязь не ударить перед Савальским».

И тут пускается крепкое слово по адресу когенианца Савальского:

— «Ну, скажи,— зачем тебе фрак?»

И шутливо грозил, если еще раз приду я во фрейбургском «фраке», то он при всех разорвет на мне этот фрак, чтобы под ним обнаружить колпак «сумасшедшего», из стихотворения моего, которое он любил:

Тихо падает на пол из рук
Сумасшедший колпак*.

И угрозу свою он однажды исполнил; я читал доклад у Морозовой; за зеленым столом сидели: Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков, Кубицкий, Эрн, Фохт, Ильин, Метнер, Рачинский, Савальский и многие прочие; Лопатин, не нападая, мне вкрадчиво предлагал вопрос: в чем же спецификум символизма как направления, если и Шекспир символист? После него говорил Трубецкой; и ставил вопросы случайные Северцев; только трудновразумительный когенианец, Савальский, поставил мне трудный вопрос, став на длиннейшие терминологические ходули; я ответил ему, став на такие же ходули, но выструганные в правилах философии Риккерта; уже после Рачинский смеялся, описывая, какую неразбериху порол Савальский и какою неразберихою я ответил Савальскому:

— «Вы понимаете,— фафакал он дымом,— Савальский говорил по правилам Когена так, что ни одной живой душе не понять. А Борис Николаевич, сделав вид, что он понял Савальского, принялся ему отвечать еще чище того, громоздя трехъярусный термин на трехъярусный термин, да еще имел смелость спросить Савальского: «Поняли ли вы меня?» И тот: «Да, я вас понял». Что же ему оставалось ответить? Не поняли ж Савальского и Бориса Николаевича — Трубецкой, Лопатин, я, Метнер, Савальский. Да и сам Борис Николаевич себя не понял».

---

* «Золото в лазури»[270].

Во время этого труднопонимаемого обмена мыслей о деталях методологии символизма, увидел я: шпеттово юное и безусое личико; он пробирался по стенке, легко, с полуулыбочкой; но вкладывал в шаг свой пуды; а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, уже торчали из дырок зрачков; отвечая Савальскому, я косился на Шпетта; вот он вкрадчивым голосом попросил слово; и рапира его, передо мной заблистав, закружила сознание; «трах»: я был — проткнут.

Потом говорил с добродушием Шпетт:

— «Борису Николаевичу на философской дуэли приходится рвать его фрак; ничего: он приходит домой, его штопает; и является сызнова в нем».

Но я в те года, сомневаяся в том, что Шпетт прав, утешал себя мнением о своих турнирах профессора Кистяковского, испытаннейшего и старейшего риккертианца; после одного выступления он ко мне подошел:

— «Вы поняли в совершенстве дух семинария Риккерта; долго ли вы у него обучались?»

— «Да никогда: я во Фрейбург не ездил; и в лицо не видывал Риккерта».

— «Этому трудно поверить: то, что сейчас вы сказали, есть тема специального семинария».

Когда надо мной трунил Шпетт, то я себя подкреплял Кистяковским.

Шпетт щеголял скептицизмом; и объявил, что Юма не поняли; выставив вперед голову, по Юму доказывал все, что угодно ему; в эти минуты напоминал он омоложенного старика; а точеная его голова, точно из карельской березы, уподоблялася кегельбанному шару; увидевши кегли, идеи, готов был всегда он: схватившись руками за собственный шар и сорвав его с плеч, шибануть им по кеглям.

Кантианцы ходили на бой в тяжелых доспехах, издали выглядя Голиафами; но вот выходил Шпетт, как Давид, облеченный наготой скептицизма; он, сорвавши с себя, пускал шар кегельбанный: «трах» — лоб Голиафа кололся; любил я утонченный шпеттовский ум, им любуясь, но не понимая, за что ратует он; а в интимной беседе вдвоем пробуждался романтик в нем (на короткое время!), вздыхающий по «Баладине» Словацкого[271], читающий с увлечением Мицкевича; Шпетт со всеми нами сошелся; опять-таки: на короткое время; любил Э. К. Метнера, называя «Милей» его.

Но он мне двоился; не мог я понять, чем он тянется к нам: устремленьем моральным иль тем, что мы — не

мыслители; он в быту выбирал собутыльников; дружил с Кожебаткиным, с Сергеем Есениным, предпочитая порой анекдотики важным беседам; и думал я: он выбрал себе «аргонавтов» как клубное место; я выбрал клубом себе философию, а он — искусство.

Он становился премоден на курсах Герье; здесь сражал философских курсисток рядами он; и десятками расплодились «шпеттистки» (о, бедный Борис Александрович Фохт!); очень многие носили тогда на груди медальончик с портретом Шпетта; рассказывали: и на лекциях он кубарями вертит системы философов.

Любил в эти годы он выпить; и, выпив, шалил; говорили: еще в бытность в Киеве должен он был оппонировать в университете на диспуте; он пил накануне всю ночь; пил и утром; явился на диспут внезапно уже после того, как его в бессознательном состоянии уложили в постель; к ужасу Челпанова, он попросил слова; автоматически возразив, не провравшись ни в чем, был друзьями он выведен и уложен в постель; проснувшись, он и не помнил, что был он на диспуте.

По окончании докторского экзамена (у Гуссерля, кажется) он устроил в маленьком городишке немецком пирушку, по немецкому обычаю пригласивши экзаменаторов и друзей; но перепутал и дни, и часы; явившися в ресторан и увидевши убранный, но пустующий стол, он бросился бегать по городу, нанимая извозчика за извозчиком; их всех собравши, уселся на первого; махая рукой, в сопровождении десятка пустых пролеток, летал с шумом и гиком по улицам провинциального городка; профессора, их супруги, доценты с недоумением наблюдали из окон, как перед роем летевших пролеток пустых новоиспеченный герр доктор Шпетт летел в черном цилиндре и белом крахмале; все извозчики городка принимали участие в манифестации этой; и, принесясь к ресторану, приняли участие в пире вместо герров доцентов и докторов.

Так мне рассказывали про него, вероятно преувеличивая, но в правилах немецкого каламбура; вкусивши вина, и при мне Шпетт пускался в опасные шалости; раз, возвращаясь со мной на извозчике в три часа ночи по опустевшим улицам, он, вдруг выскочив из пролетки, подкравшись, как кошка, к старому городовику, выхватил из его кобуры револьвер (в эти годы полиция была вооружена) и шутливо стал угрожать ему им, напугав старика; после же вернул ему револьвер с рублем; хорошо, что попал он на безобидного городового, обрадовавшегося руб-

лю; незадолго до этого за шутки подобного рода платили жизнью.

С Веньямином Михайловичем Хвостовым, являвшимся в философский кружок, у меня сложились вполне добродушные отношенья; «гроза» для студентов, державших экзамен по римскому праву, в салоне Морозовой была скромна; и держала себя несравненно культурней, чем Л. М. Лопатин; Хвостов читал Риккерта, Когена, Наторпа; и никого не преследовал за изучение их; он молчал, тяжковато посапывал, и он за собою водил в кружок слушательницу своих лекций; каких философских был взглядов он, трудно мне было понять; но он верил в высокое назначение женщины; тут мы сходились; не знаю, читал ли он меня или нет; но он знал о моем отношении к женщине.

Он однажды, подсевши ко мне, завел речь о значеньи сонетов Петрарки и средневековой «даме» рыцаря; его глаза заблистали; и вот с косолапым доверием бухал мне в ухо такими интимными мыслями, которые не соответствовали его виду «грозы»; подоплека его была нежная.

Он был в политике трусом; источник же трусости — вовсе не мысль о карьере, а о судьбе женской гимназии его жены;[272] гимназия была ему дорога, так как в ней он мог проводить взгляд на женщину; с университетом расстался легко он, не выдержав самоуправств министерства.

С Хвостовым дружил; наоборот: молодой, одержимый, бледный, как скелет, Иван Александрович Ильин, гегельянец, впоследствии воинственный черносотенец[273],— возненавидел меня с первой встречи: ни за что ни про что; бывают такие вполне инстинктивные антипатии; Ильина при виде меня передергивало; сардоническая улыбка змеилась на тонких и мертвых устах его; с нарочитою, исступленною сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся; наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая взгляды друг в друга.

По-моему, он страдал затаенной душевной болезнью задолго до явных вспышек ее; он старался все выглядеть сухо и зло оттого, что, быть может, в душе его протекали какие-нибудь бредовые процессы; этот талантливый философ казался клиническим типом; в эмиграции он мог стать Горгуловым;[274] у него были острые увлеченья людьми; и ничем не мотивированные антипатии; ему место было в психиатрической клинике, а вовсе не за зеленым столом. Рассказывали: в многолюдном обществе он, почувствовав ненависть к Вячеславу Иванову, стал за спину его

и передразнивал его жесты, что в державшемся подтянуто гегельянце уже выглядело бредом с укусом уха Николаем Ставрогиным[275].

Чем-то ставрогинским веяло на меня от И. А. Ильина; чем серьезней бывали его выступленья, тем более меня ужасал кривой дерг его губ и вздрог высокого, тонкого, стильного стана и бледного профиля с добела белокурой бородкою Мефистофеля.

Черная кошка пробежала меж нами в те годы; в 1915 году я все порвал с Метнером, ставшим другом его; придравшися к книге, полемизировавшей с Метнером[276] (а на самом деле схватясь за предлог проявить свою инстинктивную ненависть), И. А. Ильин разослал внезапно ряд писем (Булгакову, Гершензону и многим другим) с клеветой на меня; он и мне прислал копию; я же был в Петербурге; и не мог ознакомиться с содержаньем его, потому что в мое отсутствие к матери забежал Гершензон и потребовал, чтобы я не распечатывал письма; вернувшись, я его вернул Ильину в нераспечатанном виде; текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей; Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного. Мне потом объясняли: Ильин вычитал в книге моей против Метнера гадкие инсинуации, де порочившие честь его друга; вернее, не вычитал, а вчитал в нее свою гадость; мне и тогда было ясно, что передо мной душевнобольной[277].

Не могу перебрать всех философов, бывших в кружке; кантианцы являлись когортами; риккертианцы (Богдан Кистяковский, Степпун, Гессен) не слишком водилися с более многочисленными когенианцами (Фохт, Кубицкий, Савальский, Гордон, Делекторский, Тростянский, М. П. Поливанов и прочие).

С последними далековат был я в те года; Фохт, меня ненавидевший в юности, после помогший учиться, теперь стал вдали: ни вражды, ни сочувствия.

С риккертианцами отношения сложились тесней; позднее они обратились к издательству «Мусагет», где работал я, с просьбою издавать русский выпуск международного философского журнала «Логос», долженствовавшего выходить: в Германии, Италии и России; журнал возглавлял Генрих Риккерт; русский отдел возглавляла тройка: Степпун, Яковенко и Гессен под номинальным руководительством профессора Богдана Кистяковского[278],

которого сочинение по философии права гремело в Германии; в Москве Кистяковский был как-то затерт; он не был популярен здесь, за пределом тесного кружка фрейбуржцев, чтивших его вместе с Риккертом.

В наружности этого скромного, серьезного человека было что-то диковинное; великан этот, косолапый и бледный, с огромной опущенной головою, с редкими желтыми волосами, с длинной такого же цвета всклокоченной бородой, оттененной кровавого цвета губищами, напоминал собой смесь жирафы с гориллою; мог бы давить и размером и весом; но гнулся, конфузился; перетерянные голубые глаза не глядели в глаза, опускаясь, моргая; во всем спотыкался: в словах, в интонациях, в жестах, боясь оторвать сапожищем своим платье дам; а когда начинал говорить, гымк и скрежет лишь слышался, точно себя обрывал каждой фразой; такого беспомощного оратора я и не видывал; не представляю себе, как читал свои лекции; и говорил он с акцентом.

А — крупная умница; его любил Гершензон; мне он был симпатичен, являя полнейший контраст с своим братцем, Игорем Кистяковским, тупым и бесчувственным карьеристом, нечистым в делах; и Богдан Александрович относился с брезгливостью к братцу, жалуясь моей матери:

— «Я стараюсь у Игоря не бывать; неприлично как-то профессору, мне, из моей обстановки являться в такие роскошные комнаты; Игорь не понимает, что стыдно, безвкусно и глупо такие квартиры устраивать».

Жил Богдан просто: и, кажется, замкнуто, появляясь часто у Гершензона лишь.

Прения в философском кружке, в Религиозно-философском обществе — форма молчания человека, выбитого из позиций; трудно было перенести картину разбитости жизни:

Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел[279].

Жизнь предстала как прозябание под формою выдуманного обязательства способствовать карьере Брюсова, не нуждавшегося в моей помощи; позднее выяснилось, что «Весы» не были необходимы ни мне, ни Брюсову; и без них каждый из нас сумел бы найти себе место; «Весы» были необходимы Эллису и греку Ликиардопуло;[280] Элли-

су — для манифестов; Ликиардопуло же без «Весов» не выплыть далеко: он так умел представить, где нужно, себя ответственным лидером, сшив для этого сногсшибательный фрак, что и в прессе, и в Художественном театре вообразили: он и есть «весовская» линия (был же он только техник редакции); из «Весов» попал он в секретари Художественного театра[281], откуда и выплыл в прессу, где на весь мир прогремел: поездкою по Германии (во время войны);[282] да еще: «Весы» были необходимы морально С. М. Соловьеву.

Ликиардопуло я уже тогда раскусил; с Эллисом и с Соловьевым — считался; они ближе всех подошли к перипетиям с Щ., оказывая почти ежедневную помощь; в месяцах оба они взвинчивали меня на бои, в иные минуты казавшиеся мне сплошным донкихотством; передо мною взвился занавес, за которым вперилась горгона, каменя все мое существо: ка-пи-та-лизм! Я постиг его не в абстрактнейших тезисах, а во всей силе тысяч капилляров, которыми тянет в себя нашу кровь; я понял тщету — переменить жизнь с налету: от личного творчества.

В созерцании этого зрелища я и стал «мистиком», ибо я пережил свой полон как «мистический» заговор неведомых «оккультистов», отравляющих своей эманацией все; прикоснешься утром к поданной чашке чая, отравленной «ими», и — каменеешь от ужаса.

Ужасы капитализма осознавал я всегда; но теперь я пережил эти ужасы с новою, прямо-таки сумасшедшею яркостью, как нечто, направленное на меня лично; и не совсем верил я, будто ужасы эти — механический результат социального строя; мне виделся заговор; чудилось: нечто крадется со спины; виделся почти «лик», подстерегающий в тенях кабинета; и слышался почти шепот:

— «Я, я! Я — гублю без возврата!»

Фразу эту позднее я вставил в роман «Петербург»[283] (в сцену бреда сходящего с ума истерика революционера, наделив его переживаниями, меня охватившими); я и Эллису сетовал:

— «Строишь план честной жизни, а чья-то проклятая лапа тебя заставляет переиначивать этот план: и рисуешь всей жизнью ослиные уши!»

Я ощущением, не мировоззрением даже, переживал в эти годы: убей, полони, но к чему — задразненье?* Есть еще, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что

* Тема профессора Коробкина в романе «Москва».

ему придает такой демонский лик; мысль о тайных организациях во мне оживала; об организациях каких-то капиталистов (тех, а не этих), вооруженных особою мощью, неведомой прочим; заработала мысль о масонстве, которое ненавидел я; будучи в целом не прав, кое в чем был я прав; но попробуй заговорить в те года о масонстве, как темной силе, с кадетами? В лучшем случае получил бы я «дурака»: какие такие масоны? Их — нет. В худшем случае меня заподозрили б в бреде Шмакова[284]. Теперь, из 1933 г.,— все знают: Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Керенский, Карташев, братья Астровы, Баженов, мрачивший Москву арлекинадой «Кружка», т. е. люди, с которыми мне приходилось встречаться тогда иль поздней, оказались реальными деятелями моих бредень, хотя, вероятно, играли в них жалкую, пассивную роль; теперь обнаружено документами: мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне; припахи кухни и чувствовал, переживая их как «оккультный» феномен.

Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика: из испуга перед незримою гадиной. Переживания, напоминающие заболевание, долго жили во мне; начались же они в Москве, с осени 1908 года: имагинацией некоего мирового мерзавца, впоследствии пережитого, как образ мне неизвестного миллиардера, непременно масона; я его описывал так:

«Прибыв из достойного дома, стоящего в великолепном квартале, обставленном привилегиями конституционного строя... где строгие слуги конфузились, прижимаясь к стенам, когда старый, пробритый, румяный, породистый сёр, сереброголовый, тяжелый, таящий в глазах голубых глубину, под влияньем которой... рассыпались прахом земли, не находящиеся под покровительством Старого Британского Льва...— располагался на комфортабельном кресле, роняя глаза на бумагу... и на приложенный мной проклейменный, истрепанный паспорт...» («Записки чудака», т. II, стр. 36)[285].

«Сёр» этот — «ставши серым, блиставшим мерзавцем, глазами своими хотел изомститься» («Маски», стр. 216)[286]. «Господин в котелке, высылаемый *сёром,* старается оклеветать мои действия...; бытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченной на гибель... *Они* ненавидят меня...; их мечи — клевета и инфекция моих состояний сознания ядами» («Записки чудака», т. I, стр. 78)[287].

В таких болезненных образах передо мною встала химера ужасного *сёра*, повара войны, меня ненавидящего.

Сравните эту фантазию с образом такого же *сёра* у Блока:

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный
Решал все тот же я — мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентльмен. За ним — лохматый пес.
На кресло у окна уселся гость устало,
И пес у ног его улегся на ковер.
Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, «сёр»[288].

Следствие посещения этого — ощущение, переданное поэтом:

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят[289].

Родственность наших переживаний уже позднее установили мы с Блоком[290].

А личные встречи с капиталистами не соответствовали химере; безвкусные, пошлые, себялюбивые хищники, чисто вымытые и любезные, мне казались невинными в сравнении с персонажами бредов моих; и я думал о них: на них просто печать деформации класса; капитализм — ужасное зло; это знал я по Марксу и личному опыту; мировой переворот их сметет; когда он будет? Кто знает? Через сто, двести лет? Ни Каутский, ни Бебель не давали на этот счет никаких указаний, а с Лениным я был не знаком; капитализм — ненавидимый мною факт; но что тут поделаешь?

Читатель может вывести заключение: меньшевики, с которыми я часто в эти годы встречался, накачивали меня мирными социал-демократическими представлениями; представления ж о конкрете меня давящего ужаса чуемых адских кухонь оставались не вскрыты; они были — «оккультный» феномен, над вскрытием которого долго работало воображенье мое (да и Блока, как оказалось впоследствии). Места им не было в меньшевистской редакции, где капиталист являлся скорее невинною жертвой несчастно сложившейся для него ситуации: с вида урод, а в сущности,— до-брень-кий!

«Бред» стал реальностью с эпохи войны: открылся ключ к моим ужасам.

Тем не менее: уже в эти годы переживания высадили меня из культурной борьбы; я терял аппетит к ней, мертво выполняя функции лидера одной из литературных группочек; отсюда потребность в «клубном» уюте как месте, где можно не думать о том, что сжигало сознание (психология страуса, прятавшего в перья голову); смешно сказать: партии в философские «шахматы» с Трубецкими, Шпеттами, Яковенками — предлог: о личной жизни не думать; в комбинации методологических фигур мысли интересовал меня то — ход с коня, то — ход с королевы: от Риккерта или — Наторпа: философский фрак, над которым смеялся Шпетт, был мне в те годы необходим; он — мимикри, позволявшее мне на людях молчать; до конца 1910 года я выдерживал свою немоту; потом я стал убегать из Москвы, чтоб отделаться от бесцельных повинностей; в 1912 году я Москву оставлял с мыслью, что в нее не вернусь: никогда!

Глава пятая

С МОСКВОЙ КОНЧЕНО

ПЛАЧЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В предыдущей главе я описываю попытку культурно работать (руководитель кружков, публицист, критик, лектор, газетчик); но отложился итог: в России уже делать нечего мне; период культурной работы, начавшись в девятьсот седьмом, длился до конца десятого года. В предыдущей главе опускаю я личную жизнь, потому что ее как и не было; она свелась к тщетным попыткам бороться с тоской; и к исканию средств анестезировать боль; никогда до и после я не был так стар; с 1901 года и до конца 1908-го линия жизни — падение; с 1909-го и до 1915-го — подъем;[1] девятьсот восьмой год — мертвый год: ни туда, ни сюда; вот как я представляю его из 1933 года:

1901 год → 1908 год → 1915 год

В трехлетке 1907—1910 годы личная биография спрятана; она протекает подпольно; в ней «Бугаев» выглядывает из-под маски «Андрея Белого» лишь для того, чтоб увидеть: в обстании тот же мерзкий потоп огарочной жизни, которую отражает Андреев («Жизнь Человека», «Царь-Голод», «Маски», «Анатэма»).

Интимных событий жизни не мог выносить я наружу; как сказать: безответственность людей, вещающих о революции быта, пережита мною в опыте общения с Щ.? Борясь с мистическим анархизмом, боролся я и не с невинными сравнительно скобками легкомысленных лозунгов, а с людьми, их использовавшими для вложения в весьма низкие действия выспренних смыслов; собственно: облекались в грязь, называя ее царским платьем; так:

фиговый листик весьма транспарировал тем, что за ним; но делали вид, что не видят; полемика моя не могла назвать вещи прямым своим именем; и отсюда ее символизм, обезоруживавший меня; многого вслух я не мог сказать; сказать — означало: вывернуть подоплеку других; это ж пахло скандалами.

Так насильственно был я замкнут; и странная, с детства знакомая немота идиотика Бореньки водворилась вторично; я во многом использовал «Белого» так, как когда-то использовал «Боренька», которому запрещались матерью «умные» разговоры, язык общих мест, в результате чего взрослые ахали: «Растет идиотиком!»* Мало знавшие «Белого» приходили к мысли, что он скандалист, злой разбойник, грабящий на дорогах, но опустивший забрало; на нем надпись: «Теория знания!»

Так, вероятно, и думал Чулков.

То — выражение немоты, налагавшей неудобоносимые бремена на меня. Я себя собой ощущал в одиночестве моего зеленого кабинета, служившего мне и спальней; обстановка его не способствовала уюту: два строгих окна открывали вид на унылые домики Кривоарбатского переулка, в котором поздней наблюдал я разрывы шрапнели: в дни Октябрьского переворота; большой письменный стол между окнами затенялся стеной; отступя от стены, у другой, стоял плюшевый темно-зеленый диван, мне служивший и ложем; перед ним стоял темно-зеленый и тоже плюшевый столик с зелеными пепельницами, переполненными окурками; два зеленых и удручающих кресла давили меня; в одном из них сидел Эллис; и шесть неуютнейших, мягких, тоже зеленых стульев; у противоположной стены — книжный шкаф; стулья, кресла, диван, занавески на окнах, ламповый абажур и даже рамы портретов — зеленого, мрачного цвета!

Когда я лежал на диване, вперясь в наклонно висевшее зеркало против меня, я упирался глазами в себя самого: этот «я», отененный, зеленый, простертый, как труп, на диване, смотрел на меня так угрюмо, неласково, с угрожающим порицанием; и курил, курил, соря пеплом, мутнея за клубами дыма, которые не защищали меня от его укоризненных глаз; я его называл своим «демоном»; и о *нем* написал я, когда он, меня пощадив, *отлетел* от меня (это значило, что угрюмая привычка лежать на диване, вперясь в себя, прекратилась):

---

* См. «На рубеже двух столетий», «Крещеный китаец».

Возникнувши над бегом дней,
Извечные будил сомненья
Он зыбкою игрой теней,
Улыбкою разуверенья...

Бродя, бывало, в полусне
В тумане городском, меж зданий,
Я видел с мукою ко мне
Его протянутые длани...

С годами в сумрак отошло,
Как вдохновенье, как безумье,
Безрогое его чело
И строгое его раздумье[2].

На этом диване, над пеплом сжигаемой папиросы откладывались безнадежнейшие строчки «Урны», а в кресле являлась: то лысая голова Эллиса, радостно потиравшего руки над мрачным раздумьем моим (я собою доказывал его мысль: наша участь — погибнуть), то являлся зеленою гусеницей, облеченной в серую пару, В. Ф. Ходасевич; с икающим смехом сорил своим пеплом, рассказывая очередные мутнящие душу мне сплетни; а раз А. М. Эфрос, зайдя и увидя таким меня, грустно качнул головою:

— «Да, да,— вы как Гоголь эпохи переписки: уже, уже...»

И повеяло тут холодком: приговорен; значит,— смертник!

В тот период играла мать моя ежедневно моцартовский «Реквием»; переживания мои не имели названия; но они сплелись с отрывками «Реквиема»; куски «Реквиема»,— «Confutatis» иль «Lacrimosa»,— переживались в неделях как то, о чем я не умел заикнуться; звуки музыки переживались как похороны: себя собою; интенсивность этих переживаний я мог бы сравнить с восприятием музыки четырехлетним ребенком; в «На рубеже двух столетий» описаны переживания эти: «Музыка... спустилась над детской кроваткой моей...; пропадала драма... квартиры и мое тяжелое положение в ней... Я... говорил себе, что я выведен из тюрьмы, которая мне навязана безо всякой вины» («На рубеже», первое изд., стр. 182—183)[3].

Так переживал звук немой мальчик; прошло четверть века: он стал писателем, не лезущим эа словом в карман; а что изменилось? Выход из политической, социальной и культурной тюрьмы был опять лишь в звуках: и я немел, как тогда, когда надевал на себя принесенные мне ходячие истины; теперь мне сменились они сюртуками; да, пожалуй, еще перекрахмаленным термином, над обилием которого фыркал в плечо мне Лопатин:

— «Хо, хо: ничего не пойму».

Чтоб поняли, надо кричать, как меня обманули, что значило: назвать имена Щ. и чудища, скрытого в недрах капитализма; это значило: назвать имя неназванного Азефа; это значило: выявить всем насильникам мое отношенье к режиму насилия; все, взятое вместе, мне, обессиленному неравной борьбой,— невозможно; вот какие мысли курились в минуты, когда за стеною звучало мне «Requiem» Моцарта; а со стены из зеленого зеркала неотрывно глядело все то же худое, зеленое мое же лицо: самопознание тяжело!

Так девятьсот шестой год, год безумий, борьбы... до пролития крови своей под ножом оператора,— стал медлительными годами меланхолического уныния, которое от всех я скрывал. Раздавались звонки: кто? Почитатели: спрашивать о смысле жизни. В 1908 году горничная отвечала: видеть нельзя.

Приходил вечер; а с ним опостылевшая повинность: тащиться на кафедру, или в «Кружок» (защищать дело Брюсова), или в «Дом песни» (ратовать за д'Альгейма), или в «Эстетику»,— обличать журналистов; а кого обличать, коли неназываемы ничьи имена в жалких средствах понятий; режим бреда и ужаса господствовал над «понятиями»,— штыками и пушками, застенками, кандалами, развратом, повальным плясом, повальным пьянством, повальным картежничеством и похабством неприличных фотографических карточек, продаваемых в каждом писчебумажном магазине под покровительством московской полиции, видевшей в этом средство отвлечь молодежь от общественности.

Встав с дивана, натаскивал я на себя свой крахмал и сюртук: шел на новый скандал:

Одетый в теневой сюртук,
Обвитый роем меланхолий,
Я всюду был... И был я звук
Неугасимой, темной боли...

Бросал я желчный голос свой
В дома, в года, в пространства, в зори,
В гром переполненных толпой
Бунтующих аудиторий[4].

Нелегко было перепереть через этот трудный период; ломались мои отношенья со многими.

С 1901 года углубилась дружба моя с Соловьевым; а встреча с поэзией Блока, знакомства с Валерием Брю-

совым, Гиппиус, Мережковским влияли на стиль отношения к жизни; и так же влияла внезапная дружба с Э. Метнером, Эллисом, Эртелем, с Батюшковым, сближенье с Владимировым.

К концу семилетия я — в оппозиции к Блоку; Владимиров, Батюшков, Эртель отходят; в душе моей Мережковские перегорели уже (я письмом к Мережковскому силюсь себя отделить от него);[5] еще с Брюсовым, с Метнером и с Соловьевым дружил я по-прежнему; но с 1909 г. линия деловых отношений с Валерием Брюсовым уже идет на убыль; я отхожу к «Мусагету»; а он — к реформируемой «Русской мысли». С тех пор пресекаются и все сношения со «Скорпионом».

А летом 1909-го — первое недоразумение с Соловьевым; идеологически мы друг от друга отходим;[6] в двенадцатом он не приемлет позиций моих;[7] отношения с Метнером — ряд «черных кошек», подготовляющих мой разрыв с «Мусагетом» и с Эллисом; вскоре я рву окончательно с Метнером.

Кроме того: предыдущее семилетие окрашено мне отношеньями с N, потом с Щ.; а последующее — есть встреча с первой женой, наш отъезд за границу, жизнь там (четыре года).

В первом семилетии отношения с Блоками терпят фиаско; а во втором — по-новому укрепляется связь моя с Блоком; но эта связь — не связь жизней: идейная (неприятие интеллигенции и одинаковое отношение к предчувствию революции).

Так девятьсот восьмой год есть рубеж отношений со многими и переход от одной тональности жизни к другой: утрачено недавнее прошлое; и нет еще — будущего.

БЛОК И Я

В марте 1907 года вернулся в Москву из-за границы я; все сношения с Блоком оборвались; непонимание его поведения получило возможность определиться в критике мной его лирики; критика совпала с началом его широкой известности как певца «Балаганчика» и «Незнакомки»; последствия операции располагали меня к желчным выходкам; но в них увидели лишь резонерство; бывало, говаривали: «Белый и Блок»; а теперь подчеркивали: «Брюсов и Белый!»

Разошедшийся с Блоком, С. М. Соловьев шел гораздо дальше меня в отрицании Блока; Брюсов в лице меня, Эл-

лиса и Соловьева теперь приобрел убежденных соратников. У Соловьева, едва оправлявшегося от тяжелого ревматизма, я часто бывал; по приезде в Москву я застал пригвожденным к одру его; но он смеялся с трагическим юмором:

— «Тебя резали — там, а я здесь вот свалился; дошли мы до точки!»

Сгорел его дедовский домик, где столькое переживали мы; прошлое так же сгорело, как дедовский домик; что было для друга развеянным пепелищем, во мне оседало стихами из «Пепла», а в Блоке — «Нечаянной радостью»; кое в чем перекликнулся он с моим «Кубком метелей», слагаемым в Мюнхене и в Париже — в те дни, когда Блок в Петербурге слагал свою «Маску»[8].

Мой друг предложил провести это лето с ним,— только не в Дедове, где уже не было места; его новый домик был в стройке; и кроме того: у обоих испортились отношения с Коваленскими; так: мы сняли пустующий домик неподалеку от Дедова в сельце Петровском;[9] домик одной стороною стоял на опушке зеленого леса, другой глядел окнами на синий прудик с деревом, в котором гнездились огромные шершни, влетавшие в окна; грозил их укус.

Лето было дождливо, туманно и грустно; снедала нас грусть о далеком былом; мы прислушивались к тишине летних сумерок:

Какая тишина! Как просто все вокруг!
Какие скудные, безогненные зори!
Как все, прейдешь и ты, мой друг, мой бедный друг.
К чему ж опять в душе кипит волнений море?[10]

Прошли: конец мая, июнь; в первых числах июля Сережа уехал лечить свои ноги: на юг;[11] я остался один; думы,— желтые шершни,— погнали в Москву меня, где окунулся я тотчас: в «весовские» злобы, в политику «Перевала», в газетные фельетоны и в ссоры — с «Руном», с Э. К. Метнером, Стражевым, мной описанными в предыдущей главе; и между прочим: тогда же и Блоку послал я письмо, обвиняющее поэта в потворстве Н. П. Рябушинскому в происках перед писателями группы «Знания»;[12] тотчас же пришел бешеный по тону ответ его: с вызовом меня на дуэль;[13] но — повода не было для меня принять его вызов, как в прошлом году, когда я вызывал его на дуэль; это письменно ему объяснил, и он вынужден был со мной согласиться: в ответном письме[14], положившем начало и «мирным переговорам» меж нами, окончившимся его приездом в Москву[15].

С нетерпением оба с матерью ждали его; в семь раздался звонок; я пошел отворять: он — с пальто на руке, в черной паре и в шляпе с полями конфузливо стал на пороге, не решаясь войти; не казался враждебным, как в нашем последнем свидании; детски доверчивые голубые глаза посмотрели с прищуром; за шапку схватясь, поклонился мне:

— «Здравствуйте, Борис Николаевич!»

Вместо «Боря» и «ты»; растерявшись от этого, я — то же самое:

— «Здравствуйте, Александр Александрович!»

И — рукой пригласил в кабинет, дверь открыв перед ним; он вошел; и топтался, не зная, куда положить ему шапку, пальто; ощущалась неловкость в бросаемых им исподлобья растерянных взглядах и в полуулыбках и в том, что не сразу коснулись болезненных тем разговора (дуэли и прочего); и водворилась меж нами несвойственная церемонность с готовностью идти навстречу в пустяшном, чтоб дать отпор в главном, коли о него мы споткнемся; казался большим, неуклюжим в моем кабинете; он был в нем впервые (ведь в прежней квартире встречались мы); он его обминал, как пес сено: сперва походив по нему, после садясь предо мной, локтями склоняясь на стол; вынул свой портсигар закурить; и опять его спрятал, взяв в руки зеленую пепельницу; и, крутя ее, ждал моих слов: с терпеливой серьезностью; я же медлил; и вдруг непосредственно вырвалось: рад его видеть простым и естественным.

Он начал сам:

— «Объясненье — пустяки: если «главное» между людьми занавесится, то объясненья только запутают».

Этим как бы сказал, что приехал мириться со мной; объяснения наши сложились под знаком доверия; помнились внешние вехи четырехчасового разгляда причин нашей ссоры; доказывал я, что в поступках его есть нечеткость молчания; он терпеливо выслушивал это; и, выслушав, силился мне объяснить, что в его немоте прошлых дней со мной была боль,— не утай; в основном была спутанность отношений меж нами и третьими лицами; и он просил изолировать отношения наши друг к другу, не ставить их снова под знак третьих лиц; в этой просьбе его был ответ на запрос мой к нему; ведь молчаньем своим прошлогодним он связывал Щ. и себя в один узел со мною; но этого я не сказал ему; он же меня упрекал: я-де строил химеры о нем; я не видел его; но химеры возникли,

когда он со мной замолчал; не он ли не хотел со мной объясниться, подав повод думать, что он есть источник двусмысленного поведения тех третьих лиц, о которых сказал он теперь очень внятно: не надо их впутывать? Этого я не сказал ему из деликатности, он же прибавил: когда нет доверия к жесту поступков, слова не помогут; я, не соглашаяся с ним, слушал молча; я понял, что в прошлом году он со мною не мог говорить; теперь — мог; это значило: в прошлом году он не шел мне навстречу, а в этом — пошел.

Оттого и разбор недомолвок был легкий, с улыбкою мягкой и доброй, бросаемой мне; я видел решение: с тяжбою кончить; он только настаивал: роль Соловьева ему непонятна; я пылко отстаивал друга, доказывая в свою очередь: не Соловьев нас поссорил, а Щ.; и вторично решили мы: в будущем будем лишь верить друг другу.

И руки пожали: друг другу.

Потом перешли и к полемике; я постарался ему дать отчет в отношении «Весов» к пресловутому мистическому анархизму; он мне заявил, что последний ему весьма чужд: он есть сам по себе; Чулков — сам по себе; неприлична полемика Эллиса; я возражал: все же публика видит не так его; и указывал на заявленье Чулкова в парижском «Mercure de France»; в заявленьи Иванов и Блок причислялись к мистическим анархистам;[16] и Блок взволновался; я же настаивал: почему он не скажет печатно о своем несочувствии к заявлениям этого рода; вскоре явившееся заявление Блока в «Весах» было следствием разговора со мной[17]. Долго я выражал порицание петербуржцам: Иванову, Городецкому и т. д.; он возражал: ведь и мы не безгрешны, во всем подчиняяся Брюсову; я защищался: «Весы» — это группа, а вовсе не Брюсов.

— «Да, группа загипнотизированных»,— убежденно мне бросил он.

И перешли к обсуждению ссоры с «Руном»; я доказывал: появленье в «Руне» петербуржцев — штрейкбрехерство, явно сорвавшее нашу попытку узду наложить на Н. П. Рябушинского; Блок возражал: мы ушли из «Руна» после ссоры Валерия Брюсова с этим последним; до ссоры с ним Брюсов мирился; но я не сдавался: а в чем корень ссоры? В том именно, чтобы прилично поставить журнал.

Так во многих вопросах журнальной политики мы разошлись; и решили, что мы — в разных группах; и, в них оставаясь, мы будем друг друга всегда уважать.

В разговоре опять перешли незаметно друг с другом на «ты».

Уже было одиннадцать ночи, когда мать нас вызвала к чаю; и было за чаем уютно втроем; Блок смешил юмористикой; часов в двенадцать вернулись опять в кабинет: говорили о личном; в четыре утра он поднялся; и мне предложил погулять; я его провожал на вокзал; его поезд шел в семь, как мне помнится; медленно шли по светавшей Москве; близ вокзала сидели в извозчичьей чайной: за чайником; после разгуливали по перрону; поезд: пожали друг другу с сердечностью руки; он на прощанье сказал еще раз:

— «Никому не позволим стоять между нами».

Свисток: поезд тронулся по направлению к Клину (сходил на Подсолнечной).

Так сердечно окончился двенадцатичасовой разговор (от семи до семи); в нем не все для меня разъяснилось; остались неясны детали вчерашнего поведения Блока; но было ясно одно: он отныне хотел быть со мною отчетливым; на прошлом поставил я крест; им зачеркнута, в принципе, Щ. для меня.

Оставаясь в разных сражавшихся станах, мы все ж перекликнулись дважды до встречи; во-первых: Блок сам напечатал в «Весах» свой отказ от Чулкова; и во-вторых: мы сошлися в симпатиях к Леониду Андрееву;[18] с этим последним встречался в Москве я; а Блок — в Петербурге; Андреев, вернувшись в Москву, поделился со мной впечатленьем от Блока.

С Андреевым скоро мои отношенья окислились*.

Помнится, что в сентябре на гастролях театра Коммиссаржевской смотрел «Балаганчик»; и удивлялся великолепнейшему оформленью спектакля; и все ж писал я в газетах, что сомневаюсь в возможности существования театра символов**; Блок соглашался со мною и в этом; Коммиссаржевская, передавали, читала внимательно оба мои фельетона[19].

Тем временем в Киеве устроили вечер нового искусства;[20] приглашены были: я, Соколов, Иван Бунин; в последнюю минуту Бунин остался в Москве; я просил телеграммою Блока: участвовать в вечере с нами; и получил телеграмму ответную: «Еду»[21]. Устроители встретили нас на вокзале, и сразу же понял я: вечер — дешевка; перепу-

* См. «Начало века», главка: «Леонид Андреев».
** См. «Арабески», «Символический театр».

гал стиль афиш; а уже расхватали билеты; громадное помещение в оперном театре, в котором должны были мы выступать, не на шутку пугало; и кроме того: я, бронхитом страдая, охрип; Блок еще не приехал.

Приехал в день вечера он, чуть сконфуженный, и уверял: киевляне-де нас погонят с эстрады; остановился со мной он в одном коридоре отеля; раскладывался: сняв пиджак, он намылил лицо, руки, шею; и брызгался, перетряхивая волосами; ко мне повернул добродушно-намыленное лицо свое:

— «Думаю,— кончится тем, что погонят с эстрады».

За чаем сказал:

— «Я ведь ехал к тебе,— не на вечер».

И вот наступил час позора: карета за нами приехала с распорядителем; Блок, сев в карету, стращал; привезли, протащили сквозь давку: к кулисам; вот и фанфара — оповещающая о начале; я вышел на сцену и закарабкался на какой-то высокий помост, на котором поставили кафедру; оповестив о заданиях нас, символистов (вступление к вечеру), был награжден тремя нищенскими хлопками, сконфуженно смолкшими в точно вещающей нам тишине:

— «Провалился!»

Блок с перетерянным видом прочел «Незнакомку»; и — тоже молчание; тут Соколов взревел своей звонкой трескучею чушью; в Киеве говорили:

— «Красивый мужчина!» — таким он прослыл среди киевских дам.

Через день в том же Киеве я читал публичную лекцию;[22] в ночь перед нею со мною случился припадок; я думал: начало холеры (гуляла она); одевшись, я бросился к Блоку; он лег уже:

— «Что?»

— «Да начало холеры».

Он сел на постель и открыл электрический свет, наблюдая меня:

— «Нервный припадок; останься со мною; садись: я — сейчас».

И он стал одеваться; ко мне подошел, взяв за руки; и тер их:

— «Я думаю,— доктора незачем звать; мы с тобой просидим эту ночь; я тебя одного ни за что не оставлю в таком состоянии...»

И не забуду я ласки, которой меня окружил он; перед ним разливался словами; он слушал меня, бросив локоть на стол, бросив ногу на ногу, вращая носком и склоняясь

щекою на руку; во всей его позе увиделась прежде ему не присущая мужественность; видно: много он перестрадал; в память врезался профиль: нос, выгнутый, четкий; лицо удлиненное; четкая линия губ: аполлоновский профиль!

Вздохнув, он сказал:

— «Тебе трудно живется».

И вдруг:

— «Знаешь что? Едем вместе со мной в Петербург: я к тебе ведь приехал; ну а почему бы тебе не поехать ко мне?»

Почему не поехать? А — Щ.?

— «Решено: едем вместе?»

Но я осторожно коснулся весьма деликатного пункта.

— «Все глупости: едем!»

И понял тут я: с тем и ехал он в Киев, чтоб звать меня; он уговаривал; я — поддался; что касается лекции, то он советовал вовсе ее не читать.

— «А билеты? Распроданы».

— «Ты читаешь по рукописи?»

— «Да».

— «Прекрасно: прочту ее я за тебя».

Так решили; уж солнце вставало; и он настоял, чтобы я шел к себе и разделся; меня проводил, посидел у постели: с покуром; потом, не ложась, принялся изучать мою рукопись, чтоб не запутаться в чтении; мог он меня заменить: коль не Белый, так — Блок; мы для публики были в те годы вполне заменимы.

Я к вечеру справился с недомоганием и решил сам читать; все ж за мной в этот день он ходил по пятам; сидел в лекторской рядом; сюда тащил чай; сел при кафедре, зорко следя за моим выражением лица, чтоб меня заменить, коли что; эта лекция прошла с успехом; с нее мы поехали на вокзал (вещи были отправлены прежде); он кутал мне горло; следил за вещами; попавши в вагон, мы свалились как мертвые; ночь предыдущая прошла без сна; и лишь к двум часам дня мы, проснувшись, попали в вагон-ресторан; там весь день просидели за тихой беседой, глотая рейнвейн; в окна сеяло дождиком; там проносилась Россия — огромная, сирая, жалкая; утром же были мы в Питере;[23] лично отвез он меня в «Hôtel d'Angleterre»;[24] провел в номер:

— «Тебе будет близко отсюда ходить к нам; ну, я иду к Любе; а ты к нам часа через три заходи: будем завтракать».

Блок жил тогда на Галерной[25], в угольном доме, полувыходящем на площадь, в которую упирается Николаевский мост: во дворе; Любовь Дмитриевна вовсе не удивилась явлению моему в Петербурге; она, прежде тихая, затараторила с нервностью и аффектацией, преисполненная суетой; Александр Александрович же был охвачен заботами: не до меня; жизнь супругов текла по-иному; они разлеталися, собираясь за чайным столом, за обедом; и вновь разлетались; казалось, Л. Д. улетает на вихре веселья от жизни с А. А., увлекавшегося артисткой Волоховой; он был очень порывист, красив: в сюртуке, с белой розой в петлице, с закинутой головой, с чуть открытым в полуулыбке ртом над пышно повязанным черным шелковым шарфом.

Л. Д. говорила:

— «Переезжайте к нам: здесь будет весело».

Слово «весело» наиболее часто встречалось в ее лексиконе, не соответствуя моему тогдашнему настроению.

Помню лицо А. А., строгое, с вытянутым носом, в тенях, когда он читал мне надтреснутым голосом:

И болей всех больнее боль
Вернет с пути окольного[26].

Он увлекался всецело театром; два раза мы были с ним у Коммиссаржевской; раз вез он смотреть «Балаганчик» меня; но сперва затащил он в буфет: пить коньяк; и меня удивил: опрокидывал рюмку за рюмкой; и — стало мне ясно, что боль запивает; он был насквозь — боль.

Другой раз были мы на премьере, как помнится, «Пелеаса и Мелизанды»;[27] его наблюдал издалека: в фойе; он стоял у стены и помахивал белою розой: с какою-то дамою, на него налезавшей; он вскинул глаза в потолок, обнаруживая прекрасную шею, с надменной полуулыбкой, которая у него появилась в то время и так к нему шла; вырисовывался тонкой талией на светлом фоне; и шапка дымящихся точно, курчавых волос гармонировала со слегка розоватым лицом; став, блуждал он глазами, как будто кого-то ища, не внимая прилипнувшей даме, и вдруг, во что-то вперяясь, переменился лицом, и, откланявшись даме, он быстрыми, молодыми шагами почти бежал сквозь толпу (развевая сюртук); может, издали видел он Волохову.

Он напомнил мне портреты Оскара Уайльда; куда делись скромность и детскость в тот вечер: совсем светский «лев».

Иногда мы сидели у Блоков в компании: он, Веригина, молодая артистка, дружившая с Блоками, Любовь Дмитриевна, Волохова и я; Волохова была тонкая, бледная, с черными, дикими и какими-то мучительными глазами, с худыми руками, с поджатыми крепко губами, с осиною талией; черноволосая, сдержанная, во всем черном, она импонировала; А. А. ее явно боялся; был дико почтителен с ней; встав, размахивая длинной, черной перчаткой, она повелительно, но очень тихо ему что-то бросила; он ей внимал, склонив голову, руки по швам.

— «Ну,— пошла».

И, шурша черной юбкой,— в переднюю; Блок в той же позе за ней; ей почтительно подал пальто; было в Волоховой для меня явно что-то лиловое (может быть,— просто она, уходя, опустила со шляпы вуалетку лиловую).

Появлялся порой Ауслендер, с которым носились артистки[28] и даже Л. Д.; он ломался, картавил, изображая испорченного младенца; был в плюшевой, пурпурной, мягкой рубашке; во мне создалось впечатление: дамы готовы оспаривать честь: на колени сажать себе томного и изощренного «беби»; и даже кормить своей грудью; признаться сказать: сочетание красного плюша, зеленых кругов под глазами с истасканно-бледным лицом вундеркинда Ауслендера было весьма неприятно.

Уж давно вызывали в Москву меня; Блок утверждал, что Москва мне губительна: Брюсов меня-де затащит в «политику» группочки; Эллис, Рачинский-де только нервят меня:

— «Переезжай сюда, Боря».

— «Истерика там у вас развелась».

Здесь ее — не было? Уж я не знаю, кто лучше: Ауслендер иль Брюсов; и я, чтобы реже общаться с первым, себе выбрал участь: быть с Брюсовым; и не раскаиваюсь.

Встреча с Блоком в действительности оказалась лишь радугой,— предвозвещавшей о встрече,— а вовсе не встречей еще; настоящая новая встреча осуществилась: три года спустя;[29] встреча ж 1907 года скорее была ликвидацией личной драмы меж нами; ее корень вырван был,— правда; но разность во мнениях, в бытах, в обстаниях все ж перевесила готовность нас лично друг с другом дружить; я, москвич, был притянут деталями умственной жизни тогдашней Москвы, столь отличной в своем модернизме от модернистических пошибов первой столицы; и искренно не

понимал дружбы Блока с людьми, мне враждебными, сам дружа с теми, кого Блок не мог выносить; так судьба отношений была этим предрешена; социальные факторы все ж перевесили личные.

В ноябре 1907 года я снова пожил в Петербурге;[30] но с Блоком почти не встречался я; ему было не до меня (мучительные отношения с женою и с Волоховой); мне же — не до него: я опять имел встречи с Щ.; я, как Фома, таки палец вложил в рану наших мучительных отношений; и я убедился, что суть непонятного в Щ. для меня в том, что Щ. пониманья не требует: все — слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней.

Я-то?

Последнее мое правдивое слово к Щ.:

— «Кукла!»[31]

Сказав это слово, уехал в Москву, чтобы больше не встретиться с ней; все ж мы встретились лет через восемь; и даже видались, обмениваясь препустыми словами; вопрос был решен; и, стало быть, надо было при встречах с приличием лишь отбывать разговор, как при «даме»; известно, что их пропускают вперед, подают стуло им.

Поводом же к прекращенью общения с Блоком служила неосторожно написанная мною статья о трех драмочках Блока; он страшно обиделся на очень резкую форму статьи, обусловленную ситуацией нашей полемики с литературною группою Блока;* не обменялись мы после нее ни единою строчкою и перестали встречаться;[33] передавали мне, что Блок нещадно ругает меня, отзываясь о нашей полемике:

— «Гадость!»

Без личных разрывов и без уговора опять мы при встречах не кланялись; встретились раз мы на вечере памяти Коммиссаржевской: Чулков, Блок и я;[34] случай в лекторской свел нас в минуту, когда пустовала она; кроме нас — никого; мы преглупо шагали, насупяся; Блок и Чулков по взаимно перпендикулярным стенам; я ж — по диагонали; Блок, кажется, был в это время в разладе с Чулковым,— не только со мной; я был в ссоре с обоими; мы, не подавши друг другу рук, мрачно шагали; вот — вышел Блок — на эстраду; Чулков и я, вероятно, иэ чувства корректности вышли за ним; и толпа придавила спиною к Чулкову меня; эта стиснутость, до ощущения тела, была столь глупа, что я вдруг повернулся к Чулкову:

---

* «Обломки миров». Перепечатано в «Арабесках»[32].

— «Георгий Иванович, не желаете ли со мной объясниться?»

Тот — с вежливой твердостью:

— «Я предпочел бы, Борис Николаевич, не объясняться».

Мы встретились лет через семь; с Блоком — ранее.

Все-таки двенадцатичасовой разговор мой с поэтом через голову нас разделившей трехлетки считаю — окном в будущее отношений, не омраченных ничем уже.

Об этом — ниже.

БРЮСОВ И Я*

Прояснились мои отношения с Брюсовым; он — антипод во мне Блока; и тот же все солнечный луч освещает ландшафт жизни Брюсова, перебегая от места, в душе моей занятого А. А. Блоком; напомню, что первая встреча с поэтом в Москве происходит тотчас после полного помрачения отношений с В. Брюсовым; только что фигура последнего виделась ярко, протягиваясь с улыбкой и открывая двери в литературу; и вдруг в этом месте души встал туман, среди которого какая-то тень, а не Брюсов, стояла зловеще;** как бы возмещая его, предо мною явился осолнечный Блок; я к нему притянулся.

И вот наступает период, когда между мною и Блоком упала тень Щ.; то совпало как раз с ликвидацией путаницы между мной, N и Брюсовым; и непроглядным туманом окутан мне Блок; тот же солнечный луч, освещавший нас,— вновь передвинулся к Брюсову; образ его, засиявши, добреет; теперь не боится уже он влияний моих на несчастную N, ему ставшую в ту пору весьма, весьма близкой[35].

И кроме того: обрекала судьба нас на плавание; миноносец «Весы» пускал мины в эскадру журналов; я был офицером команды его; Брюсов был капитаном; нужна была четкость меж нами; и кроме того, Брюсов мне потому говорил, что являл в эти годы собой удивительное равновесие; после и до никогда не был он так красив, четко выкруглен в каждом своем выявленьи, в себе сочетая уверенность с мягкостью, мало присущей ему; он не выглядел дико дерзающим Брюсовым, точно присевшим в засаду,

* О Брюсове см. «Начало века».

** См. «Начало века».

чтобы неожиданно выкинуться на тебя; казался спокойным, поэтом в расцвете таланта, физических сил и ума; нас пленял своим мужеством, стойкостью и остротою подгляда в феномен искусства и трезвою практикою, позволявшей ему управлять миноносцем «Весы», ведь последствия злоупотребления морфием не сказались еще; и не выявилась его загубившая страсть: покорять и какою угодно ценою господствовать — над кем угодно; тот спорт его скоро довел до азарта: под ноги свои покорять седоволосых, дряхлеющих кариатид, ему чуждых во всем; он над ними смеялся в интимной беседе; но именно в силу того, что они далеко от него отстояли, ему было лестно, взымая с них дань уваженья, держать их в оковах; что толку в ценителях? Эти и так в полонении; спорт в покорении старцев поздней сослужил ему очень плохую услугу.

Неравновесие подчеркнулось в нем скоро; пока же ход жизни его нами виделся взвивом к зениту грохочущей Фаэтоновой колесницы; взлет в классические небеса с превращением личности Валерия Яковлевича в пьедестал для «поэта» — пленял.

Стремление выдвинуть Брюсова крепло и потому, что нам было нужно, чтобы его так именно воспринимала публика[36], и потому, что очаровывать нас из недели в неделю, из месяца в месяц, поддерживая личное очарованье частыми забегами, всегда ненароком, — ко мне, к Соловьеву, к Эллису; предлог — корректура или — предложенье рецензии; над корректурой и над рецензией с дымком папиросы взлетал разговор о поэзии, символизме и лозунгах школы, если уж «*таковой* быть угодно»: «угодно» — его выраженье; с лукавой улыбкой, сияя глазами, откидывался он при этом, цепко ухватываясь руками за кресло, качаяся корпусом; делалось преуютно от знанья, что он понимал: никакой «школы» нет (лозунг, им у меня взятый); в замене им своего недавнего тезиса (символизм — как именно школа) моим — тонкая игра в непритязательность и признание меня как теоретика группы; он шармировал переливами всех оттенков ума: от трезвой четкости до лукавейших искр шаловливого смеха.

Бывало — звонок; и — громкий голос в передней:

— «Борис Николаевич, я к вам на минуточку!»

Отворялась дверь; и протягивалась его голова в широкополой шляпе, с лицом, дышащим и здоровьем и силой, с заостренной, черной бородкой; глаза прыгали, как мячи, со стены — на тебя, с тебя — на письменный стол, быстро учитывая обстановку: и выраженье лица, и листы бумаги,

и поворот кресла, и новую книгу на маленьком столике, и количество окурков, и клубы дыма; он делал вывод: ага,— курил, был мрачен, писал рецензию для «Весов», читал Бальмонта; и все это учтя, вводил в первом же слове беседы тональность, ответствующую твоему настроению; эта приметчивость придавала незначащим его репликам пленительную отзывчивость под формой сухости; и ей противостоять было трудно; фраза звучала порой комплиментом тебе.

Очень часто в пальто, в шляпе, с палкой в руке, в дверь просунувши голову, он открывал в кресле лысину Эллиса:

— «Ах, и Лев Львович здесь?»

С несколько искусственной паузой и с несколько искусственным юмором разводя руками и пожимая плечами:

— «Ну уж,— придется раздеться».

Мы, бывало, как школьники, вырывали из рук его палку и шляпу; он, стремительно сдернув пальто, развертывал носовой свой платок (стереть с усов сырость); и, сжавши пальцы, прижав их к груди, точно ими из воздуха что-то выдергивал, он порывистыми шагами из двери — раз, два и три; руки быстро выбрасывались, чтоб схватиться за кресло, над которым он, выгибая корпус, раздельно докладывал о причине внезапного появленья; но Эллис выпаливал шуткой в него; и он дергал губами, показывая свои белые зубы (улыбка); глаза, оставаяся грустными, продолжали скакать по стенам, по предметам: с меня — на Эллиса; с Эллиса — на меня; он парировал шутку и, отпарировав,— дергал губами, кланяясь креслу, которое он сжимал; и возникал софистический спор; в нем он бывал непобедимый искусник; спор возникал из защиты им не убедительного на первый взгляд парадокса; словесно он побеждал всех, во всем, если его, бывало, не взорвет бомба Эллиса в виде внезапного изображения в лицах разыгранного парадокса; бывало, Эллис, ногою — на кресло, рукой — к потолку, а глазами — в пол, изображает Блока, сжигаемого на снежном костре (такова была строчка Блока);[37] и Брюсов, сраженный экспрессией позы, как раненый, падает в кресло, бросивши ногу на ногу и вцепяся руками в коленку; припавши к ней носом, бородкой, хохлом, красный от даже не хохота, а сиплого кашля — кхо-кхо,— бросит:

— «Вы победили, Лев Львович, меня».

Только Эллис один извлекал этот даже не хохот,— а — кашель; а то вместо хохота — укус улыбки или — мгновен-

ный оскал ослепительных, белых зубов; глаза ж — строгие, грустные; я не видел у Брюсова смеха: вместо него — дерг улыбки; а в исключительных случаях лающий кашель, «кхо, кхо», вызываемый Эллисом, за что последнему прощались грехи.

— «Удивительный человек,— мне говаривал Брюсов; и вдруг, взморщив лоб, как обидясь:— А что написал опять? Плохо, ужасно!»

Нахохотавшися над «фильмою» Эллиса и бросив веселую тему, он, бывало, пуская дымок, начинал воркотать: не то гулькать, не то клохтать; он представлялся обиженным и безоружным:

— «Они обо мне вот что пишут».

«Они» — петербуржцы, Чулков, Тастевен из «Руна», Айхенвальд и т. д. Посмотреть, так мороз подирает по коже: такою казанскою сиротою представится он, что его оскорбивший Ю. И. Айхенвальд[38], если б видел его в этой позе, наверное б, кинулся, став «красной шапочкой», слезы его утирать; и тогда бы последовало: рргам! и — где голова Айхенвальда? Съел «красную шапочку» волк; это все знали мы; но вид Брюсова, жалующегося на беспомощность, в нас вызывал потрясение; и вызывал механическое возмущение; мы, потрясая руками, громили обидчиков Брюсова; он, изменяясь в лице, нам внимал во все уши; и выраженье обиды сменялось в нем выражением радости; он наслаждался (иль делал лишь вид, что в восторге) картиною декапитированного противника; он начинал нам показывать зубы; и даже, став красным как рак, начинал он давиться своим жутким кашлем, схватясь за коленку; и после с блистающими, бриллиантовыми какими-то огнями больших черных глаз он выбрасывал руку от сердца мне, Эллису:

— «Вот бы это вы и написали в «Весах»; мы отложим весь материал; пустим в первую очередь вас: превосходно, чудесно».

И мы обещаем, бывало: а в результате — Иванов скрежещет зубами: пять месяцев; Блок же заносит в своем «Дневнике»: «Отвратительно: точно клопа раздавили»;[39] а Брюсов, нас бархатно обласкавши глазами, пленит, уходя, парадоксом, нарочно придуманным им; и мы долго еще шепчемся с Эллисом; Эллис хватает руками меня:

— «Гениально!»

— «Достойно иссечь выражение это на мраморе!»

— «Как он при этом рукой схватил пепельницу!»

— «А как дергал губами?»

— «Как высморкался!»

В результате ж: я — с кафедры в уши бью публике: нет иного бога, кроме символизма; и Брюсов — пророк его; Эллис — еще раз обходит всех Астровых, сестер Цветаевых, знакомых партийцев, почтенных судейцев и Рубановича, Сеню,— с напоминанием: нет иного бога, кроме символизма; и Брюсов — пророк его!

Брюсов же, бывало, нам дав свой заказ под утонченной формою искреннего удивления нам, вдруг спохватится, схватываясь рукою за лоб:

— «Как! Уже три часа? В два меня ожидали у Воронова: в типографии...»

Вскочит; и, сунув нам руки с крепчайшим пожимом,— в переднюю; молниеносно надето пальто; и — порывисто схвачена палка; и — след простыл.

Так вместо Блока в те годы передо мной стояла пере-освещенная фигура Брюсова, пленяя воображенье рельефом деталей; он их выбивал, как на мраморе, в поте лица; и детали гласили нам: умница! Мысль, что та умница — крупный поэт, поддавала лишь жара.

Не заседанья в редакции и не формальные отношенья к «редактору» в нас высекали воинственный пыл, а эти внезапнейшие появленья его у меня, Эллиса, Соловьева, вплоть до его явления в Дедово, где он пленил всех. В эти годы бывал он у N — постоянно; она же жила на Арбате, т. е. в двух шагах от меня, очень близко от С. Соловьева и недалеко от Эллиса; эти быванья у N он использовал и для захода к «сотрудникам», до нее или после нее, появясь ненароком и схватывая на лету все нюансы моих настроений; игрою ума нас «редактор» пленял; и «заказ» в нас всходил,— неожиданно, как осознание собственных мыслей; он имел интуицию знать, что из нас извлекаемо; трудолюбиво работал над психикой необходимых сотрудников он; и в этом жесте мне напоминал Поливанова; тот был педагогом-учителем; этот был педагогом-редактором; он претворял в яркий ритм самый темп публицистики; многие думали: «Бедные, им суждено нести иго!» Раздавалось по нашему адресу часто: «Клевреты!» И не понимали, что иго его было легко; так что и «лай» наш в сознании нашем уподоблялся лирической строчке.

Когда ж стал заглядываться он на «Русскую мысль» и «Весы» ему стали лишь бременем, то перестал в отношения с нами он вкладывать свой тонкий шарм; он потух для нас, как и «Весы»; донкихотством ненужным увиделась

вся полемика; а Кизеветтер, глаза свои выпучив на него, в это время с тупою почтительностью передергивал бородищей; таким его видел в редакции я «Русской мысли»,— в той самой комнате, где сотрудников принимали, сидя вдвоем: Кизеветтер и... Брюсов.

МЕТНЕР И Я

В это мрачное время меня ожидала и радость; в Москву перебрался на жительство Метнер; в «Начале века» я описал нашу первую встречу, которая в жизни моей отложилась событием; быстрый отъезд из Москвы его не оборвал яркой дружбы, которая теплилась несколько лет в переписке; с 1904 года я с ним не видался; когда он явился в Москву, я был в Мюнхене, куда он ехал; когда он был там, я уже был в Париже[40], откуда вернулся в Россию; он прожил в Германии до декабря; и явился внезапно на мою лекцию о Фридрихе Ницше;[41] с громким задором мне бросил в ладонь свою руку, показывая волчьи зубы:

— «А я прямо с поезда; и — точно в омут. Черт возьми! У вас кверх ногами поставлены все проблемы классического ницшеанства; послушали б немцы вас».

И отмахнулся он с хохотом:

— «Москва, Москва! Я вращался в различных культурных кругах: ницшеанцев, антиницшеанцев... Там все расчленено и ясно. У вас — хаос стреляет ракетами... Я не о вас — о Москве; что касается вас, то, наверное б, немцы чихали! Завтра увидимся? Я — у папаши».

И, покинув меня, с тем же бурным задором он бросился — с лестницы, запахиваясь в великолепную шубу свою с тонкой талией и с меховым, пышным воротом; обернувшися, шапку сорвав, он блеснул мне зубами.

Как и в первой встрече, мелькнула сквозь радость как будто угроза далекая, как вспых зарницы зеленой. В словах о Москве, стреляющей-де ракетой из хаоса, прозвучала старинная тема его раздвоенья: как будто в одном отношении мы впереди; а в другом мы — отчаянная бескультурица, взывающая к распашке ее томами немецких исследований; надо-де выстроить башню из них; и на башню ракету поднять: пусть себе фонарем освещает проспекты культуры; проповедовал Метнер гелертерство, но не с гелертерским, а с романтическим пылом. Эта тема его поднимала во мне тему некой неясной судьбы между нами.

Поэтому — припоминаю: на этой же лекции вслед за встречей с Э. К. произошла неожиданная моя встреча и с Асей Тургеневой, жившей в Брюсселе и появившейся тоже внезапно в Москве; в будущем моем разрыве с Э. К. она играла роль разъединительницы; Метнер видел в моем отношении к ней выявление темы, враждебной ему,— темы себя изжившей культуры, мне гибельной-де; это высказал он ей в глаза (с максимальным признанием ее крупности):

— «Вы — источник разрыва меж мной и Б. Н.».

Встреча с Асей в тот вечер не зацепилася за сознание; а встреча с Метнером переполнила радостью; начались посещения Гнездниковского переулка, где остановились супруги Метнеры; с этого времени я бегу в Гнездниковский, свободное время деля между Метнерами и д'Альгеймами; квартира Метнеров глядела окнами в окна квартиры д'Альгеймов (он жил против них).

Тогдашние культурники-москвичи делились резко на немцев и на французов; д'Альгеймы являлися центром французских традиций культуры; дом Метнеров — центр удобрения хаотических москвичей германизмом; дружба с д'Альгеймами, с Метнерами — разрывала даже географически; бывало: бежишь в Гнездниковский к д'Альгеймам; нет дома,— перебегаешь дорогу и застаешь дома Метнера; он тебе в уши — Новалисом, Гельдерлином, Рихардом Вагнером, Зиммелем и Христиансеном; бежишь — к Метнеру: дома нет; перебегаешь дорогу — к д'Альгеймам; и он тебе в уши — Корнелем и Ламартином, Вилье де Лиль-Аданом и Франсуа Вийоном. Поздней с А. Тургеневой сблизился я у д'Альгеймов — в комнате, которая окнами глядела на Метнеров: сближение это пугало Метнера; позднее в квартире Метнеров я впервые начал подозревать: А. М. Метнер (супруга брата) способна наши недоразумения с Э. К. обострить до не знаю чего; А. Тургенева ей не верила; а та ее ненавидела.

Это вскрылось через восемь лет; а пока в ряде месяцев ярко справляли мы с Метнером встречу в десятках интимных бесед и вдвоем, и втроем (вместе с Эллисом), и вчетвером (Метнер, Эллис, Петровский и я); были буйные, искристые застольные речи; Э. К., я и Эллис бросали друг в друга каскады сквозных афоризмов, втягивая в эти игры «папашу» Э. К., композитора-брата; и многочисленное семейство за «Bier» нам внимало; являлися к ужину — Гедике, Гольденвейзер и Конюс.

Метнер — общительный и любопытный, вошел очень быстро в круг наших друзей, появляясь в «Эстетике», в философском кружке, у д'Альгеймов, у Эллиса, у Соловьева, ни с кем не сливаясь и даже всем противопоставляя себя, верней,— миссию: приобщать к руслам индогерманской культуры; он миссию эту таил; но она из него выпирала; от чистого сердца старался со мной он сойтись, проникая во все закоулки сознанья с прекрасною целью — меня поддержать, укрепить и взбодрить; одновременно: с большим трудолюбием строил карьеру он брата; как брата, старался поставить меня на увиденный им пьедестал; в упорстве нас видеть такими, какими поволил он нас, было много и от деспотизма,— порою; он силился видеть себя дирижером стремлений друзей, становяся порой... командором, что значило: он выделывал из нас немцев, придуманных им; таких немцев я и не встретил в Германии; «немец» Метнера взят был из Веймара эпохи Гете; германо-русские фантазии Метнера были разбиты войной; и он стал обитателем ему чуждой Швейцарии.

Этот властный порыв его дружбы порой отзывался нажимом на волю; и появлялась невольная задержь, которая в нем вызывала приемы разведки по отношению к моему душевному миру, вполне инстинктивные; между течениями московской жизни он балансировал, уравновешивая кружки кружками; в таком отделеньи себя ото всех думал он уберечься от и его разъедавшего московского «хаоса»; он был слишком «москвич», несмотря ни на что; и, спасаясь от хаоса, баррикадировался Чемберленами, Зиммелями, не понимая: последние — вовсе не «немцы» его, а скорей представители той глубокомысленной тусклости, из-под которой уже осаждалися: в Чемберлене — фашизм[42], а в Зиммеле — метафизика; Метнер не был империалистом, конечно; но он, гипертрофировавши арийство, проявлял культурное высокомерие ко всему неарийскому; в ахиллесову пяту его укусывало мещанство; этот «немецкий» русский был подобен «русско-французу» д'Альгейму; а все, исходящее из «Дома песни», считал для меня и для Коли, брата,— отравой.

Сквозь радость свидания все это встало в нем: с первых же встреч. Он прекрасно мне скрасил темнейшие годы и укрепил мое мужество, как Гершензон; только форма поддержки иная была; Гершензон говорил: «Да наплюйте на все: затворитесь, сидите, пишите и даже ко мне не ходите!» А Метнер в квартире своей разводил просто кузни какие-то, собирая всех «гномов» Германии (Зиммелей,

Риккертов, Гансликов) ковать мечи для друзей его; он говорил как бы мне: «Только этим мечом вы пронзите дракона, освободите Брунгильду и станете Зигфридом»*.

Эти речи бодрили меня — до момента совместной работы с ним, воспринимаясь застольной песней; Метнер был невероятно талантлив в веденьи ее (но лишь в тесном кругу): а оставшись один, он — раздваивался, грустно жалуясь, что — бездарен; видя нас,— преображался он в жизнерадостного в высшем смысле; и делался необходимым — мне, Морозовой, Эллису, скольким.

Скоро дом Метнеров стал ярким центром; и в нем Э. К. властвовал; он изменился за годы, в которые мы не видались; куда делись эти длинные волосы? Лысина — в четких буграх придавала лицу выраженье упорства; когда-то зеленоватые глаза стали твердыми глазками; зыбкая, мягкая очень улыбка — обернулась сатирической, выжидательной, готовой лопнуть в отчаянный хохот иль вовсе исчезнуть в зажатых, упорных губах; и тогда — раздувалися ноздри; морщина внезапная перерезала напруженный лоб; исчезла и эластичность в пружинных движеньях, сменясь четкой силой выкидываемых ног иль — рубящей руки с карандашиком; другая рука, подлетев выше талии, схватывалась за бок; он, откинувшись, с крикливой надсадой доказывал: музыкальная критика Каратыгина должна быть вырвана с корнем; и вдруг принимался метаться меж стен и с задохом выкрикивать прямо бреды о том, что культуры — в огне; глазами — под ноги, рукой — в потолок; было ясно: фанатик!

Он был — дикий рыв во все стороны, но прикрываемый стремлением выглядеть уравновешенным; только в этом моменте, будучи противоположен Брюсову, он был аналогичен ему; порою внутренно он разрывался: восток или — запад? Толстой или — Гете? Германия иль — Россия! Искусство иль — философия? Но, разрываясь, деспотически школил он, пестовал, взбадривал нас, свои силы ухлопывая и не умея показывать своих целей конкретно; он все ожидал, что мы выносим их; в этой ноте доверия было что-то беспомощно-детское, что заставляло любить и беречь его.

В ряде месяцев мы высказались друг перед другом, жалуясь друг другу на трудности жить; он заведовал музыкальным отделом «Руна», не дававшим возможности

* Зигфрид освободил Брунгильду, убив стерегущего ее дракона; Брунгильда в символике Метнера — будущая культура России.

развернуться; нам с Эллисом было уж тесно в «Весах»; Метнер вскрикивал:

— «Имея такое имя, как вы, писатель в Германии жил бы в собственной вилле. Нет,— тут надо что-то решительно предпринять!»

На что я жил? Даже не представляю сейчас; сотрудничество в газетах, обеспечивающее материально, пресеклось; до этого сотрудничал я в «Руне», в «Перевале», в «Весах»; такое сотрудничество длилось, однако, менее года; скоро вышел я из «Руна», а «Перевал» закрылся;[43] я жил на гроши, получаемые в «Весах» (лекции я читал безвозмездно); я никогда не мог понять точно,— я ли должен «Весам» иль они мне; попытки всегда обрывалися:

— «Сколько вам надо?»

Я выдвигал минимальную сумму, которая и выплачивалась; отказа от выплаты я не встречал; но щедрость из «сколько вам нужно» в силу моей щепетильности приносила убыток; книги? За «Пепел» я получил четыреста рублей; и удивлялся, что — много, ибо за «Золото в лазури» я получил — сто рублей; вообще говоря: за печатный лист платили мне от семидесяти пяти рублей до ста, в то время как Сологубу платили пятьсот, Куприну — восемьсот, а Андрееву — тысячу.

— «Нет, безобразие! Я отныне поставлю себе непреклонную цель, чтобы люди, подобные вам и Эллису, освободились от кабалы; в этом — моя задача! Ведь мог бы я быть для вас более подходящим редактором? И я приложу все усилия, чтобы им стать! Только бы достать денег! Да и я с восторгом бы ушел из «Руна»!»

Метнер полтора года ковал в планах своих мечты для совместного культурного дела; и выковал «Мусагет»[44].

Вместе с тем он работал и над карьерою Николая Метнера, композитора и профессора консерватории; и бывал везде, где встречались издатели, критики и т. д.; со вступлением в дирекцию Музыкального общества М. К. Морозовой, с приглашением Н. К. Метнера Кусевицким в его издательство положение композитора окрепло морально и материально; и это было в значительной мере дело рук его брата.

Но и тут встретились затруднения: Кусевицкий, аннексировав Метнера и этим его поддержав, преподнес ему Скрябина, за которым ухаживал в те годы; Э. К. считал своего брата гением, долженствующим вывести музыку из тупика; а Скрябина он считал чудящим весьма опасно талантом; Скрябин же не любил «метнеризма»; мненье

о Скрябине для Э. К. осложнялось еще всякою дипломатией; отзывался о нем он с тактом; я удивлялся степени признания Метнером таланта А. Н. Скрябина при отрицании им всего второго периода творчества Скрябина; а человека в Скрябине он своеобразно любил, живо общаясь при встречах с ним; было в его воспоминаниях о Скрябине много симпатии, смешанной с юмором; Николай Метнер, по-моему, Скрябина отрицал в корне, все же подчеркивая его единственность по сравнению с прочими; Николай Метнер высоко ценил Глинку; и боготворил Пушкина.

Помнится мне встреча со Скрябиным у Морозовой в присутствии Метнера;[45] Скрябина Морозова мне всегда подносила; и, кажется, многое обо мне говорила ему; но, кажется, мы в те годы не слишком нуждались друг в друге (Скрябин пришел позднее ведь к необходимости пропустить сквозь себя символистов); из нарочно подстроенной встречи не многое вышло, судя по тому, с какой утрированной вежливостью поворачивала ко мне бледная фигурочка Скрябина свой расчесанный и пушистый гусарский ус, доминировавший над небольшою светловатой бородкой, в то время как тонкие пальчики бледной ручонки брали в воздухе эн-аккорды какие-то, аккомпанируя разговору; мизинчиком бралась нота «Кант»; средний палец захватывал тему «культура»; и вдруг — хоп — прыжок указательного через ряд клавишей на клавиш: Блаватская! Четвертую ноту не воспринимало уже ухо; воспринимались: встряс хохолка волос и очаровательная улыбка с движением руки от меня, через Морозову, Метнера к сидевшему вместе с нами ехиднейшему когеньянцу, Б. А. Фохту,— с игривым:

— «Не правда ли?»

Фохт рассматривал маленького «маркизика» с пристальным восхищением из... бешенства; но запевал он лукавым и бархатным тенором:

— «Оно, коне-е-е-чно... Блава-а-а-тская... любопытна!.. Не мне судить! Кант, смею вас уверить, Александр Николаевич, это немного — не та-а-а-к-с!..»

На что Скрябин с жестом, пленяющим нас, поворачивал голову к Татьяне Федоровне (жене), молча евшей глазами нас; и, смеясь, соглашался:

— «Не смею спорить».

Но оставлял в нас уверенность, что про себя он думал иначе. И было что-то веселое в торжественной светскости, в его задорной бородке и пышных усах: волосы — редковатые; сюртук сжимал тонкую талию; лицо чуть дерга-

лось; Морозова прыскала лукаво глазами на него; Метнер весело покашивался на меня; и у самого Скрябина в глазах таилась лукавость: каждый про каждого знал многое из того, что не есть предмет «светского» разговора; и было ясно, что к личностям друг друга мы относились с симпатией; но — что нам друг с другом делать?

В заключение Скрябина попросили играть; он сел за рояль; гибко откинулся; поставил вверх выпяченные усы; взвесил в воздухе ручку, ею повращал; и разрезвился на клавишах, откинувшись еще более; впечатление от игры его — скорей впечатление изящнейшей легкости, чем глубины; признаться: я более любил Скрябина в исполнении Веры Ивановны, его первой жены, которую в этой же комнате я столько раз слушал.

На прощание с пленяющей светскостью Александр Николаевич звал его посетить; остановился он, кажется, рядом: у Кусевицких; и я искренно обещал скоро зайти к нему; но эта искренность, вспыхнувши, тут же погасла. Ни разу не поднялось во мне: надо бы пойти к Скрябину.

Мы весело с Метнером возвращались домой; падал снежок; Метнер в шубе с перетянутой талией, пышным воротником, такой моложавый в ту ночь, искренно веселился, размахивал палкой и оглашал ночной переулочек хохотом, воспроизводя вечер в лицах; и он напомнил мне того «легкого» Метнера, который в этих же переулочках мне показывал на зарю — в год выхода «Симфонии»: теперь в качестве «зари» между нами он обещал мне издательство; через год телеграмма из-за границы оповестила меня: издательство — есть: казалось,— заря разгорится; а она угасала: в издательстве!

В двух смежных главках даю я характеристику двух тогдашних редакторов своих: Брюсова, Метнера; Метнер-редактор пленял меня дружбою; о Брюсове говорили, что как редактор он черств; но будущее показало: в деталях работы он менее стеснял меня, чем пленительный в личном общении друг, Эмилий Метнер.

ТОЧКА ПЕРЕВАЛА

Хождение к Метнеру и Гершензону, культ Брюсова и игра в философию — не угашали во мне моей боли; между душевной периферией и центром, где звучал еще «Реквием», где из зеленого зеркала свешивался надо мною двойник,— росла трещина.

Если 1908 год был мне впадиной, отделяющей семилетие спуска от семилетья подъема, то в декабре 1908 года я пережил нечто подобное шоку.

Декабрь: или — впечатление от последней попытки поддержать Мережковского, приехавшего в Москву; она была для меня скандалом на докладе Философова в Литературном кружке; и — криком на Е. Н. Трубецкого (на лекции Мережковского);[46] «долг», или — личная благодарность за участие, проявленное Мережковским во время моей болезни в Париже,— наткнулся на столь сильное отчуждение от всей линии Мережковского, что вслед за его отъездом я пишу ему письмо о моем отходе от него; он — молчит;[47] и это знак, что семилетие отношений с ним выдохлось; 6 или 7 декабря 1901 года впервые я встретился в Москве* с ним; через семь лет в эти же числа письмо мое поставило точку на отношениях (мы позднее встречались, но внешне).

Но и с «Весами» в этот же месяц — неблагополучно: становится ясным: базироваться на «Скорпионе» — нельзя (ссора Брюсова с Поляковым, попытка Брюсова издавать «Весы», нечеткость его в отношении к сотрудникам, примирение Брюсова с Поляковым и решение сохранить «Весы» лишь на год)[48]. Существование «Весов» с этих пор — агония, осложняемая борьбой «партии» Брюсова (Эллиса, Соловьева) с моей (таковая, к моему изумлению, появилась в лице Полякова и Балтрушайтиса); Соловьев и Эллис с хохотом относились к пертурбации в «весовской» политике; а — факт фактом: я уже кое в чем расходился с ближайшими; и главное: не по дням, а часам меркла для всех нас и удалялась близкая вчера фигура Валерия Брюсова,— в направлении к чужой «Русской мысли». Корни разброда группы «Весов» — в том же декабре 1908 года; скоро первая тень легла между мною, Эллисом, Соловьевым. Напомню: встреча с Брюсовым опять-таки — декабрь 1901 года; а начало кружка «аргонавтов», которого инспиратор — Эллис, 1902 год; с Эллисом я познакомился в ноябре 1901 года.

Все вместе взятое переживалось как горечь — в декабре; дочерчивалось мое одиночество; я стоял, вперяясь в свою химеру, на пустом островке, до которого не долетали отклики из недавнего прошлого. Какие социальные явления способствовали химере? Разоблачение Азефа, Пуцято, огарочный взвизг, крепнущий над Москвой из меся-

* См. «Начало века», глава вторая.

ца в месяц; на носу был уже новый скандал в кружке, чуть не кончившийся всеобщим побоищем[49], из которого я был выхвачен, увезен домой и отправлен в глушь Тверской губернии[50], в угрюмый дом, спрятанный в сосновом парке, с совами и филинами, с фундаментальнейшей библиотекой; здесь я провел более месяца в сплошном одиночестве над решением вопроса, как же мне жить и быть; и внешнее оформление моей немоты: мне прислуживал глухонемой, косматый старик, объяснявшийся знаками, так что неделями не слышал я звука собственного голоса.

Скандал в «Кружке» случился уже в начале января; а за ним, летом,— новый удар: Эллиса объявили вором на всю Россию с единственной целью: свести счеты с «Весами»;[51] одновременно объявили плагиаторами Ремизова и Бальмонта;[52] Яблоновские кричали о нас: «Они все таковы!» Все это оказывалось тотчас чистейшим вздором; суть не в этом, а в действии на сознание; кто-то, передо мною являясь в маске — то капиталиста, а то Азефа,— грозил: «Я гублю без возврата»; а когда исчезал,— торчали тюремные стены, о которые оставалось разбить себе череп.

Соедините горечь предыдущего трехлетия, неприятности в декабре и предчувствие новых, которым конца не предвиделось, и спрессуйте сумму эффектов их в переживания нескольких дней, и вы получите картину моего душевного состояния между 20 и 25 декабрем 1908 года; я почти заболел физически и душевно; к этому присоединился бронхит, для излечения которого явился меня знавший ребенком профессор Усов,— тот самый, с которым пережили мы ночное сидение у трупа покойной О. М. Соловьевой (в ночь самоубийства ее); постукивая стетоскопом, он фыркал:

— «Знаешь ли, что я тебе скажу, Борька?— «Борькой» меня как резнуло (этот, в сущности говоря, мне враждебный кадет обругался).— Если ты будешь якшаться и впредь с декадентами, то,— надул губы он,— не жилец ты на свете».

Это он произнес с явным желанием меня доконать; папашины сынки не могли простить мне того, что я пошел собственными путями, и использовали даже ложе больного для сведения счетов.

Через месяц после инцидента в «Кружке» меня, еле живого, Петровский повез в Бобровку, где собрались: Рачинский с женой, Петровский, сестра Рачинского, не жив-

шая в имении, а у родственников, верстах в тридцати; она изредка наезжала на день или два к себе; и потом пропадала надолго; через два дня разъехались все; я остался вдвоем с глухонемым стариком; и пять недель, проведенных в уединении, стоят в памяти перевальною точкой, после которой линия жизни моей начинает медленно подниматься на протяжении целого семилетия; равновесие медленно восстанавливалось из самопознания и связанной с ним работы; я стал терять вкус и к литполемике, и к «клубному отдыху» в виде беседы с философами: о Когене и Наторпе.

В Бобровке родилась новая потребность, которой я и начал усиленно отдаваться в месяцах, даже в годах, пока она не подытожилась в ряде узнаний; я начал методически изучать особенности русского четырехстопного ямба, начиная от Ломоносова; в Бобровке были полно представлены поэты XVIII и XIX века; начав с Ломоносова, я скрупулезно описывал строчку за строчкой четырехстопный ямб по мной изобретенному способу, не имея при этом никаких предвзятых суждений, кроме уверенности, что в данном участке работы меня ожидает богатый улов;[53] я, бывший естественник,— знал: всякий участок природы, взятый в обстрел описанием, ведет к обобщениям; и далее: к формулам; и я знал: до меня не разглядывалась природа русского стиха в его строчках (таких, а не этих); руководились традициями, слагавшимися немецкими профессорами; традиции античной метрики, условные и для немецкого языка, для русского были сугубо условны. Не удивился я, что из материалов разгляда рос вывод за выводом; я удивлялся тому, что такой плодотворной и легкой работе никто до меня не отдался и что с Ломоносова проблемы стиха не брались под углом зрения стиховедения[54]. Но задание первоположника русского стиха сводилось к тому, чтобы появилась возможность к бытию русской стихотворной строчки; до него не было ведь природы ее; не могло быть и ведения отсутствующего объекта; прошло полтораста лет; шкафы ломились от материалов в виде собрания сочинений русских поэтов, для изучения которых практиковалось правило средневековой схоластики иль субъективные домыслы.

Не стыдно признаться: в начале своей работы я мало знал литературу предмета и существующую терминологию, настоянную на схоластике; и мне нисколько не стыдно: в описании никем еще не описанного сырья я делал ошибки в классификации и в учете ритмических элемен-

тов; не до убора пылинок с почвы, из которой надо было корчевать пни; эти пылинки с расчищенной мной целины снимали позднее профессора десять лет, вдруг откуда-то, как сверчки, прискакавшие на расчищенное им место: где они были сто лет?

Факт явления первого, более грамотного учебника стиховедения в виде тома Шульговского[55], рекомендованного профессорами, вскоре по выходе моих работ, мне показал: победителя не судят; ведь могу ж я сказать теперь: том Шульговского — снимание сливок со статей, напечатанных в «Символизме»[56], при неприлично туманном напоминании о них. Скоро и академик Лукьянов начал описывать стихи моим способом[57].

Описывая свойства русского ямба и не имея за собою ни одной работы (они десятками наросли па моей), я не мог быть точен и скрупулезен; но я же обратил внимание на свои погрешности — первых ритмистов, пришедших работать в кружок, организованный при «Мусагете» (Дурылина, Шенрока, будущего профессора Сидорова и других),— я, а не «пигмеики», в течение семнадцати лет меня учившие, как надо работать над стихом.

Работа над ритмом, которой я в годах отдавался, была начата в Бобровке как выход из тоски и как перенос внимания от пустот философского формализма к конкретным деталям скромного участка культуры.

И там же, в Бобровке, я, наконец, по настоянию Гершензона, засел за первый роман;[58] сразу же выявилось: материал к нему собран; типы давно отлежались в душе; мой обостренный интерес к религиозным искателям из интеллигенции и народа оказался разведкой писателя, прослеживающего в подоплеке исканий поднимающуюся тему хлыстовства; последнее, видоизменяясь, просачивалось отовсюду; эротика и огарочничество как следствие реакции, разливаясь в интеллигенции, были почвой появления хлыстовской эпидемии в столицах; я имел беседы с хлыстами;[59] я их изучал и по материалам (Пругавина, Бонч-Бруевича и других);[60] но более всего интересовали меня многовидные метаморфозы хлыстовства; я услышал распутинский дух до появления на арене Распутина; я его сфантазировал в фигуре своего столяра;[61] она — деревенское прошлое Распутина; дух распутинства я наблюдал в селах; а дух распутства — в столицах; и боролся с душком его в литературной полемике с «мистическими» соборниками еще так недавно. Когда же я, повернув спину им, в уединеньи отдался оформлению романа, все, бессо-

знательно мною изученное в пятилетии, оказалося под руками; натура моего столяра сложилась из ряда натур (из мною виденного столяра плюс Мережковский и т. д.); натура Матрены — из одной крестьянки, плюс Щ., плюс... и т. д.[62]. В романе отразилась и личная нота, мучившая меня весь период: болезненное ощущение «преследования», чувство сетей и ожидание гибели; она — в фабуле «Голубя»: в заманивании сектантами героя романа и в убийстве его при попытке бежать от них; объективировав свою «болезнь» в фабулу, я освободился от нее; может быть, часть «болезни» — театрализация моих состояний, как макет будущей постановки: в красках и в сценах.

«Серебряный голубь» — роман, неудачный во многом, удачен в одном: из него торчит палец, указывающий на пока еще пустое место; но это место скоро займет Распутин.

Пять недель, проведенных в Бобровке, видоизменили меня; формальные интересы перетекли в работу, все-таки сдвинувшую стиховедение с мертвой точки; реальные — захватились романом; времени для уныния не было; я усилием воли отвлек от себя то, что разлагало сознание.

МИНЦЛОВА

Большеголовая, грузно-нелепая, точно пространством космическим, торичеллиевою своей пустотою огромных масштабов от всех отделенная,— в черном своем балахоне она на мгновение передо мною разрослась; и казалось: ком толстого тела ее — пухнет, давит, наваливается; и — выхватывает: в никуда!

А годами ком толстого тела ее между нами катился почти незаметно: до 1908 года; а в 1908-м встреча с ней отдалася поздней[63], точно встреча планеты с кометным хвостом, отравляющим воздух цианом; в момент же разрыва с ней (в мае 1910) мы проходили под этим хвостом;[64] шлиссельбуржец Морозов — и тот ждал внезапного воспламенения атмосферы[65].

Комета Галлея прошла; все осталось по-прежнему; в черных пространствах исчезла она; ее яд был безвреден.

Исчезла и Минцлова.

Я помню, бывало,— дверь настежь; и — вваливалась, бултыхаяся в черном мешке (балахоны, носимые ею, казались мешками); просовывалась между нами тяжелая

головища; и дыбились желтые космы над нею; и как ни старалась причесываться, торчали, как змеи, клоки над огромнейшим лбиной, безбровым; и щурились маленькие, подслеповатые и жидко-голубые глазенки; а разорви их,— как два колеса: не глаза; и — темнели: казалось, что дна у них нет; вот, бывало, глаза разорвет: и — застынет, напоминая до ужаса каменные изваяния степных скифских баб средь сожженных степей.

И казалася каменной бабой средь нас: эти «бабы»,— ей-ей, жутковаты!

Кто ее в эти годы не знал — в Петербурге, в Москве? Фурьерист, богохульник скептический, В. И. Танеев порою не мог без нее обходиться; она помогала ему расставлять его книги по полкам, к которым он не подпускал никого; Минцлова, «своя»,— подпускалась; она же была дочерью его друга; и умела вольно шутить.

Помню себя у Танеева семилетним младенцем: я, разгасяся, рассказываю Танееву с Минцловым об индейцах; а из-за Минцлова — на меня глядит юная, грузная, желтоволосая его дочь.

Круг Танеева, Минцлова — круг вольнодумцев восьмидесятых годов; вероятно, к традициям детства следует отнести ее постоянные встречи с К. А. Тимирязевым; человек французской культуры, вероятно, клевал и он на ее «вольтерианские» шуточки; она постоянно общалась с доцентом Строгановым, учеником Тимирязева.

В этом обществе ее брали как литературную остроумницу, настоянную на французах; и теософские странности ей охотно прощались, как «муха» чудачества.

— «Людям так скучно в полной действительности, что они чудят»,— бывало, плакал Танеев; что «теософка» — не важно; а важно — «своя».

Но «своей» она была и у Бальмонта, Сабашниковых; она, как никто, понимала поэзию модернистов; а то, что она возится со стариками,— чудачество, стиль.

В кругу Бальмонтов — «своя».

Помню — посещение Брюсова в начале 1902 года; при разговоре моем с Мережковским присутствовала какая-то толстая дама с желтыми космами и в платье, напоминающем черный мешок; барахтаясь в нем, она щурила голубые подслеповатые глазки, казавшиеся щелками, уморительно к ним приставив лорнетку и силясь подслушать беседу.

— «Кто?»

— «Анна Рудольфовна Минцлова».

— «Дочь адвоката?»

А через два дня захожу к Гончаровой; и та мне дословно выкладывает, что я говорил Мережковскому и что Мережковский ответил.

— «Откуда узнали?»

— «От Минцловой».

Опять Минцлова!

— «Чем она занимается?»

— «Она оккультистка».

Я ее обходил.

Попав в Петербург читать лекцию в первых числах 1909 года, я был с лекции прямо-таки похищен В. И. Ивановым:

— «Ты у меня ночуешь: с тобою будет иметь беседу одно близкое мне лицо».

Приехали; поднялись на пятый этаж; звонимся; дверь распахнулась; и точно — в сознании моем брешь; из тяжелого коридора на меня покатился ком тела в мешке: как, как,— Минцлова? И — здесь? Я же только что ее видел в Москве!

Остановилась, слегка разведя руки, помахивая платочком, блистая лорнеточкой; она-то и была тем, Иванову близким, лицом, меня требовавшим для интимной беседы; я и не подозревал степени близости к ней Иванова[66].

— «Ты удивлен?» — мне Иванов; а Минцлова засмеялася подслеповатыми глазками, принимаясь шутливо и быстро вылепетывать что-то; и покатилася передо мной в кабинет В. Иванова, приставляя лорнеточку и спотыкаяся о пыльный ковер; Иванов взял под руку, откинул коричневую портьеру, толкнув под нее; внесли крепкий чай; Минцлова села в черного дерева итальянское кресло, откинула голову и уронила на толстый живот свой короткую, толстую ручку с лорнеткой; глазеночки, вдруг разорвавшись, как два колеса, завращались перед гравюрою Пиранези, висевшей на красно-оранжевом фоне стены; и я услышал ее совсем другой голос,— не лепет, а буханье, как из бочки пустой; можно прямо сказать: она чревом вещала,— не горлом: о том, что образы «Пепла», который тогда появился в печати[67], действительно отражают те ужасы, в которых живем; но ужасы эти-де посылаемы — все тем же «врагом»; и два колеса — не глаза, перелетев с Пиранези, вращалися передо мной.

И я — вздрогнул; она попала в точку моей тогдашней болезни.

— «Каким врагом?»

— «Тем, которого вы знаете!»

— «А есть такой?»

— «Вам ли спрашивать!»

Напомню читателю: мои химеры, таимые от всех, таки она унюхала.

— «Об этом нельзя говорить уже вслух. И надо — шептаться!»

Она замолчала: и два колеса, не глаза, перелетели опять на гравюру; мне стало жутко. Еще напомню: я только что пережил дни ужасных растерзов, после которых профессор Усов мне стал грозить:

— «Проживешь ты недолго!»

Напомню: через три недели случился меня добивший скандал в «Кружке», после которого я переехал в Бобровку; в течение месяца между двумя валами больших неприятностей в мое деформированное сознанье она сумела вложить свою личинку бреда[68].

Здесь должен сказать: раз признался я Эллису о меня посещающих мыслях, напоминающих манию преследования; он передал Христофоровой, та — Минцловой; с последней встречался я только что в теософском кружке, где ее — не любили, боялись, но чтили; я не понимал, почему она, приставляя лорнетку, и там еще щурила на меня свои глазки, их вдруг разрывая в глазищи; и ошарашивала взглядами без единого слова; в теософский кружок я забрался сорвать маску с Эртеля;* она уже знала о крайнем моем раздвоеньи; и, так сказать, издали прицеливалась ко мне.

Что-то было в серых ее глазах от Блаватской.

После встречи у В. И. Иванова, едва вернувшись в Москву, где и она появилась, я стал объектом почти ежедневных экспериментов ее по умению ослаблять волю; на болевых точках души моей ею брались прямо-таки виртуозно аккорды:[69]

— «Вы — избранный!»[70]

И она трясла мою руку; и живот колыхался ее; и колеса разорванных глаз начинали вращаться; она вылепетывала:

— «Руки, руки мои вы почувствуйте».

— «Вы — слышите?»

---

* См. «Начало века», главка «Эртель».

— «Что?»
— «Как струится от рук...»

Таким напутствием перед моим скандалом в «Кружке» она развинтила сознанье; и после скандала меня провожала в деревню; прощаясь, сказала, что едет она за границу; по возвращении-де будет у нас разговор, от которого зависит вся моя будущность.

Появление Минцловой, просунутой в центр болезни сознанья, таимой от всех,— в миг, когда интерес к полемике, к философии угасал, имело последствия; я вперялся в картину растления и провокации, мне представшую картиной России; я только что написал: «Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!»[71] И не я один испытывал ужас: газетный практик Виленский, с которым встретился в Киеве,— был напуган не менее моего; Блок в то время набрасывал «Куликово поле», полное жутких предчувствий: «Доспех тяжел, как перед боем»[72]. Лепеты Минцловой о борьбе ее с «черными» оккультистами нашли-таки слушателя; ее дар волновать и подманивать к себе признавали позднее — Иванов и Метнер. Она использовала и тему самопознания, во мне заживавшую: самопознание-де есть доспех, ею готовимый для меня; ею был использован ряд скандалов, как раз надо мной разражавшихся, как удары; то удары-де без промаха, наносимые мне масонами; в их руках-де вся пресса; в рисовке бредов она была ослепительна; и кроме того, она нажимала ловко педали лести, подставив мне «миссию»; использовано было все, что нужно: и нежная роль сиделки, и мгновенное излечение флюса рукой, от которой струилась-де сила, и угад ото всех скрываемых настроений, и разрисовка мифов, талантливо напеваемых в ухо; моя депрессия угашала сознанье; догадываясь о ее душевной болезни, я все же не мог не внимать ей; склоняясь большой головой, лепетала какие-то древние саги; это был ее пересказ обыкновенной газетной хроники; но она лепетала порой и о том, как думают скалы на острове Рюгене, и как растет цветик, и как шепчет струечка:

— «Все, все, все расскажу: все, все, все!»

Слова ее лились в ухо лепечущей струйкой о — всем, всем, всем, всем; настоящий Пер Гюнт[73], окрыляемый душевной болезнью; она была настолько хитра, что не сразу вводила в сознанье гротески свои, наблюдая зорко, как слушают; при первом же движении подозрения она с вольтеровским юмором зашучивала себя самое,— но лишь для того, чтобы опять красться с бредом, но оформ-

ляемым по-другому; в тот период она таки отколдовала меня от тоски; а в деревне переход к работе над ритмом и над романом восстановил мои силы; я чувствовал к Минцловой род благодарности: и таки она интриговала меня.

Не стану описывать печального продолжения наших с ней отношений; скажу: тайно являясь ко мне раскрывать свои мифы, ходила и к ряду других, как впоследствии оказалось, знакомых; и, нащупавши точку доверия, старалася каждому сделаться необходимой: по-своему; после уже, сведя каждого с каждым, поставила каждого она перед фактом: она опирается на ряд людей, доверяющих ее мифу о братстве, приобщенье к которому дает силу каждому обновить свою жизнь.

Пока она говорила туманно, под формою сказок, ее слушали так же, как слушают песенные легенды; когда же был поднят вопрос о том, кто уполномочил ее создавать свою группу, она стала косноязычна, ссылаясь на то, что ее руководители скоро появятся среди нас; они-де и объяснят; ее же задача — нас подготовить к этой встрече; она требует лишь доверия к себе как к личности; с недоумением некоторые из очарованных ею ждали; но раздавался и ропот на то, что она ввела в свои сказки не сказки, а тенденцию связи через себя нас с какими-то закулисными иксами; чаще из лепета ее песен выглядывал бред; выяснялась картина душевной болезни; никто ей не верил уже текстуально; но интриговала разгадка: бред ли в ней до конца заявление, что она состоит ученицей каких-то таинственных магов; иль попалась она в чьи-то цепкие лапы; наконец, я и Метнер решили прервать с ней сношенья; такое решение пережила она как удар[74].

Месяцев через семь уже, приехав летом в Москву, я насильственно был опять с нею столкнут; сказали: она-де больная, беспомощная, умоляет меня к ней прийти; с ней пришлось провозиться неделю;[75] передо мною рыдала в полнейшем растерзе она; я выслушивал просто уже абракадабру какую-то: де она, не сумевши свершить «светлой» миссии, данной ей «руководителями», устраняется ими навек от общенья со всеми знакомыми, с чем-де согласна она; я слушал, не веря ей (пергюнтизм иль — увертка); позвать психиатра? Но бреды ее развивались лишь нескольким лицам; и во-вторых: брала клятву она, чтоб о мифах ее мы молчали; а для Танеевых и Тимирязевых и т. д.— она оставалася все тою же, с вида здоровой, нормальной и даже веселой.

Мне казалося: ее миф, что исчезнет она[76],— ложь иль предлог отделаться от векселей, ею данных (море зажечь);[77] уедет куда-нибудь; потом появится у Танеевых, где не нужно ей будет рассказывать мифы; Эртель, когда уличили его в шарлатанстве, ведь так поступил: объявился в Демьянове и картаво поддакивал материалисту Танееву, бросив места, где втирал он очки; но Минцлова была крупнее его; она, по-моему, была искренна в бредах; последствия доказали: в то время, когда мы считали ее шарлатанкою, может быть, она, скрывшись от всех, скажем, бросилась в море в Норвегии, которую так любила она; ее след затерялся на севере: по направлению к Скандинавии; ведь нельзя допустить, что ее так-таки насильно куда-то убрали; живой человек — не платок: из кармана его не утащишь; ее знали сотни людей, из которых десятки считали «своей».

Она, так-таки, совершенно исчезла![78]

Первое время этому не удивился никто; ведь все время переезжала она: оказываясь то — в Москве, то — в Крыму, то — в Норвегии, то — в Петербурге; в каждом городе имела друзей, ей дававших приют. Но — прошел год, другой; спохватились: где Минцлова? Нет нигде; наводили справки: в Москве, в Ленинграде, в Крыму, в Норвегии. Там тоже недоумевали. Прошло девять лет: никто ее больше не видел; ходили слухи: в каком-то монастыре иезуитском; но и этот слух был лишь досужей догадкою.

Двадцать три года прошло: и за двадцать три года никто из знававших когда-то ее не сумел объяснить, куда делась она; время же исчезновенья ее для всех знавших — одно: август девятьсот десятого года.

Моя догадка, что она бросилась в море, основывается на ее лепете о какой-то ее особенной связи с пучиною Атлантического океана; в последнем свидании с нею я обратил вниманье на то, как прислушивалась она к каплям дождя, бившим в стекла, к порывам свиставшего ветра; прислушивалась, и с испугом шептала:

— «Пучина зовет».

— «Кто?» — ее переспрашивал я.

— «Атлантический океан: я с ним связана!»

Встреча с Минцловой — недоуменнейшее воспоминание, в результате которого у меня отложилось недоверие и ненависть ко всему тому, что заводит речь о таинственных братствах, хранящих в подспудных шкафах свою магию и эликсиры; от них бегу прочь.

В первые дни по приезде в Москву из Бобровки я встретился с Асей Тургеневой, приехавшей к тетке из Брюсселя[79], где она училась у мастера гравюры Данса; вид — девочки, обвисающей пепельными кудрями; было же ей восемнадцать лет; глаза умели заглядывать в душу; морщинка взрезала ей спрятанный в волосах большой, мужской лоб; делалось тогда неповадно; и вдруг улыбнется, бывало, дымнув папиросой; улыбка — ребенка.

Она стала явно со мною дружить; этой девушке стал неожиданно для себя я выкладывать многое; с нею делалось легко, точно в сказке.

Она заслонила мне дикий бред Минцловой; она мне предстала живою весною; когда оставались мы с нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки; и будто мы в юном детстве дружили.

А этого не было.

Под впечатлением встреч я написал первое стихотворение цикла «Королевна и рыцари», вышедшего отдельною книжкой позднее:

В зеленые, сладкие чащи
Несутся зеленые воды.
И песня знакомого гнома
Несется вечерним приветом:
«Вернулись ко мне мои дети
Под розовый куст розмарина»[80].

Розовый куст — распространяемая от нее атмосфера.

Стихотворение написано в апреле 1909 года; оно — первое в цикле, противопоставленном только что вышедшей «Урне»:[81] тематикою и романтикой настроения; месяца полтора назад я заканчивал сборник «Урна» печальными строчками:

Уныло поднимаю взоры,
Уныло призываю смерть[82].

Строчки эти — отстой ряда перенесенных страданий, разрыва с друзьями, тяжелых отношений с Щ. А тут вдруг — розовый розмарин!

Меж двумя эпохами моей лирики, определившими года,— всего четыре недели: отдых в Бобровке; и — встреча с Асей, явившейся на моем горизонте как первое обетованье о том, что какой-то мучительный, долгий период

развития — кончен; я чувствовал, что вижу опять нечто вроде весенней зари[83].

Восприятие мое тогдашней Аси — тотчас же отразилось в романе, к которому вернулся по ее отъезде (Катя);[84] и уже поднималась уверенность в первых свиданиях наших, что эта девушка в последующем семилетии станет самой необходимой душой.

Как нарочно, весна была ранняя, ясная, нежная; в марте уже тротуары подсохли; напучились зеленью красные жерди кустов; я ходил, улыбаясь, по улицам; птичьими перьями шляпок в моем восприятии барышни в синие выси над серою мостовою неслись; в набухающих почках стоял воробьиный чирик; рвались красные шарики, газом надутые, в ветер из ручек младенцев; вычирикивали, как зеленою песенкой чижика, глазки летящей навстречу смешной гимназистки; так все восприятия омоложенно предстали; весна охватила: внезапно; по логике, мною поволенной, ведь надлежало на смертном одре возлежать; а я, вопреки ей, отдался вдруг радостно всем впечатлениям жизни.

Сестра Аси, Наташа, умная, сложная, очень раздвоенная, в черном платьице, с глазами русалки, не то ангелица, не то настоящая ведьмочка, в пору ту голову многим кружила; влюблялись в нее — тот, другой; хвост поклонников,— драмы, вздыхания ревности; словом, «Дом песни» д'Альгеймов наполнился этой весной специфической атмосферой влюбленности, глупой, невинной и чистой; и сами д'Альгеймы, романтики, в той атмосфере, казалось, добрели, с лукавым сочувствием щурясь на молодежь, наполнявшую комнаты их,— место встречи с Тургеневыми (Оленина-д'Альгейм была их тетка); они жили как раз напротив д'Альгеймов — под Метнерами; с утра до вечера, перебежав тротуар, пребывали у дяди, у тетки.

Я помню, как раз затрещал телефон; подхожу: голос Аси Тургеневой:

— «Вы согласились бы мне позировать для рисунка, который переведу я в гравюру? Но предупреждаю: для этого вам придется бывать у д'Альгеймов с утра — каждый день».

Не задумываясь, я ответил:

— «Конечно же!»

Как же не согласиться?[85]

А были дела: роман, «Весы», заседанья, статья для гоголевского юбилея;[86] и вот я — пленник д'Альгеймов; верней,— их племянницы; я усажен в огромное сине-серое

кресло: под самым окном; в таком же кресле — Ася; с добрым уютом она забралася с ногами в него; потряхивает волосами, и мрачная морщина чернит ее лоб; она вцеливается в меня, стараясь карандашом передать на картон линию лба; и это — не удается ей; бросив работу, она закуривает; и какая-то особенно милая, добрая улыбка, как лучик, сгоняет морщины; начинается часовой разговор: вдвоем; забыты: и линия лба, и гравюра; вся суть в разговоре; гравюра давно уже стала предлогом для этих привычных посидов; из двух-трех сеансов вполне алогически вырос прекраснейший солнечный месяц необрываемой беседы вдвоем.

Иногда в дверь просовывается любопытно-лукавая головка П. д'Альгейма; он делает вид, что зашел невзначай; с напускною серьезностью он опускается рядом в глубокое кресло; и, горбясь, сидит в нем, моргая в окно и отряхивая серый пепел; в нем что-то от барса; и он косолапится, точно медведь; он заходит отсиживать с нами, чтоб не говорили, что «Белый» часами сидит, затворившись с племянницей; в сущности, он понимает нас; функции «дяди» смешны ему; вид у него постаревшего и подобревшего Мефистофеля или, пожалуй, старого отставного капрала; он щурится мимо, в окно; он, пуская дымок, для проформы лишь спрашивает:

— «Э Брюссóф? Кё фэ т'иль?»*

И, отбывши повинность, встает, на прощанье бросая племяннице с нежною лаской:

— «Пётит!»**

И выходит на цыпочках; он, старый романтик в душе, покровительствовал всем порывам, коли они были чисты; Ася с Наташей лежали глубоко на сердце его; он старался воспитывать их, окружить их своею культурою, но не препятствовал будущему; начинающийся мой роман с Асей тональностью ему, видимо, нравился; и у д'Альгеймов без уговора считалися мы парой; Петровский и Поццо водились больше с Наташей; последняя появлялась везде; даже у Метнеров, что весьма не нравилось дяде; Наташа его беспокоила; Ася же — нет; она в Брюсселе жила в полном затворе у старого Данса; а приезжая в Москву, попадала вполне в атмосферу д'Альгеймов; Ася в эти годы была дикая: из конфузливости; она не бывала нигде; лишь при мне раскрывалася она вся; и д'Альгейм в ней ценил ее ди-

---

* Итак, — Брюсов? Что делает он?

** Крошка!

кость; а Метнер, конечно, косился на наше сближенье, бросая порой невзначай замечанья, клонящиеся к тому, что Ася — таки тип моей не понравившейся ему «королевны» («Северная симфония»).

— «Предупреждаю вас: королевна еще туда-сюда в книге; но не она — героиня вашего романа; ее тональность — болезненный эстетизм; у Аси — аскетизм из уныния и слабого тонуса жизни; вот если бы вы встретили женщину типа «Сказки»*, то ликовал бы за вас».

Вопреки песням Метнера — Ася была в эту пору мне импульсом жизни; Наташа казалась — болезненной; Метнер в моем предпочтении Аси увидел не жизнь, а победу д'Альгейма; воспринимал он абстрактнейше дружбу мою: точно я вместо Зиммеля стал читать, скажем, Огюста Конта; он, с этого времени что-то в себе затаивши, нахмурился; хмурость с годами росла.

В мае решили мы (Ася, Наташа, я, Поццо, Петровский) удрать из Москвы: провести вместе несколько дней среди зелени; мы попали в Саввинский монастырь, близ Звенигорода; остановились в гостинице; пять прекраснейших, солнечных дней нас сблизили с Асей; она была великолепнейшая лазунья: увидит забор или дерево, и — закарабкается; она лазила по вершинам деревьев; первые разговоры о том, что, быть может, пути наши соединятся, происходили на дереве (почти на самой вершине); на ней мы качались, охваченные порывами, гнущими дерево; свежие листья плескали в лицо.

Мне запомнился наш разговор — на дереве, свисающем над голубым, чистым прудом, испрысканным солнцем; запомнились и отражения: вниз головой; из зеленого облачка листьев, в мгновенных отвеинах ветра,— я видел то локоны Аси, то два ее глаза, расширенных, внятно внимающих мне; и запомнился розовый шелк ее кофточки; вдруг ветви прихлынут к лицу: ничего; под ногами — двоился, троился отточенный ствол, расщепляемый легкой рябью; запомнились спины склоненных под нами Наташи и Поццо, сидящих глубоко внизу: на зелененьком бережку (они тоже задумывались о путях своей жизни: Наташа впоследствии стала женой А. М. Поццо).

Вспоминается и другая картина: и ночь и луна; средь бушующих черных кружев листвы чья-то тень, мне не ясная: Ася; схватившись рукою за сук, она свесила голову; черное кружево, нас овеивая, закипая серебряной искрою

* Героиня драматической «Симфонии».

лунного отблеска, точно всплеснет; и вот листья отвеяны; стали темно-оливковыми — под луной, освещающей их; а над нами — глубокое и темно-синее небо; далеко за полночь; смотрим на небо; луна закатилась; но вызрели звезды.

Так под небом и месяцем вставал предо мною отрезок из лет, освещенных мне жизнью весьма необычной.

В деревне мы прожили всего несколько дней; но они отделили меня навсегда от унылого прошлого; собрались мы уехать; но подали счет; оказалось же: заплатить-то и нечем; и пришлось А. Петровскому ехать в Москву за деньгами, оставив две пары «романтиков» в залог монахам, заведующим гостиницей.

В день возвращенья в Москву был концерт М. Олениной; помню, она, в белом платье, с приколотой розой к открытой груди, с невероятною силою пела:

Сияй же, указывай путь,
Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал[87].

Программу концерта, наверно, продумал д'Альгейм; и, наверно, продумал ее для меня и для Аси; он таки постоянно устраивал своим близким знакомым сюрпризы; и включал в программу жены те романсы, которые, по его представленью, должны были ответствовать душевному состоянью друзей. В этих милых сюрпризах опять-таки сказывался романтик старинного стиля.

Но вот приходит известие: бабушка Аси, Бакунина, проживавшая у своей дочери*,— при смерти; Ася поехала к матери на Волынь, чтобы проститься с больной; оттуда она должна была ехать в Брюссель — оканчивать школу гравюры у Данса (ей оставалось там жить еще не менее полутора года); перед прощаньем условились мы: разлука пускай будет нам испытанием; ею проверим себя и друг друга; и коли окажется, что в нашей тяге друг к другу есть что-то серьезное, то мы по окончании ей класса гравюры соединим наши жизни.

Вскоре же по отъезде Аси[88] имел я серьезнейший разговор с П. д'Альгеймом, более влиявшим на судьбу племянниц, чем мать; в результате этого разговора я получил душистый по тону ответ: д'Альгейм не только не будет препятствовать моему сближенью с племянницей, но

---

* Мать Аси, урожденная Бакунина, по первому мужу Тургенева, по второму Кампиони, жила около Луцка с мужем, лесничим.

и способствовать ему; он мне предложил предстоящей зимой ехать в Брюссель:

— «Но вам придется считаться со стариком Дансом; он средневековый, строгий, сумрачный; он держит Асю как в монастыре; изредка бедняжка гостит в Шарлеруа у мадам д'Эстре, дочери Данса. Так что вам придется видаться с «пётит» — в присутствии старика или экономки-старухи, которая — о, о,— мегера! Ну да ничего: где нет препятствий к свиданьям — там нет аромата»,— пустился он мне развивать философию жизни.

Близился уж июнь; я опять переехал в Дедово, к другу; с обитателями Дедова, Коваленскими, отношенья как будто наладились; но чувствовался холодок от Сережи; мое увлечение Асей встречало в нем отклик живой[89] (сам же он увлекался сестрой ее, Таней); но проблема самопознания в моей трактовке была ему даже враждебна; замкнулись невольно мы; к нам являлся и Эллис, притрясываясь в таратайке, в мухрысчатом сюртучке, в том же все котелке; он в это время дорабатывал книгу о символизме; писал в музее он; он все нервничал, чего-то боялся; и даже: кричал по ночам; производил, в общем, жалкое впечатленье: на ладан дышал.

Время мое было занято писаньем романа; и лето казалось неважным; и в Дедове было неважно; отдушины — письма от Аси, сперва из-под Луцка; потом уж — из Брюсселя; я отвечал ей длиннейшими письмами, над которыми просиживал ночь напролет; к августу появилась в письмах ее нота вялости; они стали реже.

Я был охвачен рядом новых тревог и забот, отрезавших надолго от брюссельской переписки.

И первая тревога — инцидент с Эллисом.

ИНЦИДЕНТ С ЭЛЛИСОМ

В последний свой приезд в Дедово Эллис был так неумерен в словах, так ругался, такие высказывал мысли о прессе, что я вынужден был одернуть его:

— «Если ты будешь и далее продолжать разглагольствовать в этом же направленьи, то — помни: тебе будет плохо!»

Он задергал плечом; и — уехал.

А через несколько дней я читаю в газетах: литератор Л. Л. Кобылинский попался в музее с поличным — вырезывал страницы из музейских книг;[90] в газетах стоял про-

сто грохот; Сережина бабушка, Александра Григорьевна Коваленская, очень любившая Эллиса, мне говорит:

— «Поезжайте скорее в Москву... Разузнайте, в чем дело: опять, вероятно, травля!»

Лечу: и — попадаю в разгар «инцидента».

Считаю его характерным; натура противоречивая, Эллис всегда отличался почти потрясающим бескорыстием; он отдавал людям с улицы все, что имел; он годами позабывал об обеде; давно уже книги свои он пожертвовал неимущим; но он был ужасно небрежен по отношению к книге как таковой; и дать ему книгу — значило: или ее получить перемаранной заметками на полях, с дождем восклицательных знаков, иль — книги лишиться,— не потому, что присвоит ее: затеряет ее; не раз у себя на столе находил занесенные Эллисом книги, исчерченные карандашными вставками; приходя же к друзьям, он без спроса брал книги их; часто зачитывал; над ним трунили; он сам над собою трунил; и, разумеется, никому и в голову не приходило, что порча книг Эллисом есть преступление; с той же рассеянной, непохвальною легкостью он работал в музее над книгою о символизме;[91] к несчастию для него, его посадили в отдельную комнату; и кроме того: в эту комнату его допустили с комплектом его же книг, только что подаренных ему «Скорпионом» специально для нужных вырезок и вклеек в рукопись; пользовался же он двойным комплектом: музейским (для справок) и «скорпионовским» (для вклейки); и раза два, перепутавши книжные экземпляры, выкромсал ножницами — из экземпляров музейских; именно: он испортил вырезками страницу в моей книге «Северная симфония» и страницу в моей же книге «Кубок метелей»; служитель музея случайно увидел, как он вырезывал; и когда ушел Эллис, по обычаю оставляя портфель работы, со всеми вырезками, то служитель отнес портфель к заведующему читальным залом, фанатику-книгоману, Кваскову; Эллису сделали строжайший выговор: конечно, за неряшество, а не за воровство; и лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением рассказывал об этом факте; пронюхал какой-то газетчик; враги «Весов» вздули до ужаса инцидент; неряшество окрестили именем кражи;[92] можно было подумать, читая газеты, что Эллис годами, систематически, выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, прочитав заметку о «краже» в музее, воспользовался этим случаем, чтобы спихнуть с места директора, профессора Цветаева (у них были счеты); он требовал: дать делу ход.

Теперь о Цветаеве: этот последний питал к Эллису ненависть;[93] Эллис являлся почти каждый день на квартиру его — проповедовать Марине и Асе, его дочерям, символизм; и папаша был в ужасе от влияния этого «декадента» на них,— тем более, что они развивали левейшие устремленья для этого косного октябриста: они называли себя тогда анархистками; в представленьи профессора, Эллис питал их тенденции: ни в грош не ставить папашу[94]. С другой стороны: дама, в которую папаша влюбился, по уши была влюблена в Эллиса; и здесь и там — торчал на дороге профессора «декадент»; оскорбленье свое он и выместил как директор Румянцевского музея. И кроме всего: он желал выкрутиться перед его не любившим министром; он потребовал строжайшего расследования с тенденцией обвинить Эллиса.

Результат осмотра книг, читанных Эллисом в музее (за многие годы), был убийственен для Цветаева: кроме двух страниц, вырезанных из «Симфоний» на виду у служителей, с оставленьем им на руки своего портфеля (вместо того, чтобы унести портфель с «уворованным»),— никаких следов «воровства», которого и в замысле не было; Эллису ль «воровать», когда его обворовывали редакции нищенским гонораром, когда он всю жизнь обворовывал сам себя отдаванием первому встречному своего гонорара и после сидел без обеда. Пришлось же позднее Нилендеру отнимать у Эллиса деньги, чтобы их ему сохранить на обеды.

И этого человека «маститый» профессор Цветаев хотел объявить злостным вором.

Личная месть и угодничество перед Кассо, от которого разбегались в ужасе и умеренные профессора,— превратили седого «профессора» в косвенного участника клеветы; пока над Эллисом разражалась беда, комиссия по расследованью «преступленья» сурово молчала, укрепляя мысль многих о том, что материал к обвинению, должно быть, есть.

На Эллиса рушились: и личные счеты министра с Цветаевым, и ненависть последнего, и ненависть почти всех писателей за «весовские» манифесты; оповещение о воровстве печаталось на первой странице;[95] оно облетело в два дня десятки провинциальных газет; а опровержения не печатались; через два месяца постановление третейского суда, снявшего с Эллиса клевету, было напечатано петитом на четвертой странице «Русских ведомостей»; и осталось не перепечатанным другими газетами;[96] и тот факт, что судебное следствие прекратило «дело» об Элли-

се вслед за следствием музейной комиссии, и тот факт, что третейские судьи (Муромцев, Лопатин и Малянтович) — признали Эллиса в воровстве невиновным,— не изменили мнения: казнили не «вора»,— сотрудника журнала «Весы».

Не забуду дней, проведенных в Москве; я с неделю метался: от А. С. Петровского к скульптору Крахту, от Крахта к С. А. Полякову, в «Весы»; из «Весов» — в музей; оттуда — к Эллису, к Шпетту, к Астрову; Эллиса ежедневно таскали на следствие: в комиссию при музее; а элемент, мною названный «обозною сволочью», неистовствовал во всех российских газетах, взывая к низменным инстинктам падкой до сенсации толпы; гадючий лозунг: «Все они таковы» — раздавался чуть не на улице, где сотрудников «Весов» ели глазами;[97] передо мною вставала картина толпы, убивающей Верещагина («Война и мир»);[98] нас прямо ставили вне закона, особенно тогда, когда закон дело прекратил, а где-нибудь в Харькове, Киеве и т. д. продолжали писать:

— «Эллис — вор!»

Когда впервые в Москве в эти дни я настиг несчастного виновника шума, он был невменяем; бегал по улицам без котелка, то махая безнадежно рукою, не пробуя даже бороться: «Бесцельно!» То, палку хватая, бросался кого-то он бить. Но — кого? В эти дни обнаружилось: бить надо многих; я — тряс его за руку:

— «Слушай, а опровержения — где?»

— «Посланы: не напечатаны...»

— «Не имеют права, должны».

— «Это ж право — трех дней».

— «Где ты был? Что ж ты медлил?»

Обнаружилось: в первый день обвинения он не видел газет; а все друзья его были на даче; немногие из «хороших» знакомых, попавшихся ему в этот день, лишь конфузливо опускали глаза; и — от него наутек:

— «Понимаешь, ничего я не знаю: встречаю N: он — чего-то конфузится; и — до свидания; вижу М: делает вид, что меня не узнал... И понял я, что что-то случилось; но лишь на другой день утром прочел клевету: к вечеру доставил опровержение; на третий день оно не появилось в печати: на четвертый день я уже не мог требовать, чтобы письмо мое напечатали».

Опускаю подробности этого гнусного дела: музейное следствие (протоколы, допросы, комиссии), судебное следствие тянулись недели; пока же — громчайшая

статья, полная клевет, в «Голосе Москвы» (орган октябристов) — под заглавием: «Господин Эллис»[99].

Характерно: до этого инцидента в музее действительно уличили вора, вырезывателя ценнейших гравюр, их сбывавшего; и вот этому вору Влас Дорошевич посвятил фельетон, силясь его оправдать;[100] об Эллисе — никто: ни гугу; а мы лишены были права голоса: друзья-де лицеприятны.

Еще деталь: прокиснувший в либеральной «порядочности» Сергей Мельгунов, года упражнявшийся на страницах «Русских ведомостей» в морали и добродетели (ныне эмигрант), будучи еще гимназистиком, столовался у матери Эллиса; он был на «ты» с ее сыном; совершенно растерянный оттого, что газеты не захотели печатать его, Эллис вспомнил: бывший его товарищ ответственное лицо в «почтенной» газете; опрометью он ворвался в редакцию; увидевши Мельгунова,— к нему, простирая руки свои с восклицанием:

— «Выручи!»

Но благородный эн-эсовский столп добродетели[101], выпятив грудь и убрав свои руки за спину, с ледяною жестокостью лишь процедил:

— «Извините, пожалуйста,— я ничем не могу вам помочь».

Повернувшись, он вышел из комнаты: инсценированная непреклонность была подла; не было ведь доказано, что просящий о помощи — вор; следствие еще только приступало к разбору; что сделали «Русские ведомости», чтобы честно пролить свет на весь инцидент и хотя б только этим помочь оклеветанному? Они напечатали снятие вины с Эллиса — петитом; и — через два месяца; напечатали, потому что документ был подписан председателем Первой Государственной думы; Мельгунов, не желавший марать свои руки о «грязное» дело, числился «благородным» в газете; а Муромцев, себя «замаравший» участием в деле, котировался тою ж газетою как «благор-ррр-роднейший», перевешивая Мельгунова количеством «р»; постановления третейского суда с такой подписью нельзя было спрятать в карман; и его напечатали; но — петитом; и — на четвертой странице; никто не прочел.

Ненависть к «декаденту» была так сильна, что и фамилию Муромцева со всеми «р» смалили в петит; в чем сила? Да в том, что первое известие о «воровстве» Эллиса появилось в «Русских ведомостях»; снятие с Эллиса клеветы в той же газете ставило ее в неловкое положение.

Через несколько недель я удостоился видеть Муромцева, получив от него приглашение посетить его дом; с дочерьми его я играл некогда мальчиком; приглашение имело связь с инцидентом, который уже разбирал Муромцев, привлеченный к нему братьями Астровыми; эти-то знали Эллиса и в его бескорыстии, и в рассеянной невменяемости, и в способности против себя ненужно восстановить всех; Астровы имели вес в кадетских кругах; при их участии нашелся-таки противовес клевете; видные деятели наконец принялись выгораживать Эллиса, особенно когда зарвались октябристы; травля Эллиса гучковской газетой превосходила все меры[102].

Тогда-то Н. И. Астров, с которым Муромцев считался, ввел последнего в детали дела и убедил войти в президиум третейского суда меж журналистом «Голоса Москвы» и Эллисом[103].

Муромцев меня не расспрашивал о подробностях ему уже знакомого дела; во время беседы он пристально меня изучал; я помнил его чернобородым красавцем; теперь предо мною стоял седой старик в великолепной позе мягкого величия; из беседы с ним убедился я: он будет держать руку Эллиса; и я — успокоился.

Не то чувство охватывало меня в первые дни инцидента; следствие хранило молчание; профессор Цветаев топил; пресса — выла; Эллис же был невменяем; и я не мог добиться четкого объяснения от него.

Тронул скульптор К. Ф. Крахт, живее всех взволнованный этим делом; он даже устроил у себя в студии совещание друзей Эллиса; в этой студии поздней собирался кружок, Эллисом названный «Молодым Мусагетом»; здесь были иные из будущих «центрофугистов»;[104] бывали: Марина Цветаева и молодой Пастернак.

У Крахта познакомился я с Кожебаткиным и В. Ф. Ахрамовичем, скоро связавшимся с «Мусагетом»; Кожебаткина подсунул нам Эллис как незаменимого-де секретаря; Ахрамович сперва был корректором в «Мусагете»; привлекал его ум; привлекало живое отношение к делу; когда обнаружилось, что «незаменимого» секретаря нельзя держать в «Мусагете», засекретарствовал Ахрамович[105], оказавший живую помощь издательству, а мне, в частности, и большую услугу: умелым секретарством в нашем ритмическом кружке[106].

Возвратился я в Дедово — вовсе больной, потрясенный; и — вдруг телеграмма от Метнера: есть деньги на издательство или журнал; согласен ли?[107] Просит ответа,

но под влнянием инцидента с Эллисом — первая мысль: какой там журнал? До него ль? И Соловьев соглашался со мной:

— «Я заранее должен сказать: мне — некогда будет касаться журнала; и я далек от всяких издательств; на меня не рассчитывайте».

Вообще Соловьев в нужную минуту выявил эгоизм и в отношении Эллиса, и по отношению ко мне; я, удрученный таким холодным ответом, чуть не послал Метнеру телеграммы: «Не надо». Но, вспомнивши о Петровском, Нилендере, Киселеве, поехал в Москву: за советом.

— «Нет, Боря, нельзя отклонять предложенья: издательство — нужное дело»,— волновался Петровский.

Вообще он меня горячо взбадривал и поддерживал; тогда мы послали Метнеру лапидарный ответ: «Нужно»; Метнер тотчас же разразился огромным письмом, прося строго обдумать план действий: книгоиздательства или — журнала; и просил прислать смету, проекты; он писал, что еще на месяц задержится и чтобы мы разработали детали дела; он отвиливал от черной работы; мы принялись за организацию издательства «Мусагет», отклонивши журнал; я переехал из Дедова, унося печальное чувство: наши идейные пути с Соловьевым вполне разошлись;[108] и с той поры не было уже между нами былой жизненной связи; в заседаниях он не участвовал, нас избегая; участвовали: Рачинский, Петровский, Сизов, Киселев, я, Нилендер, Борис Садовской, Эллис, Кожебаткин, призванный в секретари, и Ахрамович, ставший корректором. Сентябрь протекал в разработке плана издания[109], сметы и отыскания помещенья редакции; уже подготовлялись и рукописи; явился и Метнер; официально редактор и издатель был он; редакционною тройкою — я, Метнер, Эллис; ближайший совет при редакции составляли Рачинский, Сизов, Киселев и Петровский; Метнер настаивал, чтобы меж редакторами состоялось следующее соглашение: «veto каждого — безапелляционно; любое решение осуществлялось лишь согласием трех; и это впоследствии явилось подводным камнем работы; когда редакторы оказались лебедем, щукой и раком, то и не оказалось вопроса, на котором бы мы сошлись; «veto» стало каноном жизни издательства, и все культурное будущее оказалось в сплошных «нетях»; на «нет» нельзя строить; а «да» — не оказывалось.

Появившийся через месяц Эмилий Метнер таки удивил меня; он обрился; странно: этот пустяк деформировал мне его; есть люди, которым не след бриться; борода и усы

придавали ему что-то мягкое; в его обнажившемся подбородке и в судорожно сжатых губах проступила нота надменства и прежде ему неприсущей сухости; главное: поразил редакторский тон: по отношенью к друзьям; у Брюсова не было этого тона и в отношеньи сотрудников; в основе «редакторских» пожеланий не чувствовалось твердой линии: она всплывала лишь в «veto»; я же принципиально не пробовал использовать своего права на «veto» в отношении к Метнеру, ибо «veto» — лишь способ убить творчество; Метнер капризничал своим «veto»; тенденция к таким «veto» была мне полным сюрпризом в том, кто в ряде лет был мне другом; признаюсь: вид и тон «редактора» был Метнеру не к лицу; а упорство, с каким он силился укрепить во мне свой новый аспект, привело лишь к тому, что уже через год зажил я единственной мыслью: бежать из Москвы; что в условиях моей жизни значило: ликвидировать с тогдашней Россией.

НА ПОДСТУПАХ К «МУСАГЕТУ»

Организация «Мусагета»: т. е.— ежедневные заседания, сметы выбора шрифтов, образцов для обложек, наметка предполагаемых к изданию книг; дома — подготовленье к печати двух сборников; и — писание романа к очередному номеру «Весов»;[110] кроме выбегов по делам «Мусагета», я был отрезан от внешнего мира; не было времени писать Асе в Брюссель. Надо было сортировать, редактировать уйму статей и заметок для «Арабесок» и «Символизма»; все конкретное, образное, афористическое отбиралось мною для «Арабесок»; и выбор был легок.

Не то с «Символизмом»; сюда попадали теоретические статьи; я не раз колебался: стоит ли выпускать эту рыхлую, неуклюжую книжищу; ее главы писались мной в разных годах, обнимая статьи с явным припахом Шопенгауэра (плод увлечения юности), и статьи, писанные под влиянием Вундта — Гефдинга, и статьи, отразившие стиль неокантианских трактатов; ни те, ни другие, ни третьи не могли отразить мне теории символизма; и психология, и теория знания брались как симптомы отклонов с поволенной линии; очерк теории символизма мне виделся ясно; если бы были возможности мне затвориться на несколько месяцев, я предпочел бы готовить к печати заново написанный труд, опуская эскизы к нему (материал ста-

тей, с которым во многом я был уже не согласен); тогда — на что жить? «Весы» — закрывались; ежедневная служба моя в «Мусагете» и гонорар за статьи как раз давали мне возможность кое-как обойтись; это определило судьбу «Теории символизма»; она — не написана; зато глиняный колосс (шестьсот с лишним страниц), «Символизм», которого рыхлость я и тогда осознал, живет памятником эпохи; ворох кричаще противоречивых статей — отражение бурно-мучительной личной жизни моей, разрушавшей тогдашнее творчество; если оно и оставило след, то — вопреки всем деформациям, суетой; оно выглядит мне не поднятым со дна континентом, которого отдельные пики торчат невысоко над водной поверхностью.

Организуя книгу, хватался за голову, видя все неувязки: в методах трактовки вопроса; единственно, что оставалось: сшить на живую нитку отдельные лоскуты хода мыслей, уж сданные в типографию; вдогонку за ними надо было пуститься со сшивающим их комментарием, стягивающим противоречия все же к некоторому единству;[111] уже сами статьи от меня были взяты: в набор.

«Мусагет» желал открыть деятельность с выпуска этой именно книги, в ней видя программу, и этим мешал мне думать над ней; выдвинули: задержка книги — ущерб для финансов; бюджет или цельность теории? Увы,— бюджет; цельность — когда-нибудь, между прочим; да,— таков путь мой писательский; «Мусагет» был бедней «Скорпиона»; поэтому — в нем бюджет доминировал: в «Весах» доминировала — концовка художника: пиши под концовку; с идеологией — никогда не везло; ни одно издательство не могло дать спокойных условий работы; всегда злободневность момента стирала весомость, чтоб в следующий момент стать иной; сумма всех злободневностей через пять лет становилась нулями; а собрание сочинений «А. Белого» — изуродовано; это знать — и не мочь отстоять свои планы есть мука моя как писателя.

Я пытался, хотя бы отчасти, найти себе выход из созданного затрудненья; хотя бы дать схему теории, обещанной в будущем; центральная статья «Символизма», или — «Эмблематика смысла» (почти сто печатных страниц), написалась в неделю; и даже не выправлена (типография требовала); она поэтому не отразила программы; гносеология в ней — рудимент, ибо дана — от печки: от критики Риккерта; статья оказалася эмблематикой (в другом смысле), нарисовав психологию моих прошедших ошибок, представив их диалектикою подходов к тео-

рии, контур которой позднее лишь встал; если б знал, что «теорию» жизнь написать не позволит, не выпустил бы я теоретической первой части, которая — выданный вексель.

В план книги входил и подход к проблемам эстетики; отсюда вторая статья, писанная кое-как; и вдогонку: «Лирика и эксперимент»; она вводила в детали проблемы ритма; будущее опять-таки обещало возможности выпустить отдельным томом мои стиховедческие материалы, в то время казавшиеся нужными горсточке специалистов; и тут я ошибся в расчете; через пятнадцать лет горсточка стала тысячами; я хотел использовать «Символизм» и как агитацию за специальные интересы стиха; и в этом достиг цели; в направлении, мною взятом, меня уточняя, была написана целая библиотека; но я проиграл в другом, скомкавши огромное сырье данных, которых проверить достаточно я не успел в силу той же причины: типография требовала себе пищи; а издательство волновали бюджеты; статьи еще только верстались, а я печально стоял, говоря себе: «Если бы только месяц мне лишний,— этого б не случилось,— тогда б!» Критику себя над еще не вышедшей книгой я положил в основу работы ритмического кружка, которого первые заседания происходили в дни ее выхода;[112] мы начали с уточнения данных, опубликованных в «Символизме»; и вехи к ним — я сам указал, а не проф. Жирмунский, давший мне указания, как работать, через... семнадцать лет[113] и в согласии с нами же составленным учебником ритмики, которого литографированный экземпляр я сдал на хранение в Литературный музей как свидетельство того, что эти слова мои не досужие вымыслы[114]. Профессору было легко снять пылинки с участка, где я выкорчевывал пни. До пылинок ли тут? Меж моей работою и его протянулася библиотека уточнений: снимать с нее сливки — одно наслажденье!

Словом: вслед за статьей «Лирика и эксперимент» надо было мне опять вдогонку втискивать кое-как сырой материал в четырех спешно написанных черновиках, полных статистики и подсчетов; так написались статьи: «Опыт описания ямба», «Сравнительная морфология... диметра», «Не пой, красавица, при мне» и «Магия слов». Они написаны в... месяц.

Можете представить себе картину жизни моей: за октябрь и ноябрь? Заседания; разбор инцидента с Эллисом; трепка, которую мне задавали д'Альгеймы; и возвратное бегство к себе в кабинет, где строчились двести

пятьдесят страниц комментария к «Символизму» (петит), молниеносно набрасывался план теории символизма, вместе со статьями о ритме (подсчеты, таблицы), перечитывался Потебня; и кроме того: мне пришлось пропускать через себя десятки стихосложенческих книжечек, которые ex officio[115] я просмотреть все же должен был.

Рассвет заставал за работой меня; отоспавшись до двух, я бросался работать, не выходя даже к чаю в столовую (он мне вносился); а в пять с половиной бежал исполнять свою службу: отсиживать в «Мусагете» и взбадривать состав сотрудников, чтоб, прибежавши к двенадцати ночи, опять до утра — вычислять и писать.

Недели мой кабинет являл странное зрелище: кресла сдвинуты, чтобы очистить пространство ковра; на нем веером два десятка развернутых книг (справки, выписки); между веером, животом в ковер, я часами лежал; и строчил комментарии; рука летала по книгам; работал я с бешенством; первая половина книги мне возвращалася ворохом корректур, а другая — пеклась; в таких условиях надо было дивиться совсем не тому, что так сыро выглядит книга; надо дивиться тому, что и ныне читают ее, с ней считаясь, хотя бы в полемике; ибо и в таком сыром виде она все же сдвинула стиховедение с мертвой точки, поставленной всем девятнадцатым веком.

В эту бешеную по мной развиваемым темпам эпоху — на голову свалился д'Альгейм, вдруг решивший открыть в «Доме песни» сеть курсов, с коллегией лекторов, с заседаниями, семинариями и т. д.; он вырвал в минуту усталости мертвое обещанье читать курс по ритмике; и, присадивши за стол, он заставил меня набросать проспект курса, который в сотнях листков раздавал своей публике, открыв запись на курс; осознав, что нет времени не только на курс, но и на благополучное окончание комментария к набираемой книге*, я побежал объясниться: какое! Головомойка — с намеками: я-де всаживаю д'Альгейму в спину кинжал; и я испуганно замолчал; и думал: все равно мне не выдержать курса.

В коллегию лекторов «Дома песни» вошли: сам д'Альгейм, читавший курс о заданиях песни, Мюрат (французская литература), Артур Лютер, впоследствии известный профессор в Германии (немецкая литература), Брюсов

* Так оно и случилось: к статьям, посвященным ритму, нет комментария; а было что комментировать: уже в корректурах бросались в глаза мне неточности выражения вроде «ритм есть сумма отступлений от метра»;[116] но времени не было: комментировать, исправлять — я не мог.

(русская литература), я (ритмика), Энгель (музыкальный курс) и еще кто-то (английская литература), Рачинский; и Брюсов все время нашептывал мне:

— «Борис Николаевич, мы, конечно, откажемся: ведь ни Энгель, ни Лютер не будут читать».

Он убедил: от моего и своего имени категорически отказаться; вторичное объяснение с д'Альгеймом произошло на концерте Олениной в перерыве: перед артистической; я выбрал концерт, чтобы не быть на часы притиснутым к креслу; лучше сразу и грубо, чем с тонким взаимным мучительством, произвести операцию; д'Альгейм же придрался к тому; в едких письмах обвинял он меня: я-де выбрал концерт, чтоб сорвать его для певицы, которую боготворил семилетие и для которой работал с маньяком; в результате всего ж был объявлен: вредителем! Негодование мое усугубилось необъяснимым поступком д'Альгейма: С. Л. Толстой, как и я, почитатель певицы, просиживавший вечера в «Доме песни», откликнулся на конкурс (лучшее оформление шотландских мелодий на песни Бернса); Николай Метнер присудил премию его номеру, не подозревая фамилии номера; воображенье «маньяка» сложило басню о будто б сговоре Толстого с Метнером, кстати, едва знакомых друг с другом; отсюда — разрыв д'Альгейма и с Метнерами и с Рачинским, принявшим сторону невинно оскорбленного автора.

Чаша терпений моих переполнилась; и я ответил д'Альгейму резко;[117] он тотчас же написал в Брюссель — Асе: она-де должна все со мной разорвать; та ответила с мягким достоинством: никто не имеет права вмешиваться в ее отношенья со мной.

Я был до крайности разволнован случившимся, тем более что в Брюссель нынешнею зимою я ехать не мог, прикованный инцидентом с Эллисом, «Мусагетом» и корректурами.

«Мусагет» только что обосновался в квартире: три комнаты с ванной, кухней и комнатушечкой для служителя, Дмитрия; меблировка была со вкусом; редакция выглядела игрушечкой; в комнатку с овальной стеной был заказан овальный диван, перед которым стоял круглый стол; ковер, мебели, драпировки приятного синего цвета на теплом, оранжевом фоне (обои); затворив двери в приемную (белые обои, книжные полки, два столика: для секретаря и корректора) и спустивши портьеру, оказывались в диванной, куда не проникал шум; каждый день здесь сидела компания (Шпетт, или Рачинский, или Борис

Садовской, или Эллис, Машковцев и другие); здесь с шести до восьми принимал по делам «Мусагета»; сколько здесь протекло разговоров — с Ивановым, Минцловой, Блоком, Тургеневыми, Степпуном, Шпеттом; комната стала моим домашним салоном.

Приемы — с шести до восьми; а фактически здесь сидели до полночи; и уходили часто отсюда: поужинать в «Прагу», которая была под боком (квартира — наискось от памятника Гоголя);[118] на круглый стол Дмитрием ставился поднос с чашками крепкого чая, с ассортиментом печений и пряников; кто-нибудь просил себе сделать ванну, которую скоро пришлось отменить, чтобы редакция не превратилася в баню; здесь «ванничал» еженедельно Петровский, являяся после в диванную с розовой, вымытой мордочкой,— к чаю.

Не любил я сидеть в специальном редакторском кабинете; он был отделен ото всех других комнат; серо-зеленый цвет мебели придавал ему что-то казенное; здесь сидел Метнер, являяся редко: впоследствии — раз в неделю, часа на два-три; он не понял: редактор тогда лишь редактор, когда он — сотрудников вдохновляющий центр и любезный хозяин; я, именно, проводил эту линию, во многом взяв пример с Брюсова; результат такой тактики: «Мусагет», до открытия еще, стал ярким центром, влекущим сотрудников; чай способствовал непринужденности разговоров, обмену мнений, проектов, которые, к сожалению, разбивались спрятанным от сотрудников и их не знавшим, за исключением членов совета, редактором Метнером; он бил, как молотком, своим «veto»; надо всечасно учитывать силы людей, приходящих в редакцию, отваживая одних, давая возможность другим: выявляться в работе; и даже — уметь менять планы, приспособляяся к исполнителям их: и так действовали Брюсов, Дягилев, редактировавшие журналы: «Весы» и «Мир искусства»; они не боялися «хаоса»; Брюсов строил «Весы», живо зная реальные интересы сотрудников; и, педалируя умело на них, извлекал он созвучие из меня, Садовского, Антона Крайнего, Эллиса, Соловьева, столь разных в быте идей; принцип Дягилева: печатать все, что ни напишет ценный сотрудник, и не печатать даже хороших статей, принадлежащих неценным людям, т. е. принцип строить программу на личностях, а не на абстрактной платформе, выявил в итоге такой принципиальный подбор, который был бы недостижим планами и заседаниями «редакционного комитета».

Я, оглядываясь назад на себя и на Метнера, не без возмущения восклицаю: имея в распоряжении тройку Иванов — Блок — Белый, как мог этот «дирижер» сознаний не знать, что он имеет дело с людьми исключительной инициативы; Брюсов, Дягилев прислушивались к такого рода сотрудникам, оформляя планами инициативу их; а Метнер, не учитывая «in concreto»[119] их быта идей, втемяшивал в головы свои абстракции «русско-германского» «культурного» плана;[120] его лейтмотив, сопровождавший мои начинания: «Это — хаос!» Есть хаос — и хаос; один хаос — из беспринципности; другой — из уменья подслушивать становление новых ценностей в их зародыше: в новых людях и в новых тенденциях (в «Симфонии» мною подслушаны новые секты, в «Голубе» — Распутин, в «Петербурге» — падение «Петербурга» и близость всеобщей катастрофы,— до новых сект, до Распутина, до провала царского Петербурга); Метнер думал, что у меня уши в пупе,— не на голове; извините, пожалуйста: центр моих интуиций находился в сознании, в оценке деталей, подробностей нового человека, пришедшего к нам работать еще без «трудов», но... но... с будущим, т. е. всего того, чего Метнер увидеть не мог, принимая в неделю раз в серо-зеленом своем кабинете.

Я пишу с раздражением, обращая строки к когда-то «другу» и не зная, дойдут ли они до него.

Какого хаоса, черт побери, он боялся, когда он боялся: в Иванове, Вячеславе,— интриг, во мне — «беспринципности», в Блоке же — интуиции ничем не покрытого пупа; и требовал: от меня проведения в жизнь им задуманного неживого «Verlag'a»;[121] от Блока — стихов в «альманашек»; а от Иванова — консультаций на тему о Греции.

Вячеслав Иванов, вождь школы поэтов, вокруг которого группировалися творческие начинания Петербурга, им брался «постольку, поскольку»; А. Блок, предлагавший журнал трех поэтов[122], им был отстранен от журнала «любезнейшим» жестом: «Пожалуйста, нам напишите какое-нибудь там свое; мы — рассмотрим!» (Рассмотрит коллегия из пятнадцати нетворческих личностей.)[123]

Когда, всеми фибрами слуха внимая тональностям новой культуры, уже подымаемой «мусагетскою» молодежью, шел я к Метнеру, предлагая отдать мне план сборника,— он почти что кричал на меня:

— «Опять этот хаос!»

Да,— хаос создания новых идей, ставших жизнью культуры, весьма интересной, с которой бы след ознако-

миться «Зиммелям»; в ноте культуры той слышались мне звуки поэзии Пастернака, и звук написания библиотеки стиховедческих книг, и многое прочее, чего не снилось Европе, перед которою падал ниц «хаоса» моего убоявшийся Метнер, оставшийся за рубежом безо всякого культурного дела; а мог бы работать у нас, если б вовремя внял он мне, дал бы возможность нам развернуть «наше» дело — по-нашему, не прицепляя «последышей» Зиммелей в виде троечки «настоящих» философов: Федора Степпуна, Яковенко и Гессена; «настоящее» первого выявилось в карикатурнейшем комиссарстве на фронте (при Керенском); второй — высох: таранью тарань; третий — автор брошюрочки «Что такое большевики».

Забегая вперед, здесь скажу: уже к осени 1910 года около Степпуна, явившегося в «Мусагет», строилась философская молодежь; он завел в редакции свой семинарий; среди студентов его объявился Борис Леонидович Пастернак[124], чья поэзия — вклад в нашу лирику; помню я милое, молодое лицо с диким взглядом, сулящее будущее. Метнер ни разу на семинарии не был.

Я заработал с моими ритмистами, будущими профессорами, исследователями и т. д.; я умолял посетить семинарий, увидеть характер работ; он — ни разу на нем не был; а в результате такого небрежного отношения к тенденциям жизни — ценные материалы по пятистопному ямбу[125] и острая сводка работы кружка (перечень уточнений слуховой записи строчки) с моим отъездом ряд месяцев праздно пылела в редакции; и в ней — растаяла: без оформления; а через пять уже лет новая «проблема культуры», которую Метнер проспал, была выявлена библиотекой книг; а «Мусагет» лишился чести быть зачинателем новой науки, имея такого ритмиста, как я, вкруг редакции сгруппировавшего ценнейших работников; вся беда в том, что они еще себя не сумели прославить трудами, поэтому они были — «хаосом»; и им противополагался «нехаос», Н. П. Киселев, засохший в «каталог каталогов», в то время как «хаотист» С. Бобров дал ряд очень блестящих работ[126].

В свою очередь, около Эллиса скопилось много талантливой молодежи; и тщетно последний звал Метнера: ближе узнать молодежь; Метнер предпочитал молодежи Рачинского, введенного им в редакционный совет, чтоб обуздывать, может быть, роскошные ритмы... Марины Цветаевой, тоже бывшей в кружке; живые силы, к нам шедшие, ждали, что «Мусагет» и реально оформит стрем-

ления их; все усилия наши с Эллисом обратить внимание редактора на людей, с которыми — будущее, наталкивались на нежелание нас конкретно понять в нашем увлеченьи людьми, к нам пришедшими.

И вот: уже через год — обиженный на Метнера Эллис перенес арену действий своих в студию скульптора Крахта, где буйствовали собрания (человек по пятидесяти); и эта вся молодежь выявилась в следующем этапе как оппозиция «Мусагету» (издательство «Центрифуга» и т. д.); обиженный за живые стремления *моей* молодежи, раздавленной «veto», я думал о том, как бежать из Москвы: «Мусагет» для меня агонировал с осени 1910 года; Метнер, не понимая причин охлаждения, в пику сильней педалировал говорунами из «Логоса»; и нельзя уже было понять: «Логос» ли — «Мусагет», иль последний — придаток при «Логосе»; члены совета были подобраны Метнером по принципу «veto»; стоило Степпуну раскрыть рот, — делался багровым Рачинский; стоило мне войти с предложением живого сборника, как начинали остервенело блистать золотые очки попавшего временно в Москву — Гессена, перелагателя и сочетателя никому не понятных в России терминов философа Ласка.

Совет сходился в одном: «veto», «veto» на все молодое и творческое; и сколькие будущие таланты поэтому пропорхнули под носом у Метнера; «Мусагет» — неудачное подражанье «Verlag'y», без средств на издание «кирпичей», но с претензией на них; и уже совершеннейшим трупом выглядел феномен скуки, журналик «Труды и дни»[127], оригинальную идею к которому подал Блок (журнал-дневник трех поэтов: меня, Блока, Иванова); Метнер изнасиловал идею журнала, прицепив ее к налагателям «veto»; журнал этот — единственный в своем роде пример, как при наличии интересных сотрудников можно превратить и их лишь в писак: по обязанности. Через восемь лет, уже в Советской России, *отчасти* осуществилась затея Блока, предложенная «Мусагету» в одиннадцатом году: в журнале «Записки мечтателей», каждый номер которого художествен[128].

О, о, — «Мусагет», великолепный подарок мне другом!

Начал — во здравие; кончил — «заупокоем».

Как хорошо, что вовремя из него я бежал; не беги я, — что стало б с моей писательской физиономией? Ведь все лучшее, мной написанное, появилось как следствие отказа работать: в этом бездарном месте!

Между московскими треволнениями этой осени, как метеор, яркий день; в этом дне не было для меня никакого психологизма: яркость встречи моей с Верой Федоровной Коммиссаржевской[129] — совсем не знакомство в обычном значении слова, а созерцание морального пафоса, перед которым остановился я в совершеннейшем изумлении; не без испуга себя я спросил: чем же я, не театрал, могу помочь, в самом деле, замечательнейшей из артисток, которая на меня опрокинула требование: взять в душу ее предприятие, взывавшее к отдаче всех сил.

Несколько дней ходил я взволнованный мне подкинутой миссией: вынашивать идеи Коммиссаржевской, которую до встречи в Москве лично почти не знал; после же встречи телеграммами напоминала она, чтобы я о ней думал; она совершала последнее свое турне по России; она покидала сцену;[130] в жесте ухода ее было нечто от предсмертного жеста Толстого. Телеграммы получались все реже по мере того, как В. Ф. удалялась на юг; они замерли: перерыв; вдруг — известие: Коммиссаржевская скончалась в Ташкенте от черной оспы; и встала реминисценция «мании» моей: видеть события в неслучайном свете. И вырвалось:

— «Ловко подстрелена!»

С Коммиссаржевской я мимолетом встретился в 1908 году: в Петербурге;[131] я ею восхищался в реалистических пьесах; в них она была гениальна; от игры ее в «Пелеасе и Мелизанде»[132] я приходил в ужас; и не пытался брать ее в разрезе искусства; я воспринимал ее боль: от сжима размаха стилизованными трафаретами; ее хрупкое, легкое тело — гнулось под тяжестью и железа, и меди; от тембра голоса, удивительного, оставался лишь мелодический стон,— не Мелизанды, а Веры Федоровны: точно она себя запрягла тащить на себе невывозимую драму символов Метерлинка.

Страдание ее обнажало мне всю невозможность играть ей в символической драме; под впечатлением этой боли ее вырвалось два фельетона, напечатанные в «Утре России»: о ней и о судьбах ее театра;[133] первая статья была тугая, философичная; удивляюсь, что «Утро России» ее напечатало; но передали: над этой тугою статьею она задумалась, ее изучив досконально; биограф Мейерхольда, Волков, отмечает мою статью как один из моментов в звеньях причин, заставивших ее кончить со стилем тогдашних ее

постановок[134]. После резко перекачнулась к «Весам» она, даже устроив в театре киоск для продажи изданий книгоиздательства «Скорпион».

В скором времени я неожиданно получил приглашение от нее: выступить с лекцией о Пшибышевском перед показом его «Вечной сказки»[135]. Пшибышевского я особенно не любил; и, признаться, хотел отказаться; считал неприличным выступить с разносом писателя перед показом пьесы его; но вдруг согласился: в агитационных целях (я был фанатиком); текст выступления был написан заранее; он вышел грубым; я думал: прочтя со сцены его, мне придется бежать, чтобы лично не встретиться с директрисой театра.

Когда я со сцены метал свои молнии против писателя, взгляд мой невольно тянулся все к маленькой черной женщине, в шляпе с огромнейшими полями, сидевшей передо мной в бенуаре; фигурою — девочка (бледная, тихая); шляпа же — дамская; ни возраста, ни черт лица разглядеть я не мог; вся в глазах: два сине-серо-зеленых, огромнейших глаза из темных орбит электризовали меня; она сидела одна, в темной ложе, склонясь головою к руке, которую положила на спинку кресла; и — ни одного движения! Темные линии ее легкого тела растаяли в полусумраке; и в голову не пришло мне, что ложа — директорская.

Лектор всегда говорит, обращаяся к наиболее внимательным слушателям; она же более всех мне внимала; от ее строгих, печальных, прекрасных глазищ я отвлечься не мог.

После лекции заторопился исчезнуть, не смея глядеть на артистов и отказавшись остаться на представление: еще зацепишься! Уже схватился за шапку,— как вдруг — в комнату порывисто вбежал молодой человек; и порывистым голосом бросил:

— «Идемте!»

— «Куда?»

— «К Вере Федоровне!»

И он рывом понесся передо мною; я — рывом: за ним; мы метались по неосвещенным пространствам; и я влетел в темно-синюю комнату: без предметов; в кресле сидела фигурка в черном; вуалетка спускалась с полей ее шляпы; при моем приближении она поднялась, оказавшись ниже меня; с той же удивленною, строгой робостью, не спуская остановившихся глаз, протянула ручку; и свирельным своим голосом тихо сказала:

— «Я рада с вами...» — а окончание фразы запамятовалось; она стояла передо мною, и строго и робко, выжидательно глядя, без слов; ученицы гимназии так стоят пред инспектором в ожиданьи вопроса; личико — бледное, маленькое; губки — стянуты, как у детей; возраст — неопределенный (вуалетка скрывала черты); но глаза смущали вопросом; и от этого я потерялся, стоя с открытым ртом, и хлопал глазами, все еще ожидая вопроса, точно возникшего между нами; если то был вопрос,— не иллюзия восприятия,— то взывал он к огромнейшему объясненью: тут же, с места в карьер, минуя условности; или же — к мгновенному бегству; и я спасся бегством, пролепетав что-то дикое,— вроде:

— «Не смею тревожить!»

Нечто подобное величайшему изумлению мелькнуло в глазах ее и в отклоне стана.

Первая встреча с Верой Федоровной — минутное глазение друг на друга; и — без единого слова; испугало меня «ученическое» выраженье лица у великой артистки.

Разговор таки — был: через год, упав на голову, как лавина,— тем более, что случился он на извозчике, ночью; но такой разговор только так и мог произойти: не в комнатах.

Осенью девятьсот девятого года Коммиссаржевская дала несколько прощальных спектаклей в Москве; один из спектаклей был превращен в чествование;[136] мне поручено было сказать ей приветствие; занятый до отказа писанием, я относился рассеянно ко всем общественным функциям; и в этот вечер я был столь рассеян, что не обратил внимания на вопиющее нарушение мною тогдашнего правила: при сюртуке неприличны цветные ботинки; а мои ноги, освещенные рампой, кричали в партер двумя рыжими пятнами: верх неприличия! И я смутился: приветствие вышло весьма угловатым; выговаривая его, я имел все тот же неприятный объект: кричащие, рыжие пятна ботинок; миниатюрная женщина, с бледным и несколько помятым лицом (я его разглядел в полном свете), с большими глазами, глядящими из синевы, меня слушала с удручавшим вниманием; вдруг резко она шагнула ко мне, по-мужски сжавши руку, тряхнула ее.

Тут же сказали: Коммиссаржевская желает со мной говорить; мне был дан ее адрес; и — просьба прийти: завтра (дан был и час); через день уезжала она; я не помню уже, где остановилась она; не помню даже и комнаты, куда я был введен; вылетела ко мне с неожиданной острою быстротою, точно она торопилась; от этого бурного жеста

все предметы смешались в глазах моих; ход ее мыслей, тембр голоса, невыразимого, свирельного, грудного, сопровождаемый быстрыми жестами рук (мне в лицо), напоминал разбег многих волн на утесы: со свистом и с пеной; она куда-то спешила; в распоряжении ее оказалось лишь двадцать минут; вот, взяв за руку, глядя, как в душу, большими, большими глазами, недоуменно-строгими, она просила меня непременно сегодня заехать в театр, чтобы по окончании спектакля уже договориться со мной.

Договориться? Легко сказать. В этом вихре прекрасных душевных движений, вполне неожиданных по отношенью ко мне, вылепетала она душу, отдавая мне в сердце, как в колыбель, «младенца»,— идею свою (так она выражалась); она устала от сцены; она разбилась о сцену; она прошла сквозь театр: старый, новый; оба разбили ее, оставив тяжелое недоуменье; театр в условиях современной культуры — конец человеку; нужен не театр; нужна новая жизнь; и новое действо возникнет из жизни: от новых людей; а этих людей — еще нет; вот почему устремления театральных новаторов обрываются недоуменным вопросом; актера — нет: его надо создать; его не создашь, коли не создашь в нем нового человека; нового человека выращивать надо с младенчества; мы же все искалечены: артисты и люди; она более, чем другие, тем именно, что театральная культура ненужно обременила ее; это она из тоски своей поняла; и вот: опыт свой и все силы стремлений решила она посвятить воспитанию нового человека-актера; перед нею носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу и даже в театральный университет; преподаватели-педагоги этого невиданного предприятия должны быть избранными людьми, тоскующими по человеку, она хочет сплотить их; они должны ей помочь.

И дальше уже совсем сногсшибательно: я-де, более всех понявший болезнь театра, более всех гневающийся на развал жизни, более всех тоскующий о новом человеке (она читала мои статьи и полемику), должен, по ее мнению, бросить все и ближе всех стать около нее[137].

— «Поймите,— взяла меня за руку и снизу вверх заглядывала в глаза,— я вам подношу моего младенца,— и она поднесла две руки мне к груди,— неужели вы не улыбнетесь ему, отвернетесь и пройдете мимо!»

Все это с быстрыми, легкими телодвиженьями, то приближаясь вплотную, а то отбегая,— летуче носиться по комнате взад и вперед, заложив руки за спину, глазами —

в пол; а я — только слушал, не подавая реплик; ведь половина ею сказанного было и во мне роившимся миром: когда-то; откликнуться, взять, по ее словам, в руки «младенца» — значило: ему отдать свою жизнь.

Тут кто-то ее порывисто оборвал, влетевши и что-то напомнив; схватясь рукою за лоб, вдруг нахмурилась и отмахнулась; и после, стремительно подбежавши ко мне, остановилась, как робкая девочка; и — строго, настойчиво:

— «Ну, так вы будете вечером. Вы мне ответите так же, как я вас спросила!»

И — выскользнула.

С очень странными переживаниями сидел я в театре; и даже не помню, в чем именно выступала она; до ее ли игры, когда вот сейчас предстояло с ней так объясниться, как желала она; только что в руки отдали мне «Мусагет»; только что дал я согласье д'Альгейму быть в «деле» его: а чем кончилось это согласие? В Брюсселе ждала меня Ася; а тут наперерез всему, бросив все, я был должен, по убежденью артистки, пуститься уже в настоящее кругосветное путешествие; где «паспорт» на него? И — где средства?

Вот кончен спектакль; я — за кулисами; там меня ждут: переодевается, сейчас выйдет; где-то еще стоят крики: «Ком-мис-сар-жев-скааа-я»; вот и она — в пышном манто, бросает мне в руку огромную муфту:

— «Несите, идемте!»

Куда? К ней? Иду. Положение — глупое: у выхода — рев молодежи: я, с муфтой в руке,— лишь претык; выходим; карету она отпускает; и я усаживаю ее на извозчика; мы едем к ней; предварительно ей хочется покататься и освежиться на воздухе; катимся где-то меж переулков; решает она ехать за город, чтобы не прервать разговора, уже зацепившегося за огромную тему; мы — едем в ночь: деревья Петровского парка; куда еще? Не выпить ли чаю? Где? Какие тут рестораны — я, право, не знаю; не знает она; и я начинаю просить ее: не надо бы ресторана; можно ли там под музыку продолжать разговор? Да и обстановка; она — соглашается:

— «Извозчик, назад!»

И он медленно трусит по направлению к городу; разговор взвивается вверх; и то он расширяется, как спираль, в широкоохватные темы; то суживается до субъективнейших, психологических завитков, граничащих с песней без слов.

Я подвожу ее к дому; не как артистка и не как «дама», как добрый товарищ, как Эллис, имевший привычку бежать со мной до дома, после чего я, бывало, его провожаю до дома,— она с детски робкой, просительною улыбкою:

— «Ну, я вас теперь до дома довезу?»

Мы подъезжаем к моему подъезду; я в свою очередь:

— «Теперь уже я подвожу вас. Можно?»

Два раза были мы в Никольском переулке; два раза я ее провожал до дому; извозчик не ехал, а плелся: между переулками; если бы он где-нибудь остановился у тумбы, мы б не заметили.

Что сказать о таком разговоре? Только то, что он выступил изо всех берегов; воспроизвести — нет возможности: разговор, построенный на импрессиях, оспариваньи друг друга; сказалась в нем вся тоска этой прекрасной души, блеск утопий, невоплотимых в действительность; зачем она выбрала меня конфидентом своих стремлений? Лет восемь назад и я мечтал о создании «человека»; кончил же... злобою дня; то, с чего начал я, к этому теперь приводил ее огромнейший театроведческий опыт: опыт утраты человека театром; мой же жизненный опыт как раз начался с разбития детских утопий о человеке-младенце в условиях тогдашней действительности; не мог же я ее, разбитую в своем опыте, добить моим опытом; и я обещал ей всемерно думать о планах ее; и посильно на них откликнуться; она требовала — непосильного: требовала отдачи жизни «младенцу»; а когда мы уже путешествовали меж подъездами, она лепетала намеками, не имеющими логических линий, какими-то стихами в прозе; вроде «Эльзи» Бальмонта, где краски и струи господствовали над логикою; вспыхнули во мне строчки: «Чайка, серая чайка с печальными криками носится над равниной, покрытой тоской»[138].

Образ маленькой фигурки с высунутой ручкой из пышного манто, с недоуменной головкой, протянутой мне под лицо, остался образом чайки, с «печальными криками» пролетающей куда-то на юг из огромной, кондовой, царской России; запомнился ее полуобиженный вскрик:

— «Почему вы такой невнимательный, грустный, холодный и — синий, синий!»

Сказать великой артистке, себя отдававшей «младенцу», что он невозможен еще, что уход ее из театра — лишь повлечет к удвоенью терзаний ее, было б жестоко; не поняла она, что я делался «синим, синим»— от боли, от страха за нее и от невозможности ей помочь.

Вот второй раз подвезла она меня к дому Новикова, в Никольском; бледное личико девочки под вуалькой высунулось; и протянулись две ручки:

— «Я уезжаю в турне,— в последнее... Я вам оставляю моего «младенца»... Думайте о нем... лелейте его... А я о себе напомню».

Накрапывал дождик; и повернулся извозчик; зад пролетки загрохотал под дождем по Никольскому.

Через два дня — первая телеграмма: с напоминанием; дня через четыре — вторая; потом — длительный перерыв; и — оглушившее всю Россию известие: Вера Федоровна Коммиссаржевская скончалася в Ташкенте от черной оспы;[139] может быть, бухарский халат, от которого заразилась она, избавил ее от горчайших душевных страданий: видеть великую идею преглупо растоптанной.

Она была преждевременна.

РИТМИЧЕСКИЙ КРУЖОК

В декабре девятьсот девятого я опять попадаю в Бобровку: дописывать статьи по ритму; и пишу последнюю главу своего романа; опять — огромные, пустынные комнаты старого дома, портреты предков; за окнами — синие сумерки, сосны и морозный, багряный закат; мой глухонемой старик, в мягких валенках, вырастает из сумрака за плечами; трогает за руку и показывает на соседнюю комнату, где сумрак подпрыгивает на красных отблесках и откуда красноречиво потрескивают сухие поленья; иду туда к огромному очагу — не камину; опускаюсь в мягкое кресло; подбородок в ладони; и думаю, думаю над сияющим жаром; в синем мраке пустых комнат — шорохи, шмыги и даже будто шаги; это — мыши.

К Рождеству — я в Москве: в сутолоке налаживаемой редакции; а к началу января вызревает необходимость мне быть в Петербурге, чтобы координировать «Мусагет» с планами Вячеслава Иванова, привлекаемого к редактированию историческим сектором «Мусагета»; новое сближенье с Ивановым — дело рук Минцловой; оно обусловлено и отходом Иванова от Городецкого и Чулкова, и распадом недавнего триумвирата в «Весах»: я, Брюсов, Эллис; Иванов затаскивает меня в свою «башню»;* и дер-

* Квартира Иванова, находившаяся в башне дома, возвышавшегося над Таврическим дворцом.

жит в ней без отпуска около шести недель;[140] быт этой жизни мною описан в «Начале века»; не возвращаюсь к нему; к нам приезжает Метнер: дооформить сотрудничество Иванова в «Мусагете»; Иванов, в свою очередь, делает все усилия, чтобы сгладить шероховатости моих отношений с Блоком, мечтая о конъюнктуре: он, я и Блок, ввиду отдаления от символизма Брюсова, полного одиночества Блока, порвавшего с мистическим анархизмом, и в противовес усиливающимся тенденциям журнала «Аполлон», в котором сгруппировались акмеисты (С. Маковский, Гумилев, Кузмин, бар. Врангель и другие);[141] в свою очередь, раннею весной я везу в Москву В. Иванова для ближайшего знакомства его с сотрудниками; мы помещаем его в редакторской комнате, где он живет, принимает и проповедует с неделю; дни приезда его совпадают с открытием «Мусагета»;[142] вскоре по отъезде его читаю я публичную лекцию на тему «Лирика и эксперимент», ответ на которую — появление ко мне тройки молодых людей — Дурылина, Сидорова и Шенрока — с предложением организовать под моим руководством экспериментальную студию по изучению ритма; быстро налаживается ритмический кружок в составе пятнадцати — семнадцати человек, среди которых запомнились, кроме вышеупомянутой руководящей тройки: Нилендер, Ахрамович, Чеботаревские (брат и сестра), Станевич, П. Н. Зайцев, С. Бобров, заработавший скоро самостоятельно, Рем (Баранов) и другие.

Первые заседания кружка, зафункционировавшего в апреле, посвящены моему введению в работу; они определяют нашу задачу и посвящены методологии предстоящих работ по уточнению слуховой записи, мною предложенной в «Символизме»; в основу я беру ту самую критику «Символизма», которую позднее, в продолжение более чем семнадцати лет, приходится мне выслушивать; далее — ряд майских заседаний, посвященных предварительной номенклатуре паузных форм, энклитик и проклитик языка, учету спондеоподобных и хореоподобных стоп в ямбе, а также номенклатуре ритмических фигур, долженствующих быть взятыми на учет; все это — поправки к «Символизму», которые необходимо было нам сделать в первую голову, чтобы использовать летние вакации; мы берем для эксперимента весь пятистопный ямб крупнейших русских поэтов — не в показательной порции, как у меня в «Символизме» (там взят четырехстопный), а in corpore;[143] семнадцать человек, выровняв свои классифи-

кационные таблицы и сдав «экзамен» на точность слуха, разбирают поэтов; мне достается пятистопный ямб Тютчева, Баратынского и лирики Пушкина (а ямб драматических произведений взял кто-то другой)[144].

С осени начинаются частые, длительные, плодотворнейшие заседания, посвященные сверке отработанного материала, оглашению статистики и недоумений, с которыми встретился каждый из работавших, т. е. более десяти докладных рефератиков, из которых возникла проблема выравнивания классификационных данных у всех, сводящаяся к еще большему уточнению; более всего времени заняла проблема выработки номенклатуры в связи с паузными формами (межсловесными промежутками); здесь наши работы совпали с предложением поэта Пяста, заработавшего отдельно над теми же проблемами в Петербурге;[145] вопрос шел о том, что четыре типа промежутков, в свою очередь, подразделяются на чисто-звучащие и нечисто-звучащие (так сказать, на изобразимые целыми числами и дробными); в моем «Символизме» все нечисто-звучащие промежутки были отнесены к паузной форме «е» (согласно номенклатуре «Символизма»);[146] эту формулу мы уничтожили уточнением первых четырех («а», «b», «с», «d»); в результате — шестнадцать паузных модификаций, исчерпывающих все паузные нюансы строки; взятие этих нюансов на учет в позднейшей классификации Шенгели[147] и размножает сравнительно небольшое количество типичных строк ямба, что, по-моему, является скорей неудобством, весьма усложняющим слуховую запись; до десяти заседаний было посвящено принципу записи паузы (по Жирмунскому,— «межсловесного промежутка»[148]); уже осенью девятьсот десятого года принцип записи, скоро сжатый в параграфы литографированного учебничка ритмики, оформился в ту степень точности, которую стремился провести профессор Жирмунский в своей работе, вышедшей едва ли не через шестнадцать лет. Ценнейший учебничек, брошенный в пыль редакцией «Мусагета» после моего отъезда из Москвы и не опубликованный своевременно[149],— укор Метнеру; ибо он лишил моих тогдашних сотрудников права на приоритет в ряде научных уточнений, а меня подвел под многолетние нарекания.

В этом же кружке студент Рем прочел доклад о принципе счисления строк и переведения цифровых данных в кривую ритма; принцип этот я разработал впоследствии; он и лег в основу моей «Диалектики ритма»[150].

Об итогах работы кружка по пятистопному ямбу позднее я доложил в Обществе ревнителей художественного слова в Петербурге, где уже в начале девятьсот девятого года я прочел два или три доклада[151], на которых присутствовали поэты и стиховеды (Вячеслав Иванов, Пяст, Недоброво, Зноско-Боровский, В. Чудовской и т. д.); присутствовал и академик Венгеров, отнесшийся с большим вниманием к итогам моей работы[152].

Жизнь кружка кипела до моего отъезда за границу (она кипела и после); сентябрь — ноябрь осмыслились мне жизнью кружка, который был зацепкою за Москву; все прочее было мертвым; пустыня мне виделась там, где года три назад я живо участвовал в прениях; пустыня — «Эстетика»; пустыня — философский кружок; пустыня — Религиозно-философское общество; когда я шел мимо «Метрополя», я уже не свертывал мимо стены Китай-города, чтоб забежать в «Весы»; их — не было. Когда я проходил по Гнездниковскому переулку и глядел на дверь д'Альгеймов, я думал с большой горькотой: «И эти двери закрылись»; и даже: реже я завертывал к «редактору», которым стал мой все еще друг, Эмилий Метнер; но, но — друг ли уже? Тяжелая тень неподнимаемого молчания между нами вызывала всякие подозрения; «Мусагет» в условиях полного расхождения взглядов на него был мне лишь жерновом на шее; и я, поглядев на дверь Метнера, не раз проходил мимо, свертывал в боковой переулочек, и оказывался в квартире секретаря нашего, Кожебаткина, потчевавшего меня рюмочкой коньячка; и эта «рюмочка» не раз выглядела заупокойною тризною; о некоторых своих материальных нуждах я доводил до сведения «редактора»-друга через секретаря Кожебаткина.

Ритмический кружок — последняя пядь Москвы, которая еще держала меня; но путь жизни с Асей, соединившийся с неизбежным отъездом за границу, конечно же, перевешивал; Москва проваливалась под ногами.

БОГОЛЮБЫ

Еще в апреле по соглашению с Асей мы должны были встретиться; она приезжала из Брюсселя в Боголюбы, село Волынской губернии, около Луцка; отчим ее здесь был лесничим; ввиду нашей ссоры с д'Альгеймом, приезд ей в Москву был заповедан; я получил от матери ее удиви-

тельно милое письмо, зовущее меня к ним приехать: гостить; временем приезда я выбрал июль, желая воспользоваться частью лета для окончания своей работы над ритмом и для подготовки к изданию сборника статей «Луг зеленый» (для «Альционы»);[153] в это время уже вышли две мои книги («Символизм» и «Серебряный голубь»);[154] о *первом пресса не произнесла* ни слова; книга расходилась; впоследствии она вошла прочно в сознание писателей, поэтов и стиховедов; но о ней не было написано ни одной строчки;[155] не та участь ждала «Серебряный голубь», который в отдельном издании читался нарасхват; и вызвал ряд фельетонов (Боцяновского, Мережковского и т. д.)[156], весьма мне сочувственных; книга имела успех; от Гершензона, Булгакова, Бердяева — лестные комплименты[157].

Июнь проводил я в Демьянове, имении В. И. Танеева, где протекло мое детство, где не был я с 1891 года; попав через двадцать лет в те аллеи, где игрывал еще ребенком, где первое впечатление от природы входило в меня, я переживал встречу с собственным детством.

Мы с матерью жили в части той дачи, которую я покинул перед поступлением в гимназию, около пруда с розами, где сиживали мы когда-то со «сказочной» гувернанткой, Раисой Ивановной, а потом с моим другом, m-lle Беллой Раден*.

Работал я бешено, отдавая и дни и ночи ритмическим вычисленьям и пишучи статью «Кризис сознания и Генрик Ибсен»;[158] танеевский парк был местом встречи демьяновских обитателей, которые, сроясь кучкой, часами шагали здесь, споря на отвлеченные темы; так же бродил поседевший, заостренный старик Танеев, к старости ставший лицом — совершенный Грозный, в удивительном балахоне, с жезлоподобным колом в руке; и учил назидательно дачников: дикостям; при нем — или я, или эмпириокритицист Давыдов, несносный рассудочник, или художник Аполлинарий Васнецов с неприятным видом скопца, с подъеданцами по моему адресу, или Аркадий Климентович Тимирязев, физик, вылитый отец; но — без блеска; лицо его — барометр брюзгливости; а в словах — невылазная скука. Где-нибудь в стороне, средь зелени, освещенный солнышком почивал вывезенный на кресле учитель мой, Климент Аркадьевич Тимирязев: его хватил паралич; иногда я подсаживался к нему, чтоб выслушать

* См. «На рубеже двух столетий».

несколько журчащих молодостью и остроумием фраз; он был очень приветлив.

Вот все, чем мелькнуло Демьяново, из которого я в первых числах июля с волненьем понесся в Луцк; там — новая, странная, веселая жизнь меня охватила[159].

Представьте себе тесный, одноэтажный, белый домик на опушке столетнего дубового леса, с деревами, ветви которых напоминают оленей, леших, козлов; снизу заросли густых, непроходимых кустарников, где водились дикие козлы, барсуки; окрестность кишела вепрями; из окон домика в противоположную сторону — скаты широких полей, с линией неисхоженных, дремучих лесов, находившихся в ведении лесничего Кампиони; сам лесничий выходил из стен своих комнатушек, увешанных шкурами им убитых зверей, винтовками, пороховницами и рогами оленей, на крыльцо домика,— огромный, всклокоченный, бородатый, на босу ногу, в коротких штанах, в белой рубашке, с открытою, волосатою грудью; и,— приложив руки к усам, гаркал на километры, отдавая объездчикам приказания; издали ему отзывались свистками и гарками, а к ногам сбегалась стая борзых, легавых и гончих; подкатывала таратайка, набитая сеном, с мешками и ружьями; и он, сев с помощником и двумя лесниками в нее, закатывался верст за тридцать в свои лесные глуши, откуда дня через два прикатывал — веселый, грохочущий, с подстреленным вепрем; после чего начинались пиры, с водочкой, веприной и пленительными рассказами о жизни козлов, барсуков, лесокрадов, с которыми он сражался; этот грубый дикарь был нежен, как девушка, доверчив, как ребенок, гостеприимен до... я не знаю чего; но он был ругатель, тоже — до не знаю чего; этот «марксист», в редкие вечера склоненный над «Капиталом», не думаю, чтобы много разумел в Марксе; но «Капитал» был темой его шутливых изводов меня и трех падчериц:

— «Ишь, зеленые, хилые декаденты паршивые,— и с добрым подмигом: — А все-таки с декадентом мы выпьем водочки. Так ведь, Борис Николаевич?»

Домик ломился народом; когда я приехал, в нем ухитрялись жить: жена его, три падчерицы, помощник, две прислуги, старая нянюшка, два пупса (родной и приемыш), их нянька; каждый день приночевывал кто-нибудь из заезжих; словом: Ася была помещена на чердаке; отгородив часть его шкурами, из каких-то подушек, матрацев, яркой цветной чуши соорудили диванчики, пуфики, стены; Ася сидела там в фантастической шкурке с прорезями для

рук, покуривая, развивая тихие речи; она горбилась; кудри падали на ошкуренное плечо; чтоб до нее добраться, надо было карабкаться по крутой, приставной лестнице; потом — пробираться в мраке, с риском разбить себе лоб: о бревно; но вот — завеса из шкур; раздвигаешь,— оказываешься в совершеннейшей сказке: около слухового окошечка; к нему тянутся ветви угрюмого, могучего леса; из зеленых каскадов торчат стволистые рожи; нигде не видал я таких могучих коряг!

Здесь-то иль на суку неохватного дуба происходили ответственные разговоры, решившие участь последующего шестилетия; кроме симпатии, выросшей за год разлуки,— симпатии, в которой ничего не было ни от страсти, ни от пылкой влюбленности, обнаружилось сходство нашего положения; мне было около тридцати лет; Асе — около двадцати; между тем жизнь разбила ее не менее, чем меня; незаживающая рана ее — разрыв матери с горячо любимым отцом (Тургеневым), не перенесшим этого и умершим от разрыва сердца; девочки, Наташа и Ася, несмотря на нежную заботливость отчима, не пожелали жить с матерью; и оказалися: при д'Альгеймах; Наташа — зимой приживала при них; Асю дядя устроил к старому бельгийскому граверу; у нее не было дома; она ненавидела Луцк; будущее ей казалося пропастью, разверстой у ног; несколько месяцев, и — куда деваться? Чем жить? На что надеяться? Мое положение было сходственным; в России уж не было пяди, на которую я мог бы ступить твердой ногой; комната в квартире матери, с вывисающим из зеркала отраженьем лица, разбитого жизнью,— невеселое зрелище: жизнь нашей квартиры — была нелегка.

И выяснилось: мы с Асей как брат и сестра, соединенные участью жить бездомно и сиро; у обоих за плечами — трагедия; а впереди — неизвестность; шепот наш о том, что надо предпринять решительный шаг, чтобы выкинуться из нашего обстания, приводил к уговору: соединить наши руки и опрометью бежать из опостылевших мест[160].

И по мере того, как вынашивались планы побега, охватывала: бодрость, радость и чувство удали; мы не решали даже вопроса о том, кем будем мы: товарищами, мужем и женой? Это покажет будущее: жизнь в «там», по ту сторону вырыва из всех обстановок! Только Ася, насупив брови, мне заявила: она дала клятву не соглашаться на церковный брак (условности она ненавидела); она смеялась: какой скандалище разразится в «порядочном» обществе, когда мы с ней «бежим» за границу; мать, от-

чим были посвящены в наши планы; они были без предрассудков; но что скажут — Рачинские, философы, Морозова и прочие почтенные личности?

Решение было вынесено на огромном суку, на котором я комфортабельно растянулся (животом и локтями в сук); а Ася сидела выше, как в удобном кресле, полузамытая хлеставшей ей в лицо зеленью; после чего мы спустились к ужину, за которым грохотал лесничий, только что вернувшийся из дебрей своих. Помнится, как в три часа ночи, при полной луне, мне подали зажженный фонарик, с которым я еженощно пересекал лесную тропу (километра полтора): ввиду невозможности меня приткнуть в белом домике, мне была снята комната в чешской деревне, за лесом, в двух километрах от лесничества; бывало, идешь как подземным ходом; над тяжелыми купами светит луна; а такая гуща, что — мрак кромешный; электрический луч освещает перед тобой чащу; тропинка извилиста; в луч входят все новые стволистые чудища, угрожая коряжистыми руками и узлистыми ногами-корнями; пересек чащу — луной осребренное поле; огни цветущей деревни — вдали; пересек поле, открыл ключом дверь; и попал не в деревенскую комнату, а точно в игрушечку; чисто: земляной пол, майоликовая посуда; чехи-крестьяне — красиво жили; кровать, настоянная на запахе трав; упадешь в нее; и в нее; и как в бездну (нигде не спастись так); утром бежишь через лес: к кофе; и черные чудища ночи, ставши оливковой гущей, весело тебе машут ясными зайчиками и искрами солнца.

В ночь решения молниеносно в голове пронесся ряд инициатив, которые все — осуществились-таки; к сентябрю Ася с матерью едет в Москву; помещение подготовляю им я; я обращаюсь к «Мусагету», отдавая ему право печатать все мои давно разошедшиеся книги, четыре «Симфонии», три сборника стихов[161], том «Путевых впечатлений», который напишу за границей; отдаю все в будущем написанное; но — умоляю выдать тотчас три тысячи рублей на революцию жизни; что вытечет из всего, я не думал; но вмысливалось инстинктивно: нет,— дудки! Сизифово колесо, «Мусагет», я не буду катить; согласен закабалиться лишь в смысле книжной продукции; но редактировать вместе с Метнером?..

Тропинка вела, извиваясь меж чудовищных гущ и коряг; вдруг — прорыв: ослепительный фосфор луны; и — ширь дали: простор неизвестности!

Так в глухом волынском лесу моя воля принимает решение: оборвать нити, связавшие с прошлым; и этот второй мой разрыв с модернизмом, подобный разрыву с университетской средой,— опять-таки крутой поворот: линии жизни.

ОТЪЕЗД

В Москве ожидал меня ворох трудностей: отысканье квартиры Тургеневым, переговоры с Метнером о возможности получить мне заем; Метнер дал мне с неохотой согласье на это; не денежные затрудненья мрачили его, а уезд с А. Тургеневой, им воспринятый как диверсия против всех его планов; не нравилось ему и то, что я еду в Италию, а не в Германию; интересы к Италии — это-де культурный упадок; как только в Москве разнеслась весть о нашем уезде, она была принята как, конечно же, брак; и тут выяснилось, что охотников устраивать мою жизнь было много; мой отъезд воспринимался вообще как весьма непохвальный поступок; чего ему нужно? Есть у него «Мусагет», свое дело; сиди и работай в нем!

Разумеется, все «молвы» и взгляды, которыми мерили Асю, уже появившуюся в Москве, не способствовали улучшению моих отношений с Москвой; я, давяся негодованием, не без хитрости до времени его затаил, пунктуальнейше исполняя «обязанности»; ибо я себя окончательно ощутил птицей, захлопнутой в клетку; я был связан с Москвой в материальном разрезе; рассерди я тех, от кого зависело меня выпустить,— все будущее мое ломалось; у меня не было ни гроша; мать имела скромный достаток, обеспечивающий ее жизнь и позволявший ей изредка, в виде исключения, оказывать мне скромную помощь; у Аси не было ни гроша; у матери ее — тоже: при огромном семействе и скромном жалованьи лесничего В. К. Кампиони единственно чем мог поддержать нас — это открыть дверь своей гостеприимной хаты.

Много есть форм оказывать человеку поддержку; и «Мусагет» мне ее оказал, предоставив в мое распоряжение три тысячи; но этим он меня покупал целиком как писателя: на ряд лет; но и три тысячи,— выдай он мне единовременно их, я мог бы их утилизировать целесообразно; нет, меня ущемили и тут обещанием высылать ежемесячно рублей двести — триста, что впоследствии было вечным источником траты денег: из-за ожидания их; каково ждать

перевода в Тунисе, в Каире и бросить на ожиданье не менее семисот рублей, лишиться поездки к нильским порогам, к Галилейскому озеру? Кожебаткин, от которого зависела высылка, опаздывал с ней иногда на месяц; а мы — томились, не имея возможности никуда двинуться.

Форма, в которой «Мусагет» оказал мне помощь, была жестока; оттого я воспринял ее враждебно.

В сплошном томлении провели мы с Асей три месяца — сентябрь, октябрь, почти весь ноябрь; «Мусагет» не отпускал, мотивируя необходимостью заседать, праздно преть и т. д.; единственно, что было отрадой мне,— это использовать праздное для меня сидение на подготовку моих ритмистов к умению работать и двигать науку о ритме самостоятельно.

Кстати, окончилось угрюмое, полное вражды молчание между мною и Блоком; еще в Боголюбах, прочтя «Куликово поле», я был потрясен силой этих стихов;[162] и с души сорвалось письмо к Блоку, на которое он ответил душистым посланием;[163] Вячеслав Иванов за это время много поработал, чтобы нас примирить; «Мусагет» сделал предложение Блоку издать его «Ночные часы»;[164] и с заседания пленума послал телеграмму: «Мусагет», «Альциона»*, «Логос» приветствуют, любят, ждут Блока»; это было в конце октября; Блок с женой еще сидели в Шахматове; Блок пишет матери: «Мама... я уезжаю в Москву, а Люба — в Петербург завтра... Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском»;[165] и еще: «Боря женится... Боря уезжает отдохнуть за границу»;[166] мы встретились в переполненном зале дома Морозовой, куда он попал прямо с поезда;[167] я был потрясен известием об уходе Толстого;[168] перед самым началом лекции, увидав Блока, я пробился к нему и крепко поцеловал; и тотчас бросился читать; на лекции было много почтенных деятелей — Струве, Котляревский, Брюсов, Эрн, Гершензон, Трубецкой, Кизеветтер, Бердяев, Булгаков, Степпун и т. д.; а следующие дни пребывания Блока в Москве были для меня предотъездными хлопотами, между которыми спешно, почти случайно, но горячо мы встречались с поэтом, обсуждая план собрания стихотворений его в «Мусагете»; он сам предложил нам его;[169] и я всячески доказывал Метнеру культурную важность такого издания; был он и в кружке ритмистов моих; сидел

* Издательство Кожебаткина, приютившееся в «Мусагете».

в уголке и прислушивался к специальнейшим разговорам о ритме; сам он никогда не пускался в анализ стиха, полагая, что для поэта это — опасно; позднее он постоянно указывал: «Вот был Андрей Белый поэтом, пустился в изучение ритма; и перестал сам писать».

Приезд Блока — случайное пятно в моей жизни; но он загрунтовывал одиннадцатилетие отношений, в которых не было уже ни одной тени.

Перед самым отъездом в Москве разнеслась весть, что мы с Асей уезжаем без церковного брака; маме это доставило лишь минутное огорчение; скоро она поняла нас в этом жесте; и примирилась; но по отъезде знакомые круги разделились на два враждебные лагеря, оспаривавшие друг друга; одни утверждали: беспринципный декадент похитил юную девушку; другие доказывали с пеной у рта: дрянная девчонка погубила «нашего» Бориса Николаевича.

Вот день отъезда;[170] мы поехали на вокзал из Штатного переулка, где жили Тургеневы, с нашими матерями, ближайшими друзьями и родственниками Тургеневых; но на перрон неожиданно явились многие «мусагетцы» и даже «почтенные» личности из независимых: маленький, клокочущий, дружески возбужденный М. О. Гершензон, в барашковой шапочке, и Н. А. Бердяев с пуком красных роз, поднесенных Асе, проводили нас, как новобрачных; в последнюю минуту влетевший в вагон Кожебаткин, в цилиндре, сунул мне громаднейший список работ, которые я должен был выполнить за границей. Поезд пошел. А мы со смехом читали, какими делами я должен был заниматься в Италии (планировать, редактировать тексты, писать предисловия и т. д.); дойдя до пункта пятидесятого, я с хохотом бросил список; ведь выходило: вместо Италии, музеев я должен был с первого же дня согнуться над пыльными листами рукописей, составлявших не менее трети всего багажа; список этот утрачен был мной еще до Венеции; и вместе с ним утрачен был в душе навсегда «Мусагет».

А впереди ожидали: гондолы, Венеция, жаркий и грозный Неаполь, Сицилия, великолепный Тунисский залив, Средиземное море, пирамиды Египта и Сфинкс, поглядевший в глаза тайной жизни и предложивший ее разрешить.

Свобода странствий, или — съеденное молью кресло редакторского кабинета (за время жизни моей в Африке моль съела эти кресла).

ВЫВОДЫ

Эта часть моих воспоминаний закончена; здесь ставлю точку; надеюсь, читателю ясно заглавие этой части; шесть лет, с середины девятьсот пятого года до конца девятьсот десятого,— есть прохожденье сквозь омут человека, засосанного им; прохождение через годы реакции, через горчайшие испытания личной жизни, через разуверенье в людях, через картины ужаса и бреда, в которых отразилась мне роль крепнущей буржуазии, влекущей судьбы народа к бессмыслию мировой бойни, через картины растления неустойчивых слоев интеллигенции в огарочничестве, в душной наркотике эротизма; и поскольку до девятьсот пятого года я жил в усилиях себя расширить до возможного участия в разных секторах русской культуры, постольку описанное пятилетие есть описание выбарахтывания из разного рода западней, к которым меня приводила моя общественная работа; и мне стало ясно: общественность и искусство в тогдашней общественности — только жалкое донкихотство; особенность момента: общественность в собственном смысле уходила в подполье; а то, что под флагом общественности предлагалось мне, носило сомнительный припах; при ближайшем анализе этот припах стал отвратителен мне.

Отсюда налет отъединенности, замкнутости в произведениях моих того времени; лирический субъект «Пепла» — люмпен-пролетарий, солипсист, убегающий от людей прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или в сумасшедший дом; лирический субъект «Урны»— убегающий от кадетской общественности («барин» из протеста), поселяется в старых, пустых усадьбах и, глядя из окон, мрачно изливается в хмурую, деревенскую зимнюю синь; герой романа «Серебряный голубь» силится преодолеть интеллигента в себе в бегстве к народу; но народ для него — нечто среднее, недифференцированное, и поэтому нарывается он на темные элементы, выдавливающие из себя мутный ужас эротической секты, которая губит его.

Темой вырыва, бегства из средней, мещанской пошлятины и тщетой этих вырывов окрашено мое творчество на этом отрезке пути; материал к этой мрачности — моя личная жизнь, спасающая себя в немоте и под конец даже носящая маску (приличной общественности: из конспирации).

Тема бегства тотчас исчезает из моего творчества, как скоро я ее провожу в жизнь; а наросшее вновь на мне за

эти года мое детское косноязычие сваливается в разговоре с тогдашней спутницей жизни; Ася стала мне живой восприемницей всех недоумений моих; разговор наш о правде жизни, связанный с решением так или иначе действовать, не мог состояться в условиях московской и даже российской жизни; надо было объекты мук моих удалить, чтобы с птичьего полета увидеть себя и других в годах, которым сознание говорило: нет!

Разговор этот длился несколько лет; когда он окреп для каждого из нас в решение, то смысл нашего пути стал исчерпываться; я был по-новому притянут к России; путь первой спутницы жизни моей определился на Западе; и мы разошлись с одинаковым признаньем значения и ценности нашей встречи, каждого из нас выручившей.

Прохождение сквозь омуты русской жизни подобно утопанию или заключению себя в «тюрьму», из которой и не предвиделось выхода; это чувство тюрьмы — девятьсот восьмой год; девятьсот девятый — проходит в смутных предчувствиях, переходящих в надежду: побег возможен; а девятьсот десятый — проходит в деятельных попытках конкретно осуществить его; «тюремщики» меня выпускают с условием обратного возвращения; я временно возвращаюсь, но уж иной, с окрепшими мускулами, с желанием давать тумака и с предприимчивостью, готовой на все.

На третий день бегства из Москвы рухнули для меня картины московского «рабства»; и больше не возвращались; это было в высоковерхих штирийских горах, с осне-женными венцами, мимо которых, виясь меж ущелий, проносил нас экспресс; на какой-то станцийке я, выскочив из вагона, закинул голову кверху, впиваясь глазами в гребнистый зигзаг; в душе вспыхнуло:

— «Горы, горы, я вас не знал; но я вас — узнаю!»

И вот стемнело; горы упали; вдруг в уши — прибой итальянской речи вместе с теплом и кислыми апельсинами; мы встали к окну; вот туман стал серебряным; вот разорвался он; и — все голубое; внизу, наверху; вверху — небо, освещенное месяцем; внизу — море; поезд несся по дамбе, имея справа и слева бесконечные водяные пространства, а впереди точно из неба на море выстроилась и опустилась симфония золотых, белых, пунцовых и синих огней, озаряющих легкие и туманные очерки палаццо и башен,—

— Венеция[171].

Москва, 23 марта 1933 года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — вторая часть третьего тома воспоминаний; она охватывает восьмилетие (1910—1918), связанное с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впечатления бытия; с осени 1911 года я уже, ощущая Россию как нечто мне чуждое, ликвидирую связи с Москвой и оказываюсь за границей без осознания, что́ дальше делать; я пребываю в Брюсселе, где Ася оканчивает свои гравюрные классы у старика Данса, которого дочери замужем: одна — за коллекционером Сантом, представителем крупной бельгийской буржуазии; другая — за Жюлем Дэстрэ, социалистическим депутатом, близким другом известного Ван-дер-Вельде; Дансом и Жюлем Дэстрэ определяется и круг наших тогдашних брюссельских знакомств.

В Москве нам нет места; мои отношения с матерью натянуты из-за Аси; точкой нашей оседлости пока является село Боголюбы, Волынской губернии; возвращаясь из-за границы, мы живем у лесничего Кампиони, отчима Аси; к нему я постепенно и перевез часть моей библиотеки из Москвы, точно для того, чтобы она погибла во время войны в домике, разрушенном ядрами. С редактором «Мусагета», Метнером, я — уже на ножах; с членами Рел.-фил. общества — тоже, не лучше обстоит дело и со «Свободной эстетикой», клубом бывших «Весов». С 12-го года и до конца 16-го я живу в Германии и Швейцарии; в последней обзавожусь обставленною квартиркою в маленьком домике около Базеля; из Швейцарии я уезжаю в Россию с мыслью вернуться обратно.

Так длится до октябрьского переворота, после которого лишь я по-новому неожиданно для себя врастаю в Москву.

Жизнь на Западе связана с интересом к истории; изучение быта народов Европы поднимает темы кризиса жиз-

ни, культуры, сознания, мысли — еще до Шпенглера[1]. Осознание кризисов растет постепенно; цивилизация видится мне упадком культуры; в противовес ей я выдвигаю культуру арабов, увиденную романтически; я волю разрушения буржуазной культуры, отворачиваясь от нее; я увлекаюсь остатками патриархального, арабского быта, не видя, что корни последнего гнилы; под влиянием Аси я как бы закрываю глаза свои арабскою фескою, сев спиною к Европе на пестренький кайруанский ковер, отделяющий меня от суровой действительности; позднейшая жизнь в Германии и Швейцарии меня исцеляет от слепоты; и я начинаю видеть неизбежность социального кризиса.

Отказ от войны и пассивного сопротивления ей в 1916 году невольно сдвигает меня к позиции Циммервальда[2].

Восьмилетие 1910—1918 стало мне поворотным, отрезав от современного Запада так, как Запад некогда отрезал от русского быта; восьмилетие это в значительной мере окрашено вкусами Аси: ее ненавистью к мещанству и нежеланием видеть действительность, которую она окрашивает в пестрые мороки субъективнейших парадоксов; поздней открывается мне: таким мороком некогда промаячили нам: и Венеция, и Сицилия, и Тунисия, и Египет, и Палестина; Ася переживала ярко средневековье и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко; ей был чужд ренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее.

Итальянские впечатления даны в первом томе «Путевых заметок»* (второй том не вышел[3]) красочными мазками; и только; под ними таилось разочарование в некогда воображенной Италии: итальянец увиделся мне непевучим, тяжелым; сам «сладкий» его язык прозвучал гортанным криком «По́ко манджа́ре!» (немного покушать); грузная, старообразная женщина, вешающая на веревках синие и лимонные тряпки, оскорбляла мои представления об итальянке; не весело выглядел и деревенский бедняк; итальянцы же, пялящие на себя в городах котелки, сидели со мной в ресторанах; они учили меня:

— «На что нам реликвии старины, на которые глазеют туристы: Италия — страна с будущим».

Так кричал присяжный поверенный, ехавший со мной из Флоренции в Рим; он цитировал Джиованни Папини: всю ночь напролет; он был футуристом.

---

* Изд. «Геликон», Берлин, 1922.

Вскоре в Палермо мне духом фашизма повеяло от тяжелой губастой, дымящей сигарой фигуры, напялившей на себя английскую шляпу и вообразившей себя сицилийскою интеллигенцией.

В «Путевых заметках» описано: холода из Сицилии нас гонят в Тунис;[4] теперь вижу, что гнал нас не холод; гнало восприятие современной Италии; что в Берлине и в Вене казалось естественным мне, то в Италии бросилось бредом; и переезд в Тунис был бегством из буржуазного настоящего в патриархальное прошлое.

Палермо — пятна пути; и кроме того: выработка ритма отношений с Асей; здесь начало выясняться: стиль отношений с ней есть взволнованность уговора схватиться за руки, чтобы бежать из Москвы, странствуя по истории и культурам; московские культуртрегеры на все наложили свои ходячие штампы; путешествие было предлогом: остаться одним на морском бережку иль с вершины горы, в одиночестве думать, вбирая ландшафты сознанья; в Москве — не до этого; и кроме того: материал пережитого давно подавлял, взывая к переоценке всех ценностей; Ася стала мне символом этой переоценки; неспроста сближение с ней начиналось рассказом ей о предшествующих годах; и рассказ стал отчетом; происходил же он в фантастической обстановке; и именно: на дереве: на него мы взлезали: сперва — в Звенигороде, под Москвой, потом — в Боголюбах, под Луцком.

Сицилия стала нам продолженьем рассказа; и рассказ этот длился беспеременно; смена же путевых впечатлений соответствовала все время этапам наших переживаний; когда исчерпались впечатления, то кончились дни наших странствий; мы осели в Швейцарии; и попытались здесь вытворить быт по образу и подобию нашему.

Запомнилось, как, высадившись на горбатый берег Палермо, мы сели в голубую маленькую каретку, вспоминая только что покинутый Неаполитанский залив с дымящим Везувием; седоусый, маленький старичок, в голубом кэпи, повез нас в «Hôtel des palmes» по солнечным уличкам; над домами и пятнами моря мелькала горбатая гора Святой Розалии красными своими боками; мы подъехали к домику, тонущему в собственных верандах и в зарослях сикомор; щурились жалюзи окон; второй старичок в голубом к нам вышел из двери подъезда; и, взяв наши вещи, повел нас к мосье, ожидавшему на одной из веранд; мосье был седоусый, в белом жилете и в дымчатой паре; пожав руку нам и узнав, что писатель я, назвался энтомологом,

мосье Рагуза, другом покойного Мопассана и собеседником... Рихарда Вагнера, здесь обитавшего некогда более полугода и здесь же окончившего «Парсифаля»;[5] никто не сказал бы, что этот достойный мосье из нас выжмет в неделю все деньги; он показал две прелестные комнатки, в открытые окна которых ломилась зеленая гуща, мерцая солнцем; бросив здесь багажи и нырнувши в зелени садика с клетками цокавших на нас мартышек, мы растерялися от цветочного аромата и выблесков декабрьской весны (был декабрь); гонг нас вызвал в столовую; дамы были прелестны, а кавалеры жонглировали всевозможными позами, меня повергая в конфуз, увеличившийся от толпы изощренных бездельников, юных красавцев: крахмальных лакеев; они позднеи рисовали орнаменты на сквозных коридорах отеля и придирались к ничтожному случаю: получить с нас на чай; сумма чаев росла быстро от присоединения: прачек, горничных, судомоек, чистильщиков брюк и чистильщиков сапог; нагрузка была не по средствам: бюджет, ассигнованный мне на месяц, был съеден в неделю этими трутнями; мосье же Рагуза простер свои попечения над моей кассою до того, что предложил мне держать ее у себя:

— «Вас могут ограбить!»

Все то — вперемешку с веселыми анекдотами о «mon amie Maupassant» и о «ce monsieur Wagnér», которого комнаты до сих пор излучали запахи всевозможных эссенций, здесь веявших со времени Вагнера (вероятно, Рагуза систематически поддушивал комнаты для туристов): на Мопассане и Вагнере он спекулировал.

У меня возникла тревожная переписка с издательством «Мусагет»; я требовал высылки дополнительной суммы.

И вот: перепуганные дороговизной Палермо, мы бросили наш отель с «энтомологом», переехавши в Монреаль[6], городок, обрывавшийся утесами к апельсинникам долины Оретто, где некогда бились слоны Ганнибала с когортами римлян[7].

Первая глава

АФРИКА

РАДЕС

Сицилия — место моего сближения с Асей; помнятся лишь моменты его; душная, декабрьская ночь; Ася протянута из окошка в теплые порывы ветра; за лапами расхлестанной зелени — вспыхи молнии; локон Аси взлетает; я — рядом: в окне; мы слушаем поступь будущего; или: у бледно-лазурного моря пересыпаем мы белый песочек, между ладонями, севши на плед и весело болтая о пустяках; но болтовня лишь форма молчания в себя вперенных, себя сознающих впервые:

Я понять тебя хочу:
Темный твой язык учу[1].

Или: мы в развалинах церковки Martorana[2] силимся понять орнамент колонн, утопая в цветах; вьется шмель.

Словом: в Сицилии мы в непрестанных думах о Пифагоре и Эмпедокле[3], о Сицилии римлян и карфагенян, Сицилии арабов, Рожера Второго, Фридриха Второго Гогенштауфена[4], Сицилии эпохи барокко, отпечатленного в виллах Багерии;[5] встает образ Джузеппе Бальзамо; иль Калиостро;[6] Ася эстетически воспринимает образы эти; я — познавательно; она мне открывает глаза на краски; я силюсь ей открыть смысл взаимоотношения Запада и Востока; впервые в Сицилии намечается новый круг чтения, которому я отдаюсь на протяжении ряда лет; если позднее я зарывался в тома, посвященные средним векам и культуре ренессанса, то импульс к чтению их — Палермо, Монреаль и жизнь в арабской деревне, около Туниса, где скоро мы оказались.

Пиры познания ждали нас в Монреальском соборе, чуде мозаики, служившем Рихарду Вагнеру мотивом Сальвата;[7] здесь в дни Рождества удивлялись роскошеству бо-

гослужений; и удивлялись здесь сочетанию фиолетовых и ярко-красных сутан с горожанами в рваных плащах, с носатыми лицами, спрятанными под тень капюшона; в те дни запахнулся ландшафт; из тумана заклинькали колокола колоколенок множества здесь торчавших капелл; линия снегов опускалась: с суровых высот до крыши над нами торчавшего дома.

Мы, не выдержав холодов, убежали в Тунисию; и застряли в селе Радес[8], оказавшися в плоскокрышном арабском домике о трех этажах, в комнатушках, пестреющих изразцами; но наш разговор о путях здесь продолжился; созерцающим удивлением были исполнены мы, отдаваясь чтению краеведческих книг, посвященных Магребу (Тунисия, Алжир, Марокко); все прочее заволоклося туманом, из которого порою грозило нам будущее в виде Москвы, нас съедающей; Ася боялась Москвы: что общего между ней, еще девочкой, и седейшим Рачинским, зафыкавшим на нас дымом, иль парой, которую она называла «Булдяевы», не умеючи различить особей пары[9]. Она волила новой жизни, ужасаясь «косматому» быту тогдашней Москвы.

Нас тянуло в Бассору[10], в Багдад, а ожидал нас зеленый стол, заседания, окурки в массивных пепельницах. Я проводил бессонные ночи над измышлением способов осуществить наш побег из Москвы. И даже: делился по этому поводу мыслями... с Метнером, ответившим мне откровенным негодованьем. Тогда я, подставив спину Европе, умопостигаемо увидел Сахару, нас звавшую.

Как великолепен Радес, когда солнце склоняется. Он — под ногами; блещут чуть розоватые на заре, а днем белоснежные кубы домов и башенок; через белые стены заборов бьет пурпур цветов в пустую кривую уличку; вон справа — шелест серебряной чащи оливок; вдали — розоватый пух расцветающих миндалей, за которыми — распростерший объятия с востока на запад Тунисский залив, выбегающий Карфагенским мысом; я только что перечитал здесь «Саламбо» Флобера; и знал: две горы, что смыкались справа и лиловели,— место приношения человеческих жертв; они — образуют ущелье, в котором Гамилькар Барка некогда отбивался от Сципиона, защищая город;[11] Радес — переименованное арабами римское местечко «perrates» («посредством весел»): отсюда переправлялись на лодках в Карфаген; позади нас горы Захуана с остатками римского водопровода; они еще багрянеют; а над Радесом — легко-лиловые сумерки[12]. На сухую

землю мы бросили плед, на котором сидит Ася — в цветных шелках, зарисовывая ствол каменного дуба, равного пяти стволам; сбоку берберы в полосатых, серо-коричнево-черных плащах с остроконечными капюшонами — гонят стадо; скачет синий уджакский всадник; вот уже мы спускаемся в узенькой, пустой уличке, выводящей на площадь, где — два кафе: прямо против нашего домика; берберы в голубых, розовых, белых широкорукавных хитонах, в красных кожаных туфлях, в чечьях (род круглых фесок), обмотанных белоснежною кисеей, уселись на циновках в картинных позах; а кисти цветов свисают у них из-за ушей на лоб; иные в белейших плащах; иные курят; иные играют в шашки; медленно плывет мимо Али-Джалюли в бирюзовой тоге, с посохом в руке; а накинутый белый плащ развевается лепесточками складок; с поклоном прикладывает он руку к груди и потом бросает ее в нашу сторону.

Али-Джалюли — сама история Тунисии; едва ли не министр в эпоху господства беев до оккупации Тунисии, составляет он заговор на жизнь бея; но заговор открыт; он бежит; и возвращается лишь после оккупации нищим; богатства его конфискованы туземною властью; теперешний бей имеет при себе кукольных, туземных министров; среди них министр финансов — брат Али.

В Радесе есть вилла с райским садом, с клетками газелей. Я спрашиваю: «Чья вилла?» — «Джалюли», — отвечают мне. «Чьи эти рощи?» — «Джалюли!» — отвечают мне. Но Джалюли умер только что; в дни, когда я поселился в Радесе, роскошества эти переходят к нищему арабу, знакомцу нашему; седобородый профиль его полюбился нам; и он благосклонно поглядывает на нас; он шлет нам селям; он Асю зовет в гости к дочери. Он обещает нам покровительство свое до самого Тимбукту, если бы мы захотели кануть в пустыни; наш выбор падает на Египет; письма, обещанные нам Али-Джалюли, пока что не нужны; но Туат[13], прилегающий к Тунисии с юга,— ближайшее будущее.

Так мы решаем.

Вечера становятся уже знойными; как завлекательны звуки тамтама из той вон кофеенки, которая — под ногами (на крыше мы); там арабы слушают захожего сказочника; март бьет каскадом цветов; в окрестных рощах забелела палатка кочевника; верблюд рядом с ней жует траву; сельские берберы запирают двери домов: пойдет теперь воровство; палатка кочевника, припертого к побе-

режьям Средиземного моря, есть знак того, что уже недалеко от нас все выжжено; приближается знойное, всеопаляющее тунисское лето; и уже подувает сирокко на нас;[14] скоро злей закусаются скорпионы; фалангу недавно я расщемил на стене.

КАЙРУАН

Сумеречит; мы на крыше; кругом — толстостенные кубы и белые башни, холмы; белый купол мечети — на фоне темнеющего, сине-черного моря; крыша справа окаймлена перилами, над которыми подымается бербер в своем красноватом плаще; он поет, сев на тигровый плед, косо брошенный на перила; ему откликаются бубны и смехи; на полосатых циновках, скрестив свои ноги, уселися жены в шелках, в широчайших штанах, ярких, пестрых, конических шапочках; но они нам не видны; таков гарем бербера-богача.

В ночных бдениях вызрел наш замысел: посетить Кайруан, первую цитадель арабов-завоевателей, появившихся здесь в VIII веке, когда Сиди-Агба водрузил впервые здесь знамя пророка;[15] страны Магреба (Западной Африки) обуревались еще ересями; но кайруанская династия аглебитов[16] боролась за правую догму; тогда сковывалось в Кайруане новое единство: Магреб, в состав которого вошли страны Марокко, Алжира, Тунисии; скоро Магреб поднялся на Египет; и стал потрясать распадавшийся халифат; африканская «Мекка» блистала мечетями, которых школы выпустили кадр ученых, поэтов и проповедников; в книгохранилище Кайруана, еще недоступном для нас, сохранилась доныне рукопись стихов кайруанской принцессы, писанная золотыми чернилами; кайруанская династия фатимидов[17], внедрясь в Египет, перелицовывает селение Эль-Кахеру в отныне мощный Каир;[18] восточный Магреб (Тунисия) преобразует арабский Восток; в западном слагаются великолепия мавританского стиля, давшего блеск Испании; лишь на короткое время приподнят Тунис; но Кайруан доминирует; он видит послов великого Карла, дружившего с аглебитами.

В ветреный день мы садимся на поезд[19], пересекающий радесскую низменность по направлению к приморскому городу Сузам; прошмыгнув под ущельем двугорбой горы, мы подверглись атакам свирепого ветра, опрокинувшего на нас тучи бурых песков; замелькали песчаные лысины,

перерождая ландшафт в преддверье пустыни; пересевши на кайруанскую ветку, дивился я натиску ветра, двигавшего на остановках наш поезд: назад. Перед Кайруаном пропали и чахлые зелени; буро-черные вои песков мчались бешено с юга на север, скрыв дали и небо; и кто-то сказал: «Здесь три года уже не видали дождя: чуть покапает; и — снова засуха».

Но — что это?

В мороке проступили какие-то белесоватые, покатые плоскости рябоватой пустыни, казавшейся воздухом; в нем выявились призраки буро-бледных, белеющих и, наконец, вовсе белых — зубцов, куполов, минаретиков, взвеянных, как кисейное кружево, меж землею и небом.

Поезд подъехал вплоть к городской стене; выйдя, увязли ногами в белой, зыбучей массе; здесь увидали кучку арабов в бьющихся от бури бурнусах, стадо верблюдов, издали проходящих в ворота, да несколько домиков за пределами города: казарму, гостиницу для приезжих (главным образом англичан) да подобие муниципалитета. То — единственный след цивилизации, сжатой в точку и выброшенной за городскую черту; город без пригорода сел, как наш Кремль, меж четырех толстых стен, отгородивших от немоты пустынь гортанный говор тысячей бьющихся друг о друга бурнусов и синих негритянских плащей, хлынувших в Кайруан от зеленых раздолий Судана; Кайруан глядит в сторону Тимбукту; Европе же он подставляет спину.

Оказавшись в отеле с десятью посетителями (англичанами), мы испытали чувство, будто несколько часов, отделивших нас от Радеса, развернули нам расстояние, равное расстоянию от земли до... луны.

И «лунный житель» по прозвищу «Мужество», втершись в доверие к нам, оказался с нами; это был араб, проводник; и он нам предлагал не терять времени: дернуть с ним за границы Тунисии; посетив Габес и Гафсу[20], здесь запасшись палаткой, верблюдами, ничего-де не стоит нырнуть с ним в пустыню.

Тотчас же после обеда, перебежав песчаную площадь, отделявшую от городских ворот, мы с «Мужеством» оказались в лабиринте ульчонок, то опускающихся, то взлетавших; с холма любовались пространством кварталов, слагающих белые плоскости крыш неправильной формы; так строились первые этажи со встававшими на них кубами вторых этажей и с белыми башнями третьих; отовсюду

гнулись сегменты куполов; полукруга не видели мы; эти сегменты складывались из белых ребер, сбежавшихся к центру и севших на кольца, под которыми на цилиндрическом основании виделись овалы окон. Плоскости крыш открывались в улицы ямами пестрых лавчонок (без окон), подпертых колонками: десять тысяч колонок перетащили арабы сюда из развалин римского города, полузасыпанного пустыней; в мечети Огбы их более тысячи; всюду встали подобия триумфальных арок, расписанных черно-белым орнаментом (вместо цветных изразцов кружевных стен Туниса).

Толпа не блистала здесь пестрью гондур[21], золотом жилетов и белыми атласами мавританских тюрбанов, напоминающих митры; поразило отсутствие зелени: ни садов, ни аллеек, ни легких бассейнов; грозная белизна на буром песке! Взвизгнет ветер,— и все взлетает под небо: нет города! Только бурое облако, иэ которого медленно, немо крепнут очерки башен и стен: здесь жизнь жутка!

Пометавшись по уличкам, мы до утра простилися с «Мужеством» и замкнулись в своей комнатушке, прислушиваясь к шакальему плачу ветров; в окна глядели зубчатые стены и башни, которые стали розовые на багровой заре; на стене, под узорчатым бастионом появились женщины в черном, неся на плечах кувшины; они шли — из сумерок: в сумерки.

Изо всех городских ворот Кайруана — открывается бледная сушь горбатосклонных песков, прочерченных ветром: безнадежность, робость и страх! Пески полны блохами, скорпионами и ядовитыми кобрами; ни кустика, ни травинки! После дождей пробивается всюду зеленый покров; дождей не было уже три года; и — зелень сгинула; и над корнями злаков — бугры, брошенные Сахарой, которая крадется отовсюду, перегрызая связи со всем тебе знакомым и милым; Сахара ухает бытами тебе незнаемой жизни.

Через день или два мы с «Мужеством» посетили орошаемый участок пустыни и утонули в розовом дыме персиковых и миндальных цветов; куполки Марабу* кое-где пропузатились из-за склонов; запомнилась мне одна усыпальница Марабу, покрытая жутким орнаментом из переплетенных черных пантер.

---

* Марабу — наименование юродивых-святых, в честь которых мусульмане воздвигают каменные усыпальницы, увенчанные куполами, с изощренными резными дверями.

В Кайруане столетиями формировалися школы дервишей; проходившие их получали звание «ассауйи», более почетное, нежели звание «дервиша»; кроме умения поедать пауков, наносить себе раны, вертеться в экстазе и заклинать змей, «ассауйи»-де научились и высшим дарам; Кайруан переполнен фокусниками, гадателями, заклинателями и прочими шарлатанами; начитавшись книг о мусульманском иогизме, я попросил «Мужество» познакомить нас с дервишем-ассауйей.

— «Знаю, что вам надо; есть тут один ассауйя; коль я отыщу его, вечером он вам покажет своих очарованных кобр; англичане не интересуются «ассауйями»; им довольно и фокусников».

— «Итак, завтра вечером?»

— «Ждите меня к десяти».

. . . .

На другой день вечером, когда в небе открылись огромные звезды, каких я не видел нигде, постучали; и «Мужество», болтая кистью цветов, заткнутой им за ухо, шмыгнул к нам:

— «Ну — есть ассауйя!.. Согласен».

— «За сколько же?»

— «Вы внесете в кафе по тарифу; он платы себе не возьмет: он — из чести!»

Мы вышли в холодную ночь; пробежав под воротами, мы заюлили в ульчонках, едва озаряемых огоньками арабских кафе, из которых неслись глухо-страстные звуки тамтама, слагавшие полные смысла мелодии; вспомнились слова Тютчева:

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?[22]

Сверт: «Мужество» рванул дверь, и мы оказалися в переполненном бурнусами пестром пространстве, покрытом кажущимися золотыми циновками, на которых, склоняясь, лежа и полусидя, арабы гнулись над шашками; протолкалися мы на помост к арабам, вооруженным местными инструментами; приволокли европейский столик, два стула: для нас. «Мужество» мне шепнул, скосив в сторону глаз:

— «Вот он!»

И я увидел в углу высокую тонкую фигуру араба в белой повязке, изощренно склоненного над доской; ему в спину «Мужество» что-то гортанно отбарабанил; не разгибаясь, араб повернулся на нас, чуть прищурясь, не

удостаивая разгляда; лицо его поразило; оно поздней мне напомнило лицо фараона, Рамзеса II, но расплавленное экстазом, который я видел в иные моменты у Никиша, дирижировавшего симфонией; и я подумал: так, видно, выглядели гиерофанты Египта; и так, вероятно бы, выглядел Эмпедокл, склоненный над кратером Этны, пред тем как низвергнуться в кратер, осуществляя заветную мысль: соединиться с огнем.

Араб вскочил и, не глядя на нас, сбросив с себя повязку, легким прыжком взлетел на помост; черная прядь выстриженной головы разбросалась с макушки змейками на плечо ему; развязав, он бросил перед собою мешок, закачавшись над ним и являя каждым движеньем — чудо ритма и сдержанности; тогда из мешка поползла кобра, которую-де он сегодня поймал лишь.

Не стану описывать «фокусов» с ней; она бешено бегала по помосту, задевши меня своим скользким хвостом; и вдруг бросилась в сторону на склоненного бербера; с молниеносною быстротою и силою палец дервиша упал на кончик ее хвоста; и скачок ее был оборван пятою: змея ритмически закачалась теперь, поднимая на бербера раздутую и листовидную шею.

Выходя из кафе, мы с Асей сказали друг другу:

— «Лица того бербера мы никогда не забудем».

. . . .

Не стану описывать всех впечатлений от бытовых мелочей, которые мне бросались в глаза в Кайруане; не останавливаюсь и на восторге перед орнаментом и чистотою отделки кайруанских ковров.

Лишь скажу: Кайруан — новый повод к чтению мне ряда книг, посвященных культуре и быту арабов; этому чтению уж поздней отдавался годами я.

АРАБЫ

К половине седьмого века остатки Западной Римской империи в Европе представляли собою ничто. В это время слагалася вне Европы громада, подобная древнему Вавилонскому царству, распавшемуся ровно за семь столетий до новой эры. До рождения Магомета Аравия представляла собою пестрые смеси из иудейских и древнесабеитской культур;[23] среди обитателей Мекки мы видим утонченных культуртрегеров, принадлежащих к племени корейшитов[24]. Араб-горожанин в седле сопровождал араба-

воина; он забирал тотчас же в покоренной стране в свои руки строительство культуры и государственности: так в покоряемой Сирии взятые города, процветавшие до арабов, всячески сохранялись арабами, как, например, Дамаск, ставший первой столицей калифов; здесь древний храм (языческий, потом христианский) стал пышной мечетью; Иоанн Дамаскин, христианский певец, стал — учителем геометрии и важным чиновником при дворе Абдумелека (684—705). Население побежденных стран давало контингент чиновников. Арабский язык не сразу начал господствовать; в византийских провинциях циркулировали долго еще византийские деньги; успех арабов-завоевателей в том, что они поддерживали мелких землевладельцев, развивали промышленность и технику мореплавания; арабы быстро ликвидировали парсизм[25], ассимилировавши его культуру; учась поэзии персов, выявили они новый синтез поэзии (Фирдуси и т. д.).

Из усвоения и переработки греческой и древнеперсидской письменности в Багдаде выявился новый синтез культур; сирийские переводчики переводят на арабский с пехлевийского, санскритского и с греческого; в попытке соединения индийской и греческой математики рождается арабская алгебра; вокруг Гарун-аль-Рашида собирается кружок философов, ученых, поэтов; астроном, калиф аль-Маммун, следует культурной политике Гарун-аль-Рашида; он лично заинтересован в том, чтобы иметь перевод Эвклида; в арабском Палермо, в арабской Испании, арабской Индии, позднее в негрском Тимбукту — та же картина; в VIII веке на новых дрожжах всходит поэзия периода доисламского в ряде новых омейидских поэтов:[26] калифа Валида II, бедуина Джамиля, которого звали «Рыцарь дамы Бютейны», классика-сатирика Джамиля, вольнодумца Иезида, острого осмеятеля Корана, мекканца, дамского угодника Омара Рабиа, поэта-композитора Ибн-Айаса; духом Заратустры веет от арабской поэзии VIII века; в IX же веке слагаются «странствование моряка Синдбада» и коллекция сказок «Тысяча и одной ночи»[27].

Эпоха Абдурахмана и Хакема II в Испании[28] продолжает такие взрывы культурных стремлений; кордовская академия насчитывает не менее 400 тысяч томов;[29] кордовский университет завоевывает себе громкую славу; вводится всеобщая грамотность; Толедо, Валенсия, Малага становятся культурными центрами; то же в Сицилии; арабские поэты сравнивают Палермо с красавицей в оже-

релье из сарацинских замков, составивших над городом амфитеатр.

Арабы работают в области филологии, истории, математики; Аль-Хваризми открывает принцип логарифмирования; сочинения Аль-Батани «De motum» и «De stellarum» еще живо двигают мысль Региомонтана; астроном Абуль-Ваффа Магомет предвосхищает мысли Тихо де Браге; арабами переводятся Аристотель, Эвклид, Птоломей, Гиппократ, Гален для того, чтобы позднее их возвратить Европе; к XI веку арабская культура зажигает светом своим и далекую Бухару; здесь гремят сочинения философа-медика Авицены, давшего энциклопедию под названием «Книга исцелений»[30].

Рост арабской культуры невероятен: по развиваемым темпам; краски культуры изысканны; она переваривает ей предшествующую культуру Александрии, Персии, Индии, потому что она проводит прогрессивный по тому времени и рациональный замысел: дать исход свободе развития племенных и бытовых различий внутри единого государства, что осуществлено в автономиях, сумма которых образует сунны[31] (четыре мусульманских обряда: западноафриканский, египетский, багдадский и индостанский). Такая «свобода» вызывает массовый переход в мусульманство среди покоренных народностей; умение ввести религию в практику быта дает арабизму устойчивость и комфортабельность.

Вспомним: в эпоху, предшествующую мусульманству, мы имеем дело с уничтожением последнего остатка когда-то бывшего эллинского свободомыслия и с угашением памяти о некогда бывшем республиканском строе; всюду в Европе, являющей ряд деспотий, деспотии эти варваризируются; мрак и жестокость господствуют всюду. Умело-расчетливая политика партии, слагающей калифат, состоит в том, что она силится проводить принцип просвещенного для того времени абсолютизма; из Византии изгнанный Аристотель всасывается в культуру арабов; но как скоро экономические условия европейской жизни созревают до роста потребностей третьего сословия (предренессанс), Аристотель с науками всасываются обратно в Европу; арабы же становятся толкачами монголов.

Вырождающийся рационализм изживает себя в иронии, в юморе, в скепсисе, в анекдоте; и юмором, скепсисом, анекдотиком переполнено поздней предание мусульман; анекдот порою порхает по стенам кайруанских мечетей; и фигурируют всюду прихоти юродивого-марабу; легенды

гласят, например, о юродивом брадобрее и о принадлежностях его ремесла; а вот мечеть сабли: в ней святыми реликвиями становятся гигантская сабля и полуторасаженная трубка, которую выкуривал без задоха почтенный святой; за ним трубку всюду таскал рослый негр; в мечети Окбы показывают каменные гробницы собаки, верблюда, принадлежавших Окбе; в одной из мечетей служители подводили к столбу, предлагая прошмыгивать меж столбом и стеной, прибавляя при этом, что мне-то легко прошмыгнуть; а вот толстому — каково этим делом заняться! Здесь обряд — каламбурен; весельчакам лишь под стать каламбурить обрядами; мусульманство отчасти столкнулось с началами христианства, как хохот с отчаянным плачем; мусульманство когда-то вдохнуло веселье и смех в ряд народов, обитавших на южных берегах Средиземного моря; народы же, заселявшие его север, жили образами тяжелого бреда; вандалы, лангобарды, гунны, норманны столетия проливали здесь кровь; в тысячном году ждали мирового конца; тысячный год прошел, а нищая Европа — осталась; надо было устроиться на земле; и папский престол создал легенду о тысячелетнем земном царстве и о государстве-храме; папы организуют нищих бродяг в монашеские ордена и в нищее рыцарство, выкидывая этой чандале[32] лозунги завоевания Иерусалима и подменяя храм пустым мрачным гробом; двухсотлетний период крестовых походов отдает папам власть. Но результат — знакомство с Востоком и с укрываемым в нем Аристотелем; все когда-то вытолкнутое из Европы в нее возвращается с возвращеньем в Европу нищего рыцарства; перерождается трубадур, нищий рыцарь,— в искателя приключений; столетьем позднее он уже гуманист, чтобы некогда стать либералом; политическая революция столетия вызревала из революции быта. К XII столетию в Европу врывается Аристотель, распространяемый в переводах; переводчики Аделяр из Баты, Роберт из Ретины и прочие изучают Платона, Аристотеля и мудрость арабов; архиепископ Раймонд в Толедо образует коллегию переводчиков (1130—1150); Иоанн Севильский здесь перевел Аристотеля, в конце 12-го века проникшего в Париж и восстановившего интерес к физике (Давид из Динана); между Востоком и Западом начинается обмен идей, рождавших новые вкусы, подхваченные в Сицилии, ставшей в то время преддверием к ренессансу.

Такие мысли в предощущении впервые мелькнули мне в Африке, когда я прослеживал проблему отношенья между Западом и Востоком.

ТУНИСИЯ И ФРАНЦУЗЫ

В последние недели нашего пребывания в Радесе весьма участились поездки в Тунис и посещения древнего Карфагена; помню здесь наш восторг пред камеями финикийской работы; и помню сидение в пестрой, блещущей изразцами деревне, по имени Сиди-Бу-Саид, приподнятой на утесистый Карфагенский мыс; с трех сторон в него хлопали разъяренные волны; Сиди-Бу-Саид — место паломничества; деревушка носила название чтимого марабу; но в легенду о нем был вплетен каламбур: с переодеваньем; Сиди-Бу-Саид есть, согласно легенде, Людовик Святой, здесь скончавшийся от чумы, по словам христиан; это — ложь, сочиняемая «неверными» (христианами); дело в том, что Людовик пришел к мусульманству под действием проповеди и тайно покинул вооруженный свой лагерь; неверные вместо него похоронили простого солдата*.

Эти дни мне связаны и с Бельведером, парком, разведенным французами около города; здесь запомнился павильон, опирающийся на ряд белых колонночек и разблещенный изразцами; от него море зелени падает к белоснежным арабским кварталам Туниса; за ним — лиловатый мыс, голубое пятно залива; зелень дорожек, усыпанных красным песком, упадает к белым кубам арабских домиков; на дорожках же кучкой, бывало, несутся арабские женщины, отвеивая плещущий снег одежд и показывая черные лицевые пятна (лица их закутаны шелком).

Последний месяц жизни в Радесе все грезилось о будущих путешествиях наших в Туат; и — далее; Сахара, Судан и Гвинея — неспроста влекли; ведь Фробениус скоро потом начал связывать с Атлантидой раскопки свои, здесь веденные;[34] живя тут, я почитывал историю этих мест; мне открылись усилия Франции завоевать Судан и Нигерию; конец века прошел здесь в боях: мне открылись образы завоеванья Канкана и Диенеи;[35] я не раз удивлялся здешнему черному Наполеону, так недавно еще

* Людовик Святой, предприняв Крестовый поход[33], высадился с войском в Карфагене и умер от моровой язвы, свирепствовавшей в Тунисии.

с беззаветною храбростью и уменьем отражавшему много лет натиск французов и научившему негров лить пушки; я много читал о культуре старого Тимбукту и о царстве сонгойцев[36], столетия сохранявших культуру Египта и стилем здесь найденных зданий, и культом богини Гатор;[37] французы-колонизаторы воспитывали детей корольков во французских школах и превращали их в местных чиновников, посредством которых они управляли туземцами; мысли по этому поводу мной изложены во втором томе «Путевых заметок», не появившемся в свет; вот что писал я в главке «Двадцать две Франции»: «Вы не знаете Франции: европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке... Никогда не пришло вам на ум точно вымерять Францию; вымерял я: отношение ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара... равняется дроби: $^1/_{22}$... Я боюсь — будет час: кровь с огромною силой прильет к голове организма французской Европы — кровь черная; миллионами негров, мулатов вдруг хлынет она в Париж...»

Я зачитывался сведениями о формованьи в Нигерии негрских полков и о передвижении на север их; в 1912 году я писал: «В будущей европейской войне негритянская армия будет оплотом французов» (II т. «Пут. зам.» — «Двадцать две Франции»).

Не так ли случилось? Негры вскоре же оккупировали Рур; высаживались они и в Одессе[38].

Открывалась мне здесь и сущность французского буржуа: перерождаться в колониях в паразита; я его наблюдал, как он мусорит местный быт отбросами своего быта, уместного, может, в Европе, но здесь отвратительного; колонизатор предстал мне в Африке, как гнилостная бактерия; я в Тунисии инстинктивно стал отталкиваться от большинства европейцев; поговорите-ка с сизоносым французиком в котелке, здесь ненужном; с какой дикой злобою он, обливаяся потом, шипит на арабов из-за своих огороженных тыкв с надписью «Traget interdit»;[39] меж «Traget interdit» и меж «j'ai mangé mon gigot»[40] протекает его вредоносная жизнь; тощеньким комаришком является он выпивать кровь туземцев; и как ненавидит он их! Как позорит! Они-де грязны, и они-де погибнут от сифилиса. Чем он им помогает? Тем разве, что им продает он ликер «Anisette», отравляющий их; или он прививает безвкусицу им ввозимыми из Европы дешевыми ситцами; разорение, пьянство, разврат разъедают жизнь берберов; все идет от французов; арабы Тунисии платят им ненавистью; харак-

терен ответ одного из проводников, впивавшегося в нас в Тунисии и три часа водившего нас показывать то, что мы и без него знали; когда он высосал из нас все, что мог, и разговор перешел на тему об отношении арабов к французам, то на мой вопрос, «как относитесь вы к французам?», он с усмешкою мне ответил: «Да приблизительно так же, как вы относитесь к докучливым и вам ненужным проводникам!» Ответ был классичен.

В ответ на вторженье французов арабы-интеллигенты, издававшие в Тунисе несколько оппозиционных газет, подчеркивали национальную пестроту костюма; я не видел арабов-интеллигентов, которые сменили бы свою пестроту на пиджак и на брюки; они ходили по европейскому кварталу Тунисии в бархатах, утрирующих национальное одеяние; тунисские мавры и берберы упорны в отстаивании своей традиционной культуры, не в пример каирским феллахам, из кожи лезущим, чтобы быть «европейцами»; в изысканных смокингах, в запахе одеколона, который распространяют они, что-то есть внушающее сожаленье.

Впечатление от последних недель нашей жизни в Тунисии превратило радесский домик в место усиленного семинария над бытом жизни арабов и обработкой сырья наблюдений, собираемого по окрестностям; в этой работе мы пересекались вполне; ничто личное не вставало меж нами: водворилась меж нами и общность переживаний, и общность чтения; я писал «Путевые заметки»;[41] Ася же зарисовывала мне ландшафты, мечети Радеса и типы: для будущей книги;[42] обстание домика располагало к работе в игрушечной комнатке внутри башенки с выходом на плоскую крышу, откуда мы озирали Радес, Захуанские горы и кафе, на веранде которого располагались картинно арабы.

Эта крыша — источник многочасовых, задушевнейших разговоров, которые поднимали большие проблемы арабской культуры; так что,— отними у нас Африку, мы б удивились: чего ради соединили мы жизни? Ася в своих увлечениях доходила до чертиков; можно было б подумать, что она влюблена в каждого прохожего сельчанина, в котором она созерцала тип расы; однажды, заснув на тахте, ярко застланной черными, желтыми и вишневыми тряпками, с восклицаньем вскочила она; с блаженной улыбкой и невидящими глазами произнесла: «Ах, араб: он — цветок!» — «Что с тобой?» Но она продолжала сидеть на тахте, бормоча ерунду; и я понял: она — не проснулась еще; содержанием шестимесячной жизни нам стала романтика,

переходившая в бред, сквозь который вырос вместо Африки нам миф об «Офейре»;[43] или же подымался образ близкого будущего: образ Африки, которая множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе.

Как сейчас стоит в памяти изразцовая комнатка, устланная шелками тахта, кайруанский коврик, курильница, из которой струил свои сны темно-синий кальянный прибор; я, в зеленом халате и феске-чечье, развивал перед Асей свою философию. В эти дни нас связала друг с другом лишь Африка; отнимись она,— мы с испугом вперились бы пустыми глазами друг в друга; с испугом мелькнула бы мысль: почему это вместе мы?

Мы уезжаем в Египет. Приходилось чаще являться в Тунис за справками о Египте, где, по слухам, гнездилась чума; в санитарном бюро успокоили нас: ничего-де подобного.

В это же предотъездное время я сделал открытое нападение на Эмилия Метнера в длинном письме из Радеса;[44] в нем я подытоживал двухлетие «Мусагета» и сомневался, чтобы политика Метнера, главным образом накладывать свое «veto» на новые начинания наши, имела бы смысл.

Я писал: «Мусагет» приблизился к тупику, из которого выхода нет; ответ Метнера — даже не крик, а рассерженный взвизг, показавший, что он нервно болен, что надо его успокоить; и я «успокоил», но — с горьким сознаньем[45].

«ARCADIA»

С таким чувством отплыл я в Египет в туманистый, ветреный день; море пенилось; ночь была лунная; уж на рассвете впереди затуманился впрожелть опаловый остров, как облачный морок, над морем поднявшийся: Мальта;[46] он — приближался; и мы различали квадраты и кубы утесы венчавших домов: это — город Валетта; утесы — в растрещинах; при приближении трещины те оказалися лестницами ступенчатых улиц; каждая состояла из ряда площадок между подъемами в пять, четыре и десять и больше ступенек; дома, обрамлявшие улицы, вытянулись в четырехэтажные здания, с резными, арабскими окнами.

Я с любопытством разглядывал жителей,— помесь арабов и греков; мальтийки весьма поэтически кутались

в свои плащи; и носили крылатые черные шляпы, напоминавшие паруса. Остров был прихотливо разрезан заливами, сложенными из отвесных утесов, между которыми густо дымили здесь спрятанные английские броненосцы эскадры, которая с гибралтарской эскадрой являла мощь Англии.

Город Валетта овеял нас милитаризмом; впечатление крепло; дула орудий глядели из узких проливов на даль; на площади перед дворцом караул золотомундирных, декоративных солдат в снежно-белых лосинах и в шапках мехастых картинно нес службу; узнали, что ждать парохода в Египет нам надо с неделю; мы тщетно просили пристроить к любому судну нас; но в пароходной компании в этом отказывали; кто-то сжалился наконец:

— «Стойте-ка, я позвоню. Есть судно в Порт-Саид: оно — с грузом железа. Коль капитан согласится вас взять, то — спешите».

И — телефонный звонок к капитану. Согласие!

— «Судно уходит сейчас!»

Мы — в гостиницу: за багажами; все же — вовремя; длиннобородый, весьма добродушного вида старик-капитан, родом из Вюртемберга, лет сорок сновавший по всем океанам, нас лично повел показать нам каюту.

— «Плывите, хотя б до Китая! Нам будет повадней со спутниками».

Ветер сильно крепчал, когда наша «Arcadia», выйдя из гавани, медленно поплыла вдоль отвесов; тут же позвали обедать,— в общество старого капитана, его помощника, усатого, вежливого берлинца; был вкусен и даже уютен обед; капитан опрокинул нам на голову ряд рассказов своих, делясь опытом сорокалетнего плаванья; мне запомнились послеобеденные прогулки по палубе с ним; ветер рвал его бороду; бросивши руку за борт, восклицал он:

— «Здесь вот, под нами, в большой глубине живут змеи-гиганты».— Я: «Но ученые оспаривают эту веру!» — «Ученые? Что вы говорите!.. Вы нас, капитанов, спросите. Ученые — много ли плавают? А мой друг, капитан, в этом месте сам видел: она поднялась над поверхностью моря — вон там, точно столб телеграфный; и — опустилась».

Дружба со стариком крепла с первого дня; он, узнавши, что Ася граверша, пристал, чтобы она рисовала его; три-четыре сеанса на капитанском мостике сблизили ее с капитаном; и мы получили право бродить где угодно; с тех пор часто мы забирались на рубку иль опускалися к скотному двору, устроенному на корме; часто я наблю-

дал, как китайцы, служившие на «Arcadia», измеривали глубину; «Arcadia» с грузом плыла к берегам Янтсе-Кианга;[47] по мере того как мы ближе узнали словоохотливого старика, он к нам стал приставать:

— «Ну зачем вам в Египет? Плывите-ка с нами: в Цейлон. Месяца три после мы застреваем в Японии. Вам слезать нечего: днем можете съезжать на берег; ночи будете проводить на «Arcadia». Я недорого, право, возьму: за шесть месяцев путешествия с остановкой в Японии, с плаванием по Янтсе-Киангу — три тысячи франков. Идет?»

Случай выпал на редкость счастливый; но — недомыслие, что не взял я аккредитива с собой, и в Каире ждала меня сумма из «Мусагета», а на руках денег не было; так лишился я путешествия; дни, проведенные на «Arcadia», все же осталися в памяти.

В первый день путешествия нас покачало: был шторм; но на следующий же день он перешел в волнение, ставшее легкой, приятною зыбью, сопровождавшей до берегов Египта; цвет моря из темно-синего стал изумрудный: начались песчаные отмели; в день, когда море было особенно синим, старик-капитан, бросив руку налево, сказал: «Мы на уровне Крита!»

А на другой уже день за той же прогулкой он, бросив руку направо, воскликнул: «Там — Триполи!»

Воздух мглел и жарчел от пустыни египетской; вечером, накануне приезда,— приказ команде: готовиться к приему угля.

Все нас соблазняли:

— «Что же — едемте?»

Офицеры готовились: вынимали и чистили белые кители, которые завтра станут им необходимы в Суэцком канале: ударит жара.

— «Как вот в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы!»

Мне было жаль бросить милое общество; так хотелось испытать жару тропиков; мне остается «Arcadia» в памяти как образ чистого передвижения, как соответствие формы быта с самим содержанием жизни; но — делать нечего; и мы следили печально за тем, как из мутей выяснивался нам Дамьетский маяк; прошли мимо него, мимо отмелей Порт-Саида, откуда издали стал возвышаться и наконец, приблизившись, вырос памятник инженера Лесепса[48].

Навстречу к нам мчалась с берега моторная лодка; и в белом, пикейном во всем взошли местные власти и доктор: по трапу.

КАИР

Порт-Саид — город авантюристов; вдоль белых домиков, рассевшихся у канала, толпа подозрительных греков и левантинцев[49], шикующих чуть ли не розовыми и сирenево-нежными пиджаками; здесь смеси культур, флор и фаун трех континентов: наряду с флорой Греции — искусственно насаждаемая флора Бенгалии вместе с обычною африканскою пальмой.

Поезд мчал уже нас у самого берега узкого и лениво посверкивавшего канала; и мы сравнивали колориты песков двух пустынь: ливийской и аравийской; песчаные дюны Аравии виделись мне красноватыми; дюны же Африки помаячили бледно-мертвенным, зеленовато-грифельным колером; вероятно, это была лишь иллюзия восприятий; пустыня струилась и зыбилась потенциалами всех возможных миражей; верблюд, морду вздернувший, мне казался зеленым на фоне дрожащего, рыже-красного колера; вдоль канала двигался еле-еле корабль, проталкиваясь к Суэцу; но — крутой поворот; и канал — отступает; мы мчимся на всех парах прочь: впереди нас — цветущий оаз, ослепляющий яркою зеленью сахарного тростника, среди которого вылепились из коричнево-серого ила квадраты домов, прозиявши пастями дверей и дырами черных окон; мы проносилися мимо грязного города Загазига и продолжали нестись средь густеющей зелени; линия приподнятого над нами оросительного каналика, обросшего деревцами; острый, крылатый бело-голубой парус; кажется, что он скользит по земле; там же — пашут: мотаются головы черных буйволов; а кубово-синие сельчане-феллахи в коричневых шапочках, в длинных пышных широкорукавных одеждах-абассиях ходят за ними; и вспоминается:

Золотые, изумрудные,
Черноземные поля.

В. Соловьев[50].

Около Каира врезаемся снова в песчано-пыльные местности; вон — блеснул Нил; из пылей, от бесплодных холмов Моккатама мечеть Измаила[51], рябые ворота

и башни облупленные Цитадели;[52] а что там за Нилом? Тускнеющие треугольники; как — пирамиды? Не верится.

Ехавший с нами в Каир египтянин в изящнейшей феске и в палевой паре разговорился от самого Загазига:[53] со мной; к моему изумлению, он оказался поклонником Льва Толстого.

— «Каир, о, Каир! — восклицал всю дорогу. — Нет города великолепней! Недаром он самый дорогой город в мире. Да вы сами увидите...»

Он оказался чиновником; и всю дорогу рассказывал нам анекдоты и случаи из своей деятельности; между прочим, — про город, затерянный где-то в песках; его жители все погибают от смертных укусов зеленого скорпиона, кишащего в скалах и в трещинах старых домов; там в фарфоровые баночки с кислотой ставят ножки постелей, чтобы не заползло насекомое; узнав, что нам надо достать себе комнату подешевле, он вызвался тотчас же свезти нас в отель, откуда бы мы спокойней могли начать поиски постоянного помещения.

Вот и каирский перрон: лай носильщиков, плеск их халатов, разрывы на части испуганных пассажиров; сплошное ха-ххá, из которого выкрики: «дхá-ласса», «avec moi», даже «князь»! Не случайно первый же проводник наш рекомендовался нам Ахметом-Хáхою; субъекты, в Каире на нас нападавшие, стали мне скалящей зубы, кричащею Хáхою.

Ну и отель! В комнатеночке — сор; подоконники — темно-коричневые от густой, руки мажущей пыли; и — пыль не вода; служитель, носатая Хáха в абассии, совсем не внимал мольбе: дать воды; из окна — гам, коричневое пересеченье ульчонок, безвкусных, бессмысленных: ими мы долго кружили с вокзала, проталкиваясь сквозь толпу и наталкиваясь на верблюдов; невесело встретил Египет; развернув план Каира, который я прежде еще изучил, мы наметили себе квартал Каср-эль-Ниль; и к нему тотчас двинулись.

Еще в Тунисе вносили мы мзду где-то в агентстве, рекомендующем иностранцам, где справиться о сдаваемых комнатах; нам указывали на квартал Каср-эль-Ниль; приезжающие богачи телеграммой заказывают себе комнаты в колоссальных отелях, «Палласах», «Спландидах» и прочих «Hôtel premier ordre»[54], где и платят минимум 20 франков в сутки за комнатку в два-три шага: не более.

В Каире более миллиона жителей; он раскинулся на громадное пространство, врезаяся в гущу тропической зе-

лени — здесь, там — подскакивая на каменистую и вовсе бесплодную почву, там кварталами вылезая в безводье ливийской пустыни; он — переплетенье арабских и коптских кварталов с полуевропейскими, даже совсем европейскими; все части города пересекает трамвай; мы, вскочив на него, понеслись через путаницу кривых загогулин; и оказались в широких, прямых, как стрела, зеленеющих улицах с рядом цветущих газонов, переходящих в сады, над которыми дуги трескуче пылящих кишок орошали перловыми брызгами зелень; и это все вперебивку с тяжелыми, шестиэтажными зданьями светло-коричневого и темно-бурого колеров, тонущими в сети веранд, надувающих свои парусины; это все обиталища биржевых королей, отдыхающих здесь; на тонных проспектах, украшенных серыми касками египетских полисменов, широкоплечих, с узкою талией, стоящих на перекрестках,— везде чистота; самые жесты, с которыми полицейские подымают белую палочку, напоминали жесты египетских человечков на фресках; так старый Египет врывался в каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы; он обслуживал уличное движенье или стоял здесь как знак украшенья проспекта; и над бытом двадцатого века из тусклого неба являлося царство теней; ряд проспектов, прямых как стрела, открывали вдали перспективы из пальмовых парков; вот повис мост Каср-эль-Ниль меж Каиром и островом спортивных площадок, открывая дорогу в Булакский музей с возлежащей в нем, как живой, мумией фараона Рамзеса II[55], разительно улыбавшегося из стеклянного гроба белым зубом своим, с которого не стерта эмаль; и казалось, что встанет: надев модный смокинг, пройдет по проспекту весьма фешенебельно, замешиваясь в утонченные пары из леди и джентльменов в белейших костюмах, в колониальных касках с плещущей вуалью,— в хамсин, южный ветер пустыни; небо станет коричнево-бурым тогда от летящих над головою песков; все закутаются в вуали, спасая глаза.

В этих тонных кварталах обитель теней проницает весьма фешенебельные, цветочные, парфюмерные, табачные, книжные магазины с разбитыми перед ними искусственными цветниками; в табачных — расставлены кадки с растениями при тростниковых креслах, в которых сидят джентльмены, раскуривающие тут же купленные сигары; кафе-курильня, а не магазин.

Бродя, выходили отсюда мы к великолепной набережной; и, пересекши мост Каср-эль-Ниль, заходили в кафе

Булакского парка, свисающее над отвесами нильского берега; и, склонясь над водой, отдыхали под колоссальными пальмами; солнце уже становилось, склоняясь к закату, тусклеющим кругом; и — угасало в пыли: высоко над землей; веяньями здесь неслись мимо коричневатые сумерки; пальмы теряли стволы в карей тускли; под ногами вдоль Нила, бывало,— лёт полосатых бело-голубых парусов; вдруг — прекрасное просияние мути, но без источников света: грустные, золото-карие эти щемящие сумерки я полюбил, хоть рыдала душа; пошуркивали большеголовые ушастые ящеры, косолапо скрываясь в мангровой заросли (флора здешнего сада — бенгальская).

В первый же день, зайдя в агентство и получив адреса сдаваемых комнат, мы сняли сравнительно недорогую на улице, прилегающей к Каср-эль-Ниль, у венгерки — одной из тех дам, которыми переполнен квартал и занятья которых весьма подозрительны: не то сдача комнат, не то — дом свиданий! Обитатели Каср-эль-Ниль — не местные жители: европейцы, шикующие левантинцы, воняющие одеколоном и луком, да греки; Каир — тоже город авантюристов; в этом квартале города подчеркнуто настроение разложенья и гибели; американский или английский буржуа, пересаженный из своего домашнего кресла в каирское кресло, выглядит часто посаженным на... электрический стул; ему хочется крикнуть: «Петля и яма тебе!»[56]

Набережная Каср-эль-Ниль и сады Булака — место моих размышлений о европейце, колонизаторе; надо увидеть его не в центре страны, а в колонии, чтобы понять перерожденье его в кровь сосущего паразита; французы с нарочною откровенностью жалят арабов; в Каире же англичане не замечают их; арабское население, арабские магазины — ничто; один египтянин, шикарно одетый, мне с яростью жаловался: «Верьте,— не было случая, чтобы приехавший сюда англичанин раз хоть что-нибудь купил у араба; чиновники, состоящие здесь на службе, раз в год, получивши отпуск, едут в Лондон, где закупают все, что нужно на год,— от костюма до... английской булавки». Игнорированье всего характерного, неанглийского, у англичан есть инстинкт; в здешних отелях вы не отведаете местных блюд; англичанину, путешествующему с Куком, закрыта страна, по которой он путешествует; те же виски, плум-пудинг; попав в пирамидный отель, я увидел фраки, оголенные лопатки напудренных старых леди вместе с плум-пудингом. Английская мумия оказалась мертвее египетской, ей говорившей:

— «Здесь яма и петля тебе!»

Булакские сумерки с первого дня мне связались со старым Египтом; вскочивши в трамвай и промчавшись по мосту, разрезав тропический парк, оказались у места, где все засерело песками на сотни пустых километров; сурова пустыня ливийская в сумерках; помню, как соскочили с трамвая мы около гостиницы Пирамид перед двумя чудовищами, тяготевшими миллионопудовыми глыбами камня, расцвеченными заревыми рефлексами: от фиолетово-розовых до угрожающих ржаво-рыжих; мы тронулись к ним, утопая ногами в песке, отдаваяся чувству, что каждый шаг выдавливал новые тяжести, которыми пирамиды и крепли и разбухали; вот и заняли собою полнеба; серяво повесился бледный месяц меж ними; переживали странное чувство, как будто от них через нас пробежал электрический ток непрочитанных образов прошлого, вскрывшего свои ужасы; все, что ты мыслил о древнем Египте, вдруг смылось Египтом, действительно бывшим, но в книгах не читанным; ты его читаешь из книги, тебе открывшейся вдруг: точно ты жил в нем, заснул и, очнувшись чрез пять тысяч лет, видишь ясно, что́ было; и видишь, что яма и петля была для тебя, человек.

Так пережил я, ощупывая первый камень у всхода; камень мне оказался по грудь; шириною ж был равен моим распростертым ладоням, прижавшимся к серой его, рябоватой поверхности; пирамида заламывалась в небеса, скрыв вершину; а бок ее виделся с улицу; тысячи трухлявых камней свои громоздили массивы; и я ощущал себя с вырванным мозгом и с волосами, стоящими дыбом (темя покрылось мурашками); не было имени странному состоянью сознания, нас охватившему близ пирамид в час заката, когда воздух стал карим и охватила старинная, неизъяснимая, невыносимая грусть.

С этого дня мы ходили часто сюда; мы ощупывали ступени ладонями или сидели в песке пред огромной, разрытою негрскою головой: сфинкс глядел нам в глаза;[57] феллахи, как черти, бросавшиеся на туристов, взявши с нас мзду, уже нас не тревожили, предоставляя свободу слоняться, присаживаться на ступени гробниц иль таиться в сумерках среди вырытых колонн храма сфинкса: до ночи; здесь дни были пламенные; ночи же нас замораживали; небо делалось невыразимо синим, прозрачным; дымилось сияние месяца; около 12 ночи мы мчались в почти опустевшем трамвае над тишью песков, уносяся в цветущие парки Булака.

Влево от набережной Каср-эль-Ниль в низменной местности, куда ведут холмистые склоны,— ряд коптских кварталов; местность эта называется «старый Каир»; тут же находится остров Рода; на нем сооружение Нилометра;[58] грязь, пыль, блохи встречают вас здесь; и главное: здесь подвергаетесь вы нападенью особого типа разбойников, беспрепятственно схватывающих за шиворот; это — проводники; они устраивают здесь облаву; и вы загоняетесь в ту или иную коптскую церковку;[59] я не раз схватывался с этими разбойными кучками, защищая свободу передвиженья себя и Аси; приходилось при помощи палки от них отбиваться; хотя двигаться здесь одному — это значит: застрять в тупике, потеряв надежду на выход в иные кварталы; головоломки сплошных и грязно-коричневых тупичков производят впечатление баррикад, под которыми надо нырять; надо знать, где проюркнуть и где перелезть, чтобы мочь двинуться дальше.

Коптские церковки миниатюрны; но их следует осмотреть непременно: иконостасы их отличаются бесподобно тонкой резьбой с тонкою костяной инкрустацией в темно-коричневом дереве; любопытны огромные церковные книжищи в инкрустированных переплетах; коптские попы что-то бормочут, в них уткнувши носы; что́ именно, не понимают они и сами; они крайне невежественны. В этих грязных кварталах встречаете вы очень стройного, тощего, как сажа черного абиссинца с орлиным носом, острой бородкою клинушком и протонченным лицом; выбираясь из старого города, вы поднимаетесь вверх и попадаете в мучительное сплетенье арабских кварталов, где улицы грязны, темны, потому что каждый этаж выступает над нижележащим; дома же здесь трех-четырехэтажные; улица представляет собою с двух сторон систему выступов, заслоняющих свет; видишь полоску неба вверху; внизу гамканье, сор, толчея, локтебои: толкается все обилие мусульманских народностей; и феллахи, и арабы Африки, и арабы Аравии все в серо- и бело-черных плащах, в характерных повязках, арабы Берберии, левантинцы в пиджачных парах, субъекты в абассиях, поверх которых нелепо надет европейский пиджак; на маленьких площадках неподвижно сидят узкоглазые, цепенеющие монголы из Средней Азии, с узкими глазками и с характерными скулами (вероятно, паломники, посещающие Каир на обратном пути из Мекки); в этой пестрой толпе ковыляют, пол-

зают, показывая свои ужасные язвы, уроды и карлики; такого бреда нигде не встретите вы; в это месиво врезываются караваны богато украшенных пестропопонных верблюдов с сидящими на них неподвижно цветистыми женщинами в шелках; тут мелькают феллашки с глиняными кувшинами на головах и плечах; они в черных платьях; и выглядят точно наши монашенки; у них полуоткрыто лицо, занавешенное от переносицы до подбородка; глаза же живые и огненные.

По сцеплению коленчатых уличек вы проталкиваетесь вместе с толпой мимо дыр, открывающих в улицу свои сласти и пряности; тут продажа шелков, туфель, кож и мехов; вы пересекаете площади шагов пятнадцать в диаметре с витиеватыми, исщербленными тяжелой лепкой мечетями, при которых высокими пальцами торчат шестигранные, покрытые, как лепною проказою, минареты. Знаменитые в прошлом мечети Каира не нравились мне; по отношению к мечетям Тунисии, Персии, Туркестана они являют собой безобразное, завитое барокко; между тем мечети эти видели в своих стенах белую, стройную фигуру самого Нур-Эддина, о справедливости которого ходят в Каире рои мусульманских легенд; по этим вот уличкам он, великолепный наездник, ловко умеющий на коне отбивать мечи, ехал — суровый, прямой, плеща складками с него спадающего бурнуса.

Иногда, попавши в струю, вы несетесь десятками изломанных уличек; и — вдруг: выталкиваетесь в молчание пустой площади, не зная, где вы теперь очутились; в площадь вливается ряд пустых кривулей: совсем мертвый квартал! Некого спросить, как вернуться к местам, более или менее обитаемым: ни полисмена, ни трамвая, сесть негде — так всюду грязно; о том, чтобы зайти в кафе, нельзя и подумать; просиживал много в арабских кафе Тунисии и Радеса, чистых, играющих изразцами; в здешних кафе кишат блохи да вши.

Две трети Каира состоит из сплетенья кварталов, подобных описанному; местность эта, коли идти от Нила, поднимается вверх до подступов и башен огромнейшей городской Цитадели, поднятой над Каиром; он простирается весь под ногами теперь; вблизи Цитадели — протянутые к небу пальцы больших минаретов, принадлежащих главным мечетям Каира.

Между арабским городом и европейским кварталом — ряды улиц, представляющих собой сплетенье полуевропейских, полуарабских, убивающих своею безвкусицею

домов; забредя сюда раз или два, мы потом старались обходить эти места; да и в арабском городе не слишком долго застрянешь с целью понять его быт; после каждого посещения необходимо переменить белье, которое здесь становится неводом, уловляющим блох.

Я не стану описывать, как мы осматривали арабские музеи и прочие достопримечательности; это все рассказано во втором томе «Путевых заметок»;[60] не в музеях характерность стиля Каира как целого, а в разнобое кварталов.

ДРЕВНИЙ КАИР

Старый арабский Каир не волнует; а пятитысячелетний древний Египет, кометой врезаясь в сознание, в нем оживает как самая жгучая современность; и даже: как предстоящее будущее. В чем сила, превращающая тысячелетнюю пыль в наше время? Терялся в догадках, почему в стране мумий Европа оказывалась неотличимой от мумии? Вероятно, что мы стоим накануне работ, осуществимых лишь миллионными коллективами, подобными тем, которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид. Но вздрагивало сознанье, что мы стоим накануне возведенья циклопических контуров, какие взлетали в древнем Египте. Рабы ли мы — вот что меня волновало в Мемфисе, когда я попирал ногами гранитную статую фараона Рамзеса[61], источенную дождями и ветром; сам фараон живо мне улыбался из своего стеклянного гроба и выглядел моложе своего изваяния; в Египте я прозирал новый Египет, развивавший вокруг себя свои повторные формы; скоро открылось мне, что в бетонах Европы тот же, по существу, не изменившийся египетский стиль; Египет папирусов — прах: подлинное перевоплощенье Египта — технические сооружения электростанций, мостов и т. д.; и этот Египет повсюду присутствовал с нами; он восставал перед нами и образом египетского полисмена в английской каске, с поднятой белой палочкой, задержавшего перед нами трамвай тем же самым египетским стилизованным жестом, который сохранил полубарельеф, выщербленный на мастаба;* этот Египет выскакивал на европейский проспект обелиском; из парка, посыпанного пирамидным песком, перекочевывали мы на... этот самый песок; пирамиды притягивали; мы ощупывали рябые их

---

* Мастаба — *могила.*

камни, тая умысел самим, без феллахов, вскарабкаться на вершины их, хотя бы ценою невероятных усилий; но толпа крючконосых «дьяволов» в черно-синих абассиях и эффектно задрапированных в серые и фиолетовые вуали бросалась за нами, едва пытались мы подняться на первые массивы, брошенные у основания пирамиды; нас стаскивали обратно; раз удалось лишь добраться до входа во внутренность пирамиды: нам показалось, что смотрим мы с вершины трех-четырехэтажного дома; тут же толпа вскричавших феллахов грубо нас сволокла; мы оказались у будки, где мне предложили дать подпись, что управление пирамид не ответственно в нашей гибели; пришлось покориться; но когда я увидел толпу человек в тридцать пять, составлявшую наш эскорт при подъеме, я опять взбунтовался; и тяжбу с толпой разрешил шейх деревни, дав нам по два проводника, которые должны были тянуть нас за руки при подъеме; третий должен был подкидывать сзади; проводники пригласили новых проводников; при нас сверх того оказались: сказочник, кофейник, гадальщик; словом,— двадцать человек с гамом и криком ринулось с нами, когда мы понеслись на гигантских прыжках осиливать не менее 180—200 ступеней, вышиной около полуметра; это скакание задыхающихся, вверх подбрасываемых тел, молящих об остановке, было подобно пытке; сначала адский галоп пошел вверх по ребру; остановка; мы оказались припертыми к площадке, на которой едва могли удержаться ноги; внизу была бездна, куда я бы свергся, если бы не кольцо из феллахов, нас прижимавших спиною к ребру; потом тем же адским галопом швыряли нас вкось от ребра; так достигли половины подъема; и после присели; Асе тут сделалось дурно; я оказался припертым к ступени, которой высота была более метра, а широта сиденья не более 20 сантиметров; в этом месте ужасна иллюзия зрения: над головой видишь не более трех-четырех ступеней; вниз — то же самое; ступени загнуты; пирамида видится повешенной в воздух планетой, не имеющей касанья с землей; ты — вот-вот-вот свергнешься через головы тебя держащих людей, головой вниз, вверх пятами; мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения; это странное физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости тебя наизнанку, называют здешние арабы пирамидной болезнью, средство от которой горячий кофе; пока мы «лечились» им, проводники, сев под нами на нижних ступенях, готовы были принять нас в объятия, если б мы ринулись вниз; а хотелось

низринуться, несмотря ни на что, потому что все, что ни есть, как вскричало: «Ужас, яма и петля тебе, человек!»[62]

Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей жизни; последствие пирамидной болезни — перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью; как будто всходил на рябые ступени одним, сошел же другим; измененное отношение к жизни сказалось скоро начатым «Петербургом»; там передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяженьи всего романа[63].

«Пустыня... кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем,— мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться! В толстом пробковом шлеме с вуалью сидит Николай Аполлонович на куче песку... Перед ним — громадная голова: валится тысячелетним песчаником. Николай Аполлонович сидит — перед сфинксом... Николай Аполлонович провалился в Египте... Культура — трухлявая голова: в ней — все умерло...; будет взрыв: все — сметется»; но «есть какие-то звуки; грохочут в Каире; особенный грохот: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович — тянется к мумиям» («Пет.», 2-я часть, стр. 268)[64].

«Завечерело; в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты грозно; да, да: все расширено в них...; загораются темно-карие светы; и — душно. И он привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку; он сам — пирамида, вершина культуры, которая — рухнет» («Пет.»)[65].

Вот с чем сошел я с вершины, как бы оглушенный паденьем огромного тела; и глухоту с той поры я понес по годам; «пирамидная болезнь» длилась долго; меж влезанием на трухлявый бок пирамиды и переживаньями «Петербурга» протянулась явная связь; приводимый отрывок вставляю сознательно я в этом месте; эта — схваченность роком, вперенность в сфинкса, загадывающего нам загадки, сопровождала года.

. . . .

И — снова галоп; и вновь — остановка; и наконец — на вершине мы; площадка — не более десяти шагов; эти десять шагов образовалися потому, что англичане, молоточками откалывая себе по куску, снизили пирамиду метров на пять; сверху кажется она невысокой; расстояние до основания, быть может, уменьшилось от падения сумерок; солнце село; один из арабов, бросивши руку в рябую песчаную тускль ужасающей мрачности, произнес: «Там — смерть! Там — блуждай месяцами,— не встретишь во-

ды...» Действительно,— там разбросались не пески даже, а черные, до ужаса раскаленные камни — хамады, где никто не бывал; в Сахаре нет таких мест; только Ливийская пустыня их знает.

Спуск с пирамид легок.

. . . .

Наши прогулки по паркам Булака часто оканчивались у подножия пирамид; здесь развертывалась пустыня, соблазняя к экскурсиям: в Мемфис, в Бедрехем и к другим прикаирским окрестностям; то мы посещали домик Мариэтта[66] и опускались в могильные помещения, которые, как, например, комнатки гробницы Ти[67], восхищали чудесными полубарельефами стен, высеченными с предельной реалистической четкостью; то мы блуждали по подземной галерее Серапеума, разглядывая открывающиеся справа и слева гробницы аписов;[68] то отдыхали, присев на огромный поверженный гранитный мавзолей Рамзеса: в Мемфисе, представленном не памятниками, а только пальмовой рощей да озерцом; запомнился переезд из Мемфиса к пирамидам Гизеха[69] на осликах; мы ныряли среди песчаных бугров, вдоль маленьких котловин, с дна которых дали не видны, а видны отовсюду вытарчивающие пирамидки, и между ними одна, ступенчатая, эпохи персидского владычества; этот путь в обстании холмов и могил, средь египетского полудня, когда солнце отвесно бьет с бешеной силой, растопляющей мозг, мне запомнился как некий ужас; и я, трясяся на ослике, напяливши куртку на палку, приподнятую как зонт, повторял текст из Библии: «Бойтесь беса полуденна»;[70] опалялась сухая гортань, в глазах плясали красные пятна; кубовое небо над головою густело до черноты; всякий след двадцатого века стирался в сознании; тысячелетия прошлого, обстав вещественно знаками своего бытия, были единственною реальностью; увидавши этот древний Египет среди бела дня в нашем веке, я позднее в Европе его узнавал: на авеню Елисейских полей перед обелиском[71] и на Невской набережной в Петербурге пред сфинксами;[72] он вставал отовсюду — мертвец, заключая в гробничную духоту, поднимая мучительные кошмары.

Наши вечерние прогулки по Каср-эль-Ниль и задумчивые посиды в Булакских садах остались мне как этап жизни, как переоценка прежних путей и как охваченность чувством рока, связавшегося с нашим бегством из Москвы; это бегство развертывалось для нас все более и более в провал всей культуры; обнаружилось, что бежали не из

Москвы мы, а из целой трухлевшей культуры; Москва. Париж, Лондон, Каир — все одно; и недаром египетская старина прорастала в Египет двадцатого века; как и наоборот: Лондоном, Берлином, Парижем, Москвой этот век безысходно валился в египетские подземелья; и недаром рыдала душа на булакском закате; она рыдала о том, что нет вырыва ей: всюду — рабство; меж нашим уездом и будущим испуганным возвращеньем «домой» углублялась переоценка всех ценностей — личных, идеологических; перерождался взгляд мой на жизнь, неся в будущем ряд своих революций, протекавших по-разному во мне и в Асе; наше стояние друг перед другом в Египте связывало внутренние повороты, происходящие в нас, с образами друг друга; образы эти разрастались неимоверно; и Ася, казалось, вперяется в меня взором сфинкса; и я, вероятно, вперялся в нее этим взором.

Каир остается мне переломным моментом во всем путешествии нашем; до Каира как бы путь лежал наш вперед; с Каира же начиналось возвращенье туда, откуда мы вырвались; мы возвращались, чтобы вынашивать, сидя на месте, теперь вовсе новые критерии жизни, не входившие доселе в сознание; поглядев друг на друга с испугом, как бы мы увидели: из глаз наших смотрит неведомое — друг на друга.

Мы в Египет приехали на три недели и хотели проехать до нильских порогов, посетивши Люксор, Ассуан[73], но несчастное разгильдяйство мусагетского секретаря Кожебаткина нас не только лишило поездки, оставив без денег, но и заставило пять недель ожидать этих денег в раскаляемом день ото дня и овеваемом хамсином[74] Каире; явь мешалась с кошмаром; все последние дни мы как бредили, тоскливо шатаясь по Каср-эль-Ниль и тщетно тщась бежать из Египта; наконец день настал; взяты билеты в Яффу;[75] помнится, накануне отъезда мы сидели над Нилом и созерцали в последний раз медленный золото-карий закат; сумерки полнились уху не слышным рыданьем; мне вдруг стало грустно, что никогда уже не увидим этих мутных и трепетных сумерок; мы прощалися с ними: их не увидели больше нигде.

ИЕРУСАЛИМ

Последние две недели в Египте как бы мне прошли под хамсинными сумерками; мертвой, желто-коричневой мутью окрашен был свет; в день отъезда такие же сумерки

тускло маячили над Порт-Саидом; по мере того как перемещались мы к Яффе, мне отчетливей осозналося: сумерки эти — весьма символические: для нас они — сумерки всей Европы.

В Тунисии я впервые увидел изнанку колонизации; она мне открылась как паразитизм; Египет лишь утвердил это мнение; после Тунисии и Египта с особенной лютостью относился я ко всем выявлениям европейской цивилизации[76]. И я осознал, что итог путешествия нашего не случаен: мы ехали с Асей в Европу, а оказались совсем неожиданно в Африке; возвращались же Азией, минуя Афйны, где мы должны были оказаться согласно первоначальному плану; и это — неспроста; европейцы всюду нам предстояли как угнетатели, исказители и развратители мира; с тех пор до самых годов мировой войны во мне стали медленно крепнуть переживания, итог которых — решительное принятие лозунгов Октября; о политике я эти годы не думал, а оказался с момента войны в самых левых рядах, не приемлющих старого мира; после африканского путешествия Россию я уже не противополагаю Европе; весьма характерно, что Иерусалим встретил меня конфликтом с русской буржуазией; конфликт произошел в отеле Иерусалимского подворья, в котором остановились мы.

Ранним утром наш пароход закачался у ясных вод Яффы; мы впервые после пятинедельной жизни в Каире увидели юно-весенние бледно-голубые барашки на небе и чистые юно-голубые тона весеннего неба, сообразив, что более месяца небо Египта не показало нам ни одного настоящего облачка, ни чистого голубого тона; небо Египта виделось кубово- или коленкорово-черным, когда не бывало тусклью; помню, как радостно мы стояли, опершися о борт и разглядывая совершенно прозрачную воду, из которой фосфорно нам сияли розовые, бирюзоватые или фиолетовые стайки в воде скользивших медуз вместе со стайками бриллиантовых рыбок; перед нами стлались зеленые апельсинники Яффского берега, покрытого беленькими домиками европейского типа; голубой фон далеких иудейских гор придавал особую приветливость береговому ландшафту; пароход осадили многие десятки пестреньких лодочек с разноцветными лодочниками, кричавшими во все горло; вот босоногая толпа уже с громкими криками абордировала пароходные трапы; мы были схвачены, скручены, чуть не избиты; вещи наши тотчас же вырвали у нас; и — вот: они — полетели за борт; я схватился за Асю, чтобы хотя бы ее не оторвали грабители от меня; мы

попали с ней в одну лодку; но я с ужасом видел, как вещи наши через головы крикунов, метавших их из рук в руки, неслись далеко от нас: куда-то в сторону; я тщетно кричал, протягиваясь за ними; успокоительно с берега мне махали руками: де все разберется.

Действительно: вот уже мы в вагоне; вещи при нас; но новая мука: десять минут ругани с роем кричащих голов в фесках, желающих аннексировать нас на все время нашего пребывания в Палестине:

— «Два фунта в день, включая поездки в Вифлеем, к Галилейскому озеру, на Мертвое море! Будете довольны... Хорроші ослики».

Отмахиваюсь.

Поезд уже летит по свежим, зеленым, покрытым яркими пятнами цветов лугам и холмам Иудеи, встретившей нас пышной, молодой еще зеленью, свежестью и даже влагой; но скоро же начались здесь дождливые дни; солнце спряталось; а я — схватил насморк.

От Яффы до Иерусалима — незаметный подъем; перед Иерусалимом — гряда иудейских холмов развертывалась сплошным недостроенным городом; среди этих вылепленных природою стен, бастионов и барельефов — отчетливый орнамент настоящей стены с вышками церквей и мечетей, выточенный из весело-цветного местного камня; так издали выглядел семиворотный, пестроцветный Иерусалим, обстанный многими домиками широко развернувшихся европейских предместий, состоящих из сплошных садов миссий — английской, русской, французской, немецкой и т. д.

Не помню, где мы остановились: помню, что это был английский отель,— дорогой, неуютный, безвкусный и чопорный; выскочив из него, тотчас же мы зашатались по кривеньким уличкам мусульманского города и по пригороду, ширившему свои парки, в которых тонули постройки, принадлежавшие миссиям; огромные, зеленые пространства русской миссии притянули наше внимание, хотя бы потому, что сады ее пересекал поток мужиков и ярких кумачовых баб; мы пять месяцев не видели русского человека; а тут сразу — Тула, Рязань, Ярославль и т. д.: ярмарка говоров, окающих и акающих, чувствующих себя, по-видимому, как дома; мне запомнилась баба, торговавшая здесь какой-то мелочью:

— «Давно в Иерусалиме?»

— «Приехала назад восемь месяцев; так тут повадно... Я и осталась!»

Поздней мы узнали, что многие из богомольцев застревают на месяцы; не умею сказать, где они проживают и чем промышляют; но должен сознаться: окрестности Иерусалима после Египта показались мне очень уютными; самые турки, сирийцы, арабы по цветам, по манерам так согласно сливались с российскою кумачовою пестротой; особенно назаретские женщины с незакрытыми лицами, в красных, наподобие сарафана, платьях, выглядят знакомо: настоящими рязанскими бабами; я потом наблюдал переход национальностей от Сирии до Украины; мне казалось, что перехода никакого и нет; уезжая на Запад, чувствуешь резко границу: между Волынью и Австрией; а между Африкой, Азией и югом России — границы не чувствуешь.

Русская миссия — система густозеленых куп, средь которых разбросаны здания консульства, здания Иерусалимского подворья для богомольцев, среди которых есть настоящий, великолепный отель с хорошими, дешевыми комнатами и очень вкусным столом; там стиль — пансионный; заведующий держался любезным хозяином; из своего дорогого и неприветливого английского отеля мы тотчас же перекочевали сюда.

Но перекочевка зта мне стоила многих кислых весьма минут.

У сестер Тургеневых была idée fixe: не унизить себя до церковного брака (какое мещанство!); мужья их несли щекотливости, проистекающие отсюда. Русское общество, в среду которого мы попали в Иерусалиме, было «тонное»; за табльдотным столом нашим тон задавала мадам Олив (жена губернатора) и кислый барин с лицом и манерами Бунина; при въезде Ася с фырком расписалася в книге, нам данной: «Тургенева»; я же остался Бугаевым; так и выскочило на доске: комната № 1: Бугаев, Тургенева; когда же мы вышли к обеду, то нас ждала «встреча»; на лицах стояло: «авантюрист» Бугаев похитил юную барышню из «нашего» общества; сыпались неприятнейшие намеки по моему адресу; мне давали понять: даже самый костюм-де мой неприличен (короткие штаны, гамаши, пробковый шлем); дочка м-м Олив и сама м-м Олив подчеркнули свою симпатию к Асе; вдруг выяснилось: я — писатель, Андрей Белый; сразу же переменился тон отношенья ко мне; и я — попал в «общество»; надменный барин оказался другом моего друга Рачинского, от которого много наслышался обо мне; тут же обнаружился переводчик отрывков Лао Тзе, японец Конисси[77], знававший отца;

обнаружился, наконец, Турчанинов, знававший В. К. Кампиони,— знакомец Аси; за табльдотом, словом, открылась «Москва в Иерусалиме»,— та самая, из которой мы с Асей спасалися бегством; я, конечно, запомнил укусы, которыми мы были встречены; милая родина в лице «нашего» московского общества виделась мне неискренной маскою; и характерно: с тех пор начинаются мои встречи с Москвой как с местом мне чуждым; прежде, бывало, мне всякий москвич выглядел — «нашим», таким-то: Иван Ивановичем; теперь же всякий Иван Иванович становится мне «господином таким-то»; я ждал от него неприятностей; всякая встреча с Москвой отпечатлевается как встреча с той или иной частью того же все ненавистного мне международного, буржуазного общества; «наша» Москва — только часть черного интернационала: Морозова, Метнер, Рачинский участвуют в нем точно так же, как Щукин и Рябушинский.

В Иерусалим мы приехали перед Пасхой;[78] и, следовательно, посетили подобающие религиозные церемонии: и омовение ног, и святой огонь и т. д.; в прочее время мы с увлеченьем толклись по тесным ульчонкам турецкого города, чаще всего забегая на пустую, огромную, камнем мощенную площадь, которой кончался город, обрываясь к Елеонской горе грандиозной верандой; посередине ее шестигранно высилась, поражая мозаикой, розово-красная мечеть Омара (здание эпохи Юстиниана); она стояла на месте древнего Соломонова храма;[79] посередине пространства ее — скала, на которой Авраам приносил в жертву сына;[80] пестро-веселые стены и улицы Иерусалима не имеют ничего общего с древним городом, разрушенным до основания Титом;[81] постройки относимы к эпохе крестоносцев; христианские «святости» здесь перемешаны с мусульманскими памятниками; вы идете по людной торговой уличке, свертываете почти к отвесному спуску и — попадаете... на крышу храма Гроба Господня, здания, состоящего из ряда церквей под одной общей кровлей; здесь Гроб Господень соединен переходом с Голгофой, находящейся под покровительством католиков; посередине квадратной комнаты на каменном столбе стоит реалистически разрисованный... земной пуп, о который я больно ушиб колено[82].

Страстная неделя — разгары страстей, приводящих к дракам среди духовенства; места в храмах разобраны по часам представителями разных культов; если к известному часу не кончат службу, скажем, католики,— врывается

дикая толпа бородатых православных монахов и бьет их крестами по спинам; при этих частых побоищах являются турецкие городовые; они величественно предшествуют всем процессиям, пристукивая огромными булавами по мостовой; процент сокрушенных скул и носов увеличился бы, если бы не эти защитники христианского культа; мне рассказывали про побоище, бывшее назадолго до нас в подземных коридорах Вифлеемского храма,— около яслей; здесь рубились крестами попы разных культов; те же турецкие городовики ежегодно спасают жизнь патриарха на празднике нисхождения с неба огня; я видел это ужасное зрелище: дрожащий от страха старец, облеченный в белый атлас, несется с двумя факелами в руках, как затравленный заяц, охраняемый городовиками от тысяч с ревом прущих за огнем богомольцев.

Мрачное впечатление произвела на меня иерусалимская «святая» неделя;[83] церемонии напоминали порою фиглярство; так: видел я обряд омовения ног, происходивший на площади перед Гробом Господним; я его разглядывал с крыши одного из домов, выходящих на площадь; обряд этот, совершаемый двенадцатью епископами, комичен до ужаса; двенадцать стариков в золотых митрах обнажили ноги, а патриарх трудолюбиво их отирал.

Видел я также и плач евреев о разрушенных стенах; пять-шесть стариков в золотых халатах перед иерусалимской стеной привлекли много сот любопытных, щелкавших кодаками вокруг этого зрелища.

Но в гораздо большей степени Иерусалим мне запомнился веселыми прогулками за пределами города с посидением в турецких кофейнях, где я много беседовал с добродушными турками; запомнился и инцидент в мечети Омара; о нем писали в европейских газетах; какие-то любители-археологи, подкупивши шейха мечети, производили в месяцах по ночам в ней раскопки; они выкрали какие-то разрытые ценности; в ночь же открытия кражи из Яффы отчалил корабль с похищенным; мы, ничего не зная о событии, взволновавшем Иерусалим, бродили в этот день перед мечетью Омара, удивляясь глухому волнению вокруг нас; женщины, мимо которых мы шли, поднимали руки над нашими головами, по-видимому проклиная нас; а два парня в фесках схватились даже за камни; мы поспешили ретироваться; когда ж подходили к ограде миссии, то встретили наших крестьян, бегущих от площади храма Гроба Господня; они кричали: на них-де в городе напали турки; за обедом заведующий подворьем сказал:

— «Как? Вы ничего не знаете? Весь Иерусалим кричит о воровстве в мечети. Дернуло вас идти на площадь в эдакий день... Не выходите за ограду подворья сегодня. Иначе я не ручаюсь за вас».

Ворота подворья были забаррикадированы; около них появилось несколько великолепных краснокафтанных кавасов[84], вооруженных с ног до головы; чуть ли не возник дипломатический инцидент с протестами миссий, требованиями охраны иностранцев и т. д.; был день, когда последним грозил погром; в этот день с богомолья вернулась процессия мусульман со знаменами; узнавши о краже в мечети, она хотела устроить резню европейцев; эту процессию мы видели в момент ее выхода из Иерусалима; члены процессии, остановясь перед Гробом Богоматери, склонили знамена, пропевши какой-то гимн; Иерусалим остается мне в памяти центром антихристианской пропаганды; пропаганда — в показе грубых нравов неопрятного во всех отношениях греческого духовенства.

Сперва собирались мы совершить поездку на осликах к берегам Галилейского озера и ехать морем до Афин, чтобы через Константинополь вернуться в Одессу; но, насмотревшись на нравы греческого духовенства, расстались с мыслью об этом «сантиментальном путешествии»; Иерусалим грубо ушибает верующих; вспомните, как здесь томился Гоголь;[85] и мы решили вернуться в Одессу.

ДО ОДЕССЫ

Переезд Яффа — Одесса[86] совершили мы на пароходе Русского пароходного общества; этот путь ничем не отметился в смысле встречи с людьми; все впечатления приносило море; мы получили удобную маленькую каютку, в которой мне хорошо заработалось; и к концу трехнедельного путешествия мой письменный столик вполне стал рабочим столом; за отдельную плату отвели нам на палубе два удобнейших шэзлонга; и мы почти все время комфортабельно покоились в них, следя за линией берегов, сирийских и малоазиатских, и за панорамою островов Архипелага; погода стояла великолепная; веяло весенним теплом; и — по мере того, как мы поднимались на север,— все больше теплело; ни облачка: всю дорогу; ни качки, ни ветерка, ни дождя; глядя на ленту береговых панорам, развертывающих Палестину, Сирию, Малую Азию, мы совершенно бездумно подводили итоги нашему полугодово-

му странствию; мы говорили о том, что пятна путевых впечатлений и разгляд бытов переродил нас так, что только в годах скажется перерождение это; проблемы истории взволновали меня; я себя теперь осознал в душе очеркистом и путешественником.

Равнодушными сперва взглядами скользили мы по скучноватым, плоским берегам Палестины и Сирии; промелькнули издали апельсинники Кайфы, неизвестные европейцам, но знаменитые здесь (яффские апельсины ничто перед кайфскими); прочертилась линия европейских построек города Бейрута с монументальным зданием университета, устроенного американцами; поразили лесистые горы, увенчанные снегами в месте схождения Сирии с Малой Азией (Александретта, Мерсина); здесь открывалась железная дорога, идущая на Багдад.

От Мерсины пароход ушел в море; берега скрылись; на следующее утро я любовался старыми бастионами и могучими башнями острова Родоса, после которого морская линия горизонта изрезалась рядом причудливых островов, в полосу которых вступили мы и плыли в ней дня четыре или пять; то был Архипелаг; никогда не забуду я ряда каменных, фантастических очертаний, среди которых тихо скользили мы; вот остров — дракон, вытянувший свою пасть по направлению к морю; но мы оплываем его; через двадцать минут его контур меняется; он делается не драконом, а, например, великаном, башней или контуром орла, льва и т. д.; исчезло открытое море, заполнившись десятками островов, разделенных узкими проливами; градация земель, пустынных, каменных, золотистых, обставала нас днем и ночью; сочетание вод легчайшей голубизны с золотовато-нежными рельефами утесов погружало нас в сплошной сон; мне впервые предстал здесь генезис греческой мифологии, ибо я видел химер, драконов, вставшего из воды Посейдона, Атласа и прочих действующих лиц греческих мифов; я понял, что мифология греков — рассказ о причудливых земляных формах, торчавших из моря.

Пять дней отдавались мы сказке, созерцая метаморфозу контуров; а новые и новые острова намечалися с горизонта, в то время как те, которые проплывали мимо нас, становились фантазией, одетой в дымку, с противоположной стороны горизонта; даже не заметили мы, как мимо прошли очертания Патмоса, Лесбоса и других мест, связанных с историей Греции; я считаю, что пять дней,

отданных впечатлениям Архипелага, были днями сплошной поэзии.

Мы приближались к Смирне, где должны были простоять больше дня; и уже собирались использовать день стоянки, съехавши на берег; но в город нас не пустили: там началась холера; вознаградили себя высадкой в Митиленах; пестрые до вычурности греки в красных фригийских шапочках, с чудовищно пышными сборами алых штанов вверху, обтягивающих нижнюю часть ног, как трико, с остроконечными туфлями в четверть аршина длины,— пестрые греки перевезли нас в город; белые, чистые домики, утопающие в зелени, кисти белых сиреней, падающих каскадами отовсюду, щебет птиц, смех,— удивительное место Митилены, летняя резиденция одесских греков-богачей.

За Митиленами окрестности стали однообразно суровые; при входе в Мраморное море глядели мы на пустынные малоазийские берега, нащупывая глазами остатки исторической Трои; и вот уже — открылся веселый Босфор с пестротою стен и мечетей Золотого Рога[87].

Пароход причалил к мосту, соединявшему оба берега: на одном — европейские кварталы, Пера и Галата; на другом — старый Стамбул; мы здесь простояли около полутора суток; взяв на день высококвалифицированного проводника с соответственно высоким тарифом, очень достойного вида, мы отдались ему в руки; и не жалели об этом; в результате мы получили полное восприятие города в целом; даже в паузах, в остановках, во времени, отведенном нам проводником для еды, чувствовался вкус и уменье.

Я не стану описывать мечети Стамбула, стены его, семибашенный замок, мусульманское кладбище и «Сладкие Воды Европы»[88], по которым совершили мы длинное путешествие в легком каике[89], с гулянием по зеленой, береговой мураве; все это описано и Лоти, и особенно Клодом Фаррером в его романе «Человек, который убил»[90]. Вторично описывать, значит дать худший, ненужный вариант классических образцов; и кроме того: после Кайруана, Тунисии, Египта и Палестины впечатления наши были притуплены; приезжего из Берлина, Парижа, Москвы может интересовать восточный стиль города; для нас этот стиль был только повтором; я отмечу лишь облик турецкой женщины, весело разгуливающей с подругами на зеленых лугах, окаймляющих «Сладкие Воды Европы»; высокая, живоглазая, с почти открытым лицом, для вида лишь опу-

шенным черным или кремовым кружевом у подбородка, чаще всего она мне встречалась в ярком желто-коричневом платье с золотистым отливом и с непременными пелеринками; и потом, характерны фигуры крутящихся константинопольских дервишей, длиннобородых, с важными лицами, в огромнейших седых барашковых колпаках; ими кишат улицы города; нас более интересовали военные из «младотурок»;[91] они окончили образование в парижском Сен-Сире, отличались изысканностью манер, прекрасной французскою речью, блестящим мундиром и предупредительной вежливостью по отношению к дамам, что, впрочем, не помешало впоследствии им совершать деяния, превосходящие жестокостью деяния башибузуков[92].

Галатою и Пера, признаться, пренебрегли мы; кварталы эти — плохие копии всякого европейского города; хваленый вид Босфора, разумеется, живописен; но, по-моему, и Неаполитанский и особенно Тунисский залив красотой и размахами берегов превосходят Босфор; хорош, правда, вид на далеко открывающиеся Принцевы острова; но мы были слишком утомлены всем, что ряд месяцев проходило перед глазами, чтобы теперь пристально вглядываться в предстающие прелести.

Словом, когда наш пароход плыл вдоль извилистых и покрытых виллами берегов Босфора, я мало вникал в красоту берегов, которые все сужались, сужались; справа и слева стояли орудия; дула их были направлены к русскому северу; вот последний, коленчатый поворот, и — Черное море, которое действительно показалось мне черным по сравнению со Средиземным; как полагается,— здесь стало покачивать нас; прокачало весь следующий день до темноты; когда же небо покрыли звезды, показался северный берег, густо усеянный огнями Одессы; перед нею мы стали; и простояли всю ночь, чтобы с утра подвергнуться всевозможным осмотрам; с грустью я выбросил мой револьвер, защищавший нас в мраке кривых переулков Радеса; но — делать нечего.

Мне поздней ярко вспомнилось мое вперенье в береговые огни; я себя ощущал тогда точно вор, подкравшийся к ненавистному мне российскому государству, которое, знай оно, каким подъезжал, не должно бы было впускать меня, как почти государственного преступника, в свои пределы; много лет спустя, уже после Октябрьской революции, вспомнилось это противостояние, но в другом образе; между мной и царской Россией — непереступаемая черта; интервенты посылают свои суда в Одессу; пролета-

риат защищает ее; я издали, с севера, из советской Москвы вперяюсь в нападающих на СССР негров; часть моих прежних знакомых, даже когда-то друзей, в качестве эмигрантов спасаются из пределов России; эти два момента живо шевелились в сознании, противополагаясь друг другу, в 19-м и 20-м годах.

Не стану описывать, как мы беспроко осматривали Одессу, как проводили около суток в Киеве[93], где невольно обратили внимание на пестрые пятна крестьянских одежд, которыми расцветились окрестные холмы; Ася сказала мне:

— «Посмотри-ка, чем это все отличается от Палестины? Те же краски на людях и даже в ландшафте».

. . . .

Скоро мы оказались в обстании хорошо мне известных видов Полесья; вот уже Луцк со знакомою Стырью и древними башнями чуть ли не 12-го столетия[94], возвышавшимися над рекой; на станции ждали нас лошади; мы покатили по столь привычной дороге; и вон, вон, уже там, на фоне дубового, густоствольного леса — знакомый, приветливый белый домик лесничества.

Вторая глава

ОПЯТЬ БОГОЛЮБЫ

Вот и подъехали к белому домику; на ступеньках ждал нас хохочущий во всю глотку, косматый и добродушный В. К. Кампиони в обстании своры борзых; с ним С. Н. Кампиони, с задором потряхивающая густой шапкой серых волос; Тани — нет; нет — Наташи; здесь, кстати сказать, в предыдущей главе упустил сообщить: вслед за нами Наташа уехала с Поццо в Италию, как Ася, с отказом от брака; после рассказывали, что Москва разделилась во мнениях; одни утверждали: декаденты бежали, похитив двух девочек (бедные девочки!); другие же твердили: «дрянные» девчонки-де загубили нам жизни; за утренним кофе мы это выслушивали; и узнали: у Наташи будет ребенок.

Первое впечатление от Боголюб — растворенье в природе; все вокруг расцветало с огромною пышностью; мне рощи казались чащами; шум мощных куп явно слышался вздохами моря; вставали картины только что пережитого; и вспоминались слова старика-капитана с «Arcadi'и», когда он со мною похаживал около борта, когда порывы ветров рвали ему бороду, а он, бросивши руку за борт, восклицал:

— «Здесь под нами в большой глубине живут змеи-гиганты!»

Представьте же, вдруг получилась открытка; на ней же был штемпель «Гон-Конг»; мы забыли, что добрый старик в благодарность за полученный от Аси портрет его нам обещался прислать привет из Китая; и вот он пришел; мы припомнили, как офицеры готовились к тропикам, чистили белые кители, которые они должны были скоро надеть: «Вот как в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы... Ну зачем вам Египет! Плывите-ка с нами в Цейлон». И так живо пережилась мне «Arcadia» сызнова через четыре месяца после того, как мы покинули ее борт; «Arcadia» — образ безбытицы, образ плавучего, ставшего домом мне места; сегодня — здесь, завтра — там; я уже был

безбытен, не подозревая всей степени реальности этой безбытицы; и не случайно, что тут же нас перевели в отдельный, только что отстроенный домик, где я почувствовал, что нам с Асей прочного убежища уже нет; порывы ветра неспроста напомнили мне налеты валов, перескакивавших через борт и рассыпавшихся сафирно-лабрадоровой пеной.

Светлы, легки лазури...
Они черны — без дна;
Там — мировые бури.
Там жизни тишина:
Она, как ночь, темна[1].

В большом доме нам не было места (как и нигде его не было); наш домик стоял на проезжей дороге; мы ютились в двух комнатках; и — совершенно одни (с четырех сторон — поле); скирды отделяли от белого дома, прижатого к роще; мы украсили комнаты привезенною из Африки пестротою и многими шкурами вепрей и диких козлов; тут стояли кальянный прибор и курильница; я строчил путевые заметки, стараясь не помышлять о поездке в Москву, где меня уже ждали.

Я вернулся перерожденным; пережитое в Сицилии и Тунисе легло основанием чтения по истории африканских культур; краеведческие интересы вполне заменили мне интерес к философии; падала потребность в Москве, где предстояли сплошные конфликты; седые маститости криво смотрели на мой отъезд с Асей; попав в Боголюбы, не слишком-то я торопился отсюда.

Здесь стою перед трудной проблемой отметить мое вперение в Асю, которую, так сказать, вижу по-новому; с этого момента пристальное изученье ее длилось шесть с лишком лет; я сперва переоценил значение ее для меня; потом: несправедливо я возводил на нее обвиненья; явление ее на моем горизонте казалось мне долгое время бессмысленным.

Пристально взгляните-ка на обойные пятна; вы откроете в них ряд отчетливых образов: и кудрявая девочка, и кошка, и большелобое существо, занятое мозговыми играми, в которых рассудочность чередуется со всякой невнятицей; пятно, от усилия его разглядеть, разрастается перед вами; все в нем проблема, от разрешенья которой меняется личная жизнь.

И так было с Асей.

Поездка вдоль Африки была надуманна; не вытекала она из того, что питали мы дружбу друг к другу; ощуще-

ния, которые связали в поездке нас, казались ни с чем не сравнимыми; но это была лишь патетика: ни с чем не сравнимой дружбы и не было между нами; мы ее выдумали — себе на голову.

Если бросить взгляд на часть описанной мной моей жизни, особенно на события, данные в первой части III тома «Воспоминаний», то читатель увидит, что до встречи с Асей еще в наших жизнях — сплошное разочарование в идеях и людях; разочарование нас спаяло; на «нет» — мы сошлись; и из «нет» не рождается жизнь; наша жизнь зачиналась в рефлексиях; и встречу оформили мы не началом пути, а печальным концом двух разбившихся жизней.

Во время странствия проблема изучения стран нас спаяла; но это — «как бы»; едва странствие кончилось, как погас смысл дальнейшего пребывания вместе; а мы остались друг другу данными для вечного созерцанья; и тут рождалась фикция роковой прикованности нас друг к другу.

Так бы я охарактеризовал лейтмотив, вставший меж нами с первых же дней боголюбской жизни, когда мы, проводя целые дни вдвоем, сидели в пестрых комнатках среди предметов воспоминаний о недавнем пути и не знали, что делать друг с другом.

В эти дни Ася мне виделась уже не такой, какой предстала два года назад: не розовой девочкой, а усталой, состарившейся; я же себя утешал приблизительно так: «лучшее, что возможно мне сделать, это — быть ей опорою». Да, невесело нам было вместе; но оба мы побоялись это друг другу сказать; и начиналась фальшь, поздней окончившаяся трагедией.

Еще особенность этого времени: в Асе впервые я стал наблюдать стремление выращивать утонченную фантастику из каждого ощущения бытия, окружая себя как бы клубами фантазийного дыма; мы вдруг страшно устали от взаимного одурманиванья; тут же доктор нашел у Аси нервное истощение, верней,— самоистощение, источник которого был для него непонятен; все то волновало меня; а надвигались задачи, которые предстояло с трудом разрешить мне в Москве, куда вызывали меня и мать, и издательство «Мусагет», куда нехотя я поехал[2].

МОСКОВСКИЙ ЕГИПЕТ

Мои предчувствия оправдались: Москва встретила жабьей гримасой;[3] начать хотя бы с внешнего: жар, пыль, раскатистый грохот пролеток; и тут же знакомый, мной

где-то уж узнанный звук, угрожающий, с металлическим тяготящим оттенком; и... как, как — Каир?

Что Каир? Но вопрос повисал безответно; и только рыдала душа; так впервые она зарыдала... в Каире; а теперь зарыдала она в доме матери, ставшем мне домом пыток.

Появление в «Мусагет» показало: и он — место рабства; кто продал в неволю меня? Предстоял мне исход из Египта.

Здесь должен я вскрыть отношение к матери, страдавшей расстройством чувствительных нервов; объектом фантазии стала ей Ася, превращенная в интриганку, втершуюся между сыном и матерью; при подобной химере отрезывалась и возможность нам вместе жить; а мать того требовала; мое свидание с ней отразилось лишь шпильками по адресу Аси; я пробовал описать свои впечатления от Африки; но с дико блуждающим взглядом она не желала выслушивать; глаза становились пустыми, а рот был поджатый; поездка-де — стремление интриганки отбить сына у матери; и тут стало ясно: жить вместе нельзя.

И новые трудности: где достать денег, чтобы жить независимо? Я рассчитывал: «Мусагет» напечатает разошедшиеся мои сочинения. Но Метнер, раздув с раздражением ноздри, отрезал мне: «Следует зарабатывать новыми книгами», и так крикливо, так рабовладельчески, что никаких разговоров по существу не могло быть; стоило посмотреть на его налитые кровью глаза, на набухшие черепные жилы, чтобы это понять; когда же пытался я заговорить с другими членами редакции на эту тему, то, едва отрываясь от шахмат, они небрежно выслушивали и возвращали к вопросам, уже дебатированным полгода назад; они не сдвинулись с места; и характерно: кресла редакторского зеленого кабинетика съела моль.

В «Мусагете» денег нельзя было достать; а мать отказала в своих; верней, что в — моих (юридически она имела право лишь на 1/7 денег, которыми пользовалась); я же просил заимообразно лишь тысячу рублей; но меня обвинили в захватнических тенденциях; и я ходил как ободранный, слоняясь из квартиры в квартиру без всякого прока; и тут внимание мое останавливалось на как будто бы где-то уже пережитых объектах; я подолгу замирал между двух подъездных дверей иль на площадках лестниц, вперяясь с четвертого этажа в межперильный провал, откуда с урчанием снизу вверх пробегал лифт, мчась точно в неизмеримость; я бесцельно рассматривал глянцеви-

тые кафели стен, силясь что-то припомнить; и мне представлялись глянцевитые кафели египетских облицовок; проходящие по лестнице неизвестные люди представлялись фигурками птицеголовых иль крокодилоголовых людей, подобными египетскому человечку с жезлом, выступавшему на полубарельефах могил, мне вытарчивавших из песку в час полудня; Египет, пережитой в Африке, настигал на Арбате в полуденный час.

Но совсем изумило меня то, что повеяло от состоявшегося по настоянию мамы свиданья с ее поверенным, И. А. Кистяковским; от имени мамы он ссужал-таки меня тысячею рублей для устройства нашего хозяйства; помню, как я осиливал лестницу, выложенную блестящими кафелями; помню, как сидел перед одутловатым, бледным лицом и совершенно пустыми глазами, подымавшимися из кресел навстречу; лицо было подобно лицу резной египетской куклы, мной виданной в Булакском музее (вроде известной фигуры шейха с жезлом в руке); я вздрогнул невольно: в уме пронеслось: опять Египет! И встала картина пустых пустынь; этот мертвенный, бело-серый, грифельный колорит песков с кружащими над ними прямокрылыми коршунами так четко пережился в массивном кресле из носорожьей кожи.

Да, в Москве повторялся Египет — десятикратно; но в этих повторах будто мне перераждалась Москва; в ней проявилось, вероятно, давно проступавшее, но мной не увиденное, незнакомое пока начало; я поздней осознал, чем меня удивила Москва; удивила впервые в ней наметившимся кубизмом (только потом встали бетонные здания с упрощенными контурами); уж в Италии поднял шум Маринетти;[4] а в Москве выходила первая книжка, принадлежавшая творчеству футуристов, — «Садок судей», в которой встретились братья Бурлюки с молодым Маяковским;[5] футуристическая Москва кубистическими разворотами новых фантазий слагала эпоху, которая слышалась так, как порою слышится дождь из-под набегающего облака; эта новая Москва, предвоенная, Москва первых годов революции, Москва будущих броневиков, разбитых пакгаузов и т. д., связалась мне с только что потрясшими меня переживаниями Египта, которые я никак не мог оформить еще, но которые всюду сопровождали меня.

Вообще я ощущал напор новых восприятий, не вмещавшихся в слово; отсюда косноязычие, немота и чувство почти стыда и преступности, оттого что я вынужден был

утаивать в себе новое; точно я в Африке заразился какой-то болезнью и вынужден ее молча нести в себе.

В числе меня удививших сюрпризов я должен отметить: мне свежее дышалось среди деятелей «Пути»[6], чем средь соратников по оружию «мусагетцев»; проблема культуры, которой задирижировал Метнер, требуя от нас статей в его духе, мне опостылела именно потому, что проблема эта конкретно заговорила мне на материале моих африканских раздумий; я опирался на живой опыт; в «Мусагете» же мне предлагалась абстракция; и я, естественно, льнул к живым людям, непредвзято ко мне подходившим; вокруг «Пути» сгруппировались несколько человек, с которыми связывало меня прошлое; я был тесно связан с Рачинским; нас соединяла память о покойной чете Соловьевых; в те годы я дружил с Морозовой и с близким ей Е. Н. Трубецким, не говоря о Гершензоне, коренном «путейце»; этот стал мне советчиком, другом, сердечно вникающим во все мои жизненные дела; идеология «Пути» в целом была мне столь же чужда, как и идеология «Мусагета»; но ничто не приневоливало меня действовать с «путейцами» в плане культуры; я с ними встречался в час отдыха, попросту; это способствовало моему сближению с ними теперь, когда я наткнулся на «Мусагет»; наконец, два основных «путейца», Бердяев и Булгаков, ставшие ценителями моего искусства, выказывали в те дни знаки особого внимания ко мне.

БЕРДЯЕВ, БУЛГАКОВ

Н. А. Бердяев, переселившийся вместе с Булгаковым уже два года тому назад в Москву, особенно приближается ко мне; передо мною встает его личность в стремлении быть многогранным и в стремлении монополизировать, так сказать, все вопросы о кризисах жизни, культуры, сознания, веры; он точно расклеивал среди нас с аподиктическим фанатизмом свои ордонансы[7], напоминавшие энциклики папы; в этом мыслителе, увлекавшемся раньше марксизмом, потом кантианством, штудировавшем Алоиса Риля, Когена и Наторпа, поражали ярко художественные устремления; клавиатура его интересов простерлась от Маркса и Штирнера до... Анни Безант; еще в Вологде, куда он был сослан в начале века одновременно с Ремизовым и Каляевым, он увлекался Метерлинком, Гюисмансом; но все вопросы, им поднимаемые, имели публицистическое оформленье при все-таки несноснейшем догматиз-

ме; он казался не столько творцом, сколько лишь регулятором гаммы воззрений; мировоззренье Бердяева мне виделось станцией, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей; собственно идей Бердяева среди «идей Бердяева», бывало, нигде не отыщешь: это вот — Ницше; это вот — Шеллинг; то — В. С. Соловьев; то — Штейнер, которого он всего-навсего перелистал; мировоззренье — центральная станция; а Бердяев в ней исполняющий функцию заведующего движеньем,— скорее всего чиновник и менее всего творец; акцент его мысли — слепой, волевой, беспощадно насилующий догматизм в отборе мыслей ряда философов; он как бы ордонировал: «А подать сюда Соловьева! А подать сюда Ницше!» Порядок же пропуска поездов исполнялся жандармами от якобы «интуитивного ведения», верней,— собственного произвола, вне которого и нет «центральной станции».

В книгах, в лекциях, фельетонах казался всегда фанатичным; в личном общении бывал мягок, терпим; «государственный пост» его философии вынуждал не иметь своей базы; он заведовал лишь чужими базами; его догмат был временной тактикой: быть по сему,— до отмены «сего» его ближайшим приказом; приказами 900-х годов отменялись марксизм, кантианство; приказами девятьсот десятых годов отменялся Булгаков, склонившийся к православию, отменялося православие и царизм кадетской программой; пропускалися элементы культуры, уже обреченной на гибель сквозь линию рельс, начинавшихся от «я» Бердяева и продолжавшихся к «голосу Божьему», Бердяеву зазвучавшему; до Бердяева был и в Новом завете лишь Ветхий; а с появленья Бердяева божий глас стал устами Бердяева нарекать новые знаменования старым предметам; и Николай Александрович, разбухая, приобретал печать Адама Кадмона[8], не отличавшегося от Николая же Александровича, шествующего по Арбату в своем обычном сером пальто, в мягкой шляпе кофейного цвета и в перчатках того же цвета; так что делалось ясно: в миг, когда Николай Александрович запроповедует о власти над миром святейшего папы, это будет лишь значить, что Николай Александрович и есть этот папа, собирающий у себя на дому не философские вечеринки, а совещанье епископов — Карсавина, Франка, Лосского, Ильина, Вышеславцева.

Высокий, высоколобый и прямоносый, с чернявой бородкой, с иконописно раскиданными кудрями почти до

плечей, с видом гордого Ассаргадона иль князя Черниговского, готового сразиться с татарами, он мог бы претендовать на колесницу иль латы, если б не шла к нему темно-синяя пара с малым пестрым платочком, торчащим в кармане, и если бы не белый жилет, к нему тоже шедший; он уютнейше мне улыбался; что-то было от пестрой богемы во всей его стати, когда предо мной возникал на Арбате он в светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета с полями, в таких же перчатках и с палкой; любил очень псов; и боялся, крича по ночам, начитавшись романов Гюисманса.

У себя на дому он всегда отступал перед собраньем возбужденных и экстатических дам, предводительствуемых двумя особами, совершенно несносными; супруга, Лидия Юдифовна, черная и востроносая, с бестактным нахрапом кричавшая и ваш вопрос, обращенный к Бердяеву, перехватывавшая; Лидия Юдифовна порой не позволяла вымолвить слова: «Подожди, Ни, я отвечу!» Если вам удавалося избежать одной фурии, вы попадали к другой, цепко-несносной: «Подождите же, Ни! Дело в том, Ни, что ему следует рассказать...» — и начинались потоки дотошных словечек, напоминавших падение дождевых капелек: «Т-т-т-т-т-т»; оставалось вздохнуть, схватить шляпу и — прочь из этого суматошного, дотошного, переполненного дамским экстазом дома, потому что вслед за двумя неудобными хозяйками поднималась толпа их подруг, родственниц, чтительниц, так для чего-то здесь вообще суетящихся благотворительниц, патронесс, иногда титулованных, доводивших бердяевские афоризмы до гротеска; Бердяев же, называемый в просторечии «Ни», с грустной улыбкою томно отмахивался, подергивая головою и пальцами, пытаясь что-то противопоставить свое: «Ну, это вы слишком... В сущности, это совсем и не так...» — и беспомощно он помахивал лишь рукою.

Касаясь предметов познания, близких ему, начинал неестественно волноваться и перекладывать ногу на ногу, схватываясь быстро за стол и отбарабанивая задрожавшими пальцами; и вдруг хватался за ручку под ним заскрипевшего кресла; не удержавшися, с головою бросался он в разговорные пропасти; разрывался тогда его красный рот (он страдал нервным тиком); блистали в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, кусаяся, зубы его; голова ж начинала писать запятые; и наконец, оторвавшись руками от кресла, сжимал истерически пальцы под разорвавшимся ртом; чтобы спрятать язык, припадал всей

кудлатою головою к горошиками задрожавшим пальцам; и потом точно моль начинал он ловить у себя подо ртом; и уже после этого нервного действия вылетал водопад очень быстрых, коротких, отточенных фраз без придаточных предложений; левой рукой продолжая ловить свои «моли» из воздуха, правой, в которой оказывался непредвиденный карандашик, он тыкал перед собой карандашным отточенным лезвием: ставил точки воззрения в воздухе, как мечом, протыкая безжалостно мненье, с которым боролся; свое убежденье высказывал он с таким видом, как будто все, что ни есть в мире, несло заблужденье; и сам бог-отец заблуждался доселе и получал исправление от второй ипостаси, обретшей язык лишь в лице Николая Александровича; высказавшись, становился опять тихим, грустным, задумчивым.

В эти годы меня приобщил он к скрещенью путей, именуемому «новые прогнозы искусства»; оказывалось, что я ему нужен для доказательства того, что искусство уже в распыляемом вихре;[9] он, так сказать, выходил мне навстречу с «добро пожаловать»; и принимал творческий опыт мой.

Совершенно другой род отношений устанавливался между мною и С. Н. Булгаковым; несмотря на всю разность наших позиций, С. Н. ласково, так сказать, меня обволакивал, вслушиваясь в каждое мной произносимое слово, которое переводилось им тотчас же на собственную позицию; Бердяев же не слушал меня, а как бы демонстрировал.

К Булгакову в то время меня тащили с одной стороны Гершензон, а с другой Г. Рачинский.

— «Понимаете, понимаешь...— паф-паф,— Борис Николаевич,— паф-паф,— обкурял меня папиросой Рачинский,— Сергей Николаевич,— паф:— человек удивительный! Его надо...— паф-паф!»

Часто видел я на заседаниях Религиозно-философского общества, как Булгаков склонялся внимательным ухом к Рачинскому, морща лоб и вперяясь перед собой строгими, похожими на вишни глазами; Г. А. Рачинский, бывало, лопочет, обфыркивая его дымом; он же качается покатыми плечами своими, в застегнутом на одну пуговицу сюртуке, и загорается своим очень крепким румянцем на крепких щеках; в Булгакове поражала меня эта строгая серьезность и вспыхивающая из-под нее молодая такая, здоровая стать; впечатление от него, будто ты вошел в свежий, стойкий, смолистый лес, где несет ягодою

и хвоей; бывало, слушает; глаза бегают; вдруг сделают стойку над чем-то невидимым; разглядит, и уж после, твердо отрезывая рукою по воздуху, начинает с волнением сдержанным реагировать голосом, деловито и спешно; он по типу мне представлялся орловцем; приглядываясь к жизни Религиозно-философского общества, понял я, что общество это и есть Булгаков, руководящий фразерством Рачинского; что он нарубит рукою в воздухе Г. А. Рачинскому, то тот и выпляшет на заседании; идеологически Булгаков был мне далек и враждебен; но «стать» его мне импонировала; была пленительна его улыбка, его внимательность к моим словам о поэзии, упорное желание понять в Блоке, о котором он много со мною говорил, его поэтический опыт; отношение Бердяева к поэзии было «светским»; Бердяев, так сказать, гутировал новые стихи; и чем более они эпатировали, тем более они ему нравились; для Булгакова понять опыт стихов было делом сериозным.

Я потому касаюсь этих, выросших тогда передо мною «религиозных философов», что во время моего пребывания в Москве их ко мне парадоксально подтаскивала ситуация интересов «Пути», с деятелями которого стал я водиться; «мусагетцев» же стал избегать.

Ощущение себя в Москве было чувством безбытности, бродов, отсутствия крова; помнится: часто я заночевывал в «Мусагете», в зеленом, изъеденном молью пустующем кабинетике, где останавливались В. Иванов, проездом в Москве, и С. Гессен, периодически наезжавший для составления номеров «Логоса»; Дмитрий, служитель, для этих ночевок имел и белье, приносимое мне; неприятности с матерью часто меня выгоняли из дома; когда исчезали сотрудники и оставалися секретарь, Кожебаткин и В. Ф. Ахрамович, то в «Мусагете» шла своя жизнь; появлялись вечерние гости: Б. А. Садовской или Шпетт, уволакивавший всех с собой в ресторан «Прагу»; Г. Г. Шпетт с «логосовцами» не дружил; в пику им заводил сепаратные отношения с коньячною фракцией он «Мусагета», которую возглавлял Кожебаткин; беспроко стучали мне в уши события «мусагетского» бытика, не имевшего никакого касания до идей «Мусагета»; так, мне запомнилось в это время участие техперсонала в похищении невесты одного отчаянного чудака, выведенного в «Серебряном голубе» под именем Чухолки;[10] невеста была купеческой дочерью, жившею под Москвой; средства на похищение дал Кожебаткин; похитителем был киноактер Гарри, демонстрировавший на фильмах свое свержение с Дорогомиловского

моста; он в темную ночь подъехал на тройке к дому невесты, которая должна была к нему выбежать; но вместо нее появились рослые молодцы; и Гарри пустил тройку вскачь, от них улепетывая; за ним помчались; но он повернулся, навел револьвер на погоню, тем самым остановивши ее; такими забавами развлекался тайно от Метнера наш секретарь Кожебаткин; и Шпетт бывал в курсе подобных забав.

Скоро помню себя ночующим у Сизова, который предупреждал — против «Чухолки»:

— «Будь поосторожней с ним; этого чудака не поймешь: не то шутит, не то серьезничает; пока ты был за границей, он говорил про тебя: «Белый изобразил меня Чухолкой; вот я за это привью ему бациллу холеры». Занимался же он в эмбриологическом институте в те дни. Кто его знает, Боря; он — полусумасшедший какой-то».

Иногда засиживался я у А. М. Кожебаткина, насильственно им приобщаемый к коньячку, на который, как мухи, слетались молодые художники; Кожебаткин подпаивал их; он выпрашивал у них этюдики; а когда художники приобретали известность, «этюдики» продавалися Кожебаткиным за крупную сумму, становясь доходной статьей: Кожебаткин был очень горазд эксплуатировать.

Каково ж было мне тут «приконьячивать»! Выпив лишнюю рюмочку, сколько раз я высказывал Кожебаткину сетования на Метнера, чтобы потом стыдиться такой откровенности и вспоминать стихотворение Баратынского, как мы бежим от ставшего постылым лица конфидента[11].

В этих посидах я предавался, отсутствуя, странным фантазиям; я припоминал, чем специфическим мне отразилися ощущенья Египта; не смейтеся,— мне вспоминались кофейные зерна; когда жарят их, распространяется своеобразнейший запах; я мысленно раздроблял меж зубами кофейные зерна; я вникал в запах их, и особенно в жареный вкус их во рту, переживая жару, духоту, напёк солнца; мне чудилось что-то синее, подобное синей одежде феллашки коричневой; что-то вставало мне от мулаток в тяжелых запястьях; и — да простят мне аналогию ощущения — я вспоминал цвет Египта и запах Египта.

Пребыванье в Москве оставило во мне неприятнейшее впечатленье[12], мной не скоро осознавшееся в те времена и доходившее порою до вспышек таимого бешенства от восприятия только что близких людей просто рожами; такою, если хотите, «рожею» стал Метнер, недавно еще — близкий друг.

Перерождению наших внутренних отношений вполне соответствует и изменение для меня его внешнего облика; помню прекрасно: весной 1909 года простился я с любящим, верящим мне, тонко-отзывчивым другом; летом стрясся над Эллисом музейский инцидент, так разбивший меня; тотчас же вслед за ним последовала телеграмма от Метнера: «Есть возможность начать свое дело!» Я было хотел отказаться; но Петровский подбил меня к организации «Мусагета»; осенью Метнер-редактор явился в Москву; но я так и ахнул.

Явился он бритым; надменное, вспыхивающее беспричинною злостью лицо его как разрывалось; но маска спокойствия стягивала в гримасу его; оно вытвердилось нездорово; сузились, потускнели недавно живые глаза, производившие впечатление голубых; они стали маленькими и налитыми кровью; не знаю с чего, вдруг надулися ноздри, а губы решительно стиснулись; лоб с налитыми височными жилами стал точно бычий; и подчеркнулись напруженные черепные шишки. Не Эмилий Карлович Метнер, а... минотавр; не человек, а... животное бешеное в человеческом образе на тебя дико выскочит, когда забежишь к нему в логово; и непонятно забесится внутренней злостью; увидев его, понял, что что-то погибло меж нами в минуту, когда осуществилась заветная мысль и моя, и его об издательстве. Но долго не понимал я причин, исказивших десятилетнюю дружбу. И подумал, что оскорбил его своим правдивым письмом, ему писанным из Радеса.

Теперь, продумывая в который раз пережитое в то время, мне все стало ясно; было много причин, подававших поводы к ссоре.

Так, пребывание в мае 1911 года в Москве есть уже состоявшийся разрыв с «Мусагетом»; но сознание этого было столь тяжело, что я, стиснувши зубы, недообъяснившись, все бросив в Москве, бежал в Боголюбы.

К счастью, в те дни не осознавал я и десятой доли того, что происходило со мною; если бы осознал, вряд ли нашел в себе мужество продолжать жить так, как жил; понял бы я, что меня разбивает тяжесть моей трезвости и совершенной конкретности; меня давил быт, впервые увиденный во всех мелочах; до сей поры я над ужасом быта скользил; материальная стиснутость, зависимость от каких-нибудь нескольких сотен рублей, теперь впервые раскрыла мне безвыходность моего положения: не иметь возможности обеспечить Асю элементарными жизненными удобствами и видеть всю ее беспомощность в тех условиях, которые

мог я ей предоставить; будь у нее пламенная любовь ко мне и решимость бороться за нашу жизнь, все это пережилось бы иначе; но теперь вижу, что у нее не было никаких стимулов отстаивать нашу жизнь; она пассивно как бы ждала, что все сложится само собой; менее всего сознавала она, что для этого нужен и с ее стороны какой-то творческий импульс; я со всей трезвостью видел ее несознательность в этом смысле; эта трезвость была для меня раздавливающим меня молотом; я видел: то, что готовится нам в ближайшие месяцы,— ад, мука, бессмыслица; и весь был вперен в созерцанье чудовища, которому имя «быт»; главное,— я был заперт в себя, потому что ни с кем не мог поделиться сущностью моих страхов; и невольно, бездомно шатаяся по Москве, переживал субъективнейше все, к чему прикасался; переплавлялось как бы самое существо моих восприятий; пустяшнейшее впечатление отлагалось в вовсе новое качество; все мелочи стали выглядеть страшным оскалом; отовсюду вытягивались вместо знакомых, даже друзей, лишь неведомые прежде уроды, от которых я вынужден был защищаться и о которых не мог никому ничего я поведать; мое сознание уподоблялось прижизненно умершему, сошедшему в царство теней и утратившему самую способность объясняться с зловещими, его обступившими ликами; я жил в обстании чудовищных образов, люто вгрызавшихся в меня; в тех мучениях, которым не было имени, переплавлялась самая субстанция переживаний моих; но, глядя из будущего, я мог бы в те дни впервые сказать себе, что самопознание точно раскаленными щипцами изрывало мое существо; до того рокового лета жил, был, мыслил некто, которого называли Борис Николаевич Бугаев, одевшийся в некий призрачный кокон, называемый Андреем Белым; но вдруг этот Белый вспыхнул в процессе самовозгорания, суть которого была непонятна ему; от Белого ничего не осталось; Борис же Бугаев оказался погруженным в каталепсию, подобную смерти; он умер; и ел, спал, двигался наподобие мумии; в себе самом слышал он отдаленные отзвуки некой жизни, к которой возможен пробуд; но — как пробудиться? Во всяком случае, не Ася пробуживала; она сама была как во сне; жила мумией. Таково приблизительно было мое состоянье сознания, когда я тронулся из Москвы к ней.

Пустынный шар в пустой пустыне,
Как дьявола раздумие,
Висел всегда, висит поныне
Безумие, безумие.

Нет, нет,— стояние на пирамиде, вперенье в пески пустынь продолжалось еще; и никакие, казалось, силы не могли развеять это оцепененье.

. . . .

В Боголюбах ждало меня письмо Блока[13], с которым я деятельно переписывался из Африки, как о том упоминает тетка Блока, Бекетова: «С североафриканского побережья, куда уехал... Борис Николаевич, Александр Александрович стал получать частые и длинные письма»[14]. Первую неделю я только радовался своему возвращенью на лоно природы; мотыльковые цветики пестрили мне дни; желторой курослепов уже откачался на мае; заизумрудил ночами, в днях серый, мизерный иванов жучок; многодревые чащи качались; тянулись к востоку закатные проясни, не угасая, переходя в лучезарное утро; тихоглавые липы сквозили жарищею синей у домика; мы шутливо дружили с В. К. Кампиони, который все-то поддразнивал нас: «У, у, декаденты паршивые»,— будто обругивал, а выходило пренежно; иль с крыльца, приложив руку ко рту, зычным басом кидался в пространство, стараясь казаться свирепым; но прислушивался к тому, чем мы жили; шутливый смешок соединялся в нем с искренним уважением к нам; под грубостью прятал тончайшую душу и никому не мешал; во мне вызывал алогично он образ седого и добродушного старика-капитана с «Arcadia», руку бросавшего с борта в просторы ветров; и просторы Волынской губернии, ветром хлеставшие в нас, напоминали мне простор моря, безбытицу, нас уносившую некогда от всего нам известного; так же дружил я с С. Н. Кампиони, и мне были близки неустрашавшие и веселые порывы ее; боголюбское общество: Кампиони, его помощник, похожий на Балтрушайтиса, сестры Аси — Наташа и Таня, Наташин муж, Поццо, скоро присоединившийся к нам из Москвы, брат сестер Миша[15], Аришенька — няня, да наезжающие из волости гости, соединявшиеся уютными вечерами в том домике, куда сходились: обедать и ужинать; возвращавшийся к вечеру после объезда лесов иль с охоты В. К., опершися локтями на стол, присаживался за шахматы к Асе, разглаживая кудрявую бороду.

Лето это казалось значительным нам; мы вынашивали возможности снова бежать за границу, чтобы мне писать новый роман, чтобы Асе кончать курс гравюры в Брюсселе у старика Данса; я уже застрачивал «Путевые заметки»;[16] жили мы ожиданием чего-то большого, придвинутого вплотную; я позднее, из Швейцарии, вспоминал это время

в написанном фельетоне «Гремящая тишина»;[17] Боголюбы, Луцк, Торчино ведь попали в громовую полосу русско-австрийского фронта; летом 1911 года на окраине города расквартировали гусар, звенящих саблями, шпорами и кричащих кровавого цвета рейтузами; с появлением их потянулись военные слухи, и какое-то беспокойство охватывало на прогулках в полях; я, Наташа и Ася прислушивались к дальним рокотам, напоминающим гром иль гременье телеги по выбитой и пылявой дороге.

— «Ты слышишь?»

— «Слышишь?»

— «Да, гремит».

Гром? Безоблачно небо. Орудия? Но — откуда? Телега поехала по дороге?.. Дорога пустая, протянута вдаль. Нет источника грохота, а — погромыхивает; слышу — я, слышит Ася; Наташа вслушивается средь порхающих васильков созревавшей пшеницы; вот — грохнуло; обрывается наш разговор; мы молчим: ру-ру-ру.

— «Слышишь?»

— «Да, да, погромыхивает».

Что это было?

От этих вот рощ листоплясом подымется ветер; и ясногогий закат объясняет пространство под облаком; он разгасится венцами перстов; и начинаются замерки; возвращалися с поля, прислушиваясь к полету времен; фыркают лошади; и мчится в ночное мальчишка верхом, растопырившись пятками и бросаясь локтями: гоп, гоп мимо нас. И — вновь грохнуло.

Раз уже в сумерках шли мы домой; сине-серая дымка июльского вечера стлалась; вот на приступочке белого домика, видим, сидит загорелый, кудластый лесничий, сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас.

— «Вот ведь — черт: подъезжает телега; гремит колесом; выйду я, жду-пожду — никого... а — гремит! Что за черт?»

— «Мы давно это слышим».

— «Вы слышите?»

— «Что там?»

— «Гремит...»

И В. К. Кампиони, полусконфуженный и рассерженный, только разводит руками; и, плюнув, — уходит с крыльца.

Я описываю восприятия эти, нас волновавшие в мирных волынских полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться; ведь домик лесничего

и большой, через год лишь отстроенный дом,— все разрушено было: австрийскими пушками (погибли и книги мои, и коллекции африканских безделиц); здесь длились бои.

И общее впечатление этого лета: *гремящая тишина;* тишина — зрела «громами»: упадающей эры; «гремело» не здесь, а над миром; грохот — слышали; вот стихотворение, написанное мной в эти дни:

И опять, и опять, и опять —
Пламенея, гудят небеса...
И опять, и опять, и опять —
Меченосцев седых голоса[18].

Грохотала бедами атмосфера России.

К августу я вплотную вошел в «Путевые заметки»; утра, вечера я согбенно сидел над столом, обалдевший, не выходя на прогулки и имея объектом все ту же оцепеневшую Асю, лежавшую передо мной на диване и покрывавшую себя клубом дыма; и как бывает: когда в думах, забывшись, вперяешься в то же стенное пятно, изучая его машинально, выступают в нем образы, ассоциируемые с работой; и так образ Аси передо мной разрастался, примышляясь невольно к работе; мы встретились в годы, когда моя жизнь мне казалась разбитой; я думал о смерти; и вот, глядя на Асю,— подумалось: лучшее, что могу, это — блюсти ее жизнь, служить ей поддержкой; и дружба росла оттого, что Ася могла на меня опираться; отсюда и бегство с ней; я утешался иллюзией; в умении стать ей опорой я обретал смысл всей жизни; он рос до ощущения почти роковой пригвожденности; и приходилося жить чувством рока; других надежд не было; читал ее облик я несколько лет; и различно прочитывал, умаляя и — переоценивая.

Ненормальна была ее жизнь; мало что читавшая и даже невежественная в проблемах культуры, далекая от всякой общественности, она росла в обстановке развала большого имения и впадения в нищету аристократа-помещика А. Н. Тургенева, ее отца, имевшего родственников от камергеров до... бунтарей; соедините традиции декабристов с анархизмом Бакунина (мать Аси — дочь одного из братьев Бакунина)[19], Муравьевых от «левых» до «вешателя»[20], Чернышовых и прочей когда-то знати, и вы получите дикий хаос воззрений деклассированного дворянства; вот чем надышалась в деревне она; природная восприимчивость, соединенная с болезненной чуткостью, не могла заменить ей сознанья и знаний; тяжело пережив

разрыв матери и отца, она попадает к д'Альгеймам, отказавшись жить с матерью; отец, соединяся с другой, жизнь кончает в кругу эсеров, сближаяся с террористами; и умирает за несколько дней до готовившегося его ареста; Ася же, попавши в дом тетки, певицы Олениной-д'Альгейм, всецело поддается влиянью утонченного стилиста, когда-то бывшего в кружке Малларме, П. И. д'Альгейма, и механически нашпиговывается всевозможной французской утонченностью от символистов до мистиков; она умеет с естественной грацией дымить папироской, очаровательно улыбаясь, и отпускать то мистические, то скептические сентенции с чужого голоса; читатель, скажите, не правда ли: грустное зрелище; и зрелище это представляла собой Ася; в ней чувствовалась неизбывная боль из-под ангелоподобной улыбки (недаром мы когда-то ее и сестру ее прозвали «ангелятами»); но «ангелята» — показ; а под ними — растерянность, горькие слезы и стон.

Вот с этим-то растерянным, болезненным и теперь меня пугающим существом я связал свою жизнь в эпоху разуверенья в себе! Невеселые перспективы вставали.

И здесь отступление.

Я подхожу к той полосе жизни, в которой судьба мне вычерчивает три лица, особенно связанные со мной до 1915 г.; человеческие отношения развертываются различно в зависимости от того, происходит ли этот разверт в дуэте, в трио, в квартете и т. д.; этим летом я натыкаюсь на трио, от которого завишу впоследствии; это трио есть: А. М. Поццо, Наташа и Ася;[21] внешние обстоятельства жизни скоро слагаются так, что мы вчетвером оказываемся за границей, связанные кругом интересов, сначала в Берлине, потом в Швейцарии; позднее ж судьба так убирает от меня этих лиц, что, прояви я усилия с ними встретиться, это было б отрезано.

Но об этом потом.

Итак, надо же наконец хоть как-нибудь охарактеризовать это трио. Во-первых, А. М. Поццо. Я его знал давно, с 1904 года; он выскакивал беспрестанно из дымящихся уст Рачинского: «А вот,— паф-паф,— А. М. Поццо», или: «Такие лица — святися, святися,— как А. М. Поццо»; вопреки этим выкрикам А. М. Поццо ничего мистического в себе не носил; это был застенчивый, рассеянный, с утрированно скорбным или утрированно романтическим нахмуром, с улыбкой не то «несказанного» благородства, не то просто искательной студент-юрист, неглупый, культурный; сальных свечей он не ел; но и звезд с небес не хватал;

появившись из уст Рачинского в 1904 году, он скоро зажил в «Доме песни» д'Альгеймов как «свой»; он вообще делался «своим» в утонченных домах с необыкновенной, естественной легкостью; когда же «Дом песни» стал местом встречи романтикою и молодостью разогретых душ и там, в «Доме песни», начались романтические приключения между мною и Асей, Наташей и многими молодыми людьми, то А. М. Поццо оказался влюбленным в Наташу; это кончилось одновременным «побегом» моим с Асей в Сицилию, его с Наташей — в Италию; вот и все, что пока надо; в памяти моей А. М. Поццо встает как нечто, до сей поры не нашедшее для меня своего разрешения; ни цвета, ни вкуса, ни окончательной изваянности нет в его облике; он мне полная противоположность, например, Эллиса; я Эллиса не видел уже 20 лет;[22] но знаю твердо: кем бы ни сделался Эллис, он переживает максимум определенности; если он большевик, то — левейший; если католик, то — проповедующий святой костер; яркие краски, яркие тона; Поццо — нигде, ни в чем не может быть ярок; но — утонченно-тускл; и оттого-то из суммы всех моих отношений с Поццо: нежно-интимных, братских, негодующих, кислых и т. д., удержались лишь полутона; так что основной характеристикой Поццо, каким он остался мне, я принужден считать парадоксальную: у меня нет характеристики Поццо.

Два слова теперь о Наташе; она доминировала в качестве звезды первой величины в созвездии, именуемом «Тургеневы»; в д'альгеймовских кругах о Наташе ходили легенды; еще до знакомства у меня создалось впечатление: то Наташа, сев на диван, заново переживает проблему Раскольникова: можно ль убить? То: Наташа читает святую Терезу; один видел в ней оригинал творений Ботичелли; другой отмечал в ее уме резец Микель-Анджело; словом, задолго до встречи о ней наслышанный, я побаивался ее, несколько косился и не разглядывал; теперь же, соединенный с ней и узами родства, и одним кровом, увидел в ней нечто еще неясное для меня, чрезвычайно болезненное; признаюсь, из глаз ее на меня несколько раз блеснул подозрительный и не очень дружелюбный ко мне огонек, заставляющий с ней держать ухо востро. Вот что отложилось в сознании из моих боголюбских тогдашних переживаний; и стало ясно, что трио — чреватое, очень трудное для меня.

Даже Ася! Помимо свойств, мной отмеченных в ней, она поразила меня в это лето ростом в ней медиумических

свойств, не в переносном, а в самом буквальном значении слова; не отрицаю, всякий жест ее был непроизвольно мил, но с позой будто бы глубины, в которой не было глубины собственно, с умением меблировать эти позы цитатою или ссылкой на высокомудрые афоризмы oncle d'Alheim, в которых французские символисты и мистики встречались с классиком Лафонтеном; с такой милой грацией кокетничала она культурными ценностями, что можно было подумать: она знает то, о чем говорит; а она не знала того, о чем говорила; в этом «умном» позировании не было никакого ума, никакого знания, никакой ответственности; votum доверия, к которому взывала она, был тот, что она — «милая девчонка»; и она это знала; в том ее хитрость.

В этой хитрости и обнаруживалось в ней то свойство, которое я хочу назвать медиумизмом; в него, так сказать, въедался уже медиумизм подлинный, вплоть до веры в спиритические стуки и прочее; так, в домике, в котором мы поселились, она будила меня по ночам и заставляла прислушиваться; она переживала ряд стуков, воспринимаемых ею как спиритические феномены, уверяя меня, что просыпается от этих стуков и видит-де на черном фоне ночных занавесок фосфорические искорки, что-де из печки соседней пустующей комнаты вылезает кто-то, шлепая босыми ногами и чмокая губами: ну, — домовой; а прислуги ей нашептали, что еще когда плотники работали над окончанием домика, то они-де убегали отсюда по ночам, так как из древней полешутской могилы кто-то сюда-де таскается; и поднимались легенды о вурдалаках, свойственные Полесью; Ася непроизвольно вгоняла себя в эти специфические настроения; она побледнела и отощала к августу; и сидела на своем вечном диване как загипнотизированная, прислушиваясь к глухому миру, поднимавшему в ней свои вои; каково было мне с ней бороться, особенно вечерами, когда мы, отсидев за веселым вечерним чаем в шумной компании, подымались и шли полем по луне в наш неуютный, мрачный, запертой дом; я знал, что в Асе заговорит сейчас ее болезнь; мы вступали на крыльцо; зловеще взвизгивал старый ключ, когда я касался замка; не забуду, как раз я чиркнул спичкой во мраке, и под абажуром раздался хриплый, злой, чисто стариковский, шамкающий взвой, от которого Ася сделалась белей полотна, да и я вздрогнул от неожиданности:

— «Что за черт?»

Прожужжала огромная муха.

От Аси к Наташе, от Наташи к Аришеньке, дальше к прислуге передавались рассказы: зашептались о тайне нашего домика; Наташа приходила к нам ночевать, чтобы удостовериться в глотаньи слюны застенного губошлепа; а мне одна богомольная старушка рекомендовала почитывать в пустой комнате увещание Василия Великого, обращенное к бесам;[23] вот до чего уходили мы себя с Асей к концу боголюбского лета; говорю — мы, ибо каково было мне переживать Асю в себе и не мочь в ней унять стихий ее, другим не видных, при мне же бунтующих; а предстояла длинная, сирая жизнь вдвоем; немудрено, что она оказалась исполнена долгими и часто ненужными путаницами и искажениями действительности.

Это роковое для меня по последствиям лето скрасилось мне первым сближением с матерью сестер Тургеневых, С. Н. Кампиони; она выступила передо мной не как теща, а скорее как старшая сестра; с дочерьми она находилась в чисто товарищеских отношениях; мы с нею шутили, что она «вот уж не теща!». Она вносила в наши планы много веселой чепухи, экстравагантности, способной «вот уж не распутать», а скорее окончательно все перепутать; вообще, старшая пара этого сумбурного, гостеприимного дома,— почтенный лесничий-меньшевик, горлан, собаковод, и супруга его, вросла дружно в сознание мое и А. М. Поццо; и мы, перед безрадостным отъездом в Москву с думами о дальнейшем устройстве, не без азарта и вызова отпраздновали наше вступление в предстоящую жизнь; нам с Асей нужно было отыскать себе зимнее помещение под Москвой; Наташе с Поццо предстояло найти квартиру; у Наташи ожидался ребенок в конце октября; обе пары не имели денег; оставалось этот тяжелый период брать на ура.

Я ведь не сознавал еще всей степени трагизма своего положения; когда мы, год назад, замышляли наши бегства из Москвы, для меня не виделось ясно будущее; возвращение из-за границы впервые показало действительность: я ощутил себя проданным в рабство — не какому-либо отдельному московскому кружку, а русской буржуазии в ее целом; но социальная сторона моего томления была мне закрыта, а между тем я должен был бы себя сравнить с Артуром Рэмбо, некогда новатором в искусстве, революционером формы, пламенным коммунаром 71 г.[24], в тот период, когда реставрационные тенденции буржуазии заставили-таки и его от свободнейших утопий перейти к... исканию золота; золота прежде всего, чтобы

жить; и вот он «уходит на жестокую, бесплодную борьбу за золото, которое... ищет на Кипре, в глубине Абиссинии...— за золото, которое... наконец находит незадолго до своей смерти»;[25] так же судьбы недавно передового русского искусства отныне попадали в лапы крепнущей русской буржуазии.

В предисловии к книге Ж.-М. Карре «Жизнь и приключения Жана-Артура Рэмбо» стоит: «Артур Рэмбо один из «проклятых поэтов», которыми гордится французская поэзия. Но в проклятии, тяготевшем над ним, нет ничего «божественного»... ничего личного. Это было проклятием времени, в котором он жил»[26].

Проклятием нашего времени была испакощенность казавшегося незадолго пред тем еще творчески свободным искусства; с 1908—10 года упали иллюзии; лапа капитализма легла на те сферы, в которых работали мы; итог впечатлений, привезенный мной из-за границы,— кризис жизни, культуры, сознания буржуазной Европы, которой Россия была неотъемлемой частью,— подтверждал мои домыслы, обостряя мне зрение невероятно; естественно, что, вернувшись из путешествия, я не узнал той России, из которой выехал; не узнал, потому что до путешествия я Россию не видел такой (а она уже стала *такой*); этот привкус мне открывшегося теперь впервые и пережил я как нечто глубоко враждебное мне; отныне я обречен был встречать не «близких знакомых» (Морозову, Метнера, кн. Трубецкого и т. д.), а социальных врагов, поработителей моей свободы; так оно и было; процесс социального осознания длился до революции, во время и после нее; он был источником моего скоро начавшегося разрыва со всем прежним кругом.

Особенно трудно было мне спускаться в мою преисподнюю в силу того, что я не сознавал еще, что не какой-нибудь тот или другой «кружок» или «салон» мне враждебен, а все, все эти салоны и «тоны» — части моей тюрьмы; это скоро сказалось, когда в поисках тысячи рублей я должен был проделывать невероятные усилия; а почтенные люди (и Рачинский, и Морозова, и Метнер, и как их еще) со всех сторон просовывали нос в проблему той «тысячи», чтобы не выпустить меня с нею за границу; все эти люди московского общества поняли инстинктивно: Андрею Белому надо добыть себе денег, чтобы бежать из их власти; он таки — добыл, и — вырвался; через год буржуазная Москва преисполнилась негодования: Андрей Белый изменил себе, изменил искусству и отдается каким-

то дурацким фантазиям, вместо того чтобы быть с нами. Прошу заметить, что в это время Андрей Белый напряженно работал над лучшей в ту пору для него книгой[27], которой в Москве ему не давали писать.

Доживая последние дни в Боголюбах, я готовился ехать в Москву, чтобы в ней натыкаться на неизбывные трудности; я чувствовал себя обраставшим как бы отложеньями тяжести, которые я не мог приподнять к поверхности жизни; я потерял способность объясняться с людьми; это была реакция на ряд для меня огромных узнаний, которые все менее влагалися в слово; пережитое за последние два года оказалось более значительным, чем я мог это предполагать; при объяснении с людьми я находил свою точку зрения бесконечно удаленной от их точек зрения; вокруг меня росла пустота; в силу косноязычия я был обречен медленно выдавливаться из привычек, быта и круга интересов людей, с которыми я прежде водился; трудность моя усугублялась тем, что я лишь поздней осенью осознал истинные корни моей немоты; я выпадал, так сказать, из всех форм быта буржуазной культуры; а культуры, которую я мог бы противопоставить ей, у меня не было; интерес к Востоку, будирование европейской цивилизации — это был беспомощный вызов по отношению к тому, что должен бы я предпринять; в сущности, волил я революции быта, революции сознания, которая развертывается лишь по мере того, как углубляется революция социальных отношений; последней не было; и я обречен был погрязать в своих безъязычных состояниях, мучиться ими, быть недовольным; и — только.

. . . .

Никогда не забуду того серенького, холодного дня, когда мы с Брянского вокзала прогрохотали с сундуками и картонками в Никольский переулок, дом Новикова: в квартиру матери; и вот что́ нас встретило: в переднюю вышла высокая, бледная, с безразличным лицом тетя Катя и недоумевающе посмотрела на нас: «Вы? А — Саши нет. И я не знаю, как... право...»[28]

Тут читатель воскликнет: тетя Катя! Какая такая? ни в «На рубеже», ни в «Начале века», ни в «Между двух революций» нет никакой тети Кати; откуда взялась? Кто она? Читатель, она — *то самое;* во-первых,— тетя моя, и во-вторых,— тетя, проживавшая у нас в квартире[29] и зорко следившая за мной и событиями моей биографии, описанными в первой части настоящей книги; а что о ней

не удосужился я сказать, так в том не моя вина, а свойства ее жизненных выявлений: быть невидимой, неописуемой, подобно тончайшей пылевой слойке, ежедневно вевеваемой в комнату из открытой форточки и обратно вывеваемой в мировые пространства воздушного купола; я мог бы десятки лет описывать происшествия нашего дома, лиц, в нем бывающих, и не зацепиться за тетю Катю; ибо она поступает так, как «вообще» поступают, говорит так, как «вообще» говорят («Днем светло, ночью темно» и т. п.); и никогда, ничем не остановит внимание; в ней — «отсутствие всякого присутствия» чего-нибудь индивидуального; она проявляет себя даже не как «тетя вообще», а как «родственницы вообще», и того менее; этот дар ее к небытию сильно окрашивал воздух нашей квартиры какими-то ощутимыми едва ль не мистически — да простят мне! — тонами, вызывая непроизвольный вздрог жути; я однажды изобразил ее в моей первой «Московской симфонии», в сцене прихода к философу, зачитавшемуся Канта, родственницы в черном платье, которая угашенным голосом перечисляет ему печальные обстоятельства своей жизни: смерть сына, свое одиночество, после чего философ с ужасом садится на пол, а автор в ужасе восклицает: «...все кончено для человека, севшего на пол!»[30] И потом изобразил ее в «Котике Летаеве» под видом заводящейся в межкресельной пыли «тети Доти»: капелька из рукомойника капает что-то-те-ти-до-ти-но[31].

Почему же я осенью 1911 года, вступив в нашу квартиру, зацепился за тетю Дотю, — виноват, — за тетю Катю? Да потому, что в минуты величайшей пустоты и серости веяло мне «что-то-те-ти-до-ти-но».

В своем роде тетя Катя — явление замечательное; и раз она выскочила на поверхность воспоминаний, нельзя не посвятить ей несколько слов, тем более что она проходит невидимо по всем четырем томам.

Тетя Катя переселилась к нам после смерти бабушки; и с той поры неукоснительно сопровождала все события жизни квартиры, которыми сильно интересовалась она, без того чтобы кто-нибудь мог это заметить; ибо, как сказано, сама она была незаметна; тетя Катя множество лет служила на Службе сборов; со службы являлась в 4-м часу и без единого слова проходила в свою унылую комнату с пуком бумаг, который раскладывала перед собой на столе; пук этот составляли пустые листы бесконечной «ведомости», которую заполняла она, вставляя изредка палочку в клеточку; эти палочки в клеточках — предмет де-

сятилетнего моего созерцания; этим занятием заполняла она пустые часы с половины четвертого до поздней ночи, отрываясь к обеду и вечернему чаю; появлялась с заспанным лицом; и молча отсиживала; разговаривала она вообще мало, а при маме в особенности, потому что единственным содержанием ее сообщений была мама:

— «Саша поехала в Крым... У Саши в Крыму вскочил прыщик... Саша пишет, что скоро вернется в Москву...»

Мама, бывало, ей иронически:

— «Что ты все обо мне... Ты бы о себе рассказала» — или: «Это я так думаю, а не ты».

В ответ на это раздавалось:

— «И я так же думаю».

— «Думаешь то же, что я. У тебя нет своих мыслей».

Так сестры пикировались чуть ли не ежедневно.

Но вот странность: у каждого человека на письменном столе поставлено изображение кого-нибудь близкого; у тети Кати за всю жизнь я не видел такого изображения; на столе тети Кати стоял большой собственный портрет тети Кати; перед ним сидела она, и на него глядела она; портрет изображал тетю Катю в зрелом возрасте, когда мелковатые, мягко-незначительные черты ее, ужствердясь, ссохнувшись, приобрели жесткий вид; точно она, прихмурившись, из портрета грозилась на всякого маломальски веселого человека: «Я вот, ух, тебя как!» Тетя Катя никогда никого не любила; в молодости на всякую попытку к ухаживанью она отвечала исступленным фырканьем, напоминавшим фырканье неприятной индюшки; и тетя Катя терпеть не могла все, что отзывалось сердечным увлечением; стоило кому-нибудь в кого-нибудь влюбиться, как этот кто-нибудь делался предметом ненависти тети Кати; само собой разумеется, наш отъезд с Асей в Африку был источником бурного, но таимого негодованья ее; неприязни свои выявляла она не открыто, а, так сказать, исподтишка; она любила, притаясь в своей комнате, например, ненужно напугивать дочь нашей горничной, белокурую девчурочку пяти-шести лет, к которой питала слабость мама; та, бывало, бежит мимо открытой двери, против которой тетя Катя ставит свои палочки в клеточки; из открытой же двери яростный шепот: «Я тебя, у... у... у!» И рев девчушки.

Можно было б сравнить тетю Катю с пресловутою недотыкомкой Федора Сологуба; но это сравнение было б натяжкой; в недотыкомке все-таки есть черты, хотя б инфернальные; у тети ж Кати не было никаких черт,

следовательно,— и инфернальных; она была — безличный помиг серенького денечка; и — ничего больше.

Не требует объяснения тот факт, что она глубоко возненавидела Асю, хотя бы за то, что последняя была мне дорога; и, разумеется, эту ненависть она ни в чем не высказывала; она только не упустила случая доставить нам неприятность, когда мы, влетев с вещами в переднюю, на нее наткнулись в отсутствие мамы; мама только и мечтала о том, чтобы мы с Асей жили у нее (что она не любила Асю, это дело другое); и о запрете ее остановиться нам с дороги в ее квартире не могло быть и речи; но тетя Катя — дело иное; в духе ее, тети Катиных, ужасиков (все ее действия — ужасики!) было тут-то и сделать нам подковырку; появление нас с Брянского вокзала в Никольском переулке в тот неприятный, серый денек живет в моей памяти как сиротливый укол; нам оставалось тотчас же, схватив вещи, броситься в меблированные комнаты (Троицкой на Тверском бульваре); и в ответ на изумление матери, что мы миновали ее, ссылаться на уже совершившийся факт.

Уф! Отдана дань. Невзначай зацепившись за бытие тети Кати, сказал-таки, что у меня была тетя Катя, тетя моя!

. . . .

Иногда бывает так, что события жизни отбираются не по принципу закона причинности, а по эстетическим (красочным, звуковым и т. д.) признакам; вдруг все пойдет так, что покажется: некий декоратор стал подмалевывать события жизни, чтобы они окрасились здесь — гри-перль, там — гри-бискр; так, грустное стояние в передней Никольского переулка, сменившееся трехнедельной полосой пребывания в номерах Троицкой и явившееся водоразделом целого московского периода жизни,— это стояние скликается мне с заказанным Асею себе черным бархатным платьем; оно является в номера Троицкой; и Ася в нем просто внушает мне жуть: безбокая, с грудью, напоминающей дощечку, с черно-зелеными провалами больших, точно молящих о пощаде глаз; глядя на нее такую, какой она делалась в этом платье, не раз у меня чуть ли не слезы навертывались: девочкино усталое личико с жалкой улыбкой, и — платье, и — огромная, широкополая черная шляпа, которую водружала она на себя; все тут нелепо; мы собирались притаиться в деревне, в глуши, под Москвой; так к чему же портнихи и вид кикиморы из салона; нет, видно, эта наружность для того, чтобы сопутствовать

мне символическим образом: совою, или вороном, сопровождающим мое печальное странствие по дебрям жизни:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen[32].

И да, через месяц мы с нею остались одни в сырых октябрьских туманах, роящихся над Расторгуевом;[33] здесь Ася вновь впала в оцепенение, напоминавшее транс, вгрызаясь в книгу Блаватской: «Из пещер и дебрей Индостана»;[34] а я провалился в лейтмотив романа «Петербург», теперь официально заказанного мне Петром Струве для «Русской мысли»[35].

В Расторгуево попали мы благодаря хлопотам К. П. Христофоровой, ведшей переговоры со своими друзьями, какими-то Депре, которые и дали согласие на то, чтобы мы сняли их дачу, уверяя, что она — зимняя; в конце сентября — начале октября трудно себе было представить более уютный уголок; три тихих комнаты, правда, со слишком уж легкими, летними креслами, давали простор для задуми; мы обзавелись расторопной прислугою, Сашей, дровами и всем, что необходимо для зимнего времени; дни начинали мелькать; раз в неделю к крыльцу подъезжала пролетка за мною, отвезти меня на станцию, чтобы к последнему вечернему московскому поезду ждать меня и везти обратно по перелескам, травным лугам; было уютно в вечерних туманах катиться домой, видеть издали огонек и знать, что тебя ждет ужин, Ася и тихие разговоры, в которых я изливал свои московские, надо сказать, невеселые впечатления; Ася с сонной ленцой отказывалась бывать в городе; в Расторгуеве на нее нашел стих ходить в моих коротких тунисских штанах и выглядеть настоящим мальчишкой, с тою, однако, разницей, что лицом на мальчишку ни капли не походила она; стиснутые брови и пристальный взгляд, вперяемый сквозь меня куда-то в неизмеримые дали, подсказывали мне, что в ней углубляется тот же, мною не раз подмечаемый, транс, заставлявший меня вздрагивать и ожидать печальных и роковых событий, которые она словно выколдовывала из хаоса жизни; менее всего она жила «нашей» жизнью; вот уж ни капли не силилась создать ее; и предоставляла мне свободу думать о ней что угодно; но и я в эти дни менее всего думал о ней; ко мне подкрадывалась тема романа, который предстояло мне, так сказать, осадить из воздуха; и вещий, хмурый, болезненный облик Аси мне представлялся символом ворона, закружившего над моей головой:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

Точно после нашего с ней путешествия прекратились всякие непосредственные отношения между нами; во время путешествия она было занялась меня волновавшими темами: арабами, краеведением и т. д.; и теперь, чтобы толкнуть ее на активный поворот ко мне, предстояло сызнова придумывать стимул к «нашей» жизни; и я, сильно озадаченный «никчемностью» наших отношений, принялся в свободные промежутки времени изучать способы передвижения по Тигру (!?) для проезда в Багдад, с мыслью проникнуть в Бассору... Можно было б воскликнуть: «Эк их дернуло! От хорошей жизни в Бассору не попрешь!» Все ж этим я занимался «постольку поскольку». Содержанием реальной работы было писание романа.

Его я замыслил как вторую часть романа «Серебряный голубь», под названием «Путники»;[36] об этом-то и был разговор у нас со Струве; при подписании договора не упоминалось о том, чтобы представленная мною рукопись проходила цензуру Струве; Булгаков и Бердяев, поклонники «Серебряного голубя», настолько выдвинули перед Струве достоинства романа[37], что не могло быть и речи о том, что продолжение может быть забраковано; мне было дано три месяца: октябрь, ноябрь, декабрь — для написания 12-ти печатных листов, за которые я должен был получить аванс в 1000 р.; на эти деньги мы с Асей предполагали поехать в Брюссель; мой план отрыва от Москвы получал «вещественное оформление»; роман во всех смыслах меня выручал; последние переговоры о мелочах я вел с Брюсовым, ставшим руководителем художественного отдела в «Русской мысли»; он пригласил нас с Асей к себе на Мещанскую и угостил великолепным обедом с дорогим вином; наливая нам по бокалу, он с милой язвительностью проворкотал гортанно, дернувшись своею кривою улыбкою:

— «Русская мысль» — журнал бедный, и мы вынуждены непременно кого-нибудь поприжать. Борис Николаевич, вы — бессребреник, святой человек. Ну право, на что вам деньги! Так что прижмем мы уж — вас».

Тут выяснилось, что плату за печатный лист мне положили неприлично малой (чуть ли не 75 р.);[38] помню этот мрачный обед, колкие любезности Брюсова и фиѓурку Аси, напоминающую палочку; она была в своем зловещем черном платье и так невесело улыбалась сквозь злость, что мне делалось не по себе; вообще она вызывала во мне

в этот период жалость до слез; в сожалении главным образом изживалась тогда моя любовь к ней.

Обед у Брюсова — преддверие к долгим осенним ночам, во время которых я всматривался в образы, роившиеся передо мной; из-под них мне медленно вызревал центральный образ «Петербурга»; он вспыхнул во мне так неожиданно странно, что мне придется остановиться на этом, ибо впервые тогда мне осозналось рождение сюжета из звука.

Я обдумывал, как продолжить вторую часть романа «Серебряный голубь»; по моему замыслу она должна была начинаться так: после убийства Дарьяльского столяр, Кудеяров, исчезает; но письмо Дарьяльского к Кате, написанное перед убийством, очень замысловатыми путями таки попадает к ней; оно — повод к поискам исчезнувшего; за эти поиски берется дядя Кати, Тотраббеграаббен; он едет в Петербург посоветоваться со своим другом, сенатором Аблеуховым; вторая часть должна была открыться петербургским эпизодом, встречей сенаторов; так по замыслу уткнулся я в необходимость дать характеристику сенатора Аблеухова; я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне не ясна, и в его окружающий фон; но — тщетно; вместо фигуры и фона нечто трудно определимое: ни цвет, ни звук; и чувствовалось, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучаний; вдруг я услышал звук как бы на «у»; этот звук проходит по всему пространству романа: «Этой ноты на «у» вы не слышали? Я ее слышал» («Петербург»);[39] так же внезапно к ноте на «у» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающий Зимнюю Канавку; и тотчас же вспыхнула передо мною картина Невы с перегибом Зимней Канавки; тусклая лунная, голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком; я как бы мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней; карета остановилась перед желтым домом сенатора, точно таким, какой изображен в «Петербурге»; из кареты ж выскочила фигурка сенатора, совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее; я ничего не выдумывал; я лишь подглядывал за действиями выступавших передо мной лиц; и из этих действий вырисовывалась мне чуждая, незнакомая жизнь, комнаты, служба, семейные отношения, посетители и т. д.; так появился сын сенатора; так появился террорист Неуловимый и провокатор Липпанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей; в провокаторе Липпанченко,

конечно же, отразился Азеф; но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко; когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять во внимание, что восприятие Липпанченко, как бреда, построено на звуках л-п-п[40], то совпадение выглядит поистине поразительным.

С того дня, как мне предстали образы «Петербурга», я весь ушел в непрекращающийся, многонедельный разгляд их; восприятие прочего занавесилось мне тканью образов, замыкавших меня в свой причудливый мир; но я ничего не придумывал, не полагал от себя; я только слушал, смотрел и прочитывал; материал же мне подавался вполне независимо от меня, в обилии, превышавшем мою способность вмещать; я был измучен физически; но не в моих силах лежало остановить этот внезапный напор; так прошел весь октябрь и часть ноября; ничто не пробуждало меня от моего странного состоянья; как во сне помню лишь несколько событий: приезд в Расторгуево «редактора» Метнера и «издательницы» «Пути» Морозовой; так отразились в моем сознании маститые эти визиты; именно «визиты», потому что ничего дружеского не почувствовалось в их посещении; представители буржуазного общества ради каких-то тактических соображений нашли нужным нас с Асей посетить; и только. Другое событие, ближе задевшее и даже взволновавшее нас,— рождение у Наташи девочки;[41] третье же, просто потрясшее меня,— случай с С. М. Соловьевым, который в припадке острой меланхолии покушался выброситься из окна (несчастная любовь);[42] скоро обнаружилось у него психическое заболевание, и он был отвезен в лечебницу д-ра Каннабиха.

Но то были короткие вздроги, не могшие расколдовать меня от осаждающих, вполне бредовых образов, вызванных темами «Петербурга»; и я надолго зажил исключительно ими, так что утрачивалась грань между вымыслом и действительностью; можно сказать,— невеселая осень.

Наконец пришлось-таки пробудиться; грянул трескучий мороз; стены мгновенно промерзли; в углах на аршин поднялись разводы инея; мы со всем скарбом, бросив Расторгуево, оказались в Москве, в небольшой комнатке неуютной квартирки Поццо[43], где быт Кампиони, Поццо и прочих «родственников» таки нас с Асей давил; у нас не было отдельного помещения, где могли бы мы изолироваться; в таком грустном обстании вставал прямой вопрос, как мне работать над «Петербургом», который надо было срочно сдавать в декабре; все же выход нашелся; по

совету Рачинского я уехал в Бобровку[44], куда Ася должна была скоро приехать; очутившись в пустом доме (хозяйка только наведывалась, проживая в имениях родственников), я опять погрузился в мрачнейшие сцены «Петербурга», там написанные (сцена явления Медного Всадника, разговор с персидским подданным Шишнарфнэ и др.); должен сказать, что я усиленно работал над субъективными переживаниями сына сенатора, в которые вложил нечто от личных своих тогдашних переживаний; сиро было мне одному в заброшенном доме в сумерках повисать над темными безднами «Петербурга»; в окнах мигали помахи метелей, с визгом баламутивших суровый ландшафт; в неосвещенных, пустых коридорах и залах слышались глухие поскрипы; охи и вздохи томилися в трубах; через столовую проходила согбенная фигура того же глухонемого с охапкою дров; и вспыхивало красное пламя в огромном очаге камина; я любил, сидя перед камином, без огней, вспоминать то время, когда здесь, в этих комнатах, задумывался «Серебряный голубь»; и ждал с нетерпением Асю; суровое молчание дома тяготило меня.

И вот — она.

Но она испугалась бобровского дома:

— «Не переношу этих старых помещичьих гнезд, обвешанных портретами предков. Не люблю этих шорохов, скрипов».

Если принять во внимание, что мною написан здесь ряд кошмарных сцен «Петербурга», то обстановка нашего быта слагалась неважная; Ася томилась, не зная, чем ей заняться; приезд на несколько дней А. С. Петровского нас разгулял; но он уехал; и та же конденсированная жуть молчания, одиночества; Ася не выдержала и, бросив меня, уехала к сестрам в Москву, еще раз доказавши, что нам с ней нечего делать; я же не мог оставить своего поста, ибо сидел с утра до вечера, оканчивая заказанную мне порцию, которую тотчас же должен был сдать «Русской мысли» для получения следуемой мне тысячи рублей; и тут-то я напоролся на инцидент со Струве, надолго разбивший меня.

ИНЦИДЕНТ С «ПЕТЕРБУРГОМ»

Помню, с каким пылом я несся с рукописью «Петербурга» в «Русскую мысль», чтоб сдать ее Брюсову; рукопись сдана;[45] но Брюсов, точно споткнувшись о нее, стал заговаривать зубы вместо внятного ответа мне; он говорил

уклончиво: то — что не успел разглядеть романа, то — что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень многое возразить против тенденции «Петербурга», находя, что она очень зла и даже скептична; то, наконец, что «Русская мысль» перегружена материалом и что принятый Струве роман Абельдяева[46] не дает возможности напечатать меня в этом году; все эти сбивчивые объяснения раздражали меня невероятно; прежде всего, я считал, что заказанный мне специально роман не может не быть напечатанным, что такой поступок есть нарушение обязательства: заставить человека в течение трех месяцев произвести громаднейшую работу, вогнавшую его в переутомление, и этой работы не оплатить; Брюсов вертелся-таки, как пойманный с поличным; разрываясь между мною и Струве, то принимался он похваливать «Петербург», с пожимом плечей мне доказывая: «Главное достоинство романа, разумеется, в злости, но Петр Бернгардович имеет особенное возражение именно на эту злость»; то он менял позицию и начинал доказывать, что роман недоработан и нуждается в правке;[47] это ставило меня чисто внешне в ужасное положение; я был без гроша; и, не получив аванса, даже не мог бы продолжать писать; в течение целого месяца я атаковывал Брюсова, все с большим раздражением, приставая к нему просто с требованием, чтобы он напечатал роман; много раз наши почти безобразные с ним разговоры происходили в редакции «Русской мысли» в присутствии бородатого Кизеветтера, туповато внимавшего нам и, пуча глаза, потрясавшего хохлом; неоднократно я, как тигр, настигал Брюсова в Обществе свободной эстетики, где я устраивал ему сцены в присутствии И. И. Трояновского и Серова; Брюсов особенно корчился здесь, потому что симпатии членов комитета «Эстетики» были на моей стороне; и все видели, что старинный соратник мой по «Весам» явно отвиливает от меня; я, наконец, кидался к С. Н. Булгакову с жалобой на Струве; С. Н. недоумевал, хмурился и приходил от поведения Струве в негодование; в то время я еще не видел, в чем корень ярости Струве на «Петербург»; и только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо;[48] и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него

я попал; он был в бешенстве; кончилось тем, что он мне на дом лично завез рукопись и, не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал: не может быть речи о том, чтобы «Петербург» был напечатан в его органе; более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было;[49] в этом предупреждении слышалась доля угрозы, что, буде так, он камня на камне не оставит от «Петербурга»; очень жалею, что вскоре я письмо потерял, ибо одно время я хотел его напечатать как предисловие к роману, т. е. принять вызов Струве: пусть-де рассудит нас будущее; как бы то ни было, эта месячная борьба со Струве и Брюсовым убила меня; я был почти болен, не зная, что́ делать, как жить.

Вдруг неожиданно получаю переводом 500 р. и вслед за ними прекрасное, нежное, деликатное письмо Блока; он пишет, что слышал о моем бедственном положении, и умоляет принять от него эти деньги и спокойно работать над продолжением «Петербурга»;[50] он-де только что получил от покойного отца наследство и на несколько лет-де вполне обеспечен; оставалось принять благородную помощь друга; письмо Блока поддержало меня морально; и я уехал на праздниках в ту же Бобровку, продолжать свой роман несмотря ни на что; отказ Струве лишь подхлестнул мое самолюбие.

Не тут-то было: я — в Бобровку, а вслед за мною письмо; и такого рода, что я опрометью из Бобровки в Москву;[51] письмо — анонимное, наполненное всякими инсинуациями против Аси; к ужасу моему, автора письма я узнал; это определило непреклонность решения вырваться из России скорей, какою угодно ценой; российская почва проваливалась под ногами; воздух Москвы отравлял; и тут — сердечнейшее приглашение от Вячеслава Иванова: он-де и его друзья сильно заинтересованы «Петербургом» и жаждут прослушать роман; есть-де ряд серьезных мотивов приехать нам с Асей; этот вызов нас, по последствиям,— огромная помощь, подобная 500 р., присланным Блоком; я попадаю на подготовленную агитацией В. Иванова почву;[52] «Петербург» мой весьма популярен; у В. Иванова на «башне» ряд чтений моих, на которых присутствуют Городецкий, Толстые и даже затащенный сыном редактор «Речи» И. В. Гессен;[53] все рассыпаются в комплиментах; история, только что пережитая мною со Струве и Брюсовым, оборачивается против них; я получаю ряд предложений от издательств, желающих тотчас же напечатать роман;[54] в результате этого успеха

я продаю роман издателю Некрасову;[55] ура! обеспечен побег за границу! Добыта нужная до зареза тысяча. Но ставший бардом «Петербурга» Е. В. Аничков и Вячеслав Иванов настаивают: роман — богатейшее приобретение для нужного петербуржцам журнала; Аничков берется достать несколько тысяч; и вызывает спешно Метнера в Петербург; если он пожертвует несколько тысяч рублей со своей стороны, то средства для журнала налицо; спешно приехавший Метнер, конечно же, не обещает ничего точного; этим журнал повисает в воздухе; впоследствии Метнер жестоко меня обвиняет в том, что я продал роман Некрасову; что же мне оставалось делать, коли издательство, хваставшееся, что оно существует для меня, проворонило «Петербург», к которому выказывало систематическое невнимание; Метнеру, кажется, роман вовсе не нравился; Вячеславу Иванову, Аничкову и ряду других петербуржцев обязан я — не Москве, не друзьям «мусагетским», где мне советовали писать романы в духе Крыжановской; так в спешном порядке осуществлялись лихорадочные подготовления к отъезду за границу; последние дни были омрачены инцидентом добывания лишней тысячи, нужной, чтоб продлить пребывание в Брюсселе и вообще за границей; я обязывался написать для «Пути» монографию о поэзии Фета;[56] спор шел о том, дать ли мне тысячу сразу или высылать порциями; мои друзья-«путейцы» и «мусагетцы» были весьма озабочены составленьем подробнейшего бюджета; они высчитывали, сколько мне нужно, чтобы прожить месяц; и так набюджетили, что решили: на двести рублей можно-де великолепно прожить; да, можно бы, но — минус папиросы! Про папиросы забыли они; узнавши об этих расчетах, рвал и метал П. д'Альгейм, с пылкостью защищавший мои интересы и даже одно время мечтавший достать мне свободную тысячу; но — для чего? Чтобы, пригласив знатоков моего бюджета, угостить их обедом, стоящим ровно тысячу; и этим их «проучить»; на такое безумие я не пошел.

Нас провожали прекисло;[57] друзья-благодетели разобиделись прежде срока; через полтора только месяца в Москве затвердили: Белый-де, предавши заветы свои и забыв символизм, потерял вдруг талант (в это время как раз я писал «Петербург»); это брюзгливое настроенье — уже атмосфера унылых проводов нас за границу; я насолил москвичам простым фактом отъезда; уезжая ж, я знал, что в Москву не вернусь; но как это сделать — стояло в тумане.

КОММЕНТАРИИ

Первая часть воспоминаний «Между двух революций» — «Омут» — печатается по единственному изданию, подготовленному при жизни автора и вышедшему в свет после его смерти: Белый Андрей. Между двух революций. Издательство писателей в Ленинграде, 1934 (книга была выпущена в апреле 1935 г.). Тираж издания имел два завода; первый завод включал составленный Д. М. Пинесом пространный указатель имен с краткими характеристиками лиц, упоминаемых в книге; во втором заводе (без указателя имен) в тексте было сделано несколько купюр цензурно-конъюнктурного характера. Основная часть тиража книги была выпущена вторым заводом. В настоящем издании воспроизводится текст первого завода.

Вторая часть воспоминаний «Между двух революций», работа над которой не была закончена автором, печатается по тексту, подготовленному К. Н. Бугаевой и опубликованному в кн.: Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 413—456,— с восстановлением пространных купюр, сделанных в этой публикации, по рукописи: *ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 15.

К работе над первой частью третьего тома воспоминаний Белый приступил в Лебедяни в сентябре 1932 года, продолжал ее затем в течение нескольких месяцев в Москве. Первая часть книги была завершена 23 марта 1933 года. Первоначально предполагалось печатать ее в издательстве «Федерация», затем (как и «Начало века») в ГИХЛе, однако Белый был связан также договорными отношениями и денежным авансом с «Издательством писателей в Ленинграде», которому не смог представить в срок роман «Германия» (книга не была написана; см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981, с. 76—79). В письме от 22 ноября 1933 года С. Д. Спасский предложил Белому представить в «Издательство писателей в Ленинграде» взамен романа «Германия» очередной том мемуаров, подчеркивая: «...правление заинтересовано в том, чтобы привлечь Вас к издательству ближе, и хочет получить Вашу рукопись для издания» (*ГПБ*,ф. 60, ед. хр. 67). Белый охотно пошел на это предложение; 29 ноября 1933 года он отвечал Спас-

скому: «3-ий том готов совершенно ⟨...⟩ считаю его наиболее удачным из 3-х томов воспоминаний ⟨...⟩ рукопись может в любое время быть отослана» (собрание В. С. Спасской, Москва). Первая часть «Между двух революций» тогда же была отправлена в Ленинград. Редакционно-издательская подготовка ее проходила уже без участия Белого (писатель скончался 8 января 1934 г.). Обозначение «Часть первая. Омут» было опущено издательством при публикации книги. До выхода книги в свет два фрагмента из нее появились в периодике, один — при жизни Белого («Жан Жорес» — Новый мир, 1933, № 10, с. 123—133), другой — посмертно («Брюсов и я» — Литературный Ленинград, 1934, 8 октября).

Рукопись первой части «Между двух революций» сохранилась в архиве Андрея Белого в нескольких вариантах, позволяющих проследить последовательность авторской работы над текстом: первоначальный черновой автограф и диктованный текст (рукой К. Н. Бугаевой) с авторской правкой, сокращениями и вставками (*ЦГАЛИ,* ф. 53, оп. 2, ед. хр. 12); перебеленный автограф с густой правкой, местами превращающей первоначальный слой белового текста в черновой (т а м ж е, ед. хр. 13); список рукой К. Н. Бугаевой с авторской правкой преимущественно стилевого характера — текст, в целом соответствующий опубликованному (т а м ж е, ед. хр. 14).

Над второй частью «Между двух революций» Белый начал работать в Москве в начале сентября 1933 года, по возвращении из Коктебеля, где его настигла болезнь, прогрессировавшая в последующие месяцы и ставшая причиной смерти. 23 июня 1933 года Белый сообщал Н. А. Табидзе: «Через 1/2 года, а может, гораздо раньше я кончаю 3-й том воспоминаний ⟨...⟩» (Вопросы литературы, 1988, № 4, с. 280; публикация П. Нерлера). Однако это намерение осуществить не удалось: были написаны в первоначальном варианте лишь 1-я и начало 2-й главы. Последний фрагмент текста («Инцидент с «Петербургом») Белый продиктовал К. Н. Бугаевой 2 декабря 1933 года; несколько дней спустя, после сильного приступа головных болей, он был помещен в клинику. Вторая часть «Между двух революций» — последняя работа, над которой трудился Белый перед смертью. Зафиксированный текст ее имеет самый предварительный характер (рукопись, продиктованная Белым К. Н. Бугаевой, содержит лишь незначительные следы авторской правки).

К. Н. Бугаева пишет о Белом в пору его работы над этой книгой: «Сам же он, говоря о продолжении III т. своих «Воспоминаний», называл их по-разному: то «2-я часть III тома», то кратко: «Воспоминания, том IV-ый», не обозначая этого «тома» никаким хотя бы и предположительным названием. Название

отсутствует и в сохранившемся черновом наброске плана, где намечен лишь порядок глав (четырех) и указаны названия входящих в состав глав отрывков» (*ЦГАЛИ*, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 57, л. 45). Приводим план 2-й части третьего тома воспоминаний (именно так этот текст характеризуется Белым во «Введении» к нему):

I 〈глава〉

1. Италия.
2. Палермо. Нажива. Фашизм *.
3. Монреаль.
4. Тунис.
5. Радес.
6. Берберия.
7. Кайруан.
8. Мусульманская культура.
9. Мальта.
10. Сред〈иземное〉 море.
11. Каир.
12. Др〈евний〉 Египет (пир〈амиды〉, сф〈инкс〉).
13. Англия и Франция. Культура.
14. Иерусалим.
15. Архипелаг.
16. Константинополь.

II глава

1. Боголюбы.
2. Расторгуево («Петербург»).
3. Бобровка.
4. История со Струве.
5. Отъезд.
6. Брюссель.
7. Бельгийцы.
8. Кёльн.
9. Встреча с Элли〈сом〉.
10. Буа-ле-Руа.
11. Штейнер.
12. Мюнхен.
13. Базель. Фицнау. Штутгарт. Мюнхен.
14. Берлин.
15. Боголюбы — Гельс〈ингфорс〉.
16. Отъезд.

---

* *Справа приписано:* смешение стилей, грубоватость, безвкусица, экспанс 〈?〉 (немецк.).

III ⟨глава⟩

1. Мюнхен — Дрезден — Лейпциг — Христиания.
2. Нюренберг — Штутг⟨арт⟩. Аугсбург.
3. Гетеанум (постройка).
4. Скульптура.
5. Швеция.
6. Война. Проблема наций.
7. Антимилитаризм.
8. Швейцария (эс-эры).
9. Гете.
10. Шпионаж.
11. Быт жизни.
12. Лугано.

IV ⟨глава⟩

1. Мытарства отъезд⟨а⟩ ⟨?⟩.
2. Переезд.
3. Картина России.
4. Разумник.
5. Москва накануне революции.
6. Любомудры.
7. ⟨...⟩ *
8. Жизнь у Разумника (Клюев, Есенин, Мстиславский).
9. Февральская революцин.
10. Москва и Сергиев.
11. Лето.
12. Детское Село.
13. Окт⟨ябрьский⟩ перевор⟨от⟩.
14. Выводы.

(*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 17, л. 2—2 об.).

Работа над 2-й частью третьего тома велась Белым в целом согласно этому плану. Написанный текст соответствует плану I главы (некоторые разделы плана отражены в нем очень бегло, но не исключено, что Белый предполагал расширить текст в ходе последующей доработки) и разделам 1—4 плана II главы. Последующие разделы плана II главы охватывают события в жизни Белого с весны 1912 года до лета 1913 года: пребывание в Брюсселе с А. Тургеневой (апрель — май 1912 г.), поездку в Кёльн и знакомство с Р. Штейнером (6—7 мая), жизнь у д'Альгеймов в Буа-ле-Руа под Парижем (июнь 1912 г.), последующее пребы-

* *Запись густо вымарана.*

вание в Германии и Швейцарии, связанное со слушанием лекций Штейнера и занятиями антропософией (июль 1912 — февраль 1913 г.), жизнь с А. Тургеневой в Боголюбах (март — июль 1913 г.) и поездку в Гельсингфорс на курс лекций Штейнера (15—25 мая 1913 г.). В III главе Белый предполагал описать свою жизнь за границей в антропософской среде в 1913—1916 годах: разъезды по Европе, связанные с лекционными курсами Штейнера (август 1913 — февраль 1914 г.), жизнь в Швейцарии — в Дорнахе близ Базеля (март 1914 — август 1916 г.) — и участие в строительстве антропософского «храма» (Гетеанума), начало первой мировой войны и отношение к ней со стороны антропософов, поездки в Швецию (июль 1914 г.) и по Швейцарии (Лугано — Бруннен; апрель — май 1916 г.), свою работу над книгой «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (1915). IV глава должна была описывать жизнь Белого в 1916—1917 годах: возвращение из Швейцарии на родину (август 1916 г.), последующую жизнь в Москве и общение там с «любомудрами» — религиозными философами, пребывание в Петрограде и в Царском Селе у Иванова-Разумника, поездки в Сергиев Посад, восприятие Февральской революции. Изложение событий должно было завершаться воспоминаниями об Октябрьской революции, которую Белый встретил в Москве.

Список условных сокращений см. в первой книге мемуаров — «На рубеже двух столетий».

Подстрочные примечания в тексте принадлежат Андрею Белому.

Часть первая. Омут

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ ВИХРЯ В ВИХРЬ

[1] К такому убеждению Белый пришел еще в 1928 г.; ср.: «...трагический крах отношений с Блоками, над которым я опустил завесу молчания в воспоминаниях о Блоке ⟨...⟩ я в этих воспоминаниях себя слишком преумалил *«для-ради»* надгробного слова над свежей могилой. Теперь — сожалею, ибо усматриваю спекуляцию на моей скромности» (*Почему я стал символистом*, с. 49).

[2] Министр внутренних дел и шеф жандармов В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.; генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович был убит в Московском Кремле 4 февраля 1905 г. эсером И. П. Каляевым. В сознании Белого эти террористические акты сопрягались с эпизодами его общения с Блоком. «В тот приезд из Шахматова

узнал о смерти Плеве. Теперь — опять смерть»,— писал Белый об убийстве великого князя Блоку между 6 и 8 февраля 1905 г., сразу по возвращении из Петербурга (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 123).

[3] Революционное восстание матросов на эскадренном броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический» началось 14 июня 1905 г.; упоминаемый конфликт с Блоком относится к середине июня того же года.

[4] Имеется в виду книга М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб., 1922; изд. 2-е — Л., 1930).

[5] *Мысль изреченная есть ложь...*— строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830).

[6] Эпизод из греческой мифологии: Геракл надевает хитон, пропитанный кровью убитого им кентавра Несса, превратившейся в яд; хитон прирастает к телу Геракла, причиняя ему невыносимые страдания. Этот мифологический сюжет глубоко запечатлелся во внутреннем мире Белого: в одном из писем к С. А. Полякову (март 1906 г.) он сообщает о намерении написать статью «Кентавр Несс» (Stanford Slavic Studies, vol. 1. Stanford, 1987, p. 86; публикация Дж. Е. Мальмстада); этот замысел не был осуществлен.

[7] См.: «Начало века», гл. 4, примеч. 222.

[8] Об отношениях Блока и С. М. Соловьева в первой половине 1900-х годов подробнее см. вступительную статью к их переписке Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1. М., 1980, с. 308—313).

[9] Эта поездка относится к середине июня 1905 г.

[10] Впервые Белый гостил в Дедове в мае 1898 г. Дедово, как сообщает М. А. Бекетова в книге «Шахматово. Семейная хроника», «представляло собою имение десятин в триста с большим домом и двумя флигелями, стоявшими по обеим сторонам двора, с лесом и с хорошими покосами. Ближайшая деревня была сейчас за прудом ⟨...⟩» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 717).

[11] Видимо, Белый ошибочно называет Андромеду вместо Европы. Похищение Европы (греч. миф.), дочери финикийского царя, влюбившимся в нее Зевсом, который превратился для этого в быка (или послал за ней быка),— сюжет, широко распространенный в изобразительном искусстве разных эпох и народов.

[12] Неточно цитируется первая строфа стихотворения «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 г.) — последнего стихотворения, написанного Вл. Соловьевым.

[13] Путешествие в Египет было предпринято Вл. Соловьевым в 1875 г. Мистический смысл этой поездки раскрыт им в 3-й главке поэмы «Три свидания» (1898).

[14] Неточно цитируется первая строфа поэмы Вл. Соловьева «Три свидания».

[15] Этот реальный эпизод отражен в «Трех свиданиях» (см.: Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1974, с. 129—130). В письме к матери от 27 ноября 1875 г. Соловьев сообщает: «Путешествие мое в Фиваиду ⟨...⟩ оказалось невозможным. Отойдя верст 20 от Каира, я чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли меня за черта, должен был ночевать на голой земле etc., вследствие чего вернулся назад» (Письма Вл. С. Соловьева, т. 2. СПб., 1909, с. 19).

[16] Белый контаминирует образы из стихотворений Блока «Незнакомка» («И пьяницы с глазами кроликов // «In vino veritas!» кричат»; 1906) и «На островах» («Вновь оснеженные колонны, // Елагин мост и два огня. // И голос женщины влюбленный»; 1908).

[17] *Имение матери* — Серебряный Колодезь. Белый проводил там летние месяцы в 1899—1904 гг., а также часть лета в 1905—1906 гг. и в 1908 г.

[18] Послереволюционное название Николаевской железной дороги, соединявшей Петербург и Москву.

[19] Цитата из романса М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова «Английского романса» Н. В. Кукольника.

[20] «Вы жертвою пали в борьбе роковой» — революционный похоронный марш, текст которого восходит к стихотворению «Мы жертвою пали в борьбе роковой...» (1870-е годы), написанному, как ныне установлено А. А. Шиловым и И. Г. Ямпольским, А. А. Амосовым (А. Архангельским). См.: Ямпольский И. Поэты и прозаики. Л., 1986, с. 317—322; Вольная русская поэзия XVIII — XIX веков, в 2-х томах, т. 2 (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1988, с. 440—441, 643—644 (примечания С. А. Рейсера).

[21] Белый бывал в Дедове наездами в начале мая, в летние месяцы, в сентябре и в ноябре — декабре 1917 г.

[22] Какой из персонажей многочисленных произведений Эркмана-Шатриана подразумевается здесь Белым, неясно; не исключено, что имеется в виду Христина Эвиг, безумная старуха, героиня рассказа «Воровка детей» (см.: Эркман-Шатриан. Собр. соч. ⟨в 20-ти томах⟩, т. 12. Пг., 1915, с. 177—190). В воспоминаниях «Жизнь в Лебедяни летом 32-го года» Е. Н. Кезельман сообщает, что во время пребывания в Лебедяни, где Белый начал работу над книгой «Между двух революций», К. Н. Бугае-

ва читала ему вслух «военные рассказы Эркмана-Шатриана» (опубл. в кн.: Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Ed. by John E. Malmstad. Berkeley, 1981, с. 296).

[23] *Ундиночка* и ее дядя *Струй* — герои стихотворной повести В. А. Жуковского «Ундина» (1836), представляющей собой поэтическую переработку одноименной немецкой сказки (1811) Фридриха де Ла Мотт Фуке.

[24] Намек на балладу В. А. Жуковского «Эолова арфа» (1814).

[25] Ошибочное указание (ср. выше, примеч. 10); летом 1896 г. Белый путешествовал с матерью за границу, а затем жил в санатории д-ра Ограновича (близ Звенигорода).

[26] У А. Г. Коваленской было шестеро детей: трое сыновей — Михаил (умерший в юности), Николай и Виктор и трое дочерей — Александра (в замужестве Марконет), Наталья (в замужестве Дементьева) и Ольга (в замужестве Соловьева). Подробнее о А. Г. Коваленской см. в воспоминаниях М. А. Бекетовой «Шахматово. Семейная хроника» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 716—718) и в ее письме к Андрею Белому от 24 января 1931 г. (Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987, с. 251—259).

[27] Сказка «Мир в тростинке» напечатана в кн.: Коваленская А. Рассказы и сказки для детей. СПб., 1885, с. 236—247. См. также ее книги: Новые рассказы и сказки для детей. СПб., 1885; Семь новых сказок. СПб., 1864; Народные рассказы. М., 1876; и др. Книги Коваленской многократно переиздавались.

[28] *«Падаль»* — стихотворение Ш. Бодлера из его книги «Цветы Зла» (1857).

[29] Ср.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 181.

[30] Тетка С. М. Соловьева, страдавшая душевным расстройством,— Александра Михайловна Марконет. О ней см.: Александр Блок. Исследования и материалы, с. 252, 257.

[31] Цитируется баллада Томского («Однажды в Версале, «au jeu de la Reine»//«Venus moscovite» проигралась дотла» — и т. д.) из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (действие I, картина 1-я; либретто М. И. Чайковского).

[32] Ср. об А. Г. Коваленской в воспоминаниях М. А. Бекетовой: «Муж ее несколько лет сряду занимал выдающийся пост председателя казенной палаты в Тифлисе и Ставрополе. Живя в Тифлисе, Ал⟨ексан⟩дра Григ⟨орьевна⟩ блистала на балах наместника Кавказа князя Воронцова и вообще играла заметную роль в тамошнем обществе. Это и было, вероятно, лучшее время ее жизни» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 717).

[33] Эти сведения сообщила Белому М. А. Бекетова в письме от 24 января 1931 г.: «Я видела М⟨ихаила⟩ И⟨льича⟩ в качестве захудалого мужа своей интересной жены — всегда в халате, грязноватого, последняя спица в колеснице. С ним были холодны и презрительны (жена)» (Александр Блок. Исследования и материалы, с. 253).

[34] Слова Смердякова, вынесенные в заглавие одной из глав романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 5, гл. VII).

[35] Имеется в виду книга: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912. Дед мужа А. Г. Коваленской, М. И. Коваленского, Михаил Иванович Ковалинский, деятель екатерининской эпохи, был любимым учеником и другом Сковороды, автором «Жития Григория Сковороды» — основного источника сведений о жизни и личности философа. См: Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. Харьков, 1894, ⟨отд. I⟩, с. 1—40.

[36] Елизавета Григорьевна Бекетова (урожд. Карелина), бабушка Блока, вышла замуж за Андрея Николаевича Бекетова в 1854 г.

[37] Bouton d'or (фр.) — лютик.

[38] Так Белый обозначает Н. И. Петровскую.

[39] В 1905 г. Белый жил в Дедове в мае — первой половине июня, а также в последней декаде августа.

[40] Романс Лизы и Полины в «Пиковой даме» Чайковского (действие I, картина 2-я) на текст В. А. Жуковского (фрагмент из элегии «Вечер», 1806).

[41] Заключительные строки эпиграфа к гл. I повести «Пиковая дама» (1833), написанного самим Пушкиным.

[42] В письме к В. Я. Брюсову из Дедова от 26 мая 1905 г. С. М. Соловьев сообщал о работе Белого над этим произведением: «Б. Н. пишет ⟨...⟩ романтическую поэму стихом «Рустема и Зораба» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 23; «Рустем и Зораб» — поэма В. А. Жуковского). В «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» Белый указывает: «Две песни поэмы *«Дитя-Солнце»*, обнимавшие более 2000 стихов (ямбы, белый стих, написанный неравностопными строками); поэма должна была заключать 3 песни; третья песнь была не написана; в свое время поэма читалась С. М. Соловьеву и А. А. Блоку» (*ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 31). В автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый отмечал: «...поэма» *«Дитя-Солнце»*, писанная в июне 1905 г.,— насквозь *золото*, насквозь — лазурь: по приему, по краскам» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Об этом произведении см.: Бугаева К., Петровский А., ⟨Пинес Д.⟩. Литературное наследство Андрея

Белого.— В кн.: Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 580.

[43] Ср. интерпретацию сюжета поэмы в письме Белого к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «...за *первой-второй* редакцией 4-ой Симфонии последует поэма *«Дитя-Солнце»*, в которой *«дитя-Солнце»* должно было повиснуть где-то над миром не евангельским Логосом, а риккертовским Логосом и которого отец, лейтенант *«Тромпетер»*, есть нарочито опереточная фигура, а пророк которого, выведенный в поэме,— есть базельский профессор Ницше ⟨...⟩» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Дополнительные сведения об этом утраченном произведении Белого сообщает Э. К. Метнер в заметках мемуарного характера «Биближь»: «Вспоминаю, как 12 лет тому назад (в 1906 г.) мы сидели тесным кружком в очаровательной маленькой столовой с обложенными деревом стенами старинного дома губернского правления у одного чиновного лица и нечиновного мыслителя досточтимо⟨го⟩ Гр. Ал. Рач⟨инского⟩. А⟨ндрей⟩ Б⟨елый⟩ читал свое новое произведение, рукопись которого он впоследствии безвозвратно утерял. Странное то было произведение и в формальном, и в идейном отношении. Не то проза — не то стихи, не то ирония — не то панегирик, не то философия — не то роман. Словом, самое что ни на есть романтическое изо всего, написанного А. Б⟨ел⟩ым. Участвовал там и Ницше с красным портфелем. Один только этот портфель и сохранился у меня в памяти от образа базельского профессора. ⟨...⟩ Если этот портфель я воспринимал как художественно несколько раздражающее меня импрессионистическое пятно, то другой сохранившийся в моей памяти момент из этого произведения никак не хотел уложиться в моем воспринимающем аппарате; видя, как его, одобрительно попыхивая папиросой, вбирал в себя наш почтенный хозяин, я приуныл, сказав себе: ну и глуп же ты, батюшка, и глуп, и несведущ; дело же заключалось в следующем: А⟨ндрей⟩ Б⟨елый⟩ в этом философско... должно быть... -экспрессионистическом (хотя экспрессионизма тогда еще не было) моменте ни больше ни меньше как дурачил Шеллинга ⟨...⟩. Ай да Боря, куда загнул — восторгал⟨ся⟩ нечиновный мыслитель! Этот случай особенно врезался в моей памяти потому, что с ним соединился тогда, конечно, подавленный внутренний протест против такого загиба» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 15, ед. хр. 1, л. 24—24 об.).

[44] *Qui pro quo* (лат.) — путаница, недоразумение, ошибка; положение, являющееся следствием путаницы, неразберихи (театральный термин).

[45] Заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «На Сайме зимой» (1894).

[46] Подразумевается эпизод из пьесы А. Блока «Балаганчик» (1906) — прыжок Арлекина в окно: «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4. М.— Л., 1961, с. 20).

[47] Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!».

[48] Эта пропажа произошла еще в мае 1905 г. 22 мая 1905 г. Белый сообщал Блоку: «Начал работать над большой романтической поэмой. Пишу ее белыми стихами. Только жаль. Написал 1-ю песнь и 1/2 второй, страниц 60. И рукопись потерял. Придется начать писать сызнова» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 134—135). Поскольку к моменту написания письма рукопись еще не вернулась к Белому, а письмо к Блоку было отправлено им из Москвы, куда он приезжал на один день, можно заключить, что поэма была потеряна 21 или 22 мая, по дороге в Москву.

[49] Белый вспоминает об июне 1907 г.: «Обнаруживается пропажа поэмы «Дитя-Солнце» (*Ракурс к дневнику*, л. 40). В автобиографии, написанной для М. Л. Гофмана весной 1907 г., Белый сообщает, что «готовит к печати эпическую поэму *«Дитя-Солнце»* (текст приводится в письме Гофмана к Брюсову от 9 июня 1907 г.— *ГБЛ*, ф. 386, карт. 83, ед. хр. 44). В письме к С. А. Полякову (март 1907 г.) Белый предлагал для напечатания в издательстве «Скорпион» три своих книги, в их числе — «поэма *«Дитя-Солнце»*, которая будет готова к печати к осени» (Stanford Slavic Studies, vol. 1, p. 90).

[50] Цитата из стихотворения Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (1901). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М.— Л., 1960, с. 94.

[51] Неточность; описываемая поездка Белого и С. Соловьева к Блоку в Шахматово относится к середине июня 1905 г. Она подробно освещена Белым в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, II, с. 240—265).

[52] Блок гостил в Дедове в первой половине августа 1901 г. См. письма С. М. Соловьева к Белому от 11 августа 1901 г. и О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 22 августа 1901 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 173—174).

[53] С. Соловьеву посвящены стихотворения Блока «Она росла за дальними горами...» (1901), «Входите все. Во внутренних покоях...» (1901), «Бегут неверные дневные тени...» (1902), «У забытых могил пробивалась трава...» (1903), «Ответ» (1903). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 103, 111, 156, 274, 537.

[54] Цитата из стихотворения Блока «Болотные чертенятки» (январь 1905 г.). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 10.

[55] Трагедия Вяч. Иванова «Тантал» была опубликована в альманахе «Северные цветы ассирийские», выпущенном издательством «Скорпион» весной 1905 г.

[56] О восторженном в эту пору отношении С. Соловьева к произведениям Брюсова свидетельствуют два его посвященных Брюсову стихотворения (январь 1905 г.), в которых творчество поэта-символиста приравнивается к высшим достижениям мировой поэзии. См.: Соловьев С. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907, с. 65—67.

[57] В рецензии на второй сборник стихов Блока «Нечаянная Радость» (М., 1907), впервые опубликованной в журнале «Перевал» (1907, № 4, с. 59—61), Белый писал: «Нам становится страшно за автора. Да ведь это не *«Нечаянная Радость»*, а *«Отчаянное Горе»!»* (*Арабески*, с. 460).

[58] В тексте «Балаганчика» мистик «с провалившейся головой» не обозначен; в каком из трех мистиков, выведенных в пьесе Блока, узнал себя Соловьев, остается неясным.

[59] Подразумевается не письмо Блока, а его запись от 26 июня 1908 г.: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек» (Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 108—109).

[60] Подразумеваются испанские мотивы, активно развивавшиеся К. Д. Бальмонтом в его поэзии рубежа веков (стихотворения «Как испанец» (1899), «Испанский цветок» (1901) и др.). См.: Бальмонт К. Д. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1969, с. 149, 228.

[61] Стихотворение Н. А. Некрасова «Огородник» («Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...», 1846), бытовавшее в фольклорном репертуаре с народной мелодией (в песенниках — с 1880-х годов); положено на музыку Н. И. Филипповским, А. М. Зориным, М. Петровым, М. К. Штейнбергом.

[62] *Бранд* — герой одноименной драматической поэмы Г. Ибсена (1866), человек исключительно сильной воли и духовного фанатизма.

[63] *Миме* — герой тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» (третья часть — «Зигфрид»), хитрый и коварный гном, стремящийся к власти над миром и к завладению копьем Вотана.

[64] Евангельская реминисценция: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (От Матфея, VII, 3; ср.: От Луки, VI, 41).

[65] Белый опускает здесь главную, «мистическую», причину поступка Соловьева, о которой сообщает в «Воспоминаниях

о Блоке»: «С. М. впоследствии объяснял, что спустился с террасы он в сад машинально, прошел тихо в лес; и увидел — зарю; и *звезду над зарею;* вдруг понял он, что для спасения *«зорь»*, нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша ⟨...⟩ С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное, в будущем рухнет; и он — зашагал, не вернулся за шапкой: все — шел, шел и шел, пока ночь не застигла в лесу; так он вышел из леса, прошел через поле; и канул — в леса; возвратиться же вспять он не мог; тут он вспомнил, что выбрался к Боблову. В Боблове — встретил приют ⟨...⟩» (*Эпопея,* II, с. 259).

[66] Ср. характеристику этого инцидента в дневниковой записи М. А. Бекетовой от 27 июня 1905 г.: «Сережа внезапно исчез с вечера на целую ночь. Думали, что он заблудился в лесу, искали его, кричали, утром гоняли всех лошадей. Боря узнал в Тараканове, что он в Боблове. Он приехал в 3 часа и за чаем рассказал свое паломничество. Мистическая необходимость вела его от церкви до церкви в Боблово, а там на лай собак вышла Муся ⟨...⟩. Он объяснил ей, что заблудился, гуляя, она привела его в дом, и т. д. Все это он рассказывал с шутками, как всегда, но делал из этого нечто похожее на странствие в пустыне Вл. Соловьева, только еще важнее. Закончил тем, что иначе поступить было нельзя, даже если бы все мы умерли от беспокойства. Алю, и без того измученную, это взорвало, и она крикнула, что он дьявол и соблазн, и ушла. «Ты ничего не понимаешь, ты говорила глупости, тетя Аля»,— говорил потом Сережа. Аля говорила, что все это игра, что Сережа совершенно здоров и уравновешен. Боря сказал, что, если бы она была мужчиной, он бы вызвал ее за это на дуэль. На другой день уехал скорее, чем было положено ⟨...⟩» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 609—610; Муся — Мария Дмитриевна Менделеева, сестра Л. Д. Блок; Аля — А. А. Кублицкая-Пиоттух). Позднее в письме к М. А. Бекетовой от 6 февраля 1931 г. Белый расценивал «уход» С. Соловьева как «жест ребенка, чисто и вдохновенно имитирующего жест Вл. Соловьева» (Александр Блок. Исследования и материалы, с. 261).

[67] В первоначальном варианте текста было:

«В эту минуту он был угловат, но прекрасен в сравнении с Блоками; здесь — прямота, чистота и настойчивость; там — удар в спину «отродьем», двусмысленная улыбка, как «роза с червем»; Блок увиделся Логе * (лог, лож, люге, лужа); жела-

* Двусмысленное божество огня. *(Примеч. А. Белого.)*

ние выглядеть *«ком-иль-фо»* в дни, когда «ком-иль-фотность» летела к чертям, фальшь дворянских традиций, сочувствие рабочему классу лишь в пику «поповичам».

Он нам казался таким [в эти дни]» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 13, л. 24 об.).

[68] 18 июня 1905 г. восставший «Потемкин» ушел в Констанцу (Румыния), где кораблю было отказано в необходимых припасах; броненосец возвратился в Россию к берегам Крыма, но 22 июня в Феодосии не удалось получить уголь и продовольствие; 23 июня «Потемкин» вновь ушел в Констанцу, а 25 июня был сдан румынским властям (матросы сошли на берег как политические эмигранты).

[69] 23 июня 1905 г. С. Соловьев писал Г. А. Рачинскому из Дедова: «...вчера вернулся из Шахматова, имения Блоков. Там много радостного, но очень много нестерпимо трудного, так что и я и Боря порядком извелись» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 226).

[70] Строфа из стихотворения Блока «Потеха! Рокочет труба...», написанного в июле 1905 г. (Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 66). Ср. воспоминания Белого: «Впоследствии мне С. М. рассказал, что, когда я уехал, два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (неестественным) просражались за картами; и С. М. распевал все: «Три карты, три карты, три карты...» (*Эпопея*, II, с. 260—261).

[71] Белый работал над этой статьей в августе 1905 г. «Луг зеленый» тогда же был опубликован в «Весах» (1905, № 8, с. 5—16).

[72] «Вставай, подымайся, рабочий народ!» — припев «Новой песни» («Отречемся от старого мира!..», 1875) П. Л. Лаврова, одной из наиболее популярных в русском революционном репертуаре, исполнявшейся на мелодию «Марсельезы». См.: Вольная русская поэзия XVIII — XIX веков, в 2-х томах, т. 2, с. 190—191, 591—592 (примечания С. А. Рейсера).

[73] Вместе с письмом от 2 октября 1905 г. Блок отправил Белому тексты 20-ти своих стихотворений, написанных в 1903—1905 гг. (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 141—154).

[74] В письме от 13 октября 1905 г. к Блоку Белый, признавая достоинства присланных стихов («Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы вплетается в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя: этим выразителем, думается мне, являешься Ты»), в то же время заклю-

чал: «Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны «скобок» и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны. 〈...〉 я говорю Тебе как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с Богом и с чертом» (т а м ж е, с. 155, 157). Ответ Блока на это письмо см.: т а м ж е, с. 157—160.

[75] 27 октября 1905 г. Л. Д. Блок писала Белому: «Я не хочу получать Ваших писем до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше 〈...〉. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим 〈...〉 Меня признаете, его вычеркиваете — в этом нет правды» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 231).

[76] Письма Белого к Л. Д. Блок, по всей вероятности, не сохранились.

[77] Имеется в виду переезд в начале сентября 1905 г. В течение лета Белый часть времени провел в Москве, а также жил в Серебряном Колодезе и ездил в Поповку, в имение М. К. Морозовой.

[78] Кн. П. Д. Святополк-Мирский в конце августа 1904 г., после убийства В. К. Плеве, был назначен министром внутренних дел; пытался действовать путем определенных уступок и либеральных реформ, названных эрой «весны» и «доверия». 18 января 1905 г. уволен в отставку.

[79] Решающие события русско-японской войны — сдача японцам русской военно-морской крепости Порт-Артур (20 декабря 1904 г.) и морское сражение 14—15 мая 1905 г. у островов Цусима в Корейском проливе, закончившееся полным поражением русской эскадры.

[80] Литературно-философский сборник «Свободная совесть» (кн. 2. М., 1906) вышел в свет в сентябре 1906 г.; в нем участвовали члены кружка П. И. Астрова и литераторы, близкие к нему. В сборнике были напечатаны произведения Белого, С. Соловьева, Эллиса.

[81] И. И. Бунаков-Фондаминский, член ЦК партии социалистов-революционеров, после 1917 г. был комиссаром Черноморского флота, членом Учредительного собрания, одним из руководителей (от эсеров) Союза возрождения.

[82] Программа социал-демократической партии Германии, принятая в октябре 1891 г. на партийном съезде в Эрфурте.

[83] С. Н. Трубецкой, первый выборный ректор Московского университета, в июне 1905 г. входил в состав земской и городской делегации к Николаю II и выступил перед ним с программ-

ной либеральной речью. Умер 29 сентября 1905 г. во время заседания комиссии по выработке университетского устава, происходившего на квартире министра народного просвещения В. Г. Глазова.

[84] Герой «Повести о капитане Копейкине», входящей в гл. X тома I «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

[85] Похороны С. Н. Трубецкого состоялись в Москве 3 октября, похороны Н. Э. Баумана — 20 октября 1905 г.

[86] В некрологе «Князь С. Н. Трубецкой» Белый описал эти похороны, превратившиеся в политическую манифестацию (в Москве за гробом шло около 50 тысяч человек): «Алые ленты венков, ярко оттеняя зелень листьев, проливались над морем черных голов. Перед каждой церковью обнажались головы и многочисленные хоры пели «Вечная память». Во главе процессии на длинном древке несли пучок алых цветов, и ленты, ниспадая, развевались» (Весы, 1905, № 9—10, с. 80).

[87] Перед изданием манифеста 17 октября Д. Ф. Трепов, с 1905 г. петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел, отдал приказ решительно подавлять любые «попытки к устройству беспорядков», «при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть» (Русь, 1905, № 246, 14 октября). Приказ «патронов не жалеть» сразу же приобрел широчайшую известность как своего рода оборотная сторона манифеста 17 октября.

[88] 3 октября 1905 г. началась стачка рабочих Московско-Казанской железной дороги, затем к ним присоединились рабочие Ярославских и Казанских железнодорожных мастерских. В течение нескольких дней забастовка в Москве стала всеобщей и переросла во Всероссийскую политическую стачку, продолжавшуюся до 22 октября.

[89] 15 октября 1905 г. вооруженные черносотенцы напали на бастовавших рабочих и студентов в Охотном ряду, у здания городской думы, и устроили избиение. Стремясь обеспечить свою безопасность в стенах университета и осуществить свободу собрания в нем, студенты приняли решение забаррикадировать входы, устроить дежурства у всех ворот и самим разбиться на группы по 10 человек. В университете забаррикадировалось около 1500 человек, была организована боевая дружина. Осада университета 16 октября закончилась поражением черносотенцев: войска были убраны, и осажденные смогли покинуть здание университета. См.: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, ч. 1. М.— Л., 1955, с. 448—450.

[90] *Охотнорядцы* — торговцы и приказчики Охотного ряда, неоднократно активно участвовавшие в черносотенных погромах.

[91] Табачная фабрика *«Дукат»* («И. Пигит и К° ») в Чухинском переулке, дом 6 (Пресненская часть, между Владимиро-Долгоруковской и Большой Тверской-Ямской ул.).

[92] Подразумевается, вероятно, владелец фабрики И. Д. Пигит.

[93] Partie de plaisir (ф р.) — увеселительная прогулка компанией; развлечение, увеселение.

[94] Идея, выводимая из сонета Ш. Бодлера «Соответствия» («Correspondances») и его же статьи «Всемирная выставка 1855 года», согласно которой между чувственными явлениями и определенной сущностью существуют закономерные связи: чувственные вещи являются символами скрытой реальности и поэтому обнаруживаются соответствия между ее выражением в запахах, цветах и звуках.

[95] Имеются в виду массовые демонстрации 18 октября в связи с обнародованием манифеста 17 октября о предоставлении политических свобод.

[96] Н. Э. Бауман был убит 18 октября надсмотрщиком рабочих бараков фабрики Щапова черносотенцем Михалиным.

[97] Имеются в виду шовинистические черносотенные погромы в Москве в конце мая 1915 г.

[98] Похороны Н. Э. Баумана состоялись 20 октября 1905 г. и превратились в политическую демонстрацию рабочих (участвовало до 30 тысяч человек). Вынос тела состоялся в 12 час. дня из здания Технического училища, похороны — на Ваганьковском кладбище около 9 час. вечера. Впечатления от этого события отразились в стихотворении Белого «Похороны» («Толпы рабочих в волнах золотого заката...», 1906). См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 235—236.

[99] Согласно донесению московского градоначальника Г. П. Медема Д. Ф. Трепову от 22 октября 1905 г., после похорон Баумана большая группа студентов (до 1000 человек) у здания университета на Моховой ул. у Манежа столкнулась с толпой «манифестантов-националистов», «в которой появление студентов вызвало сильное озлобление, и по адресу их было произнесено несколько угроз. Ввиду этого находящаяся в толпе демонстрантов боевая дружина, выстроившись двумя группами на тротуаре университетского здания, сделала два залпа по толпе манифестантов, причем некоторые пули попали в стекла здания Манежа, где в это время находилась сотня казаков. Последние, услышав выстрелы, спешенные выбежали из Манежа и, так как частичные выстрелы со стороны студентов продолжались, произвели залп, которым из числа студентов убиты 6 и ранено до 60-ти человек» (Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, ч. 1, с. 469—470). В докладах Н. Шубинского, упол-

номоченного Московской городской думы по расследованию обстоятельств расстрела демонстрантов казаками, признается, что перестрелка была начата около 11 час. вечера черносотенцами и что в среде демонстрантов убито 7 и ранено 70 человек (Из истории революции 1905 г. в Москве и Московской губернии. Материалы и документы. М., 1931, с. 227—229).

[100] Союз русского народа, главная реакционно-монархическая партия, был организован в ноябре 1905 г. в Петербурге (лидеры — А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков); Союз русских людей — в марте 1905 г. в Москве (лидеры — архиепископ Анастасий, Павел и Петр Шереметевы, В. Урусова, Д. И. Иловайский); Русский народный союз имени Михаила Архангела — в ноябре 1907 г. в Петербурге (лидер — В. М. Пуришкевич). Союз активной борьбы с революцией, действовавший в Москве, принадлежал к числу сравнительно мелких монархических организаций, в основном черносотенного толка, которых существовало около двух десятков (Священный союз народной самоохраны, Русское братство, Лига патриотов, Общество националистов, Партия Минина и Пожарского, Общество хоругвеносцев, Партия честных патриотов и борцов за родину и др.).

[101] 9 декабря 1905 г. в училище И. И. Фидлера на Чистых прудах происходило собрание делегатов боевых дружин; дом был осажден и разгромлен пехотой и артиллерией, убито 8 человек, ранено 30 и свыше 100 человек арестовано. См.: Высший подъем революции 1905—1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь — декабрь 1905 года, ч. 1. М., 1955, с. 696—697.

[102] В 1905 г. Л. Д. Семенов примкнул не к эсерам, а к социал-демократам, стал участником Гельсингфорсской конференции, агитатором среди крестьян Курской губернии, депутатом I Государственной думы; дважды арестовывался, вышел на свободу в декабре 1906 г. См.: Л. Д. Семенов-Тян-Шанский и его «Записки». Публикация З. Г. Минц и Э. Шубина.— Труды по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 414). Тарту, 1977, с. 106, 120, 122, 130.

[103] Подразумевается эволюция участников кружка Н. В. Станкевича, действовавшего в 1830-е годы, в противоположных идейных направлениях — к охранительному консерватизму (М. Н. Катков), революционному мировоззрению (М. А. Бакунин), либерализму (И. С. Тургенев).

[104] В первоначальном варианте текста далее следовало: «некогда переосознание Гегеля в левую диалектику привело к баррикадам; мы, переосознав «критический» идеализм в «критический», по-нашему, символизм, себя приперли к вторичному переосознанию и наследства левых гегельянцев; со времени Марк-

са, Энгельса, Герцена и Бакунина теории социальной борьбы расслоились в оттенках (большевики, меньшевики, синдикалисты, гедисты, историческая школа, Бернштейн, Штаммлер, Форлендер и т. д.); нас припирало не к баррикаде» — и т. д. (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 13, л. 35 об.).

[105] Ср. одну из позднейших интерпретаций того, как мыслилось Белым это соединение: «Мой лозунг, недавней теургии *(«се творю все новое»)*, искал выражения в 1904—1905 годах в построении коммуны символистов-социалистов, но не социалистов-государственников; социализация внутренне творимых ценностей — из свободы и из сознания, что *третье*, превышающее двух, четвертое — трех ⟨...⟩ и есть новая творимая действительность; преображение общества — в создании ячеек-коммун, объединенных культурой внутренней жизни» (*Почему я стал символистом*, с. 47—48).

[106] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Эллис, символист-бодлерианец, мечтал о том, как откроет он дверь неизвестным личностям, именующим себя экспроприаторами, для ограбления квартиры сына Х***, печатавшей его «Иммортели» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 13, л. 36). Х***,— видимо, К. П. Христофорова; книга переводов Эллиса «Иммортели» (вып. 1—2. М., 1904) была отпечатана в типографии Московского городского Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых.

[107] Совет рабочих депутатов возник в Петербурге в октябре 1905 г. Осенью 1905 г. советы рабочих депутатов были организованы более чем в 50-ти городах и рабочих поселках.

[108] Первую «встречу с Асей и Наташей Тургеневыми» Белый относит к ноябрю 1905 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 31).

[109] Gaffe (фр.) — промах, неловкость, неуместный поступок; розыгрыш.

[110] А. Н. Тургенев был сыном двоюродного брата И. С. Тургенева, Николая Петровича.

[111] Белый приехал в Петербург 1 декабря 1905 г.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМА

[1] Имеются в виду меблированные комнаты «Бель-Вю» (Невский пр., д. 64/11).

[2] 1 декабря 1905 г. Белый писал Блоку: «*Непременно* буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов. (На Невском. Буду в главном зале.)» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 161).

[3] Описание этой встречи см. также: *Эпопея*, II, с. 268—269.

[4] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Не состоялось: падало; жест поэта, ко мне обращенный, казалось, кричал: «Я ведь знаю, с чем ты! Но — ты видишь: стою пред тобою с объятьем; и — стало быть: я — уступаю. Так о чем еще?» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 13, л. 39).

[5] Таким образом Белый обозначает Л. Д. Блок, когда затрагивает историю своих личных отношений с нею. Она охарактеризована в статье В. Н. Орлова «История одной любви» (см.: Орлов Вл. Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971, с. 689—708), но с известной предвзятостью по отношению к Белому.

[6] Уезжая из Шахматова в июне 1905 г., Белый передал Л. Д. Блок письмо с признанием в любви. В ответ Л. Д. Блок писала: «Я рада, что Вы меня любите; когда читала Ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня — это хорошо; это одно я могу Вам сказать теперь ⟨...⟩. Я не покину Вас, часто буду думать о Вас и призывать для Вас всей моей силой тихие закаты» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 225). 12 августа 1905 г. Л. Д. Блок писала Белому: «Я Вас не забываю и очень хочу, как и все мы, чтобы Вы приехали этой осенью в Петербург» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18). Свидетельств проявления более глубоких чувств ее письма к Белому, предшествовавшие его декабрьскому приезду в Петербург, не содержат.

[7] О достаточно активной позиции, занятой З. Н. Гиппиус в отношении личных коллизий между Белым и Л. Д. Блок, свидетельствует ее позднейшее письмо (от 25 декабря 1906 г.) к Л. Д. Блок: «Я думаю (и давно-давно думала, все время все знала, с тех пор как видела близко ваши глаза),— что вы никогда не сможете *сказать* себе, *понять* в себе, любите ли вы Борю или нет,— пока или «да» или «нет» не воплотятся реально. То есть пока вы же не воплотите того или другого, по *вере*, честной, в «да» или в «нет». ⟨...⟩ У меня точно две правды — две любви боролись в душе. И я чувствовала, что *хочу обе*, а они ели одна другую. Если не было у вас этого,— значит, я не угадываю еще вас ⟨...⟩ поймите: мы никогда никакой истинной любви не изменяем; мы лишь часто не узнаем ее природы, ее цвета и пытаемся втиснуть ее не туда, где для нее святое место, а на чужое, на другую любовь,— и тогда одна из них выедает другую, и мы бедны, мы во лжи. Если бы вы поверили в свою любовь к Боре и дали ей ее несомненное место в вашей душе — вы сохранили бы обе полностью и святостью. Только тогда. Нам часто кажется, что мы новой любви отдаем все без остатка, когда говорим ей реальное «да», совершаем поступки, как бы жизнь отдаем,— и тем «изменяем» прежнему. Это неправда. Истинное, нужное

в прежнем,— бессмертно. Мы лишь в данный момент оборачиваем весь свет на эту, новую, сторону души, все внимание — потому что ведь тут — рождается. Не убивайте ничего, что хочет родиться, ищет воплотиться. Вот убивая новое — легко убить и старое. А всякая причиненная смерть — приносит смерть и тому, кто ее совершает, рано или поздно, так или иначе. ⟨...⟩ Я так верю в вас, что Боре говорю всегда одно: чтобы он ехал к вам, ясный и сильный, и с последней простотой спросил бы вас о вашей вере: верите ли, что любите его, да,— или верите, что не любите, нет. Будьте с ним как с равным. Не жалейте его,— но и себя не жалейте» (*ЦГАЛИ*, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 106).

[8] Сюжетная канва поэмы «Ночная Фиалка» (1906) — сон, виденный Блоком в ночь с 16 на 17 ноября 1905 г. Работа над поэмой была начата 18 ноября 1905 г. Подробнее о тогдашних впечатлениях Белого от «Ночной Фиалки» см.: *Эпопея*, II, с. 280—286.

[9] Подразумеваются слова Свидригайлова из «Преступления и наказания» (ч. 4, гл. I): «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 6. Л., 1973, с. 221).

[10] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 71.

[11] *Commedia dell'arte* — комедия масок; итальянские импровизированные театральные представления по краткому сценарию, персонажи которых — типовые маски, с использованием ярких зрелищных элементов, гротеска, буффонады. Блок ориентировался на эту театральную форму, работая над пьесой «Балаганчик» (1906), что и подразумевается здесь Белым.

[12] На историко-филологический факультет Петербургского университета С. М. Городецкий поступил в 1902 г., оставил университет в 1912 г. Первой публикацией Городецкого было его стихотворение «Зной», полностью приведенное в статье Блока «Краски и слова» (Золотое руно, 1906, № 1, с. 100).

[13] В декабре 1905 г. Белый виделся с Е. П. Ивановым не только у Блока, но и в квартире Мережковских.

[14] В первоначальном варианте текста было: «И я выдумал предлог: к переезду сюда; старик Радлов пишет к людям, могущим дать место преподавателя; это было одним из безумий моих; было много их; и подчеркивали Мережковские, мне не раз повторяли:» — и т. д. (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 13, л. 40 об.).

[15] Ср. дневниковую запись Е. П. Иванова о посещении квартиры Мережковских 2 декабря 1905 г.: «...вдруг пришел домой

неожиданно Д. С. Мережковский и привел Борю Бугаева. «Зина, посмотри! Я его на улице нашел». Он встретил где-то на Литейном Бориса Николаевича и затащил домой» (Блоковский сборник. Тарту, 1964, с. 398; публикация Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова). Белый тогда же переселился к Мережковским.

[16] См.: «Начало века», гл. 4, примеч. 183.

[17] О своих идейных интересах осенью 1905 г. Белый вспоминает: «...прочитываю десятками брошюры, выпускаемые *эс-деками, эс-эрами* и анархистами; это чтение, вмененное себе в обязанность, продолжается до отъезда за границу в 1906 году; определяется точно, что моя орьентация — *эс-декская.* ⟨...⟩ экономический материализм как *«метод»* оформления и кантианское оформление марксизма мне ясны; я являюсь *sui generis социал-символистом* в то время ⟨...⟩» (*Ракурс к дневнику,* л. 31).

[18] Ср. запись Белого о пребывании в Петербурге в декабре 1905 г.: «...к этому времени относится краткая моя попытка ближе сойтись с Г. Чулковым» (там же, л. 31 об.).

[19] *Мимеограф* — аппарат для получения незначительного количества оттисков с текста; подобие гектографа.

[20] В петербургском журнале *«Вопросы жизни»*, выходившем в 1905 г., Чулков руководил литературно-критическим отделом.

[21] Имеются в виду эпизоды из гл. XIV романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда» (1849—1850).

[22] Будучи студентом Московского университета, Чулков как «политический преступник» был в 1902 г. сослан в Сибирь, в Якутию; с Ф. Э. Дзержинским он встретился в Александровской центральной тюрьме и вместе с ним был отправлен этапом на Лену (см.: Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930, с. 20, 22—27).

[23] Чулков познакомился с А. Н. Шмидт в Нижнем Новгороде в 1903 г. См.: там же, с. 121—123.

[24] См.: Чулков Г. О мистическом анархизме. Со вступительной статьей Вяч. Иванова «О неприятии мира». СПб., 1906. Идейную платформу, обосновываемую в этой книге, Чулков впервые выдвинул в небольшой статье «О мистическом анархизме», напечатанной в «Вопросах жизни» (1905, № 7).

[25] Белый имеет в виду свои полемические статьи 1907 г., печатавшиеся главным образом в «Весах» и направленные на развенчание «мистического анархизма»; статьи изобиловали резкими, а порой и оскорбительными выпадами по адресу Чулкова.

[26] Это примирение состоялось в середине 1920-х годов. Ср. письмо Чулкова к Белому от 2 марта 1925 г.: «...я очень чувствую внутреннюю необходимость общения с Вами. В наши дни, когда разрушены «каноны» культурной жизни и нет связи и сообщения между «странами», надо искать путей иных: за отсутствием ли-

тературы, приходится искать непосредственных встреч, иногда существенно необходимых» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 12).

[27] Подразумевается неудача с организацией (под руководством Мейерхольда) Театра-студии на Поварской улице — филиального отделения Московского Художественного театра. 21 декабря 1905 г. Мейерхольд извещал В. П. Веригину: «Сегодня приехал в Петербург; имею в виду здесь устроить то, что не удалось сделать в Москве» (Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896—1939. М., 1976, с. 58).

[28] В 1898—1902 гг. Мейерхольд состоял в труппе Московского Художественного театра, сыграл за это время 18 ролей, в том числе в пьесах Чехова «Чайка» (Треплев), «Три сестры» (Тузенбах) и в драме Г. Гауптмана «Одинокие» (Иоганнес Фокерат).

[29] В конце 1905 — начале 1906 г. Чулков и Мейерхольд попытались организовать в Петербурге новый театр «Факелы», однако это намерение тогда осуществить не удалось.

[30] См. об этом: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4. М., 1987, с. 397.

[31] Работа Мейерхольда в петербургском театре В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской улице началась в августе 1906 г. См.: Рудницкий К. В театре на Офицерской.— В кн.: Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. М., 1978, с. 137—151.

[32] 19 декабря 1905 г. Л. С. Бакст писал А. Н. Бенуа о Белом: «...я набросал на днях его портрет цвет⟨ными⟩ карандашами» (см.: Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975, с. 88).

[33] См. воспроизведения этого портрета: *Стихотворения и поэмы,* между с. 144—145; Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 587; Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст, с. 89; Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978. Л., 1979, с. 95.

[34] 4 марта 1906 г. Белый сообщал матери из Петербурга: «...с завтрашнего дня меня опять пишет Бакст во весь рост для *«Золотого руна»* (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358). Этот портрет был помещен в «Золотом руне» (1907, № 1, между с. 72—73), а также в издании «Между двух революций» 1934 г. (между с. 64—65). Подробнее см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Неизданная статья Андрея Белого «Бакст».— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978, с. 94—98 (портрет — с. 96).

[35] Роман А. М. Ремизова «Пруд» был напечатан (в ранней редакции) в «Вопросах жизни» (1905, № 4/5—10/11). На его отдельное издание (СПб., 1908) Белый откликнулся рецензией (Весы, 1907, № 12, с. 54—56; см.: *Арабески*, с. 475—477).

[36] Н. А. Бердяев и Ремизов были близкими друзьями с 1902 г., когда они встретились в вологодской колонии политических ссыльных. См.: Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Париж, 1949, с. 116—146.

[37] Видимо, подразумевается намек на сюжет, реализованный Ремизовым в фривольной сказке «Что есть табак». Книжка Ремизова «Что есть табак. Гоносиева повесть» (СПб., 1908) была выпущена в свет без обозначения типографии, с рисунками К. А. Сомова, тиражом 25 экз.

[38] 18 ноября 1896 г. Ремизов был арестован в Москве как «агитатор» на студенческой демонстрации, подвергнут полуторамесячному одиночному заключению и выслан в Пензенскую губернию на два года под гласный надзор полиции; в Пензе вновь арестован (начало марта 1898 г.) за хранение и распространение запрещенной литературы и, после полутора лет следствия, выслан в административном порядке на три года в Усть-Сысольск. См.: Гречишкин С. С. Архив А. М. Ремизова.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977, с. 21—23.

[39] Ремизов сблизился с Б. В. Савинковым в Вологде, где они оба отбывали ссылку (в 1902—1903 гг.). Характеристике Савинкова посвящена глава в книге Ремизова «Иверень» (Редакция, послесловие и комментарии О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986, с. 264—272, 379—386).

[40] Имеется в виду Александр Иванович Дудкин, один из героев «Петербурга».

[41] Имеется в виду арест Петербургского совета рабочих депутатов (3 декабря 1905 г.). В ответ на это 5 декабря конференция московских большевиков постановила объявить с 7 декабря всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное восстание.

[42] Стачка переросла в восстание 9 декабря, 10—11 декабря баррикады возникли во всех районах Москвы.

[43] Отряд под командованием полковника Г. А. Мина, подавлявший московское восстание. В ходе уличных боев 17—19 декабря было убито более 1000 человек.

[44] Белый возвратился в Москву в начале третьей декады декабря 1905 г.

[45] *Мертвый переулок* (между Пречистенкой и Большим Власьевским пер.) расположен вблизи Обуховского переулка, где находился особняк Танеевых (д. 7).

[46] Статью Белого «Ибсен и Достоевский», содержащую критическую переоценку творчества Достоевского (см.: *Арабески*, с. 91—100), Мережковский и З. Гиппиус восприняли как покушение на самые дорогие для них ценности. Ср. запись Белого о январе 1906 г.: «Выходит моя статья *«Достоевский и Ибсен»*.

За статью мою мне достается от Мережковского: он присылает мне письмо, отрешающее меня от Христа» (*Материал к биографии*, л. 52). Фрагменты этого письма Мережковского к Белому и характеристику конфликта см.: Л а в р о в А. В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы).— В кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи, мемуары, публикации. М., 1988, с. 140—142.

[47] Белый вновь уехал в Петербург в середине февраля 1906 г.

[48] Торжественный обед по поводу выхода в свет первого номера нового московского символистского журнала «Золотое руно» (1906—1909) состоялся 31 января 1906 г.

[49] Выставка картин «Голубая роза» открылась в Москве в марте 1907 г. Ее участники (П. В. Кузнецов, Н. П. Крымов, А. Т. Матвеев, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин и др.) были близки к редакции «Золотого руна», их работы неоднократно репродуцировались в журнале.

[50] С. А. *Соколов* заведовал литературно-критическим отделом «Золотого руна» до начала июля 1906 г.

[51] Поэма Д. С. Мережковского «Старинные октавы» была напечатана в № 1—4 «Золотого руна» за 1906 г.

[52] Ср. характеристику Рябушинского в мемуарах А. Н. Бенуа: «Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле «Черный лебедь» стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие «афинские ночи». В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей, диких зверей. Сам Николай Павлович что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом, или, как тогда говорили, «декадентском роде». Наподобие Алкивиада, он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской Первопрестольной и швырял деньги охапками» (Б е н у а Александр. Мои воспоминания, кн. IV, V. М., 1980, с. 439).

[53] Речь идет об идейно-эстетической переориентации «Золотого руна», обозначившейся в середине 1907 г.

[54] Иронически характеризуя банкет «Золотого руна» в письме к П. П. Перцову от 2 февраля 1906 г., Брюсов замечал о Белом: «...на оргийном торжестве «Руна» он был неподражаем: в венке из плюща, обнимаясь и целуясь с M-lle Кругликовой, художницей из «Нового времени» 〈...〉. Это было осуществлением всех дионисийских проповедей теоретика дионисизма Вячеслава Иванова» (*ИМЛИ*, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 26).

[55] Белый приехал в Петербург лишь в середине февраля 1906 г. Е. П. Иванов упоминает о его приезде в дневниковой записи от 14 февраля (Блоковский сборник, с. 399).

[56] Ошибка; портрет помещен в № 1 «Золотого руна» за 1907 г. См. выше, примеч. 34.

[57] Образ красного домино отразился в стихотворениях Белого «Маскарад» (1908), «Праздник» (1908), «В Летнем саду» (1906), входящих в раздел «Город» книги «Пепел» (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 222—224, 226—227, 237—238), а также в романе «Петербург» (1911—1913): красное домино — маскарадное облачение Николая Аполлоновича Аблеухова.

[58] Имеется в виду Иванов-Разумник; Белый познакомился с ним в мае 1913 г. В статье «Русская литература в 1908 г.», касаясь книг Белого «Пепел» и «Кубок метелей», Иванов-Разумник писал: «Этого поэта и публициста губит присущее ему гримасничанье: он словечка в простоте не скажет, все с ужимкой, и когда высказывает самую простую мысль, то старается сказать так, чтобы как можно умнее вышло. ⟨...⟩ претензии его всегда шире исполнения, что особенно ясно сказалось в «Кубке метелей» — претенциозной и слабой книге» (Русские ведомости, 1909, № 1, 1 января). В обзоре «Русская литература в 1912 году» (1912) Иванов-Разумник также скептически отозвался о статьях Белого в «Трудах и днях», назвав их «философствованием на мало знакомые ему темы» (см.: Иванов-Разумник. Заветное. О культурной традиции. Статьи 1912—1913 гг. Пб., 1922, с. 26).

[59] Белый остановился в меблированных комнатах «Бель-Вю» (см. выше, примеч. 1).

[60] Это чтение состоялось 25 февраля. Ср. запись Е. П. Иванова, сделанную в этот день: «Я был вечером у Блоков. Было собрание, читали «Балаганчик», последний пришел Белый» (Блоковский сборник, с. 399). Ср. характеристику этого чтения в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, III, с. 131—133).

[61] Реплика Паяца в «Балаганчике». См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, с. 19.

[62] Заключительные строки стихотворения «Насмешница» (10 января 1907 г.), входящего в цикл «Снежная Маска» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 244).

[63] Строки из стихотворения Мережковского «Дети ночи» (1894). См.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. XV. СПб.— М., изд. т-ва М. О. Вольф, 1914, с. 7.

[64] Неточно цитируется первая строфа стихотворения З. Н. Гиппиус «Петухи» (1906). См.: Гиппиус З. Н. Собрание стихов, кн. 2, 1903—1909. М., 1910, с. 9.

[65] Мережковские уехали за границу 25 февраля 1906 г.; в Париже они прожили более двух лет.

[66] Выставка «Мира искусства» экспонировалась в Петербурге с 24 февраля по 26 марта 1906 г. в Екатерининском зале на

Малой Конюшенной ул. См.: Сергей Дягилев и русское искусство, в 2-х томах, т. 1. М., 1982, с. 202—204, 398—401 (комментарии И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова).

[67] Стихи Б. В. Савинкова Белый получил от Ремизова, видимо, еще во время своего пребывания в Петербурге в декабре 1905 г., поскольку уже 13 февраля 1906 г. С. А. Соколов писал Ремизову (на бланке «Золотого руна»): «Стихи Бориса С. возвращаю — они не пойдут» (*ГПБ*, ф. 634, ед. хр. 203).

[68] Объяснение в любви Белого и Л. Д. Блок состоялось 26 февраля. В своих воспоминаниях «И быль и небылицы о Блоке и о себе» Л. Д. Блок пишет об этом: «Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом — и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» 〈...〉 И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы остаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев» (Александр Блок в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1. М., 1980, с. 173—174). Ср. воспоминания Белого о феврале 1906 г.: «Трудная ситуация создается с Блоками: Л. Д. Блок влюбляется в меня; я уже ясно сознаю, что сильно люблю ее (с 1905 года); мы имеем с ней в конце этого месяца ряд объяснений. 〈...〉 Я снимаю себе комнату на Шпалерной: Л. Д. бывает у меня» (*Материал к биографии*, л. 52).

[69] В дневниковой записи от 11 марта 1906 г. Е. П. Иванов зафиксировал слова Л. Д. Блок, характеризующие ее внутреннее состояние в это время: «Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать. Если уйти с Борисом Николаевичем, что станет Саша делать. Это путь его. Борису Николаевичу я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уж сколько времени идти вместе не могу 〈...〉. Это не значит, что я Сашу не люблю, я его очень люблю, и именно теперь, за последнее время, как это ни странно, но я люблю и Борю, чувствуя, что оставляю его» (Блоковский сборник, с. 400).

[70] Более отчетливую характеристику этих коллизий Белый дает в мемуарных записях: «Л. Д. мне объясняет, что Ал〈ек-

сандр⟩ Алекс⟨андрович⟩ ей не муж; они не живут как муж и жена; она его любит братски, а меня — подлинно; всеми эти⟨ми⟩ объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Ал⟨ександром⟩ Алек⟨сандровичем⟩ и на ней жениться; я предлагаю ей это; она — колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде *menage en trois*, что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и ею, где ставим вопрос, как нам быть; Ал. Ал. — молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы давая нам с Л. Д. свободу. ⟨...⟩ Она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну,— дать ей разобраться в себе; при этом она заранее говорит, что она любит больше меня, чем Ал. Ал., и чтобы я боролся с ней же за то, чтобы она выбрала путь наш с ней. Я даю ей нечто вроде клятвы, что отныне я считаю нас соединенными в Духе и что не позволю ей остаться с Ал⟨ександром⟩ Алекс⟨андровичем⟩» (*Материал к биографии*, л. 52 об.).

[71] Белый уехал в Москву 5 или 6 марта. Предполагалось, что он и Л. Д. Блок вскоре уедут вместе в Италию.

[72] Приводим первое из писем Л. Д. Блок к Белому (от 9 марта), отправленных после его отъезда в Москву: «Милый, я не понимаю, что значит — разлука с тобой. Ее нет, или я не вижу еще ее. Мне не грустно и не пусто. Какое-то спокойствие. Что оно значит? И почему я так радостно улыбалась, когда ты начал удаляться? Что будет дальше? Теперь мне хорошо — почему, не знаю. Напиши, что с тобой, как расстался со мной, понимаешь ли ты, что со мной. Люблю тебя, но ничего не понимаю. Хочу знать, как ты. Люблю тебя. Милый. Милый. Твоя *Л. Б.*» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18).

[73] 13 марта Л. Д. Блок писала Белому: «Несомненно, что я люблю и тебя, истинно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя не *променяю*. Я должна принять трагедию любви к обоим вам. ⟨...⟩ Верю, Бог знает как твердо, что найду выход, *буду* с тобой, но и *останусь* с ним. О, еще будет мука, будет трагедия без конца; но будет хорошо! Буду с тобой! Какое счастье! Останусь с ним! И это счастье!»; 14 марта: «...Саша теперь бесконечно нежен и ласков со мной; мне с ним хорошо, хорошо. Тебя не забываю, с тобой тоже будет хорошо, знаю, знаю! Милый, люблю тебя!»; 16 марта: «Куда твои глаза манят, куда идти, заглянув в самую глубину их,— еще не понимаю. Не знаю еще, ошиблась ли я, подумав, что манят они на путь жизни и любви. Помню ясно еще мою живую к тебе любовь. Хотя теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами...»; 17 марта: «Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне — брат ⟨...⟩. Вы меня любите, верю, что почуете мою правду и примете ее, примете за меня мучения. ⟨...⟩ Боря, понимаете Вы, что не могу я изменить первой любви своей?»

(т а м ж е). В письмах от 19 и 20 марта Л. Д. Блок вновь заверяет Белого в своей любви к нему и зовет приехать поскорее в Петербург (см.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 240—241).

[74] 11 апреля 1906 г. Л. Д. Блок писала Белому: «Не приезжай до воскресенья» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18; воскресенье — 16 апреля). См. также письма Л. Д. Блок к Белому от 6 и 10 апреля 1906 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 244—245).

[75] 6 апреля Блок писал Белому: «Не приезжай пока ни в коем случае. Я тебе напишу, когда. ⟨...⟩ У меня самый трудный экзамен» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 175). Блок в это время держал выпускные экзамены в университете.

[76] Белый приехал в Петербург 15 апреля 1906 г. и пробыл там до начала мая.

[77] Имеется в виду латышский поэт Вальдемар Дамбергс (1886—1960), знакомый Гюнтера (тогда живший, как и Гюнтер, в Митаве). См.: Письма В. Дамбергса к Блоку. Предисловие, публикация и комментарии Е. М. Беня.— В кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4, с. 423—426.

[78] Разделяя здесь Л. Д. Блок и «Щ.», Белый создает неясную картину того, как начало складываться общение с нею в этот его приезд в Петербург. Ср. письмо Л. Д. Блок к Белому от 15 апреля 1906 г.: «Приходи к нам сегодня же в 2 часа. ⟨...⟩ Сашины главные экзаменационные ужасы прошли благополучно. Хочу тебя видеть и говорить»; приписка Блока: «Милый Боря, приходи» (т а м ж е, кн. 3, с. 245). 17 апреля М. А. Бекетова записала в дневнике: «Вчера Аля заходила ко мне ⟨...⟩. Рассказала мне про Борю: явился вчера — жалкий и общипанный, было с Сашурой очень натянуто, а Люба спокойна» (т а м ж е, с. 616).

[79] Ср. заключительные строки стихотворения Белого «Маскарад» (июль 1908 г.): «С окровавленным кинжалом//Пробежало домино» (*Стихотворения и поэмы*, с. 224).

[80] Ср. позднейшие записи Белого об этом: «Морально я одерживаю победу над Л. Д.; она дает мне обещание, что осенью мы с ней едем в Италию и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней; она просит меня дать ей провести с Ал. Ал. последнее лето» (*Материал к биографии*, л. 52 об.— 53).

[81] Ср. запись Е. П. Иванова от 17 апреля 1906 г. о посещении дома Блоков: «Когда сидели за чаем втроем с Александрой Андреевной, пришел и Боря. ⟨...⟩ А Саша Блок все время не был, пошел «пить». Мы ждали, но он так и не пришел» (Блоковский сборник, с. 404—405).

[82] Имеется в виду строка «Чуть золотится крендель булочной» из стихотворения Блока «Незнакомка», датируемого 24 апреля 1906 г. В дневниковой записи от 12 января 1921 г. К. И. Чуковский передает слова Блока о том, как создавалась «Незнакомка»: «Незнакомку» писал, когда был у него Белый,— целый день. Белый взвизгивал, говорил — «а я послушаю и опять попишу» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 2. М., 1981, с. 253—254; публикация Е. Ц. Чуковской).

[83] *In vino veritas!* (лат.) — Истина в вине! Ср. в «Незнакомке»: «И пьяницы с глазами кроликов // «In vino veritas!» кричат»; последняя строка: «Я знаю: истина в вине» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 185—186).

[84] Уподобление здесь Блока придорожному кусту — аргумент в пользу того, что в системе образов и символов рассказа Белого «Куст» (Золотое руно, 1906, № 7-9, с. 129—135) коллизии взаимоотношений Белого с Блоком и Л. Д. Блок того времени нашли свое — намеренное или бессознательное — отражение.

[85] *«Глядя на луч пурпурного заката»* — романс А. А. Оппеля (1888) на слова стихотворения «Забыли вы» П. А. Козлова, популярный в начале XX в. См.: Песни и романсы русских поэтов (Библиотека поэта, большая серия). М.— Л., 1965, с. 839—840, 1059.

[86] См.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 126.

[87] I Государственная дума была открыта 27 апреля 1906 г.; заседания проходили в Петербурге в Таврическом дворце.

[88] Белый сообщает, что на одном из первых собраний на «башне» Вяч. Иванова он выступал с темой «Градация форм искусства» (*Ракурс к дневнику*, л. 33 об.).

[89] О появлении Б. Дикса (Б. А. Лемана) с кузиной О. Н. Анненковой в петербургской символистской среде см. письмо С. М. Городецкого к Вл. Пясту от 11 мая 1906 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 246—247).

[90] Белый упоминает О. Н. Анненкову в числе русских антропософов, живших в 1914 г. в Швейцарии и участвовавших в строительстве Гетеанума (*Материал к биографии*, л. 90). 6 писем О. Н. Анненковой к Белому хранятся в его архиве (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 8, ед. хр. 11).

[91] Белый переехал из Москвы в Дедово 22 мая 1906 г.

[92] I Государственная дума была распущена 9 июля 1906 г.

[93] Белый имеет в виду прежде всего письмо Л. Д. Блок к нему от 22 июля 1906 г.; приводя слова Хильды из 2-го действия «Строителя Сольнеса» («Иметь настоящую, свежую, пышущую здоровьем совесть, чтобы смело идти к желанной цели»), она

определенно заявляла: «Боря, знаю, *что* между нами, знаю Вашу любовь, но твердо знаю, что взять это или не взять в *моей* воле. Вот разница. И не беру во имя ценного, во имя пути мне *данного*. ⟨...⟩ И я должна нарушить с Вами все. Теперь это так» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 249).

[94] Мотивы рассказа Э. По «Маска Красной Смерти» (1842) отразились в стихотворениях Белого «Маскарад», «Праздник», «В Летнем саду» (1906) (см. выше, примеч. 57) и в романе «Петербург». См.: Белый Андрей. Петербург, с. 654—655, 664—665.

[95] *«Донская речь»* — политическо-общественная газета либерального направления, выходившая в Ростове-на-Дону в 1887—1908 гг.

[96] Всероссийский крестьянский союз — массовая политическая организация, возникшая летом 1905 г. и объединявшая народническую интеллигенцию и сознательное крестьянство; лидеры союза и большинство делегатов были сторонниками мирных форм борьбы. Союз распался в 1907 г.

[97] О том, что С. Соловьев склонен был мифологизировать свое чувство, свидетельствует его письмо к Белому от 30 июня 1906 г. из Трубицына, в котором он осмысляет общение с крестьянской девушкой под знаком религиозного жизнестроительства: «Елена — и все с ней связанное — не хаос, не зверь, а Новый завет, но не по схеме, а по-новому, очищенному. Ее образ в отдалении окончательно освободился от колдовства и марева. Ведро на плече красивой девки преобразилось в водонос Ревекки; соблазнительность влаги, тростников и рыбы преобразилась в нетление вод Иордана и лодку галилейских рыбарей. Разумеется, это — миг» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13).

[98] Отношения С. Соловьева с Блоком были фактически разорваны до ноября 1910 г.

[99] В июле 1906 г. Соловьев познакомил Елену со своими родственниками в Дедове; ср. его письмо к Белому от 17 июля: «Вчера в Дедово приехала Елена ⟨...⟩. Она была очень замечена у нас ⟨...⟩ Елена пристально рассматривала бабушку, приблизив к ней лицо, и эти две головы, старая и молодая, так художественно оттеняли одна другую, что я исходил в восторге, в сознании предопределенности всего, легкости и безопасности» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13). 2 сентября 1906 г. Соловьев писал Белому из Москвы: «1-го октября женюсь непременно. Содержи в тайне» (там же, ед. хр. 6).

[100] Ср. запись Белого об июне 1905 г.: «С. М. Соловьев, как и я, настроен революционно. ⟨...⟩ мы оппозиционно относимся

к Дедову и каждый день ходим отводить душу с сестрами Любимовыми в село Надовражино» (*Материал к биографии*, л. 53).

[101] Цитата из романса «Сомнение». См.: гл. 1, примеч. 19.

[102] Белый уехал в Серебряный Колодезь в середине июня 1906 г.

[103] Лирическая поэма Белого «Панихида» была опубликована в 1907 г. в «Весах» (№ 6, с. 5—14); позднее Белый разбил ее на относительно самостоятельные стихотворения, помещенные в книге «Пепел».

[104] Неточная цитата из стихотворения «Вынос» (1906), восходящего к 5-й части поэмы «Панихида» (*Стихотворения и поэмы*, с. 249).

[105] Цитата из стихотворения «Хулиганская песенка» (июль 1906 г.), входящего в «Пепел» (*Стихотворения и поэмы*, с. 266).

[106] Подробнее об этом Белый сообщает в «Воспоминаниях о Блоке»: «...был на меня настоящий донос Николаю Петровичу, земскому, часто бывавшему прежде у мамы и потому положившему дело *«О подстрекательстве помещика Б. Н. Бугаева к разграблению собственного имущества»* — под сукно (это, верно, донес управляющий наш); добродушнейший Николай Петрович собрался было меня вызвать и посоветовать мне удалиться из Тульской губернии ⟨...⟩ да я в это время уехал ⟨...⟩. Говорили потом, что уже навострил свое ухо урядник, да земский его уломал; этим дело и кончилось» (*Эпопея*, III, с. 182—183).

[107] Белый вернулся в Дедово около 20 июля.

[108] В частности, 6 августа 1906 г. Л. Д. Блок писала Белому: «С весны все настолько изменилось, что теперь нам увидеться и Вам бывать у нас — совершенно невозможно. Случайные же встречи где бы то ни было были бы и Вам, и мне только по-ненужному беспокойны и неприятны. Вы должны, Боря, избавить мени от них — в Петербург не приезжайте. И переписку тоже лучше бросить, не нужна она, когда в ней остается так мало правды, как теперь, когда все так изменилось и мы уже так мало знаем друг о друге» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18).

[109] Блок приехал для объяснений с Белым из Шахматова в Москву вместе с Л. Д. Блок 8 августа; к этой поездке относятся две его недатированные записки, обращенные к Белому: «Приехал говорить, сейчас возьмем комнату поблизости и пришлем за Тобой»; «Боря, приходи сейчас же в ресторан Прагу. Мы ждем. *Саша*» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 177). См. также: *Эпопея*, III, с. 185—186.

[110] Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой (8 августа 1906 г., Шахматово): «Саша с Любой вернулись из Москвы. ⟨...⟩ Виделись с Борей. Поговорили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то,

что Люба к нему изменилась. 〈...〉 Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение)» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 618).

[111] Разрыв с братьями Коваленскими Белого и С. Соловьева основывался на политических разногласиях: «...ссоры с Коваленскими (они — «кадеты», мы с С. М.— революционеры)» (*Ракурс к дневнику*, л. 35). Ср. запись М. А. Бекетовой от 24 августа 1906 г.: «Сережа женится на крестьянке, поссорился с бабушкой и со всеми своими и революционер» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 618).

[112] Дача министра внутренних дел П. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге была разрушена взрывом 12 августа 1906 г.; сам Столыпин не пострадал, эсеры-террористы погибли. См.: Спиридович А. И. Революционное движение в России, вып. II. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. М., 1916, с. 290—291.

[113] Цитируется заключительная строфа стихотворения «Маскарад», написанного в июле 1908 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 224).

[114] *Франценсбад* — австрийский курорт близ г. Эгера, известный водолечебными заведениями и минеральными водами.

[115] Эллис отправился от Белого к Блоку в Шахматово с вызовом на дуэль 10 августа 1906 г. Объяснения с Эллисом в Шахматове описаны в воспоминаниях Л. Д. Блок (Александр Блок в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1, с. 176—178). См. также: *Эпопея*, III, с. 188—190; Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 618 (дневниковая запись М. А. Бекетовой от 24 августа 1906 г.).

[116] В конце августа — начале сентября 1906 г. Блок с женой поселились отдельно от матери и отчима, в квартире на Петербургской стороне (Лахтинская ул., д. 3, кв. 44).

[117] В августе — сентябре 1906 г. Белый с матерью переехали в квартиру в доме Новикова близ Арбата (Никольский пер., д. 21, кв. 7).

[118] Подразумевается прежде всего история несостоявшейся женитьбы С. Соловьева на крестьянской девушке, отразившаяся в главной сюжетной коллизии «Серебряного голубя» — отношениях Дарьяльского и Матрены.

[119] Ср. признания в воспоминаниях Л. Д. Блок: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись 〈...〉 я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эго-

истическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов; тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности» (Александр Блок в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1, с. 176).

[120] Белый приехал в Петербург 23 августа.

[121] См. письмо Л. Д. Блок к Белому от 26 августа 1906 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 256).

[122] См. выше, примеч. 85.

[123] См.: Белый Андрей. Петербург, с. 126.

[124] Ресторан (до 1910 г.— трактир), находившийся в доме баронессы Э. А. Майдель на углу Миллионной улицы и Машкова переулка (Миллионная, д. 18/8).

[125] Имеются в виду эпизоды из гл. 1 «Петербурга», главки «Наша роль», «И при том лицо лоснилось» (Белый Андрей. Петербург, с. 36—43).

[126] Ресторан *«Доминик»* (Невский пр., д. 24).

[127] Ср.: «...отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович ⟨...⟩, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом» (Белый Андрей. Петербург, с. 47).

[128] Рецензия Белого на книгу Чулкова «О мистическом анархизме» была напечатана не в «Весах», а в «Золотом руне» (1906, № 7-9, с. 174—175). Ср. запись Белого о сентябре 1906 г.: «Имею значительный разговор с Чулковым, старающимся мне объяснить, что такое мистический анархизм» (*Материал к биографии*, л. 53 об.).

[129] *«Сутта-Нипата»*— одна из самых старых частей буддийского Канона. Белый имеет в виду издание: Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга, переведенная с пали на английский язык Др. Фаусбеллем. Русский перевод Н. И. Герасимова. М., 1899.

[130] См.: Белый Андрей. Петербург, с. 235—240 (гл. 5, главка «Страшный суд»).

[131] Литературный вечер у Ф. Сологуба состоялся 3 сентября 1906 г. Сологуб записал об этом приеме: «Читали стихи: Андрей

Белый, Кузмин, Пестовский, я» (*ИРЛИ*, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 81, л. 48).

[132] Анахронизм: повесть М. А. Кузмина «Крылья» была впервые напечатана в ноябрьском (11-м) номере «Весов» за 1906 г. Произведение это получило скандальную известность благодаря затрагиванию в нем проблем однополой любви.

[133] См.: «Начало века», гл. 1, примеч. 222.

[134] Д. Ф. Трепов умер 2 сентября 1906 г.

[135] Сохранились две записки Л. Д. Блок Белому с предложением прийти: в первой (от 29 августа) она приглашала его «завтра, 30-го, только на часок среди дня, часа в 4» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 256); во второй, от 6 сентября, она писала: «Приходите, если хотите, в четверг 7-го сентября вечером» — и сообщала новый адрес на Лахтинской улице (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18). В первой записке новый адрес не был указан — предполагалось, что свидание состоится по старому, известному Белому адресу. В «Воспоминаниях о Блоке» Белый, описывая свой визит к Блокам, отмечает, что был у них вечером «где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно: под крышей» (*Эпопея*, III, с. 193) — т. е. на Лахтинской улице; следовательно, знаменательное объяснение состоялось 7 сентября.

[136] *Колпино* — ближайший к Петербургу город по Николаевской железной дороге.

[137] К. И. Арабажин, сын сестры Н. В. Бугаева, жил в доме 16 по Чернышеву переулку.

[138] Исполнителем роли Шерлока Холмса Белый в данном случае был склонен считать Е. П. Иванова, с которым неоднократно встречался в начале сентября. См. дневниковые записи Иванова от 4, 5, 6 и 7 сентября 1906 г. (Блоковский сборник, с. 409—410) и письмо Белого к нему от 6 сентября 1906 г. (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989, с. 355).

[139] Переживания ночи с 7 на 8 сентября 1906 г. непосредственно отразились в гл. 1 «Петербурга», главка «Так бывает всегда»: «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый 〈...〉. О, большой, электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью перегнулся и я: миг,— и тело мое пролетело б в туманы. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень» (Б е л ы й Андрей. Петербург, с. 55).

[140] Неточная цитата из сокращенной и переработанной редакции «Петербурга». См.: Белый Андрей. Петербург. М., 1978, с. 59.

[141] Уподобление, которым завершается большинство фрагментов сутты III кн. 1-й «Сутта-Нипаты»; например: «3(36). Кто близкою дружбой связан с людьми, тот лишается своей прибыли, ибо дух его закован в цепи; видя опасности дружбы, ты иди одиноко, подобно носорогу»; «26(59). Оставь жену и сына, отца и мать, богатство и жито, оставь все, что порождает желания, и иди своим путем одиноко, подобно носорогу» (Сутта-Нипата, с. 36, 38; пер. Н. И. Герасимова).

[142] Эта записка среди писем Л. Д. Блок к Белому не сохранилась.

[143] 9 сентября 1906 г. Е. П. Иванов записал в дневнике: «Был у Блоков. Узнал, что Белый решил ехать за границу» (Блоковский сборник, с. 411). Ср. письмо Л. Д. Блок к Белому от 13 сентября 1906 г.: «...помните, как я смотрела на Вас, когда Вы победили смерть и вернулись? Разве я не верила тогда в Вашу светлость и честность? Верила, и теперь верю, и буду верить. И верю в нашу дружбу с Вами и хочу, чтобы Вы завоевали ее. Но не забывайте, что за нее надо бороться Вам не только с «внешними врагами», но и с собой» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18).

[144] Белый приехал в Москву 9 или 10 сентября. 10 сентября он подал прошение об увольнении из числа студентов университета в связи с заграничной поездкой, оно было удовлетворено 19 сентября (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 305, л. 18).

[145] Белый выехал из Москвы в Мюнхен 20 сентября 1906 г.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

[1] О Е. А. *Вулихе* Белый сообщает в письмах к матери из Мюнхена от 22 октября (н. ст.) 1906 г.: «...провожу время только с В. В. ⟨Владимировым⟩ да еще с одним русским» и 31 октября (н. ст.) 1906 г.: «Один только русский (еврей) — друг В. В. пришелся мне очень по душе. Это социал-демократ, человек благородный и неподкупно честный. Может быть, через месяца полтора он будет в Москве. Прошу тебя, милая мама, отнесись к нему поласковей. Он такой одинокий, гордый и замкнутый, с виду даже неприятный, но в душе удивительный человек. Я ему дам письма к московским знакомым» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358). Во время пребывания в Москве Вулих познакомился с А. Д. Бугаевой: в одном из писем к Белому (от 6 мая 1907 г.) он передает привет ей и Евдокии Ивановне,— видимо, прислуге Бугаевых (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 13, ед. хр. 16).

[2] *«Сецессион»* («Sezession») — наименование ряда немецких и австрийских художественных группировок конца XIX — начала XX в., объединявших художников различных направлений, противопоставлявших себя официальному академическому искусству. Мюнхенский «Сецессион» был основан в 1892 г. 26 октября (н. ст.) 1906 г. Белый писал В. Я. Брюсову: «Сецессион» — просто дрянь. В некультурных выходках московских художников больше свежести, чем в зализанном, учтиво-приторном модернизме сецессионистов» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 392).

[3] Белый поселился на этой улице (Barer Strasse, 53) по приезде в Мюнхен 4 октября (н. ст.) 1906 г.

[4] «Ворота победы» (Siegestor) были воздвигнуты в 1843—1852 гг. по проекту Фридриха фон Гертнера. Ворота увенчивает бронзовая женская фигура с квадригой львов, символизирующая Баварию.

[5] В *Швабинге* (предместье Мюнхена) В. И. Ленин и Н. К. Крупская жили с мая 1901 г. по апрель 1902 г. (Зигфридштрассе, 14).

[6] Принц-регент Баварии Луитпольд (Карл-Йозеф-Вильгельм; 1821—1912) — дядя Людвига II; провозглашен регентом с 1886 г. при Людвиге II и при сменившем его Оттоне I, душевнобольном.

[7] Король Баварии Людвиг II был признан 7 июня 1886 г. душевнобольным и поселен в замке Нейшваиштейн на берегу Штарнбергского озера (Верхняя Бавария), 13 июня того же года при непроясненных обстоятельствах утонул (или был утоплен) вместе с сопровождавшим его д-ром Гудденом.

[8] В баварском городе Байрейте по повелению Людвига II был построен театр специально для постановок музыкальных драм Р. Вагнера; сам композитор жил в Байрейте с 1872 г.

[9] Традиционный баварский народный праздник, проводимый в Мюнхене ежегодно с середины сентября до начала октября. В очерке «Мюнхен» (1906) Белый пишет: «Мне посчастливилось быть на народном празднике *«October-Fest»*) ⟨...⟩. Баварец отправляется из города в эти дни в специально для этого праздника воздвигнутые на широком поле пивные Валгаллы, неимоверной величины. Тиролец-капельмейстер раздает народу книжечки с песнями, прославляющими пиво и жизнь, и под музыку их затягивают тысячи крестьян, крестьянок, солдат и интеллигентов. Сюда приходит баварец молиться своему богу и раздирать рот в песне» (*Арабески*, с. 366).

[10] Новая ратуша на Мариенплатц построена в неоготическом стиле в 1899—1908 гг.

[11] Род Вёльсунгов, сказания о котором, восходящие к скандинавской эпической поэзии («Сага о Вёльсунгах», XIII в.), отразились в сюжете музыкальной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

[12] Подразумеваются лекции Р. Штейнера, прослушанные Белым в Мюнхене в августе 1912 г.

[13] *Frauenkirche* — центральный собор в позднеготическом стиле, построенный в 1468—1488 гг., наиболее известная достопримечательность Мюнхена.

[14] Обелиск на Каролиненплатц (1833; архитектор Лео фон Кленце), воздвигнутый в память 30 000 баварских солдат, павших во время русского похода Наполеона 1812 г.; *«Глиптотека»* (1816—1830; архитектор Кленце) — музей древнегреческой и римской скульптуры.

[15] *«Пропилеи»* — архитектурное сооружение на Кёнигсплатц, выдержанное в классическом стиле (1862; архитектор Кленце).

[16] *Юлиан Отступник* — герой «мировой драмы» Г. Ибсена «Кесарь и Галилеянин» (1873), в двух частях (ч. I — «Отступничество цезаря», ч. II — «Император Юлиан»); *Боркман* — герой его драмы «Йун Габриэль Боркман» (1896). В Мюнхене Ибсен жил в 1875—1880 и в 1886—1891 гг.

[17] Виттельсбахский фонтан (1891—1894) — наиболее известная скульптурная работа Адольфа фон Гильдебранда, выполнена в неоклассическом стиле.

[18] См.: Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей. Перевод Н. Розенфельда и В. А. Фаворского. М., Мусагет, 1914.

[19] *«Симплициссимус»* («Simplicissimus») — иллюстрированный еженедельник, основанный в Мюнхене в 1896 г., отличался остросатирической направленностью.

[20] *«Сатирикон»* — еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1908—1914 гг. (издатель — М. Г. Корнфельд, редактор — А. А. Радаков, затем — А. Т. Аверченко).

[21] Художественные музеи Мюнхена, расположенные на *Барерштрассе, — Новая Пинакотека,* экспонирующая европейскую живопись и скульптуру конца XVIII — начала XX в., и *Старая Пинакотека*, где собрана в основном живопись эпохи Возрождения, преимущественно нидерландских и немецких мастеров.

[22] Классические памятники французской готики XIII века — *Амьенский собор,* строившийся с 1220 по 1288 г. по планам и проектам Роберта де Люзарма, и часовня *Сент-Шапель* (1242—1248), сооруженная, по всей вероятности, Пьером де Монтеро *(Монтрейлем).*

[23] Белый сообщал матери из Мюнхена: «Вдумчиво изучаю старых немцев и почти каждый день до 12 часов (в 12 иду обе-

дать) сижу в гравюрном кабинете Пинакотеки» (Воронин С. Д. Из писем Андрея Белого к матери.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1987, с. 66—67). Ей же он писал 14 октября (н. ст.) 1906 г.: «Здесь есть подлинные гравюры Дюрера, этого гиганта старогерманской живописи, Леонардо. Есть и гравюры Клингера. Старые художники поразительны, а молодые немецкие художники *значительно* уступают русским» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[24] Статья Белого «Принцип формы в эстетике» была напечатана в № 11—12 «Золотого руна» за 1906 г. (с. 88—96); см. также: *Символизм*, с. 175—194). *Ученый-физик* — видимо, А. И. Бачинский.

[25] Г. Галилей, будучи 18-летним студентом Пизанского университета, подметил, что продолжительность малых качаний маятника не зависит от величины размахов; это наблюдение было сделано им в соборе над уменьшающимися качаниями люстры, причем время он измерял биениями собственного пульса.

[26] *Реймский собор* — один из шедевров зрелой французской готики XIII в.

[27] *Ансельм*, архиепископ Кентерберийский, и *Вильгельм* (Гильом) *из Шампо* — наиболее крайние представители реализма в средневековой схоластике (XI — XII вв.). В решении проблемы универсалий реализм утверждал, что чем более общим является понятие, тем реальнее его существование в качестве особой сущности, в противоположность *номинализму* (Беренгар Турский, Росцелин, Абеляр) — философскому учению, согласно которому общее не имеет онтологического содержания и которое признавало объективное существование лишь единичных предметов.

[28] Имеется в виду работа *Порфирия* «Введение в категории Аристотеля» (III в.), бывшая для средневековой философии основным толкованием Аристотеля и оказавшая огромное влияние на средневековую схоластику; поставленный Порфирием вопрос о реальности понятий послужил основным исходным пунктом для дискуссий между реалистами и номиналистами.

[29] Ср. запись Белого о январе 1916 г.: «...раза 3 в неделю уезжаю в университетскую библиотеку в Базель, где усиленно работаю над литературой о Раймонде Луллие; читаю французскую монографию о нем (забыл автора) ⟨...⟩, читаю «Ars brevis» Раймонда и перехожу к *«Ars magna»*, но — запутываюсь; и читаю комментарии к Раймонду Джордано Бруно» (*Ракурс к дневнику*, л. 77 об.).

[30] Над этим исследованием по истории и философии культуры Белый работал в основном в 1925—1926 гг. и в мае — июне 1931 г.

[31] Картина Грюневальда «Поругание Христа» (1503) в Старой Пинакотеке. В письме к Брюсову от 26 октября (н. ст.) 1906 г. Белый называет Грюневальда в числе «старых немцев», особенно ему близких (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 392).

[32] Заключительные строки 1-й части («Вы шумите. Табачная гарь...») стихотворения «Безумец» (март 1904 г.), входящего в книгу Белого «Золото в лазури» *(Стихотворения и поэмы,* с. 142).

[33] Цитата из 20-го стихотворения («Der Wegweiser» — «Придорожный столб») цикла Вильгельма *Мюллера* «Зимний путь» («Die Winterreise»), положенного на музыку Францем Шубертом (ор. 89, 1827); в переводе В. П. Коломийцова: «Я пройду тот путь надежный,//Что нам всем закрыт назад...» (Коломийцов В. Тексты песен Франца Шуберта. Л., 1933, с. 99).

[34] Маргарита Дидерихс, сестра Андрея Дидерихса. Из Мюнхена Белый отправил на родину ряд приветственных открыток (матери, Брюсову и др.), подписанных кроме него Владимировым, Вулихом, сестрой и братом Дидерихс.

[35] В 1906 г. *Т. Манн* жил в Мюнхене по адресу: Франц-Йозефштрассе, 2.

[36] Контаминация сокращенных и неточных цитат из «Путевых картин» («Италия. I. Путешествие от Мюнхена до Генуи», 1828—1829) в переводе В. А. Зоргенфрея (Гейне Г. Собр. соч., т. VI. Пб., 1922).

[37] *Ratskeller* (нем.) — винный погребок (при ратуше).

[38] Сокращенная цитата из «Путевых картин» в переводе В. А. Зоргенфрея (Гейне Г. Собр. соч., т. VI, с. 25).

[39] Ср.: «Simplicissimus» — сборный пункт художественной богемы Мюнхена. Крошечный кабачок, а приди сюда весь Мюнхен, весь Мюнхен сумеет рассадить за двумя десятками столиков умная Kathy Cobus, сорокалетняя хозяйка с черными, хмурыми глазами, одновременно и строгими: усадит — и не будет тесно» (Белый Андрей. Мюнхен вечером.— Киевские вести, 1908, № 165, 22 июня).

[40] В марте 1919 г. Эрих *Мюзам* активно участвовал в борьбе за Баварскую советскую республику, за что поплатился тюремным заключением более чем на пять лет (1919—1924).

[41] O, wie fein! (нем.) — О, как тонко!

[42] И. Э. *Грабарь* приезжал в Мюнхен в ноябре 1906 г. (см.: Грабарь Игорь. Письма. 1891—1917. М., 1974, с. 189). О встречах с Грабарем Белый рассказывает в письме из Мюнхена к матери от 27 ноября (н. ст.) 1906 г. (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[43] У Антона *Ашбе*, руководившего (с 1891 г.) школой-мастерской живописи и рисования в Мюнхене, Грабарь учился в 1896—1897 гг. См.: Грабарь И. Моя жизнь. Автомонография. М.— Л., 1937, с. 121—128.

[44] Повесть *«Городок»* — первое произведение Ш. Аша, принесшее ему известность,— была опубликована в 1904 г. «Жаргоном» Белый называет идиш.

[45] В очерке о Ш. Аше Белый писал: «...неожиданно дружески мы сошлись в кабачке. Так же дружески мы продолжали сходиться с Шоломом Ашем в кабачках, кафе, друг у друга, на улице, у Пшибышевского. Потом он внезапно исчез, как внезапно появился на моем горизонте. В то время я имел весьма далекое представление о талантливом еврейском писателе и должен сознаться, что не читал из него ни одной строчки»; о прогулках и разговорах с Ашем Белый вспоминает: «Все это было так просто, так весело, что невольно яснело на сердце; и шутливо болтали мы с Ашем о всяком вздоре: его детские выходки забавляли меня 〈...〉, Аш — первый и, кажется, единственный из мне известных писателей, с которыми можно совсем не вести *«умных»* разговоров о литературе 〈...〉 в первый же день знакомства мы просто, как дети, *«водились»* с Ашем на улицах Мюнхена, простаивали у витрин, тихо молчали у фонтанов, бесцельно кружились — возвращались на круги своя» (Белый Андрей. Шолом Аш. Силуэт.— Час, 1907, № 28, 16 сентября).

[46] 31 октября (н. ст.) 1906 г. Белый сообщал матери: «Я был на днях у Пшибышевского. Это очень милый, любезный человек. Кажется, мы сойдемся ближе. Он пригласил меня чаще наведываться» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[47] *«Homo sapiens»* (1895—1898) — роман, *«De Profundis»* — повесть Ст. Пшибышевского.

[48] Имеется в виду Казимеж Врочиньский (1883—1957), польский поэт и драматург; о встречах с ним см. в письмах Белого к Брюсову (ноябрь 1906 г.) (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 396, 398). *«Chimera»* (1901—1907) — литературно-художественный журнал, орган польского модернизма.

[49] Собрания сочинений Пшибышевского на русском языке были выпущены в свет издательством «Скорпион» (т. 1—4. М., 1904—1906) и издательством В. М. Саблина (т. 1—10. М., 1905—1911).

[50] Название вокального цикла Ф. Шуберта (см. выше, примеч. 33).

[51] Ср.: «В продолжение двух месяцев мне приходилось соприкасаться с польской колонией в Мюнхене. Я оценил благоговейное отношение к закату Пшибышевского; все видят его за-

хождение, все знают, что мистерия его творчества приходит к концу ⟨...⟩. Но молодежь, окружающая его, как бы шепчет: «Свет тихий, свет вечерний». И грустным, мерцающим светом озарены вечера Пшибышевского. И даже раскаты смеха там в грустных, бархатных тонах. И на этих вечерях Пшибышевский как бы прощается со всеми» (Белый Андрей. Пшибышевский. Силуэт.— Час, 1907, № 18, 2 сентября).

[52] Письма Белого к С. А. Соколову не выявлены, однако сомнительно, чтобы осенью 1906 г. Белый обращался к нему как представителю «Золотого руна», поскольку Соколов ушел из журнала и широковещательно разорвал отношения с Н. П. Рябушинским в начале июля того же года.

[53] В 1907 г. в «Золотом руне» были напечатаны две поэмы в прозе Пшибышевского — «Тиртей» (№ 2) и «Стезею Каина» (№ 11—12).

[54] В очерке о Пшибышевском Белый писал: «Слов между нами не было произнесено, слов внутренних: мы больше молчали с Пшибышевским о том, что не всегда срывается с уст ⟨...⟩. Пшибышевский говорил мало: с неуловимой властностью, прикрытой добродушием, заставлял он высказываться меня о России. Мое описание похорон Баумана взволновало его ⟨...⟩ простота отношений к людям у него не только от *духовного аристократизма*, но и оттого, что он — интеллигентный пролетарий. В нем нет и следа гримасы, которая всегда выступает из-под условного лоска буржуазных отношений. *Аристократ* и *пролетарий, товарищ* и *царь* своеобразно соединены в Пшибышевском» (Час, 1907, № 18, 2 сентября).

[55] Ср.: «Он один из лучших исполнителей Шопена. Шопеном он говорит с вами» (там же).

[56] Белый имеет в виду свою статью «Пророк безличия» (Киевская мысль, 1909, № 133, 15 мая; *Арабески*, с. 3—16).

[57] Белый относит эту встречу с Ашем ко времени своего пребывания в Петербурге в ноябре 1907 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 42).

[58] В литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник» (кн. 5. СПб., 1908), выпускавшемся З. И. *Гржебиным* и С. Ю. Копельманом, была опубликована трагедия Ш. Аша «Саббатай Цеви».

[59] *Карлстор* — средневековые ворота (XIV в.) на Карлсплац, на границе старого города, перестроенные в 1791 г. во время правления курфюрста Карла-Теодора и названные его именем.

[60] Актриса на амплуа молодых девушек (фр. ingénue — юная, простодушная девушка).

[61] Вплоть до начала 1910-х годов сценические постановки пьес Ведекинда в Германии приобретали скандальный характер

(травля в печати, преследования со стороны судебных инстанций и т. д.).

[62] «Мюнхен очень по мне; здесь все мне нравится»,— писал Белый матери 5 октября (н. ст.) 1906 г., сразу же по приезде в столицу Баварии (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358); несколько недель спустя в письме, полученном в Москве 5 ноября, он сообщал ей же: «Здесь тихо и просторно. Лечусь молчанием, сосредоточенностью и одиночеством. Каждый лишний месяц, который проведу здесь, прибавит мне здоровья: это чувствую. Начинаю приходить в себя после нелепой суматохи последних лет. ⟨...⟩ Благодарю судьбу и Тебя, что я поехал в Мюнхен ⟨...⟩» (Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986, с. 67).

[63] *Сен-Готард* — перевал в Лепонтинских (Западных) Альпах в Швейцарии (высота 2108 м).

[64] Ходатайство *Э. К. Метнера* об освобождении от обязанностей нижегородского цензора было удовлетворено в марте 1906 г.

[65] Э. К. Метнер с женой, А. М. Метнер, и Н. К. Метнер приехали в Мюнхен 16/29 декабря 1906 г., уже после отъезда Белого, и прожили там до июня 1907 г. См. комментарии З. А. Апетян в кн.: Метнер Н. К. Письма. М., 1973, с. 80.

[66] См. письмо Л. Д. Блок к Белому от 26 сентября 1906 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 257).

[67] В Мюнхене Белый работал над 2-й частью «четвертой симфонии» «Кубок метелей» в ее окончательной редакции.

[68] Позднейшие оценки Белым этого произведения имеют, как правило, негативный характер; ср.: «...испорченный мной в эпоху мрачных 1906—1907 годов *«старый»* текст 4-ой «симфонии» (написанный в 1902 году, *искалеченный* в 1906 году в «Кубок метелей»)» (*Почему я стал символистом*, с. 81—82).

[69] Рассказ Белого «Куст» был опубликован в № 7—9 «Золотого руна» за 1906 г. (с. 129—135).

[70] В письме к Белому от 2/15 октября 1906 г. Л. Д. Блок расценивала публикацию «Куста» как «поступок глубоко непорядочный»: «...нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе — лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли все; но отдать печатать — поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны. Вы знали, *что* делаете, и решились на это» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 258). 9/22 октября она вновь писала Белому, с еще большей решительностью и резкостью: «Скажу Вам прямо — не вижу больше ничего общего у меня

с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше. ⟨...⟩ Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне Вы показали их с трудом. Пусть так; не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование Вашей книги будет вне сферы моей жизни. ⟨...⟩ возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства, Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18; в письме подразумевается публикация стихотворений Белого из цикла «Одинокие» в № 8 «Весов» за 1906 г.).

[71] Цитаты из стихотворения «Полумаска» (Белый Андрей. Пепел. Стихи. М., 1929, с. 81), представляющего собой переработанную редакцию стихотворения «Вакханалия», написанного в Мюнхене в 1906 г. (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 232).

[72] См.: Бугаев Борис. На перевале. VI. Против музыки.— Весы, 1907, № 3, с. 57—60.

[73] «Манифест» Белого «Художник оскорбителям» был напечатан в № 1 «Весов» за 1907 г. (с. 53—56). В этом произведении Белый от имени художников-творцов бросал слова гнева и презрения сытой толпе буржуа и эстетов.

[74] Сокращенная цитата (*Арабески*, с. 330). Опубликование «манифеста» вызвало «Открытое письмо «Весам» З. Н. Гиппиус, в котором выдвигались претензии редакции журнала за напечатание этого документа: «Издевки над наготой пьяного отца — ничего не принесли одному из сыновей Ноя, кроме беды и безобразия. ⟨...⟩ Таким несчастным случаем невинного Ноя, когда он, нагой, напился «от гроздий» и заснул,— я считаю «Манифест» Андрея Белого ⟨...⟩. «Весы», увидав наготу, выставили ее на свет, запечатлели ее на своих страницах. ⟨...⟩ Кто знает Андрея Белого хотя немного, хотя издали, хотя бы по литературным произведениям только, по стихам — тому будет больно и бесполезно слышать случайный дикий взвизг этого человека, сущность которого — махрово-нежный, глубокий ум и разноцветно-играющая, любовная талантливость. Он действительно художник; но, конечно, не художник изрыгал эти жалкие, бездейственные и уродливые ругательства «Манифеста», жалкие уже потому, что они неизвестно к кому обращены и неизвестно кем произносятся. ⟨...⟩ Дикий крик человека в аффекте — «Весы» восприняли и собою закрепили в трезвом состоянии» (*ИРЛИ*, ф. 240, оп. 2, ед. хр. 61). В письме к Гиппиус (1907, страстная неделя), аргументируя нежелание редакции «Весов» публиковать ее «открытое письмо», Брюсов указывал: «Вы осуждаете автора за то, что произошло *вне литературы*, в его частной жизни. Был ли

Андрей Белый, когда писал свой «Манифест», подобен Ною, вкусившему от плодов виноградных, этого читатели и редакция не могут и не должны знать. Мы получили «Манифест», как и все другие статьи Белого. Все проявления души Белого мы считаем стоящими внимания. Белый переживает последние годы резкий перелом в своем миросозерцании, так что странность тона его статьи могла быть объяснена этой ломкой. Наконец, *через неделю* после «Манифеста» я получил от Бориса Николаевича письмо, в котором он повторял свое желание видеть «Манифест» напечатанным 〈...〉» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 692—693; Брюсов имеет в виду письмо Белого, отправленное из Парижа 12 декабря 1906 г., со строками: «Извиняюсь за безумие, именуемое «манифестом». Если будете печатать, опустите слово «манифест». Впрочем, поступите, как вам угодно»; см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 402). В письме к Брюсову от 13 мая (н. ст.) 1907 г. Гиппиус, не возражая против решения Брюсова относительно ее «открытого письма», добавляла о реакции Белого на этот документ: «Он читал эту заметку в Париже и не только не «возражал», а готов сам был под нею подписаться» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39). Тем не менее несколько лет спустя Белый включил свой «Манифест» в «Арабески».

[75] Имеется в виду статья Белого «О проповедниках, гастрономах, мистических анархистах и т. д.» (Золотое руно, 1907, № 1, с. 61—64).

[76] В письме от 5 ноября (н. ст.) 1906 г. Мережковский просил Белого посетить мюнхенского издателя Р. *Пипера* и осведомиться о ходе дел с подготовкой сборника «Меч» («Der Schwert»; нереализованный замысел) и сборника его, Мережковского, статей в немецком переводе. В этом же письме к Белому Мережковский признавался: «Знайте только одно: *я всегда молюсь за Вас, каждый день.* И З. Н. тоже за Вас молится, и Дм〈итрий〉 Вл〈адимирович〉. Я часто вижу Вас во сне и чувствую тогда, как Вы страдаете. Зина тоже видит Вас во сне. Между нами — неразрывная связь, и, если бы мы даже хотели, мы не можем покинуть друг друга» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9; Дмитрий Владимирович — Философов).

[77] 8 ноября (н. ст.) 1906 г. З. Н. Гиппиус писала Белому из Парижа: «А когда к нам приедете — увидите, какая у нас трезвость, и простота, и стремление к известному «смиренномудрию»; может быть, даже скучно вам покажется, но, наверное, будет, как раз вам, не бесполезно» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6).

[78] Об этом свидании см. в письме Белого к Брюсову от 14 декабря (н. ст.) 1906 г. (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 403).

[79] Белый приехал в Париж 1 декабря (н. ст.) 1906 г.

[80] К *Лувру*, бывшему королевскому дворцу и крупнейшему художественному музею, примыкал дворец *Тюильри* (Tuileries; 1564—1670, архитекторы Ф. Делорм, Л. Лево и др.), бывший одной из королевских резиденций. Ныне на месте дворца сад одноименного названия.

[81] По приезде в Париж, однако, Белый относился к своим встречам с Мережковскими иначе; ср. его письмо к матери (декабрь 1906 г.): «Почему я выбрал Париж? Естественно, там одни из самых мне близких и внутренне, т. е. душой, помогающих людей: Дм. С. Мережковский, Гиппиус и Философов; последний оказал мне нравственную поддержку и молитвой, и участливым отношением ко мне ⟨...⟩»; в другом декабрьском письме к ней же он отмечал: «Неоценимо то, что здесь почти рядом со мной Мережковские и Философов. Я бываю у них каждый день от 3 до 6 часов» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[82] Белый подразумевает хирургическую операцию, которую он перенес 2 января 1907 г.

[83] Парижский адрес Белого: Passy, XVI, rue de Ranelagh, 99.

[84] Юбер *Лагардель* был вождем правого крыла французских синдикалистов.

[85] Eh bien (фр.) — ну; ну что же; так вот и т. п.

[86] В Аджарии, в Цихисдзири (близ Батуми), Белый жил в апреле — июне 1927 г.

[87] Имеется в виду многотомная «Социалистическая история» («Histoire socialiste») Жореса, издававшаяся в Париже в 1900-е годы.

[88] Палата депутатов французского парламента.

[89] В 1881—1883 гг. Жорес работал преподавателем философии в лицее Альби (департамент Тарн), а с 1883 г.— в Тулузском университете.

[90] Bonjours, mademoiselle... Ça va bien? (фр.) — Здравствуйте, мадемуазель... Все в порядке?

[91] Белый общался с А. Матиссом во время пребывания французского художника в Москве в конце октября 1911 г., в частности, 27 октября в Обществе свободной эстетики (см.: Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года.— В кн.: Труды Государственного Эрмитажа, XIV. Л., 1973, с. 178).

[92] В декабре 1906 г. Белый сообщал матери: «...интересно, что за одним табльдотом со мной завтракает социалист Жорес, одна из самых ярких фигур во Франции. Мы очень живо говорим с ним обо всем» (Памятники культуры. Новые открытия. Еже-

годник 1986, с. 68). О своих встречах с Жоресом Белый рассказал в очерках «Силуэты. I. Жорес» (Накануне, 1907, № 20, 6 июля) и «Из встреч с Жоресом» (Час, 1907, № 2, 14 августа), а также в позднейшем очерке «Воспоминания о Жоресе» (1924); см.: Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988, с. 645—652. В первом из этих очерков Белый писал: «Общество наше состояло из художника-иллюстратора, нервнобольного француза и его болтливой, хорошенькой жены, двух-трех державшихся в стороне аббатов, неслышно скользящих, как летучие мыши (они обменивались холодными поклонами с Жоресом), русской барышни, Жореса и меня. Оттого ли, что Жорес всегда расположен к русским, оттого ли, что диапазон наших бесед с соотечественниками был шире, но Жорес всегда как бы аккомпанировал нам, постоянно вмешиваясь и направляя беседу, так что мы выделились из общего концерта в некоторое постоянное трио».

[93] См.: Renouvier Ch. Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques, vol. 1—2. Paris, 1885—1886. Белый указывает, что читал это произведение в феврале 1907 г. (*Ракурс к дневнику,* л. 37 об.).

[94] Ср. свидетельства Белого в очерке «Силуэты. I. Жорес»: «Жорес окружен русскими эмигрантами, и орган его всегда осведомлен о положении дел в России. Он знает все оттенки политической группировки в России ⟨...⟩. Он *любезно* относится к нашим кадетам, говорит об уме и ловкости кадетских вождей, хотя лично симпатизирует крайним левым. ⟨...⟩ Желая иметь точную картину политической борьбы в России, он подробно и много расспрашивал меня о тех событиях, свидетелем которых я был». О тех же политических предпочтениях Жореса свидетельствует и Мережковский, передавая его слова в статье «Цветы мещанства» (1908): «В настоящее время в России кадеты — единственная партия, у которой есть чувство реальных политических возможностей. Все, что левее, безумно. Ваши крайние — или фанатики, или мечтатели, живущие в царстве химер. Их геройству нельзя не удивляться. Но удивление смешивается с чувством грусти и, простите, досады. У вас, русских, все — порыв. Вы готовы спрыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать лучше умеете, чем жить...» (Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. (Библиотека «Русского слова»), т. XVI. М., 1914, с. 69).

[95] Сокращенная цитата (*Арабески,* с. 341—342). Первая публикация статьи «Люди с «левым устремлением» — Час, 1907, № 10, 24 августа.

[96] Цитата из той же статьи (*Арабески,* с. 341).

[97] Сокращенные цитаты из той же статьи (т а м ж е, с. 341—342).

[98] Подразумевается, что А. Ф. Аладьин, депутат от крестьян в I Государственной думе, представлявший левую фракцию, впоследствии входил в крымское правительство генерала П. Н. Врангеля.

[99] Имеется в виду первая легальная большевистская газета «Новая жизнь», издававшаяся в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 г.; ее официальным редактором значился Н. М. Минский. См.: К а р е л и н а М. Большевистская «Новая жизнь». М., 1955; М е й л а х Б. Ленин и проблемы русской литературы XIX — начала XX вв. Л., 1970, с. 166—171; М а к с и м о в а В. А. «Новая жизнь» и «Вестник жизни».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Большевистские и общедемократические издания. М., 1984, с. 4—23.

[100] Имеется в виду стихотворение Минского «Гимн рабочих», впервые опубликованное в «Новой жизни» (1905, № 12, 13 ноября). См.: Поэты 1880—1890-х годов (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1972, с. 137, 650 (комментарий Л. К. Долгополова).

[101] Эта книга, состоявшая из статей Мережковского, Гиппиус и Философова, вышла в свет в Париже в 1907 г.

[102] *«Речь»* — ежедневная петербургская газета, начатая изданием в 1906 г., главный орган кадетской партии. Д. В. Философов был ее постоянным сотрудником.

[103] Дмитрий Александрович Философов стал министром торговли и промышленности в кабинете П. А. Столыпина, председателя Совета министров в 1906—1911 гг.

[104] Ср. воспоминания А. Н. Бенуа о встречах с Мережковскими в Париже в 1906 г.: «Это было время, когда З. Н. Гиппиус изящно кокетничала с разными «парламентными заговорщиками», и среди них и с самим Савинковым, и тогда же в их салоне на улице Теофиль Готье образовалось нечто вроде штаб-квартиры революции, куда захаживали всевозможные персонажи революционного вероисповедания. Кажется, тогда же у них установилась связь с Керенским. Впрочем, я сам там бывал редко, и мне претила вся эта отдававшая легкомыслием и любительством суета» (Б е н у а Александр. Мои воспоминания, кн. IV, V. М., 1980, с. 444).

[105] Трилогия Мережковского «Христос и Антихрист», состоящая из романов «Смерть богов (Юлиан Отступник)», «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», «Антихрист (Петр и Алексей)» (СПб., изд. М. В. Пирожкова, 1906).

[106] Эта встреча состоялась 17 февраля (н. ст.) 1907 г. См. письмо Белого к Брюсову от 14/27 февраля 1907 г. (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 405—407).

[107] Видимо, подразумевалась информационная статья Философова под рубрикой «Париж (От нашего корреспондента)» (Речь, 1907, № 15, 19 января/1 февраля, с. 2; подпись: Д.), в которой сообщалось о действиях Жореса в связи с франко-русскими финансовыми комбинациями.

[108] Опровергая это место в мемуарах Белого, З. Н. Гиппиус утверждает, что она вообще не участвовала в описываемой встрече (см.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 172).

[109] В иной тональности Белый рассказывает об этом свидании в очерке «Из встреч с Жоресом»: «У Мережковского отсутствует талант общения с далеко отстоящими от него людьми: он говорит только с огнем и о том, что для него всего ближе; в противном случае он невольно замыкается в молчание. Я боялся шероховатостей в описываемой встрече. 〈...〉 Жорес был неподдельно мил и с интересом расспрашивал русских об их религиозных взглядах, об отношении мистического построения Мережковского к общественным вопросам вообще, об отношении его к социализму и анархизму, наконец расспрашивал о России. Он обещал всяческое содействие русскому писателю в нужном ему деле, и они расстались, по-видимому, довольные друг другом; по крайней мере, Д. С. Мережковский потом говорил о Жоресе с большой теплотой и сердечностью. Мне неловко было говорить с Жоресом о Мережковском, как человеку, слишком близко стоящему к интересам русского писателя» (Час, 1907, № 2, 14 августа). Мережковский охарактеризовал встречу с Жоресом в статье «Цветы мещанства» (Речь, 1908, № 35, 10 февраля), вошедшей в его сборник «В тихом омуте» (СПб., 1908); см.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 68—69.

[110] 27 января (н. ст.) 1907 г. Белый писал матери: «Жорес спрашивает часто обо мне и выказывает мне много симпатии» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[111] В программу этой утренней конференции, состоявшейся 16 декабря 1906 г., кроме выступления Жореса на тему «Религиозный вопрос и социальный вопрос» входили также музыкальные номера и представление трагедии П. Корнеля «Никомед».

[112] В очерке «Из встреч с Жоресом» Белый писал: «Что говорит Жорес? Этого нельзя передать, когда вы переживаете период, когда период вырастает в нечто целое, закрывая горизонты общего плана речи причудливо растущим, как облако, отдельным периодом. И это облако расцвечено неуловимыми, мгновен-

ными зарницами сарказма, юмора, каламбурами и намеками»; «Да, Жорес политик, его журнальные статьи интересны... но разве это Жорес? Не читайте их никогда, послушайте, *как* они живут, когда рождаются у него в пафосе красноречия, и вы поймете, почему Жорес — действительно большой человек». См. также опубликованные С. Д. Ворониным рисунки Белого, изображающие Жореса (Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986, с. 68—69); один из них подписан: «Жорес на ораторской трибуне перед 6000 толпой кричит о благородстве России, свергающей насилие».

[113] По всей вероятности, анахронизм: марокканский кризис, вызванный конфликтом между Францией и Германией из-за экономических и политических притязаний на Марокко, возник в 1905 г., однако агадирский конфликт разразился лишь летом 1911 г., когда германская канонерка «Пантера» вошла в контролируемый Францией порт Агадир под предлогом защиты интересов германских граждан в Марокко.

[114] См.: La Fête du Trocadéro. Question religieuse et la Question sociale. Conférence du citoyen Jaurés.— Humatité, 1906, № 974, 17 decembre, p. 5.

[115] Жорес был убит французским националистом Раулем Вилленом 31 июля 1914 г., за день до объявления войны.

[116] Ср. запись Белого о январе 1907 г.: «Мое участие в пишущейся драме З. Гиппиус: «Красные маки», или «Маков цвет». Пишу Гиппиус стихи для этой драмы (гимн красных маков)» (*Ракурс к дневнику*, л. 37). Стихотворение Белого (без указания авторства) предпослано тексту драмы:

В голубые, священные дни
Распускаются красные маки.
Здесь и там лепестки их — огни
Подают нам тревожные знаки.
Скоро солнце взойдет.
Посмотрите —
Зори красные.
Выносите
Стяги ясные.
Выходите
Вперед,
Девицы красные.
Красным полымем всходит Любовь.
Цвет Любви на земле одинаков.
Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганных маков.

(Гиппиус З., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет. СПб., 1908, с. 3).

[117] М. Я. *Герценштейн,* член I Государственной думы и один из лидеров кадетской партии, был убит черносотенцами 14 июля

1906 г. во время прогулки на морском берегу в Териоках. Кадет, член I Государственной думы Г. Б. Иоллос был убит на улице 14 марта 1907 г. рабочим Федоровым по наущению члена Союза русского народа Казанцева.

118 В Париже Белый общался с Рудольфом Буксгевденом; отца, барона Отто Оттовича Буксгевдена, застрелил в Петербурге 21 июня 1907 г. его сын и брат Рудольфа Эдгар. Оправданно предположение, что по аналогии с Буксгевденами Белый придумал фамилию одного из второстепенных персонажей «Петербурга» (романа, в котором активно разрабатывается мотив отцеубийства) — Вергефден (см.: Ljunggren Magnus. The Dream of Rebirth. A Study of Andrey Belyj's Novel «Peterburg». Stockholm, 1982, p. 142—143).

119 В 1905 г. в «Весах» (№ 1—7) появилось 17 публикаций И. И. Щукина — рецензии на искусствоведческие издания.

120 *А. Ф. Онегин* (Отто), живший с 1860-х годов в Париже, собрал знаменитую коллекцию рукописей Пушкина, частично поступивших к нему после смерти В. А. Жуковского, частично купленных им за границей. См.: Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. М.— Пг., 1923.

121 В 1906 г. Брюсов опубликовал в «Весах» три стихотворения Н. С. Гумилева (№ 6, с. 6—9).

122 За приглашение участвовать в «Весах» Гумилев благодарил Брюсова в письме от 11 февраля 1906 г. (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 18).

123 Гумилев описал этот визит в письме к Брюсову от 8 января 1907 г.: «...я получил мистический ужас к знаменитостям, и вот почему. Я имел к Зинаиде Николаевне Мережковской рекомендательное письмо от ее знакомой, писательницы Микулич. И однажды днем я отправился к ней. Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Ник⟨олаевны⟩, были еще Философов, Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас же скрылся. Остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и Философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому что, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и ясно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно, так как интервьюирование велось в форме общего разговора. Я отвечал, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей неясные и недосказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом — оказалось неправильным. Учеником Вячеслава Иванова — тоже. Последователем Сологуба — тоже. Наконец, сравнили с каким-то французским поэтом Бетнуаром или что-то в этом роде. Разговор продолжался, и я надеялся, что меня под-

ведут под какую-нибудь пятую рамку. Но, на мою беду, в эту минуту вышел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Ник⟨олаевна⟩ сказала ему: «Ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бетнуара». Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывисто и в нос: «Вы, голубчик, не туда попали! Вам не здесь место! Знакомство с Вами ничего не даст ни Вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственно, что мы могли бы сделать, это спасти Вас, так как Вы стоите над пропастью. Но ведь это...» — тут он остановился. Я добавил тоном вопроса: «Дело неинтересное?» И он откровенно ответил «да» и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал. В переднюю, очевидно из жалости, меня проводил Андрей Белый» (там же).

[124] Иронические отзывы об этом визите Гумилева сообщили в письмах к Брюсову З. Н. Гиппиус (8/21 января 1907 г.) и Андрей Белый (14/27 февраля 1907 г.). См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 691, 406. Посещение Гумилева нашло отражение в пьесе Гиппиус, Мережковского и Философова «Маков цвет», где начинающий поэт выведен под именем Гущина. См.: Суперфин Г. Г., Тименчик Р. Д. Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову.— Cahiers du Monde russe et soviétique, 1974, vol. XV, № 1—2, p. 190.

[125] Н. Н. Минский был избран председателем Совета берлинского «Дома искусств», образованного в середине ноября 1921 г. группой русских писателей и художников; Белый был одним из членов совета. См.: Бюллетени «Дома искусств», 1922, № 1—2, 17 февраля, стлб. 21.

[126] Высокая оценка трудов Рихарда *Мутера* «История живописи» и «История живописи в XIX веке» была дана в «Мире искусства» в рецензиях А. Ростиславова (1901, т. II, № 11—12, с. 318—319; 1902, т. II, № 11, отд. II, с. 52—55), столь же высокой оценки были удостоены книги Мутера об английской и бельгийской живописи (Хроника журнала «Мир искусства», 1903, № 7, с. 69—70; подпись: Р. Г.; 1903, № 16, с. 183; подпись: П. Н.).

[127] В «Мире искусства» были напечатаны в переводе с немецкого работы Юлиуса Мейер-Грефе «От Пуссена до Мориса Дениса», «Современное французское искусство. Импрессионизм в живописи и скульптуре» (1903, т. IX, № 3, с. 130—136; т. X, № 9, с. 87—100), в «Хронике журнала «Мир искусства» — его статья «Уистлер» (1903, № 11, с. 110—112).

[128] Имеется в виду статья «Врубель», в которой А. Н. Бенуа признавал, что в своей книге «История русской живописи в

XIX веке» (СПб., 1902) он не воздал должное этому художнику: «Ему-то я и не отвел подобающего места в своей книге, это и есть важнейшая ошибка ее. Врубель принадлежит к самому отрадному, что создала русская живопись ⟨...⟩. Я в своей книге упрекал Врубеля в некотором ломании, в желании «гениальничать». Я был не прав. Врубель был безусловно чистый, искренний художник и именно настоящий гений» (Мир искусства, 1903, т. X, № 10—11, с. 177).

[129] Подразумеваются циклы живописных работ А. Н. Бенуа, посвященные Версалю XVII в.— резиденции короля Людовика XIV *(Луи Каторз)*,— «Последние прогулки Людовика XIV» (1896—1898), «Версальская серия» (1905—1907).

[130] «Ежемесячник для любителей искусства и старины» «Старые годы» выходил в Петербурге в 1907—1916 гг. (редактор-издатель П. П. Вейнер).

[131] *Жена* — Анна Карловна Бенуа, рожд. Кинд (1869—1952). *Дочь* — либо Анна Александровна (Атя) Бенуа, в замужестве Черкесова (род. в 1895 г.), либо Елена Александровна (Леля) Бенуа, в замужестве Клеман (род. в 1898 г.).

[132] 20 февраля (н. ст.) 1907 г. Белый писал матери: «В пятницу 22-го читаю лекцию *«Социал-демократия и религия»* в пользу парижской эмигрантской кассы»; 28 февраля сообщал ей же: «Лекцию прочел: публики была масса. Произвела много толков. Было много нападок. Очень многие серьезно заинтересовались» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358). М. Семенов, информировавший об этом выступлении Белого в газете «Утро» (1907, № 54, 16 февраля), указал, что «социал-демократы беспощадно расправились с рефератом, довольно грубо отвернувшись от протянутой им «товарищеской руки»; вырезка с этой статьей, присланная Белому Брюсовым (см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 407), сохранилась в архиве Белого. См.: Белый Андрей. Социал-демократия и религия. Из лекции, читанной в Париже.— Перевал, 1907, № 5, с. 23—25.

[133] Настоящее имя *Мореаса* — Яннис Пападиамандопулос.

[134] *Рашильд* была женой издателя «Mercure de France» Альфреда Валлета; как критик выступала почти исключительно в этом журнале.

[135] «Фаланга» — объединение французских поэтов, возглавлявшееся Жаном Руайером (1871—1956).

[136] 14/27 февраля 1907 г. Белый писал Брюсову: «Был только на обеде, устроителем которых бывает Фор, Шарль Морис и др. Скучно — глупо» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 405—406). В письме, отправленном из Москвы в кон-

це ноября (ст. ст.) 1906 г., Брюсов советовал Белому завести в Париже знакомства с новейшими французскими поэтами (там же, с. 402).

[137] Белый имеет в виду свое большое объяснительное письмо к Блоку от 28 декабря (н. ст.) 1906 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 183—186), оставленное без ответа.

[138] О конце декабря 1906 г. Белый вспоминает: «...у меня делается нарыв; и последние дни старого года я едва таскаю ноги» (*Материал к биографии*, л. 54 об.). Причину этого недуга Белый указывает однозначно: «...заболеваю от нервных потрясений, разражавшихся надо мной с мая до ноября» (*Ракурс к дневнику*, л. 37). См. выше, примеч. 82.

[139] Намек на постановку «Балаганчика» Блока в театре В. Ф. Коммиссаржевской (премьера — 30 декабря 1906 г.; режиссер — В. Э. Мейерхольд, музыка М. А. Кузмина).

[140] Стихотворения, составившие цикл Блока «Снежная Маска», были написаны с 29 декабря 1906 г. по 13 января 1907 г.

[141] Ср. запись Белого о возвращении в Москву из-за границы: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л. Д. в связи с Г. И. Ч⟨улковым⟩; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию символизма — углубляется» (*Материал к биографии*, л. 54 об.).

[142] Имеется в виду стихотворение Блока «На снежном костре» (13 января 1907 г.) из «Снежной Маски». См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 252—253. Белый иронически откликнулся на него в «Кубке метелей»:

«Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек снежный костер.

Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре».

На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока» (Белый Андрей. Кубок метелей. Четвертая симфония. М., 1908, с. 24).

[143] Образы из стихотворений Блока «На островах» (22 ноября 1909 г.) и «Я пригвожден к трактирной стойке...» (26 октября 1908 г.). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 20, 168.

[144] Через два дня после операции Белый писал матери: «Каждый день у меня Зин⟨аида⟩ Николаевна» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358). Сообщая А. Д. Бугаевой о состоявшейся операции, Гиппиус добавляла: «Он очень подготовил свою болезнь ненормальным образом жизни, которую вел перед этим. Он бывал у нас днем, постоянно,— и последнее время мы упрашивали его раньше ложиться; но он говорил, что уже неделю не

спит, до утра сидит, пьет чай и курит. Нервы расшатал себе до такой степени, что вид у него был прямо ужасный. У него слишком слабая воля, чтобы взять себя в руки, и с этой стороны я даже рада, что он проживет несколько времени в больнице, под строгим режимом. Это очень успокоит его нервы ⟨...⟩ уж очень все мы крепко и неизменно любим Вашего сына, и все думаем, и гадаем, и советуемся, как бы так сделать, чтобы ему было хорошо» (там же, ед. хр. 366). Д. В. Философов в письме к А. Д. Бугаевой от 10/23 января 1907 г., сообщив название болезни Белого («phlegmon ischio-rectal») и подробности, касающиеся ее лечения, отмечал: «Опасности никакой больше нет. Но за ним нужен долгий и упорный уход. Ему сделали очень глубокий разрез со стороны заднего прохода ⟨...⟩. До сих пор он, по-видимому, за здоровьем своим никогда не следил, особенно за желудком, вместе с тем болезнь его произошла, по-видимому, от неправильного пищеварения ⟨...⟩. Настроение у него великолепное. Больницей доволен. Мы его часто посещаем, да и вообще его навещают. Под хлороформом чувствовал себя «как в раю» (его слова)» (там же, ед. хр. 369).

[145] 8 января 1907 г. З. Н. Гиппиус писала Брюсову: «...больной А. Белый лежал у нас перед операцией и почти кричал от боли, которая «туго, туго крутила жгут». Теперь все понемножку обошлось. Операция сделана, прошла хорошо, и Белый лежит кротким, веселым, больным ангелом среди ухаживающих за ним монахинь какого-то строгого католического ордена. На будущей неделе, вероятно, встанет. Тучи близких и дальних навещают его. Его ведь как-то любят и те, и другие» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39).

[146] В письме к Блоку от 5 марта 1907 г. Белый сообщает имя этой дамы, «пишущей в Сорбонну диссертацию о русском символизме»,— Вера Николаевна Фидровская (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 187).

[147] Неточные цитаты из стихотворения «Просветление», написанного в Париже в 1907 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 326—327).

[148] Неточные цитаты из стихотворения «Совесть» (1907, Париж) (*Стихотворения и поэмы*, с. 294).

[149] Стихотворение «Матери» (январь 1907 г., Париж) из книги «Пепел» приводится в сокращении (без двух строф) и с отдельными неточностями; см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 241.

[150] 14/27 января 1907 г. Белый сообщал матери: «Вот уже 5-ый день, как я вышел из постели, и третий день, как выхожу» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, он. 1, ед. хр. 358). Из больницы Белый вышел в последние дни января (н. ст.) 1907 г.

[151] *Пуантилизм* (от фр. pointiller — писать точками) —

в живописи манера письма раздельными мазками правильной формы наподобие точек или квадратиков, к которой прибегали представители французского неоимпрессионизма (Ж. Сёра, П. Синьяк).

[152] Лекция Мережковского состоялась перед самым отъездом Белого из Парижа, 21 февраля/5 марта 1907 г. «в гигантской Salle d'Orient»: «Было чуть не 1000 человек. А возражения пришлось перенести еще на другой вечер. Среди оппонентов был ⟨...⟩ и Андрей Белый» (Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский, с. 170).

[153] Г. *Робакидзе* учился в это время на философском факультете Лейпцигского университета. Ср. письмо Д. В. Философова к Брюсову от 20 ноября 1910 г.: «Робакидзе я знаю по Парижу. Три года он ходил к нам каждую субботу, и затем очень помогал нам в нашей борьбе с хулиганами. Он кончил *духовную семинарию* в Тифлисе и затем Лейпцигский университет. У него солидное философское образование ⟨...⟩» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 106, ед. хр. 33; под «хулиганами» подразумеваются чуждые литературно-общественные силы).

[154] Белый активно общался с Робакидзе в Тифлисе летом 1929 г.; ср. его дневниковые записи: «Вечер у Робакидзе» (25 мая); «Ряд бесед: ⟨...⟩ с Робакидзе (был у нас)»; «Вечер с поэтами: Тициан ⟨Табидзе⟩, Паоло ⟨Яшвили⟩, Григорий Робакидзе» (2 июля); «Вечером — долгий разговор с Григ. Робакидзе» (6 июля) и др. (*Ракурс к дневнику*, л. 142, 143). См. также письма Робакидзе к Белому 1930—1931 гг. (Вопросы литературы, 1988, № 4, с. 281—282; публикация П. Нерлера). Робакидзе — автор статьи «Андрей Белый», впервые опубликованной в тифлисском журнале «Ars» (1918, № 2—3, с. 49—61); см.: Робакидзе Григорий. Портреты, вып. 1. Тифлис, 1919, с. 44—68.

[155] Ср. письмо Философова к Белому из Парижа от 19 марта/1 апреля 1907 г.: «В сущности, мы единственные люди, которых теперь Вы не боитесь и которые для вас верный, каменный оплот ⟨...⟩ как отрадно, что Вы были здесь, что мы полюбили друг друга вне идей, а как-то органически ⟨...⟩» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16).

[156] Белый уехал из Парижа в Москву около 25 февраля/9 марта 1907 г.; 28 февраля (ст. ст.) он уже выступал в Москве в Обществе свободной эстетики с чтением стихотворений.

[157] Цитата из стихотворения «Просветление» (см. выше, примеч. 147).

[1] «Бюро провинциальной прессы», организованное в конце 1907 г. по инициативе С. Глаголя и С. Соколова (Кречетова), ставило своей целью, как сообщалось в отпечатанном оповещении, «снабжение прогрессивной провинциальной печати литературным материалом»: «Механизм нашего предприятия следующий: каждое литературное произведение, принятое редакцией, воспроизводится при помощи одного из размножительных аппаратов, рассылается провинциальным газетам, вошедшим с нами в соглашение (одной в каждом городе), и приблизительно одновременно воспроизводится на страницах этих газет». Высылая оповещение 8 ноября 1907 г. Ф. Сологубу, С. А. Соколов писал: «Полное сочувствие нашему начинанию и обещание содействия уже выразили следующие лица: Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, А. М. Федоров, Б. К. Зайцев, Андрей Белый, Н. Д. Телешов, П. А. Кожевников, П. М. Ярцев и др.» (*ИРЛИ*, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 636). Это начинание, однако, очень скоро разладилось.

[2] Имеется в виду московская газета «Час», издание ее было приостановлено в конце января 1908 г. Литературный отдел в «Часе» курировал С. А. Соколов.

[3] С. А. Венгеров академиком не был.

[4] См.: «Начало века», гл. 2, примеч. 227.

[5] См. выше, гл. 2, примеч. 22.

[6] Издательство «Шиповник» было основано в Петербурге в 1906 г. З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом. Л. Андреев был основной автор литературных альманахов «Шиповника», большинство сборников «Шиповника» в 1908—1909 гг. (по свидетельству В. Е. Беклемишевой, жены Копельмана) «составлено при его ближайшем участии» (Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930, с. 235). См.: К е л д ы ш В. А. Альманахи издательства «Шиповник».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984, с. 261.

[7] Издательство *«Оры»* было основано Вяч. Ивановым в Петербурге в конце 1906 г.; в нем печатались книги авторов, ближайшим образом связанных с кругом «башни» Иванова.

[8] Ср.: «...когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901—1905 годов под флагом мистического анархизма»; «Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году»; «Я бронирую свои недавние лозунги символизма в полемику и в вопрос о школе; символизм как школа, мое

«осади назад»: для переорганизации всего фронта» *(Почему я стал символистом,* с. 50, 51).

[9] Белый имеет в виду свою статью «Вишневый сад», впервые опубликованную в «Весах» в 1904 г. (№ 2). См.: *Арабески,* с. 403—404.

[10] Речь идет о повести Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» (СПб., Оры, 1907). В рецензии на эту книгу Белый писал: «Жаль, что к сложнейшим загадкам и противоречиям человеческой сущности подходят люди, не вооруженные никакой определенной идейной, мистической, психологической или эстетической цельностью. А без этой цельности и глубины интерес сюжета есть интерес моды. Но всякая мода надоедает быстро. Вчера индивидуализм и мистический анархизм, сегодня «Эрос» — что еще завтра?» (Перевал, 1907, № 5, с. 53). О повести «Тридцать три урода» см.: Никольская Т. Л. Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.— В кн.: Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник, VIII (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 813). Тарту, 1988, с. 129—130.

[11] Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова «Veneris figurae» («Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда...»), опубликованное в 1907 г. в «Весах» (№ 1, с. 16); в книге Иванова «Cor ardens» напечатано под заглавием «Узлы змеи» (ч. 1. М., 1911, с. 94).

[12] Возможно, подразумевается строка «Мы розе причащались» из XIV сонета («Разлукой рок дохнул. Мой алоцвет...») цикла Иванова «Золотые завесы», впервые опубликованного в альманахе «Цветник «Ор» (СПб., 1907); см.: Иванов Вячеслав. Cor ardens, ч. 1, с. 223.

[13] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Пророк безличия» (1908). Фальк — герой романа Ст. Пшибышевского «Homo sapiens».

[14] Это ритуальное «действо» состоялось 2 мая 1905 г. в Петербурге на квартире Н. М. Минского; как сообщает Е. П. Иванов в письме к Блоку от 9—10 мая 1905 г., собравшиеся (по предложению Вяч. Иванова и Минского) производили «ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния», а также символические жертвоприношения (*ИРЛИ,* ф. 662, ед. хр. 42). Белый пишет об этом ритуале: «...где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино, под флагом той же мистерии,— это только смешило» (*Почему я стал символистом,* с. 52).

[15] Сокращенная цитата из статьи «Пророк безличия».

[16] Эти слова основываются, по всей вероятности, на искаженных слухах об отношениях Вяч. Иванова и Зиновьевой-Аннибал с М. В. Сабашниковой (Волошиной) в первой половине

1907 г. См. примеч. О. Дешарт в кн.: Иванов Вячеслав. Собр. соч., т. II. Брюссель, 1974, с. 764—767, 808—810.

[17] Речь идет о письме в редакцию «Весов» (1907, № 8), в котором Блок заявлял, что не имеет ничего общего с «мистическим анархизмом». См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, с. 675—676.

[18] Белый подразумевает творческую деятельность Чулкова главным образом в 1920—1930-е годы; в это время Чулков стал авторитетным исследователем Тютчева. См. его книги «Последняя любовь Тютчева (Е. А. Денисьева)» (М., 1928), «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева» (М.— Л., 1933).

[19] Заключительные строки стихотворения Белого «Отчаянье» (июль 1908 г.), открывающего книгу «Пепел» (*Стихотворения и поэмы*, с. 160).

[20] «Полковник Розов»— рассказ Б. Зайцева, впервые опубликованный в «Литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник» (кн. 1. СПб., 1907).

[21] Сокращенная цитата из статьи «Вишневый сад» (1904); см.: *Арабески*, с. 402.

[22] Цитата из статьи «На перевале. I. Символизм» (1909).

[23] См.: *Арабески*, с. 314 (статья «На перевале. XIII. Realiora», 1908).

[24] Сокращенная цитата из статьи «А. П. Чехов» (*Арабески*, с. 400).

[25] Контаминация сокращенных цитат из статьи «На перевале. X. Литературный распад» (*Арабески*, с. 294).

[26] Условно-символические драмы Л. Андреева *«Царь-Голод»* (СПб., Шиповник, 1908) и *«Черные маски»* (первая публикация: Литературно-художественные альманахи изд-ва «Шиповник», кн. 7. СПб., 1908).

[27] Имеется в виду петербургская газета «Русская воля» (декабрь 1916 — октябрь 1917 г.), издание которой было организовано октябристом А. Д. Протопоповым, заместителем председателя Государственной думы, с конца 1916 г.— министром внутренних дел. Андреев редактировал литературно-театральный отдел «Русской воли». См. коммент. А. И. Наумовой в кн.: Литературное наследство, т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965, с. 456—457; см. также: Оксман Ю. Г. «Русская воля», банки и буржуазная литература.— В кн.: Литературное наследство, т. 2. М., 1932, с. 165—186.

[28] Это увлечение определеннее всего отразилось в статье Белого «Смерть или возрождение. «Жизнь Человека» Л. Андреева», опубликованной в «Литературно-художественной неделе» (1907, № 1, 17 сентября). См.: *Арабески*, с. 491—497.

[29] Сокращенная цитата из статьи «Призраки хаоса».

[30] Сокращенные цитаты из статьи «Второй том».

[31] Цитаты из статьи «Смерть или возрождение» (*Арабески*, с. 493, 497).

[32] Цитата из статьи «Обломки миров».

[33] Сокращенные цитаты из статьи «Анатэма» (*Арабески*, с. 499, 500). Драма Андреева «Анатэма» была выпущена «Шиповником» в 1909 г. отдельным изданием.

[34] Контаминация сокращенных цитат из статьи «На перевале. XI. Слово правды» (1908) (*Арабески*, с. 295, 298), написанной в связи с выходом в свет повести М. Горького «Исповедь».

[35] Контаминация сокращенных цитат из статьи о книге Мережковского «Не мир, но меч».

[36] Цитаты из статьи о книге Гиппиус «Черное по белому».

[37] В издательстве «Скорпион» вышли в свет три книги стихов Кузмина — «Сети» (1908), «Куранты любви» (1910), «Осенние озера» (1912), повесть «Крылья» (1907), три книги рассказов (1910, 1913).

[38] Ср. замечание Белого в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «...до *«1905»* года не *«Весы» par excellence;* с 906 до *908* и *909* — *«Весы»* — par excellence» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[39] О внутриредакционных обстоятельствах, приведших к выработке этой «конституции», см.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания).— В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 302—304.

[40] Сокращенная цитата из статьи «Символизм как миропонимание».

[41] Цитата из статьи «Окно в будущее».

[42] Неточная цитата из статьи «Луг зеленый» (1905) (Белый Андрей. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910, с. 14).

[43] Цитата из статьи «На перевале. XIV. Искусство и мистерия».

[44] Контаминация сокращенных цитат из статьи «На перевале. XIX. Штемпелеванная калоша».

[45] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. XII. Символический театр» (1907) (*Арабески*, с. 311).

[46] Сокращенная цитата из статьи «Символизм и современное русское искусство» (1908).

[47] Неточная и сокращенная цитата из той же статьи.

[48] Первая статья Белого из цикла «На перевале» появилась в № 1 «Весов» за 1906 г., последняя, 14-я,— в № 9 за 1909 г. Формально статьи этого цикла «передовицами» не являлись: ни одна из них не открывала номер журнала.

[49] Неточная и сокращенная цитата из статьи «На перевале. IV. Детская свистулька».

[50] Неточная цитата из статьи «На перевале. V. Теория или старая баба».

[51] Подразумевается, по всей вероятности, критический пассаж в полемической статье «О «чистом символизме», теургизме и нигилизме»: «...несмотря на все свои паломничества в Марбург, на тщательную ассимиляцию неокантианской теории познания, Андрей Белый не сделал ни шагу вперед» (Золотое руно, 1908, № 5, с. 77; подпись: Эмпирик).

[52] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Искусство».

[53] Имеется в виду книга Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917).

[54] Сокращенная цитата из статьи «Ибсен и Достоевский».

[55] См. выше, гл. 2, примеч. 46.

[56] Обыгрывается образ «картонной невесты» Пьеро в пьесе Блока «Балаганчик».

[57] Цитата из статьи «Критицизм и символизм» (1904).

[58] Неточные и сокращенные цитаты из статьи «Эмблематика смысла» (1909).

[59] Контаминация неточных и сокращенных цитат из той же статьи.

[60] Сокращенные цитаты из статьи «О границах психологии» (1904).

[61] Сокращенные цитаты (с отдельными неточностями) из статьи «Эмблематика смысла».

[62] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. I. Символизм» (1909) (*Арабески*, с. 241).

[63] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Эмблематика смысла».

[64] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Песнь жизни» (1908).

[65] Цитата из стихотворения «Мой друг» (1908), входящего в цикл «Философическая грусть» (*Стихотворения и поэмы*, с. 304—305).

[66] Неточная и сокращенная цитата из статьи Ан. Тарасенкова «Тема войны в романе Андрея Белого «Москва» (ЛОКАФ, 1932, № 10, с. 171).

[67] Белый имеет в виду слова из статьи «На перевале. V. Теория или старая баба» (впервые опубликована: Весы, 1908, № 4): «Есть символизм Ибсена, Ницше, Мережковского, и есть теория символизма. 〈...〉 Для разработки второго не мешало бы чаще совершать паломничество в Марбург» (*Арабески*, с. 273).

[68] Сокращенная цитата (*Арабески*, с. 272).

[69] Подразумеваются утверждения С. М. Городецкого в статье «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба с точки

зрения мистического анархизма»: «Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе?» (Факелы, кн. 2. СПб., 1907, с. 193).

[70] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. XVIII. Люди с «левым устремлением».

[71] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. V. Теория или старая баба».

[72] Имеется в виду реплика Паяца в «Балаганчике»: «Истекаю клюквенным соком!» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, с. 19).

[73] См.: Белый Андрей. О смысле познания. Пб., Эпоха, 1922.

[74] Цитаты (последняя — в сокращении) из статьи «Искусство» (1908) (*Арабески*, с. 216—218).

[75] Цитата; см.: *Символизм*, с. 224.

[76] Здесь и ниже — цитатный пересказ положений статьи «Смысл искусства»; см.: *Символизм*, с. 225—226, 213—219.

[77] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. I. Символизм».

[78] Цитата из статьи «На перевале. XIII. Realiora».

[79] «A realibus ad realiora» — эстетический лозунг, выдвинутый Вяч. Ивановым в статье «Две стихии в современном символизме», опубликованной в «Золотом руне» (1908, № 3—4, 5). Полемический отклик Белого на нее — статья «На перевале. XIII. Realiora» (Весы, 1908, № 5), вызвавшая ответную статью Иванова — «Б. Н. Бугаев и «Realiora» (Весы, 1908, № 7).

[80] Контаминация сокращенных цитат из статьи «На перевале. XIII. Realiora» (*Арабески*, с. 313—315, 317).

[81] Неточная и сокращенная цитата из статьи Ф. Гладкова «О диалектическом методе в художественной литературе» (Литературная газета, 1930, № 24, 16 июня).

[82] Неточная цитата из статьи «Проблема культуры» (1909).

[83] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. XIII. Realiora».

[84] Неточные цитаты из статьи «Принцип формы в эстетике» (*Символизм*, с. 175, 176).

[85] Сокращенная цитата из статьи «Эмблематика смысла».

[86] Пересказ положений статьи «На перевале. I. Символизм» (*Арабески*, с. 246—247). *«Лурд»* (1894), *«Рим»* (1896), *«Париж»* (1898) — романы Э. Золя, образующие серию «Три города» и отражающие социально-утопические взгляды автора.

[87] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. I. Символизм».

[88] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. III. Об итогах развития нового русского искусства».

[89] Псевдоцитата; Белый подразумевает, видимо, следующие утверждения статьи «Театр и современная драма» (1907): «Как в ликвидации классового строя нужна своего рода диктатура класса (пролетариат), так и при упразднении несуществующей, мертвой, роковой жизни нужно провозгласить знаменем жизни мертвую форму» (*Арабески,* с. 21).

[90] В «Русских ведомостях» во второй половине 1900-х годов И. Н. Игнатов затрагивал творчество Белого в нескольких статьях (см.: 1908, № 50, 29 февраля, с. 2—3; 1910, № 183, 11 августа, с. 2; 1910, № 216, 21 сентября, с. 2), однако ни в одной из них нет заключений о его «безыдейности».

[91] Белый имеет в виду оценки творчества Брюсова в своих статьях «Венец лавровый» (Золотое руно, 1906, № 5), «Поэт мрамора и бронзы» (Раннее утро, 1907, № 27, 19 декабря), «Валерий Брюсов. Силуэт» (Свободная молва, 1908, № 1, 21 января).

[92] *«Напостовцы»* — критики, сотрудничавшие в журналах «На посту» (1923—1925) и «На литературном посту» (1926—1932; основной орган РАПП); их борьба за пролетарское искусство была сопряжена с нигилистическим отношением к классическому наследию и последовательным отрицанием творчества современных «непролетарских» писателей.

[93] Официальным редактором-издателем московского критико-библиографического журнала «Критическое обозрение» (1907—1909) значилась Е. Н. Орлова.

[94] В апреле 1907 г. Эллис сообщал Э. К. Метнеру: «Вчера всю ночь провел у Брюсова. Получается абсолютное понимание у меня с ним. По вопросу о Бодлере он так понял меня, что, кажется, лучше нельзя. Я буду в ближайшем будущем сотрудничать в «Весах» (*ГБЛ,* ф. 167, карт. 7, ед. хр. 5).

[95] Общество свободной эстетики (1906—1917) объединяло в основном представителей модернистских и близких к ним кругов московской творческой интеллигенции и поклонников «нового искусства». В кратком отчете о деятельности Общества свободной эстетики за 1906—1907 гг. сообщается об обстоятельствах его возникновения: «Весною 1906 года среди нескольких лиц, поклонников искусства, возникла мысль основать общество, которое соединяло бы в себе служителей всех родов искусства — художников, музыкантов, поэтов, драматических и балетных артистов, с целью сближения их между собою. «Литературно-художественный кружок» (Дмитровка, дом Вострякова) любезно предложил для собрания часть своего помещения. На одном из первых собраний произошел спор по поводу названия и задач нового общества. Часть членов основала свой кружок под названием Общества Леонардо да Винчи, остальные же лица отде-

лились и впервые собрались по приглашению Переплетчикова, Кочетова и Трояновского *в среду 8 ноября 1906 г.*» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36). На первом заседании Общества свободной эстетики выступил Эллис с лекцией о Бодлере, следующее заседание (15 ноября) было посвящено чтению переводов М. А. Эртеля из «Бхагавадгиты», и т. д. Устав общества был утвержден 10 апреля 1907 г.

[96] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. XVI. Художники оскорбителям» (*Арабески*, с. 327).

[97] Помимо главного комитета, Общество свободной эстетики избрало (3 октября 1907 г.) комиссии — литературную, театральную, музыкальную и художественную; в литературную комиссию входили: Брюсов, Эллис, В. В. Гофман, Белый, С. М. Соловьев, М. Ф. Ликиардопуло, Ю. К. Балтрушайтис (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38).

[98] *Ванда Ландовска* выступала в Обществе свободной эстетики 3 февраля 1910 г.— исполнила на клавесине ряд пьес времен Шекспира (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 135, ед. хр. 3, л. 32).

[99] *Венсан д'Энди* концертировал в Москве в феврале 1907 г., исполняя в основном собственные сочинения.

[100] Во время своего пребывания в Москве с 23 октября до начала ноября 1911 г. Анри Матисс жил в особняке С. И. Щукина в Знаменском переулке. Картины Матисса Щукин начал приобретать еще в 1904 г., к 1911 г. в его собрании насчитывалось 25 работ Матисса. См.: Гриц Т., Харджиев Н. Матисс в Москве.— В кн.: Матисс. Сборник статей о творчестве. М., 1958, с. 96—119; Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года.— В кн.: Труды Государственного Эрмитажа, XIV. Л., 1973, с. 167—184.

[101] Матисс был на заседании Общества свободной эстетики 27 октября 1911 г., которое было посвящено докладу Ф. А. Степуна «О философии пейзажа». В отчете об этом заседании сообщается: «Собрание посетил Анри Матис, которого В. Я. Брюсов приветствовал от лица Общества. Несколько вопросов, предложенных А. Матису А. Белым, вызвали собеседование о современных задачах живописи. В беседе приняли участие: Н. В. Баснин, А. Белый, А. Б. Вайнштейн и А. Матис» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36). В хроникальной заметке «Матисс в Москве. В кружке вольных эстетов», помещенной в «Утре России» 28 октября, раскрывалось содержание этой беседы: «А. Белый предложил Матиссу высказаться по вопросу о соотношении рисунка и цвета в живописи, что поставило Матисса в некоторое затруднение ввиду слишком широких размеров предложенного вопроса. ⟨...⟩ Матисс высказался горячо за неизбежность «рисунка» в живописи. Передавать, вернее, записывать исключи-

тельно цвет можно в этюдах. Но без рисунка художественное произведение неполно, несовершенно» (Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года, с. 178).

[102] Эмиль Верхарн выступал в Обществе свободной эстетики во время своего пребывания в Москве в конце ноября — начале декабря 1913 г. (см. коммент. Т. Г. Динесман в кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 618—620). Белый в это время находился в Германии.

[103] См.: Хайлов А. И. А. Н. Толстой и В. Я. Брюсов. К истории литературных отношений.— В кн.: А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985, с. 204—210.

[104] Сообщая М. А. Волошину о своем чтении стихов в Обществе свободной эстетики в конце 1908 г., А. Н. Толстой добавлял: «После чтения подходят ко мне Брюсов и Белый, взволнованные, и начинают жать руки. В результате — приглашение в «Весы»...» (Литературное обозрение, 1983, № 1, с. 109; публикация Вл. Купченко). Три стихотворения А. Н. Толстого были опубликованы в № 1 «Весов» за 1909 г.

[105] Королем Неаполитанским (с 1808 г.) был Иоахим Мюрат, сподвижник Наполеона и маршал Франции.

[106] И. С. Рукавишников происходил из богатой нижегородской купеческой семьи (см. его автобиографию в кн.: Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911, с. 88). В 1919—1920 гг. руководил работой московского «Дворца искусств».

[107] И. А. Кистяковский был секретарем у Муромцева, председателя I Государственной думы, видного земского деятеля. Кистяковскому принадлежит статья об адвокатской деятельности Муромцева (в кн.: Сергей Андреевич Муромцев. Сб. статей. М., 1911, с. 147—157).

[108] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. XVI. Художники оскорбителям» (*Арабески*, с. 327).

[109] «Декамерон» (1350—1353) Дж. Боккаччо упоминается здесь как обозначение эротической вседозволенности.

[110] Имеется в виду магазин Елисеева на Тверской улице.

[111] Подразумевается заключительный эпизод комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» — бегство Подколесина через окно.

[112] Неточность; С. Глаголь умер в 1920 г., И. И. Трояновский — в 1928 г.

[113] Брюсов был председателем дирекции Московского Литературно-художественного кружка с 1908 г.

[114] Ср.: «В. А. Серов, каким видывал я его, обыкновенно молчал; но невидимый ореол обаяния сопровождал его всюду; в том невидимом и неблещущем ореоле опадали *павлиньи хвосты* — о, сколь многих! В том невидимом и неблещущем оре-

оле, наоборот, молчаливые, скромные, тихие люди начинали как-то сиять. Такова была атмосфера Серова; такова была моральная мощь его человеческих проявлений и творчества. В комнату он входил как-то тихо, неловко, угрюмо и... крадучись; в комнату с ним входила невидимо атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым; так же медленно, не блистая радугой красок, входило в сознание наше его огромное творчество,— и оставалось там жить — навсегда» (Белый Андрей. Памяти художника-моралиста.— Русские ведомости, 1916, № 271, 24 ноября).

115 В чем было существо конфликта в Обществе свободной эстетики вокруг В. В. Переплетчикова, В. В. Пашуканиса и Н. А. Меркурьевой (сестры поэтессы В. А. Меркурьевой), остается иеясным. Ср. записи Белого об октябре 1907 г.: *«...разрыв с Переплетчиковым»;* «Бурное заседание в *«Своб⟨одной⟩ эстетике»:* моя речь против *«богемства»;* и уход из *«Эстетики»* Переплетчикова, Пашуканиса, Меркурьевой и др.» (*Ракурс к дневнику*, л. 41 об.).

116 Описываемый случай Белый относит к октябрю 1907 г.: «Реферат в О⟨бщест⟩ве *«Свободной эстетики»* с преииями на тему о символизме (с уч⟨астием⟩ Бунина)» (там же).

117 В очерке о Серове «Памяти художника-моралиста» Белый писал: «...он присутствовал среди нас как учитель, как *мастер* искусства,— искусства быть честным; к разговору, к событию, к человеку относился он с той же серьезною строгостью, как к картинам своим ⟨...⟩. Красота и добро сочетались в единство им: он имел скрытый пафос морального творчества, моральной фантазии: быть прекраснейшим человеком» (Русские ведомости, 1916, № 271, 24 ноября).

118 Обыгрывается имя немецкого писателя-романтика Людвига Тика (1773—1853).

119 *Альмавива* — мужской широкий плащ, бывший в моде в начале XIX в.

120 *Кэкуок* — танец американских негров, вошедший в начале XX в. в моду в Европе.

121 Эпизод из гл. VI части 3-й «Преступления и наказания» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 6. Л., 1973, с. 209).

122 Эта опера (либретто М. И. Чайковского по роману И. И. Лажечникова) была поставлена в Москве в Большом театре в 1900 г.

123 *«Альпийская роза»* — ресторан на Софийке; *«Летучая мышь»* — ночной театр-кабаре, основанный в 1908 г. актерами Московского Художественного театра (руководитель и бессменный конферансье — эстрадный артист Н. Ф. Балиев). См.: Эфрос Н. Е. Театр «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева, 1908—1918. М.— Пг., 1918.

[124] Основные доходы Московского Литературно-художественного кружка поступали от игорного клуба, располагавшегося в его верхнем зале. См.: Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом. Литературные воспоминания. Записи для себя. М., 1984, с. 135—137.

[125] М. С. Сарьян сопровождал Белого в поездках по Армении в мае 1929 г. См. переписку Сарьяна и Белого 1928—1930 гг. (в кн.: Белый Андрей. Армения. Составл., статьи, примеч. Н. Гончар. Ереван, 1985, с. 82—106).

[126] Feuille morte (фр.) — цвет увядшего листа.

[127] Бедный конь в поле пал...— первые слова арии Вани, воспитанника Ивана Сусанина, в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя» (действие IV, явление II; 1836, текст барона Е. Розена).

[128] *«Vers la flamme»* («К пламени», ор. 72, 1914) — поэма А. Н. Скрябина для фортепиано с оркестром.

[129] «Хорошо темперированный клавир», сочинение И. С. Баха в двух частях (1722, 1744), каждую из которых составляют 24 прелюдии и фуги.

[130] «Строение музыкальной речи» Б. Л. Яворского (ч. 1—3. М., 1908).

[131] Целотонный лад — звукоряд, ступени которого образуют последовательность целых тонов.

[132] Имеется в виду книга Л. Л. Сабанеева «Скрябин» (М., 1916). Многими поклонниками Скрябина эта книга была воспринята резко критически; отзывам на нее посвящен вып. 2 «Известий Петроградского Скрябинского общества» (Пг., 1917).

[133] Критический анализ творчества Ф. Листа Э. К. Метнер (Вольфинг) дал в специально посвященной ему статье, впервые опубликованной в «Трудах и днях» (1912, № 1) и вошедшей в книгу: Вольфинг. Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические. М., 1912.

[134] «Фауст-симфония» написана Листом в 1854—1857 гг., сан аббата он принял лишь в 1865 г.

[135] Графиня Варвара Николаевна Бобринская, издававшая в Москве в 1908—1909 гг. ежемесячный иллюстрированный журнал «Северное сияние» (см. коммент. А. Н. Дубовикова в кн.: Литературное наследство, т. 84. Иван Бунин, кн. 1. М., 1973, с. 574).

[136] Н. Н. *Баженов* был главным врачом первой психиатрической больницы в Москве. Он послужил прототипом Пепеш-Довлиаша, персонажа романа Белого «Маски» (М., 1932).

[137] Je m'en fichisme (фр.) — наплевательство, равнодушие.

[138] Л. К. Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института в 1921—1930 гг., был одним из основных обвиняемых по сфабрикованному в 1930 г. делу так называемой Промышлен-

ной партии, представленной как нелегальная контрреволюционная вредительская организация верхушки буржуазной инженерно-технической интеллигенции. См.: Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря 1930). Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931.

[139] В Театральном отделе Наркомпроса Белый работал в ноябре — декабре 1918 г. В автобиографических заметках об этом времени он сообщает: «Поступаю на службу в Тео Наркомпроса к О. Д. Каменевой: а) член коллегии Отдела, b) заведующий Научно-теоретической секцией (сверхсрочная служба): организация плана работ, заседаний, созыв сотрудников, распредел⟨ение⟩ занятий; и — прочее; в частности: мне принадлежит руководство при выработке плана *«Театрального университета»* и составление программы преподавания теор⟨етических⟩ курсов (проект прошел сквозь Наркомпрос). Скоро покидаю отдел (по своей воле). Переутомление» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 98).

[140] Г. Г. Шпет, родившийся в Киеве и окончивший историко-филологический факультет Киевского университета, переехал в Москву в 1907 г. Г. И. *Челпанов*, бывший профессором психологии и философии Киевского университета в 1892—1906 гг., перевелся в Московский университет в 1907 г.

[141] «Московский еженедельник» — еженедельная общественно-политическая газета, выходившая с 1906 по 1910 г. (редактор-издатель — кн. Е. Н. Трубецкой). Издание субсидировалось М. К. Морозовой.

[142] Подразумевается глава универсальной торговой фирмы. В конце 1900-х годов в Москве на углу Петровки и Театральной площади был построен большой универсальный магазин Мюра и Мерилиза.

[143] *Бандо* — украшение из лент на дамских платьях.

[144] Неточная и сокращенная цитата (Белый Андрей. Москва под ударом. Вторая часть романа «Москва». М., 1926, с. 15).

[145] Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891); в облике его героя сочетались красота, эстетство и извращенность.

[146] Gris de perle (фр.) — жемчужно-серый (цвет).

[147] Выставка «Голубая роза» была организована при финансовой поддержке Н. П. Рябушинского, ее обзор с множеством репродукций появился в «Золотом руне» (1907, № 5). Художники «Голубой розы» (П. Кузнецов, В. Милиоти, Н. Сапунов, С. Судейкин, М. Сарьян, А. Арапов, Н. Крымов и др.) составили актив выставок «Золотого руна» 1908 и 1909 гг., из номера в номер участвовали в оформлении журнала.

[148] Журнал *«Перевал»* начал выходить в Москве с ноября 1906 г.; финансовую базу для издания обеспечил молодой поэт-дилетант из Ярославля Вл. Линденбаум.

[149] В. Д. *Милиоти* руководил художественным отделом «Золотого руна» с октября 1906 г.

[150] Г. Э. *Тастевен* был секретарем «Золотого руна»; с 1907 г. его фактические полномочия расширяются: в руках Тастевена сосредоточивается редакционная деятельность, он же оказывает решающее воздействие на выработку литературно-эстетической программы журнала.

[151] Имеется в виду конфликт между Рябушинским и А. А. Курсинским, ответственным за ведение литературного отдела «Золотого руна» в конце 1906 — начале 1907 г. 18 марта 1907 г. Курсинский объявил в печати о своем выходе из числа сотрудников и из состава редакции «Золотого руна». Подробнее см.: Лавров А. В. «Золотое руно».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984, с. 154—155. См. также характеристику инцидента в письме Брюсова к Ф. Сологубу от 31 августа 1907 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976, с. 110—111; публикация В. Н. Орлова и И. Г. Ямпольского).

[152] Ход событий Белый излагает не вполне точно. Белый объявил Рябушинскому о своем выходе из числа сотрудников «Золотого руна» в связи с инцидентом между издателем журнала и Курсинским, т. е. в марте 1907 г.; об этом он сообщал З. Н. Гиппиус в первой половине августа 1907 г.: «С *«Руном»* у меня война. Еще в апреле я вышел из состава сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему письмом, что пока он Редактор, путного из *«Руна»* ничего не выйдет» (Неизвестное письмо Андрея Белого. Публикация В. Аллоя.— В кн.: Минувшее. Исторический альманах. 5. Paris, 1988, с. 211). Брюсов печатно заявил о своем выходе из журнала (и инспирировал выход других сотрудников) во второй половине августа 1907 г., в ходе нового конфликта между Белым и редакцией «Золотого руна», возникшего по другому поводу. См.: Лавров А. В. «Золотое руно», с. 160—163.

[153] В № 4 «Золотого руна» за 1907 г. было помещено редакционное сообщение (с. 74) о том, что А. Блок будет вести в журнале критические обозрения, «дающие систематическую оценку литературных явлений»; там же было напечатано заявление Блока, в котором намечалась тематическая программа «критических обозрений текущей литературы» (см.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, с. 675).

[154] Подразумевается тематика обзорных статей Блока «О реалистах», «О лирике», «О драме», «Литературные итоги 1907 года», помещенных в 1907 г. в «Золотом руне» (№ 5, 6, 7—9, 11—12).

[155] Хотя Вяч. Иванов специальным примечанием к своей статье «Ты еси» оповещал о том, что его отношение к «Золотому руну» «остается по-прежнему отношением простого авторского сотрудничества» (Золотое руно, 1907, № 7—9, с. 102), его литературная деятельность со второй половины 1907 г. сосредоточилась в основном в этом журнале; с того же времени «Золотое руно» в своей программе стало придерживаться последовательной ориентации на философско-эстетические идеи Иванова.

[156] Этот конфликт Белого и Блока исчерпывающим образом отразился в их переписке (август 1907 г.). См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 189—213.

[157] Имеется в виду статья Э. К. Метнера (Вольфинга) «Борис Бугаев против музыки» (Золотое руно, 1907, № 5), представляющая собой отклик на статью Белого «На перевале. VI. Против музыки», напечатанную в «Весах» (1907, № 3). Рябушинский отказался поместить в «Золотом руне» ответное возражение Белого Метнеру (это «Письмо в редакцию» было опубликовано в «Перевале», 1907, № 10), что послужило причиной нового конфликта (в августе 1907 г.) между редакцией «Золотого руна» и Белым, которого поддержали Брюсов и другие «весовцы».

[158] *«Литературно-художественная неделя»* — еженедельная газета литературы и искусства, выходившая в Москве в 1907 г. (редактор-издатель — В. И. Стражев); вышло всего 4 номера — с 17 сентября по 8 октября. Б. К. Зайцев сообщает, что газета «погибла ⟨...⟩ от безденежья и «холодности» публики» (Зайцев Б. Москва. Мюнхен, 1973, с. 42).

[159] См. выше, примеч. 1.

[160] Первая жена В. Ф. Ходасевича — Марина Эрастовна Рындина (1887—1973). Ходасевич женился на ней в 1905 г.; расстались они в декабре 1907 г. Женой С. К. Маковского М. Э. Ходасевич стала в 1910 г. (см. коммент. Дж. Мальмстада и Р. Хьюза в кн.: Ходасевич Вл. Собр. соч., т. 1. Ann Arbor, 1983, с. 277—278).

[161] Основную финансовую поддержку в деле издания «Аполлона» С. К. Маковский получал от М. К. Ушкова (см.: Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962, с. 197—198).

[162] Муни застрелился 28 марта 1916 г. в Минске, где отбывал военную службу. А. И. Ходасевич вспоминает о Ходасевиче в этой связи: «Эта смерть тяжело отозвалась на В. Ф. Он очень

любил Муни, которого можно было назвать его единственным другом, и он мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой смерти ⟨...⟩. Опять у В. Ф. начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций» (см.: Ходасевич Вл. Собр. соч., т. 1, с. 322). См. мемуарный очерк Ходасевича «Муни» (1926) (Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 100—117).

[163] Художественный и художественно-критический журнал, выходивший в Москве в 1905 г. (редактор-издатель — Н. Я. Тароватый); Ходасевич был одним из его сотрудников.

[164] Ходасевич не жил в доме Брюсовых, хотя и имел, видимо, отчетливое представление о его укладе благодаря близким отношениям с Муни, женатым на сестре Брюсова, и младшим братом Брюсова Александром Яковлевичем Брюсовым.

[165] Имеется в виду скорлупчатое насекомое, приснившееся Ипполиту — герою романа Достоевского «Идиот» (ч. 4, гл. V). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 8. Л., 1973, с. 323—324.

[166] Белый подразумевает, по всей вероятности, свою ссору с Ходасевичем 8 сентября 1923 г. в Берлине, во время прощального ужина по поводу своего отъезда на родину. См.: Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 94—95; Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. München, 1972, с. 186—187. См. также: Хьюз Роберт. Белый и Ходасевич: к истории отношений.— Вестник русского христианского движения, 1987, № 151, с. 144—165.

[167] Ходасевич заболел туберкулезом позвоночника в 1916 г.

[168] Имеется в виду статья З. Н. Гиппиус «Тварное» — отзыв о первой книге Б. Зайцева «Рассказы» (СПб., 1907). Характеризуя эту «сочную и неподвижно-картинную» книгу, Гиппиус заключала о Зайцеве: «...в его рассказах, собраняых вместе, резче выступают все недочеты, тяжеловесности, банальности, однообразная однотонность и другие художественные слабости. Автору легче заметить их, освободиться от них в следующей книжке. Борис Зайцев, хотим надеяться,— еще в будущем» (Весы, 1907, № 3, с. 72, 73).

[169] Белый имеет в виду прежде всего книгу П. П. Муратова «Образы Италии» (т. 1—2. М., 1911—1912; т. 1—3. Берлин, 1924).

[170] «Фельетон» Белого — «Смерть или возрождение. «Жизнь Человека» Л. Андреева» — был напечатан 17 сентября 1907 г. в № 1 «Литературно-художественной недели». В том же номере газеты был помещен «Маленький фельетон» за подписью: «Товарищ Валерий» (намек на «весовский» псевдоним «Товарищ Герман», которым пользовались в 1906 г. Брюсов и З. Гиппиус), а в редакционном предисловии утверждалось о символистах:

«На имена иных из них — скажем: К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова — уже лег зловещий налет «маститости» и «популярности», который говорит о прекрасном конце. Нетерпимость к новому и молодому, к тому, что не-«они», уже звучит в речах иных из «них»,— верный признак старческой дряхлости, литературного генеральства, олимпийского величия». Редакция «Литературно-художественной недели» также выражала свое несогласие с критико-полемической линией «Весов», направленной против «мистического анархизма».

[171] Приводим текст этого коллективного письма от 24 сентября 1907 г.:

«Милостивый государь Борис Николаевич!

В Вашем сегодняшнем разговоре с П. П. Муратовым, членом редакции «Литературно-художественной недели», в помещении «Перевала» Вы позволили себе назвать нашу газету *хулиганской* и употребить целый ряд крайне оскорбительных выражений по адресу газеты и ее сотрудников.

Ввиду этого мы, члены редакции, предлагаем Вам: или принести публичное извинение и взять Ваши слова назад в том же помещении редакции «Перевала», или считать все отношения с каждым из нас, как литературные, так и личные, совершенно поконченными.

Мы будем ждать Вашего ответа до 5 час. вечера среды 26-го сентября 1907 г. Если к этому сроку Вы не ответите, мы будем считать, что Вы приняли второе условие.

Во всяком случае мы находим дальнейшее участие Ваше в «Литературно-художественной неделе» невозможным.

Вик. Стражев. Борис Зайцев. Борис Грифцов. Павел Муратов.

Адрес редакции: 2-ой Смоленский пер., д. Орловых, кв. 33» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 23, ед. хр. 12). В мемуарном очерке о Белом, помещенном в его книге «Далекое» (Вашингтон, 1965), Б. Зайцев сообщает, что текст этого ультиматума был написан им.

[172] В этом обращении, адресованном Стражеву, Белый подтверждал свои слова о том, что считает «Литературно-художественную неделю» «газетой хулиганского типа», прояснял их смысл («Я относил упреки свои не к людям, а к общему тону заметок, напечатанных в Вашей газете») и заявлял о своем выходе из состава сотрудников; указывая, что он ценит Б. К. Зайцева «и как художника, и как человека», Белый добавлял: «...личных отношений с г-дами Грифцовым, Муратовым и Вами у меня не было. кроме «чаепития» или «слов ни о чем» да теоретических споров. Поэтому с улыбкой принимаю я Ваше условие: прекращаю с Вами личные отношения. Что же касается Б. К. Зайцева,

то мне грустно и больно с ним разорвать» (*ИМЛИ*, ф. 11, оп. 2, ед. хр. 4).

[173] 26 или 27 сентября 1907 г. Белый писал Блоку: «Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из «Недели». ⟨...⟩ Я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением; они исповеди не захотели принять и потребовали извинения. Я повторил, что тон их органа — хулиганский, махнул рукой и пошел прочь: Зайцева одного *прошибло:* тот шел за мной, я взял его за руку: он расплакался» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 218). В книге «Далекое» Зайцев вспоминает о заключительной части этого инцидента: «...Белый вылетел в переднюю, я за ним. ⟨...⟩ Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» попрежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы. Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились» (Знамя, 1989, № 10, с. 190).

[174] В статье «На перевале. X. Вольноотпущенники», получившей скандальную известность, Белый противопоставлял фалангу «истинных» символистов эпигонам: «Фаланга прошла вперед. ⟨...⟩ Но за ней потянулась *обозная сволочь*, кричащая в уши нашим, теперь безвредным, врагам о том, что «красота — красива», «искусство — свободно». И если эту *обозную сволочь* принимает читатель ⟨...⟩ за новаторов, мы должны ему напомнить, что это все не львы движения, а трусливые члены, упражняющие свою храбрость над трупами» (Весы, 1908, № 2, с. 71—72). При переиздании статьи Белый заменил выражение «обозная сволочь» на «обоз» (см.: *Арабески*, с. 334).

[175] См. выше, гл. 3, примеч. 92. В первой половине августа 1907 г. Белый сообщал З. Н. Гиппиус: «Я тут только что прочно водворился было в газете «Накануне» ⟨...⟩. Написал фельетон о Жоресе; они пришли в восторг и тут же напечатали. Написал продолжение фельетона; им еще больше понравилось; просили работать много и писать часто, да газету извели штрафы; она погибла» (Минувшее. Исторический альманах, 5, с. 209).

[176] Газета *«Столичное утро»* (официальный редактор-издатель — С. Л. Кугульский, с № 56 — В. Павлов) издавалась в Москве в 1907 г. с 30 мая по 19 октября (вышло 118 номеров); была приостановлена в административном порядке, однако «редакционная группа», согласно свидетельству Н. Валентинова, преследованиям не подвергалась. Тот же Валентинов вносит коррективы в характеристики Белого, отмечая, что «Столичное утро» было не социал-демократической газетой, а лишь органом общедемократического направления; сам Валентинов состоял

в ней рядовым автором (см.: Валентинов Н. Два года с символистами. Stanford, 1969, с. 23). В пору издания «Столичного утра» Белый иначе оценивал этот печатный орган. «Предлагали писать в «Столичном утре», но это — газета весьма низкого сорта»,— сообщал он З. Н. Гиппиус в первой половине августа 1907 г. (Минувшее. Исторический альманах, 5, с. 209).

[177] В «Столичном утре» была опубликована статья Белого «Иван Александрович Хлестаков» (1907, № 117, 18 октября); кроме того, в этой газете печатались «письма в редакцию» Белого и Рябушинского (5, 9, 11, 17 августа 1907 г.), отразившие ход конфликта между Белым и редакцией «Золотого руна» (см. выше, примеч. 157).

[178] В «Русском слове» появился очерк Белого «Владимир Соловьев (Из воспоминаний)» (1907, № 277, 2 декабря).

[179] Осенью 1910 г. в «Утре России» были помещены статьи Белого «Великий лгун» (12 сентября), «Вячеслав Иванов» (2 октября), «Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли» (15 октября), «Россия» (18 ноября), 5 апреля 1911 г.— очерк «Арабы (Из писем с дороги)».

[180] Белый был в Киеве в середине марта 1909 г. (14 марта он выступал там в театре Медведева с лекцией «Современность и Пшибышевский»).

[181] В 1909 г. в «Киевской мысли» были напечатаны статьи Белого «Гоголь» (19 марта), «Пророк безличия» (15 мая), «Московские письма. I. Современная молодежь» (13 июня), «Символизм» (12 июля).

[182] «Путевые заметки» Белого (7 очерков) публиковались в «Речи» в 1911 г.— с 25 января по 29 сентября.

[183] Белый имеет в виду свои статьи, печатавшиеся в «Биржевых ведомостях» весной и летом 1916 г.

[184] В 1916 г. в «Русских ведомостях» были напечатаны статья Белого «Памяти художника-моралиста» (24 ноября) и отрывки из «Котика Летаева» (13 ноября, 4 и 25 декабря).

[185] 19 февраля 1917 г. в петроградской газете «День» была опубликована статья Белого «Смысл поэзии».

[186] Ежедневные московские газеты *«День»* и *«Час»* не сменяли одна другую, поскольку одно время выходили единовременно: «День» — в 1905—1907 гг. (до 14 ноября) и в 1909 г. (с 24 августа по 10 октября), «Час» — с 12 августа 1907 г. по 29 января 1908 г. (вышло 106 номеров); газета *«Минута»* выходила в Москве с 1 по 26 августа 1908 г. (вышло 10 номеров).

[187] Официально редакторами и издателями названных газет числились другие лица.

[188] Ср. запись Белого об октябре 1907 г.: «...ряд принципиальнейших, горячейших споров с Валентиновым, пишущим о марксизме книгу; я называю его позицию *«символизмом»* (так же эту позицию назвал Ленин в книге своей против эмпириокритицизма); он называет меня *«марксистом»* (*Ракурс к дневнику*, л. 41 об.). Валентинов познакомился с Белым через А. Н. Тургенева, отца А. Тургеневой; см. главу «Первое знакомство с А. Белым» в мемуарах Н. Валентинова «Два года с символистами» (с. 11—31). «...Мой интерес к нему возрос,— пишет о Белом Валентинов,— когда он стал говорить, что хочет *«символизм соединить с марксизмом»*, что «призывает *всех под знамя социализма»* и требует *«прекратить болтовню и научиться ходить поступью Маркса»* (с. 48—49).

[189] Имеется в виду книга Н. Валентинова «Философские построения марксизма» (М., 1908), в которой марксистские философские взгляды подкрепляются воззрениями Э. Маха и Р. Авенариуса. В. И. Ленин подверг книгу Валентинова критике в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм» (1908).

[190] Свои встречи с Белым и Брюсовым Валентинов подробно описывает в мемуарах «Два года с символистами» (с. 33—171).

[191] А. П. *Алексеевский* официально редактором московской газеты «Утро России» (1907, 1909—1918) не значился.

[192] См.: «Начало века», гл. 4, примеч. 46.

[193] Провокатор Е. Ф. Азеф, секретный сотрудник департамента полиции с 1893 г. и один из лидеров партии эсеров, был разоблачен В. Л. Бурцевым в 1908 г.; скрылся 24 декабря 1908 г., затем жил за границей по подложному паспорту, выданному русской полицией.

[194] *П. А. Виленский* был сотрудником «Киевской мысли» до 1911 г., затем перешел в петербургские «Биржевые ведомости».

[195] Белый приехал из-за границы в Петербург 21 августа/3 сентября 1916 г.; об этом дне он записал: «Виделся с ред⟨актором⟩ «Биржевых ведомостей»; запись, относящаяся к 9 сентября: «Беседы с Виленским ⟨...⟩» (Белый Андрей. Жизнь без Аси.— *ГБЛ*, ф. 25, карт. 31, ед. хр. 1). Валентинов указывает, что Виленский способствовал печатанию статей Белого в «Биржевых ведомостях» в 1916 г. (Валентинов Н. Два года с символистами, с. 25).

[196] А. А. *Койранский* был постоянным сотрудником «Утра России», Е. *Янтарев* — «Голоса Москвы» и «Московской газеты».

[197] В первой половине 1910-х годов С. А. *Соколов (Кречетов)* регулярно печатал статьи, обзоры, рецензии в театральном журнале «Рампа и жизнь» и в газете «Утро России».

[198] Имеется в виду статья «Господин Эллис», опубликованная без подписи в «Голосе Москвы» (1909, № 181, 8 августа). См. об этом ниже, гл. 5, главка «Инцидент с Эллисом».

[199] Этот скандал случился на заседании Московского Литературно-художественного кружка 27 января 1909 г., посвященном выступлению Вяч. Иванова на тему «Последние течения в литературе»; Иванову оппонировал Белый.

[200] Неверное указание; в «Русском слове» (1909, № 22, 28 января) появилась заметка об инциденте, в которой сообщалось, что Ф. Ф. Тищенко публично обвинил Белого в политической и этической беспринципности, в ответ на что Белый закричал: «Вы — подлец! Я оскорблю вас действием!»

[201] 29 января 1909 г. Брюсов сообщал Вяч. Иванову: «Я принял все меры, чтобы для Белого инцидент не имел дурных последствий»; в тот же день он писал Н. И. Петровской: «Вчера дело это разбиралось в дирекции. Я не присутствовал. Конечно, всячески защищаю Белого. Но и он хорош: лезет в эту помойную яму, называемую «вторниками», и еще не умеет презирать ее» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 520).

[202] Ежедневная газета *«Раннее утро»* начала выходить в Москве с 17 ноября 1907 г.

[203] 19 декабря 1907 г. в «Раннем утре» (№ 27) была помещена статья Белого «Поэт мрамора и бронзы».

[204] Имеется в виду собрание критических очерков Ю. И. Айхенвальда «Силуэты русских писателей» (вып. 1—3. М., 1906—1910), пользовавшееся широкой популярностью (выдержало 5 изданий).

[205] Знакомство с *Н. Н. Русовым* («анархистом») и *А. М. Эфросом* Белый относит к весне 1907 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 40).

[206] Это знакомство относится к декабрю 1908 г.; тогда же началась интенсивная переписка Белого с Шагинян. См.: Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982, с. 237—252 (приводятся письма Белого к Шагинян с 17 декабря 1908 г. по 18 августа 1909 г. и позднейшее письмо 1928 г.).

[207] В 1907 г., по окончании гимназических классов Лазаревского института восточных языков, А. М. Эфрос стал студентом юридического факультета Московского университета (окончил его в 1911 г.), параллельно слушая лекции и на историко-филологическом факультете. См.: Эфрос А. М. Мастера разных эпох. М., 1979, с. 305 (биографическая справка М. В. Толмачева).

[208] Эйлерт Левборг — герой драмы Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890).

[209] Имеется в виду Наталья Николаевна Скворцова (в замужестве Косилова; 1891 — ?), которую Блок в письмах к матери от 28 февраля, 8 и 11 марта 1911 г. называет именем ибсеновской героини (см.: Письма Александра Блока к родным, т. II. М.— Л., 1932, с. 130, 133—134). Блок познакомился со Скворцовой 27 февраля 1911 г., затем активно переписывался с нею (письма Скворцовой Блок впоследствии уничтожил, его ответные письма не выявлены). См.: Орлов Вл. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л., 1978, с. 451—452.

[210] См. выше, гл. 3, примеч. 132. С лекцией «Социал-демократия и религия» Белый выступал в московском Религиозно-философском обществе в марте 1907 г.

[211] Имеется в виду лекция «Символизм в современном русском искусстве», прочитанная Белым в Политехническом музее 14 апреля 1907 г.

[212] См.: «Начало века», гл. 3, примеч. 117.

[213] Со вступительным словом «Об итогах развития нового русского искусства» Белый выступал на вечере «нового искусства» 4 октября 1907 г., с лекцией «Будущее искусство» — в киевском Коммерческом собрании 6 октября.

[214] Лекция Белого «Символический театр» была напечатана в «Утре России» 16 и 28 сентября 1907 г.; поводом для ее написания послужили гастроли в Москве театра В. Ф. Коммиссаржевской, проходившие с 30 августа по 11 сентября. См.: *Арабески*, с. 299—313.

[215] Белый читал две лекции о Ницше в Политехническом музее — 19 декабря 1907 г. и 28 января 1908 г.

[216] Двухчастная лекция («I. Песня и современность. II. Жизнь песни») была прочитана Белым в «Доме песни» 6 ноября 1908 г.

[217] Лекцию «Искусство будущего» Белый прочел в зале Тенишевского училища 15 января 1908 г., лекцию «Фридрих Ницше и предвестия современности» — там же, 25 января.

[218] Генерал Н. П. *Линевич* был назначен главнокомандующим русской армией в марте 1905 г.

[219] В Петербурге Белый выступал с лекцией «Настоящее и будущее русской литературы» в зале Тенишевского училища 17 января 1909 г.

[220] Это выступление Белого состоялось в первой половине ноября 1908 г.

[221] С лекцией «Генрик Ибсен» Белый выступал в Петербурге в аудитории Соляного Городка 2 марта 1910 г.

[222] Ср. выразительную характеристику Белого-лектора в мемуарных зарисовках А. К. Гладкова (Гладков А. Поздние вечера. Воспоминания, статьи, заметки. М., 1986, с. 278—281).

[223] Ср.: «...все устремление мое написать *«теорию символизма»* в серьезном, гносеологическом стиле разбивалось о полемику, очередные *«при»* и журнальные темы дня ⟨...⟩. Три года упорной журналистики вдребезги разбили выношенную в сознании систему символизма; и «65» статей — дребезги этой не донесенной до записи, передо мной стоящей системы» (*Почему я стал символистом*, с. 59).

[224] О. Ф. Путята (Белый, видимо, ненамеренно искажает ее фамилию) была подругой близких друзей Б. К. и В. А. Зайцевых — сначала В. А. Высоцкого, переводчика с польского, затем В. И. Стражева. См.: Зайцев Б. Москва, с. 54—59.

[225] О. Ф. Путята была разоблачена весной 1911 г. Б. К. Зайцев сообщает, что она сама в Париже «созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охране ⟨...⟩. Бурцев все это сообщил печати» (там же, с. 56). Ср.: Бурцев Вл. В погоне за провокаторами. М.— Л., 1928, с. 186.

[226] Летом 1932 г. Белый встречался с В. Д. Бонч-Бруевичем по делам, связанным с передачей своего архива в Государственный Литературный музей. См. письмо Белого к Бонч-Бруевичу от 28 мая 1932 г. (в кн.: Перспектива-87. Советская литература сегодня. Сб. статей. М., 1988, с. 503; публикация Т. В. Анчуговой).

[227] Зубной врач П. Г. *Дауге* в 1905 г. был членом «Литературно-лекторской группы» при Московском комитете РСДРП(б).

[228] Подразумевается третейский суд над В. И. Стражевым и редакцией «Русских ведомостей», обнародовавших слова Путяты о том, что Стражев пользовался деньгами, заработанными ею в охранном отделении. Суд нашел обвинение в адрес Стражева бездоказательным. См.: Зайцев Б. Москва, с. 56—58.

[229] См. выше, примеч. 193.

[230] Заключительные строки стихотворения «Я», написанного в декабре 1907 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 313—314).

[231] Заключительные строки стихотворения «Премудрость» (1908) (там же, с. 304).

[232] Неточность: еще 27 марта 1907 г. Гершензон обращался к Белому с письмом на бланке «Критического обозреяия», в котором просил его «написать небольшой (в 1—1½ печ. стр.) отзыв о «Посолони» А. М. Ремизова для «Крит⟨ического⟩ об⟨озрения⟩», которое будет выходить в Москве с апреля сего года» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 3). Рецеязия Белого на книгу Ремизова «Посолонь» (М., 1907) появилась в 1-м выпуске «Критического обозрения» в 1907 г. (с. 34—36).

[233] См. в «Ночи перед Рождеством» (1832): «Близорукий, хотя бы надел на нос, вместо очков, колеса с комиссаровой

брички ⟨...⟩» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 1. [Л.], 1940, с. 202).

[234] Имеется в виду книга Г. Чулкова «Покрывало Изиды. Критические очерки» (М., 1909). Рецензия Белого на нее была помещена в «Критическом обозрении» (1909, вып. 1, с. 38—41).

[235] Белый несколько приукрашивает реальную картину: Гершензон принимал не все его критические опыты в свой журнал. Так, 29 августа 1907 г. он возвратил Белому рецензию на книгу рассказов Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Трагический зверинец» (СПб., 1907), запросив вместо нее отзыв об «Истлевающих личинах» Ф. Сологуба (написан Белым и помещен в вып. 3 «Критического обозрения» за 1907 г.): «Ваша заметка о «Траг⟨ическом⟩ зв⟨еринце⟩», не касаясь ее характера, уже потому не подходит для «Крит⟨ического⟩ об⟨озрения⟩», что она обращена лицом не к читателю, а к автору. Ее с интересом прочтет пишущий народ — петербургский кружок да два десятка человек в Москве, но читателю, чуждому борьбе литературных направлений, она мало даст» (*ГБЛ,* ф. 25, карт. 14, ед. хр. 3). Аналогичным образом Гершензона не удовлетворила первоначальная редакция отзыва на «Покрывало Изиды» Чулкова; 6 января 1909 г. он писал Белому: «Ваш разбор книги Чулкова остроумен и меток, но, согласитесь, в «Крит⟨ическом⟩ обозр⟨ении⟩» ему не место ⟨...⟩. Для нас дело стоит так: если книга Чулкова единична, то о ней нечего и говорить: жулик, и все тут; если же в ней обнаруживаются какие-нибудь общие черты современного умственного движения, то это важно — но тогда и надо на ее примере показать эти черты, их нелепость или пагубность. В этом смысле не то важно, на чем Вы строите Ваш отзыв,— что Ч⟨улков⟩ — плагиатор; а важно то, что он жонглирует слишком серьезными вещами, что он кощунственно-беззастенчивыми и равнодушными устами говорит о вещах, которые волнуют душу, и эти слова не обжигают ему губ. Об этом разврате слова я и думал, что Вы напишете, как в «Штемпелеванной калоше». Так что простите меня, но этой рецензии я не могу напечатать: это — дело кружковое. Но я буду очень рад, если Вы согласитесь написать о Чулкове что-нибудь имеющее общий интерес ⟨...⟩» (там же).

[236] Кроме упомянутых выше рецензий, в «Критическом обозрении» были также напечатаны отзывы Белого о 1-м томе собрания стихов Брюсова «Пути и перепутья» (1907, вып. 5) и о книге стихов Блока «Земля в снегу» (1908, вып. 6).

[237] Белый работал в должности помощника архивиста в Едином государственном архивном фонде в августе 1918 г. См.: Андрей Белый (Б. Н. Бугаев): «...В эпоху моей работы

в архиве...». Публикация Д. А. Беляева.— Советские архивы, 1986, № 4, с. 62—66.

[238] Имеются в виду книги Гершензона «Жизнь В. С. Печерина» (М., 1910), «Декабрист Кривцов и его братья» (М., 1914), «Грибоедовская Москва» (М., 1914; изд. 2-е, доп.— М., 1916; изд. 3-е — М., 1928).

[239] В некрологическом очерке «М. О. Гершензон» Белый писал: «Отчетливо вызывая в себе его образ, встречаюсь я памятью с ним у него на дому: не в гостях, не в собраньях; вот он — в своих комнатах, весь в хлопотах и в свершеньях. Средь близких: да, пойти к Гершензону — всегда означало: пойти к *Гершензонам;* быть принятым в дом, приобщиться домашним заботам М. О. ⟨...⟩, быть им принятым — значило: быть среди близких ему и наверное знать, что в кругу этих близких присутствуешь ты у истоков культуры. Квартира Никольского переулка стоит в ряде лет мне действительным символом яркой культурной работы Москвы; культурной работы, быть может, России» (Россия, 1925, № 5(14), с. 248).

[240] «Черный квадрат» и «Красный квадрат» — картины К. С. Малевича, принадлежавшие к серии его супрематических работ, впервые показанной в декабре 1915 г. на «Последней футуристической выставке» в Петрограде и экспонировавшейся также в Москве на выставке «Бубнового валета» (ноябрь — декабрь 1917 г.).

[241] В очерке «М. О. Гершензон» Белый писал: «Я помню, как в 1916 году он пытался ввести в мою душу парадоксальнейшую картину парадоксальнейшего супрематиста; поклонник законченной пушкинской ясности эту картину повесил перед собой в кабинете ⟨...⟩»; приводя слова Гершензона о картине Малевича («Я каждый день с трепетом останавливаюсь перед этой картиною; и нахожу в ней все новый источник для мыслей и чувств...»), Белый отмечал: «Я же, более *«молодой»* (и, конечно же, более старый в «рутине» своих отношений к обставшему миру), стоял пред картиной; и видел в картине — квадраты. Он,— он видел: мир...» (Россия, 1925, № 5(14), с. 255—256).

[242] К книге «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909) Гершензон написал предисловие и поместил в ней свою статью «Творческое самосознание». Белый приветствовал издание «Вех» статьей «Правда о русской интеллигенции» (Весы, 1909, № 5, с. 65—68).

[243] Уже во 2-м издании «Вех» (1909) сказалось стремление Гершензона скорректировать свои воззрения, выраженные в статье «Творческое самосознание»; так, смысл утверждении, наиболее шокировавшего читателей («...нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,— бояться его мы должны пуще

всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»), он истолковывал в специальном примечании: «Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, *против* которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет ли она того или не хочет. «Должны» в моей фразе значит «обречены»: мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собою и властью,— в этом и заключается весь ужас, и на это я указываю» (с. 89).

[244] Видимо, подразумевается ошибка, допущенная Гершензоном в его книге «Мудрость Пушкина» (М., 1919). Книга открывается заметкой «Скрижаль Пушкина» (с. 5—6), в которой Гершензон приводит отсутствующую в изданиях сочинений поэта «самую поразительную из страниц, написанных Пушкиным», которую расценивает как «ключ к пониманию Пушкина»; на деле воспроизведенный Гершензоном текст представлял собою пушкинскую копию с неизвестного (рукописного) подлинника примечания В. А. Жуковского к своему стихотворению «Лалла Рук» (см. коммент. М. А. Цявловского в кн.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.— Л., 1935, с. 490—492). Узнав о допущенной ошибке, Гершензон успел в значительной части тиража своей книги вырезать страницы со «Скрижалью Пушкина». Об этом казусе рассказывает Ходасевич в мемуарном очерке «Книжная палата» (1932); см.: Ходасевич Вл. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954, с. 341—343.

[245] *Рюбецаль* — в германской низшей мифологии — горный дух, воплощение горной непогоды и обвалов.

[246] Лекцию «Пушкин и мы» Белый подготовил по инициативе Гершензона и прочел 11 февраля 1925 г. в Гос. академии художественных наук (ГАХН) — за неделю до смерти Гершензона. Текст лекции сохранился в архиве Белого (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 95). Подробнее разговор с Гершензоном по поводу этого своего выступления Белый передает в некрологическом очерке о нем (Россия, 1925, № 5(14), с. 252—254).

[247] Белый был избран в члены Общества любителей российской словесности 30 сентября 1909 г.

[248] О «Котике Летаеве» Гершензон написал, основываясь на газетных публикациях отрывков из романа (в 1916 г. в «Биржевых ведомостях» и в «Русских ведомостях»), в статье «Заметки о Пушкине. I. Недра»: «Быть может, впервые нашелся человек, задавшийся дерзкою мыслью подсмотреть и воспроизвести самую стихию человеческого духа. 〈...〉 если искусство никогда не

довольствовалось изображением внешних проявлений духа, если оно во все века стремилось вскрывать глубины,— то в сердцевину, в огненный центр бытия, никто не пытался проникнуть, по крайней мере сознательно. Андрей Белый — первый художник, который поставил себе эту цель сознательно. ⟨...⟩ Нужно ли показывать недра? Мы до сих пор не умели и не хотели их видеть; если нашелся человек, который умеет, значит, это нужно, значит, пришел срок нам их видеть. ⟨...⟩ В ядре все расплавлено и текуче, а изливы его в сознании твердеют: видно, стеклянная кора рационально давит уже нестерпимо, и дух ищет освободиться от собственных своих порождений, ставших его тиранами, от оформленных чувств и идей. ⟨...⟩ И Пушкин, не хуже нас, умел видеть огненное ядро духа и знал, что наружная жизнь творится в этом горниле. Но тогда художнику еще можно было быть ваятелем, а не хирургом; Пушкину еще не было надобности удалять естественные покровы ⟨...⟩. От Пушкина до Андрея Белого — вот наш путь за сто лет» (Биржевые ведомости, утр. вып., 1916, № 16010, 30 декабря, с. 7).

[249] Отдельное издание «Записок чудака» Белого вышло в свет в Берлине в 1922 г. (т. 1—2); до этого книга печаталась в «Записках мечтателей» (1919, № 1; 1921, № 2—3) под заглавием «Я. Эпопея. Т. 1. Записки чудака. Ч. 1. Возвращение на родину».

[250] Гершензон приехал в Берлин 15 мая, уехал 10 августа 1923 г. (см.: Берберова Н. Курсив мой, с. 195, 186).

[251] 2 мая 1917 г. Белый сообщал Иванову-Разумнику: «...я сбежал к Бердяевым, где с места в карьер на меня накинулась Лидия Юдифовна (жена Бердяева) за то, что я, дескать, развращаю *«клуб писателей»* (таковой есть у них) *«мистическим большевизмом»* ⟨...⟩» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 8).

[252] В очерке о Гершензоне Белый также касается отношения к нему в 1917 г. в московском религиозно-философском кругу: «...я видел, как резко покойный Михаил Осипович, отмежевываясь, доходил до словесных разрывов с одними, до охлаждений — с другими из бывших *«попутчиков»;* там, где когда-то считали своим его, ныне — сердились, косились и фыркали ⟨...⟩» (Россия, 1925, № 5(14), с. 257).

[253] *«Двери открыты на вьюжную площадь»* — заключительная фраза 1-й части статьи Блока «Безвременье» (1906). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 70.

[254] Над «Серебряным голубем» Белый работал в Бобровке в конце февраля — начале марта 1909 г., продолжил работу в Дедове летом того же года, окончил роман в Бобровке в декабре того же года.

[255] Ср. запись Белого об октябре 1907 г.: «...часто бываю в философском кружке, собирающемся у М. К. Морозовой» (*Ракурс к дневнику*, л. 41 об.).

[256] Характеристика клубных завсегдатаев в «Анне Карениной» (ч. 7, гл. VIII) в словах князя Щербацкого Левину: «Это наш клубный термин. 〈...〉 ездишь-ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком».

[257] См. выше, примеч. 141.

[258] Партия мирного обновления была организована в июле 1906 г., в 1907 г. насчитывала около 2 тысяч членов; в 1912 г. преобразована в Прогрессивную партию (прогрессисты). Е. Н. Трубецкой (до 1906 г.— кадет) был одним из организаторов Партии мирного обновления, с 1912 г.— член московского комитета Прогрессивной партии.

[259] «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — стих из поэмы В. К. Тредиаковского «Тилемахида» (т. II, кн. XVIII, ст. 514), изданной в 1766 г., взятый эпиграфом к «Путешествию из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

[260] Имеется в виду книга Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках» (М., 1916).

[261] Мережковские приезжали в Москву в конце ноября 1908 г. 11 ноября Д. В. Философов извещал Белого: «26-го ноября мы будем в Москве» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16); ср. запись Белого: «...участие в прениях после лекции Мережковского «Лермонтов» в Политехнич〈еском〉 музее (инцидент с Алферовым и Трубецким)» (*Ракурс к дневнику*, л. 45 об.). Очерк Мережковского о Лермонтове «Поэт сверхчеловечества» был опубликован в «Русской мысли» (1909, № 3), отдельным изданием выпущен в издательстве «Пантеон» (СПб., 1909).

[262] Подразумевается прежде всего полемическая статья «Нечто о Логосе, русской философии и научности. По поводу нового философского журнала «Логос» (в кн.: Э р н Вл. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М., Путь, 1911, с. 72—119). Эта статья была впервые опубликована в «Московском еженедельнике» (1910, № 29—32), Белый полемически откликнулся на нее статьей «Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли» (Утро России, 1910, № 247, 15 октября); переиздавая статью в книге «Борьба за Логос», Эрн снабдил ее примечаниями с ответными возражениями Белому.

[263] Е. Н. Трубецкой умер 23 января 1920 г. в Новороссийске.

[264] Имеется в виду труд Л. М. Лопатина «Положительные начала философии» (ч. 1—2. М., 1886—1891).

[265] Исследование Г. Когена «Kants Theorie der Erfahrung»

(«Теория познания Канта», 1871). Белый изучал эту книгу осенью 1907 г. (*Материал к биографии*, л. 55 об.).

[266] См. выше, гл. 1, примеч. 35.

[267] См.: Шпетт Г. Проблема причинности у Юма и у Канта. Ответил ли Кант на сомнения Юма. Киев, 1907.

[268] Белый относит начало своего тесного общения с Шпетом к декабрю 1907 г.: «Сближение со Шпеттом (переходим на *«ты»*; Шпетт сближается с Эллисом и Метнером)» (*Ракурс к дневнику*, л. 42 об.).

[269] Цитата из стихотворения Белого «Поединок» (1903), входящего в «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 114).

[270] Заключительные строки 3-й части стихотворения Белого «Вечный зов» (1903), входящего в «Золото в лазури» (там же, с. 80).

[271] *«Балладина»* (1839) — стихотворная драма Юлиуша Словацкого на темы легендарной польской истории.

[272] Московская женская гимназия Н. И. Хвостовой.

[273] *И. А. Ильин*, автор философского труда «Учение Гегеля о конкретности Бога и человека» (т. 1—2. 1918), высланный из России в 1922 г., заявил о себе в эмиграции как монархист и апологет «белой идеи»: философско-публицистическая книга «О сопротивлении злу силой» (Берлин, 1925), брошюра «Яд большевизма» (Женева, 1931) и др.

[274] П. *Горгулов*, бывший русский офицер и эмигрант, 6 мая 1932 г. застрелил в Париже президента Франции Поля Думера с целью сорвать подписание советско-французского пакта о ненападении. Все лидеры русской эмиграции отреклись от Горгулова.

[275] Эпизод из романа Достоевского «Бесы» (ч. 1, гл. 2, III). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 10. Л., 1974, с. 42—43.

[276] Речь идет о книге Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., Духовное знание, 1917), полемически направленной против книги Э. Метнера «Размышления о Гете. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (М., Мусагет, 1914).

[277] Описываемый инцидент относится к февралю 1917 г. (см. переписку И. А. Ильина и Э. К. Метнера в этой связи: *ГБЛ*, ф. 167, карт. 13, ед. хр. 9; карт. 16, ед. хр. 14). Ср. сходное с доводами Белого мемуарное свидетельство: «Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его моск-

вичи тех лет» (Герцык Евг. Воспоминания. Paris, 1973, с. 154).

[278] См.: «Начало века», гл. 1, примеч. 220.

[279] Цитата из стихотворения Белого «Друзьям» (январь 1907 г.) (*Стихотворения и поэмы*, с. 249).

[280] В деле издания «Весов» секретарь журнала М. Ф. *Ликиардопуло* играл особенно активную роль в 1908—1909 гг. Б. А. Садовской в очерке «Весы» (Воспоминания сотрудника)» пишет об этом времени: «С Брюсовым Ликиардопуло теперь на равной ноге. «Скоро он меня отсюда вот этак». И Брюсов сделал выразительный жест ногой. ⟨...⟩ Минуя Брюсова, он начал вести дело непосредственно с Поляковым: издателю энергичный секретарь сумел понравиться» (*ЦГАЛИ*, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 3, л. 19).

[281] Ликиардопуло состоял секретарем дирекции Московского Художественного театра в 1910—1917 гг.

[282] См.: «Начало века», гл. 4, примеч. 85.

[283] См.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 245, 299.

[284] Присяжный поверенный А. С. *Шмаков* был теоретиком антисемитизма, автором ряда антисемитских книг; в 1913 г. выступал гражданским истцом по делу Бейлиса.

[285] Неточная и сокращенная цитата (см. выше, примеч. 249).

[286] Сокращенная цитата (Белый Андрей. Маски. М., 1932).

[287] Сокращенная цитата.

[288] Первые строки стихотворения Блока, датированного 2 ноября 1912 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М.— Л., 1960, с. 42).

[289] Строфа из стихотворения Блока «Есть игра: осторожно войти...» (18 декабря 1913 г.) (там же, с. 43).

[290] Белый сообщил Блоку свои впечатления от стихотворения «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» в письме от 17 марта 1918 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 335—336); в корректуре третьего издания 3-й книги «Стихотворений» Блок сделал помету к этому стихотворению: «Стихи близки А. Белому» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 508). Ср. запись о «сёре» в дневнике Белого «К материалам о Блоке» (31 августа 1921 г.) (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 807).

ГЛАВА ПЯТАЯ. С МОСКВОЙ КОНЧЕНО

[1] Эти же этапы обозначает Белый в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: 1901—1902 — «Заря и начало писания (резкий пер⟨еход⟩)», 1908—

1909 — «От отчаяния к надежде (резк⟨ий⟩ пер⟨еход⟩)», 1915—1916 — «Надрыв в пути (резк⟨ий⟩ пер⟨еход⟩)» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[2] Строфы из стихотворения Белого «Демон», написанного в марте 1908 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 312—313).

[3] Сокращенная цитата; см.: «На рубеже двух столетий», с. 192—193.

[4] Цитата из стихотворения «Совесть» (Белый Андрей. Стихотворения. Берлин — Пб.— М., 1923, с. 237), представляющего собой расширенную редакцию одноименного стихотворения, написанного в январе 1907 г. и входящего в книгу Белого «Урна».

[5] О конце 1908 г. Белый записал: «...мое письмо к Мережковскому (мой отход от них)» (*Ракурс к дневнику*, л. 45 об.). Текст этого письма нам неизвестен.

[6] Ср. записи Белого об июле — августе 1909 г.: «Углубляется расхождение путей с С. М. Соловьевым»; «...разрыв с С. М. Соловьевым (почти на год)» (там же, л. 49). Судя по недатированному письму Соловьева к Белому, определенно относящемуся к этому времени их совместного проживания в Дедове, это расхождение было обусловлено его отношением к «Серебряному голубю» — роману, над которым тогда вплотную работал Белый и в сюжете которого, как известно, отразились обстоятельства жизни Соловьева: «Милый Боря, буду говорить откровенно и кратко. Не чувствуешь ли ты, что один из кругов замкнулся? Что-то между нами стало тяжелое и душное. Все это можно назвать одним словом: «Серебряный голубь». После последних страниц, которые ты мне читал, я окончательно не могу, не изменяя делу всей моей жизни, *быть внутренно с тобою*. Надеюсь, что это пройдет, и мы начнем опять описывать новый круг, как не раз бывало. Но это возможно только за пределами «Голубя». Теперь же нам необходимо расстаться во избежание горьких недоразумений. Не прими этого лично. Никто не должен знать об этом письме. Подумай, как важно нам не показать перед людьми нашего разногласия. Придумай предлог для переезда в Москву. Письмо передаст тебе Елизавета Павловна, не зная о его содержании» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 8; упоминается Е. П. Безобразова, двоюродная сестра Соловьева). Впрочем, в письме к Белому от 3 апреля 1910 г. Соловьев давал высокую оценку «Серебряному голубю», законченному тогда печатанием в «Весах», и называл роман лучшим из произведений Белого (там же).

[7] С. Соловьев не принимал происходившего тогда обращения Белого к антропософии.

[8] Цикл стихотворений Блока «Снежная Маска» (СПб., Оры, 1907), вышедший в свет 8 апреля 1907 г.

[9] В Петровском Белый жил в мае — июне 1907 г.

[10] Строфа из стихотворения Белого «Ночь» (июнь 1907 г., Петровское), посвященного С. Соловьеву (*Стихотворения и поэмы*, с. 300).

[11] В июле 1907 г. С. Соловьев гостил в Коктебеле у М. А. Волошина.

[12] Имеется в виду письмо от 5 или 6 августа 1907 г., в котором Белый, давая резкую оценку статье Блока «О реалистах», появившейся в «Золотом руне», заявлял: «Отношения наши обрываются навсегда» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 192).

[13] Письмо Блока к Белому от 8 августа 1907 г. (там же, с. 192—193).

[14] См. пространные письма Белого к Блоку от 10—11 августа, 11 и 19 августа и письмо Блока к Белому от 15—17 августа 1907 г., в подробностях затрагивающие обстоятельства конфликта и литературные коллизии, этот конфликт стимулировавшие (там же, с. 193—212).

[15] Этот приезд Блока в Москву состоялся 24 августа. Наиболее подробно Белый описывает его и «двенадцатичасовой разговор» с Блоком в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, III, с. 270—280).

[16] Цитату из корреспонденции Е. Семенова, опубликованной в «Mercure de France» (1907, № 242), в которой — со слов Г. И. Чулкова — «мистическими анархистами» в русской литературе назывались Вяч. Иванов, Блок, С. Городецкий и Чулков, Белый воспроизвел в письме к Блоку от 21 августа 1907 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 212).

[17] В «письме в редакцию», датированном 26 августа 1907 г., Блок заявлял: «...я никогда не имел и не имею ничего общего с «мистическим анархизмом», о чем свидетельствуют мои стихи и проза» (Весы, 1907, № 8, с. 81). См. также предшествовавшие составлению этого документа письмо Блока к Чулкову от 17 августа 1907 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М.— Л., 1963, с. 204) и ответное письмо Чулкова от 20 августа (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4, с. 400—402).

[18] Об отношении Блока к творчеству Л. Андреева в это время см.: Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984, с. 181—229.

[19] Статья Белого «Символический театр. По поводу гастролей Коммиссаржевской» была напечатана в двух номерах «Утра России» — 16 и 28 сентября 1907 г. 1 октября 1907 г. Блок писал

Белому, что статья «Символический театр» имеет для него «значение объемистой книги» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 219).

[20] Этот вечер состоялся 4 октября 1907 г. в Киевском городском театре.

[21] См. главку «Встреча в Киеве» в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея,* III, с. 280—295).

[22] Лекция «Будущее искусство», прочитанная Белым в Коммерческом собрании 6 октября.

[23] Блок и Белый приехали в Петербург 8 октября.

[24] Гостиница «Англетер» на Исаакиевской площади (д. 10).

[25] На *Галерной* улице (д. 41, кв. 4; угол Благовещенской площади) Блок жил с осени 1907 г. по 1910 г.

[26] Заключительные строки стихотворения «По улицам метель метет...», датированного 26 октября 1907 г. и входящего в цикл «Заклятие огнем и мраком». См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 278.

[27] Премьера драмы М. Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда» в постановке В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Коммиссаржевской состоялась 10 октября 1907 г.

[28] О близости С. А. Ауслендера к труппе театра В. Ф. Коммиссаржевской см. в «Воспоминаниях об Александре Блоке» В. П. Веригиной (Александр Блок в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1, с. 429—431, 437—440).

[29] Имеется в виду встреча Белого с Блоком в Москве 1 ноября 1910 г., положившая начало новому этапу в их взаимоотношениях.

[30] Белый жил в Петербурге с 1 по 17 ноября 1907 г., снимал комнату на Васильевском острове. 12 ноября он сообщал матери: «Раза 3 был у Блоков» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 314).

[31] Ср. записи Белого о ноябре 1907 г.: «Мучительные переживания с Л. Д. Блок 〈...〉. Ссора с Л. Д.» (*Материал к биографии,* л. 55 об.). Сохранилась записка Л. Д. Блок к Белому от 8 ноября: «Боря, в чем дело? Надеюсь, что только во вчерашнем опьянении. Милый Боря, зачем так? Приходите поговорить сегодня вечером. Ваша *Л. Блок*» (*ГБЛ,* ф. 25, карт. 9, ед. хр. 18).

[32] Статья «Обломки миров (О «Лирических драмах» А. Блока)» была опубликована в «Весах» в 1908 г. (№ 5, с. 65—68); см.: *Арабески,* с. 463—467.

[33] Разрыв отношений между Блоком и Белым, однако, произошел до опубликования статьи «Обломки миров». 24 апреля 1908 г. Блок отправил Белому письмо, в котором выражал резкое неприятие его «четвертой симфонии» «Кубок метелей»; в ответ-

ном письме от 3 мая Белый заявлял: «Ввиду *«сложности»* наших отношений я *ликвидирую* эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапочного знакомства и пр.). Не отвечай. Всего хорошего» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 231—232).

[34] Вечер памяти В. Ф. Коммиссаржевской состоялся 7 марта 1910 г. в зале Петербургской городской думы.

[35] Наибольшей близости отношения Брюсова и Н. И. Петровской достигали в 1905—1907 гг.

[36] Ср.: «...лозунги *«школы»*, выдвинутые московской группой *«весовцев»* с маркой на Брюсова, как поднятого на щит вождя, главным образом принадлежат мне» (*Почему я стал символистом*, с. 55).

[37] Ср. строки из стихотворения «Сердце предано метели» (13 января 1907 г.): «Я сам иду на твой костер! Сжигай меня! Пронзай меня 〈...〉 Иглою снежного огня!» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 251).

[38] Имеется в виду резко критический очерк Ю. Айхенвальда «Валерий Брюсов. Опыт литературной характеристики» (М., 1910); вошел в кн.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей, вып. 3. М., 1910, с. 85—99.

[39] Подразумевается отзыв о Белом и С. Соловьеве не в дневнике Блока, а в его письме к матери от 21 апреля 1908 г.: «Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп» (Письма Александра Блока к родным, 〈т. I〉. Л., 1927, с. 208).

[40] См. выше, гл. 3, примеч. 65.

[41] Лекцию «Фридрих Ницше» Белый читал в Политехническом музее 19 декабря 1907 г.

[42] Немецкий социолог Хаустон Стюарт Чемберлен в своем труде «Основы девятнадцатого столетия» (1900) выступил как апологет расовой теории, противопоставляя «полноценную» арийскую расу «неполноценной» семитской. В издательстве «Мусагет» была выпущена его работа «Арийское миросозерцание» (перевод О. К. Синцовой. М., 1913). В 1908 г. Метнер внимательно изучал Чемберлена; сохранились его конспекты и выписки из книг Чемберлена (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 22, ед. хр. 13).

[43] Последний, 12-й номер «Перевала» вышел в ноябре 1907 г.; журнал издавался всего год.

[44] Идея этого издательского предприятия вынашивалась сравнительно долго. Еще 27 января 1907 г. Э. К. Метнер в письме к Эллису сообщил свою «мимолетную мысль»: «У меня в голове одно, правда несколько претенциозное, название журнала; именно: «Мусагет» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 6, ед. хр. 1). В 1908 —

первой половине 1909 г. замысел будущего «Мусагета» неоднократно обсуждался в ходе общения и переписки Метнера, Белого, Эллиса.

[45] М. П. Пряшникова и О. М. Томпакова, составители «Летописи жизни и творчества А. Н. Скрябина» (М., 1985), относят эту встречу к февралю 1909 г. (с. 170).

[46] См. выше, гл. 4, примеч. 261.

[47] См. выше, примеч. 5.

[48] Кризисный период в издании «Весов» (намерение С. А. Полякова прекратить издание журнала, разногласия Брюсова и Полякова и др.) продолжался с октября 1908 по январь 1909 г. (см.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания).— В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 302—304). 8/21 ноября 1908 г. Брюсов писал Н. И. Петровской: «Весы» медленно погибали и должны были прекратиться к январю. 〈...〉 Крохотный кружок, уцелевший около «Весов», явно распадался. Белый, конечно, тянул куда-то в сторону. Эллис тоже» (там же, с. 794).

[49] См. выше, гл. 4, примеч. 199, 200.

[50] 20 февраля 1909 г. Белый уехал (в сопровождении А. С. Петровского) в село Бобровка Тверской губернии — имение А. А. Рачинской, сестры Г. А. Рачинского (за Ржевом, ст. Оленино Виндавской жел. дор.); прожил он там до середины марта.

[51] См. ниже, главка «Инцидент с Эллисом».

[52] Обвинение А. М. Ремизова в плагиате основывалось на осуществленной им художественной обработке опубликованных записей фольклорных текстов (см.: «Писатель или списыватель? (Письмо в редакцию)».— Биржевые ведомости, веч. вып., 1909, № 11160, 16 июня, с. 6; Пришвин М. Плагиатор ли А. Ремизов? (Письмо в редакцию).— Слово, 1909, № 833, 21 июня, с. 5); обвинение К. Д. Бальмонта — на его статье об У. Уитмене, в которой К. Чуковский обнаружил фразы из книги Дж. Симондса об Уитмене (Речь, 1909, 3 августа).

[53] Ср. запись Белого о марте 1909 г.: «Бешеная работа над ритмами поэтов; собираю в портфель очень большой материал ритмов» (*Ракурс к дневнику*, л. 47). О начале стиховедческих исследований Белого см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. О стиховедческом наследии Андрея Белого.— В кн.: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 515). Тарту, 1981, с. 99—100.

[54] В. Ф. Ходасевич вспоминает о встрече с Белым летом 1908 г.: «...он позвонил мне по телефону, крича со смехом: — Если свободны, скорей приезжайте в город 〈...〉. Я сделал открытие! Ей Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!» Передавая

далее рассказ Белого о результатах своих штудий («Вот вам четырехстопный ямб.〈...〉 Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений» и т. д.), Ходасевич добавляет: «Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 78).

[55] См.: Шульговский Н. Н. Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения. СПб.,— М., 1914. Шульговскому принадлежит также книга «Занимательное стихосложение» (Л., 1926; изд. 2-е — Прикладное стихосложение. Л., 1929).

[56] В книге Белого «Символизм» (М., 1910) напечатаны 4 стиховедческих работы, написанные с октября 1909 г. по январь 1910 г.,— «Лирика и эксперимент», «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре», «Не пой, красавица, при мне...» А. С. Пушкина. (Опыт описания)».

[57] См.: Лукьянов С. М. «Ангел смерти» гр. А. А. Голенищева-Кутузова.— Журнал министерства народного просвещения, 1914, февраль, с. 316—352. Работа включает анализ ритмики, рифмы, звукового состава, строфической композиции.

[58] В Бобровке Белый написал 1-ю главу «Серебряного голубя».

[59] Интерес к хлыстам (христоверам) — русской религиозной секте, относящейся к группе духовных христиан, и ее собраниям в форме радений (молитвы с плясками, «хождение в духе») отразился в «Серебряном голубе» — в описании секты «голубей».

[60] Видимо, подразумеваются издания: Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы, вып. 1—2. М., 1906; Животная книга духоборцев. Записал и собрал Влад. Бонч-Бруевич. СПб., 1909.

[61] В очерке «О себе как писателе» (март 1933 г.) Белый писал: «...герой моего романа «Серебряный голубь» — столяр Кудеяров, полуэротик, полуфанатик,— не отображает точно секту хлыстов; он был сфантазирован; в нем отразился пока еще не видный Распутин, еще не появившийся в Петербурге» (День поэзии. 1972. М., 1972, с. 272; публикация В. Сажина).

[62] Автобиографического подтекста в «Серебряном голубе» Белый касается и в письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: *«...«Кудеяров»* — то Мережковский, то — Блок, всунутые в облик надовражинского *«столяра»;* а *«Матрена»* — Любовь Дмитриевна; и еще: уплотненная в быт героиня 4-ой Симфонии, а с ней вместе и вся тема *«Первого свидания»* (от 901-го года до 905-го); *«Катя»* — не только в близком будущем мне имеющая

раскрыться как *«Ася»* и отражение ее из «Путевых заметок», но и — моя давняя *«королевна»* из *«Северной Симфонии»* (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[63] «Начало сближения с Минцловой» Белый относит к декабрю 1908 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 46).

[64] Имеется в виду появление периодической кометы Галлея (наблюдалась с конца 1909 до конца 1910 г.), вызвавшее волнения: высказывались предположения о возможной ее угрозе существованию Земли.

[65] Имеются в виду печатные выступления Н. А. Морозова по этому вопросу: «Мое первое свидание с кометой Галлея» (Русские ведомости, 1910, № 49, 2 марта), «Каковы будут последствия, если мы попадем 5-го мая в хвост кометы Галлея?» (Биржевые ведомости, 1910, № 11608, 11 марта), «Комета Галлея» (Речь, 1910, № 126, 10 мая), «Что может принести нам встреча с кометой? Публичная лекция» (М., [1910]).

[66] Минцлова каждодневно бывала в это время в квартире Иванова. О глубокой духовной связи Иванова с нею, получившей характер своеобразного ученичества, свидетельствуют его дневниковые записи (июнь 1908 г., июнь — июль 1909 г.; см.: Иванов Вяч. Собр. соч., т. II. Брюссель, 1974, с. 771—779). См. также: Дешарт О. Введение.— В кн.: Иванов Вяч. Собр. соч., т. I. Брюссель, 1971, с. 139—140.

[67] Книга Белого «Пепел. Стихи» (СПб., Шиповник, 1909) вышла в свет в начале декабря 1908 г.

[68] В 1909 г., однако, Белый воспринимал сближение с Минцловой как значительное событие своей внутренней жизни. Ср. его запись о пребывании в Петербурге в середине января 1909 г.: «Интимная встреча с Вячеславом Ивановым; перманентная трехдневная беседа между мною, Ивановым, Минцловой; начало нашей *«тройки»;* с этим сознанием еду в Москву» (*Ракурс к дневнику*, л. 46 об.). Тройственный союз («тройка») Минцловой, Иванова и Белого особенно активно поддерживался Минцловой; так, она писала Белому: «Я говорю с собой, и при этом радость полноты, потому что слышит это — другой, близкий — — Вячеслав *весь* с Вами всецело» (17 июня 1909 г.); «Вячеслав всей душой любит Вас, он чувствует *ясно* Существование Треугольника Верхнего — Вы для него — огромная радость» (8 декабря 1909 г.) (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 17).

[69] В первоначальном варианте текста далее следовало: «словом: я зажил в атмосфере ее; и *о*на посвящала меня в свои бредни; вот в кратких словах их сюжет: мы-де стоим у преддверия небывалого переворота сознанья; уже появляются личности, регулирующие нравственное возрожденье; но «черные оккультисты» не дремлют; ею был апробирован и мой бред о масонах;

я должен-де вооружиться ее сокровенными знаньями; мне было сказано:» — и т. д. (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 14, л. 162).

[70] Ср. признания в письмах Минцловой к Белому: «Ныне свершается великий бой, решительный бой, в сфере иной — в том мире, который особенно близкий Вам, Андрей Белый, — в мире звездном, в астральном свете ⟨...⟩. Да... Рубикон перед Вами. Но уже брошен жребий, Вы уже переходите Рубикон, Вы уже за гранью мира...» (17 июня 1909 г.); «Еще я не знаю, *как* это сбудется, но я *знаю,* что с Вами — Бог, и с Вами *свет* будет...» (Нюрнберг, 30 августа 1909 г.) (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 17).

[71] Заключительные строки стихотворения «Отчаянье», написанного в июле 1908 г. (*Стихотворения и поэмы,* с. 160).

[72] Строка из стихотворения «Опять над полем Куликовым...» (23 декабря 1908 г.), заключительного в цикле «На поле Куликовом» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 253).

[73] *Пер Гюнт* — герой одноименной драматической поэмы Г. Ибсена (1867), воплощение изменчивости, половинчатости, слабодушной мечтательности.

[74] Белый вспоминает о мае 1910 г.: «Ряд фактов с Минцловой, исчерпывающих мое терпение ⟨...⟩ Между тем: Минцлова требует, чтобы я в мае ехал в Италию, в Ассизи, куда должен приехать Иванов; там, ⟨в⟩ Ассизи-де, должна произойти наша встреча с розенкрейцерами и «посвящение»; но я, измученный уже год длящимся без разрешения мифом, принимающим все более зловеще-фантастический характер, после совета с Метнером, решаю отказать⟨ся⟩ от *«чести»* ехать в Италию; А. С. ⟨Петровский⟩ везет это решение Минцловой в Петербург ⟨...⟩» (*Материал к биографии,* л. 57 об.).

[75] Белый относит эту встречу к августу 1910 г.

[76] Ср. запись Белого об августе 1910 г.: «...сваливается тяжелая проблема *«исчезновения»* Минцловой, с которой с неделю мы возимся с М. И. Сизовым. Она — исчезает, дав мне кольцо и лозунг и обещав, что *кто-то* к нам придет в сентябре 11 года» (*Материал к биографии,* л. 58 об.).

[77] Подразумевается сюжет басни И. А. Крылова «Синица» (1815), основанный на пословице: «Ходила синица море зажигать: моря не зажгла, а славы много наделала».

[78] О судьбе А. Р. Минцловой после ее исчезновения осенью 1910 г. нет никаких достоверных сведений.

[79] Эти встречи относятся ко второй половине марта 1909 г. Ср. запись Белого об апреле 1909 г.: «Возникающая любовь между мною и Асей» (*Материал к биографии,* л. 56).

[80] Цитата (с иным делением на строки) из стихотворения «Родина», написанного в апреле 1909 г. (*Стихотворения и поэмы,* с. 352).

[81] Книга Белого «Урна. Стихотворения» (М., Гриф, 1909) вышла в свет в конце марта 1909 г.

[82] Заключительные строки стихотворения «Жалоба», написанного в Бобровке в феврале 1909 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 321).

[83] Ср. признания Белого в письме к Ф. Сологубу от 5 июля 1909 г.: «Зори в этом году особенно милые: таких зорь не было вот уже три года. Три года задавила горние сферы душная мгла. И вот ныне в зорях как бы дается вновь обещание... но чего?.. ⟨...⟩ Ныне будто очистились зори, и опять «милые голоса» зовут... Опять ждешь с восторгом и упованием...» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974, с. 136).

[84] Катя Гуголева, героиня «Серебряного голубя».

[85] Портрет Белого работы А. Тургеневой воспроизведен в кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 329.

[86] В апреле 1909 г. отмечалось 100 лет со дня рождения Н. В. Гоголя. Статья Белого «Гоголь», приуроченная к этому юбилею, была напечатана в «Весах» (1909, № 4, с. 69—83).

[87] Романс М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть» (1843) на стихи П. П. Рындина.

[88] А. Тургенева уехала из Москвы в мае 1909 г.

[89] Ср. признание в письме С. Соловьева к Белому (август 1909 г.): «Это лето наши души встречались редко, только Ася сближала нас» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 8).

[90] Приводим одно из первых газетных сообщений об инциденте: «На днях в читальном зале библиотеки Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Коб-ского, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом «Эллис». Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей, который о замеченном сообщил по начальству, указав, что Л. Коб-ский приносил с собой всегда в читальную залу портфель, а при уходе из библиотеки оставлял его на хранение швейцару. При осмотре в портфеле в особой тетради найдены вырезанные страницы текстов из книг библиотеки. При объяснении Коб-ский сознался в порче книг и объяснил, что вырезывал из них страницы, не находя свободного времени для переписывания их. Администрация библиотеки решила не привлекать его к судебной ответственности, а лишить права посещения читальни музеев. Выяснилось, что и ранее, в бытность директором музеев М. А. Веневитинова, тот же Коб-ский был лишен права посещения читальни за вырезки из книг, выдаваемых для чтения ему» (Русские ведомости, 1909, № 179, 5 ав-

густа, с. 3). В тот же день аналогичное сообщение появилось в «Раннем утре» (№ 179, с. 3) под заглавием «Порча книг в Румянцевском музее».

[91] В 1909 г. Эллис работал над книгой «Русские символисты. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов. Андрей Белый» (М., Мусагет, 1910).

[92] Конкретные обстоятельства инцидента Эллис сообщает в письме к Брюсову от 20 августа 1909 г.: «Случалось, что у меня под руками находились дубликаты книг, одна книга музейская (по требованию), другая моя. Дело в том, что, вклеивая вырезку ради стр. 100, я гублю при вклейке и стр. 101. Поэтому у меня очутились два экземпляра симфоний А. Белого. Я по ошибке вырезал и вклеил открыто музейским клеем при чиновниках и солдатах две цитаты из музейского экземпляра. 〈...〉 Однажды, придя в музей, я не нашел своей папки с рукописями. Она была у Кваскова, который вежливо указал мне на мою ошибку. Я сейчас же съездил в «Скорпион» и вернул свежие экземпляры книг (1 стр. из «Кубка метелей», друга〈я〉 из «Северной симфонии»). Дело кончилось, и я продолжал заниматься и успел закончить свой труд. Все остальное — анонимный донос одного из чиновников 〈...〉 В настоящее время специальная следственная комиссия при Музее после 3-кратного допроса меня, ревизии всех бывших в моем пользовании за целый год книг и всех рукописей и вырезок пришла к выводу, что ущерб, нанесенный мною музею, = 90 к. за переплеты двух «симфоний». И... все. По требованию контроля дело передано прокурору, который, конечно, его прекратит 〈...〉» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 109, ед. хр. 44).

[93] Вопреки этим утверждениям, А. И. Цветаева свидетельствует, что И. В. Цветаев испытывал к Эллису симпатию: «...что папа жалует Эллиса — зналось: увидев его, он что-нибудь говорил доброе 〈...〉» (Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1983, с. 304). В. И. Цветаева в неизданных «Записках» также подтверждает, что «отец благоволил Эллису как человеку одаренному, образованному» (Каган Ю. М. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987, с. 140).

[94] Рассказывая Белому об обстоятельствах инцидента в недатированном письме, Эллис сообщал: «Вчера вдруг получаю письмо из Парижа от старшей дочери Цветаева, Маруси, моей большой поклонницы. Она все узнала от Аси, которая, кажется, не понимает серьезности дела. Маруся мне пишет, что она, веря в меня и не требуя никаких доказательств, считает своей обязанностью сделать все, чтобы меня спасти. «Если с вами что-либо сделают, я застрелюсь!» — пишет она... «Вас не смеют судить, и если бы вы раскрали 1/2 музея, то все равно *они* не смеют вас судить!» ... Она пишет, что немедленно едет в Россию и «пой-

дет на все»... Быть может, это детская, смешная греза, но меня это тронуло до невыразимости. Я, впрочем, думаю, что она может повлиять на отца» (*ГБЛ,* ф. 25, карт. 25, ед. хр. 31). Пересказываемое Эллисом письмо М. И. Цветаевой, видимо, не сохранилось.

[95] Белый утрирует реальное положение дел; сведения об инциденте в большинстве случаев сообщались в общей подборке городских новостей и никаким особым образом не акцентировались.

[96] Суд чести Общества периодической печати и литературы, состоявшийся 7 ноября 1909 г. (председатель С. А. Муромцев, товарищ председателя Н. В. Давыдов, члены суда Л. М. Лопатин, П. Н. Малянтович, Н. В. Тесленко), признал, что факт вырезания двух страниц из книг Белого не представляется «актом сознательно злонамеренным, а тем менее актом кражи, как об этом сообщалось во многих органах периодической печати, свидетельствует, однако, о крайне небрежном отношении Л. Л. Кобылинского (Эллиса) к имуществу, составляющему общественное достояние» (Русские ведомости, 1909, № 260, 12 ноября, с. 5).

[97] Уже в первые дни после обнародования инцидента М. Ф. Ликиардопуло писал Белому: «В публике творится нечто ужасное, ни с кем нельзя почти говорить, чтобы не нарваться на оскорбления. Приводится, конечно, довод, что «Весы» и «Скорпион», так отстаивающие культуру и уважение к книге, терпят среди своих человека, и т. д.» (*ГБЛ,* ф. 25, карт. 28, ед. хр. 21). 23 августа 1909 г. он же сообщал Брюсову в Париж: «...дело страшно раздули. 〈...〉 положение дел в течение 2—3 недель было ужасно. Каждого почти открыто называли вором, обобщая дело Эллиса и казус с Бальмонтом (Чуковский в «Речи» обличил Бальмонта в плагиате в статье о Уитмене, напечат〈анной〉 в «Весах»)» (*ГБЛ,* ф. 386, карт. 92, ед. хр. 23). Эллис выражал протесты в связи с газетными передержками со страниц «Весов» (1909, № 7, с. 104; № 10—11, с. 178—179).

[98] См.: «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. XXV.

[99] В этой статье, опубликованной без подписи (автором ее был Е. Л. Бернштейн-Янтарев) в «Голосе Москвы» 8 августа 1909 г. (№ 181, с. 2), не только тенденциозно подавался «возмутительный для культурного человека факт порчи книг и кражи целых страниц из национального книгохранилища», но и сообщались сведения и слухи, не имевшие к этому делу отношения: о том, что «за г. Эллисом давно и довольно прочно установилась репутация человека некорректного, неискреннего, несвободного в своих литературных мнениях и симпатиях», что «крупная и некрасивого характера ссора» с Брюсовым «не помешала г. Эллису

стать впоследствии другом и верным рабом г. Брюсова», что якобы «он когда-то в университетской библиотеке вырезал целую главу из редкого собрания сочинений Канта» и т. п.

[100] См.: Дорошевич В. Кандидат.— Русское слово, 1909, № 261, 13 ноября, с. 2.

[101] С. П. Мельгунов был членом Народно-социалистической партии (энесы).

[102] *Гучковская газета* — «Голос Москвы» (А. И. Гучков был лидером партии октябристов). В одной из заметок, появившихся в этой газете в связи с эллисовским инцидентом, говорилось о символистах в целом: «...в среде этих писателей были не только плагиаторы, но просто воры. Вот, например, г. Эллис. 〈...〉 Что могут сказать все эти Андреи Белые и Иваны Серые в защиту своего друга г. Эллиса? Послушаем» (Летописец. Шарлатаны.— Голос Москвы, 1909, № 180, 6 августа, с. 4).

[103] Статью «Господин Эллис» Е. Л. Бернштейна (Янтарева), напечатанную в «Голосе Москвы», третейский суд определил «написанною в недозволительном тоне оскорбительных сообщений и намеков, не имеющих отношения к факту порчи книг и в то же время рисующих всю личность Л. Л. Кобылинского в неблаговидном свете, что заслуживает осуждения с точки зрения добрых литературных нравов» (Русские ведомости, 1909, № 260, 12 ноября, с. 5).

[104] «Центрифуга» — литературная группа, возникшая в Москве в 1913 г. на почве объединения участников символистского кружка «Лирика» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев) с поэтами футуристического направления (Божидар, К. А. Большаков и др.). См.: Флейшман Л. История «Центрифуги».— В его кн.: Статьи о Пастернаке. Bremen, 1977, с. 62—101.

[105] А. М. Кожебаткин вел секретарскую работу в «Мусагете» в 1909—1911 гг., В. Ф. Ахрамович — с 1911 г.

[106] Ахрамович был секретарем Ритмического кружка при «Мусагете», возглавлявшегося Белым, в 1910—1912 гг.

[107] Планами создания журнала Э. Метнер делился с Белым в письме из Германии от 3 сентября 1909 г. (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 5, ед. хр. 11) и в последующих письмах.

[108] См. выше, примеч. 6.

[109] Намерение начать деятельность «Мусагета» как нового журнала на первых порах было довольно твердым. «*Журнал будет*, и теперь, кажется, «безвозвратно»,— сообщал Э. Метнер Эллису 26 августа 1909 г.— 〈...〉 Надеюсь, что «Весы» будут прикончены. Это необходимо, чтобы наследовать их подписчиков. Необходимо поставить журнал солидно, но без всякой роскоши» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 6, ед. хр. 13). Однако в ходе последующих обсуждений идея создания журнала временно была

отринута. «Журнал не будет, а лишь книгоиздательство»,— извещал 2 ноября 1909 г. В. О. Нилендер Б. А. Садовского (*ЦГАЛИ*, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 148).

[110] «Серебряный голубь» публиковался в «Весах» (1909, № 3, 4, 6, 7, 10—11, 12) по мере готовности очередных глав.

[111] Комментарии к статьям, включенным в «Символизм» (с. 457—633), Белый писал осенью 1909 г.

[112] *Ритмический кружок* при «Мусагете» начал свою деятельность в апреле 1910 г.; «Символизм» Белого вышел в свет в конце того же месяца.

[113] Белый подразумевает раздел «Критика системы А. Белого» в кн.: Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха. Л., 1925, с. 40—45.

[114] В своей книге «Ритм как диалектика и «Медный всадник» (М., 1929, с. 243) Белый сделал упрек В. М. Жирмунскому в том, что тот якобы воспользовался данными «регистра 1911 года» («учебника ритма»), не согласовав этого вопроса с ним; Жирмунский в ответ заявил, что ему не был известен даже сам факт существования «регистра» (Жирмунский В. По поводу книги «Ритм как диалектика». Ответ Андрею Белому.— Звезда, 1929, № 8, с. 205). «Учебник ритма», подготовленный членами «мусагетского» Ритмического кружка под руководством Белого, ныне опубликован (см.: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII, с. 119—131).

[115] *Ex officio* (лат.) — по обязанности; ради формы.

[116] См.: *Символизм*, с. 286.

[117] См.: «Начало века», гл. 4, примеч. 128.

[118] Памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева был открыт 26 апреля 1909 г. на Арбатской площади перед Пречистенским бульваром.

[119] *In concreto* (лат.) — в действительности, на самом деле; в частном случае.

[120] Ориентация «Мусагета» на германскую культуру была, помимо идейно-эстетических симпатий Э. Метнера, непременным условием, выдвинутым Ядвигой Фридрих, финансировавшей издательство (см. комментарии З. А. Апетян в кн.: Метнер Н. К. Письма. М., 1973, с. 125). Э. Метнер писал в этой связи Эллису (26 августа 1909 г.): «Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом, нефанатическом, культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 6, ед. хр. 13).

[121] *«Verlag»* (нем.) — издательство.

[122] Этот неосуществленный замысел принадлежал Вяч. Иванову, который писал Блоку 20 января 1911 г.: «...давайте издавать Дневник трех поэтов 〈...〉 Трое, конечно,— Вы, Андрей Бе-

лый и я. Можем как-нибудь сложиться, что ли... или же, быть может, издание возьмет на себя «Мусагет» (Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 41. 1982, № 2, с. 173—174; публикация Н. В. Котрелева). В письме к матери от 21 января 1911 г. Блок отмечал, что этот замысел «всех заманчивей, конечно» (Письма Александра Блока к родным. М.— Л., 1932, т. 2, с. 113).

[123] Белый здесь неточен; Блок сам устранился от активного участия в деятельности «Мусагета», без какого-либо нажима со стороны Метнера. См.: Фрумкина Н. А., Флейшман Л. С. А. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» (Письма к Э. К. Метнеру).— В кн.: Блоковский сборник, II. Тарту, 1972, с. 387—388; Лавров А. В. «Труды и дни».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания, с. 202—203.

[124] Знакомство с Б. Л. Пастернаком Белый относит к сентябрю 1910 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 53).

[125] Основной задачей Ритмического кружка в 1910—1911 гг. было исследование ритма русского пятистопного ямба.

[126] Имеются в виду прежде всего книги С. Боброва «Новое о стихосложении А. С. Пушкина» (М., Мусагет, 1915) и «Записки стихотворца» (М., Мусагет, 1916). Перечень ранних стиховедческих работ Боброва см. в кн.: Штокмар М. П. Библиография работ по стихосложению. [М.], 1933, с. 87—88.

[127] «Двухмесячник издательства «Мусагет» «Труды и дни» был начат изданием в 1912 г., в 1913—1916 гг. выходил в свет без соблюдения первоначально задуманной периодичности. Всего вышло в свет восемь выпусков «Трудов и дней».

[128] *«Записки мечтателей»* выходили в Петрограде в издательстве С. М. Алянского «Алконост» в 1919—1922 гг. (вып. 1—6). См.: Белов С. В. Мастер книги. Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979, с. 43—45.

[129] Эта встреча состоялась во время гастролей труппы В. Ф. Коммиссаржевской в Москве 8—20 сентября 1909 г.

[130] С сентября 1909 г. до февраля 1910 г. проходила гастрольная поездка труппы Коммиссаржевской по 17 городам России. 15 ноября 1909 г. в Харькове Коммиссаржевская обратилась к труппе театра с письмом, в котором сообщала, что по окончании турне она уйдет из театра: «Я ухожу потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас,— перестал мне казаться нужным и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным» (Сборник памяти В. Ф. Коммиссаржевской. Под ред. Е. П. Карпова. СПб., 1911, с. 320—322).

[131] Эта встреча относится к первой половине ноября 1908 г.

[132] В «Пеллеасе и Мелисанде» Метерлинка (см. выше, примеч. 27) Коммиссаржевская исполняла роль Мелисанды.

[133] См. выше, примеч. 19.

[134] Излагая главную мысль статьи Белого «Символический театр» о том, что символическая драма возможна главным образом в театре марионеток, Н. Волков заключает: «Делая этот вывод, Белый как бы зачеркивает все усилия Мейерхольда, ибо, признавая его заслуги в деле постановки символических драм в духе марионеточного театра, он требует фактического обращения к настоящей марионетке. ⟨...⟩ Свой вред эта статья Белого, несомненно, принесла, так как она, хотя и в форме отвлеченных рассуждений, подчеркнула, что Мейерхольд и Коммиссаржевская не могут работать вместе, так как Мейерхольд будто бы строит театр не живых людей, а театр кукол» (Волков Н. Мейерхольд, т. 1. М.— Л., 1929, с. 328—329).

[135] Премьера пьесы Ст. Пшибышевского «Вечная сказка» в постановке В. Э. Мейерхольда состоялась в театре В. Ф. Коммиссаржевской 4 декабря 1906 г.; Коммиссаржевская играла Сонку. Выступление Белого с лекцией о Пшибышевском относится к первой половине ноября 1908 г.; ее содержание легло в основу статьи «Пророк безличия» (см.: *Арабески*, с. 3—16).

[136] Видимо, это чествование состоялось 16 сентября 1909 г. после представления комедии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы», в которой Коммиссаржевская играла Мирандолину.

[137] Ср. запись Белого: «Встреча, бурная дружба и 2 долгих ответственных разговора с В. Ф. Коммиссаржевской, которая поручает мне думать о ей задуманной *«Театр⟨альной⟩ Академии»* (*Ракурс к дневнику*, л. 50).

[138] Искаженно цитируются первые строки стихотворения К. Д. Бальмонта «Чайка» из его книги «Под северным небом» (1894). См.: Бальмонт К. Д. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1969, с. 85.

[139] Коммиссаржевская скончалась 10 февраля 1910 г.

[140] Белый жил в квартире Иванова с конца января до конца первой декады марта 1910 г.

[141] Неточность: из перечисляемых лиц только Гумилев являлся выразителем акмеизма, в 1910 г. эта поэтическая школа еще не определилась (принципы акмеизма были сформулированы в статьях Гумилева и Городецкого, напечатанных в январском номере «Аполлона» за 1913 г.).

[142] Официальное открытие «Мусагета» относится к марту 1910 г.

[143] *In corpore* (лат.) — в целом; во всем составе.

[144] Характеристику деятельности Ритмического кружка и фрагменты из протоколов заседаний см. в кн.: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII, с. 101—106.

[145] Итог стиховедческих штудий Вл. Пяста — его книга «Современное стиховедение. Ритмика» (Л., 1931).

[146] См.: *Символизм*, с. 277—281.

[147] См.: Шенгели Г. Трактат о русском стихе. Ч. 1. Органическая метрика, изд. 2-е. М.— Пг., 1923.

[148] См.: Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха, с. 168.

[149] Подготовка к печати «Учебника ритма» в 1911—1912 гг. была доведена до стадии корректуры (*ГБЛ*, ф. 190, карт. 55, ед. хр. 7, 8); в письме к Э. К. Метнеру (январь 1912 г.) Белый предлагал напечатать его в виде приложения к № 2 «Трудов и дней» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 2, ед. хр. 51).

[150] Доклад А. А. Баранова (Рема) с объяснением нового математического способа определения стихотворного ритма был прочитан на заседании Ритмического кружка 4 октября 1910 г. Предложенную Барановым формулу счисления ритма Белый положил в основу своей теории «ритмического жеста», разработанной им в книгах «О ритмическом жесте» (1917; *ГБЛ*, ф. 25, карт. 4, ед. хр. 1) и «Ритм как диалектика и «Медный всадник» (М., 1929).

[151] Анахронизм; в петербургском Обществе ревнителей художественного слова Белый выступал с докладом о деятельности Ритмического кружка 28 января 1912 г. (см.: Недоброво Н. В. Общество ревнителей художественного слова в Петербурге.— Труды и дни, 1912, № 2, с. 25).

[152] Позднее, в феврале 1917 г., Белый выступал на семинарии С. А. Венгерова в Петербургском университете с обоснованием теории «ритмического жеста». См.: Пушкинист. Историко-литературный сборник, под ред. проф. С. А. Венгерова, III. Пг., 1918, с. VIII.

[153] Книга статей Белого «Луг зеленый» была выпущена в свет «Альционой» — издательством, руководимым А. М. Кожебаткиным,— в конце июля 1910 г.

[154] См. выше, примеч. 112. «Серебряный голубь» был выпущен отдельной книгой в издательстве «Скорпион» во второй половине мая 1910 г.

[155] Белый не прав: «Символизм» рецензировали Ф. А. Степун (Логос, 1910, № 1, с. 280—281; подпись: Ф. С.), Б. А. Грифцов (Русская мысль, 1911, № 5, отд. III, с. 189—192), Брюсов («Об одном вопросе ритма» — Аполлон, 1910, № 11, отд. I, с. 52—60) и другие авторы. П. А. Флоренский в письме к Белому от 14 ноября 1910 г. делился «светлым и добрым настроением», которое он вынес при чтении «исследований по ритму («ритмологии») и смежным вопросам», помещенных в «Символизме»: «Что эти исследования глубоко интересны; что они действительно дают

новое; что в них имеешь дело с настоящей *научной* работой; что они обещают развиться в науку первой важности,— все это для меня не главное. Но мне, всегда верившему в Ваше лучшее будущее, так приятно видеть осуществление своих надежд,— так приятно читать статьи, подписанные именно *Вашим* именем. ⟨...⟩ Какою свежестью и самобытною силою веет от этих «экспериментов в области лирики»!» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 18). Н. А. Бердяев в письме к Белому от 15 июня 1910 г. подробно остановился на философских статьях «Символизма», отметив, в частности, что «Эмблематика смысла» «очень замечательна, местами гениальна, но в ней явно обнаруживается боязнь бытия и реальности, как будто прикосновение к сущему лишает свободы, связывает творческие порывы» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 9, ед. хр. 16).

156 Подразумеваются статьи В. Ф. Боцяновского «Литературные наброски» (Новая Русь, 1910, № 3, 4 января) и «Серебряный голубь». Литературные наброски» (Утро России, 1910, № 176, 19 июня; Боцяновский В. Богоискатели. СПб., 1911, с. 168—177) и статья Д. С. Мережковского «Восток или Запад» (Русское слово, 1910, № 217, 22 сентября; Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник 1910—1914. Пг., 1915, с. 297—309).

157 Н. А. Бердяев посвятил анализу «Серебряного голубя» статью «Русский соблазн» (Русская мысль, 1910, № 11, отд. II, с. 104—112). С. Н. Булгаков писал Белому по прочтении «Серебряного голубя» (13—17 декабря 1910 г.): «Я совершенно потрясен Вашей книгой. В ней Вам удалось, нет, *дано* Вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Пред Вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как Вы со всей силой показали, неизбежно демонической стихии. За Вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских радений, и «глубины сатанинские» мистического сектантства. ⟨...⟩ Вам приходится нести и крест своего свершения, холодное непонимание, равнодушие толпы, но это хороший знак, Вы сами это знаете. Но рано или поздно поймут и услышат Вашу художественную речь» (*ГБЛ,* ф. 25, карт. 10, ед. хр. 10).

158 Эта статья впервые опубликована в «Арабесках» (с. 161—210).

159 В Боголюбах Белый прожил с конца июня до августа 1910 г.

160 Ср. записи Белого об июле — августе 1910 г.: «...дикая, веселая, странная жизнь, на фоне которой происходит мое сбли-

жение с Асей и решение уехать в Италию осенью»; «Решение пути с Асей бесповоротно» (*Материал к биографии*, л. 58).

[161] Ни одно из этих переизданий «Мусагетом» не было осуществлено.

[162] Подробнее о впечатлениях Белого от первого знакомства с циклом «На поле Куликовом», впервые опубликованным в «Литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник» (кн. 10. СПб., 1909), см. в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, IV, с. 173).

[163] См. недатированное письмо Белого к Блоку и ответное письмо Блока от 6 сентября 1910 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 233—234).

[164] В письме к Э. К. Метнеру от 19 декабря 1910 г. Блок предлагал «Мусагету» издать его «Собрание стихотворений» в трех книгах и новый сборник стихов «Ночные часы» (Блоковский сборник, II, с. 389); Метнер 1 января 1911 г. ответил согласием и предложил высылать рукописи (*ЦГАЛИ*, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 331). «Ночные часы» вышли в свет в конце октября 1911 г., книга 1 «Собрания стихотворений»— в мае 1911 г., книга 2 — в декабре, книга 3 — в марте 1912 г.

[165] Сокращенные цитаты из письма Блока к матери от 31 октября 1910 г. (Письма Александра Блока к родным, т. II, с. 95—96).

[166] Сокращенная и искаженная цитата из письма Блока к матери от 10 ноября 1910 г.; в оригинале: «...уезжает отдыхать на год на какой-ниб. южный остров» (т а м ж е, с. 97).

[167] Эту встречу 1 ноября 1910 г. в московском Религиозно-философском обществе, где Белый выступал с докладом «Трагедия творчества у Достоевского», он подробно описывает в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, IV, с. 185—190).

[168] Об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны сообщалось 30 и 31 октября во всех газетах.

[169] Видимо, письмо Блока к Метнеру от 19 декабря 1910 г. (см. выше, примеч. 164) было результатом этих предварительных переговоров в ноябре 1910 г.

[170] Белый и А. Тургенева выехали из Москвы за границу 26 ноября/9 декабря 1910 г.

[171] В Венецию Белый и А. Тургенева прибыли 12 декабря (н. ст.) 1910 г. Белый писал оттуда А. М. Кожебаткину: «Венеция превзошла все мои ожидания; она — сплошное великолепие. Всего один день мы там, а уже с грустью покидаем» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 11). См. описание пребывания в Венеции в кн.: Б е л ы й Андрей. Путевые заметки, т. 1. Сицилия и Тунис. М.— Берлин, 1922, с. 20—40. Далее ссылки на это издание приводятся сокращенно: *Путевые заметки*.

Часть вторая

ВВЕДЕНИЕ

[1] Подразумевается философско-культурологический труд О. Шпенглера «Закат Европы» («Der Untergang des Abendlandes», Bd. 1—2, 1921—1923).

[2] Имеется в виду международная социалистическая конференция в Циммервальде (Швейцария, 5—8 сентября 1915 г.), выступившая против мировой войны и социал-шовинизма.

[3] Текст второго тома «Путевых заметок» сохранился в архиве Белого (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 15); из него были опубликованы лишь отдельные фрагменты. См.: Бугаева К., Петровский А., ⟨Пинес Д.⟩. Литературное наследство Андрея Белого.— В кн.: Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 610—611.

[4] См.: *Путевые заметки*, с. 152—154.

[5] *«Парсифаль»* — последняя музыкальная драма Вагнера (текст — 1877, музыка — 1882). В Палермо Вагнер жил в 1880 г. Ср.: *Путевые заметки*, с. 58, 69—71.

[6] В Палермо Белый и А. Тургенева прибыли 17 декабря 1910 г., переехали в Монреале (городок в 5 км от Палермо) не позднее 24 декабря.

[7] Военные действия в Сицилии между римлянами и карфагенянами велись в 214—211 гг. до н. э.

ПЕРВАЯ ГЛАВА. АФРИКА

[1] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 1, примеч. 7.

[2] Церковь Марторано (1143) с норманнской башней и старыми мозаиками.

[3] По преданию, Эмпедокл бросился в жерло Этны, сицилийского вулкана.

[4] *Рожер Второй* — король Сицилийский (1098—1154); *Фридрих Второй Гогенштауфен*, император Священной Римской империи (1194—1250), был правителем Сицилии, усмирил арабов и упрочил свое владычество на острове. См.: *Путевые заметки*, с. 112—114.

[5] 18/31 декабря 1910 г. Белый писал матери из Монреале: «...были в Багерии, где среди тропической растительности среди гор странные виллы старой сицилийской знати с изображением драконов и чудовищ» («Путешествие на Восток». Письма Андрея Белого. Вступ. статья, публикация и коммент. Н. В. Котрелева.— В кн.: «Восток — Запад». Исследования. Переводы.

Публикации. М., 1988, с. 149; далее ссылки на эту публикацию приводятся сокращенно: *Восток — Запад*). Ср.: *Путевые заметки*, с. 107—111.

[6] *Джузеппе Бальзамо*, граф Калиостро, родился в Палермо.

[7] *Монреальский собор* (1174—1189) — памятник нормано-сицилийского стиля, знаменитый своими мозаиками. См.: *Путевые заметки*, с. 136—151; Воронин С. Д. Из писем Андрея Белого к матери.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1987, с. 70 (описание Монреальского собора). *Сальват* (Монсальват) — замок Грааля в «Парсифале» Вагнера.

[8] Белый и А. Тургенева прибыли в Тунис 5 января 1911 г., в Радесе поселились 15 января. См. письмо Белого к матери от 26 декабря 1910 г./8 января 1911 г. (*Восток — Запад*, с. 150—151).

[9] Подразумеваются С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев.

[10] *Бассора* (Басра) — город и порт в Месопотамии, в 110 км от Персидского залива.

[11] Эпизод из романа Г. Флобера «Саламбо» (1862), действие которого происходит в Карфагене в III в. до н. э.

[12] Подробнее о пребывании в Радесе см.: *Путевые заметки*, с. 237—297. Свое жилище в Радесе Белый подробно описывает в письме к Э. К. Метнеру (январь 1911 г.); см.: *Восток — Запад*, с. 153.

[13] *Туат* — группа оазисов в Сахаре, к югу от алжирской провинции Константины.

[14] *Сирокко* — сухой, знойный южный ветер.

[15] Набеги арабского полководца корейшита Окба на северо-западную Африку происходили с 667 г.

[16] Аглабиды *(аглебиты)* — арабская династия (800—909) в Ифрикии (Северной Африке). Основана Ибрахимом ибн аль-Аглабом, создавшим фактически независимый эмират со столицей в Кайруане.

[17] *Фатимиды* — династия арабских халифов (909—1171), возводившая свое происхождение к Фатиме (дочери пророка Мухаммеда); правила в Северной Африке, затем в Египте.

[18] *Каир* (ал-Кахира) был основан в 969 г. берберскими войсками под командованием Джаухара ас-Сикили к северу от Фустата, прежней столицы Египта.

[19] Поездка в Кайруан состоялась 26—27 февраля 1911 г. См.: Белый Андрей. Дервиш (Из путевых заметок).— В кн.: Велес. Первый альманах русских и инославянских писателей. Пг., 1912—1913, с. 85—103; Белый Андрей. Кайруан.— Воли России (Прага), 1923, № 1.

[20] *Габес* — залив и порт в Средиземном море; *Гафса* — город в южной части Туниса.

[21] Пояснение Белого: «Гондура — цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус» (*Путевые заметки*, с. 184).

[22] Первые строки стихотворения Ф. И. Тютчева (1830-е годы).

[23] Культура Сабы (Сабейского царства) — племенного союза и государства, возникшего на территории Южной Аравии не позднее VIII в. до н. э.

[24] До ислама Мекка — священный город мусульман-суннитов и место их паломничества — была населена племенем курейш.

[25] *Парсизм* — религия парсов, жителей Ирана и их потомков, бежавших в Индию в VII—X вв. после арабского завоевания; для нее характерны почитание огня, воды, воздуха, земли.

[26] Поэты, жившие в период правления династии Омейядов (661—750), управлявшей Дамасским халифатом, в состав которого входили бо́льшая часть Пиренейского полуострова, Северная Африка, Аравия, часть Передней и Средней Азии.

[27] В основу памятника средневековой арабской литературы «Тысяча и одна ночь», по мнению большинства исследователей, лег сделанный приблизительно в IX в. арабский перевод сборника «Тысяча сказок» на среднеперсидском языке (пехлеви).

[28] Период правления халифов *Абдаррахмана III* (929—961) и его сына *аль Хакама II* (961—976) — время наивысшего расцвета Кордовского халифата, мусульманского государства на Пиренейском полуострове.

[29] См.: Крымский А. История арабов и арабской литературы, ч. 3. М., 1913, с. 12. Белый называет этот труд в числе использованных им в работе (*Путевые заметки*, с. 64—65).

[30] *«Книга исцелений»* — главный философский труд Ибн Сины (Авиценны), представителя восточного аристотелизма.

[31] *Сунна* (VII — IX вв.) — мусульманское священное предание, изложенное в рассказах (хадисах) о поступках и изречениях Мухаммеда; эти рассказы как бы поясняют и дополняют Коран.

[32] *Чандала* — низшая каста у индусов, состоящая из семей смешанного, не чисто арийского происхождения.

[33] Этот крестовый поход был предпринят Людовиком IX в 1270 г.

[34] В 1908 г. Лео *Фробениус* совершил экспедицию на юго-западный берег Африки, в область между Того и Либерией; его раскопки выявили остатки древней цивилизации йоруба.

[35] *Канкан, Диэннея* — города в Западной Африке. Подробнее см.: *Путевые заметки,* с. 298—305.

[36] *Тимбукту* (Томбукту) — город на левом берегу реки Нигер, основанный в XI — XII вв. как перевалочный пункт караванной торговли; в XIII — XV вв.— важнейший экономический и культурный центр государства Мали, в конце XV — XVI вв.— государства Сонгаи (от этого времени сохранились крупные мечети); в 1591 г. завоеван марокканцами. *Сонгойцы* — этническое ядро Сонгаи (империи Гао) — раннефеодального государства в Западной Африке, в XV — XVI вв. самого значительного в этом регионе, занимавшего огромные территории, прекратившего свое существование в начале XVII в.

[37] *Гатор* (Хатор) — в египетской мифологии — богиня неба.

[38] Подразумеваются негры, завербованные во французскую армию и участвовавшие в ее боевых действиях.

[39] Проход запрещен (фр.).

[40] Я съел свое жаркое (фр.).

[41] Отдельные очерки Белого из цикла «Путевые заметки» публиковались в 1911 г. в газетах «Речь», «Утро России», «Современное слово».

[42] Рукопись «Путевых заметок» Белый представил для опубликования в «Мусагете» вместе с рисунками А. Тургеневой. В письме к Блоку от 6 декабря 1912 г. Э. Метнер, предлагая напечатать «Путевые заметки» в издательстве «Сирин», указывал: «...для них необходима очень хорошая бумага, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ рисунки Аси Тургеневой (очень удачные, с натуры) должны быть среди текста, а не на отдельных листах; эти рисунки необыкновенно удачно дополняют текст своей острой (хотя и не совсем уверенною) графичностью.— Мусагету труднее будет справиться с этой задачей» (*ЦГАЛИ,* ф. 55, оп. 1, ед. хр. 31). Рисунки А. Тургеневой остались неопубликованными.

[43] Первоначально 1-я часть «Путевых заметок» Белого была издана под заглавием «Офейра» (М., 1921).

[44] Видимо, Белый имеет в виду свое письмо к Э. Метнеру от 21 февраля/6 марта 1911 г. (*ГБЛ,* ф. 167, карт. 2, ед. хр. 30).

[45] Ср. запись Белого о марте 1911 г.: «Тяжелый удар от письма Метнера в ответ на мое; мне ясно, что с *«Мусагетом»* все кончено, что будущее нашего *«коллектива»* есть лишь агония, не больше» (*Ракурс к дневнику,* л. 59 об.).

[46] Белый и А. Тургенева отплыли из Туниса 8 марта (н. ст.), на следующий день прибыли на остров Мальта, в тот же день отплыли в Порт-Саид. См. письмо Белого к матери от 2/15 марта 1911 г. (*Восток — Запад,* с. 158).

[47] *Янтсе-Киангг* — Янцзы, крупнейшая река в Китае.

[48] Памятник строителю Суэцкого канала Фердинанду фон Лессепсу работы Э. Фремье (1899) на молу, на высоком цоколе. В Порт-Саид Белый и А. Тургенева прибыли 14 марта (н. ст.), на следующий день приехали в Каир.

[49] *Левантинцы* — этнические группы в составе сирийцев и ливанцев; потомки европейских колонистов, смешавшихся с местным населением.

[50] Первые строки стихотворения Вл. Соловьева «Нильская дельта» (1898).

[51] Мечеть ал-Гуюши на вершине холма Мукаттам над Каиром, построенная в 1085 г.

[52] Цитадель Салах-ад-Дина в Каире (XII в.) — резиденция правителей Египта на протяжении семи веков.

[53] *Эз-Заказик* — город на железной дороге, соединяющей Порт-Саид и Каир.

[54] Гостиница первого класса (фр.).

[55] Музей египетских древностей в Булаке, гавани Каира, основанный в 1858 г. Из экспонатов музея мумия фараона Рамзеса II произвела на Белого наибольшее впечатление. Ср.: Белый Андрей. Египет.— Современник, 1912, № 6, с. 209; Белый Андрей. На перевале. I. Кризис жизни. Пб., 1918, с. 26.

[56] Слова из «Серебряного голубя», в которых передано ощущение от сектантского радения.

[57] 15 марта (н. ст.) 1911 г., в день первого осмотра пирамид и великого сфинкса, Белый отправил открытку А. С. Петровскому: «Алеша! Нет слов, нет мысли, нет чувств, нет желанья сказать, что такое пирамиды и Сфинкс. *Б. Бугаев»* (ГЛМ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 33, оф 4889). Ср. его письмо к матери: «Пишу тебе, потрясенный Сфинксом. Такого живого, исполненного значением взгляда я еще не видал нигде, никогда. 〈...〉 На голубом небе, прямо из звезд в пустыню летит взор чудовищного Сфинкса; и он — не то ангел, не то зверь, не то прекрасная женщина» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 359).

[58] *Нилометр* — большая башня (высотой ок. 10 м) с каменной площадкой, построенная на южном берегу острова Рода в 715 г. для определения уровня воды в Ниле.

[59] Наиболее древние церкви коптов — египтян, исповедующих христианство,— находятся в Старом городе (Вавилоне): церкви Сергия и Вакха (VI в.), Богоматери, св. Варвары.

[60] Опубликована первоначальная редакция египетских «Путевых заметок» Белого («Египет» — Современник, 1912, № 5—7); см. также: Белый Андрей. Египет (Отрывки из 2-й части путевых очерков «Офейра»).— В кн.: Московский альманах. М., 1922, с. 111—128.

[61] *Мемфис* — столица Древнего Египта в III тысячелетии до н. э., находилась в 25 км к югу от Каира. В числе памятников, сохранившихся от древнего города,— лежащая на земле колоссальная *статуя фараона Рамзеса* II, высеченная из розового гранита (XIV в. до н. э.).

[62] Поле пирамид и восхождение на пирамиду Хеопса подробно описаны в путевых очерках Белого «Египет» (Современник, 1912, № 6, с. 176—186, 194—199). См. также письмо Белого к А. С. Петровскому от 2/15 марта 1911 г. (*Восток — Запад,* с. 161—163).

[63] Ср. главку «Сфинкс» в «Путевых заметках» (Московский альманах, с. 119—123). В рукописном варианте этого эпизода воспоминаний — более подробная характеристика «пирамидных» переживаний: «...последствие «пирамидной болезни», какая-то перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью, как будто я всходил на рябые ступени — одним; сошел же — другим; и то новое отношение к жизни, с которым сошел я с бесплодной вершины, скоро ж сказалося в произведеньях моих; жизнь, которую видел я красочно, как бы слиняла; сравните краски романа «Серебр⟨яный⟩ голубь» с тотчас же начатым «Петербургом», и вас поразят мрачно-серые, черноватые иль вовсе бесцветные линии «Петербурга»; ощущение Сфинкса и пирамид сопровождает мой роман «Петербург» (*ГПБ,* ф. 60, ед. хр. 15, л. 81).

[64] Сокращенная цитата из переработанной редакции «Петербурга» по изданию «Никитинских субботников» (ч. 1—2. М., 1928). Ср.: Б е л ы й Андрей. Петербург. М., 1978, с. 326.

[65] Сокращенная цитата (т а м ж е, с. 326).

[66] Археолог Огюст *Мариетт* — основатель Булакского музея и первый его директор.

[67] Гробница (мастаба) вельможи *Ти* (середина III тысячелетия до н. э.); стены ее покрыты рельефными композициями, изображающими различные сцены из жизни Ти, фигуры птиц и животных.

[68] *Серапеум* — место погребения священных быков (двадцать четыре гранитных и базальтовых саркофага, открытых О. Мариеттом в 1850—1851 гг.). *Апис* — в египетской мифологии — бог плодородия в облике быка.

[69] Гизе *(Гизех)* — местность на левом берегу Нила близ Каира, известная полем пирамид (три самых больших пирамиды — Хеопса, Хефрена и Менкара, несколько меньших и великий сфинкс).

[70] Фраза не из Библии, а из XIII слов Григория Назианзина: «Не устрашишися от страха ноштьнаго и от напасти и от беса

полуденнаго». См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка, т. 2, вып. 1. СПб., 1893, стлб. 1139.

[71] *Обелиск* — стоящая в центре площади Конкорд в Париже монолитная гранитная колонна (высотой 24 м), привезенная из Луксорского дворца фараона Рамзеса II (XIII в. до н. э.).

[72] Два египетских сфинкса, высеченные из гранита (XV в. до н. э.); были найдены при археологических раскопках на месте древней столицы Египта Фив, приобретены русским правительством и установлены в 1832 г. в Петербурге на набережной Невы перед Академией художеств.

[73] *Луксор* — город на территории древних Фив; известен ансамблем храма бога Амона-Ра (XV в. до н. э.). *Ассуан* — город на Ниле, известный скальной гробницей Сареппута II, правителя Верхнего Египта (XX в. до н. э.).

[74] *Хамсин* — сухой и жаркий южный ветер в Юго-Восточной Африке, несущий много пыли и песка. Ср. письмо Белого к А. С. Петровскому от 9/22 марта 1911 г. (*Восток — Запад*, с. 166).

[75] Белый и А. Тургенева выехали из Каира, видимо, 8 апреля (н. ст.) 1911 г., 10 апреля они прибыли через Яффу в Иерусалим.

[76] Ср. признания Белого в письме к М. К. Морозовой («Иерусалим. Христово Воскресенье»): «Боже, до чего мертвы иностранцы: ни одного умного слова, ни одного подлинного порыва. Деньги, деньги, деньги, деньги и холодный расчет. ⟨...⟩ Культуру Европы придумали русские; на западе есть цивилизации; западной *культуры* в нашем смысле слова *нет*. ⟨...⟩ на западе благополучно здоровеют; румянощекий господин Котелок, костяная госпожа Зубочистка — вот подлинные культур-трэгеры Запада. ⟨...⟩ Вот уже месяц, как все бунтует во мне при слове *«Европа»*. Гордость наша в том, что мы *не Европа*, или что только мы — *подлинная Европа*» (*ГБЛ*, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1б). См. также письмо Белого к А. М. Кожебаткину из Иерусалима от 30 марта/12 апреля 1911 г. (*Восток — Запад*, с. 170—171).

[77] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 142.

[78] Пасха в 1911 г. приходилась на 10/23 апреля.

[79] Мечеть Куббат ас-Сахра (Купол скалы, или мечеть Омара, 687—691) — памятник арабской культуры, построенный на месте храма Соломона (X в. до н. э., разрушен в 70-х годах н. э.).

[80] Бытие, XXII, 9—14.

[81] Иерусалим был взят римлянами в 70 г., разрушен в годы правления императора Тита (79—81).

[82] Описание храма Гроба Господня см. в письме Белого к А. С. Петровскому от 1/14 апреля 1911 г. (*Восток — Запад*, с. 172—174).

[83] В письме к матери от 22 апреля (ст. ст.) 1911 г. Белый в иной тональности описывал свои впечатления: «Мы очаровательно провели время в Иерусалиме, попав в понедельник Вербной недели и встретив Пасху. Все главные церемонии были на наших глазах: ход с пальмами к пещере Лазаря, омовение ног, благодать Огня в храме Гроба Господня и светлая заутреня (там же). Палестина вся рдела маками, когда мы там были» (*Восток — Запад*, с. 177).

[84] *Кавасы* — в Турции — почетная стража, облеченная низшей полицейской властью.

[85] Гоголь был в Иерусалиме во второй половине февраля 1848 г.; см. его письма из Иерусалима от 16—18 февраля (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XIV. [Л.], 1952, с. 52—54).

[86] Белый и А. Тургенева выехали из Яффы 11/24 апреля 1911 г., прибыли в Одессу 22 апреля (ст. ст.). См. описание морского путешествия из Палестины в Одессу в письме Белого к матери от 22 апреля 1911 г. (*Восток — Запад*, с. 177).

[87] *Золотой Рог* — бухта, делящая европейскую зону Константинополя (Стамбула) на две части — Старый город и Новый город (Пера и Галата). Белый и А. Тургенева осматривали Константинополь 19—20 апреля/2—3 мая 1911 г.

[88] *«Сладкие Воды Европы»* — два полноводных ручья — Али-бей-су (Кидарос) и Киат-хане-су (Барбизес),— впадающие в Золотой Рог; долина этих ручьев — популярное место прогулок.

[89] *Каик* — длинная лодка с 2—3 парами весел, характерная для Константинополя и Золотого Рога.

[90] *«Человек, который убил»* («L'Homme qui assassina», 1907) — популярный роман К. Фаррера.

[91] *«Младотурки»* — европейское название членов турецкой националистической организации «Единение и прогресс», основанной в 1889 г. и пришедшей к власти в 1908 г. в результате руководимой ими Младотурецкой революции.

[92] Подразумевается прежде всего насаждавшаяся младотурками практика геноцида — истребление около полутора миллионов армян, населявших Западную Армению, в 1914—1918 гг.

[93] В Киеве Белый и А. Тургенева были 24 апреля, на следующий день они приехали в Боголюбы.

[94] Каменные стены замка XIV—XV вв.— памятник эпохи, когда Луцк был, при литовском князе Любарте Гедиминовиче, политическим центром почти всей Волыни.

ВТОРАЯ ГЛАВА

[1] Приводится (с неточностями) стихотворение «Лазури. Танка» (июнь 1916 г.) из книги Белого «Звезда». См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 376.

[2] Белый приехал в Москву из Боголюбов 8 мая 1911 г.

[3] Первые впечатления Белого по возвращении в Москву были, однако, отрадными; 9 мая 1911 г. он писал А. Тургеневой: «Москва встретила приветно. Вчера улыбнулись наши отношения с мамой ⟨...⟩» (Cahiers du Monde russe et soviétique, 1977, vol. XVIII, № 1—2, p. 136; публикация Жоржа Нива).

[4] Статья Ф. Т. *Маринетти* «Манифест футуризма», ознаменовавшая рождение итальянского футуризма, была опубликована в парижском «Фигаро» 20 февраля 1909 г.

[5] В первом «будетлянском» (футуристическом) сборнике *«Садок судей»* (СПб., 1910; тираж 300 экз., вышел в свет в апреле 1910 г.) Маяковский не участвовал (участники — Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Е. Гуро, В. Каменский, В. Хлебников).

[6] *«Путь»* — московское издательство религиозно-философской направленности, основанное в 1910 г. М. К. Морозовой и ориентировавшееся на традиции русской философской мысли; сотрудниками «Пути» были Е. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, М. О. Гершензон, Г. А. Рачинский.

[7] *Аподиктический* — несомненный, исключающий возможность противного. *Ордонанс* (ф р. ordonnance) — распоряжение верховной власти, указ, закон.

[8] *Адам-Кадмон* («Единый Сын божественного Отца») — имя, упоминаемое в книге «Зохар», одном из памятников каббалистической литературы, и интерпретируемое Е. П. Блаватской в «Тайной доктрине»; в мистической традиции иудаизма — абсолютное, довременное явление человеческой сущности. См.: *Символизм*, с. 494—495.

[9] Сходная идея лежит в основе статьи Бердяева о «Петербурге» Белого — «Астральный роман» (Биржевые ведомости, 1916, утр. вып., № 15651, 1 июля; Б е р д я е в Н. Кризис искусства М., 1918, с. 36—47).

[10] В фамилии этого персонажа содержится намек на Г. И. Чулкова (студент Чухолка мнит себя «мистическим анархистом»), однако к описываемой истории он никакого отношения не мог иметь.

[11] Видимо, речь идет о следующих строках из «Элегии» («Нет, не бывать тому, что было прежде!..», 1821) Е. А. Баратынского:

> Я бременюсь нескромным вх участьем,
> И с каждым днем я верой к нвм бедней.
> Что в пустоте несвязных их речей?

[12] Ср. признание Белого в письме к А. Тургеневой от 17 мая 1911 г.: «...за 9 дней пребывания в Москве превратился в какую-то бесчувственную, измученную куклу; так трудно, так трудно» (Cahiers du Monde russe et soviétique, 1977, vol. XVIII, № 1—2, p. 137).

[13] Имеется в виду письмо Блока от 8 мая 1911 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 256).

[14] Сокращенная цитата из книги М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб., 1922, с. 144).

[15] Михаил Владимирович Кампиони — сын С. Н. и В. К. Кампиони.

[16] Над «Путевыми заметками» (первоначальная редакция текста) Белый работал все лето и закончил их в сентябре 1911 г.

[17] Статья Белого «Гремящая тишина» опубликована 15 марта 1916 г. в «Биржевых ведомостях» (утренний выпуск).

[18] Первые строки стихотворения Белого, написанного в Боголюбах в 1911 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 346).

[19] С. Н. Кампиони была дочерью Николая Александровича Бакунина (1828—1893), брата М. А. Бакунина.

[20] *Левые* Муравьевы — декабристы Артамон Захарович (1794—1846), Александр Николаевич (1792—1868), братья Никита Михайлович (1796—1843) и Александр Михайлович (1802—1853); *вешатель* — граф Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), брат А. Н. Муравьева, генерал от инфантерии, прозванный так за жестокость при подавлении Польского восстания 1863 г.

[21] Подобно Белому и А. Тургеневой, Н. А. и А. М. Поццо стали приверженцами антропософии и с 1914 г. участвовали в строительстве Гетеанума — антропософского центра в Дорнахе (Швейцария).

[22] Белый разорвал отношения с Эллисом в октябре 1913 г. (причиной послужило написание Эллисом и опубликование в «Мусагете» трактата «Vigilemus!» с критическими выпадами против антропософии).

[23] Имеется в виду «Молитва запретительная святого Василия над страждущими от демонов», входящая в Требник. К этой же молитве обращается Дудкин, герой романа «Петербург» (см.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 294).

[24] В апреле — мае 1871 г. А. Рембо служил в частях национальной гвардии Парижской коммуны. Подробнее см.: Балашов Н. И. Рембо и связь двух веков поэзии.— В кн.: Рембо Артюр. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. М., 1982, с. 217—233.

[25] Сокращенная цитата из «Предисловия к русскому изданию» в кн.: Карре Ж.-М. Жизнь и приключения Жана-Артура

Рембо. Перевод Бенедикта Лившица. Л., [1927], с. 3 (подпись: В. С.).

[26] Сокращенная цитата (т а м ж е).

[27] Подразумевается роман «Петербург».

[28] *Саша* — А. Д. Бугаева, мать Белого. Белый и А. Тургенева приехали из Боголюбов в Москву 8 августа.

[29] Младшая сестра А. Д. Бугаевой Е. Д. Егорова жила вместе с нею и Белым после смерти Н. В. Бугаева, с осени 1903 г. Белый вспоминает об этом времени: «...у нас в квартире — перемещение: я поселяюсь жить в кабинете отца; к нам жить переезжает моя тетка (Е. Д. Егорова) и поселяется в моей бывшей комнате» (*Материал к биографии*, л. 40 об.).

[30] Эпизоды из 1-й части «Симфонии (2-й, драматической)». См.: *Собрание эпических поэм*, с. 150—151, 175.

[31] См.: Б е л ы й Андрей. Котик Летаев. Пб., 1922, с. 68—69 (главка «Тетя Дотя»).

[32] Неточно цитируются первые строки стихотворения Вильгельма Мюллера «Ворон» («Die Krähe») из цикла «Зимний путь» («Die Winterreise»), положенного на музыку Ф. Шубертом (ор. 89, 1827); в русском переводе В. Коломийцова: «Этот ворон городской // Все летит за мною» (К о л о м и й ц о в В. Тексты песен Франца Шуберта. Л., 1933, с. 96).

[33] На даче А. Н. Депре в Видном, близ Москвы (ст. Расторгуево Павелецкой жел. дор.) Белый и А. Тургенева жили с конца сентября до середины ноября 1911 г.

[34] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 141.

[35] К работе над будущим «Петербургом» Белый приступил в октябре 1911 г. В середине сентября была достигнута договоренность о том, что к январю 1912 г. он представит в «Русскую мысль» 12 печ. листов нового романа.

[36] Кроме этого раннего варианта заглавия будущего «Петербурга» фигурировали и другие заглавия: «Злые тени», «Лакированная карета», «Красное домино». См.: Д о л г о п о л о в Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 200—202.

[37] С. Н. Булгаков был посвящен в планы Белого написать продолжение «Серебряного голубя» и впоследствии создать романную трилогию; 13 февраля 1911 г. он писал Белому в Тунис: «...желаю Вам вдохновения, сил и самоотвержения для художественного подвига, который Вы на себя подъяли планом своей трилогии» (*ГБЛ*, ф. 25, карт. 10, ед. хр. 10). Ср. воспоминания Белого о московских встречах в мае 1911 г.: «...происходит мое сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для *«Русской мысли»;* он ведет переговоры со Струве обо мне» (*Материал к биографии*, л. 60).

[38] Судя по переписке Брюсова и П. Б. Струве, в «Русской мысли» обычно за 1 печ. лист художественной прозы известным писателям платили от 150 до 250 руб.; из письма Брюсова к Струве от 12 сентября 1910 г. (см.: Литературный архив, т. 5. М.— Л., 1960, с. 278) можно заключить, что Мережковскому за роман «Александр I», принятый к опубликованию в «Русской мысли», предполагалось платить по 400 руб. с листа.

[39] См.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 77, 98, 114.

[40] О «происхождении содержания» «Петербурга» из совокупности звуков «л-к-л-пп-пп-лл» в определенной семантической окраске Белый пишет в дневниках «К материалам о Блоке» (31 августа 1921 г.) (см.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 807). Фрагменты из этой дневниковой записи опубликовал Иванов-Разумник в своей книге «Вершины. Александр Блок. Андрей Белый» (Пг., 1923, с. 110—111).

[41] Мария Александровна Поццо.

[42] С. Соловьев переживал тогда неразделенную любовь к С. В. Гиацинтовой, впоследствии известной театральной актрисе (его письма к ней — *ЦГАЛИ*, ф. 2049, оп. 1, ед. хр. 296). 31 октября 1911 г. он в состоянии нервно-психического расстройства покушался на самоубийство, после чего несколько месяцев находился в психиатрической лечебнице. Белый писал об этом Блоку в ноябре — декабре 1911 г. (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 272—273, 280—281).

[43] А. М. Поццо жил в 6-м Ростовском переулке в доме Орлова (д. 11).

[44] Белый приехал в Бобровку в начале декабря 1911 г. 1 декабря он писал А. А. Рачинской, владелице имения: «...мне заказан роман в «Русскую мысль», от возможности написания которого зависит просто наше существование с женой 1912-го года. ⟨...⟩ если к первому января я не представлю в *«Русскую мысль»* определенное (очень большое) количество печатных страниц, мой роман откладывается до 1913 года, то есть я лишаюсь средств к существованию на 1912 год ⟨...⟩ Простите, ради Бога, меня, если я, не дождавшись разрешения, самочинно явлюсь в Бобровку 3-го». 7 декабря Белый писал Рачинской из Бобровки: «...так хорошо здесь, ясно, спокойно; так дышится легко после Москвы и так работается. ⟨...⟩ думаем с женой воспользоваться Вашей любезностью числа до двадцатого. Я у Вас чрезвычайно много напишу» (*ЦГАЛИ*, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2384).

[45] 10 января 1912 г. Белый писал Брюсову: «...моя порция романа «Злые тени» готова; задержка лишь за ремингтоном. ⟨...⟩ 15-го или 16-го числа я очень хотел бы видеться с вами,

чтобы лично вам передать роман. Оконченная порция представляет собой около 13 печатных листов (12 1/2 приблизительно); состоит из четырех очень больших глав (три последние представлю до апреля — мая, чтобы к моменту предполагаемого печатания у вас весь роман был на руках)» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 425).

[46] Роман Д. А. *Абельдяева* «Тень века сего. Записки Абашева» был напечатан в № 6—12 «Русской мысли» за 1912 г.

[47] Брюсов пытался уговорить Струве решиться на публикацию романа; в письме к Струве он заверял: «Достоинства у романа есть бесспорные. Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Наконец, самая оригинальная манера письма, конечно, возбудит любопытство, наряду с хулителями найдет и страстных защитников и вызовет подражания» (опубликовано в статье И. Г. Ямпольского «Валерий Брюсов о «Петербурге» Андрея Белого» — в кн.: Ямпольский И. Поэты и прозаики. Л., 1986, с. 349). См. также: Черников И. Н. В. Я. Брюсов и творческая история романа А. Белого «Петербург».— В кн.: Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985, с. 206—213.

[48] Имеется в виду «либеральный профессор» (гл. 4, главка «Бал»). См.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 153—154.

[49] 2 февраля 1912 г. Струве писал Брюсову: «Спешу Вас уведомить, что относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому *отрицательному* решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении (телеграммой и письмом) — я заезжал к нему на квартиру Вяч. Ив. Иванова, но не застал его там. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной» (*ИРЛИ*, ф. 444, ед. хр. 65).

[50] Деньги от Блока Белый получил еще в середине ноября 1911 г., после того как в письме к Блоку сам просил похлопотать «у какой-нибудь редакции» об авансе в 500 руб. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 276—277). В ответном письме Белому (оно, вероятно, не сохранилось) Блок «в деликатнейшей форме уговорил ⟨...⟩ принять от него в долг пятьсот рублей»: «Это был решительный импульс к работе для меня, и я считаю, что А. А. косвенно вызвал к жизни мой «Петербург» (Белый Андрей. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке.— В кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников,

в 2-х томах, т. 1, с. 320). Белый благодарил Блока письмом от 19 ноября 1911 г.

[51] Эта кратковременная поездка в Бобровку относится к середине января 1912 г.

[52] Белый и А. Тургенева приехали в Петербург 21 января 1912 г., остановились в квартире Вяч. Иванова, где прожили до конца февраля. Подробнее о восприятии романа Белого в 1912 г. петербургскими литераторами и о конфликте со Струве см.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург».— В кн.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 554—559.

[53] Предполагалось, что в «Речи» в 1912 г. будут напечатаны отрывки из «Петербурга» (нереализованный замысел); Белый написал для этой предварительной публикации специальное предисловие (см.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 498).

[54] Предложения исходили от Е. А. Ляцкого, выражавшего готовность напечатать «Петербург» в журнале «Современник» (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 221—223), от петербургского «Издательского товарищества писателей», от издательства «Шиповник», а также от Вяч. Иванова и Е. В. Аничкова, намеревавшихся тогда наладить издание нового журнала. В середине февраля 1912 г. Белый писал Э. К. Метнеру: «Иванов пытается собственно для моего *«вышвырнутого романа»*, который, по его мнению, лучше всего, что появлялось за последний период, создать журнал. ⟨...⟩ нужен предварительный разговор с Вами» (*ГБЛ*, ф. 167, карт. 2, ед. хр. 55).

[55] Рукопись написанных глав «Петербурга» (первоначальная редакция) Белый передал К. Ф. Некрасову в середине марта 1912 г. Публикация «Петербурга» отдельной книгой в ярославском издательстве К. Ф. Некрасова не была осуществлена (см.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург», с. 558—559, 565—568), роман вышел в свет в альманахе «Сирин» (сб. 1—3. СПб., 1913—1914).

[56] Неосуществленный замысел.

[57] Белый и А. Тургенева выехали из Москвы в Брюссель 16/29 марта 1912 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указателе аннотируются только имена, встречающиеся в тексте мемуаров Белого. Книга «На рубеже двух столетий» обозначается римской цифрой I, «Начало века» — II, «Между двух революций» — III. Использованы справочные сведения, почерпнутые из аннотированного указателя имен к изданию «Между двух революций» (Л., 1934, с. 407—500), составленного Д. М. Пинесом. Приношу благодарность за сообщение отдельных справочных сведений К. М. Азадовскому, В. Е. Багно, Л. А. Ильюниной, А. М. Конечному, Н. В. Котрелеву, А. Е. Парнису, Р. Д. Тименчику, А. Б. Устинову.— *А. Лавров.*

СОДЕРЖАНИЕ

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

Часть вторая

Белый А.

Б 43 Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3/Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Подгот. текста и коммент. А. Лаврова.— М.: Худож. лит., 1990.— 670 с., ил., портр. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-00519-3 (Кн. 3)
ISBN 5-280-00517-7

«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905—1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и миогих других.

Б $\frac{4702010201-336}{028(01)-90}$ 8-89 **ББК 84Р7**

Андрей Белый

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

Редактор *Г. Колосова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицина*

Корректоры *Н. Замятина и Т. Сидорова*

ИБ № 5297

Сдано в набор 12.01.89. Подписано в печать 01.11.89. Формат 84× × 108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,28 + 1 вкл. + альб. = 36,17. Усл. кр.-отт. 37,06. Уч.-изд. л. 40,53 + 1 вкл. + альб. = 41,25. Тираж 200 000 экз. Изд. № II-2970. Заказ № 1912. Цена 10 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.